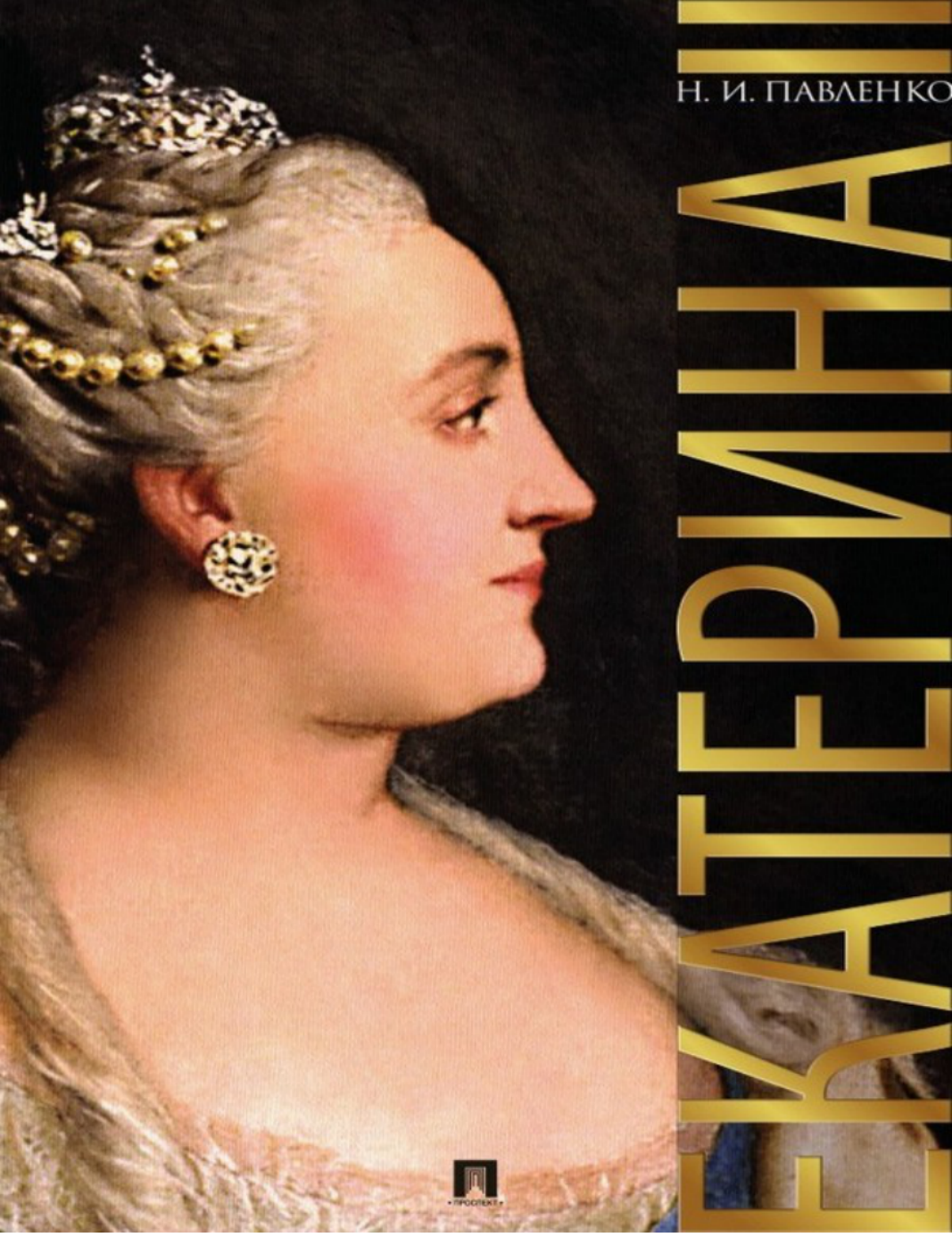
Н. И. ПАВЛЕНКО
ЕКАТЕРИНА II
ПРОСПЕКТ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Екатерине Алексеевне явно не везло с оценкой ее царствования ни в дореволюционной, ни тем более в советской историографии. Еще в годы ее правления современники отмечали немало темных пятен, затмивших в их глазах то положительное, что было связано с ее именем. Во-первых, она была чистокровной немкой, и, видимо, национальная гордость не позволяла давать ее царствованию объективную оценку. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, она не имела никаких прав на престол и узурпировала корону у собственного супруга. В-третьих, на ее совести, если не прямо, то косвенно, лежит печать ответственности за смерть не только супруга, императора Петра III, но и законного претендента на престол Иоанна Антоновича. Наконец, нравственность императрицы не вызывала восторгов ни у современников, ни у историков. И все же правление Екатерины прежде всего сопряжено с достоинствами и достижениями, позволяющими возвести ее в ранг выдающихся государственных деятелей дореволюционной России и поставить ее имя рядом с именем Петра Великого.

- Н. И. Павленко
  - ○
  - ○ От автора
  - ○ Часть I. Под скипетром Екатерины
    - ■ Глава I. Великая княгиня Екатерина Алексеевна
    - ■ Глава II. На непрочном троне
    - ■ Глава III. Просвещенная монархиня
    - ■ Глава IV. Национальная трагедия
    - ■ Глава V. Торжество казанской помещицы
    - ■ Глава VI. На вершине славы
    - ■ Глава VII. Венценосная путешественница
    - ■ Глава VIII. Две войны
    - ■ Глава IX. В защиту трона
    - ■ Глава X. Итоги
  - ○ Часть II. Екатерина и ее окружение
    - ■ Глава XI. Императрица
    - ■ Глава XII. Фавориты
    - ■ Глава XIII. Григорий Александрович Потемкин Таврический
    - ■ Глава XIV. Екатерина Романовна Дашкова
    - ■ Глава XV. Никита Иванович Панин
    - ■ Глава XVI. Александр Андреевич Безбородко

- Приложения
  - Список принятых сокращений
  - Основные даты жизни и деятельности Екатерины Великой
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39

- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83

- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127

- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171

- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215

- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259

- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303

- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347

- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391

- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435

- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479

- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518

Н. И. Павленко
Екатерина Великая
Издание третье, переработанное и дополненное

Посвящается Лилии Федоровне Павленко

ebooks@prospekt.org

От автора

Екатерине Алексеевне явно не везло с оценкой ее царствования ни в дореволюционной, ни тем более в советской историографии. Еще в годы ее правления современники отмечали немало темных пятен, затмевавших в их глазах то положительное, что было связано с ее именем. Во-первых, она была чистокровной немкой, и, видимо, национальная гордость не позволяла давать ее царствованию объективную оценку. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, она не имела никаких прав на престол и узурпировала корону у собственного супруга. В-третьих, на ее совести, если не прямо, то косвенно, лежит печать ответственности за смерть не только супруга, императора Петра III, но и законного претендента на престол Иоанна Антоновича. Наконец, нравственность императрицы не вызывала восторгов ни у современников, ни у историков. И все же правление Екатерины, прежде всего, сопряжено с достоинствами и достижениями, позволяющими возвести ее в ранг выдающихся государственных деятелей дореволюционной России и поставить ее имя рядом с именем Петра Великого.

Петр I стоял у истоков превращения России в великую державу, Екатерина II утвердила за Россией репутацию великой державы. Петр Великий прорубил окно в Европу и создал Балтийский флот, Екатерина утвердилась на берегах Черного моря, создала мощный черноморский флот, присоединила Крым. Петр захолустную Русь, задворки Восточной Европы превратил в Российскую империю; Екатерина придала этой империи европейский блеск, расширила ее границы и укрепила ее могущество.

Преемственность двух эпох можно проследить во множестве сфер жизни страны: градостроительстве, литературе, живописи, распространении просвещения, развитии науки, архитектуре. Различия состояли в методах реализации задуманного и масштабах результатов.

Восторженные панегиристы уже при жизни Екатерины называли ее Великой, хотя она наотрез отказалась принять этот титул официально, подобно Петру, и не оформила его постановлением Сената — она оставалась Екатериной II, предоставив право возвести ее в ранг великой монархини грядущим поколениям. Дважды отличавшийся подобострастием Гримм называл в своих письмах Екатерину Великой и дважды получал от императрицы резкую отповедь, не свойственную ей в других случаях. В первом из ответов она писала: «Оставьте

глупые прозвища, которыми некоторые мальчишки захотели украсить мою седую голову и за каковую ветреность им надавали щелчков, так как они еще не родились, когда все эти глупости были торжественно отвергнуты на собрании уполномоченных от округов, которые от Риги до Камчатки входят в состав обширной земли русской».

В другом письме: «Прошу более не называть меня или, лучше, не давать мне насмешливого прозвища Екатерины Великой, потому что, во-первых, я не люблю никаких прозвищ, во-вторых, потому что мое имя Екатерина II, в-третьих, я не хочу, чтобы обо мне говорили, как о Людовике XV, находя его неудачно названным, и в-четвертых, ростом я не велика и не мала; представьте кому следует все насмешливые прозвища, тому, кто их заслуживает, как Георг и Густав (английский и шведский короли. — Н. П.) и компания»[1]. Приходится удивляться, как могла Екатерина, отличавшаяся редким честолюбием, устоять против соблазна назваться «Великой» при жизни!

Одни дореволюционные историки именовали ее Великой, другие скромно называли Екатериной II, но никто из них не давал ей столь суровой оценки, которая была распространена в советской историографии. В адрес императрицы, кажется, не раздалось ни одного похвального слова, и ее величали то беспардонной лицемеркой, умело скрывавшей свои подлинные чувства и мысли, пытаясь прослыть просвещенной монархиней, то ловкой дамой, втершейся в доверие к французским просветителям, то консерватором, стремившимся подавить Французскую революцию.

Истоки негативной оценки Екатерины следует искать в трудах основоположника советской историографии М. Н. Покровского. В середине 30-х годов советские историки открестились от его исторической концепции, но предшествующее десятилетие Покровский был общепризнанным законодателем мод в исторической науке. Покойный историк и писатель Н. Я. Эйдельман приводит слова известного архивиста Я. Л. Барскова, обнаруженные им в архиве последнего. Барсков так характеризовал Екатерину: «Ложь была главным орудием царицы, всю жизнь, с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владея им как виртуоз, и обманывала родителей, любовников, подданных, иностранцев, современников и потомков»[2]. Хотя эти строки и не были опубликованы, они синтезируют существовавшую в литературе оценку Екатерины, в смягченном виде сохранившуюся до самого последнего времени. Но эта оценка неточна. Читатель настоящей книги легко убедится, что личность императрицы не была столь зловещей, как

ее изобразил Барсков, хотя ложь, несомненно, сопровождала некоторые ее поступки. Но природа власти такова, что без обмана ей никак не обойтись.

На наш взгляд, без труда можно обнаружить то главное, что было присуще в одинаковой мере Петру и Екатерине: оба они являлись «государственниками», то есть монархами, признававшими огромную роль государства в жизни общества. Поскольку они жили в разные эпохи, существенно отличавшиеся укладом экономической, политической и культурной жизни, то и усилия управляемого ими государства были нацелены на выполнение разноплановых задач.

Для Петра I важнейшей сферой вмешательства в жизнь страны было стремление если не ликвидировать, то сократить экономическое отставание России от стран Западной Европы. С этой целью Петр насаждал в крепостнической России форму промышленного производства, присущую странам с начальной стадией развития капитализма. У России времен Петра отсутствовали объективные условия для, так сказать, естественного перерастания мелкого производства в мануфактурное.

П. Н. Милюков был тысячу раз прав, когда утверждал тезис, старательно, но безуспешно отвергаемый советской историографией, об искусственности мануфактурного производства в России в пору его возникновения, об отсутствии для этого спонтанных предпосылок. Приведем высказанную им мысль полностью: мануфактура, писал Милюков, «создана была впервые правительством. Старинные русские кустари при этом были забыты, и новая форма производства была перенесена с Запада готовою. В стране без капиталов, без рабочих, без предпринимателей и без покупателей эта форма могла держаться только искусственными средствами и привилась лишь благодаря продолжительному и усиленному покровительству»[3].

При Екатерине государство тоже вмешивалось в жизнь общества. Правда, сфера этого вмешательства, как и методы внедрения новшеств, были различными: Петр перенимал с Запада экономические структуры и новшества в устройстве государственного механизма. В итоге в крепостной России сложилась особая форма мануфактурного производства с применением крепостного труда, несвойственного капиталистическим предприятиям.

Примерно аналогичную ситуацию мы наблюдаем при перенесении идей французского просвещения, то есть по существу буржуазной идеологии, в Россию, где безраздельно господствовали крепостнические порядки. Екатерина Великая,

подобно Петру, насаждала в России не производство, а идеологию, свойственную буржуазному обществу, в то время как страна еще не созрела для их спонтанного возникновения и распространения. Напротив, в России существовали объективные условия для развития крепостничества вширь и вглубь. Именно в этом противоречии, а не в личных качествах императрицы кроется суть эпохи — несовместимость развивавшихся крепостнических отношений с идеологией Просветительства.

Эти противоречивые тенденции развития страны проявлялись и в социально-экономической политике: объявление свободы предпринимательства, отражавшей буржуазную политику, уживалось с укреплением сословной структуры общества и предоставлением обширных привилегий дворянству; укрепление крепостнического режима сочеталось с запрещением мануфактуристам покупать крепостных крестьян, то есть с мерой, содействовавшей развитию капитализма; свобода вероисповедания, являвшаяся одним из признаков буржуазной идеологии, сопровождалась преследованиями инакомыслящих, то есть мерой, свойственной феодальному обществу.

В эти противоборствующие тенденции включалась третья сила — боязнь императрицы за судьбу трона, опасение пойти наперекор интересам дворянства — понадобилось целое столетие, чтобы дворянство убедилось в пагубности влияния вотчинного режима на хозяйство страны. Там, где императрице удавалось в большей мере учитывать реалии жизни общества, то есть не ущемлять интересы дворян (областная реформа, жалованные грамоты и др.), ей сопутствовало значительно больше удач, чем, например, при реализации идей «Наказа» и Уложенной комиссии.

Екатерине Великой принадлежит выдающееся место в истории России второй половины XVIII века. Эта немка оказалась более русской, чем, например, русские императрицы Анна Ивановна и Елизавета Петровна. Именно ее рассудительности, осторожности и отваге страна обязана как внешнеполитическими успехами, так и реализацией идей Просвещения.

В последнее время интерес историков ко времени Екатерины II значительно возрос. Среди трудов, абсолютно не схожих по тематике, выделяются научными достоинствами монография О. А. Омельченко «„Законная монархия“ Екатерины II» и обширная статья биографического жанра М. А. Рахматуллина, напечатанная в двух номерах журнала «Отечественная история», — «Непоколебимая Екатерина».

Автор считает необходимым сделать одну оговорку: во многих случаях им высказаны суждения и оценки, не

совпадающие с общепринятыми. Однако мы не сочли возможным вступать в полемику ни с отечественными, ни с зарубежными историками, ибо эта полемика, утяжеляющая текст, представляет интерес лишь для узких специалистов, а не для широкого круга читателей, для которого и написана эта книга.

Считаю приятным долгом поблагодарить журнал «Родина», опубликовавший в 1995–1998 годах в сокращенном виде текст настоящей книги.

Часть I. Под скипетром Екатерины

Глава I. Великая княгиня Екатерина Алексеевна

25 декабря 1761 года старейший сенатор Никита Юрьевич Трубецкой, выйдя из покоев, где в четвертом часу испустила дух императрица, объявил вельможам, томившимся во дворце в скорбном молчании: «Ее императорское величество государыня императрица Елизавета Петровна изволила в Бозе опочить». Императрице только что исполнилось 52 года. Столь ранняя смерть, вероятно, наступила вследствие неупорядоченного режима жизни: у нее не было определенного времени ни для сна, ни для еды, ни для работы, ни для развлечений. Любопытные подробности на этот счет сообщил секретарь французского посольства Клавдий Карломан де Рюльер: «Она не смела засыпать прежде утра, потому что сама была возведена на престол заговором, который удался благодаря темноте ночной. Она так боялась быть застигнутой врасплох во сне, что приказала разыскать такого из своих подданных, который имел бы самый чуткий сон, и этот человек, по счастью уродливый, проводил в комнате императрицы все время, покуда она почивала»[4].

Императрица, видимо, страдала спазмом сосудов. Первый припадок зарегистрирован осенью 1744 года. Случались они и позднее, но без ощутимых последствий. Временами она беспрекословно внимала предписаниям врачей, строго соблюдала диету и безотказно употребляла всякие снадобья, но обычно указания врачей совершенно игнорировала.

Наиболее обстоятельные сведения о здоровье императрицы можно почерпнуть из писем великой княгини Екатерины Алексеевны английскому послу Ч. Уильямсу (в «Записках» императрицы об этом нет ни слова). Самый сильный приступ случился 8 сентября 1756 года. В этот день Елизавета Петровна отправилась в приходскую церковь в Царском Селе. Едва началась обедня, как императрица почувствовала себя дурно и молча вышла из церкви. Сделав несколько шагов, она потеряла сознание и упала на траву. Никто из свиты ее не сопровождал, и она долгое время пролежала безо всякой помощи в окружении толпы окрестных крестьян. Наконец, появились придворные дамы и доктора, принесли ширму и канапе и тут же пустили кровь. Процедура не помогла. Все это продолжалось свыше двух часов, после чего императрицу унесли на канапе во дворец, где, в конце концов, ей вернули сознание и выходили. И потом хворь навещала ее довольно часто: то ее лихорадило, то шла кровь

носом. Почти весь 1761 год она провела в покоях, где принимала министров и давала распоряжения. Когда ей становилось легче, она не ограничивала себя в еде, после чего случались болезненные припадки. В июле произошел сильный приступ, на несколько часов лишивший Елизавету сознания. Хотя после этого ей стало немного легче, ее состояние не вызывало сомнений — она медленно угасала. 23 декабря врачи признали положение безнадежным, и на следующий день императрица, будучи в сознании, со всеми прощалась.

5 января 1762 года (25 декабря по старому стилю) граф Мерси д'Аржанто доносил императрице Марии-Терезии о подробностях смерти Елизаветы Петровны: «Припадок, которым началась болезнь русской императрицы, повторился с ее величеством в ночь с 3 на 4 число этого месяца и притом так сильно, что она несколько часов лежала изнеможенная, как бы при последнем издыхании, после чего наступило истощение всего организма при постоянной потере крови из различных органов тела. 4 числа поутру государыня приобщилась св. Тайн и, наконец, сегодня между 3 и 4 часами пополудни скончалась». Вечером, накануне кончины, она пригласила к себе великого князя и великую княгиню и потребовала от наследника, чтобы тот пообещал «при ее последних минутах не обижать в особенности графа Разумовского и камергера графа Шувалова»[5]. На следующий день император Петр Федорович принимал поздравления по случаю восшествия на престол.

Согласно свидетельству датского дипломата Андреаса Шумахера, воцарение Петра III прошло спокойно, хотя были приняты на первый взгляд непонятные меры предосторожности: за 24 часа до кончины императрицы гвардейские полки были поставлены под ружье, улицы патрулировали усиленные наряды солдат, удвоена стража у дворца, закрыты кабаки. Эти меры не были лишними, если учесть отношение Елизаветы Петровны к своему племяннику. Императрица не только имела намерение лишить его права на трон, но и реализовала его: в завещании престол передавался Павлу Петровичу, а регентшей на время несовершеннолетия императора объявлялась его мать, великая княгиня Екатерина Алексеевна. «Однако после смерти государыни, — продолжает Шумахер, — камергер Иван Иванович Шувалов вместо того, чтобы распечатать и огласить это завещание в присутствии Сената, изъял его из шкатулки императрицы и вручил великому князю. Тот якобы немедленно, не читая, бросил его в горящий камин»[6]. Утверждение о предании огню завещания сомнительно, но то, что Петра Федоровича могли лишить прав на престол, кажется вполне

вероятным. Только этим и можно объяснить меры предосторожности.

Изначальное имя нового императора звучало так: Карл Петр. Волею случая он стал наследником сразу трех монархов: шведского короля Карла XII, Петра Великого и герцога голштинского. Отсюда и два имени, данных младенцу при крещении. Его отец, герцог голштинский Карл Фридрих, претендент на шведскую корону, был приглашен в Россию еще до Ништадтского мира. Выдавая за герцога свою старшую дочь Анну Петровну, царь хотел использовать этот брак в качестве средства давления на Швецию. Свадьба состоялась в 1725 году, уже после смерти Петра. 10 февраля 1728 года Анна Петровна родила Карла Петра, а через три месяца, в возрасте 19 лет, скончалась (по версии Екатерины II, от чахотки).

После смерти отца в 1739 году одиннадцатилетний сирота оказался на попечении обер-гофмаршала Брюммера и обер-камергера Берхгольца, автора знаменитого «Дневника», который он аккуратно вел, находясь в свите герцога голштинского во время пребывания последнего в России. Брюммер отличался невежеством, грубостью, жестокостью и варварским отношением к воспитаннику: он морил его голодом, истязал и унижал. Одна лишь фраза исчерпывающе характеризует его педагогические способности: «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут; как бы я был рад, если бы вы сейчас же подохли»[7].

Совершенно очевидно, что при подобных педагогах Карл Петр не мог получить ни должного воспитания, ни образования. С малых лет наследный принц так пристрастился к муштре и ружейным приемам, что, по свидетельству Якова Штелина, ни о чем другом не хотел и слышать. Сколь сильно он был поглощен военными забавами, видно из следующего факта: когда на девятом году жизни он из унтер-офицеров был произведен в секунд-лейтенанты, то от радости лишился аппетита. При этом мальчик часто и подолгу хворал и рос хилым и болезненным.

После смерти Анны Ивановны кильский двор потерял всякую надежду на русский престол, и Карла Петра стали усиленно готовить к королевскому трону в Швеции — его обучали шведскому языку и воспитывали в лютеранских традициях. Воцарение Елизаветы Петровны кардинально изменило ситуацию. Став императрицей, она сразу же послала в Киль за Петром барона Николая Фридриха Корфа. Елизавета действовала столь энергично и оперативно не только потому, что голштинский герцог являлся единственным продолжателем рода Петра Великого. Карл Петр вполне мог стать шведским королем, и еще не укрепившаяся на троне Елизавета рисковала подвергнуться

шантажу со стороны Стокгольма. О нетерпении, с которым императрица ожидала прибытия в Петербург кильского ребенка, известно из двух писем, отправленных ею будущему наследнику в момент, когда тот еще был в пути. Елизавета поручила «объявить мое особливое желание, сколько я с беспокойством дожидаться приезду вашего княжеского высочества принуждена». Императрица не лукавила — ее действительно пугала перспектива похищения племянника, поэтому Корфу было велено везти его тайно, не заезжая в Берлин.

Наконец, в январе 1742 года отрок прибыл в Петербург. Императрица на радостях отслужила благодарственный молебен. Приехавший племянник оставил не самое благоприятное впечатление — выглядел бледным и болезненным. Тетушку (как известно, не отличавшуюся образованностью) поразила крайне слабая подготовка четырнадцатилетнего Карла Петра по части элементарных знаний[8].

Императрица сразу же определила к нему учителей русского языка и Закона Божьего. 17 ноября 1742 года он принял православие и в крещении был наречен Петром Федоровичем. Заботу о его образовании Елизавета возложила на академика Якова Яковлевича Штелина. Екатерина II, наблюдавшая за тем, как Штелин учил своего воспитанника, назвала того «шутом гороховым». Пожалуй, она была права, ибо академик вместо того, чтобы внушать подопечному мысль о необходимости обязательного усвоения ученых мудростей, просто приспосабливался к его капризам. По собственному признанию, Штелин обучал отрока следующим образом: «Когда принц не имел охоты сидеть, он ходил с ним по комнате взад-вперед и занимал его разговорами». Программа обучения отличалась странным своеобразием: Штелин видел главную задачу не в систематическом усвоении знаний, достигаемом упорным трудом, а в облегченном и поверхностном знакомстве ученика с оказавшимся под руками иллюстративным материалом. «Стараясь извлечь пользу, — доносил академик императрице о результатах своего педагогического усердия, — из каждого случая: например, на охоте просматривали книги об охоте с картинками… при кукольных машинах объяснен механизм и все уловки фокусников; при пожаре показаны все орудия и их композиции». Древняя история России изучалась по монетам, а новейшая — по медалям Петра Великого, выбитым по случаю важнейших событий его царствования. Подобную методику объяснить довольно трудно. Скорее всего, у академика отсутствовали педагогические навыки, а у его ученика — способности. При этом и в Киле, и в Петербурге одним из

важнейших достоинств монарха почитали умение танцевать и не жалели ни времени, ни сил на обучение танцам.

Главное внимание в распорядке дня великого князя уделялось развлечениям. На первом месте стояла игра в солдатики — увлечение, завезенное из Киля; затем — забавы, разговоры и шутки с прислугой. В итоге наследник рос не обремененным добродетелями. Он был труслив, скрытен, вспыльчив, капризен. Свою трусость он пытался прикрыть хвастливыми рассказами о якобы совершенных им подвигах. Не обладал он и твердыми религиозными убеждениями и до конца дней своих оставался скорее лютеранином, чем православным. Развитие его как бы замерло на уровне детского самосознания.

В то время как Петр Федорович предавался детским забавам и с грехом пополам постигал начала наук, в мелком немецком Ангальт-Цербстском княжестве подрастала его будущая супруга — София Фредерика Августа, появившаяся на свет 21 апреля 1729 года.

Почему выбор императрицы Елизаветы Петровны пал на дочь безвестного ангальт-цербстского князя Христиана-Августа, добывавшего средства к существованию службой у прусского короля сначала в должности командира полка, затем коменданта Штеттина, затем губернатора? Этому способствовало несколько обстоятельств. Одно из них состояло в привязанности императрицы к голштинскому дому, нежных воспоминаниях о женихе Карле, прибывшем в Петербург, чтобы стать супругом цесаревны, но неожиданно скончавшемся от оспы. Вторая причина носила более серьезный характер: у Елизаветы Петровны был широкий выбор невест для своего племянника, готовившегося стать наследником русского престола, но она остановилась на безвестной принцессе по соображениям, достаточно точно и убедительно обоснованным саксонским резидентом Пецольдом, зорко следившим за событиями придворной жизни в Петербурге. «Нашли самым лучшим, — писал он, — избрать в невесты великому князю такую невесту, которая была бы протестантской религии и хотя она из знатного, но столь малого рода, дабы ни связи, ни свита принцессы не возбуждали особенного внимания или зависти здешнего народа». Следовательно, рассуждала Елизавета Петровна, принцесса, не избалованная роскошью и облагодетельствованная в Петербурге, окажется послушной супругой, лишенной интереса к интригам и вмешательству в большую политику. Наконец, не последнюю роль сыграла и внешность принцессы — на доставленном императрице портрете она выглядела миловидной девушкой.

До тринадцатилетнего возраста, когда София Фредерика

Августа вместе с матерью появилась в России, историки располагают о ней скудными сведениями — княжеский род был столь скромным, что о родителях новорожденной, как и об их дочери источников не сохранилось: при дворе не вели камер-фурьерских журналов, а у современников супружеская пара не вызывала интереса, и они не запечатлели их жизнь в воспоминаниях. Известно лишь, что тридцатисемилетний полковник Христиан-Август женился на шестнадцатилетней голштингот-торпской принцессе Иоганне-Елизавете.

Их дочь Фике, как называли домашние Софию Фредерику Августу, не могла получить ни блестящего образования, ни воспитания, приличествующего княжескому роду. Объяснялось это отсутствием необходимых средств на содержание знающих и опытных учителей и гувернанток; в семье, помимо Фике, было еще четверо детей, которые росли болезненными и требовали дополнительного внимания. В характере матери причудливо сочетались властолюбие и пристрастие к развлечениям; с большим желанием она предавалась выездам, балам, путешествиям, маскарадам, оттеснявшим семейные заботы на второй план. В результате Фике росла в окружении отнюдь не родовитых сверстниц. Ее главной наставницей и воспитательницей была мадам Кардель, женщина, награжденная особым талантом. Став императрицей, Екатерина сохранила о ней добрую память: «Она почти все знала ничему не учившись; она знала как свои пять пальцев все комедии и трагедии и была очень забавна». Учителя обучали Фике немецкому языку, танцам, музыке. Как видим, объем знаний, приобретенный в детские годы, был весьма скромным — ее готовили к замужеству за каким-либо мелким князем, которых в тогдашней Германии было великое множество. И если ее знания выходили за рамки преподававшихся дисциплин, то этим она обязана госпоже Кардель, приохотившей воспитанницу к чтению. Поначалу Фике проявляла интерес к художественной литературе, а став взрослой — к произведениям французских просветителей и энциклопедистов. Что касается прочих наставников, то отзывы о них взрослой Фике не Отличались восторженностью: так, учитель чистописания Лоран был «глуп и пуст», хотя и «не даром брал деньги за уроки»; преподаватель немецкого языка был тоже глупым педантом.

Судьба свела будущих супругов — Екатерину II и Петра III — еще в детские годы, когда их родителям не приходила в голову мысль соединить подростков брачными узами. Это произошло в Эйтине, куда в 1739 году привезла Фике ее мать, любившая путешествовать. Екатерина вспоминала: «Я увидела Петра III в

первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине… Тут-то я слышала, как собравшиеся родственники говорили между собой, что молодой герцог склонен к пьянству и что приближенные не давали ему напиваться за столом; что он упрям и вспыльчив; что он не любит своих приближенных, особенно же Брюммера; что, впрочем, он довольно живого нрава, но болезненного сложения и слабого здоровья. Действительно, цвет лица его был бледным, он казался худым и нежного телосложения. Этому ребенку приближенные его хотели придать вид взрослого и для этого стесняли его и держали на вытяжке, что должно было сделать из него фальшивым, от внешнего вида до характера».

Полностью доверять этому свидетельству Екатерины вряд ли следует, ибо в нем видна естественная для нее предвзятость и стремление опорочить своего будущего супруга. Во-первых, вряд ли десятилетняя девочка могла столь глубоко постичь характер мальчика на год ее старше. Во-вторых, в свидетельстве Екатерины улавливаются противоречия: с одной стороны, она приписывает ему страсть к вину, а с другой — утверждает, что взрослые «держали его на вытяжке». Если последнее утверждение верно, то тогда сомнительно, что взрослые разрешали ему пить, хотя «и не давали напиваться за столом».

Вернемся, однако, к Фике. Камер-фрейлина ее матери, баронесса фон Принцен, говаривала о Софии Фредерике, что «никогда не угадала бы, что ей суждено приобрести знаменитость, какую она стяжала. В пору ее юности я только заметила в ней ум серьезный, расчетливый и холодный, но столь же далекий от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием. Одним словом, я составила себе понятие о ней, как о женщине обыкновенной».

Камер-фрейлина, надо полагать, не обладала такой проницательностью, чтобы выявить неординарные способности Софии и не считать ее женщиной «обыкновенной». Более наблюдательный граф Гюлленберд в 1740 году упрекнул мать Софии в том, что та уделяет мало внимания воспитанию дочери, «развитой не по летам», а во время повторной встречи в 1744 году назвал Фике пятнадцатилетним философом.

Живейшее участие в выборе невесты для наследника российского престола принял прусский король Фридрих II, заинтересованный в дружбе с Россией. «Из всех соседей Пруссии, — рассуждал он, — Русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная: она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии должны будут искать дружбы этих варваров». За десять дней до отъезда матери и

дочери Фридрих II в письме к Елизавете дал им самую лестную характеристику: «Я могу поручиться в их достоинствах. Молодая принцесса, при всей живости и веселонравии, которые свойственны ее возрасту, одарена отличными качествами ума и сердца»[9].

Вопреки обыкновению, в брачных делах великого князя Елизавета Петровна действовала решительно и быстро. Причиной тому был холмогорский узник Иоанн Антонович. Чтобы преградить ему путь к престолу, надлежало закрепить династические права на корону. В конце 1743 года принцессе было прислано приглашение прибыть в Петербург, а вместе с ним и вексель на изрядную сумму на дорожные расходы и экипировку. 10 января 1744 года принцесса Фике в сопровождении своей матери Иоганны-Елизаветы отправилась в путь. Ехали они в величайшей тайне — мать Фике по дорожным документам значилась графиней Рейнбек.

Ехать приходилось по плохим дорогам в небывало суровую зиму, ночевать — в гостиницах, больше напоминавших хлев. На территорию России путешественницы прибыли спустя две с лишним недели. Сразу началась новая жизнь: в Риге их встретили пушечными залпами, боем барабанов, звуками труб и литавр. Камергер императрицы Семен Кириллович Нарышкин передал им роскошный подарок — две собольи шубы. Повсюду, где проезжали Фике и ее мать, их встречали торжественными церемониями; глаз ласкали бархат, позолота, дорогие меха, готовность удовлетворить любую прихоть, заискивающие улыбки. Свои жалкие кареты путешественницы сменили на роскошные сани: «…они красные, выложенные серебряным галуном, внутри обиты соболями и полостями из шелковой ткани» — так писала Иоганна-Елизавета супругу, добавляя при этом: «Мне в мысль не приходит, чтоб все это делалось для меня, бедной, для которой в иных местах едва били в барабан, а в других и того не делают»[10].

3 февраля 1744 года императорские сани с путешественницами остановились у главного подъезда Зимнего дворца. После недолгого отдыха путешественницы направились в Москву, куда двумя неделями раньше въехал двор.

9 февраля, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, ангальт-цербстские гости прибыли в Москву. В тот же день принцесса Фике была представлена великому князю. «Восторг императрицы» — так выразительно отозвался об этом событии Я. Штелин. Действительно, императрица была очарована невестой и ее матерью. В свою очередь, Фике в России все очень понравилось, включая будущего супруга. «В течение первых

десяти дней он был очень занят мною» — позже вспоминала Екатерина II. То же самое отметила и ее мать в письме к мужу: «Наша дочь стяжала полное одобрение, императрица ласкает, великий князь любит ее»[11].

Взаимные симпатии продолжались недолго. При более близком знакомстве оказалось, что характеры будущих супругов совершенно несовместимы. «Я увидела ясно, — записывала Екатерина задним числом, — что он покинул бы меня без сожаления; что меня касается, то ввиду его настроения он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона». Великий князь тяготился ее обществом, предпочитая предаваться «своим обычным ребяческим забавам»[12].

Фике не прельщала праздная жизнь. Под руководством архимандрита Симона Тодорского она с усердием усваивала основы православной веры, а с учителем Василием Ададуровым занималась русским языком. Обходительность и внешняя доброжелательность Фике почти сразу же вызвали симпатии окружающих, и особенно императрицы.

Каждый свой шаг юная принцесса соразмеряла с возможными последствиями: «…ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше употребляла расположение общества, которое меня считало ребенком интересным и не лишенным ума».

Когда Фике опасно захворала, Елизавета Петровна проявила неподдельную тревогу и ежедневно навещала больную. Императрицу до слез тронуло то обстоятельство, что принцесса изучала русский язык по ночам и довела себя до истощения, что и привело к болезни. 28 июня 1744 года София Фредерика Августа приняла православие и отныне стала именоваться Екатериной Алексеевной. В этот день императрица подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей.

На другой день в Успенском соборе произошло обручение. Теперь Екатерину Алексеевну стали почитать великой княгиней и титуловать императорским высочеством. Все церемонии совершались в торжественной обстановке, в присутствии Сената, Синода и высших придворных чинов. Один за другим следовали новые знаки внимания императрицы: бриллиантовый браслет с миниатюрными портретами императрицы и великого князя, затем 30 тысяч рублей на карманные расходы.

Фике быстро преодолела расстояние, отделяющее ее от великой княгини, и вскоре уже могла позволить себе

расточительные расходы. По ее признанию, прибыв в Россию, она располагала «очень скудным гардеробом» из трех-четырех платьев, «и это при дворе, где платья менялись по три раза в день». Расточительность Екатерины вызвала резкое осуждение императрицы.

Чем ближе подходило время, когда помолвленные должны были стать под венец, тем чаще голову нареченной невесты одолевали мрачные мысли. Уравновешенной и рассудительной Екатерине противостоял вспыльчивый и вздорный Петр Федорович. С осени 1744 года, когда императрица заболела, занятия великого князя со Штелиным прекратились, и, по свидетельству наставника, его подопечный получил «свободу к праздности и фамильярному обхождению с своими служителями». Странное впечатление производила ребяческая откровенность жениха, заявившего своей невесте, что он влюблен в фрейлину императрицы, дочь статс-дамы Лопухиной, недавно сосланной в Сибирь, «что ему хотелось бы на ней жениться, но он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает»[13].

Если бы это был брак по любви, то вряд ли он когда-либо состоялся. Он — долговязый, узкоплечий и хилый юноша; она — девушка с привлекательной внешностью.

Осенью 1744 года великий князь, ослабленный путешествиями вместе с невестой из Москвы в Киев и обратно, трижды болел — сначала расстройством желудка, потом в ноябре — корью, а в следующем месяце на пути из старой столицы в Петербург захворал оспой. Петра Федоровича удалось выходить, но оспа настолько обезобразила его лицо, что невеста, увидев его первый раз после болезни, «чуть не испугалась». Он «очень вырос, но лицом был неузнаваем; все черты лица его огрубели, лицо еще все было распухшее и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы».

Вскоре началась подготовка к свадебным торжествам. Императрица решила отметить это событие с небывалой пышностью. Задолго до свадьбы, 16 марта 1745 года, был опубликован указ, повелевавший всем вельможам первых четырех классов, а также придворным кавалерам изготовить богатые платья и кареты, а также экипировку слугам, количество которых тоже регулировалось: например, «персонам» первых двух классов надлежало в каждой карете иметь по два гайдука, от восьми до двенадцати лакеев, по два скорохода и два егеря.

Готовился к свадьбе и великий князь — он брал уроки супружеской жизни у шведского драгуна. Выслушав наставления, наивный юноша поспешил поделиться ими с будущей супругой, и

та занесла их в свои «Записки»: «Жена не смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, и если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком»[14].

В пять часов утра в пятницу 21 августа 1745 года пушечные выстрелы из крепости и с кораблей, специально введенных в Неву, дали сигнал для сбора войск, построенных шпалерами от Зимнего дворца до Казанского собора, где должно было происходить венчание. Церемонии предшествовали трехдневные разъезды герольдов, сопровождаемых отрядами гвардейцев и драгун, под звуки литавр извещавших население о готовящемся обряде.

Празднества продолжались десять дней и завершились выводом на Неву знаменитого ботика Петра Великого — «дедушки русского флота».

Начались будни семейной жизни. Практически ничего не изменилось — те же ребяческие увлечения супруга, те же экзерциции, те же выходки, вызывавшие недоумение окружающих: то Петр через две недели порадовал супругу тем, что влюбился в фрейлину императрицы Карр, то вдруг его осенила мысль просверлить дыры в покои императрицы, где она принимала своего фаворита Алексея Разумовского. Наследник не только сам наблюдал за происходящим в покоях тетушки, но и приглашал заглянуть в дыру лиц из своего окружения. Проделка племянника стала известна императрице и вызвала редкой силы гнев.

Приведем свидетельства Штелина о времяпрепровождении великого князя. 1745 год: «Все употребляется на забавы, на пригонку прусских гренадерских касок, на экзерцицию со служителями и пажами, а вечерами на игру». 1746 год: в Ораниенбауме, где была сооружена крепость, «в первый раз высказалась страсть к военному в его высочестве устройству роты из придворных кавалеров и прочих окружающих великого князя…». Вечером и утром стрельба с вала крепости, ежедневные учения, маршировки.

К 1748 году относится свидетельство Екатерины об увлечении великого князя дрессировкой собак. Держал он их в чулане, расположенном рядом с покоями супруги, и той довелось «наслаждаться» запахами псарни. Ночью раздавались громкие команды и истошный лай собак, наказываемых дрессировщиком. «Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которою он

извлекал звуки из своего инструмента». В записи Штелина за этот год читаем: «Великий князь забывает все, что учил, и проводит время в забавах с такими невеждами, как Чоглоков».

В середине 50-х годов его покои по-прежнему были заполнены куклами и солдатами, изготовленными из дерева, глины, свинца и воска. Запершись, Петр Федорович играл в куклы до часу-двух ночи. Однажды супруга (дело было в 1753 году), придя к нему в кабинет, обнаружила посередине повешенную крысу, которая таким образом была наказана за уголовное преступление — крыса съела двух крахмальных часовых, поставленных у бастионов картонной крепости. Военный суд приговорил ее к повешению, что и было исполнено.

До 1755 года Петр Федорович лишь урывками встречался со своими земляками голштинцами. После прибытия в Россию голштинской роты великий князь проводил в их обществе многие часы и, по словам Екатерины, был «в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями»[15]. Если раньше он облачался в голштинский мундир украдкой, то теперь почти не расставался с ним и был вынужден переодеваться, лишь отправляясь на куртаг: великий князь знал, что императрица ненавидела и голштинцев, и все голштинское.

С возрастом у наследника появились еще две дурные привычки: он стал много пить и курить. Первое наблюдение Екатерины о пристрастии Петра Федоровича к вину относится к 1746 году, но пить он начал значительно раньше. Со временем пребывание во хмелю стало его обычным состоянием. Иногда он напивался допьяна, но запоями не страдал. В дни молодости он испытывал отвращение к табаку, но затем втянулся и, как говорится, не вынимал трубки изо рта, целыми часами вместе со слугами просиживая в донельзя прокуренной комнате. Свои попойки и перекуры в обществе егерей и лакеев великий князь объяснял стремлением подражать Петру Великому.

Историки черпают сведения о личности великого князя главным образом из мемуаров Екатерины II и княгини Е. Р. Дашковой, теснейшим образом причастных к свержению Петра III. Есть все основания критически относиться к этим источникам и подозревать их авторов в сознательном сгущении красок. Но те свидетельства, где речь идет о личности великого князя, в основных своих чертах, к сожалению, достоверны.

Они подтверждаются и другими источниками, в частности инструкцией супругам Чоглоковым, приставленным к великокняжеской чете для присмотра за нею.

У императрицы было два повода усиленно присматривать за

молодыми супругами. Первый вытекал из факта сверления дыр в ее покоях. Императрица рассудила, что предотвратить что-ли-бо подобное в будущем можно, лишь не спуская с племянника глаз и отслеживая каждый его шаг. Второй повод дала великая княгиня, ибо по истечении девяти месяцев с момента венчания у нее не проявилось никаких признаков того, что она вскоре произведет на свет горячо желанных наследника и наследницу. В результате 10 мая 1746 года А. П. Бестужев-Рюмин представил Елизавете инструкцию для «знатной дамы», главная задача которой состояла в строгом соблюдении условий, могущих способствовать приращению великокняжеской семьи. Ей полагалось наблюдение «брачной поверенности между обоими императорскими высочествами». Дама должна была внушить Екатерине мысль, что ее важнейшая обязанность, возведенная в ранг государственной задачи, состоит в том, «дабы желанный наследник и отрасль всевысочайшего императорского дома получена быть могла». Даме также вменялся присмотр за нравственностью Екатерины, для чего надлежало «всегда неотступно за нею следовать» и пресекать ее фамильярность с придворными кавалерами, пажами и лакеями, а также возможность передачи через них разного рода записок, устных поручений и пр. В одном из пунктов инструкции виден интерес ее составителя — проницательный Бестужев углядел в великой княгине активную натуру, склонную к интригам, поэтому ей было запрещено вмешиваться в «здешние государственные или голштинского правления дела». Переписываться ей разрешалось только через Коллегию иностранных дел, где составлялись письма, а Екатерине оставалось лишь поставить под ними свою подпись.

Иное содержание имели пункты инструкции, определявшие обязанности наставника за великим князем. Перечень запретительных мер в его отношении если не прямо, то косвенно обозначает свойственные ему пороки и дурные поступки. Ему предписывалось во время церковной службы соблюдать благоговение и благолепие, «гнушаясь всякого небрежения, холодности и индифферентности», и отдавать почтение членам Синода и всем духовным лицам. Эти меры были бы излишними, если бы великий князь не смеялся и громко не разговаривал в храме, не гримасничал во время богослужения. В этой связи приведем указ Елизаветы Петровны от 6 января 1749 года о наказании за разговоры в придворной церкви, который обязывал «наковать цепи с ящиками, какие обыкновенно бывают в приходских церквах, для знатных — медные позолоченные, для посредственных — белые луженые, для прочих чинов — простые железные»[16]. Не имелось ли здесь в виду поведение великого

князя, ибо кто из придворных, зная набожность императрицы, осмелился бы нарушить порядок в храме?

Пункт второй инструкции дает представление о том, что здоровье великого князя «при нежном его состоянии легко опасению подвержено». Отсюда рекомендация слушать наставления «лейб-медикусов» относительно рациона питания и поведения в теплую и холодную погоду. Существенно отличаются и пункты, определявшие отношения между супругами. Если великой княгине надлежало вести себя так, чтобы «сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи каким бы образом с ним в добром согласии жить», то в отношении великого князя наставнику надлежало следить, чтобы «в присутствии дежурных кавалеров, дам и служителей, кольми меньше же при каких посторонних что-либо запальчивое, грубое или непристойное словом или делом случалось».

Инструкция исключает всякие сомнения в пристрастии великого князя к детским забавам и в характере его отношений с окружающими. Наставник должен был «всемерно препятствовать чтению романов, игре на инструментах, егерями, солдатами или иными игрушками». Также запрещалось «протаскивание всяких бездельных вещей» в покои Петра Федоровича, а именно «палаток, ружей, барабанов и мундиров». Наследнику не разрешалось совершить «ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах». Ясно, что имелась в виду страсть юноши к гримасничанью и кривлянью. Напротив, он должен вести себя так, чтобы «любовь нации к себе приобресть мог». Для этого он должен «всегда серьезным, почтительным и приятным казаться»[17].

Иностранные наблюдатели также отмечали отклонения от нормы в поведении великого князя. В 1746 году французский дипломат доносил: наследник «склонен к вину, водится с людьми пустыми и его главная забава — кукольный театр». В следующем году прусский посол извещал своего короля: он, посол, сомневается, что великий князь когда-либо будет царствовать из-за слабого здоровья и поведения; «русский народ так ненавидит великого князя, что он рискует лишиться короны, даже в том случае, если бы она естественно перешла к нему по смерти императрицы». У Фридриха II тоже сложилось нелестное представление о Петре Федоровиче. В 1752 году он отзывался о нем так: «Великий князь чрезвычайно неосторожен в своих речах, по большей части в ссоре с императрицей, мало уважаем, вернее сказать, презираем народом и слишком уж занят своей Голштинией»[18]. Аналогичное мнение высказал французский посол маркиз Лопиталь в 1757 году.

По составлении инструкций встал вопрос, кого назначить наставниками к великокняжеской чете. Задача непростая, если учесть, что в XVIII веке нравы при дворе не отличались строгостью и супружеская неверность считалась заурядным явлением. Небезгрешная в этом плане императрица остановила выбор на своей любимице — статс-даме Марье Симоновне Чоглоковой, двадцатичетырехлетней красавице, матери двоих детей, умевшей, как тогда говорили, соблюдать «строгие правила в поведении». Наставником к великому князю императрица определила князя Василия Никитича Репнина, занимавшего эту должность недолго (он был лишен должности за то, что допустил появление при великом князе голштинской роты). Его место занял супруг Марьи Симоновны Николай Наумович Чоглоков. Супруги соблюдали инструкцию добросовестно и с рвением, что дало повод Екатерине весьма неодобрительно отозваться о них в своих записках. Свою обер-гофмейстерину она считала дамой «глупой, злой, корыстолюбивою», а гофмаршала Чоглокова называла «гордым и глупым дураком».

Наличие наставников в той или иной мере сдерживало свободу действий великокняжеской четы, особенно Екатерины, но супруги, постигнув слабости своих надзирателей, находили средства усыплять их бдительность. Так, Екатерина, которой запрещено было самой писать письма кому бы то ни было, ухитрилась-таки через заезжего кавалера получить письмо от матери и через него же отправить ответ. Хранительница «брачной поверенности» Чоглокова следила за каждым шагом Екатерины и готова была пресечь любую ее попытку завести любовника. Но шли годы, а желанный продолжатель рода все не появлялся на свет. Не помогло даже выраженное императрицей через Чоглокову недовольство бездетностью Екатерины, которую считали виновницей семейной трагедии.

Тогда Чоглокова, то ли сама проникшись заботой об интересах государства, то ли получив соответствующую инструкцию от Елизаветы, то ли, наконец, вкусив сладость измены супругу, завела разговор с великой княгиней о необходимости обзавестись любовником. Если верить мемуарам Екатерины, в 1753 году Марья Симоновна якобы сама спросила у нее, кому из двух возможных кандидатов она отдаст предпочтение: Сергею Салтыкову или Льву Нарышкину. Для великой княгини этот вопрос был риторическим, ибо она уже несколько месяцев находилась в интимной связи с Сергеем Васильевичем Салтыковым, роман с которым начался весной 1752 года.

Общеизвестно, что матушка Екатерина отличалась

любвеобилием. Ее своего рода мужской гарем насчитывал свыше двух десятков только зафиксированных источниками фаворитов. Этот список открыл красавец Сергей Салтыков.

В «Записках» Екатерина запечатлела собственное мнение о своих женских чарах. В 1750 году на одном из публичных маскарадов она поразила всех, включая императрицу, своей внешностью: «Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась и полагаю, что в этом и была моя сила». В другом месте своих мемуаров она писала, что от природы была «одарена очень большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере очень интересной, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда»[19]. Впрочем, в глазах дамского угодника и повесы француза Фавье, знавшего толк в женщинах и прибывшего в Петербург в 1760 году, Екатерина выглядела не столь неотразимой: «Никак нельзя сказать, что красота ее ослепительна: довольно длинная, тонкая, но не гибкая талия, осанка благородная, но поступь жеманная, не грациозная; грудь узкая, лицо длинное, особенно подбородок; постоянная улыбка на устах, но рот плоский, вдавленный; нос несколько сгорбленный; небольшие глаза, но взгляд живой, приятный; на лице видны следы оспы. Она скорее красива, чем дурна, но увлечься ею нельзя»[20].

Впрочем, кокетливая императрица все же удержалась от чрезмерного самовосхваления — отзывы современников в общих чертах совпадают с ее собственными. В глазах английского дипломата Джона Бекингема тридцатитрехлетняя Екатерина выглядела так: «Черты лица ее далеко не так тонки, чтобы могли составить то, что считается истинною красотою, но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные каштановые волосы создают в общем такую наружность, к которой очень немного лет назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно».

Когда в те времена даме переваливало за пятьдесят, она считалась старухой — здоровье подрывалось ежегодными родами. Екатерине удалось сохранить привлекательность и в этом возрасте. Современник писал: «Екатерина II среднего, скорее большого, чем маленького роста, она только кажется невысокою, когда ее сравниваешь с окружающими русскими высокими людьми. Она немного полна грудью и телом, у нее большие голубые глаза, высокий лоб и несколько удлиненный подбородок. Так как ей теперь 52 года, то и нельзя ожидать юношеской красоты. Но она всего менее некрасива, напротив, в чертах ее

лица, еще много признаков ее прежней красоты, и в общем видны знаки ее телесной прелести»[21].

Недостатка в фаворитках не испытывал и великий князь. С его необыкновенной способностью влюбляться он их менял довольно часто, причем неизвестно, в сколь близких отношениях он с ними находился. Вслед за фрейлинами Лопухиной и Карр предметом его обожания стала младшая дочь Шафирова Марфа Исаевна, ее место заняла девица Корф, которую затем сменила Теплова. Самую продолжительную привязанность Петр Федорович питал к Елизавете Воронцовой, чрезмерно полной, некрасивой и крайне неприятной фрейлине.

20 сентября 1754 года произошло событие, круто изменившее положение Екатерины, — она наконец родила сына, нареченного Павлом. Иные придворные, наблюдавшие семейную жизнь великокняжеской четы, шепотом поговаривали, что младенца по батюшке надлежит величать не Петровичем, а Сергеевичем.

Сомнения насчет своего отцовства одолевали и Петра Федоровича. В передаче Екатерины, однажды он публично заявил: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я принять его на свой счет»[22]. Три года спустя, 9 декабря 1757 года, Екатерина родила дочь Анну. В это время ее фаворитом был уже граф Понятовский — при дворе сочли, что Салтыков сделал свое дело, и его отправили резидентом за границу.

Когда родился Павел, императрица одарила роженицу 100 тысячами рублей; около полугода двор отмечал появление наследника разного рода увеселениями. Однако императрица сразу же отобрала новорожденного у матери, и та увидела его лишь 40 дней спустя. Любопытна судьба елизаветинского подарка: узнав о нем, Петр Федорович почувствовал себя обойденным и потребовал себе такую же сумму. Так как казна была пуста, обратились к Екатерине с просьбой одолжить подарок. Долг так и не был возвращен, и мать наследника в конце концов сама осталась без подарка.

После рождения Павла Елизавета Петровна охладела к великокняжеской чете. В «Записках» Екатерина сообщает о том, что императрица не могла пробыть с Петром Федоровичем «нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения», называла его дураком или пользовалась выражениями: «проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более» или «племянник мой урод, черт его возьми».

Сомнения в правдивости Екатерины рассеиваются свидетельствами самой императрицы. Кабинет-секретарю

Черкасову Елизавета писала: «Сожалею, что не токмо разума не достает, но и памяти лишен племянник мой». Тяготился своим положением при дворе и Петр Федорович. Он просил у Елизаветы разрешения жить в Ораниенбауме: «Если я не оставлю эту прекрасную придворную жизнь и не буду наслаждаться, как хочу, деревенским воздухом, то наверно издохну здесь от скуки и от неудовольствия». Тетушке нетрудно было догадаться, что племянника влекло в Ораниенбаум желание предаваться военным играм с полюбившимися ему голштинцами. Не получив разрешения, Петр обратился с просьбой к И. И. Шувалову, чтобы тот выхлопотал ему двухлетнюю поездку за границу: «…не дайте мне умереть с горя; мое положение не в состоянии выдержать моей горести, и хандра моя ухудшается день ото дня»[23].

Особое недовольство двора вызвала позиция великокняжеской четы в отношении участия России в Семилетней войне как противницы Пруссии. На подозрении у Елизаветы оказался не только ярый поклонник Фридриха II Петр Федорович, но и Екатерина, по сведениям императрицы, принимавшая участие в придворных интригах на стороне фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина и его приятеля канцлера Бестужева-Рюмина.

Известно, что в самом начале войны армия под командованием Апраксина победила пруссаков под Гросс-Егерсдорфом, но фельдмаршал вместо преследования противника предпринял отступление, напоминавшее бегство. Партия Шуваловых — Воронцова толковала этот факт по-своему — поговаривали об измене Апраксина. По совету Бестужева Екатерина направила фельдмаршалу письмо с мольбой возобновить наступление. Воспользоваться советом Апраксин не сумел — он был смещен с должности главнокомандующего, и лишь внезапная смерть избавила его от позорного суда.

Положение Екатерины усугубилось арестом Бестужева. Если у Апраксина было обнаружено лишь вышеупомянутое письмо Екатерины и несколько записок, не содержавших ничего предосудительного, то среди бумаг канцлера можно было найти немало компрометирующих ее материалов. Великая княгиня встревожилась не на шутку, однако опытный вельможа накануне ареста сумел уничтожить все документы, содержавшие улики. Более того, находясь под арестом, Бестужев нашел способ известить Екатерину об уничтожении бумаг. Успокоившись, Екатерина решила сама перейти в наступление. С целью прорыва блокады она направила письмо Елизавете Петровне с просьбой отпустить ее на родину к матери.

Расчет строился на хорошем знании психологии

императрицы. Екатерина рассудила, что Елизавета не станет выставлять свой двор на глазах всей Европы в крайне невыгодном свете. В конечном счете так и случилось. Елизавета Петровна решила пригласить Екатерину к себе для беседы. Однако ждать аудиенции пришлось шесть недель, в течение которых недруги великой княгини и Бестужева тщетно пытались обнаружить улики против них. При личной встрече ночью 24 апреля 1758 года Екатерина расположила императрицу в свою пользу. И хотя эта победа не дала великой княгине сиюминутных выгод, она внесла в ее жизнь успокоение и веру в неотразимую силу терпения как главного средства для достижения цели.

Сведения о болезни императрицы, как их ни скрывали, все же проникли в покои Екатерины и заставили ее задуматься. Если верить «Запискам», тревожная мысль о безрадостном будущем впервые пришла ей в голову только в 1758 году. Именно под этим годом она записала рассуждение о трех вариантах своей судьбы: «Во-первых, делить участь его императорского высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть вместе с ним или через него или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной».

Все эти рассуждения — от лукавого. Уже в 1756 году она вынашивала план вполне конкретных действий: устранение с престола будущего императора (своего супруга) путем заговора. О существовании подобных намерений мы узнаем из переписки Екатерины с английским послом Чарльзом Уильямсом. Эта переписка заслуживает того, чтобы сообщить о ней дополнительные подробности.

Уильямс принадлежал к тем немногочисленным людям, которым осторожная Екатерина могла раскрыть свою главную тайну — желание царствовать. Их переписка, относящаяся к 1756–1757 годам, была окутана глубокой тайной: великая княгиня заранее условилась с послом, что ее письма по прочтении он будет ей же и возвращать. Чопорный сэр Чарльз внешне будто бы соблюдал эти обязательства и письма отдавал аккуратно, но предварительно снимал с каждого из них копию. Историкам впору поклониться коварному Уильямсу: именно благодаря ему бесценный источник оказался в английском архиве.

Великая княгиня использовала еще одну уловку, на этот раз

крайне наивную: автор писем по ее воле превратился в лицо мужского пола: «Я получил через курьера…», «Я услышал…» и т. п. Вряд ли подобная «конспирация» могла уберечь Екатерину от роковых неприятностей, если хотя бы одно из писем попало во враждебные руки.

Еще жива была императрица, еще Петр Федорович не был провозглашен императором, а Екатерина так, на всякий случай, уже в августе 1756 года примеряла корону на свою голову и готова была пойти на дворцовый переворот. Из одного письма мы узнаем, что она полна решимости «погибнуть или царствовать», в другом великая княгиня заявляла: «Я буду царствовать или погибну».

План Екатерины, по-видимому, был навеян сведениями о действиях Елизаветы в 1741 году и чтением книг по истории стран Западной Европы. Замышляя военный переворот, Екатерина уже в то время умела блефовать. Получая от Уильямса финансовые субсидии, она пыталась создать у своего корреспондента уверенность, что подготовка к перевороту идет полным ходом и английские денежки тратятся не напрасно. В письме от 9 августа 1756 года Екатерина рассуждала: «…всякий насильственный переворот должен совершиться в два или три часа времени». 11 августа великая княгиня убеждала Уильямса в том, что в переворот уже вовлечены многие влиятельные лица: «Я занят формированием, обучением и привлечением разного рода пособников для события, наступления которого вы желаете. В моей голове сумбур от интриг и переговоров»[24]. На самом деле Екатерина водила англичанина за нос — в 1756 году все ее утверждения о подготовке к перевороту были попросту плодом ее пылкого воображения.

Перевороты в пользу Елизаветы и Екатерины Великой имеют между собой много сходного. Главная их общая черта не нова и берет начало с момента воцарения Екатерины I — решающая роль гвардии. И в ноябре 1741 года, и в июне 1762-го во главе заговора лично встали претендентки на трон (причем степень личного участия Екатерины II была на порядок выше, чем ее предшественницы). И Елизавета, и Екатерина использовали иностранные субсидии.

Вместе с тем в перевороте в пользу Екатерины есть одна особенность, по своему значению перекрывающая указанные выше элементы сходства. Все предшествующие претенденты и претендентки имели хоть какие-то права на престол. Екатерина же Алексеевна, будучи чужеродным телом в родословии Романовых, никаких юридических оснований на занятие трона не имела. И если для участия в столь рискованном предприятии

охотников нашлось более чем достаточно, то это следствие всеобщего недовольства и ненависти персонально к Петру Федоровичу.

Переворот 1762 года отличала от прочих и его продолжительность — если для свержения Бирона или Иоанна Антоновича понадобилось несколько ночных часов, то здесь процедура взятия власти заняла более двух суток: все началось в пять утра 28 июня и завершилось в час дня 30 июня, когда взятый под стражу свергнутый император был доставлен в Петергоф.

Если в 1740 и 1741 годах претенденты имели дело с грудным младенцем, то Екатерине довелось противостоять взрослому императору, который теоретически мог опереться на армию и оказать вооруженное сопротивление притязаниям супруги. Ввиду продолжительности переворота участие в нем (правда, пассивное) приняло и население столицы Российской империи.

Знакомство великой княгини с гвардейскими офицерами, способными проложить ей путь к трону, относится к весне 1759 года, когда в Петербурге появился Григорий Григорьевич Орлов, один из пяти братьев, отличавшийся красотой, отчаянной удалью и известный громкими любовными похождениями. Он снискал уважение солдат во время сражения под Цорндорфом, когда, получив три ранения, не оставил своего поста. В своих амурных делах он был необычайно дерзок: будучи адъютантом у генерал-фельдцейхмейстера П. И. Шувалова, он увлек его любовницу Елену Куракину. Только преждевременная смерть генерала избавила Орлова от серьезных неприятностей. Вскоре Григорий стал известен и Екатерине. Именно через него великая княгиня установила связь с гвардейцами.

Орлов использовал свое влияние на приятелей-офицеров, с которыми частенько бражничал; он убеждал их, что от великого князя добра ждать не приходится: Петр Федорович публично огорчался победами русского оружия над пруссаками, при каждом удобном случае демонстрировал свое преклонение перед Фридрихом II, грозил распустить гвардию, называл гвардейцев янычарами.

При Петре Великом созданная им гвардия стала самой боеспособной частью русской армии. После его смерти гвардейские полки (число которых при Анне Ивановне достигло трех) утратили прежнюю репутацию и постепенно превратились в изнеженное воинство, не принимавшее участия в военных действиях и служившее для охраны императорских резиденций, эскортирования царских выездов, парадных шествий и т. п. «Их боеготовность, — писал датчанин Шумахер, — была очень низкой, за последние двадцать лет они совершенно разленились,

так что их скорее стоит рассматривать как простых обывателей, чем как солдат. По большей части они владели собственными домами, и лишь немногие из них не приторговывали, не занимались разведением скота или еще каким-либо выгодным делом. И этих-то изнежившихся людей Петр III стал заставлять со всей мыслимой строгостью разучивать прусские военные упражнения»[25]. Заметим, что эти бесполезные для боевой выучки занятия доставляли императору истинное наслаждение, и он лично бил провинившихся тростью за всякое нарушение во время изнурительных вахтпарадов. Одним словом, гвардия представляла благодатную почву для противников коронованного самодура.

Второй силой, на которую опиралась Екатерина, стали вельможи. Их было немного, но при дворе они пользовались огромным влиянием. Среди них выделялся сорокадвухлетний граф Никита Иванович Панин, враг Шуваловых, именно по этой причине оказавшийся не у дел. «Меня уверяли, что Панин умный человек. Могу ли я теперь этому верить?» — вопрошал Петр Федорович, пожаловавший Никите Ивановичу после своего воцарения чин генерал от инфантерии. Панин от пожалования отказался, ибо новый чин обязывал его участвовать в военных экзерцициях, от которых не освобождались даже высшие армейские чины. В ходе частых бесед Екатерина и Панин сошлись во мнении о необходимости устранить Петра III от правления; в то же время Панин хотел видеть на троне своего воспитанника Павла Петровича, Екатерина же мечтала о собственном восшествии на престол.

Вторым вельможей, на которого Екатерина вполне могла опереться, был украинский гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, младший брат елизаветинского фаворита, занимавший одновременно должность командира Измайловского полка, в котором служили братья Орловы. У Кирилла Разумовского были свои резоны держать сторону Екатерины: в молодые годы он был ее тайным воздыхателем, но не решился объявить ей о своих чувствах; он жил в ожидании неприятностей от нового императора — при дворе поговаривали о назначении гетманом Украины фаворита Петра III Гудовича.

Нельзя не упомянуть и Екатерину Романовну Дашкову. Скептики возразят: способна ли была хрупкая девятнадцатилетняя дама сыграть серьезную роль в таком рискованном и чисто мужском деле, как организация заговора? Оказалось, способна. В оценке ее участия в перевороте существуют два несхожих взгляда. Один из них принадлежит самой Дашковой и представлен в ее «Записках». Если полностью

доверять мемуаристке, то она явилась чуть ли не руководителем заговора. По ее версии, именно она велела доставить императрицу из Петергофа в столицу. Один из Орловых пришел к ней спросить, не рано ли это делать. «Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова, — вспоминала Екатерина Романовна, — и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания»[26].

Надо полагать, юная Дашкова слишком афишировала свое участие в перевороте, что раздражало императрицу. Только этим можно объяснить появление следующих строк в письме Екатерины II Станиславу Августу Понятовскому, написанном по горячим следам 2 августа 1762 года: «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя и желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести по причине своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что всё ко мне проходило через ее руки, однако все лица, бывшие в заговоре, имели сношения со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена… Приходилось скрывать от княгини пути, через которые другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последние недели ей сообщали так мало, как только могли»[27].

Истина, как всегда, где-то посередине. Значение услуг Дашковой при возведении на трон Екатерины II отрицать не приходится — она была вхожа в дома вельмож и обладала связями, которых так недоставало заговорщикам. Проницательная Екатерина угадала в Дашковой и наличие недюжинного таланта, и готовность выполнять любые поручения.

Еще одной силой, более всего способствовавшей успеху Екатерины, был сам император. Тысячу раз прав был камергер Пассек, говоря, что у Петра III «нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрегает ничем, что могло ему повредить». Сдается, император будто бы нарочно делал все, чтобы восстановить против себя двор, большинство вельмож и даже население столицы, до которого доходили разного рода слухи о его странностях. Напротив, умная супруга делала все, чтобы создать о себе самое благоприятное впечатление.

После восшествия на престол Петр III обрел полную свободу действовать в соответствии со своими капризами. Он быстро вошел в роль самодержца, но странности в его поведении обнаружились сразу же после того, как гроб с телом покойной Елизаветы Петровны был выставлен для прощания. В то время как Екатерина в скорбном молчании истово молилась и отбивала поклоны усопшей, Петр вел себя самым непристойным образом,

превращая всю церемонию в фарс. По свидетельству Дашковой, «Петр III являлся крайне редко и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами, поднимать на смех духовных лиц и придираться к офицерам и унтер-офицерам по поводу их пряжек, галстуков или мундиров». То же самое утверждал и служивший при русском дворе итальянец Мизере, то и дело отмечавший в дневнике, что в дни прощания с покойной императрицей, а также после ее похорон Петр Федорович не соблюдал траура, проводя время в кутежах, после которых дня по два приходил в себя, обедах, устройстве фейерверков и т. д.[28].

Пристрастие Петра Федоровича к вину превратилось в откровенное пьянство и вызывало чувство удивления и омерзения не только у иностранцев, но и у русских людей. В течение шести недель, пока императрица лежала в гробу, свидетельствовал иностранный наблюдатель, Петр III «целые ночи проводил с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршестве и пьянстве». «Жизнь, которую ведет император, — доносил иностранный дипломат, — самая постыдная; он проводит свои вечера в том, что курит, пьет пиво и не прекращает эти оба занятия иначе, как только в пять или шесть часов утра и почти всегда мертвецки пьяным». Еще один иностранец подтверждал, что «двор приобрел вид и тон разгулявшейся казармы».

Автор знаменитых мемуаров Андрей Тимофеевич Болотов служил при Петре III помощником начальника столичной полиции и в силу своего служебного положения мог наблюдать жизнь двора изнутри. Он подтверждает свидетельства иностранцев: Петр III «редко бывал трезв и в полном уме и разуме»; напившись, он молол всякий вздор и «нескромицу». У Болотова при этом «сердце обливалось кровью от стыда пред иностранными министрами». Однажды, рассказывает Болотов, изрядно выпившая за обедом компания во главе с императором вышла в сад и стала там забавляться, «как малые ребятки»: «прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкали своих товарищей. Подобным образом развлекались все первейшие в государстве люди, украшенные орденами и звездами»[29].

Всех вельмож в царствование Петра III пугала в первую очередь неуверенность в завтрашнем дне, тревога за свою карьеру, ибо никому не ведомо было, какая мысль осенит взбалмошную императорскую голову. Это обстоятельство подметил австрийский посол граф Мерси д'Аржанто, сообщавший о щедрых пожалованиях по случаю дня рождения императора: «Даже те, на долю которых выпала большая часть высочайших милостей, не находят в них достаточных причин для спокойствия

на будущие времена». Исключения не составляла и фаворитка Елизавета Романовна Воронцова, привязанность императора к которой не подлежит сомнению, — в зависимости от его настроения безграничное расположение к ней могло смениться гневом и угрозой ареста.

Подобные поступки императора привели к тому, что в высшем эшелоне власти совершенно не осталось людей, беззаветно преданных ему и готовых встать на защиту его прав на корону.

Особые отношения сложились у императора с гвардией. По восшествии на престол он заменил лейб-компанию, созданную императрицей Елизаветой, гвардией из голштинцев. Между тем лейб-компанцы справедливо полагали, что именно они, возведя на трон Елизавету Петровну, проложили путь к короне и Петру III — не будь переворота, трон занимали бы потомки не Петра Великого, а Ивана Алексеевича.

Лейб-компания — ничтожная часть гвардии, но и у гвардейских полков было достаточно поводов для недовольства. И дело здесь не только в муштре или замене одноцветных зеленых мундиров на разноцветные (по образцу и подобию прусских), узкого покроя, неудобные в пользовании. Расшитые золотом мундиры стоили безумных денег, что также не нравилось офицерам.

Само преклонение Петра III перед Фридрихом II заслуживает более подробного рассказа. Петр Федорович нисколько не преувеличивал, когда в мае 1762 года писал прусскому королю: «Я убежден, что ни один из собственных подданных ваших не предан более моего вашему величеству». Коварный король также не скупился на хвалебные эпитеты в адрес российского императора: «человек, желанный небом», «интимный друг», «божественный монарх, достойный алтарей», «милостивое божество», человек с «божественным характером». Письма Фридриха изобличают человека, в совершенстве понявшего психологию своего адресата и знавшего способы воздействия на него. Льстивые слова прусского короля способны были вскружить и не такую слабую голову, как у Петра III. Император принимал комплименты за чистую монету и еще более привязывался к Фридриху. «Самая сильная страсть императора, — засвидетельствовал граф Мерси, — превышающая все остальные, это, бесспорно, его неограниченное уважение к королю прусскому». Эта страсть воплощалась в разнообразных поступках, как значительных, так и частного характера. К числу первых стоит отнести прекращение военных действий против Пруссии, заключение мира, отпуск пленных пруссаков без выкупа и

возвращение Фридриху II земель, занятых русскими войсками. Выше всего на свете Петр III ценил пожалованное ему прусским королем звание генерал-лейтенанта. Он хвастал, что поступил на прусскую службу еще пять лет назад в чине капитана, и верил «признаниям» Фридриха в том, что быстротой продвижения по службе обязан своим военным дарованиям. Дошло до того, что спущенному на воду русскому кораблю император присвоил название «Король Фридрих» (второму кораблю, спущенному на воду в том же мае 1762 года, он дал имя своего голштинского дяди — «Принц Георг»[30].

Петр III был подобострастен не только перед самим прусским королем, но и перед его уполномоченными. Он не принимал ни одного решения в делах внешней политики без консультации с полковником Бернгардом Гольцем. Болезненная привязанность российского монарха к Фридриху привела в замешательство даже прусского генерала Вернера, заявившего, что он «никогда не мог бы себе представить, что снисходительность и преданность русского императора к его королю заходит так далеко, если бы сам не был очевидцем этого».

Главная причина недовольства гвардейцев коренилась в крутом повороте внешней политики России. Одним росчерком пера Петр III свел к нулю все успехи, добытые кровью русских солдат и офицеров в Семилетней войне. Глухой ропот вызвало и намерение императора начать военные действия против недавней союзницы — Дании. Подобная политика вызвала недовольство со стороны Австрии и Франции, в коалиции с которыми Россия начинала Семилетнюю войну. В Манифесте о прекращении военных действий против Пруссии Петр III объяснял свою акцию миролюбием и стремлением прекратить кровопролитие, призывая союзников последовать его примеру; проявляя удивительную непоследовательность, он другой рукой подмахивал указы, готовившие страну к войне с Данией. Посчитав, что у него прорезался талант военачальника, он, в подражание Фридриху II, возложил на себя обязанности главнокомандующего. В этой войне русский император решил проливать кровь русских солдат за интересы герцога Голштинского, мечтавшего о возврате Шлезвига, отнятого у Голштинии за полстолетия до этого. Став императором в Петербурге, герцог из Киля не поднялся в своем сознании до уровня правителя мировой державы. Заняв трон, он готов был подвергнуть страну испытаниям, продиктованным тупым и упрямым рассудком. Искать логику в поступках императора, голова которого находилась под постоянным воздействием винных паров, — занятие столь же бесполезное, как и неблагодарное.

Для изнеженной гвардии, участие которой в войне с Данией было предрешено, бремя похода за тридевять земель и военные действия, чуждые интересам России, стали главным поводом для недовольства.

Не меньше оснований быть недовольными императором имели и духовные лица. Их раздражало кощунственное отношение императора к православной религии и ее обрядам, демонстративное издевательство над служителями церкви. Вот картина поведения Петра III в церкви, схваченная пером княгини Дашковой: «Император приходил в придворную церковь лишь к концу обедни; он гримасничал и кривлялся, передразнивал старых дам, которым он приказал делать реверансы на французский лад вместо русского преклонения головы»[31]. В Духов день 1762 года Петр вел себя в придворной церкви так, словно находился в своем кабинете: «…принимал иностранных министров и дворянство, ходил по церкви, как будто в своих покоях, взад и вперед, громко разговаривал с лицами обоего пола…» Широкие круги черного и белого духовенства резко враждебно отреагировали на указ Петра III о секуляризации церковного имущества. Изъятие населенных крестьянами вотчин у монастырей и церквей лишало тех и других доходов и беспечной жизни.

На первый взгляд отношение к Петру III дворянства выглядит странным. Казалось бы, это сословие должно было испытывать к нему чувство глубочайшей признательности за «Манифест о вольности дворянской», освобождавший дворянство от обязательной службы, и ряд других указов, изданных им в его пользу. Разве могла не вызвать одобрения дворян отмена указа 1721 года, разрешавшего владельцам крупных промышленных предприятий покупать к ним крепостных крестьян? Реализация же указа Петра III сулила дворянам немалые экономические выгоды — этим актом восстанавливалась их монополия на владение крепостными крестьянами; еще большую выгоду должны были извлечь дворяне-промышленники, так как предприниматели из купцов отныне принуждены были использовать исключительно труд наемных работников. Одобрение дворян должно было вызвать и упразднение внушавшей страх Тайной розыскных дел канцелярии. Но в массе своей и столичные, и провинциальные дворяне проявили по отношению к императору индифферентность. Отчасти это безразличие можно объяснить странными выходками императора, но главная причина коренилась в отсутствии сословной организации дворянства, способной оказывать хоть какое-то влияние на власти предержащие. Таким образом, Петру III

опереться было вообще не на кого, заговорщики же могли рассчитывать лишь на твердую поддержку гвардии.

После смерти Елизаветы Петровны Екатерина твердо усвоила мысль, что в создавшейся ситуации у нее нет иного пути, как вступить в схватку за власть с собственным супругом. Оказавшись на троне, император перестал соблюдать даже внешние приличия в отношении супруги, демонстративно игнорируя ее существование. На время отсутствия императора в столице в планировавшемся на май 1762 года датском походе создавался особый совет, в котором императрице места не нашлось. Более того, в Манифесте о восшествии Петра III на престол ни слова не сказано ни о его супруге, ни о наследнике. В тексте присяги вместо обычного обязательства быть верным его императорскому величеству, его супруге, наследнику и наследнице присягавший клялся быть верным подданным «по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследникам». Все это не сулило Екатерине ничего утешительного, что и подметил французский дипломат Бретейль в депешах, отправленных в январе 1762 года: «В день поздравлений с восшествием на престол императрица имела крайне унылый вид. Пока очевидно только, что она не будет иметь никакого значения… Император удвоил свое внимание к девице Воронцовой… Императрица в ужасном положении; к ней относятся с явным презрением. Она нетерпеливо сносит обращение с нею императора и высокомерие девицы Воронцовой. Не могу даже себе представить, чтоб Екатерина, смелость и отвага которой мне хорошо известны, не прибегла бы рано или поздно к какой-нибудь крайней мере. Я знаю друзей, которые стараются успокоить ее, но которые решатся на все, если она потребует»[32]. Екатерина уединилась, но сквозь ее затворничество проглядывала крайне осторожная и настойчивая забота о том, чтобы избежать заточения в каком-нибудь глухом монастыре. Императрица действовала старым, испытанным способом — совершала поступки, противоположные деяниям ее супруга: уклонялась от разгула, истово соблюдала каноны православной веры, подчеркивала свое уважение к духовным лицам, втихомолку осуждала затеянные супругом секуляризацию церковных владений и датскую войну. Общественное мнение все более склонялось в ее пользу.

Трудно сказать, сколь долго бы тлело возбуждаемое Петром III недовольство, если бы не эпизод, случившийся 9 июня и придавший решимость заговорщикам. В этот день имел место торжественный обед по случаю обмена ратификационными грамотами о мире между Россией и Пруссией, состоявшегося еще 24 мая: пылкий поклонник Фридриха II решил отметить

«событие» трехдневными празднествами. В присутствии четырехсот персон, в том числе иностранных министров, Петр предложил три тоста: за здоровье императорской фамилии, за здоровье прусского короля и в честь заключения мира. Первый тост надлежало произнести Екатерине. Когда она поставила бокал, к ней подошел Андрей Васильевич Гудович, генерал-лейтенант и любимец Петра, и по поручению императора задал вопрос, почему она не встала во время своего тоста. Императорская фамилия, отвечала Екатерина, состоит из императора, его сына и ее самой, поэтому она сочла вставание необязательным. После того как Гудович передал этот ответ императрицы, император заявил, что она дура и должна бы знать, что к императорской фамилии относятся и голштинские принцы.

Не будучи уверенным, что Гудович передаст его слова в точности, Петр Федорович громко, чтобы слышали все, произнес роковое слово «дура». У публично оскорбленной императрицы на глаза навернулись слезы. После обеда император велел арестовать супругу, но не выполнил своего обещания благодаря заступничеству принца Георга. «С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делались со времени смерти императрицы», — писала Екатерина своему бывшему фавориту Понятовскому 2 августа 1762 года. Вряд ли, однако, она поведала бывшему возлюбленному всю правду. Зная честолюбие императрицы, невозможно представить, чтобы она равнодушно взирала на события, происходившие вокруг нее до злосчастного июньского обеда.

Подозревал ли Петр III о нависшей над ним угрозе переворота? Император полностью исключал такую возможность и был убежден, что подданные искренне любят его. Между тем даже иностранным наблюдателям было известно, что в столице зреет «революция». Австрийскому послу Мерси какой-то «добрый друг», часто снабжавший его конфиденциальной информацией, еще в марте 1762 года сообщал о наличии в гвардии «между рядовыми сильного брожения, которое, по его мнению, может дать повод к возмущению»[33]. Но особую заботу о Петре III проявил его покровитель Фридрих II, крайне заинтересованный в сохранении русской короны на голове странного императора. На основе информации, получаемой прежде всего от Гольца, у короля сложилось впечатление, что трон под Петром Федоровичем весьма неустойчив. Фридрих советовал императору не отправляться на театр военных действий до своей коронации и предупреждал об угрозе заговора в пользу Иоанна Антоновича. Главный же совет короля состоял в том, чтобы, отправляясь на войну, Петр взял «в свою свиту всех ненадежных людей, могущих

злоумышлять против вас, и даже тех, кто сколько-нибудь подозрителен».

Император, всегда считавшийся только с самим собой, остался глух даже к предупреждениям своего кумира. Гольц жаловался королю на Петра Федоровича, не пожелавшего отказаться от намерения командовать войсками в конфликте с Данией: «На этой мысли он так утвердился, что нет никакой возможности отключить его от нее». Впрочем, Гольц так и не сумел сориентироваться в расстановке сил придворных «партий». Он был убежден, что опасность императору грозила со стороны Мельгунова и Шуваловых. Однако удар, как мы увидим ниже, был нанесен совсем с другой стороны.

Источники сообщают о трех планах лишения Петра III короны. Все они не были оригинальными. Первый сводился к повторению процедуры свержения Брауншвейгской фамилии Елизаветой Петровной: арест императора в его покоях. Андреас Шумахер сообщил о другом плане, который допускал пролитие крови и повторял действия заговорщиков Циклера и Соковнина, покушавшихся на жизнь Петра Великого. Зная о пристрастии Петра III подражать своему деду Петру I, любившему тушить пожары, заговорщики планировали 2 июля поджечь крыло нового дворца. Когда император появится на пожаре, заговорщики должны были окружить его плотным кольцом, а кто-то из них — нанести смертельный удар в спину, после чего труп собирались бросить в одну из полыхавших комнат. Была готова и официальная версия — несчастный случай.

Автором третьего плана был Никита Иванович Панин. Осуществление его не было привязано к фиксированной дате. Ориентировочно в конце июля, когда император будет производить смотр гвардейским полкам перед отправкой их в датский поход, его надлежало арестовать.

Но все произошло вовсе не по плану. Строго говоря, это была импровизация, возникшая в результате непредвиденных событий. 26 июня капрал Преображенского полка спросил у поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора. Измайлов донес о заданном вопросе секунд-майору Воейкову, а тот — полковнику Ушакову. В ходе открывшегося следствия было обнаружено недоброжелательное высказывание об императоре капитан-поручика Пассека. Вечером 27-го числа его взяли под стражу. Это событие и послужило сигналом для заговорщиков. Их поспешность, с одной стороны, объяснялась реальной опасностью раскрытия заговора. С другой стороны, братья Орловы, привыкшие действовать напролом, только и ждали случая, чтобы от разговоров перейти к делу.

О намерении совершить переворот стало известно Никите Панину и Кириллу Разумовскому. Последний распорядился печатать Манифест о восшествии на престол Екатерины Второй. Машина была запущена, а план действий тем не менее отсутствовал. Ясно было одно — начинать надо с провозглашения Екатерины императрицей, но она в эти часы находилась в Петергофе.

В полночь на 28 июня Алексей Орлов и Василий Бибиков направились в Петергоф. В шестом часу утра Орлов вошел в Монплезир, где спала Екатерина. «В мою комнату, — вспоминала императрица, — входит Алексей Орлов и говорит совершенно спокойным голосом: „Пора вставать, все готово, чтобы провозгласить вас“. Я спросила о подробностях, он сказал: „Пассек арестован“. Я не колебалась более». Екатерина наскоро оделась и вместе с камер-фрейлиной Шаргородской села в весьма скромную карету, запряженную парой лошадей. Бибиков и камер-лакей Шкурин пристроились на запятках, а Алексей Орлов — рядом с кучером. В пяти верстах от столицы путников встретил Григорий Орлов, в карету которого пересела императрица. Карета двинулась по направлению к канцелярии Измайловского полка. По сигнальному выстрелу из пистолета навстречу ей с криками «ура!» бежала радостно возбужденная толпа гвардейцев. Тут же полковой священник принял от измайловцев присягу новой императрице. Во главе толпы солдат, впереди кареты с Екатериной, верхом на коне, обнажив шпагу, ехал к Семеновскому полку его командир гетман Разумовский. Правда, часть офицеров пыталась удержать солдат на стороне Петра III, но эта попытка была решительно пресечена. Вскоре к заговорщикам присоединился и третий гвардейский полк — Преображенский. Огромная толпа солдат, смешавшись с петербургскими жителями, двинулась по Невскому к новому Зимнему дворцу. В пути под возгласы «ура!» Екатерина объявила об отмене датского похода.

В Зимнем дворце уже находились высшие чины государства, тотчас присягнувшие императрице. Затем был обнародован Манифест, объявлявший о вступлении Екатерины на самодержавный престол «по желанию всех наших верноподданных». Практически вся столица оказалась во власти императрицы. Следующая задача — привлечь на свою сторону полки и стоявший в Кронштадте флот. В Кронштадт, расположенный невдалеке от Ораниенбаума, летней резиденции императора, был послан адмирал Талызин с собственноручной запиской Екатерины: «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадте; и что он прикажет, то исполнять».

Что же происходило в это время в лагере Петра III? Канун 28 июня он провел за ужином с горячительными напитками, затянувшимся допоздна, и поэтому проснулся поздно. В час дня карета императора, в которой вместе с ним восседал его неразлучный советник прусский посол Гольц, во главе многочисленной свиты направилась в Петергоф на торжественную обедню и всенощную по случаю дня святых Петра и Павла.

До прибытия гостей в Петергоф гофмаршал Михаил Львович Измайлов, которому император велел не спускать глаз с супруги, не обнаружил ее в обычное для пробуждения время. Камеристка императрицы успокоила его, солгав, будто ее повелительница поздно отправилась ко сну. Между 11 и 12 часами, когда отсутствие Екатерины уже стало казаться подозрительным, Измайлов проник в ее покои и понял, что она сбежала. На первой же попавшейся кляче он сломя голову поскакал навстречу императору и примерно в пяти верстах от Ораниенбаума сообщил ему эту новость. Император, только что собравшийся посмеяться над внешним видом Измайлова, был ошеломлен известием об исчезновении Екатерины. Тут же последовали советы: кто-то предложил немедленно отправиться на остров под защиту кронштадтских редутов, но император остался верен себе* и продолжил путь в Петергоф.

— Где Екатерина? — спросил Петр у канцлера М. И. Воронцова, прибывшего туда раньше императора.

— Не знаю, я не смог ее найти, но говорят, что она в городе, — ответил тот.

— Теперь я хорошо вижу, что она хочет свергнуть меня с трона. Все, чего я желаю, это либо свернуть ей шею, либо умереть прямо на этом месте.

После этого разговора, согласно молве, Петр все еще лелеял надежду обнаружить супругу, спрашивал и переспрашивал свиту, проверял шкафы, заглянул даже под кровать, но Екатерины нигде не оказалось.

Что делать? Петр избрал наихудший выход — он пошел прогуляться по парку, решив воздержаться от каких-либо действий до выяснения обстановки в столице. С этой целью он отправил в Петербург генерал-фельдмаршала князя Никиту Юрьевича Трубецкого и графа Александра Ивановича Шувалова (первый из них был полковником Семеновского полка, а второй — Преображенского). «Вам нужно быть в городе, чтобы успокоить ваши полки и удерживать их в повиновении мне» — с таким напутствием вельможи отправились в столицу. Спустя некоторое время Петр направил в Петербург канцлера Михаила

Илларионовича Воронцова с деликатной миссией — увещевать Екатерину и уговорить ее отказаться от намерения свергнуть его с трона.

Прибыв в столицу, Трубецкой и Шувалов, вопреки торжественным заверениям в преданности императору, тут же присягнули Екатерине. Верным своему обещанию остался лишь канцлер. Явившись к императрице, он обнаружил там Трубецкого и Шувалова, с язвительными усмешками рассказывавших императрице о задании, полученном от Петра. Воронцов все же попытался убедить Екатерину «пресечь восстание немедленно, пока оно еще в самом начале, и воздержаться впредь, как подобает верной супруге, от любых опасных предприятий». Вместо ответа императрица посоветовала канцлеру взглянуть в окно, где бушевала восторженная толпа:

— Разве не поздно теперь поворачивать обратно?

Воронцов ответил:

— Я слишком хорошо вижу это, ваше величество, и поэтому мне не остается ничего иного, как представить императору всеподданнейшее донесение обо всем происходящем.

Екатерина велела арестовать канцлера, но под стражей он находился недолго — его выручила, видимо, его племянница Дашкова.

Тем временем император приказал кабинет-секретарю Волкову составить письмо Сенату с призывом сохранять верность трону. В нем дурное обращение с императрицей объяснялось тем, что она родила наследника от любовника. Из этой затеи тоже ничего не вышло — офицер, которому велено было доставить это письмо, вручил его Екатерине, которая придержала письмо у себя. Распорядился Петр и об отправке на ведущие в Петербург дороги разъездов, адъютантов, гусар, ординарцев. Те из них, кто возвращался, привозили неутешительные известия — все дороги перекрыты присягнувшими Екатерине войсками.

Казалось бы, в такой обстановке Петр III, претендовавший на лавры Фридриха II, должен был решительно апеллировать к армии, склонить на свою сторону Кронштадт, но он лишь бесцельно расхаживал по парку, выслушивая советы Б. К. Миниха, А. П. Мельгунова, А. В. Гудовича, М. Л. Измайлова и других. В четыре часа пополудни он наконец принял решение укрыться в Кронштадте, но собирался отплыть туда лишь после получения достоверной информации от посланных в столицу вельмож. Он полагал, что гвардия, Сенат и правительство верны ему, народ любит его, а супруга вот-вот будет молить его о пощаде. Пока же в Кронштадт отправился генерал Петр Антонович Девиер с заданием удержать крепость за императором и подготовить ее к

прибытию Петра.

Девиер действовал не лучшим образом. Когда он прибыл в Кронштадт, там еще не знали о столичных событиях. Вместо того чтобы любыми средствами воздействовать на гарнизон крепости и ее коменданта генерал-майора Нуммерса, Девиер сделал вид, что ничего не случилось. Не обнаружив никаких признаков волнений или неповиновения, он отправил в Петергоф донесение о том, что в Кронштадте готовы к приему императора. Рапорт был получен в десятом часу вечера. У Петра мелькнула надежда на спасение. Мелькнула и быстро рассеялась, ибо по отъезде Девиера в Кронштадте появился адмирал Иван Лукьянович Талызин с известной нам запиской императрицы. В итоге энергичных действий ему удалось переломить настроение гарнизона и его коменданта. По приказу Талызина гарнизон крепости был собран на комендантском плацу, где с радостью присягнул Екатерине. Об этих событиях император и его свита узнают тремя часами позже.

В Петергофе между четырьмя и десятью часами пополудни нарастала растерянность: у Петра Федоровича обморок сменялся раздражением, а последнее — упадком сил. В седьмом часу он присел на деревянную скамейку, чтобы перекусить, выпить шампанского и бургундского. Вино, видимо, придало ему решительности, и он велел голштинскому воинству срочно прибыть из Ораниенбаума в Петергоф. Прибывший отряд в 1300 человек был плохо вооружен и, конечно же, не мог оказать достойного сопротивления превосходящим силам гвардии. Трезвые головы прекрасно понимали бессмысленность сопротивления и уговорили Петра вернуть голштинцев в казармы Ораниенбаума.

В десятом часу Петр, преодолев колебания, решился отплыть в Кронштадт. Туда из Петергофа отчалила флотилия в составе фрегата и галеры. В первом часу ночи 29 июня корабли подошли к кронштадтской гавани, но вместо ожидаемой торжественной встречи спущенной на воду недалеко от берега императорской шлюпке пришлось выслушать грозное предупреждение от караульного с бастиона: если корабли не отойдут в море, то по ним будет открыт огонь. Император кричал, что «он сам тут и чтоб его впустили». В ответ караульный поделился с ним новостью, что у нас нет Петра III, а есть только Екатерина И, и вновь пригрозил стрельбой. Императорская галера взяла курс на Ораниенбаум, а Петр Федорович оказался в глубоком психологическом шоке.

В часы нерешительности Петра III Екатерина пыталась закрепить свое положение и лишить супруга свободы действий.

Она хотела добиться его отречения от престола, придав случившемуся благопристойный вид. По ее приказанию к Петергофу были стянуты крупные силы. Войска общим числом в 14 тысяч человек были разделены на три отряда. Авангардом из гусар и казаков командовал Алексей Орлов. За ним следовала артиллерия и полевые полки. Замыкала шествие гвардия. Возглавляли ее две дамы в блестящих мундирах, ехавшие верхом в сопровождении знатной свиты — фельдмаршала Бутурлина, гетмана Разумовского, генерал-аншефа Волконского и др. Участники похода были уверены, что эта увеселительная прогулка скоро окончится успехом и щедрым вознаграждением.

Последняя рота оставила столицу в десятом часу вечера. Отправляясь в Петергоф, Екатерина направила Сенату указ: «Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полной доверенностью, под стражу отечество, народ и сына моего»[34].

Сенат, получивший предписание непрерывно заседать в ночные часы и информировать императрицу обо всех происшествиях в городе, отправил первый рапорт в два часа ночи, извещая о пребывании наследника в полном здравии и о благополучии в столице. Среди восьми подписей сенаторов на первом месте в рапорте стояли подписи недавних посланцев Петра Федоровича князя Трубецкого и графа Шувалова.

В свою очередь Сенат получал известия о продвижении императрицы к цели своего путешествия. В половине третьего ночи Н. И. Панин сообщил, что «наша всемилостивейшая государыня благополучно марш свой продолжает» и в данное время находится у Красного кабачка, куда прибыла в час ночи. Императрица, изнуренная нервным напряжением, разместилась на втором этаже трактира.

В Сенате провели тревожную ночь, ибо никто не знал, что творится в стане Петра и с какой стороны можно ждать удара. Сенаторы сочли, что главная опасность грозит со стороны моря — в случае атаки кронштадтских кораблей столица оставалась беззащитной. Мы уже знаем, что благодаря усилиям Талызина тревога эта была напрасной.

В шестом часу утра 29 июня поход возобновили. В этот час в стане Екатерины не располагали достоверной информацией об обстановке в Ораниенбауме и Петергофе. Но на пути из Красного кабачка к Троице-Сергиевой пустыни стали появляться многочисленные беглецы из свиты императора, готовые тут же присягнуть его супруге. Дал о себе знать и Петр III — в пустынь с посланием от него прибыл вице-канцлер Голицын. У императора

еще теплилась надежда помириться с супругой. В несохранившемся собственноручном письме он признавал свою вину перед Екатериной, обещал исправиться и предлагал полное примирение. Доставив письмо, Голицын тут же присягнул Екатерине и рассказал ей о неудавшейся попытке высадиться в Кронштадте и о растерянности императора.

Эти известия дали основания полагать, что судьба Петра III решена. Подтверждением тому стало второе послание Петра, доставленное Екатерине генерал-майором Михаилом Львовичем Измайловым, с просьбой о прощении и отказе от своих прав на престол. Вместе с фавориткой Елизаветой Воронцовой и генерал-адъютантом Гудовичем он готов был отправиться в Голштинию и просил лишь о пенсии, достаточной для безбедного существования.

По свидетельству императрицы, с Измайловым у нее состоялся разговор, вполне характеризующий моральный облик не только этого генерала, но и других присягнувших ей вельмож.

— Считаете ли вы меня за честного человека? — спросил Измайлов у Екатерины.

Та дала утвердительный ответ.

— Ну так приятно быть заодно с умными людьми, — продолжал Измайлов. — Император предлагает отречься от престола. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны.

Екатерина согласилась, и в сопровождении Григория Орлова и князя Голицына Измайлов отправился в Ораниенбаум[35]. На всякий случай Екатерина в записке к Петру потребовала от него, чтобы тот «удостоверение дал письменное и своеручное» об отказе от престола «добровольно и непринужденно». Делегация прихватила с собой готовый текст отречения. В нем Петр заявлял о неспособности нести бремя управления страной: «Того ради, помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно чрез сие заявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что от правительства Российским государством на весь век мой отрекаюсь». Кроме того, свергнутый император обязался не привлекать посторонних сил для восстановления своих прав на корону[36].

Прибыв в Ораниенбаум, Измайлов оставил своих спутников в приемной, а сам отправился к Петру и через несколько минут появился с подписанным актом отречения от престола. Получив его, Орлов и Голицын немедленно отправились в Петергоф, а через некоторое время из Ораниенбаума покатила карета с Петром III, Елизаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым.

Как только экипаж пересек границу парка, его окружил усиленный конвой из гусар и конногвардейцев.

В первом часу дня Петра и его спутников доставили в Петергоф. Выйдя из кареты, бывший император сам отдал шпагу дежурному офицеру, а потом, потрясенный случившимся, лишился речи и упал в обморок. Спустя некоторое время его навестил Н. И. Панин, которого бывший император просил не разлучать его с фавориткой. Это был последний эпизод самого продолжительного в истории России дворцового переворота.

После того как свергнутый Петр III оказался под надежной охраной, встал вопрос, что с ним делать дальше. В середине 1762 года в России помимо царствующей государыни оказались сразу два свергнутых императора, представлявших равновеликую опасность для Екатерины II. Если Иоанн Антонович с грудного возраста содержался в строгом заточении и от него тщательно скрывали его происхождение, а также права на престол, то другой свергнутый император полгода царствовал и знал прелести порядков, при которых любой его каприз мгновенно и безоговорочно исполнялся. Императрица хорошо знала неуравновешенный характер своего бывшего супруга и учитывала возможность непредсказуемых действий с его стороны, способных вызвать потрясение трона. Между двумя узниками существовало еще одно важное различие: выражаясь языком того времени, Иоанн Антонович не располагал «партией», то есть группой своих сторонников из числа родственников, облагодетельствованных вельмож или недовольных новым правлением. Влиятельных родственников у Петра III тоже не было, если не считать ненавидимого в России его голштинского дяди Георга, но лихие головы, способные, подобно Мировичу, пойти на риск ради свергнутого императора, могли объявиться в любой момент.

В этих условиях существовали три возможных варианта дальнейшей судьбы Петра Федоровича. Первый: отпустить его на родину, в столь милую его сердцу Голштинию. Чтобы отклонить такую возможность, не надо было обладать предусмотрительностью Екатерины: свергнутого императора в таком случае почти Наверняка превратили бы в марионетку, за которой стояли давние противники России — Пруссия, Швеция, Османская империя и т. п. Второй вариант — физическое уничтожение Петра — представлялся самым простым и верным способом решить проблему трех императоров в России. Но эта акция не могла осуществиться без благословения императрицы и почти наверняка нанесла бы непоправимый ущерб репутации Екатерины, и без того подмоченной переворотом. Наконец, вариант третий: держать свергнутого императора в заточении

подобно Иоанну Антоновичу, только в более комфортных условиях.

Местом заточения Петра III был избран Шлиссельбург. Уже в первый день переворота, 28 июня, туда отправили генерал-майора Никиту Савина с заданием подготовить «лучшие покои» для узника. Чтобы избежать превращения Шлиссельбурга в «склад» для лишенных трона императоров, на следующий день Савину было велено вывезти Иоанна Антоновича в Кексгольм. Последнее по времени упоминание о Шлиссельбурге относится к 2 июля, когда подпоручик Григорий Плещеев доставил туда некоторые вещи Петра Федоровича. С этого времени власти были озабочены не содержанием узника, а его убийством. Это было сокровенное желание императрицы, конечно же, дошедшее до сознания лиц, охранявших бывшего императора.

Поначалу охранники, видимо, уповали на естественную кончину Петра, не отличавшегося крепким здоровьем. Основанием для такого рода мыслей могло стать резкое ухудшение здоровья императора, наступившее сразу же по прибытии в Ропщу из-за переживаний в трагические для него дни. Андреас Шумахер сообщает: «При своем появлении в Ропше он уже был слаб и жалок. У него тотчас же прекратилось сварение пищи, обычно проявлявшееся несколько раз на дню, и его стали мучить почти непрерывные головные боли».

30 июня датировано последнее послание Петра III Екатерине, в котором бывший император просил отменить караул во второй комнате и предоставить ему возможность прогуливаться по ней. «Еще я прошу, не приказывайте офицерам оставаться в той же комнате, так как мне невозможно обойтись с моею нуждой»[37].

Курьер с извещением о болезни Петра III прибыл в Петербург только 1 июля. Он передал желание больного, чтобы в Ропщу приехал его лечащий врач голландец Людерс. Врач отказался, справедливо полагая, что в этом случае ему придется постоянно находиться при узнике в Ропше или в других местах заточения. Людерс ограничился тем, что выслушал симптомы болезни, нашел их неопасными для жизни и выписал лекарства.

2 июля Екатерина распорядилась удовлетворить все просьбы супруга, за исключением доставки в Ропшу фаворитки Воронцовой. Императрица велела отправить в Ропшу врача Людерса, обер-камердинера Тимлера, арапа Нарциса, а также скрипку и «мопсинку собаку». Впрочем, неясно, понадобилось ли все это бывшему императору, ибо в тот же день Екатерина получила письмо от Алексея Орлова, в котором сообщалось, что Петр Федорович «очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше

опасаюсь, чтоб не ожил». В циничном послании Орлов не скрывал того, что оставлять бывшего императора в живых крайне опасно: «Первая опасность для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть».

Людерс прибыл в Ропшу 3 июля, когда состояние здоровья узника резко ухудшилось; на другой день к больному приехал еще один врач — придворный хирург Паульсен. О том, что происходило в субботу, 5 июля, данных не сохранилось, но уже на следующий день Петра Федоровича не стало. В Манифесте, обнародованном 7 июля 1762 года, кончина императора объяснена так: «В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известия, что бывший император Петр Третий обыкновенным и часто случавшимся ему припадком геморроистическим впал в прежестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которого мы одолжено к соблюдению ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключений, опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею всевышнего Бога скончался».

Что же здесь соответствует истине, а что является чистейшей ложью, призванной прикрыть злодеяние? Действительно, императрица послала к заболевшему Петру врачей. Но показателен факт, что Паульсен был отправлен в Ропшу не с лекарствами, а с хирургическими инструментами для вскрытия тела.

Насильственная смерть императора неопровержимо подтверждается абсолютно надежными источниками. 6 июля Алексей Орлов отправил императрице два послания. Первое из них извещало: Петр Федорович «теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспамятстве, о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорее с наших рук убрался». Второе письмо вносит полную ясность в причины смерти свергнутого императора. Приведем его полностью: «Матушка, милосердная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя! Но, государыня, совершилась беда. Он заспорил за столом с князь

Федором (Барятинским. — Н. П.); не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес — и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневили тебя и погубили души навек».

Сопоставляя содержание этих двух писем, нетрудно обнаружить вопиющее противоречие: как Петр III, находясь «почти совсем уже в беспамятстве», мог сидеть за столом и заспорить с Барятинским? Остается предположить, что мифом является либо смертельная болезнь Петра Федоровича, либо эпизод за столом, во время которого темпераментный князь Федор прикончил бывшего монарха.

В обстоятельствах смерти Петра III много загадочного, прояснить которое затруднительно. Так, секретарь датского посольства Шумахер писал об убийстве Петра, состоявшемся 4 июля (а не 6-го, как сообщалось в Манифесте), а убийцей назван не Барятинский. «Сразу же после увоза этого слуги (Маслова. — Н. П.) один принявший русскую веру швед из бывших лейб-компанцев — Шванович, человек очень крупный и сильный, с помощью некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем».

О заранее задуманном убийстве свидетельствует также удаление из Ропши камер-лакея Маслова. По сведениям Шумахера, Маслов, вышедший в парк подышать свежим воздухом, по приказанию какого-то офицера был схвачен и отправлен неизвестно куда. Случилось это якобы рано утром 4 июля. По версии Орлова, Маслов занемог и отправлен в столицу. Как бы там ни было, но убийцы избавились от лишнего свидетеля.

Клавдий Рюльер оставил описание реакции императрицы на известие о смерти супруга. «Но что достоверно, это то, что в тот же день, когда оно (убийство. — Н. П.) произошло, императрица весело принималась за свой обед, когда вдруг вошел этот самый Орлов, растрепанный, весь в поту и пыли, с разодранной одеждой, с лицом взволнованным, выражавшим ужас и торопливость. При входе блестящие и смущенные глаза его встретились с глазами императрицы. Она встала, не говоря ни слова, прошла в кабинет, куда он за ней последовал, и через несколько минут приказала позвать туда графа Панина, уже назначенного министром. Она сообщила ему, что император умер, и советовалась с ним о том, как объявить народу об этой смерти. Панин посоветовал дать пройти ночи и распустить это известие на другой день, как будто оно было получено в продолжение ночи. Приняв этот совет, императрица возвратилась в столовую с прежним спокойным видом и также весело

продолжала свой обед. На другой день, когда объявили о том, что Петр умер от геморроидальной колики, она вышла, заливаясь слезами, и выразила горечь свою в особом манифесте»[38]. В этом красочном и драматичном описании допущена неточность: известие Екатерине о смерти Петра доставил не Орлов, а кто-то другой. Но для нас важна колоссальная выдержка Екатерины, которую мог проявить только человек, подготовленный к восприятию подобного известия.

Причастна ли императрица к убийству своего супруга? На этот вопрос пытались ответить уже современники переворота. Рюльер, например, заметил, что ему об этом ничего не известно. Напротив, Шумахер давал на этот вопрос категорически отрицательный ответ: «Нет, однако, ни малейшей вероятности, что это императрица велела убить своего мужа. Его удушение, вне всякого сомнения, дело рук некоторых из тех, кто вступил в заговор против императора и теперь желал навсегда застраховаться от опасностей, которые сулила им и всей новой системе его жизнь, если бы она продолжалась». Здесь необходимы два уточнения. Во-первых, рассуждения Шумахера нелогичны: если заговорщики желали застраховаться от опасностей, то почему такой же опасности не подвергалось главное действующее лицо заговора — сама императрица? Во-вторых, современникам не были известны письма Алексея Орлова, пролежавшие в екатерининской шкатулке все 34 года ее правления.

Конечно же, осторожная императрица не могла дать прямого указания убить своего бывшего супруга. Но и цареубийцы не осмелились бы совершить акт насилия над экс-императором, если бы не были уверены в своей безнаказанности и в том, что Екатерина в этой смерти прямо заинтересована. Не рискнул бы и Алексей Орлов отправлять Екатерине письма с прямыми намеками на необходимость лишения жизни Петра Федоровича.

Екатерине ничего не оставалось, как сокрыть цареубийство. Теоретически она могла предать гласности подлинные обстоятельства гибели Петра III, назначить следствие и привлечь виновных к суду. Но от этого шага ее удерживали личные причины — среди лиц, причастных к перевороту, значился и фаворит Григорий Орлов. Обнародовать ропшинские события значило изрядно скомпрометировать императрицу.

Официальную версию смерти супруга Екатерина отстаивала вплоть до своей смерти. Даже близкому человеку, одному из первых фаворитов Станиславу Августу Понятовскому, она беззаботно излагала все ту же историю, хотя и с некоторыми подробностями: «Его свалил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом

состоянии, за которыми последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав перед тем лютеранского священника. Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть, но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа отравления; он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено». Проверить эти свидетельства Екатерины невозможно — описание вскрытия трупа не сохранилось, отсутствует и медицинское заключение о болезни Петра.

В ночь на 8 июля тело покойного доставили в Петербург и установили в Александро-Невской лавре. Бывший император лежал в мундире голштинского драгуна. Устроителям траурной церемонии не откажешь в проницательности: мундир покойника символичен — усопший являлся не российским императором, а всего лишь голштинским герцогом. Шумахер сообщает со слов своего «заслуживающего доверие друга»: «Вид тела был крайне жалкий и вызывал страх и ужас, так как лицо было черным и опухшим, но достаточно узнаваемым, и волосы в полном беспорядке колыхались от сквозняка… Всем входившим офицер отдавал два приказания — сначала поклониться, а затем не задерживаться и сразу идти мимо тела и выходить в другие двери.

Наверное, это делалось для того, чтобы никто не смог как следует рассмотреть ужасный облик этого тела»[39].

В среду 10 июля 1762 года тело Петра III было предано земле в Благовещенской церкви рядом с могилой правительницы Анны Леопольдовны. Похороны сопровождались еще одним фарсом, разыгранным при участии императрицы. Можно представить, как не хотелось Екатерине участвовать в этой траурной церемонии. Непонятно, как вести себя: то ли изображать вдовью скорбь по поводу преждевременной утраты нежно любимого супруга и проливать обильные слезы, как она делала после кончины Елизаветы Петровны, то ли, напротив, проявить к происходившему полное равнодушие. И в том и в другом случае поведение императрицы подлежало осуждению: одни упрекнули бы ее в неискренности, другие — в бессердечии.

Услужливые царедворцы решили избавить императрицу от неприятных испытаний. Выдержка из протокола Сената от 8 июля информирует нас о случившихся накануне похорон событиях. Никита Иванович Панин доложил Сенату о намерении императрицы участвовать в похоронах бывшего императора, ибо «великодушие ее величества и непамятозлобивое сердце

наполнено надмерною о сем приключении горестью и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора». Сколько ни уговаривали ее Панин и Кирилл Разумовский воздержаться от этого шага ради сохранения здоровья, она настаивала на своем. Сенат вынес единодушное постановление просить императрицу, «дабы еб величество шествие свое в Невский монастырь к телу бывшего императора Петра Третьего отложить соизволила». В конечном счете Екатерину удалось уговорить — она «ко удовольствию всех ее верных рабов намерение свое отложить благоволила».

Последний акт фарса наполнен мелодраматическими сентенциями. Императрица, согласившись не участвовать в похоронах, стала каяться в этом и упрекать сенаторов, что ее поступок будет осужден всем светом, на что Сенат возразил: присутствие на похоронах сопряжено с опасностью для ее жизни — солдаты до того раздражены и озлоблены на покойника, что могут в клочья разодрать его тело. «Это заставило ее наконец уступить настояниям Сената, правда при строгом условии, что вся ответственность перед Богом и людьми ляжет на него»[40].

Так начиналось 34-летнее царствование Екатерины Второй. Оно знаменовалось многими замечательными деяниями, оставившими заметный след в истории страны. Но восшествие на трон не украшает имя императрицы.

Глава II. На непрочном троне

В первые два-три года царствования Екатерина напряженно искала пути утверждения на троне, проявляя при этом крайнюю осмотрительность и осторожность. Она еще не освоилась с новой для себя ролью и либо продолжала претворять в жизнь политику, намеченную в предшествующее время, либо завершала ее. Отдельные новшества императрицы носили частный характер и пока еще не давали оснований относить царствование Екатерины к разряду выдающихся явлений в отечественной истории.

Позднее, а именно в 1769 году, когда ее положение на троне стало достаточно прочным, и ей, как казалось, ничто не грозило, она мрачными красками обрисовала положение страны в год своего вступления на престол: финансы находились в запущенном состоянии, отсутствовали даже сметы доходов и расходов; армия, пребывавшая за пределами России, восьмой месяц не получала жалованья, некогда грозный военно-морской флот был запущен, крепости разрушились; торговля находилась в упадке вследствие того, что была продана на откупы частным лицам; народ стонал от произвола и лихоимства приказных служителей, повсюду царили притеснения и неправосудие; тюрьмы были переполнены колодниками; в неповиновении заводовладельцам пребывали 49 тысяч приписанных крестьян, а помещичьих и монастырских в непослушании — 150 тысяч.

Стремясь оттенить положительные результаты своего семилетнего правления, императрица, разумеется, сгустила краски, но не настолько, чтобы считать ее характеристику положения страны совершенно недостоверной. Более того, Екатерина умолчала о двух главных своих бедах, несколько лет лишавших ее покоя: первая из них состояла в насильственном овладении престолом, права на который у нее отсутствовали совершенно; вторая беда состояла в наличии трех законных претендентов на престол в лице двух свергнутых императоров и законного наследника — сына Павла Петровича.

Правда, от свергнутого супруга удалось избавиться уже через несколько дней после переворота. Сын Павел серьезной угрозы не представлял, ибо восьмилетний ребенок не имел опоры ни в гвардии, ни среди вельмож и придворных. Самым опасным претендентом Екатерина справедливо считала томившегося в Шлиссельбургской крепости 22-летнего Иоанна Антоновича.

После эйфории, сопровождавшей двухдневное триумфальное шествие Екатерины к трону, наступили будни — и императрицу преследовала навязчивая мысль: доказать подданным не только

полезность, но и крайнюю необходимость переворота, убедить современников, что предшествовавшее царствование вело страну к гибели, смыть пятно дважды совершенного ею насилия — свержения Петра, а затем и его убийства. Первую попытку императрица предприняла в манифесте 6 июля 1762 года. Манифест содержал критику в адрес супруга, но в нем отсутствовала программа действий нового правительства. Точнее, она имелась, но была изложена в столь общей и туманной форме, что позволяла толковать ее кому как заблагорассудится: императрица «наиторжественнейше» обещала руководствоваться такими установлениями, которые бы обеспечили соблюдение «доброго во всем порядка», целостность империи и «нашей самодержавной власти».

Сказанное выше не вселяло в Екатерину уверенности в своем будущем. Свидетельств тому, исходивших как от императрицы, так и от современников, великое множество. Английский посланник Бекингем доложил 6 октября 1762 года, что императрица вполне сознает «затруднительность своего положения» и «употребляет все средства для приобретения доверия и любви подданных». У французского посланника Бретейля сложилось аналогичное впечатление. Ему доводилось наблюдать, как Екатерина проявляла «тяжелую заботу», чтобы понравиться всем. Общий вывод Бретейля таков: «Боязнь потерять то, что имела смелость взять, ясно и постоянно видна в поведении императрицы»[41].

Непрочность положения признавала и Екатерина. Через несколько дней после переворота она обещала принцу Антону Ульриху Брауншвейгскому, находившемуся в заключении в Холмогорах, предоставить свободу, то есть право беспрепятственно выехать из России. Что касается детей его, в том числе и Иоанна Антоновича, то их, сообщала императрица, освободить она не может, «пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли».

Она сама осознавала необходимость угождать, лавировать, приспосабливаться, совершать поступки, противоречившие ее убеждениям, унижавшие ее честолюбие. Императрица не кокетничала, когда, вспоминая пережитое после переворота, внесла в свои «Записки» следующие слова: «Положение мое таково, что мне приходилось соблюдать большую осторожность и прочее, и последний гвардейский солдат, глядя на меня, говорит себе: вот дело рук моих»[42].

Одной из первых своих акций Екатерина отметила тех, кому она была обязана троном. Лично ею составленный список

пожалованных открывали братья Орловы (Григорий, Алексей и Федор), которых она возвела в графское достоинство, наградила селом Ильинским, населенным 2929 душами мужского пола, и 50 тысячами рублей. Щедрость императрицы превзошла все ожидания и не шла ни в какое сравнение с пожалованиями, совершенными в аналогичной ситуации Елизаветой Петровной. Всего за первый год царствования Екатерина раздала 795 662 рубля. И это при казне, опустошенной разорительной Семилетней войной. Крупные суммы достались Екатерине Дашковой (20 тысяч), Екатерине Шаргородской (10 тысяч). Гетману Кириллу Разумовскому, Никите Панину и князю Михаилу Волконскому установлен пожизненный пансион в 5 тысяч рублей в год.

Но возникло по крайней мере еще два вопроса, требовавших незамедлительных ответов. Как поступить с фаворитами и фаворитками предшествовавшего царствования, какую судьбу определить вельможам из ближайшего окружения Петра III, пользовавшимся его полным доверием? Подвергнуть их всех опале, отправить в ссылку, как это сделала Елизавета Петровна, или проявить великодушие и снисходительность? Императрица проявила достойную похвалы выдержку и мудрость.

Едва ли не самую сложную гамму чувств императрица переживала при определении судьбы своей соперницы — фаворитки Петра III Елизаветы Воронцовой. Известно намерение императора жениться на фаворитке, собственно, та уже чувствовала себя хозяйкой дворца. В этом случае Екатерину ожидало заточение в монастырской келье, и надо быть Екатериной II, чтобы подавить эмоции к поверженной сопернице, отрешиться от мести и желания поставить ее в унизительное положение. Вскоре после переворота императрица отправила Ивану Перфильевичу Елагину две записки. В первой из них она писала: «Перфильич, сказывал ли ты кому из елизаветиных родственников, чтоб она во дворец не размахнулась, а то боюсь, к общему соблазну, завтра прилетит». Во второй записке Екатерина просила Елагина съездить к Роману Илларионовичу Воронцову и передать, чтобы дочь жила в его доме в Москве, пока не обзаведется своим. «Дай ему также знать, — писала Екатерина, — чтоб она на Москве жила в тишине, не подавала людям много причин о себе говорить». Более того, Екатерина дала задание Елагину купить ей за счет казны дом[43]. В Москве Елизавета Романовна вышла замуж за Григория Полянского и переселилась в Петербург.

Столь же деликатно императрица обошлась и с канцлером Михаилом Илларионовичем Воронцовым. Благодаря фавориту племянницы Михаил Илларионович пользовался у Петра III

большим кредитом. Это его император 28 июня отправил из Петергофа в Петербург, чтобы проведать там обстановку. В отличие от прочих курьеров, отправленных с той же целью в столицу и тут же присягнувших императрице, Воронцов не только отказался это сделать, но еще и увещевал ее отрешиться от предпринятой затеи и вернуться в положение покорной супруги. Воронцов оказался верным присяге Петру III и на вопрос новоиспеченной императрицы, не прибыл ли он для того, чтобы ей присягнуть, дал отрицательный ответ. «В таком случае, — заявила Екатерина, — не прогневайтесь, если я вас посажу под домашний арест». Казалось бы, канцлера должна была ожидать немедленная опала. Однако императрица и на этот раз проявила великодушие, оставила за Воронцовым должность канцлера до осени 1763 года, когда тот отправился на два года за границу. Заслуживает упоминания и то, что за Воронцовым было оставлено почетное звание канцлера.

Столь же великодушно поступила Екатерина и с Минихом. Находясь в кризисные дни 28 и 29 июня в свите Петра III в Петергофе, фельдмаршал призывал его к решительным действиям против супруги, объявившей себя императрицей, давал советы, как одолеть честолюбивую великую княгиню, рвавшуюся к трону. Миних присягнул императрице лишь после того, как убедился, что Петр безнадежно проиграл. В предшествующие царствования Миних повторно загремел бы в ссылку, но Екатерина и здесь проявила мудрость и не поддалась воздействию эмоций.

Екатерина умела угадывать и ценить таланты, что отчетливо проявилось в ее отношении к судьбе Петра Румянцева. Он пользовался доверием Петра III и подал в отставку в связи с тем, что считал свою репутацию подмоченной.

В свое время Петр III велел Чернышову вместе с корпусом, овладевшим Берлином, отдаться в подчинение Фридриху И, а Румянцева назначил главнокомандующим Русской армии, отправленной против Дании. Отставка Чернышова была принята, а Румянцеву Екатерина отправила трогательное письмо, в котором упрашивала не совершать опрометчивого поступка — не уходить в отставку. Императрица упрекала генерала, что он судит о ней по старинке, «когда персоналитет всегда превосходил качества и заслуги всякого человека, и думаете, что бывший ваш фавор ныне вам в порок служить будет». Для выяснения отношений императрица предложила личную встречу, «дабы мы друг друга разумели». Как известно, талант полководца расцвел именно под эгидой Екатерины.

Императрица остерегалась рубить с плеча, то есть расставаться с вельможами предшествующих царствований не

только из тактических соображений и желания приобрести репутацию сердобольного человека, но и руководствуясь необходимостью сохранить на службе элиту правящей бюрократии. Она оставила за ставленником Петра III Александром Ивановичем Глебовым должность генерал-прокурора Сената, за Иваном Ивановичем Шуваловым, фаворитом Елизаветы Петровны, — должность куратора Московского университета и т. д. Без сожаления она рассталась с генерал-адъютантом Андреем Гудовичем, бесцветным фаворитом Петра III. В то же время она восстановила на службе двух опытных вельмож, павших жертвами произвола предшествовавших царствований, — А. П. Бестужева-Рюмина и Я. П. Шаховского: первый был отправлен в ссылку Елизаветой Петровной, а второго отстранил от должности генерал-прокурора Петр III.

Отношение Екатерины к старым кадрам — свидетельство не только ее осторожности, но и отсутствия программы царствования; новая императрица не спешила совершать крутой поворот во внутренней и внешней политике. В этом отношении переворот в пользу Екатерины сопровождался меньшими перестановками в высшем эшелоне власти, чем переворот Елизаветы Петровны, освободившей страну от немецкого засилья.

Проявлять осмотрительность и осторожность Екатерину обязывало и брожение в столице; в течение 1762–1764 годов здесь были раскрыты три заговора, прямо или косвенно направленные против Екатерины, причем два из них связаны с именем шлиссельбургского узника. Строго говоря, события, о которых пойдет речь ниже, заговорами назвать нельзя, ибо в действиях так называемых заговорщиков отсутствовали признаки, присущие такого рода явлениям: тайные совещания заговорщиков, конспирация, план действия и т. д. Правда, у Мировича план существовал, но он был настолько авантюристическим и нереальным, что реализовать его не представлялось возможным.

Личность Иоанна Антоновича крайне интересовала императрицу. Уже вскоре после переворота она проявила заботу о свидании с шлиссельбургским заключенным.

Так же в свое время поступил и Петр III, повелевший доставить узника из Шлиссельбурга в Петербург. Их свидание состоялось 22 марта 1762 года; император убедился, что Иоанн Антонович опасности для трона не представляет, поскольку обнаружил у него умственную отсталость. Так отзывался об Иоанне Антоновиче Петр III в письме к Фридриху II. Более подробную информацию о впечатлении императора об этом свидании сообщил английский посланник Кейт. Он писал, что

Петр III оценил физическое состояние Иоанна Антоновича как нормальное, но умственные способности посчитал расстроенными — императору довелось выслушать бессвязную речь. На Екатерину узник тоже произвел угнетающее впечатление, и она убедилась, что сам по себе он для нее не опасен. Но она допускала возможность использования другими его имени, чтобы низложить ее, Екатерину. Именно поэтому в составленной Паниным инструкции офицерам, сторожившим Иоанна Антоновича, имелся особый пункт, обязывающий их «никому без именного повеления или письменного от меня (Панина. — Н. П.) приказа арестанта никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку». В случае, если будет предпринята попытка освободить узника и предотвратить освобождение не представится возможным, предписывалось «арестанта умертвить, а живого его в руки не отдавать»[44].

Екатерина, кроме того, решила не повторять ошибки своего супруга, тянувшего с коронацией, и возложить на себя корону как можно быстрее. Не ожидая удобного санного пути, она выехала в Москву 1 сентября, то есть через два месяца после переворота.

Екатерина назначила коронационную комиссию во главе с генерал-фельдмаршалом, президентом Военной коллегии князем Никитой Трубецким уже 7 июля. Комиссии предстояло в короткие сроки проделать колоссальную работу: проследить за сооружением четырех триумфальных арок, подготовить Грановитую палату к приему гостей, соорудить в Успенском соборе и прочих храмах помосты и балдахины, где должна находиться императрица, привести в порядок регалии, а главное — изготовить большую и малую короны.

Коронация проводилась по выработанному в течение десятилетий этикету. Сложность церемонии состояла в строгом соблюдении последовательности действа, в котором участвовали сотни людей: все придворные чины от гофмаршала до пажей, генералитет, сенаторы, президенты коллегий и церковные иерархи; к статистам более низкого ранга относились солдаты и офицеры гвардейских полков, пешими и конными сопровождавшие царский кортеж.

Когда знакомишься с «Описанием восшествия в Москве и коронования государыни императрицы Екатерины II», то поражаешься колоссальной моральной и физической нагрузке, выпавшей на долю главного действующего лица церемонии — императрицы.

Церемония коронации продолжалась один день, но Екатерине в тяжелом и громоздком одеянии с 13 по 22 сентября довелось

выслушивать приветственные речи от множества военных, гражданских и духовных чинов, участвовать в торжественных обедах, принимать поздравления, присутствовать на театральных представлениях и при этом выражать внимание и расточать обворожительные улыбки. Корона, однако, стоила того[45].

Самой дорогой достопримечательностью торжеств была императорская корона, украшенная 58 крупными и 4878 мелкими бриллиантами, а также изумрудом в 389 карат и крупными зернами жемчуга. Она оценивалась в два миллиона рублей.

Только отгремели салюты в честь новой императрицы, как в конце сентября к графу Григорию Орлову явился капитан московского драгунского полка Побединский с изветом о существовании «заговора» против Екатерины. Поручик Измайловского полка Петр Хрущев говорил собравшимся у него знакомым: «есть де фамилия царя Ивана Алексеевича, и мы добиваемся знать, где Иванушка». Хрущев убеждал присутствовавших, что в заговоре участвует Иван Шувалов, от которого он якобы и слыхал «вышеозначенные речи».

О серьезности «заговора» можно судить по некоторым любопытным деталям, обнаруженным во время следствия: оказалось, главное действующее лицо «заговора» Хрущев не знал подлинного имени человека, которого намеревался посадить на престол — Иоанна Антоновича он называл Иваном Алексеевичем. Зря он впутал в «заговор» Ивана Ивановича Шувалова, не имевшего к тому ни малейшего касательства. О безрассудности поведения Хрущева свидетельствует и его публичное заявление о нежелании выполнять служебные обязанности: «Он дотоль в караул (при дворце. — Н. П.) не пойдет, пока не совершит своего намерения, а у нас де в партии до тысячи человек есть».

Тысяча сообщников — тоже мистификация; в «заговоре», как выяснило следствие, участвовало несколько человек. Вторым лицом «заговора» значился поручик Ингерманландского пехотного полка Семен Гурьев. Он признал себя виноватым в попытке вовлечь в заговор солдат и сержантов. Как и Хрущев, Гурьев блефовал, заявляя собеседникам, «что послан Лихарев за принцем Иваном, чтоб привезти его к оному делу».

Вряд ли у следователей, а затем и у суда существовали серьезные основания квалифицировать досужие разговоры как заговор. Тем не менее суд вынес жестокий приговор: Петра Хрущева и Семена Гурьева, «яко главных в том деле зачинщиков — четвертовать», а затем отсечь головы; прочим привлеченным к следствию суд приговорил отсечь головы. Сенат смягчил наказание: двум главным зачинщикам отсечь головы, а остальных отправить на вечную каторгу. Получила возможность проявить

милосердие и Екатерина — она не обнаружила в деле Хрущева — Гурьева серьезной опасности для трона и велела главных зачинщиков отправить в ссылку на Камчатку.

Не успели умолкнуть пересуды о деле Хрущева, как по столице разнеслись слухи о новом «заговоре», связанном с именем Федора Хитрово. Если Хрущев и его сообщники действовали против Екатерины, то усилия Хитрово были нацелены на ее защиту. Второе отличие — в составе заговорщиков: Хрущев вербовал сторонников среди военных, в то время как Хитрово ориентировался на придворных.

Суть дела состояла в том, что камер-юнкер Хитрово, проведавший о намерениях Екатерины оформить супружеские связи с Григорием Орловым законным браком, решил противодействовать этому плану. Хитрово поделился своими намерениями с камергерами Ласунским и Рославлевым. Камергеры сочли себя обойденными при раздаче пожалований за участие в перевороте 28 июня и считали, что императрица была излишне щедра по отношению к Орловым.

Согласно сведениям Хитрово, план обвенчать Екатерину с Г. Орловым якобы исходил от А. П. Бестужева, но его осуществлению противилось множество вельмож: Панин, Разумовский, Теплов, Дашкова и многие другие. Они должны были предостеречь императрицу от этого опрометчивого шага, а если та окажется глуха к их доводам о вредности для страны этой затеи, то надлежит истребить всех Орловых, и в первую очередь Алексея, ибо в представлении Хитрово «Григорий Орлов глуп; но больше всего делает брат его Алексей: он великий плут и всему делу причиной». Этими соображениями Хитрово поделился с камер-юнкером князем Несвижским, который тут же настрочил донос.

Весной 1763 года, когда велись эти разговоры, императрица путешествовала по городам Среднего Поволжья: Ярославлю, Костроме, Ростову. Тем не менее к делу Хитрово она проявила живейший интерес и взяла в свои руки все нити следствия: составляла вопросы взятым под стражу, вникала во все детали. Особенно ее интересовали планы Хитрово относительно ее самой: «чего они намерены были делать против мене, есть ли бы я не принимала их представлений».

Первое послание руководившему следствием сенатору В. И. Суворову Екатерина отправила 24 мая с пометкой «секретнейше». Она велела Суворову «поступать весьма осторожно, не тревожа ни город и сколь возможно никого». В другой записке Екатерина интересовалась: «арестование Хитрово тревожит ли любопытных, или еще не ведают в городе» и опять

заклинала: «все сие дело секретное».

Следствие убедило императрицу, что Хитрово руководствовался благими намерениями и его разговоры являлись простой болтовней. Поэтому Екатерина предупреждала Суворова, чтобы тот не ставил знака равенства между умыслом и действием, как того требовало Уложение 1649 года: надлежало «весьма различать слова с предприятием». В результате Хитрово отделался легким испугом — ссылкой в принадлежавшее ему село Троицкое Орловской губернии[46].

И все же дело Хитрово оказало влияние на императрицу — она отказалась от плана обвенчаться с Григорием Орловым. Другое следствие того же дела — появление манифеста «О молчании». Как ни стремился Суворов держать дело в тайне, слухи о нем проникли в придворную среду, а через нее и к горожанам, обрастая при этом небылицами всякого рода. Манифест предостерегал против распространения ложных слухов: «Воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верноподданных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений». Их распространителям Манифест грозил суровыми карами: «Мы тогда уже поступим по всей строгости законов»[47].

Последний из заговоров в царствование Екатерины II связан с именами Мировича и Иоанна Антоновича. Он относится к 1764 году. Выше упоминалась, что Екатерина крайне интересовалась Иоанном Антоновичем и поспешила взглянуть на него сразу же после переворота. Убедившись, что претензий на престол с его стороны опасаться не следует, императрица решила внести в его судьбу некоторые изменения. Она хотела, чтобы он «всегда в охранении от зла остался», но допускала его пребывание не в Шлиссельбургской крепости, а в «не весьма близком и не весьма отдаленном» монастыре, таком, где нет богомолья и где, следовательно, не будет посторонних глаз. Режим содержания его должен быть таким же, как в Шлиссельбурге.

С Иоанном Антоновичем велись беседы, чтобы склонить его к принятию духовного чина, и он, кажется, был готов постричься в монахи под именем Гервасия, но тут вихрем ворвался Мирович и перечеркнул все планы императрицы.

Подпоручику Смоленского пехотного полка Василию Яковлевичу Мировичу довелось отвечать за грехи своего деда, переяславского полковника Федора Мировича, переметнувшегося вместе с Мазепой к Карлу XII. Федор Михайлович после полтавской катастрофы шведского короля бежал в Польшу, оставив на Украине жену и двух сыновей. Начались мытарства оставшихся в России детей изменника, пока, наконец, они не

оказались в Сибири. У одного из сыновей опального Мировича, Якова, родился сын Василий, вошедший в историю как организатор заговора с целью свержения с престола императрицы Екатерины, освобождения Иоанна Антоновича и возведения его на трон.

Побудительные мотивы, которыми руководствовался Василий Мирович, были далеки от идейных. За 24 года жизни он убедился в безысходности своего положения: на пути его карьеры стояли тени деда и отца, и ему, знатному по происхождению отпрыску, внуку богатого переяславского полковника, довелось жить в нищете, не надеясь ни на материальное благополучие, ни на продвижение по службе. Попытка выпросить хотя бы часть конфискованных у деда имений не увенчалась успехом. У озлобленного Мировича, погрязшего в карточных долгах, возникла дерзкая мысль достичь благополучия столь же рискованным, как и безнадежно авантюрным способом — водрузить корону на слабоумную голову Иоанна Антоновича, который в знак признательности тут же, как он полагал, облагодетельствует своего освободителя. На память заговорщику приходили события двухлетней давности, когда сама Екатерина с легкостью овладела троном.

Мысль совершить переворот осенила Мировича 1 апреля 1764 года. Осторожный и скрытный подпоручик после долгих колебаний решил посвятить в тайну своего предприятия поручика Великолукского пехотного полка Аполлона Ушакова. Заговорщики составили план действий, решив реализовать его в дни, когда императрица выедет из Петербурга в Прибалтику.

Неделю спустя после ее отъезда Мирович должен был напроситься караульным офицером в Шлиссельбург, к нему якобы в качестве курьера прибывает Ушаков, вручает манифест, зачитываемый перед строем солдат. Те освобождают узника, и все вместе отправляются в Петербург, где на Выборгской стороне показывают Иоанна Антоновича артиллерийскому лагерю, который, признав в нем императора и присягнув ему, привлечет на свою сторону весь гарнизон столицы.

Случай внес в этот безрассудный план существенные коррективы, значительно уменьшившие и без того скудные шансы на успех: Ушаков, отправленный Военной коллегией в Казань, утонул в пути. Это, однако, не удержало Мировича от выступления. Привлечь кого-либо в сообщники он не отважился, опасаясь предательства, и решил приводить план в действие в одиночку.

9 июля 1764 года Екатерина, находившаяся в Риге, получила извещение от Н. И. Панина о трагедии в Шлиссельбурге,

разыгравшейся 5 июля. События развивались в такой последовательности: во втором часу ночи Мирович поднял по тревоге караульных солдат, поставив их с ружьями во фрунт, велел взять под стражу коменданта крепости, отправился к казарме, где содержался узник, и открыл стрельбу по охранявшим его караульным солдатам. Между ними завязалась перестрелка. Когда Мирович решил усилить огневую мощь и велел притащить шестифунтовую пушку, солдаты, охранявшие Иоанна Антоновича, прекратили сопротивление. Мирович ворвался в каземат, где содержался Иоанн Антонович, и обнаружил там его мертвое тело — офицеры выполнили инструкцию никому не выдавать его живым.

К офицерам Чекину и Власьеву, возглавлявшим караульную команду, Мирович обратился со словами упрека: «А вы, бессовестные! Боитесь Бога? За что вы невинную кровь пролили?»

События, произошедшие в Шлиссельбурге, не на шутку встревожили императрицу. Хотя она и заверяла Панина, что не предалась страху, но озабоченность и страх за свое будущее видны в каждой строке ее письма. Она ошибочно полагала, что Мирович не одинок и к заговору причастно множество людей, считала необходимым искать корни заговора в Петербурге и обещала в скором времени прибыть в столицу: «Я не останусь здесь ни одного часа более, чем сколько нужно, не показывая, однако, что я спешу, и возвращусь в Петербург, и здесь, надеюсь, мое возвращение немало будет содействовать уничтожению всех клевет на мой счет». Это письмо императрица отправила 10 июля. И хотя Панин уверял ее, что Мирович не имел сообщников, она в этом сомневалась, что явствует из ее ответа 11 июля: «Хотя по вашим примечаниям с основанием видится, будто у Мировича сообщников нет, однако полагаться не можно на злодея, такого твердого в своем предприятии, но должно с разумной строгостью исследовать сие дело»[48].

Догадки Екатерины не оправдались, следствие, несмотря на все старания, сообщников не обнаружило. Мирович счел свое дело проигранным, не став вилять и отпираться, чистосердечно во всем признался и всю вину взял на себя. Его приговорили к смертной казни. Милосердия императрица не проявила, и казнь состоялась 15 сентября. Не проявила Екатерина милосердия и к участвовавшим в деле солдатам, послушно выполнявшим команду офицера Мировича, — они были подвержены разным телесным наказаниям, а затем отправлены в ссылку и на каторгу.

Смерть Иоанна Антоновича ослабила страх Екатерины за будущее своего трона и одновременно освободила ее от необходимости проявлять осторожность, предоставила широкие

возможности для самовыражения; если в первые два-три года императрице доводилось преимущественно разбирать завалы предшествующих царствований, то теперь ее честолюбие могло быть удовлетворено реализацией собственных планов; она накопила известный опыт управления, появились замыслы реализовать новшества. Екатерина принадлежала к числу тех государственных деятелей, которые намеревались не только царствовать, но и управлять. Сравнивая Екатерину II с предшественниками и предшественницами на троне, можно без риска ошибиться противопоставить ее супруге Петра I Екатерине, его племяннице Анне Ивановне, дочери Елизавете Петровне и двум внукам — Петру II и Петру III и поставить рядом с Петром Великим. Если первые находились во власти лени и удовольствий, то Екатерина И, как и Петр I, пользуясь словами А. С. Пушкина, на троне была работницей. Правда, работа Екатерины существенно отличалась от работы Петра — новые условия потребовали новых забот. Кроме того, Екатерине, как женщине, незачем было работать топором, командовать войсками на поле брани, водить корабли, овладевать ремеслами и т. д. Служба государству полвека спустя после смерти Петра Великого приобретала иной характер, но рабочий день императрицы коренным образом отличался от дня, проведенного, например, Елизаветой Петровной.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на режим, которого придерживалась Екатерина II. В письме к подруге своей матери Бьельке 9 сентября 1767 года она писала: «Некоторые думают, что я веду слишком сидячий образ жизни, а мне кажется, что я проводила всегда мою жизнь так, как теперь. Если вы любопытствуете знать мой образ жизни, то я вам расскажу о нем: встаю я в 6 часов и до восьми с половиною читаю и пишу совершенно одна в моем кабинете. Около девяти являются мои секретари, и я остаюсь с ними до одиннадцати. Потом я одеваюсь и в это время болтаю с теми, которые в моей комнате. Мой туалет не всегда продолжается с час. Затем я перехожу в приемную, обедаю между часом и двумя. После обеда я заставляю читать себе книгу до четырех часов, когда приходят те, которые не могли говорить со мною утром, и я остаюсь с ними до шести часов, после чего выхожу или гулять, или играть, или болтать, или в спектакль. Ужинаю между девятью, десятью часами. После ужина отправляюсь спать».

Императрица не замыкалась в границах царской резиденции и, подобно Петру, много разъезжала по стране — она отправлялась в путь, чтобы ознакомиться с жизнью глубинки, причем не в качестве праздного путешественника, а в качестве

человека, обладающего властью, чтобы распорядиться на месте, что-то поправить. В 1763 году она посетила Ярославль, Кострому, Ростов, в следующем году ее встречали жители Выборга, Ревеля и Риги, в 1767 году — Симбирска, Саратова и Казани, в 1780-м — население Восточной Белоруссии, наконец в 1787 году дела позвали ее в Крым, и она совершила самое грандиозное из своих путешествий.

В отличие от Петра, который в своей повседневной жизни преследовал воспитательно-педагогические цели, выраженные обращенным к подданным девизом: «делайте как я», Екатерина лишь единожды призвала население следовать своему примеру — в 1768 году она первой в стране привила оспу, чем подала пример остальным.

Одна из ближайших задач Екатерины после восшествия на престол состояла в развенчивании царствования супруга — надлежало опорочить все, что было им сделано за короткое время правления, и тем самым доказать железную необходимость переворота. Но сделать это было непросто прежде всего потому, что в слабую разумом голову ее нелепого супруга окружающие внедряли идеи и мысли, вполне отвечавшие потребностям времени. Петр III выступал не генератором идей, предвосхищавших будущее, прокладывавших нехоженную стезю в истории, а регистратором прошедшего, издавна властно стучавшегося в двери и не оформленного нормативными актами.

Таких юридических документов Петра III за шесть месяцев царствования было обнародовано едва ли не больше, чем за двадцатилетнее правление Елизаветы Петровны, что и дало некоторым историкам повод возвести его в ранг выдающегося государственного деятеля России. Важнейших акций было пять; четыре из них относились к сфере внутренней политики: ликвидация Тайной розыскных дел канцелярии, указ о лишении права промышленников покупать крепостных крестьян к мануфактурам и два Манифеста: о вольности дворянства и о секуляризации церковных имений.

Все деяния в сфере внутренней политики имели глубокие корни в прошлом: новой была внешнеполитическая инициатива, за которую Петру III пришлось расплачиваться короной: выход России из Семилетней войны, заключение союза с недавним противником Фридрихом II и подготовка к походу против вчерашнего союзника — Дании.

Манифест 6 июля 1762 года, объяснявший необходимость переворота, откликнулся на авантюру Петра III и осудил ее: Россия вышла из войны «кровопролитной, начиная другую безвременную и государству Российскому крайне бесполезную».

Что же касается ликвидации Тайной канцелярии, секуляризации церковных владений, Манифеста о вольности дворянской и запрещения мануфактуристам покупать крепостных, то все эти акции были обойдены молчанием — ни одобрения, ни осуждения по их поводу не выражалось. Хотя Манифест был обнародован неделю спустя после переворота, его содержание и характер упреков в адрес супруга свидетельствуют о том, что он готовился наспех.

Секуляризация церковных владений интересна в двух аспектах: с одной стороны, эта правительственная мера имела давнюю историю — борьба светской власти с духовной восходит еще к XVI веку, и при Екатерине II она приобрела лишь завершение; с другой стороны, зигзаги императрицы в секуляризации дают основание считать возможности абсолютной монархии не беспредельными. Иными словами, реальные меры Екатерины вступили в явное противоречие с ее взглядами.

Что было Екатерине дороже: последовательное претворение в жизнь вольтерьянских взглядов или прозаическая мечта сохранить за собой корону? Предоставим самой императрице возможность высказаться по этому поводу. В заметках Екатерины, относящихся ко времени, когда она была великой княгиней, читаем: «Не следует делать ничего без правил и разума, ни руководить себя предрассудками: уважать веру, но никак не давать ей влияния на государственные дела; изгонять из совета все, что отзывается фанатизмом, и извлекать, по возможности, пользу из всякого положения для блага общественности»[49]. Другая запись императрицы отражает ретроспективный взгляд на первые годы своего царствования: «Надо заметить, — писала она о себе, — что еще не прошло недели со вступления на престол Екатерины; она была возведена на оный для обороны православного закона, ей приходилось дело иметь с народом благочестивым, с духовенством, которому еще не возвращены были его имения и которое вследствие дурно приноровленной меры не знало, чем ему пробавляться. Умы, как всегда случается после переворота, столь великого, находились в сильном волнении… Так то нередко случается, что недостаточно быть просвещенну, иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их»[50].

Еще более откровенно Екатерина изъяснялась на этот счет с Понятовским. Вскоре после переворота она писала фавориту своей молодости: «Меня принудят сделать еще тысячу странностей; если я уступлю, меня будут обожать; если нет, то не знаю, что случится». В другом письме читаем: «Мое положение таково, что я должна принимать во внимание многие

обстоятельства; последний солдат гвардии считает себя виновником моего воцарения, и при всем том заметно общее брожение»[51]. Императрица в данном случае не лукавила. Справедливость ее суждений подтверждает множество фактов.

Казалось бы, Екатерина, если она намеревалась слыть последовательной, должна была одобрить секуляризационные планы супруга, и энергично проводить их в жизнь. Но подобное намерение было чревато для нее двумя негативными последствиями: оно противоречило бы ее стремлению опорочить предшествующее царствование и, кроме того, могло вызвать усиление ропота духовенства, который был бы так некстати в первые месяцы ее правления. Современники отмечали раздражение духовенства манифестом Петра III. Гольц в депеше Фридриху II от 25 мая 1762 года доносил, что манифест, лишивший духовенство всех имений, поверг его «в отчаяние», а известный мемуарист А. Т. Болотов даже обусловливал успех переворота наличием у духовенства «сильного неудовольствия, содействовавшего потом очень много перевороту»[52].

Продолжать политику Петра III значило вызвать гнев духовенства на себя. Екатерина отвела этот гнев двумя манифестами. В первом из них, обнародованном в день восшествия на престол, императрица осуждала нарушение супругом церковных уставов: «Закон наш православный греческий первее всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятию иноверного закона»[53].

Через неделю, 6 июля, последовал второй указ, не содержавший новых обвинений в адрес Петра III. В нем, как и в первом манифесте, речь шла о стремлении в предшествующее царствование «искоренить своим самовластием» древнее православие.

Противники секуляризации с воцарением Екатерины воспряли духом, истолковали обещание императрицы в угодном для себя ключе и поспешили праздновать победу. Крутицкий архиепископ Амвросий поздравлял своего приятеля ростовского митрополита Арсения «с общею радостью со вступлением ее величества на всероссийский престол». Арсений в ответном письме тоже радовался тому, «что мы все от мысленного ига избавление получили». Проведав о возвращении ко двору находившегося в опале А. П. Бестужева-Рюмина, Арсений, вероятно, осведомленный о его антисекуляризационных взглядах, обратился к нему с просьбой, «дабы старанием вашим

возвращены были вотчины по-прежнему»[54].

Любопытная деталь: за советом к Бестужеву, видимо, не зная о его отрицательном отношении к секуляризации, обратилась и Екатерина: «Прошу вас приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать; дело в том, комиссию ли учинить ныне, не отдавая деревень духовным или отдавать ли ныне, а после сделать комиссию. В первой бумаге написано отдавать, а в другой — только чтобы они вступили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай советами».

В первые же дни царствования Екатерина предложила Сенату высказать мнение, как учинить духовенству «удовольствие к его содержанию». Синод, почувствовав неуверенность императрицы, не дожидаясь ответа, подал прошение в Сенат о возвращении земельных владений в его ведомство. В Сенате, как и в Синоде, было немало противников секуляризации. Если бы дело обстояло иначе, то он не проявил бы такой прыти и оперативности в составлении ответа на запрос императрицы. В докладе ей Сенат счел необходимым возвратить духовенству имения, причем с крестьян, им принадлежавших, надлежало взыскивать помимо подушной подати рублевый оброк, из которого одна половина должна была поступать в казну, а другая — в пользу архиереев и монастырей.

В итоге Екатерина оказалась стесненной мнениями Сената и своего главного консультанта Бестужева, предлагавших отменить секуляризацию. Обстановку осложнили волнения монастырских крестьян. Намерение продолжить начатую Петром III секуляризацию успокоило бы крестьян, а приостановка ее дала бы основание для более решительных действий неповиновавшихся и для вовлечения в их ряды населения новых вотчин. Екатерина сочла более опасной для трона оппозицию духовенства, нежели волнения крестьян и решилась на отмену секуляризации — 12 августа 1762 года она подписала указ в угоду духовенству. В этом указе впервые открыто осуждались секуляризационные устремления супруга, а его указ о секуляризации впервые объявлялся «неполезным установлением». В то же время в указе Екатерины нетрудно обнаружить противоречия. С одной стороны, императрица торжественно обещала не покушаться на владения духовенства: «не имеем мы намерения и желания присваивать себе церковные имения»; с другой стороны, она оставляла за собой право более обстоятельно рассмотреть и определить судьбу владений духовенства: «кажется надобность состояла именно в том, чтобы отобрать у духовенства имения, а чтобы осмотрительные взять меры о порядочном и как для церкви и духовного чина безобидном, так и для отечества полезном

управлении, о том и не думано»[55].

Казалось бы, духовенство имело основания торжествовать победу над светской властью — была отклонена угроза потери имений, удалось добиться ликвидации учреждений, рожденных секуляризацией (Коллегии экономии), отзыва офицеров, отправленных для составления описей имений. Указ возвращал духовенству право распоряжаться всеми доходами; коснулся он и положения крестьян, которым велено было пребывать в послушании монастырского и архиерейского начальства; ослушников же ожидали суровые кары[56].

Но дальнейшее развитие событий опрокинуло радужные надежды церковников, ибо обещание императрицы не покушаться на имения духовенства было чистым обманом, временной уступкой, призванной внести в его ряды успокоение. Цитированный выше указ 12 августа должен был насторожить духовенство — ведь он учреждал «особенную из духовных и светских персон комиссию», которой поручалось разработать «меры о порядочном и как для церкви и духовного чина безобидном, так и для отечества полезном управлении».

Коронационные празднества и связанный с ними переезд двора в Москву замедлили формирование комиссии о монастырских имениях. Она была создана лишь 29 ноября, в нее назначили только трех представителей духовенства и пять светских персон. Все они были сторонниками секуляризации, и императрица с полным основанием ожидала угодного себе постановления. Инструкция обязывала комиссию определить расходы как на содержание монастырей и архиерейских домов, так и на учреждение училищ и содержание инвалидов. Чтобы решить эту задачу, комиссии надлежало выполнить предварительно кропотливую и трудоемкую работу: составить подробную опись имущества всех вотчин с указанием плодородия почвы и расстояний до больших городов, сочинить типовую инструкцию приказчикам и определить оптимальную форму повинностей — посадить крестьян на барщину или на оброк. На базе этих данных комиссия должна была определить меру хлебных и денежных доходов, а также штаты духовных учреждений. Однако главная задача комиссии, согласно инструкции, состояла в ответе на вопрос: «или нашему мнению последовать, или что лучше еще и благоугоднейше к пользе народной придумать». Иными словами, комиссия должна была либо согласиться с указом императрицы об отмене секуляризации, либо, напротив, рекомендовать ее осуществить[57].

Комиссия, разумеется, высказала единодушное мнение о

необходимости осуществить секуляризацию. И если время от ее учреждения до обнародования указа исчислялось пятнадцатью месяцами, то только потому, что ожидали доставки офицерами описей вотчин. Не ограничивалась ролью наблюдательницы и императрица. Ей приписывается речь, якобы произнесенная перед членами Синода и содержавшая массу упреков. «Существенная ваша обязанность, — поучала императрица синод ал ов, — состоит в управлении церквами, в совершении тайн, в проповедовании слова Божия, в защищении веры, в молитвах и воздержании». Далее следовали укоры в недобродетельной жизни: «Но отчего происходит, что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способ жить в преизбыточестве благ земных, что совершенно противно вашему званию?» Еще резче оценивалась роль духовенства в другом вопросе: «Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям?»

Указом 26 февраля 1764 года монастырские, архиерейские и церковные вотчины с населявшими их крестьянами общей численностью в 910 866 душ мужского пола передавались Коллегии экономии. Все повинности крестьян были переведены на денежный оброк в размере полтора рубля с мужской души. Общая сумма дохода, по расчетам Коллегии экономии, должна была составить 1366 тысяч рублей, из которых на содержание архиерейских домов отпускалось около 150 тысяч рублей, на мужские и женские монастыри — около 207 тысяч рублей, на содержание инвалидных домов — 115 тысяч рублей. Если к этому приплюсовать расходы на богадельни, семинарии и духовные училища, то окажется, что большая половина доходов, извлекаемых из экономических крестьян, поступала в казну.

Секуляризация церковных вотчин имела три важных следствия. Она лишила духовенство экономической мощи. При Петре Великом, напомним, было упразднено патриаршество и учрежден Синод, полностью зависимый от государства: синодалы являлись чиновниками в рясах; подобно светским служителям, они приносили присягу и получали жалованье. Теперь, при Екатерине II, появилась и полная материальная зависимость монастырей и епархий и рядовых монахов от государства, которое брало их на свое содержание. Третий результат секуляризации состоял в облегчении условий жизни крестьян, ранее принадлежавших духовным помещикам. Это было связано с заменой барщинных повинностей денежным оброком, что давало крестьянам больше самостоятельности и развязывало их

хозяйственную инициативу. Крестьяне восприняли секуляризацию как благо и прекратили неповиновение, которым были охвачены многие монастырские вотчины.

Столь же парадоксально выглядит судьба второго манифеста Петра III — о дворянской вольности. Екатерину возвели на престол дворяне, облаченные в гвардейские мундиры, ее поддержала сановная столица. Императрица отплатила дворянам заверением, что их главное право — привилегия владеть крепостными — остается незыблемым. На пятый день после переворота, 3 июля, был обнародован указ, внесший в умы дворян больше успокоения, чем изобиловавшие общими местами манифесты 28 июня и 6 июля: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном их повиновении содержать»[58].

Как совместить этот указ, как, впрочем, и политику Екатерины на всем протяжении ее царствования, направленную на всемерное укрепление в стране крепостнических порядков, с ее высказываниями, осуждавшими крепостное право, в годы, когда она была великой княгиней? Тогда она рассуждала так: «Противно христианской вере и справедливости делать невольниками людей (они все рождаются свободными)… Осуществлением такой решительной меры, конечно, нельзя будет заслужить любви землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков». Далее великая княгиня излагала фантастический план постепенного освобождения крестьян от крепостной неволи: крестьяне при заключении сделки купли-продажи должны были получить свободу. «Таким образом в сто лет, — резюмировала великая княгиня, — все или по крайней мере большая часть имений переменит господ и вот народ свободен». План освобождения крестьян бесспорно наивен, но нас в данном случае интересует негативное отношение Екатерины к крепостному рабству.

Когда же Екатерина фальшивила: в первом случае, начитавшись творений просветителей и усвоив их взгляды на крепостное право, или после того, став императрицей и получив возможность реализовать свой план освобождения крестьян, но не только отказавшись от него, но и предприняв немало мер к укреплению крепостнических порядков, способствуя их развитию вширь и вглубь?

Советская историография отвечала на этот вопрос четко и недвусмысленно: Екатерина лукавила, скрывая за просветительской фразеологией свою «подлинную крепостническую суть». Сложившийся стереотип об императрице как об опытнейшем демагоге, говорившем одно, а делавшем

совершенно противоположное, представляется нам плодом упрощенной трактовки, игнорирующей исторические реалии. В другом месте мы вернемся к изложению политических и социально-экономических воззрений императрицы, находившихся в русле умеренного просветительства. Этих взглядов она придерживалась почти всю жизнь: и в годы, когда была великой княгиней, и в годы, когда стала императрицей и столкнулась с реалиями суровой действительности. Но достаточно было Екатерине заикнуться об освобождении крестьян не только 3 июля 1762 года, когда ее положение было еще достаточно шатким, но и в любой другой день своего долгого царствования, чтобы быть смещенной с престола. Напомним, умеренное просветительство не признавало революционной ломки, ему было чуждо представление о насилии как средстве совершенствования общества. Понадобилось столетие, чтобы общество подготовилось к мысли о необходимости освободить крестьян. Если честолюбие Екатерины было нацелено на то, чтобы удержаться у власти, то это же честолюбие принуждало ее действовать вопреки своим убеждениям и в угоду подавляющей массе помещиков.

Схожая ситуация сложилась при определении ее позиции к нормативным актам своего супруга. Екатерине, конечно же, было бы крайне желательно дезавуировать их, продемонстрировать не только их несостоятельность, но и вредность для общества и предложить им свою альтернативу. Но и здесь обстоятельства оказались сильнее субъективных желаний императрицы — ей довелось подтвердить указы Петра III о запрещении покупать крестьян к мануфактурам и об упразднении Тайной розыскных дел канцелярии. Два обстоятельства облегчали задачу императрицы: во-первых, оба акта Петра III соответствовали ее собственным взглядам, а во-вторых, они укрепляли, а не ослабляли ее позиции на троне.

В самом деле, Тайная канцелярия умирала собственной смертью: почти два десятилетия после дела Лопухиных канцелярии не доводилось расследовать каких-либо серьезных политических преступлений — в сфере ее разбирательства оказались мелкие нарушения правопорядка, когда какой-либо горожанин или солдат спьяну обругал императрицу или ее фаворита нецензурными словами, либо объявил себя самозванцем, либо закричал «слово и дело» без наличия на то оснований. Восстановить Тайную канцелярию значило воскресить печальной памяти учреждение, запятнавшее себя пытками и кровавыми истязаниями в годы правления Анны Ивановны. Популярности Екатерине это не прибавило бы.

Было бы, однако, ошибочным полагать, что Петр III,

упразднив Тайную розыскных дел канцелярию, ликвидировал орган политического сыска — произведена была лишь смена названия. Тайную канцелярию заменили Тайные экспедиции при Сенате в столице и при сенатской конторе в Москве, имевшие те же функции. Преемственность подчеркивалась и тем, что в Тайную экспедицию Сената был привлечен аппарат Тайной канцелярии во главе с Шешковским. Практическое значение имела лишь отмена возбуждения дел по знаменитому воплю «слово и дело».

Екатерина подтвердила упразднение Тайных розыскных дел канцелярии, но внесла существенные новшества, изъяв Тайную экспедицию из ведения Сената и подчинив ее генерал-прокурору, что повышало секретность расследуемых дел. Впрочем, важнейшие политические процессы вела не Тайная экспедиция, а специально созданные комиссии. Таковы следственные комиссии по делу Хрущева и Гурьевых, по делу Мировича, Мацеевича и др.

Воззрениям Екатерины соответствовал и переход промышленности от использования принудительного труда к вольнонаемному, тем более что для подобного перехода возникли необходимые условия. И хотя мануфактуристы противились этому указу, они составляли столь незначительную прослойку населения, что их протесты можно было игнорировать. Напротив, восстановление монопольных прав дворянства на душевладение соответствовало интересам дворян, и указ Петра III, как и подтверждение этого указа Екатериной II, вызывали со стороны привилегированного сословия однозначно положительную оценку.

Что же касается манифеста о вольности дворянства, то он лучшим образом иллюстрирует ситуацию, когда воззрения Екатерины вступали в конфликт с сиюминутными политическими интересами. Казалось бы, Екатерина в первую очередь должна была определить отношение к нему: либо подтвердить, как это она сделала с указами о Тайной канцелярии и запрещении промышленникам покупать крестьян к мануфактурам, либо дезавуировать его, как она поступила с манифестом о секуляризации церковных имуществ. Ни того, ни другого она не сделала. Видимо, молчание императрицы вызывало недоумение и даже недовольство дворян, что явствует из ее записки Н. И. Панину: «Я запамятовала давно вам сказать, что не много (не мало? — Н. П.) роптания меж дворянства о неконфирмации их вольностей и надлежит о том не позабыть приступ сделать».

«Приступ» обозначился обнародованием 11 февраля 1763 года указа об учреждении комиссии о русском дворянстве. Она была укомплектована первейшими вельможами страны — в нее

вошли А. П. Бестужев-Рюмин, канцлер М. Л. Воронцов, гетман Украины К. Г. Разумовский, сенатор Я. П. Шаховской, обер-гофмейстер наследника Н. И. Панин, генерал-аншефы З. Г. Чернышов и М. Н. Волконский, а также фаворит императрицы генерал-адъютант Г. Г. Орлов. Секретарем комиссии был назначен Г. Н. Теплов.

Учредительный указ императрицы не давал ни малейших оснований сомневаться, в каком направлении должны быть мобилизованы усилия комиссии. В нем четко выражено осуждение манифеста Петра III, который «в некоторых пунктах еще более стесняет ту свободу, нежели общая отечеству польза и наша служба теперь требовать могут». Столь же четко формулировалась и задача комиссии — внести в манифест такие изменения и дополнения, которые бы дворянство могло расценить как «из нашей руки новый залог нашего монаршего к нему благоволения».

Из текста явствует, что забота Екатерины состояла в расширении дворянских привилегий. Так, надо полагать, понимала свою задачу и комиссия. Но указ содержит еще один аспект, как бы перечеркивающий эту заботу: комиссии поручалось при определении дворянских вольностей изобрести «такие статьи, которые бы наивяшше поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного отечества»[59].

Как видим, перед комиссией поставлена заведомо невыполнимая задача: с одной стороны, расширить привилегии дворян, а с другой — изобрести способы, чтобы принудить дворян служить. О том, как решить эту задачу, высказался один лишь А. П. Бестужев: он предложил запретить покидать деревни дворянам, прослужившим менее семи лет. Служившему дворянству предоставлялось моральное преимущество — ему обязан был уступить место неслуживший дворянин.

Комиссия вела работу резво. Первое ее заседание состоялось 15 февраля, а через месяц с небольшим, 18 марта 1763 года, она представила императрице доклад. Историк А. А. Кизеветтер удачно классифицировал предложения комиссии, разбив их на три группы. К первой группе он отнес статьи, имевшиеся в манифесте Петра III (освобождение дворян от обязательной службы и право выезда за границу); ко второй группе отнесены новые статьи (освобождение от телесных наказаний и опт внесудебных репрессий, отмена конфискации имущества у лиц, подвергшихся наказанию, и передача этого имущества родственникам); к третьей группе отнесены статьи, отменявшие действующее законодательство, например, получение дворянства по выслуге.

Комиссия уклонилась от изложения мер, вынуждавших дворян служить. Дворяне, говорилось в докладе, не нуждаются в принудительных мерах, ибо прежнее нерадение к службе кануло в прошлое и «всяк сам старается сына своего и сродника в оную вместить, так что едва ли и места довольно желающим службы остается».

До 11 октября 1763 года доклад комиссии лежал без движения и ничего не было известно о его судьбе. Однако в этот день императрица обратилась к комиссии с устным повелением, чтобы та сочинила манифест о вольности дворянства. Комиссия заявила о невозможности выполнить повеление, ибо ей неведомо мнение императрицы, «какие вольности дворянству пожаловать соизволите, какие переменить и какие вовсе отставить»[60].

Запрос комиссии правомерен, ибо ей были известны негодующие или наполненные сарказмом заметки императрицы на полях доклада. Так, комиссия предлагала поощрять службу дворян в иностранных государствах, ибо «ничего так не приводит военнослужащего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет его храбрость и честолюбие, как многие добрые примеры, подражание и экспериенция». Против этого рассуждения Екатерина начертала: «N.B.: и ничто так как в Париже по спектаклям и в вольных домах шататься». Раздражительными ремарками Екатерина встретила и некоторые другие пункты доклада.

Комиссия так и не получила ответа на свой запрос. Таким образом, ее старания оказались напрасными. Остается гадать, почему императрица отклонила доклад комиссии и почему она в конечном счете похоронила свое же намерение расширить привилегии дворян.

Наиболее вероятный ответ на этот вопрос, на наш взгляд, состоит в том, что Екатерина была принципиальной противницей привилегий, данных дворянам манифестом 18 февраля 1762 года, ибо они, в особенности освобождение от службы, ставили благородное сословие в известную независимость от трона, что противоречило воззрениям императрицы о необходимости сохранить незыблемыми абсолютистско-монархические устои империи. Однако отменить манифест Петра III она не решилась, поскольку это вызвало бы острое недовольство широких кругов дворянства. Но и согласиться с докладом комиссии она тоже не могла, ибо комиссия никаких мер, принуждавших дворян к службе, не изобрела, а напротив, настаивала на предоставлении им новых привилегий. Не конфирмованный императрицей манифест Петра III тем не менее не утратил силы, и дворяне широко пользовались его нормами вплоть до Жалованной

грамоты дворянству 1785 года, практически реализовавшей значительную, часть предложений комиссии — время показало, что дворянство не было готово к фронде.

Этот главный мотив отклонения доклада комиссии можно дополнить и проявленной императрицей осторожностью относительно предложения отменить соответствующие статьи Табели о рангах, предоставляющие возможность влиться в дворянское сословие по выслуге. Наследственное дворянство получили лица, удостоенные первого офицерского звания на военной службе и восьмого ранга — на гражданской. На практике это означало, что в дворянство возводили Военная коллегия, Сенат и прочие коллегии, в то время как комиссия считала присвоение дворянского звания исключительно прерогативой монарха. Следовательно, многим дворянам предстояло доказывать монарху свое право принадлежать к этому сословию, что вызвало бы их недовольство.

Императрице довелось расхлебывать дела, оставленные в наследие не только супругом, но и Елизаветой Петровной. Речь идет о государственном межевании, начатом еще в 1755 году и проводившемся столь медленно, что за истекшие одиннадцать лет удалось обмежевать только 359 дач Московской губернии общей площадью 57 319 десятин. Медлительность была обусловлена недостаточным выделением материальных и людских ресурсов (геодезистов, инструментов и др.), а также жесткими требованиями для помещиков подтверждать свои права на землю соответствующими документами. В течение десятилетий и столетий небрежное хранение грамот на пожалования и выписок из писцовых книг приводило к их полной утрате, в поисках необходимых документов помещики обивали пороги присутственных мест. И не всегда эти поиски завершались успехом, так что процедура закрепления земли растягивалась на многие годы.

20 февраля 1765 года императрица издала указ, начинавшийся словами: «Мы подлинно ведаем, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно для пресечения беспрестанных тяжб, драк, смертоубийств, а чрез то и умножающихся в присутственных местах затруднительных дел». Специально созданной комиссии о государственном межевании в составе генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчинной коллегии Лунина и генерал-квартирмейстера князя Вяземского было поручено «рассмотреть, как удобнее и полезнее межеванье производить», какие коррективы надлежало внести в межевую инструкцию, чтобы избежать «неудобств и затруднений»[61].

Комиссия предложила утвержденные императрицей, принципиально отличавшиеся от прежних правила межевания, фактически положившие начало новому этапу в проведении этой важнейшей правительственной меры — манифест 19 сентября 1765 года устранил главное препятствие, замедлявшее межевание: отныне от землевладельца не требовались документы, подтверждавшие его право на владение землей. Граница между владениями считалась законной, если ее не оспаривали соседи[62]. Таким образом все захваченные помещиками земли казны объявлялись им принадлежавшими. Подобных земель к концу XVIII века было зарегистрировано не менее 50 млн. десятин.

Перспектива поживиться за счет казенных земель, разумеется, вызвала у помещиков нескрываемый восторг, описанный известным мемуаристом А. Т. Болотовым: «… Сей славный манифест о межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех владельцев деревенских заставил много мыслить, хлопотать, заботиться о всех своих земельных дачах и владениях»[63].

Наиболее сложный и запутанный узел, который Екатерине предстояло развязать или разрубить, находился в области внешней политики. Заметим, что императрица во внешней политике, как и во внутренней, предпочитала не разрубать, а развязывать узлы, избегать крутых поворотов. 1 ноября 1762 года она изложила канцлеру Воронцову принципы, которыми решила руководствоваться во внешней политике: «При настоящем нерушимом состоянии европейских дел осторожность в новых алиациях и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим правилом»[64].

Первоочередная внешнеполитическая задача состояла в том, чтобы вывести Россию из тупиков, в которые ввергнул ее неистовый поклонник Фридриха II Петр III. Взойдя на престол, он поспешил заключить с Пруссией, с которой Россия вместе с союзниками воевала в Семилетней войне, не только мир, но и союз, передав в распоряжение прусского короля корпус Чернышова. В Берлине высоко оценили услугу русского императора. Министр Фридриха II Финкенштейн писал прусскому послу в Петербурге Гольцу: «Я желаю одного, чтобы этот государь, который кажется рожден для счастия Пруссии, жил и держался на русском престоле»[65]. Взамен прусский король обещал Петру III оказать помощь в осуществлении абсолютно бесполезной для России затеи — отвоевания у Дании Шлезвига, полвека тому назад захваченного ею у Голштинии. Готовясь к походу против недавнего союзника, Петр III выступал в роли не Российского

императора, а голштинского герцога. Парадокс поведения Петра Федоровича состоял в том, что он, покидая своих союзников, призывал их последовать своему примеру и немедленно заключить мир с Пруссией, прекратив взаимное истребление людей и истощение экономических ресурсов стран. Иными словами, он выступил, с одной стороны, в роли миротворца, а с другой — зачинателя новой бойни.

Само собою разумеется, что этот неожиданный поворот в политике Петра III вызвал осуждение и резкий протест союзников России: Австрии, Саксонии, Дании, Швеции, Франции. После же переворота, совершенного Екатериной, Фридриха охватила такая паника, что он немедленно велел перевезти казну в Магдебург.

В сложившейся ситуации Екатерина проявила незаурядные дипломатические дарования: непоколебимую настойчивость в достижении поставленной цели, умение проявлять жесткость или, наоборот, выглядеть обаятельной в установлении доверительных отношений. В противоположность голштинцу Петру III, представлявшему на российском троне интересы Пруссии и Голштинии, немка Екатерина свято блюла интересы России. Она проявила широту взглядов на обстановку в Европе и место в ней России. Екатерина нисколько не лукавила, когда 17 ноября 1762 года писала Фридриху II: «Я чистосердечно сознаю, что принятая мною система не может одинаково нравиться всем моим друзьям… но я следовала в этом случае правосудию, интересу своей империи».

Первым внешнеполитическим шагом императрицы стала отмена датского похода, непопулярного как в армии, так и среди вельмож. Потребность в подобной акции со стороны Екатерины была настолько очевидной, что ее реализация не создавала простора для проявления мудрости. Другое дело — отношения со своими бывшими союзниками и с недавним противником. Возобновление союзнических обязательств и вероятное продолжение войны против Пруссии если и не были смертельно опасными для Екатерины, то во всяком случае не прибавляли ей популярности. Но еще больше бы охладели к ней ее сторонники, если бы она придерживалась внешнеполитической линии своего покойного супруга. Императрица избрала компромиссный путь: она осталась верной выходу из коалиции; более того, она претендовала на роль посредницы в мирных переговорах между союзниками и Пруссией, впрочем, дружно отклоненной обеими сторонами, ибо Пруссия считала, что это посредничество будет не в ее пользу, так как Россия настаивала на выходе прусских войск из Саксонии, а союзники полагали, что императрица будет симпатизировать не им, а кумиру своего покойного мужа

Фридриху II.

Чтобы окончательно не восстановить против себя прежних союзников, Екатерина отозвала корпус Чернышова, но на разрыв отношений с Пруссией не пошла, так что опасения короля относительно судеб своей казны оказались напрасными. Екатерина намеревалась извлечь выгоду для России, играя на противоречиях между союзниками и Пруссией. Послу в Берлине она велела «в разговоре внушить королю прусскому, будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня (Екатерину. — Н. П.) от вящей дружбы с ним, королем, хотя некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику (Репнину. — Н. П.) подавать виды склонности к венскому двору; а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае мое желание видеть мир и тишину».

Императрице пришлось решать еще ряд задач, оставленных предшественниками и не способствовавших ее популярности, ибо действия ее вызывали осуждение со стороны некоторых слоев населения. Речь пойдет о трех следственных делах, имевших общегосударственное значение. Анализ этих дел важен не только по существу, но и вследствие того, что в них раскрывались грани личности Екатерины.

Одно из этих дел было порождено секуляризацией церковных владений и связано с именем ростовского митрополита Арсения Мацеевича. Другое, по терминологии наших дней, относится к уголовным деяниям — оно было вызвано злоупотреблениями служебным положением и связано с именами генерал-прокурора Сената Александра Ивановича Глебова и его креатуры, следователя Петра Никифоровича Крылова. Заметим, что в годы правления Екатерины II проводилось немало следствий, связанных с казнокрадством, вымогательством взяток, превышением власти и т. д., но все они имели локальное значение и локальные последствия. Рассматриваемое дело тем и знаменито, что закончилось отрешением от должности первого лица в чиновной иерархии империи — генерал-прокурора Сената.

Если одно следственное дело отражает стремление императрицы соблюдать законность, а другое — ее личную неприязнь к объекту преследования, то в третьем следствии, связанном с подавлением крестьянских волнений, императрица выступает в ипостаси монарха, требующего рабского послушания от подданных. Истоки этих представлений Екатерины, как и Петра Великого, следует искать, во-первых, в убеждении, что монарху беспрекословно подчиняться «сам Бог повелевает», и, во-вторых, во мнении, что все исходящее от государя преследует

единственную цель — благо подданных. Власть предержащие знают, как достичь этого блага, поэтому им надобно подчиняться беспрекословно.

Среди первых документов императрицы обнаруживаем указ от 18 июля 1762 года, осуждавший лихоимство. Быть может, он и не заслуживал бы особого упоминания, если бы не высокий эмоциональный накал, который отличает его от аналогичных указов предыдущих царствований. Императрица извещала подданных: «Мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло: ищет ли кто места — платит, защищается ли кто от клеветы — обороняется деньгами; клевещет ли на кого кто — все происки свои хитрые подкрепляет дарами». Гнев императрицы вызвал поступок регистратора Новгородской губернской канцелярии Якова Ринбера, исхитрившегося брать с каждого присягавшего императрице взятку. Ринбер поплатился ссылкой в Сибирь на каторгу.

Но любителя вымогать взятки эмоциями не прошибешь — лихоимство уходило корнями в систему кормлений, существовавшую в XVI–XVII веках, когда управляемое население должно было содержать воеводу и его аппарат, а также в практику послепетровского времени, когда канцелярской мелкоте вместо выдаваемого жалованья официально разрешали брать подношения от челобитчиков. Искоренить лихоимство могло не обращение к совести, а прежде всего установление контроля за деятельностью бюрократии и выплата чиновникам должного вознаграждения за труд. Однако подобный контроль, как и свобода, противопоказаны абсолютной монархии.

Императрица была права в одном — лихоимство в государстве действительно достигло невиданных размеров. Свидетельством этому стало нашумевшее дело следователя Крылова, к которому оказалось причастным высшее должностное лицо в государстве — генерал-прокурор Сената Глебов.

Своей карьерой Глебов был обязан Петру Ивановичу Шувалову, известному дельцу и прожектеру елизаветинского царствования. Когда положение Шувалова при дворе несколько пошатнулось, он решил поправить дела несложным, но испытанным по своим благоприятным последствиям способом — заключением брачного союза между двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны, вдовой Марьей Симоновной Чоглоковой (в девичестве графиней Гендриковой), и Глебовым, который в свои 32 года благодаря протекции Шувалова занял должность обер-секретаря Сената. Однажды, проезжая мимо дома Чоглоковой, Шувалов вымолвил запавшую в душу Глебова фразу:

«Вот вдовушка изрядная живет, и чтоб я отведал своего счастья». Эта вдовушка пользовалась полным доверием императрицы, и Шувалов своими хлопотами о браке намеревался через будущего супруга и своего подопечного оказывать на нее влияние.

Глебов внял совету своего покровителя — познакомился с вдовой и после настойчивых ухаживаний стал супругом дамы, переживавшей последнюю стадию чахотки. Он полагал, что брак избавит его от финансовых затруднений, но ошибся — труда 900 душ крепостных и восьмитысячного жалованья явно недоставало для обеспеченной жизни в столице, и Александр Иванович Глебов лихорадочно принялся искать новые источники дохода. Лакомый кусок казенного пирога в виде металлургических заводов на Урале ему не достался — когда происходил дележ заводов между вельможами, Глебов еще не занимал важного поста, дававшего ему право на получение предприятий на льготных условиях, и он обратился к винным откупам и подрядам, причем взор его пал на Иркутскую провинцию, где, по слухам, местные купцы получали от винокурения и откупов баснословные барыши.

Глебов начал с попытки подешевле скупать купеческие винокурни. Дело в том, что по указу от 19 сентября 1755 года купцы лишались прав владеть винокуренными предприятиями — им предлагалось в шестимесячный срок либо продать винокурни дворянам, либо разрушить их. Винокурение, таким образом, провозглашалось дворянской монополией. Но указ 1755 года допускал исключения — в отдаленных местностях купцам разрешалось владеть заводами. Иркутская провинция давала купцам основание считать свое право владеть винокурнями незыблемым еще и потому, что в Сибири почти отсутствовало помещичье землевладение, следовательно, дворяне практически были лишены возможности претендовать на приобретение купеческих винокурен. Нашелся, однако, дворянин, решивший завладеть как заводами, так и откупом. За винный откуп в Иркутской провинции Глебов уплатил в 1756 году 58 тысяч рублей и тут же перепродал его двум петербургским купцам уже за 160 тысяч единовременно и по 25 тысяч ежегодно в течение десяти лет. Глебов отправил в Иркутск своего поверенного Евреинова, уполномочив его потребовать от купцов передачи винокурен. К удивлению Глебова иркутяне уперлись и не желали расставаться с выгодной статьей доходов. Вице-губернатор генерал-майор Вульф поддержал купцов, считая их требования вполне обоснованными. Уговоры не подействовали, и обер-прокурор прибег к угрозам — обещал найти на купцов управу и обратиться в Сенат с просьбой «об учинении следствия о всех их поведениях и иметь себе в сатисфакцию справедливость закона, и

буде они тем себя льстят, чтобы его, через учиненные ему убытки, удержать от поставки вина, то сие несправедливо мыслят… а когда они надеются на свое богатство, то оно всеконечно, сколько бы велико ни было, не затмит правосудия»[66].

В действительности не купцы, а Глебов попытался «затмить правосудие» и бесчестными средствами выиграть тяжбу. В итоге Сенат, идя на поводу у обер-прокурора, 30 января 1758 года издал указ, по которому отправлявшемуся в Иркутск следователю, коллежскому асессору Петру Никифоровичу Крылову, велено «все по доношению господина Глебова следствие производить надлежащим порядком, чиня основательные в чем кому надлежит допросы без наималейшего послабления и поноровки». Сенатский указ предоставлял Крылову неограниченные возможности для злоупотреблений и предвзятых заключений, ибо давал ему право опираться не на материалы следствия, а на показания поверенного Глебова. Более того, Крылову разрешалось в некоторых случаях «и без доказательств то следствие производить».

Крылов вполне оправдал надежды блюстителя законов. Чинимый им произвол оказался в диковинку даже для видавших виды жителей далекой Сибири. Глебов поощрял усердие следователя двумя способами: сулил ему награждение, уверяя, что «он без удовольствия Сената оставлен не будет», предоставлял ему право информировать о ходе следствия не Сенат, пославший его в Иркутск, а лично его, обер-прокурора Глебова. Таким образом, Глебов выступал сразу в трех ипостасях: доносителя, обвинителя и руководителя следствия.

Результаты деятельности Крылова не заставили долго ждать: прибыв в Иркутск, он вызвал из Селенгинска для своей охраны и исполнения распоряжений по одним сведениям 25, а по другим 77 казаков во главе с тремя обер-офицерами. Располагая такой военной силой, Крылов обрел полную независимость от местных властей. Более того, почитая себя представителем центральной администрации, он стремился не только подмять под себя местную власть, но и поставить ее в полную от себя зависимость. Селенгинские казаки вели себя в Иркутске, словно в только что завоеванном неприятельском городе. По свидетельству иркутской летописи, облачившись в белые саваны и встав на ходули, они наводили ужас на местных жителей, занимаясь грабежом и разбоем.

Крылов начал следствие с того, что велел взять под стражу членов городского магистрата и опечатать хранившиеся в магистрате документы. Начавшееся следствие сопровождалось жестокими истязаниями и вымогательством денег у иркутских

купцов; под пытками те признавались в несовершенных преступлениях и злоупотреблениях и по повелению следователя вносили в казну деньги, якобы неправедно ими нажитые, — например, путем завышения себестоимости вина и его продажной цены или ухудшения его качества. В Иркутске не осталось ни одного купца, не подвергнувшегося вымогательствам. У 111 купцов в общей сложности было изъято 155 505 рублей 80 копеек — самые богатые из них под пытками и жестокими истязаниями раскошеливались на десятки тысяч рублей. Так, у Николая Брегалова Крылов изъял 23 тысячи рублей, у Ивана Бичевина — 30 тысяч рублей, причем этот купец в застенках Крылова скончался от пыток, у Михаила и Максима Глазуновых — по 15 тысяч с каждого. У менее богатых удалось выколотить десятки рублей: у Тараса Ракитина — 60, у Григория Кузнецова — 50, у Ивана Смирина — 15, а Василий Шарыпов внес всего-навсего 1 рубль 55 копеек. Под угрозой новых истязаний иркутские купцы отправили в Петербург депутацию, которая должна была выразить Сенату благодарность за справедливые действия Крылова, преподнести Глебову и его домочадцам подарки от имени иркутского купечества, а главе семьи — взятку в размере 30 тысяч рублей.

Действия Крылова оставили у многих поколений иркутян зловещую память о насилиях, несправедливости и лихоимстве, приведших к полному разорению подавляющего числа купцов. Многие из ранее процветавших купеческих домов стараниями Крылова превратились в нищих в буквальном смысле слова.

Крылов прославился не только вымогательствами, истязаниями и пытками, но и блудом. Иркутская летопись зафиксировала факты того, как следователь угрозами и истязаниями принуждал купеческих жен и дочерей к сожительству, растлевал малолетних, причем делал это публично. Летопись отметила садистские наклонности коллежского советника: поселившись в доме Ивана Мясникова, он превратил его в тюрьму и пыточную, а за «несклонность» жены хозяина к сожительству велел мужу бить ее батожьем, и тот к удовольствию следователя сек супругу. Жена, спасаясь от истязаний Крылова, вынуждена была скрываться у знакомых. На совести Крылова растление десятилетней девочки, изнасилование дочери купца Ивана Воротникова.

Купцы жаловались на бесчинства Крылова, но их челобитные ревнитель правосудия Глебов клал под сукно. Безнаказанность следователя еще больше распаляла его усердие, он входил в раж. Быть может, его действия так и остались бы без разбирательства и неприятных для него последствий, если бы он в своем усердии не

перешагнул бы рамки дозволенного даже по сибирским меркам. Крылов замахнулся на самого иркутского вице-губернатора Вульфа. Этот Вульф еще в июне 1759 года доносил императрице о бесчинстве Крылова, но донесение, благодаря усилиям Глебова, осталось без последствий: вместо расследования злоупотреблений Крылова Сенат в угоду Глебову объявил Вульфу выговор: «к самой ее императорскому величеству того донесения присылать не надлежало и впредь бы такого дерзновения не чинить». Одновременно Сенат рекомендовал Крылову поступать более осмотрительно и в то же время выражал удовлетворение его деятельностью, принесшей казне свыше 150 тысяч рублей дохода.

Похвала Сената воодушевила Крылова на новые бесчинства — он отстранил от должности и взял под стражу Вульфа и «сам вступил в правление вице-губернаторской должности и тем узаконенную власть похитил». Вульф, однако, изыскал способ известить о случившемся в столицу, и императрица Елизавета Петровна велела расследовать подвиги Крылова. Сенат даже лишил его чинов, но Глебов и на этот раз выручил следователя из беды, замяв дело.

Петр III пожаловал Глебова генерал-прокурором, и, следовательно, его положение усилилось настолько, что иркутские купцы не осмелились подать новую жалобу. Должность генерал-прокурора Глебов сохранил и при Екатерине II. Многочисленные записки императрицы к генерал-прокурору свидетельствуют о том, что этот нечистоплотный человек вплоть до конца 1763 года пользовался ее полным доверием. Саксонский посланник граф Брюль, видимо, точно подметил одну деталь в поведении Глебова: он умел нравиться. Приведем полностью слова посланника: Глебов «человек с головою, следуя общему стремлению, умеет нравиться, пользуется большим влиянием, вследствие должности, занимаемой им при Сенате, дающей ему почти всемогущество в делах внутреннего управления».

Лишь новое расследование дела убедило императрицу в том, что служебное рвение Глебова наносит ущерб ее престижу и урон трону, и она отстранила его от должности. Уволенный Глебов 20 февраля 1764 года подал императрице письмо, претендующее на исповедь. В нем Глебов поведал, как он по совету П. И. Шувалова женился на вдове Чоглоковой, как он терпел нужду в деньгах, побудившую его заняться откупами. Однако в письме ни слова не говорилось о том, что он покрывал преступления Крылова и что ради своекорыстных интересов попирал законы. Екатерина оставила послание без ответа, ибо не обнаружила в нем раскаяния за содеянное. Это видно из ее

«Наставления» назначенному вместо Глебова генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому, которое начинается фразами, осуждающими Глебова: «Прежнее худое поведение, корыстолюбие и лихоимство и худая вследствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и искренности против меня нынешнего генерал-прокурора, все сие принуждает меня его сменить и совершенно помрачает и уничтожает его способность и прилежание к делам…»[67].

Императрице были доподлинно известны достоинства и недостатки Глебова, но она по привычке уклоняться от резких оценок и характеристик не решилась на подлинную оценку генерал-прокурора даже в секретнейшем документе. В тексте, не предназначавшемся для печати, который публикаторы озаглавили «Портреты нескольких министров», императрица писала: «У Глебова очень большие способности, соединенные с равным прилежанием; это олицетворенная находчивость, но он плут и мошенник, способный однако на большую привязанность.

Жаль, что он молодым попал в руки Петра Шувалова, по образцу которого он и сформировался, он слишком тверд, чтобы можно надеяться, что бы изменится, только его личный интерес может его заставить измениться, это все, на что можно надеяться»[68].

Несмотря на суровую оценку служебной карьеры А. И. Глебова, он не подвергся каре, которую заслуживал. 3 февраля 1764 года Глебов был уволен со службы с присвоением чина генерал-поручика, но с запрещением занимать правительственную должность. С него велено было взыскать убытки, причиненные иркутянам. Внес ли он их — неизвестно. В опале Глебов находился десять лет, в апреле 1773 года был вновь принят на службу, участвовал в суде над Пугачевым, в 1774 году назначен смоленским наместником, но затем вновь оказался под судом. Ничем закончились и преследования Крылова. По указу, его велено было вместо заслуженной им смертной казни «высечь в Иркутске кнутом и сослать на каторгу в работы вечно, а имение его, описав, продать с аукциона и взятые за оное деньги употребить на раздачи обиженным, кому что принадлежит в силу законов». Указ не был исполнен, Крылов не понес наказания, и купцы никакой компенсации не получили.

Так называемая иркутская история повлекла не только смену генерал-прокурора, но и дала повод императрице выступить в роли законодательницы — в 1764 году она сочинила «Наставление» вновь назначенному прокурору А. А. Вяземскому. Значение этого документа выходит за рамки определения обязанностей данного должностного лица. По сути, документ с

полным основанием можно отнести к разряду программных актов императрицы, наметивших задачи царствования на ближайшие годы.

От генерал-прокурора Екатерина требовала преданности и честности: «Я весьма люблю правду, — прокламировала свою позицию императрица, — и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против мене без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело в деле». И еще одно пожелание автора «Наставления» — она не требует от генерал-прокурора «ласкательства», то есть подхалимства, «но единственно чистосердечного обхождения и твердости в делах».

По мнению императрицы, генерал-прокурор должен стоять выше существовавших в Сенате группировок, каждая из которых будет стараться привлечь его на свою сторону, и ко всем относиться одинаково беспристрастно. Екатерина призывала остерегаться как «раболепства» вельмож, от которого страдают интересы государства, так и обмана канцелярских служителей, всегда готовых в угоду начальству приукрасить истинное положение дел. Верность и честность будут вознаграждены: «а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам».

Выше отмечалась покорность духовенства, как должное принявшего изъятие у себя имущества. Лишь очень немногие встали на защиту церковного, архиерейского и монастырского землевладения. Среди них выделялся голос Арсения Мацеевича.

Когда вчитываешься в отраженные источниками перипетии борьбы Арсения за сохранение церковью ее земельных владений и крестьян, то вспоминаются события вековой давности, развернувшиеся вокруг патриарха Никона и протопопа Аввакума. Здесь находим тот же фанатизм, несгибаемую волю в борьбе за свои идеи и то же неумение соразмерить свои силы и возможности с силами противоборствующей стороны. Более того, упорство Арсения выглядело безрассудным и обреченным, поскольку силы сторон оказались еще более несоизмеримыми, чем столетие назад — тогда светская власть лишь двигалась к абсолютизму, теперь абсолютная монархия утвердилась и окрепла; тогда существовало патриаршество, теперь церковными делами командовал послушный светской власти Синод, низведенный до обычного правительственного учреждения; тогда события приобрели значение трагедии и имели огромный резонанс не только внутри страны, но и за ее пределами — теперь они выглядели фарсом (по крайней мере, им пыталась придать такой оттенок императрица) и оставили малозаметный след в истории.

Непокорный нрав, неуживчивый и властный характер

Арсений Мацеевич (1697–1772) проявил еще в юные годы — его беспокойная и мятущаяся натура заставляла его то и дело менять место службы и место жительства: он учился в Киевской академии, не закончив ее, оказался в Новгород-Северском Спасском монастыре, затем Чернигов, вновь Киев, Устюг Великий, Холмогоры, Соловецкий монастырь, Камчатская экспедиция 1734–1737 годов. В 1741 году он был посвящен в сан митрополита и поставлен во главе Тобольской епархии. В Сибири Арсений тоже долго не задержался. Похоже, он успокоился лишь после того, как в 1742 году получил архиерейскую кафедру в Ростове, которую занимал свыше двух десятилетий[69].

В первые же годы пребывания в Ростове Мацеевич вступил в конфликт с вышестоящими духовными властями, но тогда ему все сошло с рук: набожная императрица Елизавета Петровна относилась к нему снисходительно и даже благосклонно. Так, Арсений позволял резкие выпады против Коллегии экономии, оспаривая ее постановления. Когда в 1742 году Коллегия экономии прислала в Ростовский Авраамиев монастырь на содержание отставного солдата, Арсений резко отозвался об этой акции Коллегии, предварительно не осведомившейся, «есть ли в епаршеских монастырях порожние порции». Ход мыслей был оскорбителен для коллежских чинов: «У кого удобнее из порций убавить и дать солдату: у бедного ли монаха или у коллежского члена, которому и сверх жалованья из монастырей везут немало?»

В том же году Арсений вновь отказался принять партию инвалидов и на жалобу Коллегии экономии Сенату ответил последнему «поносительными словами». От неприятностей Мацеевича спасло опять заступничество Елизаветы Петровны. Арсений решил более не испытывать судьбу и стал проситься на покой, но императрица отказала в просьбе. При Екатерине Арсений воспрянул духом и всерьез воспринял обещание императрицы не отбирать имения у духовенства. Но последовавшие затем практические меры развеяли радужные надежды. Неведомыми каналами Мацеевичу стало известно отношение комиссии к церковному землевладению, и он, очертя голову, ринулся в бой. Уже 9 февраля 1763 года в Ростовском соборе Арсений совершил вызывающий обряд отлучения не только тех, «кто встанет на церкви Божии», но и их крамольных советников. Проклятию подлежали также все, кто покушался на церковные имения.

Тем самым Арсений встал на путь открытой схватки с церковными иерархами, сидевшими в Синоде, и самой Екатериной. 6 марта того же года он отправил в Синод доношение с напоминанием обещания императрицы поднять

скипетр в защиту «нашего православного закона». Заявлением, что даже при татарском иге церковное землевладение оставалось неприкосновенным, Арсений бросил вызов как духовной, так и светской власти. Протестовал ростовский митрополит и против навязываемой государственной властью обязанности монастырей содержать «всякие науки»: философию, богословие, астрономию, математику. Он соглашался лишь на содержание монастырями начальной школы.

Одновременно с официальным донесением Синоду Арсений решил оказать влияние на императрицу через приближенных к ней лиц — он отправил письмо симпатизировавшему ему А. П. Бестужеву-Рюмину и давнему своему приятелю духовнику Дубенскому. Бестужев замолвил словечко в защиту Арсения, но, получив от императрицы резкую отповедь, решил ей более не докучать. Екатерина писала: «Я чаю ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем Синодом митрополита ростовского». Она напомнила, что в прошлом даже за менее серьезные прегрешения «преосвященным головы секли», и что она, несмотря на свое милосердие и человеколюбие, обязана наказать нарушителя «тишины и благоденствия народа».

Синод 12 марта направил императрице доклад с осуждением доношения Арсения. «Оно клонится, — писалось в докладе, — к оскорблению ее императорского величества, за что Арсений подлежит великому осуждению». Однако Синод не осмелился определить меру «великого осуждения» и возложил эту обязанность на императрицу. Екатерина, хотя и обнаружила в докладе Синода «превратные и возмутительные толкования Священного писания» Арсением, а также его посягательство на спокойствие подданных, но, стремясь прослыть гуманной и имея возможность проявить милосердие, поручила определить наказание Синоду. Тот без промедления отправил в Ростов офицера с командой, поручив ему доставить митрополита Арсения в Москву, где в это время находился двор.

Между тем Арсений, не осведомленный о том, сколь неблагоприятные для него события последовали после первого доношения, отправил второе. В нем он восхвалял Елизавету Петровну за упразднение Коллегии экономии, писал об оскудении храмов и исчезновении церковного благолепия после секуляризации. Заканчивалось донесение просьбой уволить его на покой по причине одолевших его недугов. Вместо покоя Арсению довелось испытать множество тяжелейших испытаний.

В связи с доставкой Арсения в Москву Екатерина писала генерал-прокурору А. И. Глебову: «Нынешнюю ночь привезли

враля, которого исповедывать должно: приезжай ужо ко мне, он здесь во дворце будет»[70].

Разговор состоялся в присутствии Екатерины, но Арсений позволил себе столь непочтительно отзываться об императрице, что та заткнула уши и велела закрыть рот Арсения кляпом.

Враждебное отношение императрицы к ростовскому митрополиту не подлежит сомнению. Истоки этой враждебности следует искать не только в посланиях Арсения, но и в нелестных отзывах его об императрице, которые он высказывал окружению и которые стали ей известны. Митрополит в числе прочего говаривал об отсутствии у Екатерины прав на престол. В изложении самой императрицы упреки Арсения выглядят так: «де величество наше неприродная и в законе нетверда и не надлежало бы ей престола принимать, но следовало бы Ивану Антоновичу».

Суд над митрополитом начался 1 апреля 1763 года, а спустя неделю, 7 апреля, Синод направил императрице приговор: «архиерейства и клобука его лишить и сослать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение и ни бумаги, ни чернил не давать там». Приговор Синода дал Екатерине повод проявить милосердие. По сути, она оставила его без изменений, сохранив за Арсением лишь монашеский чин, что освобождало его от гражданского суда и возможности истязаний.

Синод назначил Арсению местом ссылки Ферапонтов монастырь — тот самый, где столетием раньше находился в заточении неукротимый патриарх Никон. В Синоде состоялась церемония лишения митрополита сана: его привели туда в архиерейском облачении, а вывели в простой монашеской одежде, усадили в колымагу и тут же тронулись в путь. Офицер, сопровождавший опального, в пути получил новый указ — местом ссылки был определен не Ферапонтов, а более отдаленный Корельский Никольский монастырь Архангелогородской губернии. На пропитание ему положили 50 копеек в день, причем три дня в неделю его велено было использовать на черных работах: колоть дрова, мыть полы, носить воду.

Императрица, торжествуя победу, все же чувствовала себя неловко. Это видно из ее письма к Вольтеру, в котором Екатерина пыталась изобразить себя в более благородном свете, а митрополита, наоборот, — в неприглядном, представив дело так, будто бы он воскрешает идею Никона о двоевластии. Екатерина извещала Вольтера, что Арсений, «фанатик, виновный в замысле, противном как православной вере, так и верховной власти, лишен сана и священства и передан в руки светского начальства. Я

простила его, удовольствовавшись тем, что перевела его в монашеское звание». В этой информации множество неточностей — императрица зря приписала Арсению претензии на двоевластие и скрыла от фернейского мудреца факт ссылки митрополита в отдаленный монастырь, где больной старец должен был выполнять тяжелые работы.

Пребывание в монастыре на скудной монашеской пище, а также суровый режим, при котором ему разрешались прогулки лишь в сопровождении четверых солдат, не лучшим образом повлияли на строптивый характер Арсения. Вместо смирения он проявлял непослушание и раздражительность, в особенности после того, как до него донеслись слухи из столицы о двух важных событиях: о секуляризации церковных имений и о гибели Иоанна Антоновича. Арсений откровенно выражал свой протест в разговоре с караульными солдатами, говаривал им об Иоанне Антоновиче, что «невинно он смерть получил». Иногда монастырское начальство разрешало Арсению произносить проповеди, и тогда с амвона звучали обличительные слова. Все разговоры сходили ему с рук, пока в 1767 году протодиакон Иосиф Лебедев не настрочил донос в губернскую канцелярию. Об этом доносе стало известно Екатерине, и Арсений вновь привлек ее пристальное внимание. Непосредственное наблюдение за ходом следствия она поручила генерал-прокурору А. А. Вяземскому. В итоге Архангелогородская канцелярия получила указ, по которому поведению ссыльного дана была политическая оценка. Меру наказания определила сама императрица: она повелела лишить Арсения монашеского звания, облачить его в мужицкую одежду, назвать Андреем Вралем, переменить место ссылки и ужесточить режим содержания. Андрея Враля надлежало перевести в Ревель, лишив возможности общения с кем бы то ни было. Караульными были назначены солдаты, не знавшие русского языка.

Императрица понимала, что дело Арсения не украшает первые годы ее правления, и поэтому позаботилась о том, чтобы события в ее интерпретации стали достоянием не только Вольтера, но и просвещенной части французского общества. С этой целью, конечно же не без ведома Екатерины, была составлена статья о деле Мацеевича, переведенная на французский и предназначавшаяся для опубликования в газетах. Статья начинается с торжественной декларации, в которой сообщалось, что нет более милосердного и великодушного монарха, чем Екатерина, проявившая снисходительность к преступнику, выступившему «как против человеческих, так и против божественных законов». Далее следовало краткое

изложение событий, к которым был причастен Мацеевич, причем без искажения. Екатерина, ознакомившись с содержанием статьи, наложила резолюцию: «Опробуется».

20 декабря 1767 года в губернской канцелярии состоялось расстрижение монаха Арсения. Сани с Андреем Вралем сопровождали два сменявших один другого офицера, каждому из которых вручалась инструкция: первый должен был везти его от Архангельска до Вологды, второй — от Вологды до Ревеля. Третья инструкция предназначалась ревельскому коменданту Тизенгаузену. О значении, придаваемом Екатериной ревельскому узнику, свидетельствует ее собственноручная записка коменданту: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтоб не улетела».

Не обделен был вниманием императрицы Андрей Враль и в последующие годы. В 1769 году Тизенгаузена на посту коменданта Ревеля сменил Бенкендорф. В этой связи Екатерина отправила генерал-прокурору Вяземскому записку: «Не изволишь ли писать к нему (Бенкендорфу. — Н. П.), чтобы он за Вралем имел смотрение такое, как Тизенгаузен имел, а то боюсь, чтоб не бывши ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии свои какие ни на есть штуки, и чтоб не стали слабее за сим зверком смотреть, а то нам от того не выливались новые хлопоты».

Насколько обоснованны опасения Екатерины? Действительно ли протест Арсения представлял серьезную угрозу светской власти. И в самом ли деле Екатерина должна была предпринять решительные меры, чтобы пресечь нависшую опасность? На поставленные вопросы можно дать отрицательный ответ: сорвать секуляризационные планы императрицы Мацеевич не мог, и это та прекрасно понимала. И если императрица уготовила бунтарю суровую кару, то эта ее акция, скорее всего, имела личную подоплеку: резкие и нелестные о ней отзывы, высказанные им еще в 1762 году. Во время второго следствия над Арсением в 1767 году доносчик писал: «Монах де Арсений говаривал слова такие: „ее да величество наша неприродная, и она де нетвердая в законе нашем и не надлежало де ей Российского престола принимать, а следовало Ивану Антоновичу, или лучше бы было, кабы ее величество за него вступила в супружество“.» Екатерина против этого текста сбоку написала: «Сии слова Арсений говорил и в 1762 году капитану Дурново, когда сей последний приезжал его брать в Синод, и так Алексеевский то не выдумал». Слова Арсения, как видим, столь глубоко задевали Екатерину, что она их помнила и пять лет спустя.

Обрушившиеся на Арсения кары осуществлялись в годы, когда императрица усердно сочиняла свой «Наказ» и созывала

Уложенную комиссию. Идеи «Наказа» резко контрастировали с жестокостью, проявленной императрицей по отношению к Арсению. Поведение Екатерины кажется странным еще и потому, что Арсений до 1767 года наивно полагал, что ей неведомы подлинные его доводы против секуляризации, что она пользовалась донесениями Синода и вельмож, намеренно искажавшими его мысли, и что стоило ей почитать его подлинные донесения, как она проникнется его, Мацеевича, идеями и отменит секуляризацию.

Третье следственное дело связано с волнениями приписанных к уральским заводам государственных крестьян. Специфика этого следствия состояла в том, что следователи не ограничивались только дознанием, выявлением зачинщиков, но прибегали и к использованию воинских команд, вооруженных, помимо стрелкового оружия, еще и пушками.

Волнения начались в середине 50-х годов, вскоре после передачи казенных заводов вельможам, то есть задолго до вступления на престол Екатерины II. Они были вызваны хищнической эксплуатацией крестьян новыми владельцами. В погоне за барышами вельможи обременяли крестьян непомерно высокими нормами повала леса и жжения древесного угля: они считали для себя невыгодным использовать наемных работников, поскольку установленная казной еще в 1724 году оплата труда приписных крестьян была в три-четыре раза ниже рыночной.

Приводить крестьян в повиновение Екатерина поручила генерал-квартирмейстеру Александру Алексеевичу Вяземскому. В декабре 1762 года была составлена инструкция, которая разъясняла, как ему надлежит действовать. Первым делом Вяземский должен был привести заводских крестьян к послушанию, то есть принудить их выполнять возложенные на них повинности, и только после этого заняться выяснением причин, вызвавших их недовольство. Ведя следствие, Вяземский должен был опираться на жалобы обеих сторон, исследовать их «беспристрастно», ибо, говорилось в инструкции, «как крестьянская продерзость всегда вредна, так и человеколюбие наше терпеть не может, чтоб порабощали крестьян выше мер человеческих, особенно с мучительством». Вяземскому, располагавшему воинской командой, было предоставлено право чинить суд и расправу не только над зачинщиками волнений, но и над приказчиками, отличавшимися жестоким обращением с крестьянами. При наказании приказчиков «надобно брать предосторожность, чтоб крестьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их бояться, когда им не нравится и правильная работа». В случае, если крестьяне будут продолжать

упорствовать, в них разрешалось стрелять.

Кроме того, Вяземскому вменялось в обязанность изучение состояния уральских заводов, их оборудования, производительности, обеспеченности рабочей силой. Ему также поручалось дать аргументированный ответ на вопросы, не целесообразнее ли отказаться от использования труда приписных крестьян и заменить его вольнонаемным и не следует ли все казенные заводы передать в частные руки.

За выполнение поручения Вяземский и сменивший его генерал Александр Ильич Бибиков заслужили похвалу императрицы. Оба они действовали жестоко, оставляя кровавый след в приписных деревнях. По свидетельству Екатерины, генералы, унимая непокорных, «не единожды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек».

Примечателен секретный доклад карателей о результатах следствия, в котором дан обстоятельный анализ причин крестьянских волнений. Из этого анализа вытекает, что виновниками волнений были вельможи-заводовладельцы, обременявшие крестьян высокими уроками при низкой оплате труда.

Императрице удалось не только разгрести наследие предшественников, но и осуществить первые самостоятельные шаги. Причем речь идет не о традиционных первых шагах государей, вступивших на престол, — то есть не об обычных милостях по отношению к вельможам, оказавшимся ранее в опале. Екатерина в этом плане не составляла исключения и, как мы помним, вернула из ссылки А. П. Бестужева-Рюмина и отстраненного от дел Я. П. Шаховского. В данном случае нас не интересует и смена лиц, стоявших у кормила правления, которая обычно сопровождала смену лица на троне. Наше внимание привлекут новшества во внутренней и внешней политике, отраженные в действиях и законодательных актах нормативного характера, обозначавших вехи истории страны.

В первых самостоятельных действиях императрицы, прежде всего в области внутренней политики, практически невозможно обнаружить следы сколько-нибудь продуманной системы либо программы, части которой в строгой последовательности претворялись бы в жизнь. Ученица Вольтера располагала достаточным временем, чтобы подготовить себя к занятию трона, о чем она вожделенно мечтала по крайней мере лет шесть. Однако новшества, даже более или менее существенные, на наш взгляд, внедрялись стихийно. В этом смысле Екатерина, располагавшая большими возможностями, чем Петр I, практически повторила путь, пройденный великим

реформатором: преобразования в течение первых тринадцати лет проводились в угоду сиюминутных потребностей. И еще одна перекличка с петровским временем — инициатива реформ часто исходила не от императрицы, а от ее окружения.

Исключение составляет указ, опубликованный спустя чуть больше месяца после восшествия на престол, 31 июля 1762 года, и скорее всего навеянный собственными размышлениями и наблюдениями императрицы. Документ расширил список товаров, находившихся в вольной продаже за счет смолы и ревеня. Отменялась казенная монополия на торговлю с Китаем, а также откупы на тюленьи и рыбные промыслы и табак. Сбор таможенных пошлин, находившихся с 1758 года на откупе у купца Шемякина, тоже изымался из его ведения, как и ввоз в Россию шелка. В казенной монополии оставалась лишь торговля поташом и смольчугом, что мотивировалось необходимостью беречь леса[71]. Ликвидация откупов, как и монополии на ходовые товары, избавляла торговлю и промыслы от пут средневековой регламентации и являлась серьезной заявкой на свободу предпринимательства.

В 1763 году Екатерина взялась было проводить кардинальные реформы, но остановилась на полпути. Речь идет о проектах Никиты Ивановича Панина, заключавшихся в реформировании Сената и создании нового учреждения — Императорского совета. По мнению Панина, Сенат, состоявший из 25–30 вельмож, давно превратился в громоздкую и малоэффективную махину, поскольку сенатор, как писал Панин, «приезжает на заседание как гость, который не знает не только вкуса кушанья, но и блюд, коими его будут потчевать». Если эту метафору перевести на деловой язык, то суть критического замечания Панина состояла в том, что многие члены Сената бездельничали, позволяли себе отмалчиваться и пассивно наблюдать за происходившим. Положение исправится, полагал Панин, если Сенат разделить на департаменты, в каждый из которых должно определить по шесть членов. Тогда исчезнет возможность прятаться за спины других, и дела в Сенате пойдут быстрее.

Панин предлагал разделить Сенат на шесть департаментов, каждому из которых надлежало ведать строго определенной отраслью управления. Например, одному департаменту поручалось ведать делами Берг-, Мануфактур— и Коммерц-коллегий; создавались департамент по Юстиц— и Вотчинной коллегии, Департамент, ведавший делами бывшей Рекетмейстерской конторы (он принимал жалобы); Департамент по Военной и Адмиралтейской коллегиям и др. Екатерина одобрила и утвердила панинский проект, и реформа Сената была

осуществлена в 1763 году.

Иная участь постигла проект того же Н. И. Панина об учреждении Императорского совета. Панин подверг резкой критике предшествующие царствования, когда страной правили временщики и «припадочные люди», как он именовал фаворитов. И те и другие не радели об интересах государства, предметом их забот были личные интересы. И те и другие олицетворяли зло, поскольку не обладали необходимыми для управления способностями. Лица, преуспевшие в карьере, руководствовались правилами — «была бы милость, всякова на все станет». Создавался порочный замкнутый круг: «прихоть была единственным правилом, по которому дела к производству были избираемы». Власть «припадочных людей» котировалась выше власти государственных учреждений, а отсюда проистекало множество пороков: лихоимство, безнравственность, произвол. От этих пороков и должен был избавить страну Императорский совет. Но его надобность обусловлена и тем, что монарх, удовлетворяющий самым высоким требованиям, не в силах справиться с огромным потоком дел.

Императорский совет, по замыслу Панина, должен был состоять из шести персон, четыре из которых назывались статскими секретарями; каждый из них ведал важнейшими сферами управления: внешней политикой, внутренними делами, военными и морскими. (Подробнее о проекте учреждений Императорского совета будет рассказано в главе, посвященной Н. И. Панину.)

Екатерина отклонила проект об учреждении Императорского совета. Причем сделано это было не в решительной форме, а путем проволочек, его постепенного удушения. Поначалу императрица высказала ряд малозначительных пожеланий и замечаний: вместо шести предложила ввести в Совет восемь членов; ей не понравилось слово «министр», и она просила заменить его русским словом; не по сердцу Екатерине пришелся и резкий отзыв о царствовании Елизаветы Петровны, уподобленном Паниным «варварским временам». Синонима слову «министр» в русском языке не нашли и оставили его, а выражение «варварские времена» убрали. Екатерине ничего не оставалось как подписать Манифест об учреждении Императорского совета и утвердить его состав (Бестужев, Разумовский, Воронцов, Шаховской, Панин, Чернышов, Волконский и Г. Орлов), но от его опубликования она воздержалась, решив ознакомить с ним некоторых вельмож.

Критики не отклонили саму идею создания учреждения, но предложили внести поправки технического свойства: назвать совет не Императорским, а Верховным тайным советом, заседать

ему не пять, а четыре раза в неделю. Наиболее критически к проекту был настроен генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа: «Я не знаю, — писал он, — кто составитель проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, таким образом склоняется более к аристократическому правлению». По мнению критика, над императрицей нависла серьезная угроза ограничения власти монарха: «Обязательный и государственным законом установленный Императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей»[72]. После этого Екатерина надорвала последний лист подписанного ею Манифеста, чем положила конец всем разговорам о создании Императорского совета.

Мотивов отклонения проекта об организации нового учреждения и согласия императрицы на реформу Сената источники не сохранили, и историки высказывают различного рода гипотезы. Одна из них объясняет согласие Екатерины на разделение Сената на шесть департаментов, то есть дробление данного учреждения на мелкие части, ее стремлением превратить Сенат в послушный себе орган и устранить возможность оппозиции с его стороны[73]. Подобное суждение представляется лишенным серьезных оснований. В самом деле, о какой оппозиции со стороны Сената могла идти речь, если он проявил трогательную заботу и усердие о благополучии только что взошедшей на престол Екатерины: он услужливо освободил ее от участия в похоронах убитого супруга, а 17 июля выступил с предложением соорудить ей монумент.

Искать подспудных мотивов одобрения Екатериной реформы Сената вряд ли целесообразно, они обстоятельно изложены самим автором проекта и настолько очевидны, что поиски каких-то особых причин поведения императрицы способны не прояснить, а затемнить проблему — цель реформы состояла в повышении мобильности и эффективности работы Сената и сенаторов. Сложнее обнаружить мотивы блокирования Екатериной проекта о создании Императорского совета. Заметим, критический отклик Вильбоа использован лишь в качестве предлога — императрица и сама видела ущемление им прерогатив абсолютного монарха, но не решалась в конце 1762 года открыто выступить против него. Разве она ожидала, чтобы ей кто-либо посторонний открыл глаза на следующий пассаж проекта, явно ущемлявший прерогативы абсолютного монарха: «Все то, что служить может к собственному самодержавию государя, попечении о приращении и исправлении государственном имеет быть в нашем Императорском совете, яко у нас собственно». Здесь просматривается олигархическая

тенденция, попытка в какой-то мере уравнять заботы монарха с заботами формально подчиненного ему учреждения. Для отказа реализовать проект у Екатерины были и дополнительные мотивы — как выше было отмечено, она хотела не только царствовать, но и управлять. Более того, создание Императорского совета Панин мотивировал теми же причинами, какими в свое время руководствовались при учреждении Верховного тайного совета — бременем многочисленных и разнообразных обязанностей, ложившихся на плечи монарха. Это был намек на неспособность Екатерины самой справиться с управлением страной, что задевало ее самолюбие и тщеславие. Равным образом, осуждение роли временщиков и «припадочных людей» при Елизавете Петровне наводило тень и на Екатерину, ибо выходило, что она тоже не в состоянии была ограничить роль фаворита лишь любовными утехами. Не могли устроить императрицу и инициатива создания нового учреждения, исходившая не от нее, а от ее подданного. Но при этом императрица нисколько не сомневалась в целесообразности существования при ней совещательного органа типа Кабинета министров и Конференции при высочайшем дворе, что явствует из учреждения ею в 1768 году Государственного совета.

Вслед за реформой Сената была осуществлена реформа управления Украиной. Судя по всему, идея ликвидации гетманства принадлежала самой императрице, что видно из «Наставления» генерал-прокурору Вяземскому. «Наставление» помечено рукой Екатерины как «секретнейшее» не потому, что оно, например, обязывало генерал-прокурора вести борьбу с корчемством, получившим столь широкое распространение, что стало практически невозможно наказывать всех причастных к этому злу. И не из-за порицания деятельности генерал-прокурора Глебова. «Секретность» документа обусловливалась намерением ликвидировать автономные права, которыми пользовались окраинные территории России — Украина, Лифляндия и Эстляндия. Их, писала Екатерина, следовало «привести к тому, чтоб они обрусели бы и перестали бы глядеть, как волки в лесу». Сохранение за ними автономии она назвала «глупостью». Задачи, поставленные «Наставлением», серьезно продуманы Екатериной; это явствует из того, что императрица в ближайшее время приступила к их реализации.

О пристальном внимании императрицы к судьбе гетманского правления свидетельствует и ее поручение Григорию Теплову составить записку о положении дел на Украине. Сейчас трудно сказать, в каких случаях Теплов в угоду императрице сгущал краски, а в каких описанная им мрачная обстановка, сложившаяся

на окраине империи во время гетманского правления, соответствовала истине, но в целом записка выглядит убедительно.

По версии Теплова, на Украине царила безысходность: произвол старшины, ее ненасытная алчность, сопровождавшаяся захватом земель, закрепощением казаков и крестьян и одновременно бесправием забитого населения. Пользуясь неграмотностью крестьян и казаков, старшина составляла фиктивные купчие на землю, города, местечки и села. Исследования историков XX века подтвердили это генеральное утверждение Теплова: за 14 лет гетманства Кирилла Разумовского (1751–1764) численность закрепощенного населения увеличилась в два-три раза[74].

Анализируя причины крайней нищеты населения, Теплов пришел к странному, на первый взгляд, выводу: в бедствии повинно сохранившееся право крестьянского перехода, отсутствие суровых форм крепостного права, существовавших в России. Свободный переход крестьян и казаков с одного места на другое приводил к двум негативным последствиям: бедный помещик становился еще беднее, ибо у него сманивал крестьян богатый землевладелец, предоставлявший им льготы; свобода перехода не приносила счастья и крестьянину, а также казаку: и тот и другой предавались лености, безнравственности, пьянству — прожив льготное время у одного богатого помещика, они переходили к другому, у которого пользовались новыми льготами. Вывод неутешительный: в плодородной стране свирепствует голод, бедный помещик разоряется, а от богатого, хотя он и становится еще более состоятельным, государство никакой выгоды не получает, ибо подушной подати ни крестьяне, ни казаки не платят. Выход из тупика напрашивался сам собою: благоденствие на Украине наступит только после закрепощения крестьян. Гетманским универсалом 1760 года крестьянам запрещалось переселяться на новые места без письменного разрешения помещика; равным образом помещику запрещалось принимать крестьянина без такого разрешения. В 1763 году Екатерина подтвердила гетманский универсал.

Критика порядков на Украине подготавливала почву для упразднения гетманского правления. Императрица, ознакомившись с содержанием сочинения Теплова, имела беседу с Разумовским. О содержании беседы она писала в своей записке Панину: «Никита Иванович! Гетман был у меня и я имела с ним экспликацию (объяснение. — Н. П.), в которой он все то же сказал, что и вам, а наконец просил меня, чтоб я с него столь трудный и его персоне опасный труд сняла». Екатерина велела

передать Разумовскому, чтобы тот написал письменное прошение. Письменный документ «О снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности» появился, и Екатерина, не откладывая дела в долгий ящик, удовлетворила просьбу. Медлить не было резона, ибо старшина готовила Екатерине петицию об установлении наследственного гетманства за родом Разумовских.

10 ноября 1764 года Сенату был дан указ об учреждении Малороссийской коллегии вместо гетманского правления. Она состояла из четырех представителей России и такого же количества представителей Украины. Возглавлял Малороссийскую коллегию граф Петр Александрович Румянцев. Его власть приравнивалась к президентству в коллегии и генерал-губернаторской. Ликвидация гетманского правления — закономерный итог развития административного аппарата абсолютной монархии, стремящейся к унификации структуры органов власти, не терпящей автономии и игнорирующей национальные особенности окраин. Гетманское правление было упразднено еще при Петре Великом. Восстановление его явилось эпизодом, обусловленным фаворитизмом. Именно поэтому новое упразднение гетманства прошло спокойно и не вызвало осложнений.

К новшествам, достойным подробного рассмотрения, относятся еще две меры, осуществление которых было навеяно идеями просветителей. В 1764 году был учрежден Смольный институт, а в следующем году — Вольное экономическое общество. Эти меры Екатерины положили начало эре просвещенного абсолютизма.

Смольный институт являлся закрытым учебным заведением, в который зачислялись дворянские девочки в возрасте шести лет. Заканчивали же обучение восемнадцатилетние девицы. Помимо общеобразовательных предметов, смолянок обучали навыкам, необходимым добродетельным матерям: шитью, вязанию, домостроительству, светскому обхождению, танцам, музыке, учтивости.

Воспитанниц изолировали от окружающей среды, что исключало, как полагал инициатор создания Смольного Иван Иванович Бецкой, пагубное влияние семьи, улицы, родственников и знакомых. Девицы, прошедшие выучку в Смольном, призваны были положить основание новой породе людей, свободных от пороков. Став матерями, выпускницы Смольного передадут приобретенные знания и навыки своим детям, а те — следующему поколению. В итоге люди избавятся от пороков и приобретут полный набор добродетелей.

Императрица, имея страсть к рекламе своих начинаний,

отзывалась о Смольном институте и его воспитанницах с присущим ей восторгом и была уверена, что цель, ради которой создавалось учебное заведение, достигнута вполне. В 1772 году, восемь лет спустя после основания Смольного, она дважды писала о нем Вольтеру. В первом письме читаем: «Пятьсот девиц воспитываются здесь в монастыре, назначенном прежде для пребывания трехсот невест Христовых. Эти девицы, я в том должна вам признаться, превзошли наши ожидания; они успевают удивительным образом, и все согласны с тем, что они становятся столько же любезны, сколько обогащаются полезными для общества знаниями, а с этим они соединяют самую безукоризненную нравственность, однако же без мелочной строгости монахинь».

Почти два месяца спустя, 23 марта, Екатерина, отвечая Вольтеру, писала: «Не знаю, выйдут ли из этого батальона девиц, как вы называете их, амазонки, но мы очень далеки от мысли образовать из них монашенок; мы воспитываем их, напротив, так, чтобы они могли украсить семейства, в которые вступят, мы не хотим их сделать ни жеманными, ни кокетками, но любезными и способными воспитывать своих собственных детей и иметь попечение о своем доме»[75].

Идеи Бецкого, разделяемые Екатериной, вполне утопичны, ибо исходят из посылки о влиянии среды, как единственного фактора, определяющего наличие в воспитуемом пороков и добродетелей. Вывести новую породу людей Смольный институт, конечно же, не смог, но его положительное влияние на распространение в стране просвещения является общепризнанным — это было первое учебное заведение со всем набором общеобразовательных предметов (иностранные языки, русский, арифметика, история, география), положившее начало женскому образованию в России. Вместе с тем это была первая ласточка в политике просвещенного абсолютизма, которым знаменательно время правления Екатерины.

Второй шаг в этом же направлении Екатерина сделала в октябре 1765 года, когда учредила «Императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства». Общество разделило судьбу Смольного института — оба учреждения оказались самыми долговечными творениями Екатерины и были упразднены лишь в октябре 1917 года. А. Т. Болотов считал организатором общества сына токаря Петра Великого А. А. Нартова: «Как самое основание оного, так и управление им и поддержание оного можно наиглавнейше приписать господину Нартову Андрею Андреевичу — бессменному секретарю сего общества. Он собственно старался о

собрании оного, о побуждении первейших вельмож о вступлении…»[76].

На Общество возлагалось множество задач, нацеленных на рациональную организацию помещичьего и крестьянского хозяйства — распространение «полезных и нужных знаний», способствующих улучшению животноводства и повышению урожайности, а также разумному использованию результатов земледельческого труда. Устав Общества определял его цель как заботу «о приращении в государстве народного благополучия», что может быть достигнуто стремлением «приводить экономию в лучшее состояние, показывая… каким образом натуральные произращения с пользою употребляемы и прежние недостатки поправлены быть могут»[77].

Должно заметить, что внедрение полезных начинаний продвигалось крайне медленно. Подневольный труд крепостного не стимулировал введение каких-либо новшеств, почти всегда сопровождавшихся увеличением повинностей в пользу помещика.

Но вывод о бесполезности существования Вольного экономического общества глубоко неправилен. Речь идет лишь о том, что при иных благоприятных социальных условиях его деятельность принесла бы более заметные результаты.

Еще более успешными первые шаги Екатерины оказались в сфере внешней политики. Здесь ей удалось извлечь выгоды из сближения с Пруссией — в ее лице Россия обрела союзника в политике относительно Курляндии и Речи Посполитой. В обоих случаях интересам России противостояла Саксония, постоянный союзник Австрии: королем Речи Посполитой был саксонский курфюрст Август III, а престол в Митаве занимал его сын Карл, пристроившийся здесь с согласия Елизаветы Петровны еще в 1758 году. В расчеты Екатерины входило посадить на польский трон своего бывшего любовника Станислава Августа Понятовского, а корону герцога Курляндского передать известному Эрнсту Иоганну Бирону. Условия тому благоприятствовали: Август III тяжело болел, и все ожидали его близкой кончины, а герцог Курляндский Бирон, лишенный трона еще Минихом, был возвращен из ссылки и находился под боком у Екатерины.

Ход мыслей Екатерины был столь же прост, сколь и рационален: чем меньше прав на польскую корону будет иметь ее ставленник, тем в большей зависимости от России он окажется. На Бирона, считала императрица, тоже можно положиться вполне, ибо он получит корону из ее рук. Остановка была за дипломатией, которой поручалось уладить оба вопроса, не вызывая при этом осложнений. Кстати, план лишения Карла герцогской короны вынашивал и Петр III, намеревавшийся

возвести на престол своего дядю Георга, принца Голштинского.

Екатерина поручила своему агенту Ржичевскому утешить Августа III тем, что его сын Карл, потеряв Курляндию, будет вознагражден каким-либо епископством. Тем самым Август III, полагала императрица, не почувствует горечи утраты.

Король надеялся, что сейм не согласится уступить Курляндию Бирону, но просчитался — Екатерина через Ржичевского парализовала работу сейма в Варшаве. Одновременно русская дипломатия энергично трудилась и в Митаве, подготавливая почву для низложения Карла и восстановления в правах Бирона. Карлу было предложено покинуть Митаву, и он вынужденно смирился, ибо предложение это было подкреплено русскими войсками, возвращавшимися из Пруссии на родину. К тому же Екатерина твердо заявила, что она принимает Бирона под свое покровительство, «как беззаконно утесненного владетеля». Когда императрица узнала, что 48 из 60 сенаторов Речи Посполитой признали Карла законным герцогом Курляндским и намеревались открыть против Бирона уголовный процесс, она велела передать уполномоченному короля Речи Посполитой при русском дворе Борху, что принимает это постановление за личное себе оскорбление и распорядится выпроводить уполномоченного из Петербурга в 48 часов, «чтоб они знали, что я герцога Эрнеста Иоганна и вольности польской защищать буду всем, чем Бог меня благословил». В конце концов 8 апреля 1763 года Бирон вновь стал герцогом Курляндским.

Утвердить на польском троне Понятовского было значительно труднее. Екатерина понимала, что своей цели она достигнет тем быстрее, чем теснее сблизится с прусским королем.

Третий пункт договора Петра III с Фридрихом II предусматривал совместные действия против нововведений в политическом строе Речи Посполитой, в частности установления наследственной монархии. Договаривавшиеся стороны обязались, кроме того, покровительствовать диссидентам. Договор оставался в силе и при Екатерине. Фридрих заверял, что будет поддерживать все ее притязания в польском вопросе: «Я соглашусь, — писал король императрице, — избрать из всех претендентов того, которого вы предложите». Екатерина благодарила Фридриха астраханским виноградом и астраханскими и царицынскими арбузами. Она писала королю: «Таким образом как можно тише с помощью вашего величества дадим, когда представится к тому случай, короля Польше». 8 октября 1763 года она рекомендовала предоставить трон Понятовскому, и Фридрих II одобрил ее выбор: «Та самая рука, которая раздает арбузы, с одной стороны, жалует короны, а с

другой — поддерживает мир в Европе». О поляках король отзывался так: «Большинство поляков пусты, трусливы, гордятся, когда почитают себя защищенными от опасности, и пресмыкаются, когда опасность представляется глазам их. Я думаю, что не будет пролития крови, разве только из носа или уха какого-нибудь шляхтича, разгорячившегося на маленьком сеймике. Заранее поздравляю ваше величество с успехом этого дела»[78].

Наконец, 5 октября 1763 года Август умер. Напор императрицы усилился. Одним из средств привлечения поляков на свою сторону был подкуп, другим — угрозы применить силу. Послу в Варшаве Кейзерлингу императрица велела разглашать среди шляхты, что если кто-нибудь из доброжелателей России будет схвачен, «то я (Екатерина. — Н. П.) населю Сибирь моими врагами и спущу запорожских казаков, которые хотят прислать депутацию с просьбой позволить им отомстить за оскорбление, нанесенное мне королем польским». Императрица предприняла военную демонстрацию, сосредоточив войска у границы. 7 сентября 1764 года польским королем был избран Станислав Август Понятовский. По этому поводу Екатерина писала Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы делали»[79].

Это не первое вмешательство России во внутренние дела Речи Посполитой. Напомним, Россия навязала ей своего ставленника в короли в 1733 году. Но тогда, после смерти Августа И, ей довелось вести войну за так называемое польское наследство. Теперь, после смерти Августа III, Станислав Понятовский был посажен на трон без единого выстрела. Это свидетельство дальнейшего ослабления Речи Посполитой и показатель роста влияния и успешных действий русской дипломатии.

Глава III. Просвещенная монархиня

Просвещенный абсолютизм — политика, претворявшаяся в жизнь в годы, когда очевидными становились изъяны отживавшей свой век феодальной системы, в недрах которой вызревали буржуазные отношения. Теоретические основы просвещенного абсолютизма были разработаны выдающимися деятелями французского просвещения — Монтескье, Вольтером, Д'Аламбером, Дидро и др. Эти просветители умеренного толка призывали к эволюционной, без бурь и потрясений, смене общественно-экономических отношений, что устраивало монархов Европы и приводило к возникновению союза королей и философов, союза, способного, как полагали короли, предотвратить угрозу их тронам.

Идеи Просвещения в той или иной мере разделяли многие монархи середины и второй половины XVIII века: прусский король Фридрих II, шведский король Густав III, австрийский император Иосиф II и другие. Но самые близкие отношения просветители установили с Екатериной II. Тому способствовали два обстоятельства. Во-первых, благодаря крепостническому режиму, низкой грамотности населения и общей отсталости Россия представлялась просветителям страной, где реализация их идей должна была принести самые ощутимые результаты. Во-вторых, Екатерина оказалась самой прилежной ученицей просветителей и намеревалась энергично претворять их идеи в жизнь. Барону Гримму, одному из представителей Просвещения, Екатерина писала: «Я люблю нераспаханные земли — поверьте, это лучшие земли… Я годна только для России».

Подобно тому как на родине Просвещения Вольтер, Д'Аламбер или Дидро не могли обрести взаимопонимание с Людовиком XV, так в России не получился диалог между Екатериной и российским просветителем Николаем Ивановичем Новиковым. Зато императрице удалось пленить умы парижских вольнодумцев, с которыми она вела оживленную переписку.

В оценке отношений Екатерины с просветителями советские историки, как правило, руководствовались высказываниями А. С. Пушкина и Ф. Энгельса. Оба они считали, что просветители, не ведая подлинного положения дел в стране, доверились оценкам самой монархини. Пушкин писал об отвратительном фиглярстве императрицы «в сношениях с философами ее столетия». Оценка Энгельса близка к пушкинской: «…двор Екатерины II превратился в штаб-квартиру тогдашних просвещенных людей, особенно французов; императрица и ее

двор исповедовали самые просвещенные принципы, и ей настолько удалось ввести в заблуждение общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали „северную Семирамиду“ и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире, отечеством либеральных принципов, поборником религиозной терпимости»[80].

Под пером наших марксистов эти оценки гиперболизированы настолько, что для освещения положительных итогов правления Екатерины II не оставалось ни места, ни желания. В результате императрица оказалась представлена лицемеркой на троне, говорившей и писавшей одно, а делавшей совсем другое.

«Наказ» императрицы подавался сочинением, содержавшим множество напыщенных фраз и обещаний, которые она не намеревалась претворять в жизнь, а Уложенная комиссия оценивалась как фарс, нацеленный на околпачивание французских просветителей и либералов внутри страны. Всякая мера в пользу трудового населения квалифицировалась как вынужденная, исходившая не от Екатерины, а от обстоятельств, принуждавших ее идти на уступки.

Но сводить все к фарсу, лицемерию и обману — значит не замечать генерального факта: Екатерина Великая после своего 34-летнего правления оставила Россию более могущественной и просвещенной, становившейся на путь законности.

Ключом к пониманию взаимоотношений императрицы и просветителей служит ее ответ на осуждение митрополитом Платоном ее переписки с «безбожником» Вольтером. «80-летний старик, — заявила она, — старается своими, во всей Европе жадно читаемыми сочинениями прославить Россию, унизить врагов ее и удержать деятельную вражду своих соотчичей, кои тогда старались распространить повсюду язвительную злобу против дел нашего отечества, в чем и преуспел. В таком виду намерении письмы, писанные к безбожнику, не нанесли вреда ни церкви, ни отечеству».

Но было бы опрометчиво объяснять переписку Екатерины с Вольтером и прочими просветителями чисто утилитарными целями. Начиналось все с преклонения перед силой идей, исходивших от могучей кучки деятелей Просвещения, сумевших покорить любознательную Екатерину в годы, когда она, отвергнутая супругом, находила утешение в чтении их сочинений. Великая княгиня Екатерина Алексеевна не представляла интереса для просветителей, поскольку не имела возможностей хоть как-то осуществить их проекты. Только после того, как она стала Екатериной II, возник взаимный интерес друг к другу.

Екатерина держала себя по отношению к Вольтеру, с которым активнее всего переписывалась, скромной ученицей, всего лишь стремившейся воплотить в жизнь его идеи. Она воздерживалась от демонстрации превосходства императрицы огромной страны над лицами, зарабатывавшими на хлеб насущный пером. Императрица при всяком удобном случае подчеркивала способность своих корреспондентов удивить мир оригинальными идеями, а они, в свою очередь, не переставали восхищаться ее способностью не только усваивать их труды. Какими только лестными эпитетами не награждал Вольтер Екатерину! «Я до такой степени стал уверен в своих пророчествах, — писал он в 1766 году, — что смело предсказываю теперь вашему величеству наивеличайшую славу и наивеличайшее счастье»[81].

Похвалы, способные вскружить голову, продолжались и в 70-е годы. «Уже теперь, — извещал Вольтер императрицу в 1773 году, — отправляются иностранные философы брать уроки в С. — Петербург». «Мы (Вольтер и Дидро. — Н. П.) просто светские миссионеры, проповедующие культ святой Екатерины, и гордимся только тем, что церковь наша всемирна». Даже движение Пугачева не умерило пыла Вольтера.

Особый восторг просветителей вызвала материальная помощь нуждавшемуся Дидро: у того была единственная дочь, для приобретения приданого которой он намеревался продать главное свое богатство — библиотеку. В 1766 году Екатерина купила у него библиотеку за 15 тысяч франков, предоставив ему право держать ее у себя до смерти; более того, императрица назначила Дидро хранителем библиотеки, определив жалованье в 1000 франков в год с выплатою его за 50 лет вперед.

В связи с этим Д'Аламбер писал Екатерине: «Вся литературная Европа рукоплескала…» Вольтер: «…Все писатели Европы должны пасть к стопам ее величества».

Попутно заметим, что лестные слова в адрес Екатерины раздавались не только со стороны деятелей французского Просвещения, но и некоторых коронованных особ. Однако если восторги просвещенных людей Европы в основном были бескорыстными, то прусский король Фридрих II, с необычайной щедростью расточавший комплименты Екатерине, пытался извлечь из них пользу — завоевать ее симпатии при осуществлении своих агрессивных планов, в частности, при первом разделе Речи Посполитой.

В отличие от тонкой лести французов, комплименты Фридриха II были откровенно прямолинейными и грубыми. Когда Екатерина признала Фридриха II «великим королем», тот в ответ стал называть императрицу «государыней, одаренной высшим

гением», «величайшей государыней Европы», сожалел, что не имеет «счастья вблизи изумляться вами», был уверен, что «самые завистливые враги империи, управляемой таким высшим гением, какова государыня России, не осмелятся даже составить проектов против столь грозной империи» и т. д.

Екатерина отвечала своим французским корреспондентам тоже комплиментами, правда более сдержанными, как и положено императрице в переписке с некоронованными особами. Вольтеру она писала: «Быть ходатаем за человеческий род, защитником угнетаемой невинности, значит сыскать себе бессмертие. Эти два дела привлекают к вам глубокое уважение»[82].

В июне 1778 года императрица получила известие о смерти Вольтера. Она писала Гримму: «Вольтер — мой учитель: он, или лучше сказать, его произведения, развили мой ум и мою голову». Гримм получил задание купить у наследников библиотеку учителя «и все оставшиеся после него бумаги, включая и мои письма. Я щедро заплачу его наследникам»[83].

Дело, разумеется, не во взаимных комплиментах, а в утверждении за императрицей общеевропейской репутации мудрого монарха. «Теперь, — писал Вольтер Екатерине, — надобно, чтобы все глаза обращались к северной звезде. Ваше императорское величество нашли путь к славе, до вас неведомой всем прочим государям. Никому из них не приходило в голову рассыпать благодеяния за семьсот-восемьсот лье от их владений. Вы действительно сделались благодетельницею Европы и приобрели себе подданных величием вашей души более, чем другие могут покорить оружием».

Подобная позиция Вольтера вполне устраивала императрицу, и она всячески поддерживала его рвение в этом.

Сюжетов, связанных с положением русского народа и делами внутренней политики, императрица старалась избегать, а если и касалась их в своих письмах, то у читателя складывалось убеждение, что население благоденствует и не испытывает никаких лишений. Проверить достоверность сообщаемой императрицей информации иностранные корреспонденты не могли, и это открывало простор для небылиц. Вспоминается знаменитое письмо Екатерины Вольтеру (1769), в котором она извещала о достатке русского крестьянина: «Впрочем, наши налоги так необременительны, что в России нет мужика, который бы не имел курицы, когда он ее захочет, а с некоторого времени они предпочитают индеек курам»[84].

В другом письме, отправленном тому же адресату в конце 1770 года: «В России все идет обыкновенным порядком: есть

провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чем: поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся».

Столь же приукрашивала императрица быт крестьянской семьи. «Бывало прежде, — читаем в письме, отправленном подруге ее матери Бьельке в конце 1774 года, — проезжая по деревне, видишь маленьких ребятишек в одной рубашке, бегающих босыми ногами по снегу; теперь же нет ни одного, у которого не было бы верхнего платья, тулупа и сапогов. Дома хотя по-прежнему деревянные, но расширились и большая часть их уже в два этажа».

Эти грандиозные успехи — плод пылкого воображения Екатерины. Похоже, однако, что ей удавалось убедить своих корреспондентов в том, сколь благотворно влияло ее царствование на жизнь подданных.

Два события портили идиллическую картину и опровергали успехи, которые она живописала. Речь идет о чумном бунте в 1771 году и пугачевщине. Скрыть их было невозможно, ибо первое происходило в Москве, а второе приобрело широкий размах и было продолжительным.

Симптомы распространения чумы в Москве, видимо, появились еще в апреле и стали достоянием молвы. Бьельке запросила императрицу, в какой мере слухи соответствуют действительности. 18 мая 1771 года Екатерина отвечала: «Тому, кто вам скажет, что в Москве моровая язва, скажите, что он солгал; там были только случаи горячек гнилой и с пятнами, но для предотвращения панического страха и толков я взяла все предосторожности, какие принимаются против моровой язвы».

Это утверждение императрицы насквозь противоречиво: если нет моровой язвы, то зачем еще в апреле было повелено генерал-адьютанту Якову Брюсу устроить строгий карантин в старой столице?

Справедливости ради отметим, что разразившийся бунт обрел в письмах к Вольтеру и Бьельке более или менее точное описание. Императрица сообщила Бьельке и о позорном бегстве из старой столицы генерал-губернатора П. С. Салтыкова, отстраненного за это от службы, и о командировании в Москву Григория Орлова, чтобы «на месте принять меры, какие окажутся нужными для прекращения бедствия». Писала она и о бесчинствах обезумевшей от страха и паники толпы, растерзавшей московского архиепископа.

Чумной бунт выглядел мелким эпизодом по сравнению с грандиозным движением Пугачева. Пугачевское восстание в открытую роняло престиж «мудрой правительницы». 9 февраля

1774 года она заклинала одного из карателей — А. И. Бибикова — постараться «прежде весны окончить дурные и поносные сии хлопоты. Для Бога вас прошу и вам приказываю всячески приложить труда для искоренения злодейств сих, весьма стыдных пред светом»[85].

Екатерина в письмах к Вольтеру и Бьельке не жалела слов для описания жестокостей восставших, с похвалой отзывалась о дворянах Казанской губернии, обязавшихся «образовать и содержать на свой счет корпус, который бы присоединился к войскам генерала Бибикова», радовалась тому, что в рядах «бунтовщиков не было даже ни одного обер-офицера», но ни разу не обмолвилась ни о причинах, вызвавших движение, ни о его целях. Это, однако, не помешало Вольтеру одобрить действия Екатерины.

Предводителя восстания Вольтер иронически называл «маркизом Пугачевым». Но императрице было не до иронии, она была целиком озабочена подавлением народного движения. В письме от 13 августа 1774 года она извещала Вольтера: «Маркиз Пугачев наделал мне много хлопот в этом году. Я была вынуждена более шести недель следить с непрерывным вниманием за этим делом». Екатерине и здесь удалось склонить патриарха французского просвещения на свою сторону и сохранить в его глазах репутацию философа на троне. Пожелание фернейского старца состояло в том, чтобы «Пугачев был без промедления повешен»[86].

Известный интерес представляет поведение Екатерины в связи с составлением ею «Учреждения о губернии», с которым связана важная веха в истории ее царствования. Напомним одну существенную деталь: о работе над «Наказом» внутри страны и за ее пределами узнали лишь после ее завершения. Тогда императрица выступала в роли начинающей законодательницы и не была уверена в успехе. Теперь же возникли основания для того, чтобы самой распространять слух об исключительной важности принимаемого закона. Он был обнародован в конце 1775 года, но, как увидит читатель, задолго до его появления Екатерина извещала своих корреспондентов о работе над ним[87].

Итак, информируя зарубежных корреспондентов о положении дел в стране, Екатерина прибегала к значительным передержкам, лакировке происходившего, что было вполне в духе того времени — аналогичным образом вели себя прусский и шведский короли: Фридрих II и Густав III.

Проще было Екатерине информировать зарубежных корреспондентов о военных действиях в годы первой русско-турецкой войны. Успехи здесь были настолько бесспорны и

очевидны, что не нуждались ни в лакировке, ни в искажении. Каждая победа русского оружия немедленно становилась достоянием Вольтера и Бьельке, поэтому письма императрицы военной поры напоминали военные сводки: овладение Яссами, победоносные сражения у Ларги и Кагула, разгром неприятельского флота в Чесме — описание этих побед встречало у Вольтера искреннее восхищение, а сам он просил императрицу почаще доставлять ему удовольствие подобными известиями. Более того, Вольтер, подогревая честолюбие императрицы, пророчил ей блестящие успехи: хотел, чтобы она короновалась в Константинополе, называл султана Мустафу «толстой свиньей», которую он готов задушить своим шнурком: «Я проклинаю Мустафу и молю святую Деву помочь верным». Свое отношение к русско-турецкой войне Вольтер высказал достаточно определенно: «Желаю, чтобы турок хорошенько побили». Кажется, единственный раз императрица предпочла «высокий штиль» истине, когда писала: «Мои солдаты идут на варваров, как на свадьбу»[88].

Особый восторг у Вольтера вызывала способность императрицы «писать свод законов одной рукой и побеждать Мустафу другой». «Чем я восхищаюсь, государыня, — изъяснялся Вольтер в письме от 12 марта 1772 года, — так это тем, что вас хватает на все; вы делаете ваш двор самым приятным в Европе в то самое время, как ваши войска самые страшные. Эта смесь величия и грации, побед и праздников кажется мне очаровательной»[89].

Екатерина, надо полагать, настолько уверовала в возможность продиктовать султану условия мира не где-нибудь, а именно в Константинополе, что в 1773 году, после перемирия и возобновления военных действий, писала Вольтеру: «Если турки будут следовать советам своих самозванных друзей, то вы можете быть уверены, что ваши желания видеть нас на Босфоре будут очень близки к своему исполнению».

Вольтер одобрил еще одну внешнеполитическую акцию Екатерины — ее участие в первом разделе Речи Посполитой.

Связь императрицы с французскими просветителями не ограничивалась перепиской. С Дидро и Гриммом Екатерина общалась лично, причем с Гриммом дважды.

В первый раз оба они явились в Петербург в 1773 году, когда императрице было не до светских и ученых разговоров — продолжалась русско-турецкая война, ее занимали тревожные слухи о движении, вспыхнувшем в Оренбургских степях. Тем не менее Екатерина почти ежедневно беседовала с гостями по нескольку часов.

В столице России Дидро пробыл пять месяцев вместо двух, как собирался вначале: Екатерина умела слушать собеседника и умела говорить сама. Собеседники не всегда высказывали взгляды, приемлемые для каждого из них. Споры были неизбежны, ибо Дидро выступал в роли мечтателя, по мнению которого абсолютной монархине достаточно захотеть, чтобы события развивались в угодном ей направлении, в то время как Екатерина изображала себя реалисткой. Граф Сегюр, французский посол при дворе императрицы, выразил это различие достаточно четко: «Она восхищалась его умом, но отвергла его теории, заманчивые по своим идеям, но неприложимые к практике»[90].

Эпистолярное наследие, оставленное Екатериной и европейскими философами, дало Н. М. Карамзину основание сделать справедливое замечание: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувств и выражений»[91].

Благодаря запискам Сегюра историкам известно одно примечательное суждение императрицы: «Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушает ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо… Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка и мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы»[92].

В этом высказывании — ключ к пониманию различий между либеральными идеями Екатерины и ее консервативной практикой, между личными взглядами на тот или иной вопрос и отношением к нему дворянства, интересы которого она не могла игнорировать, если намеревалась сохранить за собой корону. Галантный француз не мог себе позволить резких выпадов против гостеприимной хозяйки (и наоборот). Зато, возвратившись на родину, Дидро дал волю своему язвительному перу.

Практические позиции Екатерины хорошо просматриваются в истории с конкурсом, объявленным по инициативе императрицы только что основанным Вольным экономическим обществом. В конце 1765 года общество получило письмо, автор которого спрашивал: «В чем состоит и состоять должно для успешного распространения земледелия имение и наследие хлебопашцев». Анонимным автором письма и жертвователем денег являлась Екатерина.

Общество объявило конкурс на лучшее решение вопроса: «Что полезнее для общества, — чтоб крестьянин имел в собственности

землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое простираться должны?» Интригующее начало было рассчитано на внешний эффект, впрочем, вполне удавшийся. В течение двух лет Вольное экономическое общество получило 162 конкурсные работы, в том числе 129 прислали немцы, 21 — французы, 7 — русские. Каждая из работ имела свой девиз, в некоторых случаях отражавший точку зрения автора, например: «доброжелатель вельмож, но не враг и народа», «крестьянин питает нас всех», «свобода и собственность», «радуйтесь, земледельцы».

Первую премию получил член Дижонской академии Беарде де Лабей, представивший сочинение под девизом: «В пользу свободы вопиют все права, но есть мера всему. Могущество государства основано на свободе и благосостоянии крестьян. Но наделение их землей должно было последовать за освобождением от крепостного права». Автор рекомендовал не спешить ни с освобождением крестьян, ни с наделением их землей, ибо опасно спустить с цепи медведя, не приручив его. Надлежит сначала подготовить крестьян к восприятию свободы, а потом уже приступить к наделению их землей. Эта программа никого ни к чему не обязывала.

Императрицу устраивало участие в конкурсе цвета европейского Просвещения. Конкурсные работы прислали Вольтер и Мармонтель, Граслен и Эйлер. Уверовав в серьезность намерений «северной Семирамиды», просветители подвергли резкой критике крепостничество, писали о неминуемом упадке общества, в котором господствует рабство, об угрозе выступления народа, доведенного до отчаяния, о паразитизме дворянства. Однако конкурсные сочинения держались в секрете, их содержание было достоянием лиц, входивших в конкурсную комиссию. Даже работу Беарде де Лабея решено было опубликовать на русском языке лишь после четырехмесячных дебатов на сей счет.

Конкурсное сочинение либерально настроенного дворянина А. Я. Поленова тоже не было опубликовано на том основании, что оно содержало «по здешнему состоянию неприличные выражения». Но, раскритиковав крепостное право, Поленов не предлагал отменить его. Он всего лишь считал возможным предоставить крепостному право наследственного владения «недвижимым имением» и право собственности на движимое имущество.

В советской историографии конкурс принято считать пропагандистской акцией Екатерины. Конечно, отрицать налет пропаганды не приходится — на то она и Екатерина, чтобы

принимать очередную дозу похвал и лести. Но вместе с тем нельзя сводить все к ненасытному честолюбию императрицы, ибо конкурс в этом плане вполне мог подорвать к ней доверие. На наш взгляд, Екатерина весьма опасалась протестов со стороны помещиков, которых не устраивало любое ограничение их прав на личность крестьянина и результаты его труда.

Общение с европейскими знаменитостями закрепило за Екатериной славу просвещенной монархини и «бессмертной покровительницы художеств». Планы императрицы простирались и дальше. К Д'Аламберу она обратилась с просьбой быть воспитателем своего сына Павла Петровича, а Дидро готова была предоставить убежище от преследований французского правительства с тем, чтобы тот продолжил издание энциклопедии в Петербурге. Оба, впрочем, вежливо отказались.

В те времена престиж монарха был неразрывно связан с престижем страны, в которой он занимал трон. Следовательно, восторги философов относились не только к Екатерине, но и к России.

Созыв Уложенной комиссии принадлежит едва ли не к самым примечательным акциям Екатерины II в духе просвещенного абсолютизма. После гибели Иоанна Антоновича императрица почувствовала себя на троне увереннее, чем прежде, — был устранен последний претендент на корону. Настало время рассчитываться за щедро расточаемые просветителями комплименты. Богаче и глубже стали представления «северной Семирамиды» о государстве, которым она правила пять лет. Екатерина совершила четыре большие поездки по стране: в 1763 году она побывала в Ростове и Ярославле, в 1764-м навестила прибалтийские губернии, в 1765-м проехала по Ладожскому каналу и, наконец, в 1767 году отправилась по Волге от Твери до Симбирска, а обратно сухим путем в Москву.

Подобных путешествий не совершал даже царь-непоседа Петр Великий. Правда, ездил он по стране больше Екатерины, исколесив Европейскую Россию вдоль и поперек, но его поездки, как правило, увязывались с военным лихолетьем; удельный вес познавательных путешествий был невелик. Не будем забывать и о том, что, отправляясь в дальний путь, императрица лишалась привычных удобств дворцовой жизни, путницу ожидали капризы погоды, физические нагрузки, нарушение привычного распорядка дня.

К 1765 году, когда у императрицы созрел план созвать Уложенную комиссию, она уже стала обретать мудрость государственного деятеля, поэтому созыв этой комиссии в 1767 году не сулил императрице и малой доли тех неприятностей и

потрясений, которые могли ожидать ее, если бы она обнародовала свой «Наказ» в первые месяцы царствования.

Надобность в совершенствовании законодательства остро ощущалась уже при Петре Великом. В первой половине XVIII века известны многократные попытки привести законы в соответствие с изменившимися со времен царя Алексея Михайловича обстоятельствами. Но планы эти так и не воплотились во что-либо конкретное. Самое обстоятельное намерение составить новое Уложение связано с именем П. И. Шувалова, по инициативе которого в 1754 году была создана Уложенная комиссия. Формально она прекратила существование в 1767 году, а фактически — тремя годами ранее, в 1764-м.

Созыв новой Уложенной комиссии Екатерина мотивировала в Манифесте 14 декабря 1766 года необходимостью устранить несовершенство существующего законодательства. По мнению императрицы, многие из прежних указов оказались негодными либо потому, что авторы их руководствовались соображениями, непонятными современникам, либо вследствие несходства тогдашних обычаев с нынешними. Этой же мысли она придерживалась и позже, когда писала в своих заметках, что из сенатских рассуждений и многих разговоров установила бесспорный факт: нынешние законы «многим казались противоречащими, и… все требовали и желали, дабы законодательство было приведено в лучший порядок».

Но созыв Уложенной комиссии преследовал и иную, не менее важную цель — выслушать от депутатов «нужды и чувствительные недостатки нашего народа»[93].

Комиссия, созванная Екатериной, отличалась от предшествующих множеством особенностей. Одна из них состояла в новшестве, доселе неведомом: императрица составила «Наказ» с изложением программы действий комиссии и своих взглядов на ее задачи. Расхожее мнение о «Наказе» как компилятивном сочинении нуждается в уточнении. Основанием для традиционной оценки служит признание самой императрицы, написавшей Д'Аламберу: «Вы увидите, как там я на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его». Действительно, основной текст «Наказа» включил 20 глав, поделенных на 526 статей, из которых 245 восходят к сочинению Монтескье «О духе законов», 106 — к книге итальянского ученого-юриста Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Кроме того, Екатерина использовала труды немецких авторов Бильфельда и Юста, а также французскую энциклопедию и русское законодательство.

Однако «Наказ» — не бесхитростный пересказ или конспект

сочинений других авторов, а результат творческого переосмысления идей Монтескье, бравшего за образец английский парламентаризм, и адаптации их к русской действительности. Императрица была глубоко убеждена, что размеры территории России обусловливают единственно приемлемую для нее форму правления в виде абсолютной монархии: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно с пространством столь великого государства… Всякое другое правление не только было бы для России вредно, но и вконец разорительно».

Екатерине не всегда удавалось приспособить идеи просветителей к русской действительности и преодолеть противоречия между реалиями феодальной структуры общества и, по сути, буржуазными догмами, исповедовавшимися деятелями Просвещения.

Так, в «Наказе» императрица исходила из сословной структуры общества и в соответствии с этим предоставляла каждому сословию свои права и обязанности: «Земледельцы живут в селах и деревнях и обрабатывают землю, и это есть их жребий. В городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих тех, кои оным украшены. Как между людьми были добродетельнее других, а при том и услугами отличались, то принято издревле отличать добродетельнейших и более других служащих людей, дав им сие нарицание в чести, и установлено, чтобы они пользовались разными преимуществами, основанными на сих выше сказанных начальных правилах» (ст. 358–361).

Такие постулаты «Наказа», как «равенство граждан всех состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам», а также девиз, выбитый на медали: «Блаженство каждого и всех», — противоречат сословному строю, изначально предопределявшему неравенство. Равенству всех перед законом противоречит и статья «Наказа», осуждающая ситуацию, «когда всяк захочет быть равным тому, который законом учрежден быть над ним начальником» (ст. 358).

В своем сочинении императрица продвинулась вперед в толковании прерогатив монаршей власти. Петр Великий в «Уставе воинском» и регламенте Духовной коллегии определял власть монарха в самой общей форме: «Монархов власть есть самодержавная, которой повиноваться сам Бог за совесть повелевает…» «Наказ» конкретизирует понятие неограниченной власти: монарх является источником всякой государственной

власти, только ему принадлежит право издания законов и их толкование. На исполнительную власть, то есть иерархию правительственных учреждений, «Наказ» возлагал обязанность проводить указы монарха в жизнь, творить суд «именем государя по законам».

Екатерина расшифровала еще одно понятие, настойчиво внушавшееся Петром I, но нигде им не раскрытое, — «общее благо». В представлении императрицы общее благо — главная забота монарха, его можно достичь путем издания совершенных законов, предоставляющих «безопасность каждого особо гражданина». Верховная власть, сосредоточенная в руках монарха, «сотворена для народа», обязанность монарха — служение обществу, повседневная забота о его совершенствовании. Конечный результат этих забот выражен в девизе, начертанном на жетоне депутата Уложенной комиссии: «Блаженство каждого и всех». Средство достижения этой цели — соблюдение законов. Об этом, как мы знаем, писал и Петр, но соблюдение законов, по его мнению, обязательно для подданных и правительственных учреждений. Императрица пошла дальше — монарх должен не только осуществлять «главное надзирание над законами», но и «не переменять порядок вещей, но следовать оному», управлять «отчасти кротко и снисходительно».

Петр совершил первые шаги в направлении к правовому государству, регламентируемому законами. Эта мысль четко, но в самой общей форме выражена в знаменитом указе царя от 22 января 1724 года, призывавшем все правительственные инстанции, в том числе Сенат, Синод, коллегии и канцелярии, строго соблюдать «все уставы государственные и важность их, яко первое и главное дело, понеже в том зависит правое и незазорное управление всех дел…»[94].

«Наказ» углубляет эту мысль, во многих статьях разъясняя значение законов во всех сферах жизни общества: «Законы можно назвать способами, коими люди соединяются и сохраняются в обществе и без которых бы общество разрушилось». Поэтому, продолжала императрица, в государстве не может быть места, «которое бы от законов не зависело». Составительница «Наказа» снисходит даже до такой частности, как стиль и лапидарность законов: «Всякий закон должен написан быть словами вразумительными для всех, и при том очень коротко».

Нормы уголовного права, отраженные в «Наказе», ломали твердо установившиеся традиции русского судопроизводства. Екатерина полагала, что подданных от преступлений должны удерживать не суровые кары, а стыд. «В самодержавии, — рассуждала императрица, — благополучие правления состоит

отчасти в кротком и снисходительном правлении». Отсюда осуждение пыток: «Все наказания, которыми тело человеческое уродовать можно, должно отменить», ибо «употребление пытки противно здравому естественному рассуждению», а к тому же пытаемый, не выдержав истязаний, может наговорить на себя.

Составительница «Наказа» протестовала и против смертной казни — на том основании, что «опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими». «Гораздо лучше, — считала императрица, — предупреждать преступления, нежели наказывать». «Наказ» отрицает норму Уложения 1649 года, одинаково сурово каравшего как за умысел совершить преступление, так и за содеянное преступление, равно как и за слова, осуждающие власть, даже если они не сопровождаются действием: «все извращает и ниспровергает, кто из слов делает преступление, смертной казни достойное».

Либеральные взгляды императрицы обнаруживает, в частности, такая формулировка: «Человека не можно считать виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут его лишать защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные».

Обстоятельно разработан «Наказом» и сюжет, относящийся к развитию торговли и промышленности. Хотя императрица и придерживалась взгляда, что «земледелие есть самый большой труд для человека» (ст. 297, 313), но считала необходимым проявлять «рачение» и о рукоделии и торговле. Для процветания последней необходимо снять все ограничения (ст. 317) как внутри страны, так и в сбыте товаров за границу, а также учреждать банки. Впрочем, почти тут же мы сталкиваемся с убеждениями противоположного толка. Императрица высказывалась против применения более совершенных орудий производства — «махин», полагая, что они наносят вред государству, поскольку сокращают численность людей, занятых рукоделием (ст. 314). Разделяла она и сословный предрассудок, что торговля — дело не дворянское.

Слабее всего в «Наказе» разработан крестьянский вопрос. Судьбы закрепощенного населения остались за рамками Екатерининского сочинения. О крепостном праве сказано очень глухо, и можно лишь догадываться, что речь идет о нем — в статье 260 императрица повторила мысль, высказанную ею еще в годы, когда она была великой княгиней: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных». Порицала Екатерина и жестокое наказание крепостных, но не прямо, а косвенно: «У афинян строго наказывали того, кто с рабом поступал свирепо» (ст. 254). Осуждение императрицы

вызывает и перевод крестьян помещиками с барщины на оброк, что, по ее мнению, уменьшает численность земледельцев. Лишь одна статья (270) касается размера повинностей крестьян в пользу помещика, но она носит рекомендательный, а не обязательный характер: «Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтоб они с большим рассмотрением располагали свои поборы, и те бы поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дому и семейства».

Как случилось, что ученица Вольтера оставила в стороне вопрос, волновавший миллионы ее подданных? Объяснение находим в письме императрицы Д'Аламберу: «Я зачеркнула и разорвала и сожгла больше половины, и Бог весть, что станется с остальным»[95]. Осталось тайной, какие статьи «Наказа» Екатерина разорвала и сожгла. Известно, что, находясь в Коломенском, она давала читать текст «Наказа» накануне опубликования ближайшему окружению, «разным персонам, вельми разномыслящим». Последние имели право изымать из документа все неугодное. «Они более половины из того, что написано было ею, помарали, и остался „Наказ“ яко оный напечатан»[96].

С. М. Соловьев обнаружил отрывок из черновых заметок императрицы к «Наказу», позволяющий судить о тексте, вымаранном критиками. Оказалось, что в опубликованном варианте отсутствуют характерные сентенции: «…чтоб законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, а с другой — предостерегали бы опасности, могущие оттуду произойти… Законы должны и о том иметь попечение, чтоб рабы в старостях и болезнях не были оставлены».

Ссылаясь на пример Финляндии, где суд над крестьянами творят семь-восемь выборных односельчан, Екатерина считала возможным ввести такие же порядки и в России — «для уменьшения домашней суровости помещиков или слуг, или посылаемых на управление деревень их беспредельное, что часто разорительно деревням и народу и вредно государству, когда удрученные от них крестьяне принуждены бывают неволею бежать из своего отечества».

Автор недавнего замечательного исследования «„Законная монархия“ Екатерины II». О. А. Омельченко считает изъятие из «Наказа» текстов, относящихся к крепостному праву, историографической легендой, порожденной неправильным прочтением С. М. Соловьевым источника и сделанными на этой основе «предубежденными выводами». К сожалению, исследователь ничего не говорит о том, как Соловьев умудрился неправильно прочесть источник и каково происхождение

цитируемого маститым ученым отрывка из черновой рукописи «Наказа». Правоту Омельченко не подтверждают и замечания на «Наказ» А. П. Сумарокова, явно оспаривающие намерение императрицы предпринять какие-то меры к освобождению крестьян: «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, попуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки». Свои наивные рассуждения Сумароков заканчивает, пытаясь внушить императрице страх за судьбу государства: «…непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и, вместо того, что ныне помещики живут постоянно в вотчинах („и бывают зарезаны отчасти от своих“ — заметила Екатерина. — Н. П.), вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища, ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них»[97].

Куда убедительнее О. А. Омельченко развеял миф о том, что «Наказ» был-де секретным и взрывоопасным документом и поэтому тщательно оберегался от посторонних глаз, будучи доступен только избранным — депутатам Уложенной комиссии и высшим чиновникам правительственных учреждений. Первое издание «Наказа» увидело свет в день открытия Уложенной комиссии — 30 июля 1767 года. Вплоть до 1796 года он издавался семь раз общим тиражом около пяти тысяч экземпляров и приобрел широкую известность не только в России, но и за ее пределами, ибо был переведен на основные европейские языки[98].

Двум другим новшествам, предшествовавшим обнародованию «Наказа», императрица придавала не менее важное значение. Речь идет о порядке выборов в Уложенную комиссию и о наказах депутатам от избирателей.

14 декабря 1766 года императрица опубликовала указ о сочинении проекта Уложения.

Цель созыва комиссии указ определил четко и лаконично: «Мы созываем (депутатов. — Н. П.) не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они быть имеют в комиссию, которой дадим наказ и обряд управления для заготовления проекта нового Уложения к поднесению нам для конфирмации». Здесь многообещающе звучала первая часть фразы: если мы проведем аналогию с Земскими соборами, то обнаружим, что никогда верховная власть не обращалась к подданным с призывом «выслушать нужды и недостатки каждого места» — ее прежде всего интересовало отношение Земского собора к предложениям правительства.

Именно это обращение к подданным вызвало наибольшее их сочувствие.

Указ определял «обряд» избрания депутатов. От дворян и горожан предусматривались прямые выборы: от первых по одному депутату от уезда, от вторых — столько же от города, независимо от числа в нем жителей. Кроме того, по одному депутату отправляло каждое центральное учреждение: Сенат, Синод, канцелярии. Для свободного сельского населения устанавливались трехстепенные выборы: погост, уезд, провинция, причем погост и уезд избирали выборщиков, а право избрания депутата предоставлялось выборщикам, прибывшим в провинциальный город. Право выбора депутатов принадлежало государственным и экономическим крестьянам, а также оседлым «инородцам» Поволжья и Сибири. Крепостные крестьяне, составлявшие 53 % жителей России, были лишены права выбирать депутатов — считалось, что их интересы представляли помещики, ими владевшие.

«Обряд» предусматривал процедуру выборов: право участия в них в сельской местности принадлежало дворянам, владевшим в данном уезде имением, а в городе — жителям, владевшим домом и занимавшимся либо ремеслом, либо торговлей. Устанавливался возрастной ценз: активное избирательное право предоставлялось лицам, достигшим двадцатипятилетнего возраста, а чтобы быть избранным, надлежало иметь 30 лет. К избранным депутатам предъявлялись высокие нравственные требования: они должны быть женатыми, иметь детей и «ни в каких штрафах и подозрениях и в явных пороках не бывалых», то есть не находиться под судом. Депутат, кроме того, должен быть «честного и незазорного» поведения.

Участие местной администрации — воевод и губернаторов — выражалось в том, что они открывали собрание прибывших на выборы дворян и горожан и руководили избранием предводителя, под председательством которого происходили выборы депутата. «Обряд» обучал избирателей непривычному делу — технике выборов. Голосование производилось шарами, бросаемыми в ящик, накрытый сукном и поделенный на две половины: на одной написано «избираю», на другой — «не избираю»; подсчет голосов производил предводитель в присутствии избирателей. Избранным в депутаты считался кандидат, набравший более половины голосов. Закон предписывал избирателям поздравлять депутата, а последнему — благодарить избирателей.

В отличие от Земских соборов, где избранный сам нес бремя расходов на поездку и пребывание в столице, депутату Уложенной комиссии предоставлялось множество льгот и

привилегий, превращавших депутатскую должность в престижную и респектабельную. Депутат, «в какое бы прегрешение ни впал», освобождался от казни, пыток и телесных наказаний. Он не мог быть привлечен к ответственности без санкции императрицы, его имение подлежало конфискации только в том случае, если он являлся должником. Во время работы комиссии ограбление, избиение и убийство депутата карались удвоенной мерой наказания.

Интерес к депутатской должности поощрялся жалованьем, выдававшимся сверх получаемого на службе. Привлекал депутатов и золотой знак на золотой цепи ценой в 67 рублей 89 копеек. Правда, после смерти депутата значок надлежало сдать в казну, но зато депутату-дворянину разрешалось внести изображение значка в фамильный герб[99].

Льготы и привилегии депутатам дали основание мемуаристу А. Т. Болотову заявить: «Многие ужасно добивались места депутата, ласкаясь отчасти определенным жалованьем, а отчасти другими выгодами».

Реализация «обряда» встречала немало трудностей. Одна из них состояла в том, что подавляющее большинство дворян, несмотря на Манифест 1762 года о вольности дворянской, продолжали служить и пребывали не в имениях, а далеко за их пределами. Так, в Волоколамском уезде постоянно живших в имениях помещиков оказалось 15 из 60, в Звенигородском — 3 из 80, в Гороховецком — 7 из 63. Выход нашли, предоставив отсутствующим избирателям право подавать письменное заявление («голос»), в котором они выражали согласие с содержанием наказа депутату и отдавали свой голос кандидату, получившему большинство голосов наличных избирателей.

Закон запрещал администрации вмешиваться в выборы, но, видимо, было немало случаев, когда воеводы и губернаторы оказывали давление на избирателей, протежируя угодным им лицам. Однако источник зарегистрировал единственный случай подобного давления: оренбургский губернатор Рейнсдорп поддержал в качестве кандидата в депутаты безвестного секунд-майора Толстого, и тот получил больше голосов, чем известный ученый и краевед П. И. Рычков.

А. Т. Болотов резко отрицательно оценивал депутатский корпус, полагая, что избиратели отдавали голоса не самым лучшим представителям дворянского сословия. «Выборы, — сетовал мемуарист, — начались производимы быть везде по пристрастиям; выбирали и назначали не тех, которых бы выбирать к тому надлежало и которые к тому были способны и другие достаточные, а тех, которым самим определиться в сие

место хотелось не смотря нимало, способны ли они к тому были или неспособны»[100].

Хотя содержание депутатских наказов находится в прямой зависимости от социальной принадлежности их составителей, в них нетрудно обнаружить несколько общих черт.

Одна из них состоит в том, что депутатские наказы существенно отличаются от «Наказа» императрицы. Та витает в облаках, рассуждает об обществе и государстве в целом, высказывает общие суждения, в то время как наказы депутатов, из какой бы сословной среды они ни вышли, отличает приземленность, не выходящая за границы уезда и города. Видимо, все составители депутатских наказов буквально поняли задание указа 14 декабря 1766 года излагать «нужды и недостатки каждого места». Скорее всего, самокритичное заявление тульских дворян, скромно просивших извинения за нескладно составленный наказ «по непривычке нашей в сем упражнении», следует распространить и на прочие наказы.

Вторая общая черта, образно сформулированная М. М. Богословским, состоит в том, что наказы — «надежный фонограф, записавший хор провинциальных голосов»[101]. Иногда в этом хоре, как правило состоявшем из безголосых певцов, появлялись запевалы и солисты, позволявшие себе высказывать неординарные мысли. В подавляющем же большинстве наказов найти что-ли-бо неординарное крайне затруднительно. Вполне типичным был наказ волоколамских дворян с заявлением, что они ни в чем нужды не имеют. Единственное их желание состояло в поручении депутату «крайнее старание приложить» об изготовлении статуи императрицы — «как главнейшее наших нужд и прошений». Дворяне Юрьев-Польского уезда жаловались на свое скудоумие, а дворяне Кадыевского уезда Костромской губернии не обнаружили более существенных невзгод своей жизни, чем ограничение частного винокурения[102].

Жалобы мелкого житейского значения и даже выражение полного благополучия можно обнаружить и в крестьянских наказах. Крестьяне Богословского погоста Цивильского уезда заявили: «И ныне мы находимся во всяком удовольствии». Забавным выглядит пожелание крестьян Нижегородского уезда, «не оставить ли матерной брани» в присутственных местах[103].

Наконец, дворяне в массовом порядке и весьма охотно заимствовали содержание наказов дворян соседних уездов, внося в них по мере крайней нужды некоторые коррективы. Выявлена, например, близость содержания наказов дворян Тульского, Ливенского, Одоевского и Воротынского уездов; Луховского, Костромского и Ярославского уездов; Верхнеломовского —

Нижнеломовского, Бежецкого — Углицкого и других[104].

Ни один из дворянских наказов не протестовал против крепостнического режима. Напротив, чаяния помещиков были направлены на его укрепление и расширение своего права на личность крестьянина, результаты его труда и владение землей.

С наибольшей напористостью они обрушивались на существовавший порядок оформления сделок на куплю, продажу, мену, передачу имения по наследству, требовавших значительных расходов, — все документы хранились в Вотчинной коллегии в Москве, куда надлежало отправляться. Дворян не устраивал и закон, ограничивавший их право распоряжения собственностью: имение полагалось разделять равными долями всем сыновьям, в то время как среди них попадались моты и расточители, недостойные наследства.

Редко какой наказ обходил молчанием грабежи и разбои. Пензенские дворяне жаловались: «…кого из помещиков в домах застанут, мучат злодейски, пытают, жгут огнем, режут и на части разрубают и прочими бесчеловечными мучениями… а особливо дворянство умерщвляют, а дома их с жительством выжигают». Не менее жуткая картина изображена в Белевском наказе: дворяне писали, что в разбойники подались их дворовые люди, мстящие им за наказания, учиненные за «предерзости»[105].

Ни один из дворянских наказов не проходил мимо бегства крестьян, считая его «главнейшим изнеможением», причем ни одному из составителей не пришла в голову мысль, что виновниками бегства являлись сами дворяне, налагавшие на крестьян неимоверные повинности или подвергавшие их жестоким истязаниям и вынуждавшие бежать либо на окраины страны, либо в соседнюю Речь Посполитую. По подсчетам смоленских дворян, за границей находилось более 50 000 беглых. Дворяне видели два способа борьбы со злом: увеличение численности карательных отрядов в рамках уездной администрации и расширение прав помещиков.

Не довольствуясь указом 1765 года, разрешавшим помещикам ссылать в Сибирь и на каторгу строптивых крепостных, некоторые дворяне требовали применять к ним смертную казнь. Ливенские дворяне ратовали за то, чтобы не ставить в вину помещикам и их приказчикам смерть крестьянина, «если учинится ему паче чаяния при бою плетьми, батожьем или палками в наказание за предерзости». Не меняла дела даже мало что значившая оговорка: «Как помещикам, так и прикащикам, естли беглый, паче чаяния, при наказании умрет, в вину не ставить»[106].

В некоторых наказах предъявлялись претензии к местной

администрации и судопроизводству. Так, ряжское дворянство жаловалось на беспробудное пьянство канцелярских служителей, не имеющих страха перед начальством, а лихвинские дворяне — на неуважительное отношение канцелярской мелкоты к заслуженным дворянам, которым отвечают «грубо и неучтиво»[107]. Громко звучал голос дворян, требовавших создания сословных корпораций в уездах, организации контроля за неукоснительным соблюдением законов местными властями. Раздражение дворян вызывали высокие судебные издержки и судебная волокита: в иных случаях затраты на приобретение гербовой бумаги и оплату посыльных за ответчиком превосходили сумму иска.

Некоторые наказы ополчались против отмены пыток и смертной казни и требовали возврата к прежней практике. Алаторские дворяне полагали, что увещевание священника, которым указ 1763 года заменял пытку, может иметь эффект только у «просвещенного и политизированного» народа, «а российский народ то уже такое окаменное сердце и дух сугубый имеет, что не только священнику, но и в розыску, когда его пытают, правды не скажет».

Составители некоторых дворянских наказов проявляли заботу и о крестьянах. Боровские дворяне были убеждены: «Ничто так крестьян не разоряет, как в сборе подвод, паче в работную пору»[108]. Немало жалоб было высказано в адрес рекрутской повинности, которую считали необходимым заменить вербовкой вольных охотников. Не устраивала дворян и постойная повинность (обязанность крестьян предоставлять квартиры маршевым ротам): нередко офицеры занимали крестьянские избы, изгоняя из них хозяев, а солдаты объедали крестьянские семьи.

Орловских дворян беспокоило отсутствие на селе медицинской помощи: они «соболезновали о жизни человеческой, взирая на сей бедный народ, которые умирают как скоты, без всякого призрения, иногда от самой малой раны, которую можно было бы и пластырем залечить»[109].

Заметим, однако, что филантропия дворян не всегда была бескорыстной: все наказы сетовали на обременительность не владельческих, а государственных повинностей, ведь уменьшение последних давало возможность увеличить поборы в свою пользу.

Дворянские наказы, как видим, были пронизаны сословными требованиями. Прямодушнее других высказались кашинские дворяне, полагавшие, что «всякого рода людям, как дворянству, так и купечеству, равным образом и разночинцам, пожалованы были генеральные привилегии, дабы каждый род имел свои

преимущества и один в прерогативы другого не вступал, и всякий бы пользовался тем, что будет привилегирован»[110].

Но в том-то и дело, что дворяне постоянно вторгались в прерогативы сословия горожан, требуя не только исключительного права владеть населенными имениями, но и того, что горожане считали своей монополией: строительства промышленных предприятий, права заниматься внутренней и внешней торговлей, а также промыслами. Горожане, в свою очередь, зарились на дворянскую привилегию, суть которой четко и образно выразил С. М. Соловьев: в Уложенной комиссии раздавался «дружный и страшно печальный крик: „рабов!“»[111].

Десятки городских наказов требовали права владеть крепостными на том основании, что купцам «на наемных положиться не можно» и что купцы, «не имея в своем владении собственных крепостных людей, несут крайние себе убытки и немалые изнеможения».

По-иному мотивировали необходимость восстановления права покупать крепостных к мануфактурам, отмененного в 1762 году, владельцы крупных предприятий. В городских наказах Костромы, Углича, Вязьмы и Астрахани было сказано, что без собственных крестьян «фабрик и заводов размножать и в лучшее состояние приводить никак не можно, понеже вольные люди не могут быть в таком послушании, как собственно приписной или крепостной».

Все прочие требования городских наказов не выходили за рамки традиционных посадских чаяний, высказанных еще в челобитных посадских людей накануне принятия Уложения 1649 года. Суть их состояла в том, что занятие торговлей и промыслами — это монополия горожан и все, кто причастен к этим занятиям, должны быть записаны в посад. Горожане, как бы запамятовав о своих поползновениях на владение крепостными и ношение шпаги, требовали «узаконить, чтоб каждый чин по собственному званию своему свою должность исправлял и в право купеческое ни под каким образом не вступал».

Десятки городских наказов дружно защищали тезис, «чтобы всеми торгами, промыслами, подрядами пользовалось бы одно купечество». Особенно ретиво и настойчиво требовали запрещения торговать крестьянам, так как их участие в торговых операциях наносило горожанам непоправимый ущерб. Горожане безгранично верили в силу полицейских репрессий: надлежало в селах и деревнях закрывать торжки, конфисковывать у торгующих крестьян продаваемый товар, подвергать их штрафам и даже наказанию батожьем.

Довольно часто горожане жаловались на «изнеможение» от

выполнения посадских служб, в особенности в отъезд по питейным и соляным сборам, на конкуренцию со стороны не помещичьих, а государственных и экономических крестьян, а также разночинцев, на заведение крестьянами предприятий на имя помещика. Встречаются требования об отводе земли под выгоны, где можно пасти скот, о разрешении иногородним купцам вести только оптовую торговлю, жалобы на волокиту в судебных учреждениях и т. д.

В некоторых наказах, например города Архангельска, встречаются жалобы на неудовлетворительную постановку образования для купеческих детей, отсутствие учебников, но такого рода суждения встречаются редко[112].

Скуднее дворянских и городских оказалось содержание наказов государственных крестьян. Все они напоминают обычные челобитные. Общим местом для всех наказов государственной деревни становилась жалоба на «изнеможение» от подушной подати. На втором плане — жалобы на необходимость содержания в порядке дорог, что при низкой плотности населения крайне обременяло крестьян.

Если наказы черносошных крестьян Севера содержали два-три пункта, то наказы однодворцев были несколько пространнее. Их лейтмотив — жалобы на помещиков, захватывавших у них земли, на бесполезность обращения к местной администрации. Жалобы на «изнеможение» от податного бремени у них на втором плане.

Наиболее обстоятельно свои нужды излагали государственные крестьяне, приписанные к металлургическим заводам на Урале. Основательность их наказов объяснялась огромным опытом подачи челобитных, в которых крестьяне из года в год жаловались на произвол заводовладельцев и их приказчиков.

Своеобразие наказов приписных крестьян состояло в том, что они рассматривали подушную подать сквозь призму выполнения ими внезаводских работ и с карандашом в руках доказывали изнурительность этих работ, подрубавших под корень их собственное хозяйство. Дело в том, что оплата труда по заготовке дров и угля производилась по ставкам, установленным еще в 1724 году. С тех пор произошли существенные изменения: за четыре десятилетия подушная подать с государственных крестьян выросла с 70 копеек до 1 рубля 73,5 копейки. Если учесть падение курса рубля, а также необходимость отрабатывать на заводской барщине подушную подать за умерших стариков и детей, то каждый работоспособный приписной крестьянин обязан был провести в лесу 150 дней, в том числе и в страдную пору. К этому

надлежит прибавить дни, потраченные на преодоление расстояния от места жительства до завода и обратно, в иных случаях достигавшего 600 верст в один конец.

* * *

Открытие Уложенной комиссии состоялось 30 июля 1767 года и было обставлено очень пышно. С раннего утра Кремль заполнила толпа народа. Она расступилась, когда один за другим к дверям Чудова монастыря стали подходить депутаты: вельможи в парадных мундирах, увешанных орденами, черносошные крестьяне в скромных одеждах, родовитые и провинциальные дворяне, представители «инородцев» в национальных костюмах.

Екатерина, облаченная в императорскую мантию, с малой короной на голове, в парадной карете в сопровождении гвардейского эскорта направилась в 10 часов утра из Головинского дворца в Успенский собор, куда прибыли и депутаты. По окончании молебна депутаты принесли присягу с обещанием приложить «чистосердечные старания в великом деле сочинения нового Уложения». После этой церемоний от имени депутатов в аудиенц-зале Кремлевского дворца императрицу приветствовал новгородский митрополит Дмитрий. Это был, с одной стороны, панегирик, а с другой — напоминание депутатам об их высокой миссии и ответственности: «Вы имеете случай прославить себя и ваш век и приобрести себе почтение и благодарность будущих веков».

Последующие несколько дней были посвящены, выражаясь современным языком, организационным и процедурным вопросам: избранию маршала и комиссий, среди которых важнейшей являлась Дирекционная, направлявшая деятельность остальных 18 частных комиссий, которым поручено было сочинять законы.

На одном из первых заседаний, 8 августа, депутаты стали размышлять, «что сделать для государыни, благодеющей своим подданным». Решено было поднести ей титул «Премудрой и Великой и Матери Отечества». Императрица предложение отклонила: «1) на великая — о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) премудрая — никак себя таковой назвать не могу, ибо един Бог премудр; и 3) матери отечества — любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимою от них есть мое желание».

Императрица пристально следила за тем, что происходило в Грановитой палате, находясь на ее антресолях, скрытых от

постороннего глаза, откуда в XVII веке царицы и царевны наблюдали за церемониями приема иноземных послов. Она не оставалась безучастной наблюдательницей происходившего, о чем свидетельствуют десятки ее записок маршалу Уложенной комиссии А. И. Бибикову с указанием, как вести дело.

Процедура обсуждения наказов не могла порадовать императрицу — вместо чинно-спокойного и безмятежного обмена мнениями она услышала выступления отнюдь не умиротворенных ораторов. Расхождения во взглядах, обнаружившиеся уже в наказах, на заседаниях вылились в бурные дебаты, в которых ни одна сторона уступить не желала. Более того, дебаты вскрыли существенные разногласия в высказываниях депутатов, принадлежавших к одному и тому же сословию.

Диспуты обнаружили и лидеров, представлявших интересы сословий. Среди них в первую очередь следует назвать депутата от ярославского дворянства князя М. М. Щербатова, блестящего оратора и полемиста, умевшего благодаря своим эмоциональным выступлениям покорить на какое-то время аудиторию, в которой находились и лица, не разделявшие его взглядов. По количеству выступлений никто из депутатов не мог сравняться с Щербатовым. Своих лидеров имели и депутаты от горожан и крестьян, но они стояли на две головы ниже. К таким относились депутат от козловских дворян Г. С. Коробьин, выступавший радетелем крестьянских интересов, депутат от горожан Рыбной Слободы Алексей Попов и другие.

О чем бы ни говорили депутаты, яблоком раздора всегда были крестьяне, причем даже в том случае, когда их не называли в выступлениях. Крестьянский вопрос вызывал самые острые споры между дворянами и горожанами, с одной стороны, и крестьянами и дворянами — с другой.

Здравый смысл городских депутатов разбивался о сословные амбиции представителей дворянства, не опровергавших аргументов своих оппонентов, а упрямо повторявших мысль: владеть крепостными могут только дворяне и никто больше.

Главным при обсуждении крестьянского вопроса, по идее, должен был стать вопрос о крепостном праве, но его критика и защита проявились лишь при объяснении причин бегства крестьян. Обоянский депутат М. Глазов объяснял бегство крестьян их ленью и склонностью к воровству и грабежам: они бегут «в дальние и незнаемые города», чтобы избежать наказания[113]. Большинство дворянских депутатов считали безосновательными жалобы крестьян на обязанность выполнять заводские работы, на обременительный размер подушной подати, дорожную и подводную повинности. Щербатов считал причиной побегов

рекрутские наборы и низкое плодородие почвы в Нечерноземье: эти обстоятельства понуждают многих искать себе «способнейшего жилища».

Противоположное мнение высказал радетель крестьянских интересов Коробьин, считавший виновниками побегов крестьян, вынужденных бросать семью и хозяйство, «непомерные» оброки и произвол бар, готовых присваивать крестьянское имущество. Крестьяне, по его мнению, являются основой благополучия государства: «разоряя крестьян, разоряется и все прочее в государстве».

Коробьин выступал не за ликвидацию крепостного права, но за точно установленный размер владельческих повинностей. Это, однако, не помешало многим дворянам обрушиваться на Коробьина и доказывать отеческую заботу о своих крепостных. Еще один защитник интересов крестьян, казак Олейников, считал «предосудительным» для Уложенной комиссии и всей России, если будет узаконено право «продавать крестьян как скотину, да еще таких же христиан, как мы сами».

Уложенная комиссия вскрыла существенные противоречия и внутри дворянства — его аристократическая часть протестовала против порядка присвоения наследственного дворянства, предусмотренного Табелью о рангах: многие представители подлых сословий отныне добывали дворянское звание шпагой и пером, получая его вместе с первым офицерским чином или с восьмым рангом по гражданской службе. Депутат ржево-владимирского дворянства заявил: «Мое мнение, чтобы запретить пользоваться правом дворянства и покупать деревни тем, которые не из дворян достигнут службою штаб и офицерских чинов». Далеко не все дворянские депутаты одобряли эти предложения.

Голоса дворян громко раздавались в пользу создания уездных корпораций дворянства, предоставления им права собираться на съезды для обсуждения сословных нужд раз в два года, передачи власти в уездной администрации и суде выборным от дворян.

Уложенная комиссия заседала в Москве до декабря 1767 года, затем переехала в Петербург, где возобновила работу 16 февраля 1768 года. 18 декабря того же года маршал Бибиков объявил о закрытии Большого собрания на том основании, что начавшаяся в октябре война с Османской империей требовала присутствия депутатов либо на театре военных действий, либо в учреждениях, обслуживавших военные нужды. Историки давно установили, что военные действия потребовали привлечения только 4 % списочного состава депутатов[114]. Депутаты распускались «доколе от нас паки созваны будут», но, закончив войну победным миром и подавив движение Пугачева, Екатерина

так и не возобновила работу Большого собрания.

За Уложенной комиссией в историографии закрепилась недобрая репутация. Начало ее негативной оценке положили современники. Британский посол доносил в Лондон: «Все это учреждение представляется мне чем-то вроде подмостков, которые без сомнения будут разобраны, как ненужные леса, тотчас по окончании императрицей всего великого здания». Французский посол назвал комиссию «комедией». Характерно, что А. Т. Болотов, издалека наблюдавший за деятельностью Уложенной комиссии, вынес ей наиболее строгий вердикт: «Я… как предвидел, что из всего великого предприятия ничего не выйдет, что грому наделается много, людей оторвется от домов множество, денег на содержание их истратится бездна, вранья, крика и вздора будет много, а дела из всего того не выйдет никакого и все кончится ничем»[115].

Наиболее основательной критике «Наказ» Екатерины подверг Д. Дидро. Критические стрелы философа били по двум мишеням: политической системе и социальному строю, предполагавшимися «Наказом». Дидро оспаривал целесообразность созыва Уложенной комиссии и составления кодекса, ибо, по его мнению, это возможно только в том случае, если народ имеет власть над государем. «Если же вся полнота власти принадлежит вашему государю, — писал он, — забудьте о кодексе, ибо, составляя его, вы в этом случае куете цепи лишь для самих себя». Другим злом, требующим искоренения, Дидро считал крепостное право. «Чтобы воспрепятствовать злоупотреблению рабством и предотвратить проистекающие от него опасности, нет иного средства как отменить само рабство и управлять лишь свободными людьми». Самые «мудрые законы пропадут втуне», если они «не будут сопровождаться освобождением личности и предоставлением права собственности на землю».

Свои замечания философ написал в 1774 году, но они стали известны императрице только одиннадцать лет спустя, когда после смерти Дидро его библиотека и рукописи были отправлены в Петербург. Императрица, ознакомившись с замечаниями Дидро на свой «Наказ», дала им самую резкую и обидную оценку в письме к Гримму от 23 ноября 1785 года: «Это сущий лепет, в котором нет ни знания вещей, ни благоразумия, ни предусмотрительности; если бы мой „Наказ“ был составлен во вкусе Дидро, то он мог бы перевернуть все вверх ногами. А я утверждаю, что мой „Наказ“ был не только хорошим, но даже превосходным произведением, вполне соответствующим обстоятельствам, так как в продолжение 18 лет, которые он существует, он не только не причинял какое-либо зло, но все то

хорошее, что произошло затем, и в этом согласны все, является лишь следствием принципов, установленных этим наказом».

Не подлежит сомнению, что тон письма, допущенные его автором грубости высвечивают уязвленное самолюбие императрицы. Это тем более очевидно, что Екатерина считала составление «Наказа» шедевром своего сочинительства и располагала хвалебным отзывом о нем самого Вольтера.

Отвлечемся, однако, от грубой формы отзыва Екатерины, на который умерший Дидро уже не мог возразить, и обратимся к существу спора. Кто же прав: автор или ее критик? На наш взгляд, правильный ответ заложен в названии статьи А. В. Флоровского «Две политические доктрины». В самом деле, два автора руководствовались принципиально несхожими концепциями политического и социального устройства страны. То, что было приемлемо и считалось нормальным для Екатерины, то, напротив, отвергалось Дидро: императрица считала единственно возможной для России формой правления монархию, Дидро же был республиканцем; Екатерина признавала сословную структуру общества, Дидро ее отклонял; Дидро настаивал на немедленной отмене рабства, Екатерина полагала растянуть этот процесс на многие десятилетия и т. д.

Дидро отрешался от конкретных условий России и рассуждал отвлеченными категориями. Императрица, напротив, была монархом, обязанным считаться с реальными обстоятельствами, с которыми она ежедневно сталкивалась. Две доктрины, как видим, нигде не стыковались и могли двигаться только параллельными курсами.

«Наказ» Екатерины содержал немало положений, неисполнимых в тех исторических условиях. Критика же Дидро усугубляла утопические черты «Наказа», ибо была далека от реалий русской действительности. В этом нас убеждают многие рекомендации французского философа, в том числе и такая: «Есть превосходное средство для предупреждения восстаний крепостных против господ: сделать так, чтобы не было крепостных». Почти сто лет понадобилось стране, чтобы реализовать эту рекомендацию.

Советские историки оценивали создание Уложенной комиссии, руководствуясь высказываниями Ф. Энгельса, который считал, что Екатерине «удалось ввести в заблуждение общественное мнение» Европы, что Вольтер зря воспевал «северную Семирамиду», что она умела лишь пускать пыль в глаза и т. д. Сама Уложенная комиссия рассматривалась при этом как грандиозный пропагандистский трюк, нацеленный на прославление императрицы[116].

Мы позволим не согласиться с приведенными выше оценками. Бесспорным в них является одно: комиссия не составила Уложения, которое должна была сочинить согласно указу от 14 декабря 1766 года. Но оно и не могло быть составлено таким громоздким учреждением, имевшим к тому же такой некомпетентный состав, каким была Уложенная комиссия. Мешали добиться положительного результата и сословные противоречия, исключавшие компромисс при выработке законов. Екатерина потому и не возобновила созыва комиссии, что убедилась в ее бесплодности.

И все же отметим три позитивных результата в деятельности комиссии. Напомним, на нее возлагались две задачи: составить Уложение и выявить «нужды и чувствительные недостатки нашего народа». С первой задачей комиссия не справилась, зато дала обильный материал для выяснения «нужд». Наказы депутатам, а также их обсуждение выполнили такую же роль во внутренней политике Екатерины II, какая выпала на долю шляхетских проектов 1730 года, ставших программой действий правительства Анны Ивановны.

Деятельность Уложенной комиссии способствовала распространению в России идей французского Просвещения. Роль распространителя этих идей, хотела этого императрица или нет, выпала на долю ее «Наказа», который читали в правительственных учреждениях наравне с «Зерцалом правосудия» петровского времени.

Третий итог деятельности Уложенной комиссии состоял в укреплении положения Екатерины на троне — после переворота и гибели супруга она остро нуждалась в опровержении репутации узурпатора престола. Поднесение императрице титула являлось не чем иным, как общественным признанием ее прав на трон.

В то время как в Уложенной комиссии горячо спорили о правах сословий, Россия оказалась на пороге большой, кровопролитной войны.

В наследство от своих предшественников Екатерина II получила три главных направления во внешней политике. Первое из них — северное. Шведы постоянно стремились вернуть утраченные в петровские времена земли, но успех им не сопутствовал: зенит величия Швеции, достигнутый при Карле XII, при нем же был пройден безвозвратно. После Северной войны страна никак не могла восстановить свои экономические и людские ресурсы до уровня, достаточного для успешной войны с Россией. Это, однако, не исключало присутствия в Стокгольме сил, готовых воспользоваться любым удобным случаем, чтобы попытать счастья. О давних чаяниях шведов в Петербурге хорошо

знали и были готовы к отпору.

На южном направлении истекшие со времени Прутского похода десятилетия внесли существенные коррективы в соотношение сил: Османская империя клонилась к упадку, в то время как Россия находилась на вершине славы и могущества. Робость перед турками прошла, и на смену осторожной оборонительной тактике пришли широкие наступательные замыслы и уверенность в скорой победе над некогда грозным неприятелем.

Традиционным было и третье направление, отражавшее стремление к воссоединению с Россией двух братских народов — украинского и белорусского. В отличие от Левобережной Украины, вошедшей в состав России в середине XVII века, украинские земли по правому берегу Днепра и вся Белоруссия все еще находились под владычеством Речи Посполитой. В этой связи польский вопрос приобретал первостепенное значение.

В XVIII столетии объединенное польско-литовское государство — Речь Посполитая — переживало примерно такие же тяжкие времена, как и Османская империя. В то время как соседи развивали промышленность и торговлю, создавали мощные вооруженные силы и крепкие абсолютистские режимы, Речь Посполитая не могла преодолеть сепаратизм магнатов, изжить политический хаос, ярким проявлением которого было пресловутое liberum veto, и стала легкой добычей своих хищных соседей: Пруссии, Австрии и России.

В этой главе мы ограничимся изложением екатерининской внешней политики до конца 1770-х годов. Сменявшие друг друга коллизии сплелись в столь тугой узел, что его пришлось не распутывать, а разрубать. Центральным событием этого периода стала русско-турецкая война 1768–1774 годов.

Объявлению войны султанским двором предшествовали драматические события в Речи Посполитой, внутренняя слабость которой дала Екатерине повод прямо вмешаться в ее внутренние дела. Россия считала своим правом и долгом защитить интересы так называемых диссидентов — некатолического (в основном православного) населения, подвергавшегося постоянным притеснениям. Наглядно подкрепляя свои требования об уравнении прав диссидентов с католиками, Екатерина велела ввести в Речь Посполитую войска. После этого русский посланник в Варшаве князь Репнин стал вести себя так, будто бы он пребывал на должности губернатора где-нибудь в глубине России — распоряжался сеймом, превратил короля в послушную марионетку и ревниво следил за сохранением в стране существующей системы правления, полностью устраивавшей

Петербург. Суть политики Репнина ярко иллюстрирует его заявление депутатам сейма в Варшаве: «Криком у меня ничего не возьмете, просите тихим, учтивым, порядочным образом, и тогда, может быть, сделаю вам удовольствие».

Силы, выступавшие против диктата Репнина, организовали в 1768 году так называемую Барскую конфедерацию. Однако она так и не превратилась в оплот борьбы за сохранение суверенитета страны. У поляков оставалась лишь надежда на помощь извне. Силой, способной противостоять натиску с востока, считалась Турция. В Стамбуле отдавали себе отчет в том, что укрепление позиций России в Речи Посполитой угрожает османским интересам. Напомним, что уже Прутский мир 1711 года решительно требовал от России невмешательства во внутренние дела польско-литовской державы. Правда, турки стерпели и войну за польское наследство (1733–1735), в ходе которой русская армия вторглась в польские земли с целью изгнания с трона Станислава Лещинского, и вручение короны угодному России Августу III, и восшествие на престол в 1764 году бывшего фаворита Екатерины Станислава Августа Понятовского.

И на этот раз в Стамбуле были удовлетворены разъяснениями русского резидента Алексея Михайловича Обрезкова, успокоившего османов заверением, что Россия не имеет никаких поползновений на территорию Речи Посполитой, а войска будут выведены, как только решится диссидентский вопрос.

Но когда последнее условие было выполнено и диссиденты обрели равноправие с католиками, Екатерина не спешила отзывать свои войска из пределов Речи Посполитой, используя в качестве удобного предлога существование Барской конфедерации.

Заручившись поддержкой Франции, османы потребовали отвода русских войск от своих границ и одновременно подтянули к северным рубежам свои полки. Вслед за этим в дело вмешались казаки. Их нападение на пограничное местечко, одна половина которого принадлежала полякам, а другая — туркам, дало последним основание объявить войну: посланник Обрезков был арестован и заключен в душное и сырое подземелье.

Позже Екатерина писала Вольтеру, что «Мустафа был к войне так же мало подготовлен, как и мы». Тем не менее императрица была уверена в успехе. Вслед за назначением П. А. Румянцева и А. М. Голицына командующими двумя армиями, она писала графу Ивану Григорьевичу Чернышову в игриво-шутливом тоне: «Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал; я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла». Далее императрица продолжала в

том же духе: «И вот разбудили спавшего кота, и вот он бросился за мышами, и вот вы кой-что увидите, и вот об нас будут говорить, и вот мы зададим звон, какого не ожидали, и вот турки будут побиты».

Впрочем, времени, когда турки будут побиты, пришлось ожидать долгих шесть лет. Надо отдать должное императрице — она взялась за дело со свойственной ей энергией и методичностью. Первым делом она учредила Императорский совет, которому, как Конференции при высочайшем дворе времен Елизаветы, вменялось руководство военной стратегией и дипломатией. В отличие от Елизаветы Петровны, лишь изредка навещавшей Конференцию, Екатерина с удивительным старанием вникала во все детали. Многие ее распоряжения дают основание считать, что императрица постигла премудрости военного искусства и способна была давать различные советы.

На первом же заседании Совета, в состав которого по предложению Н. И. Панина Екатерина включила виднейших штатских и военных сановников, она предложила его членам ответить на три вопроса: 1) какую надлежит вести войну — оборонительную или наступательную; 2) точно определить позиции, с которых вести наступательную операцию; 3) каково положение на прочих границах страны, оголенных ввиду расположения основных сил на юге.

Совет единогласно высказался в пользу наступательной войны, причем цель ее определена была достаточно скромно: добиться права свободного черноморского мореплавания, для чего на побережье предполагалось соорудить порт и несколько крепостей. Самое неслыханное постановление Совета, удивившее мир, предполагало отправку в Средиземное море эскадры военных кораблей, экипажей и десантных отрядов, которые призваны были поднять на борьбу с османами православные народы — греков, сербов, болгар.

В Петербурге полагали, что до весны 1769 года османы к активным боевым действиям не приготовятся, но просчитались.

15 января 1769 года крымский хан Крым-Гирей, отличавшийся воинственностью и ненавистью к русским, отправился в поход. Предполагалось участие в нем двухсот тысяч человек, разделенных на три армии, но удалось наскрести всего 70 тысяч татар. Этого, однако, было достаточно для того, чтобы разорить Елизаветградскую провинцию: захвачено 1800 пленных, сожжено свыше 1000 домов, уведено большое количество скота.

С успехами и неудачами в войне были связаны не только судьбы стран, в ней участвовавших, но и судьбы правивших ими государей, не исключая и Екатерины. Война с турками стала

первой широкомасштабной внешнеполитической акцией императрицы, узурпировавшей власть супруга. Неудачная война могла поколебать престиж Екатерины как внутри страны, так и за ее пределами.

Военные действия русских армий опрокинули все расчеты недоброжелателей России. Уже в кампанию 1769 года русская армия одержала первые победы, овладела Хотином, Яссами, Бухарестом, фактически изгнав османов из Молдавии и Валахии. На Азовском театре военных действий русские овладели Азовом и Таганрогом. Екатерина была уверена, что османы запросят мира, ибо, как она писала Вольтеру, «мы имеем перед собою слабый призрак, все части которого разваливаются при первом прикосновении». Однако османы никаких признаков миролюбия не выказали.

Победы, предопределившие исход войны, были одержаны главным образом в следующем, 1770 году. Обратим особое внимание на морскую викторию русских — прежде всего потому, что она была одержана вдали от родных берегов: русскому флоту довелось обогнуть Европу, войти в Средиземное море, чтобы сжечь там османские корабли.

Эскадра, отправленная из Кронштадта 26 июля 1769 года под командованием адмирала Григория Андреевича Спиридова, состояла из семи линейных кораблей, одного фрегата, одного бомбардирского судна и шести мелких. На каждом корабле помимо экипажей находилось 250 десантников.

Корабли и их команды не выдерживали строгих требований: экипажи были укомплектованы рекрутами Московской губернии, понятия не имевшими о море. Сооруженные наспех корабли также не отличались ни прочностью, ни высокими мореходными качествами. В итоге эскадра продвигалась крайне медленно, а из 5 тысяч моряков и десантников 800 захворали в пути. Императрица выражала недовольство медлительностью Спиридова. Обычно сдержанная в упреках, она на этот раз дала волю раздражению: «не от мешкования ли вашего» столь много больных? Екатерина опасалась, что пока экспедиция достигнет цели, вся провизия будет съедена и люди помрут с голоду. Резкая фраза рескрипта привела адмирала в уныние: «С крайнейшим прискорбием вижу я медление, с которым вы идете с эскадрою. Прошу вас для самого Бога, — переходила на миролюбивый тон императрица, — соберите силы душевные и не допустите до посрамления пред всем светом»[117].

Во время движения эскадры по Средиземному морю Екатерина обрела еще одного помощника — находившийся на излечении в Италии граф Алексей Григорьевич Орлов предложил

свои услуги по организации антитурецких восстаний христиан. Императрица согласилась, но разжечь пламя освободительной борьбы экспедиции не удалось.

Вдогонку Спиридову императрица послала вторую, более многочисленную эскадру контр-адмирала Эльфинстона. 11 июня 1770 года состоялось соединение двух эскадр. Исходя из того, что между их командирами установились напряженные отношения, Екатерина поручила общее руководство экспедицией графу Алексею Орлову, отличавшемуся наибольшей рассудительностью из всех четверых братьев.

Вдоль анатолийского берега при входе в Хиосский пролив стоял на якоре османский флот в составе 16 линейных кораблей, шести фрегатов и множества мелких судов. При виде такой армады, писал Орлов Екатерине, «ужаснулся я, был в неведении, что мне предпринять должно». Решено было атаковать, причем главной мишенью атакующих сознательно был избран флагманский корабль — морякам было хорошо известно обыкновение османов теряться при потере головного корабля. Расчет оказался правильным: когда одновременно пошли ко дну турецкий флагман и русский корабль, османы из множества вариантов выбрали самый неудачный, укрывшись в Чесменской бухте. На рассвете 26 июня 1770 года Османская империя лишилась здесь своего флота — было сожжено 15 линейных кораблей, шесть фрегатов и до полусотни мелких судов.

Нежданная победа вызвала в столице огромную радость. Императрица писала Алексею Орлову: «Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся при вас находящаяся эскадра»[118 —][118]. Более обстоятельный отзыв о случившемся Екатерина дала в пространном рескрипте Федору Орлову, чудом спасшемуся вместе со Спиридовым при взрыве флагманского корабля 24 июня: «Скажу вам о нас мысли разных народов. Сначала никто не хотел верить, чтоб мы дошли до сего места, а еще менее, чтоб атаковали нашего неприятеля. Все думали: пошатавшися де по морю и ничего не сделав, назад возвратятся. Узнали теперь свою ошибку. Открыли глаза, не знают, что думать и что делать, с удивления все окаменели… Только то знаю, что все кричат, робеют и удивляются проворству Кабинета полуночного…»

В честь Чесменской победы была отчеканена медаль. На лицевой стороне — портрет Екатерины, а на оборотной — османские корабли и выразительная надпись из одного слова: «Был».

Еще больший успех принесла русской армии кампания 1770 года на суше, во время которой в полной мере раскрылись полководческие дарования Петра Александровича Румянцева.

При впадении реки Ларги в Прут Румянцев разгромил 80-тысячную армию османов, понеся при этом минимальные потери (29 убитых и 61 раненый). Екатерина рассыпалась в благодарностях — полководцу был пожалован орден св. Георгия 1-й степени и деревни.

Румянцев не ограничился Ларгой. Великий везир Халил Бей, узнав, что победители насчитывали 17 тысяч человек, решился атаковать русских при Кагуле 21 июля. Успеха он не достиг. «Визирь, увидев в сем случае лучших своих янычар, составляющих первую стену, падших, на всю мочь побежал из лагеря со всеми войски», — сообщал Румянцев о своей победе. Победителям достался весь обоз и 138 пушек. Победой при Кагуле Румянцев дал повод Екатерине торжествовать победу.

Успехи русского оружия не на шутку встревожили Австрию и Пруссию, которые за спиной России стали активно плести интриги. В 1769–1770 годах состоялись две встречи Фридриха II с австрийским императором Иосифом II. Собеседники наметили план, как сдержать аппетиты России. Во-первых, надлежало лишить ее роли единственного гаранта соблюдения традиционного порядка в Речи Посполитой и потребовать, чтобы она поделилась этим правом с Пруссией и Австрией. Во-вторых, создавалась исключительно благоприятная ситуация для округления своих владений за счет Речи Посполитой. «…Надобно было не иметь никакой ловкости, — рассуждал Фридрих II, — или находиться в бессмысленном оцепенении, чтобы не воспользоваться таким выгодным случаем». Прусский король действовал в привычном для себя ключе: Австрию он пугал опасностью возвышения России, а Петербург стращал Веной, убеждая Екатерину, что Австрия только и ждет поражения от османов, чтобы посадить на варшавский трон одного из саксонских принцев.

Екатерина была не против тройственного союза с Фридрихом и Иосифом, но союза, направленного против османов, а не против Речи Посполитой. Ни Берлин, ни Вена не соглашались на условия мира с турками, выработанные в Петербурге: Азов и Таганрог остаются за Россией; ей предоставляется право беспрепятственного плавания по Азовскому и Черному морям; все христианские народы, боровшиеся за свое освобождение, должны быть амнистированы; крымские татары обретают независимость от Стамбула, равно как и Молдавия и Валахия; обе Кабарды включаются в состав России.

Заручившись в 1771 году конвенцией с Австрией и зная подлинное отношение Пруссии к условиям мира, Османская империя не соглашалась на прямые переговоры с Россией о мире.

Война продолжалась. Кампания 1771 года не принесла Румянцеву успеха. Удача выпала на долю второй армии, действовавшей против Крыма под командованием князя Василия Михайловича Долгорукого, сменившего на этом посту П. И. Панина. 14 июня 1771 года вторая армия овладела Перекопом, который защищали 50 тысяч татар и 7 тысяч турок. Перекопская операция обеспечила беспрепятственное взятие важнейших крымских городов: Керчи, Ялты, Еникале. Татары поклялись в вечной дружбе с Россией и отложились от Османской империи.

В конце июля 1772 года в Фокшанах начались переговоры. Русскую делегацию составили два человека: фаворит Екатерины Григорий Орлов и выпущенный из заточения посланник Обрезков. Конгресс, как и следовало ожидать, окончился ничем — ни один пункт договора, предложенного русской делегацией, не устроил турок. Делегации споткнулись на первом же пункте соглашения о предоставлении Крыму независимости.

Одновременно быстро и на первый взгляд безболезненно произошел первый раздел Речи Посполитой. Слова Екатерины, обращенные к Дидро: «Если бы я могла еще отказаться от раздела, я охотно бы это сделала», — полностью соответствуют сути тогдашней русской политики. Императрица не лукавила, когда писала своему давнему приятелю Станиславу Августу Понятовскому: «Я хочу усмирения Польши, удержания нации в ее правах и спокойствия ее короля на престоле». Не лукавил и русский посланник в Варшаве Сальдерн: «Императрица вовсе не одобряет видов короля прусского, но великая нужда в мире заставляет ее закрыть глаза и согласиться на исполнение плана этого государя».

К договоренности Пруссии и России о разделе Речи Посполитой была привлечена и Австрия. 7 сентября 1772 года русский и прусский посланники в Варшаве Штакельберг и Бенуа передали властям Речи Посполитой объявление о разделе их государства. Доля вины за эту акцию лежит на короле Понятовском и прочих облеченных властью поляках, фактически не оказавших сопротивления разбойным действиям соседей. По первому разделу Россия получила восточную часть белорусских земель, где проживало родственное русским население. Именно поэтому действия России в данном случае не заслуживают нравственного осуждения. Это признавал и Фридрих II: «Я знаю хорошо, что у России много прав так поступить с Польшею, но нельзя того же сказать об нас с Австрией». Что касается последних, то они прибрали к рукам коренные польские земли: Австрия — Галицию, Пруссия — Поморье и часть Великой Польши.

Первый раздел Речи Посполитой в некоторой степени ускорил мирный договор с османами. Венский двор отказался от декларации 1771 года, по которой обязался добиваться возвращения туркам земель, захваченных у них Россией. Предоставленные, по сути, самим себе, османы какое-то время еще пытались упорствовать. Но Екатерина твердо стояла на своем.

Выход из тупика в Петербурге усматривали в активизации военных действий. Румянцев получил повеление императрицы «вынудить у неприятеля то, чего доселе не могли переговорами достигнуть и для того с армией или частью ее, перешед Дунай, атаковать визиря и главную его армию». Весной 1774 года Румянцев направил за Дунай корпуса генералов М. Ф. Каменского и А. В. Суворова. В сражении при Козлуджи Суворов (при содействии Каменского) разгромил главные силы турок. Путь на Балканы был открыт.

В условиях начавшейся в сентябре 1773 года пугачевщины императрице был крайне необходим мир. Екатерина была готова отступиться от части своих требований. Помог, как это часто бывает, случай: умер султан Мустафа III. Османы запросили мира, согласившись полностью удовлетворить российские условия.

10 июля 1774 года в деревне Кючук-Кайнарджи был заключен мирный договор, по которому Крым объявлялся независимым; Керчь, Еникале и Кинбурн, а также территория между Бугом и Днестром передавались России. Купеческим кораблям разрешалось плавание по Черному и Мраморному морям. Османская империя обязалась выплатить России 4,5 млн. рублей контрибуции. Ликующая императрица писала Румянцеву: «…вам одолжена Россия за мир, славный и выгодный, какового, по известному упорству Порты Оттоманской, никто не ожидал».

Значение для России Кючук-Кайнарджийского мира трудно переоценить. Он избавил страну от опустошительных набегов крымских татар, обеспечил хозяйственное освоение огромного массива плодородных земель Северного Причерноморья, наконец, Россия получила выход к Черному морю, а через него — в Средиземное.

Глава IV. Национальная трагедия

Напрасно в переписке с иностранными корреспондентами Екатерина стремилась представить дело так, будто население России процветало при ее мудром правлении. В действительности же в начале 70-х годов XVIII века страна переживала серьезный социальный кризис, симптомы которого проявлялись то в одном, то в другом районе страны.

Первыми о себе дали знать 40 тысяч крестьян Заонежья, приписанных к казенным металлургическим заводам. Центром восстания стал Кижский погост, отсюда и название — Кижское восстание. Главная причина недовольства крестьян состояла в том, что их принудили, помимо заготовки древесного угля и руды, ломать мрамор и участвовать в строительстве Лижемского завода. Другая причина была связана с указом 1769 года, более чем в два раза увеличившим сумму заводских отработок: приписных крестьян обязали отрабатывать на внезаводских работах 1 рубль 70 копеек денег и сверх того 1 рубль вносить в казну. Обязанности, возложенные администрацией, крестьяне считали крайне обременительными — на протяжении зимы 1769/70 года они отказывались работать в мраморных карьерах и соглашались отрабатывать на заготовке руды и древесного угля только 70 копеек.

В ответ на челобитную, поданную на имя Екатерины, глава следственной комиссии генерал-майор Лыкошин велел арестовать зачинщика протеста Клементия Соболева. Однако крестьяне освободили закованного в кандалы Соболева, сменили старост, уговаривавших их прекратить сопротивление и изъявить покорность. Две тысячи вооруженных крестьян намеревались оказать сопротивление карателям, но сражение не состоялось — крестьяне убедились в его бессмысленности, ибо невозможно было устоять против наведенных на них пушек. В 1771 году восстание было подавлено, а вожаки отправлены на каторгу в Сибирь[119].

Другим симптомом социальной напряженности стал вспыхнувший в том же 1771 году Чумной бунт в Москве. Эпидемия чумы, занесенная с русско-турецкого театра войны, распространялась с неимоверной быстротой, поражая прежде всего городскую бедноту и работных людей мануфактур, скученно живших и трудившихся в антисанитарных условиях. Все, кто мог бежать из старой столицы, воспользовались этой возможностью: ее покинули часть дворян, богатые купцы. Главнокомандующий Москвы граф Салтыков позорно бежал в

подмосковную усадьбу, оставив население на произвол судьбы.

Мертвые тела валялись на улицах, имущество умерших предавалось огню, их родственников держали в карантинах. В наэлектризованную толпу кто-то бросил клич, что исцеление принесет чудотворная икона Божьей Матери у Варварских ворот. Толпа ринулась к иконе. Дальнейший ход событий довольно точно описан Екатериной в посланиях к Бьельке и Вольтеру: «Когда архиепископ московский узнал, что в продолжении нескольких дней толпы черни собираются перед иконой, которой приписывали силу исцеления, между тем как народ издыхал у ног Богородицы, и что туда приносили много денег, то он (фельдмаршал Салтыков. — Н. П.) приказал запечатать этот ящик для сбора приношений. Тогда часть этой сволочи стала кричать: „Амвросий (архиепископ Московский. — Н. П.) хочет ограбить казну Богоматери. Надо убить его“. Другие вступились за архиепископа; от слов перешли к драке; полиция хотела разнять их, но обыкновенной полиции было недостаточно.

Самые ярые побежали в Кремль, выломали ворота монастыря (Чудова. — Н. П.), где живет архиепископ, разграбили этот монастырь, перепились в погребах, и, не найдя того, кого искали, часть из них направилась в Донской монастырь, откуда вывели этого старца и бесчеловечно умертвили его; оставшаяся часть вступила в драку при дележе добычи»[120].

Три дня — 15–18 сентября — на улицах шли бои. Бунт был подавлен прибывшими в Москву полками регулярной армии.

Чумной бунт — типичное стихийное выступление толпы, действовавшей вопреки здравому рассудку: архиепископ предпринял разумную меру, когда велел убрать икону, прикладывание к которой способствовало распространению поветрия. В ситуации, когда в городе наступило безвластие, когда бегство власть предержащих вызвало повсеместное раздражение, когда разъяренной толпе нужен был виновник ее безысходного положения, им случайно оказалась неповинная жертва.

Если Кижское восстание и Чумной бунт явились лишь симптомами назревавшего широкомасштабного социального конфликта, то восстание яицких (уральских) казаков можно считать прямым предвестником движения Пугачева: последнее возникло на земле яицких казаков, которые длительное время были его движущей силой и выдвинули из своей среды соратников самозванца.

Недовольство яицких казаков вызревало долгие годы и первоначально носило локальный характер; оно было вызвано произволом атаманов и старшин, устанавливавших незаконные поборы в свою пользу, свирепо расправлявшихся с казаками за

малейшее проявление независимости и нежелание безоговорочно соглашаться с бесконтрольным расходованием казачьей казны. Уже в 50-е годы XVIII века в неоднородном по имущественному положению казачестве обнаружилось два лагеря. Меньшую его часть составляла так называемая послушная сторона, возглавляемая атаманом. Сюда входили наиболее обеспеченные казаки, из которых рекрутировались выборные должности, предоставлявшие немалые выгоды.

Рядовые казаки составляли войсковую сторону. В отличие от послушной стороны, готовой ради сохранения своих постов безропотно выполнять указы Военной коллегии, войсковая сторона сопротивлялась не только произволу войсковой канцелярии, но и Военной коллегии, ограничивавшей казачьи вольности.

Упреждая события, отметим, что стремление войсковой стороны сохранить автономию и казачьи вольности было обречено на неудачу — все эти атрибуты казачьей жизни противоречили абсолютистскому режиму. Рано или поздно должно было наступить время унификации управления и установления общих для всей страны бюрократических органов власти. Войсковая сторона посылала в столицу множество делегаций с жалобами на атамана и Войсковую канцелярию, а также на Военную коллегию, то и дело покушавшуюся на казачье своеволие. В Яицкий городок, столицу казачества, одна за другой приезжали комиссии, разбиравшие жалобы войсковой стороны, но комиссии, как правило, подкупленные послушной стороной, выносили вердикты, угодные атаману и старшинам и ущемлявшие интересы основной массы казачества.

В создавшейся напряженной обстановке каждая мера, ограничивавшая казачьи традиции, вызывала острый протест, готовый перерасти в вооруженную борьбу. Детонатором, вызвавшим взрыв на Яике, послужило постановление Военной коллегии, подтвержденное императрицей, о формировании легиона в составе 334 яицких казаков, призванных, подобно рекрутам, на службу, которую они должны были отбывать вдали от родных мест. Казаки сочли эту акцию попыткой превратить их в солдат регулярной армии и в 1769 году обратились в Военную коллегию с просьбой отменить свое решение, но та настаивала на своем, сделав казакам незначительную уступку — разрешила им не брить бороду.

В ответ на отказ служить в легионе атаман Тамбовцев велел комплектовать команду из схваченных на улице первых попавшихся казаков.

Казакам дважды удалось совершить в столице

«дерзновенный» поступок — лично вручить императрице челобитную. На этот раз их просьба была удовлетворена: «снисходя на их просьбу, — писала Екатерина, — увольняем их вовсе от легионной команды, куда их впредь не наряжать»[121]. Одновременно императрица велела отправить на Яик очередную следственную комиссию с поручением расследовать противозаконные действия атамана и старшин, отстранить от должности Тамбовцева.

Пока комиссия вела следствие, явно потакая послушной стороне, на Яике возник очередной повод для недовольства — надлежало отправить в Кизляр на смену находившейся там команде 500 казаков. Один за другим собирались войсковые круги, с шумом отклонявшие это требование.

В конце декабря 1771 года в Яицкий городок прибыл председатель очередной комиссии генерал-майор фон Траубенберг. Этот суровый и непреклонный солдафон действовал, используя силу и страх. Свой приезд в Яицкий городок он ознаменовал наказанием плетьми семи казаков, оказавших наиболее активное сопротивление отправке в Кизляр.

Возбужденные толпы вооруженных казаков заполонили улицы городка. 13 января 1772 года Траубенберг велел стрелять в них из пушек. Казаки быстро овладели орудиями, повернули их против команды регулярных войск. Траубенберг, атаман Тамбовцев и ненавистные старшины были убиты, а дворы их разграблены.

Получив известие о событиях в Яицком городке, в столице решили отправить туда генерал-майора Фреймана с поручением упразднить существовавшее в яицком казачестве самоуправление: ликвидировать должность атамана и старшин и разделить всех казаков на полки, подчинив их оренбургскому губернатору.

Комиссия, расследовавшая события 15 января, вынесла суровый приговор: 44 человека осуждены к четвертованию, 47 — к повешению, 3 — к отсечению головы, 20 человек — к наказанию плетьми. Военная коллегия существенно смягчила приговор — жизнь всем была сохранена, самая суровая кара состояла в наказании кнутом с вырезанием ноздрей и ссылкой с семьями в Сибирь. Кроме того, на войско была наложена штрафная санкция — его обязали уплатить родственникам убитых, а также оставшимся в живых 36 756 рублей в погашение разграбленного имущества.

Мы столь подробно остановились на выступлении яицких казаков, чтобы показать степень напряженности, царившей среди казачества накануне появления там Пугачева. Перед тем как объявить себя Петром III, Пугачев основательно ознакомился с

перипетиями борьбы казачества за восстановление своих попранных прав, выяснил степень недовольства мерами правительства по ликвидации казачьих вольностей и убедился в готовности казаков отстаивать свои права с оружием в руках. Только после этого он совершил рискованный шаг — объявил себя Петром Федоровичем. Главнокомандующий в Москве М. Н. Волконский правильно заметил в письме к Екатерине: «Если б не попал сей злодей (Пугачев. — Н. П.) на живущих в расстройстве бунтующих душ яицких казаков, то б никоим образом сей злодей такого своего зла ни в каком империи… месте подлым своим выдумкам произвести не мог»[122].

Справедливость оценки Волконским ситуации на Яике подтверждает и судьба прочих самозванцев России: за десятилетие с 1764 по 1773 год в стране появилось семь Лжепетров III (А. Асланбеков, И. Евдокимов, Г. Кремнев, П. Чернышов, Г. Рябов, Ф. Богомолов, Н. Крестов), но только восьмому, Е. И. Пугачеву, удалось возглавить массовое движение крестьянства. Остальных ожидали истязания и ссылка. Беглый солдат Гавриил Кремнев в 1765 году сначала разглашал в Воронежской губернии, что он капитан и послан с указом об отмене на 12 лет сбора подушных денег и рекрутов. Чина капитана Кремневу показалось мало, и он объявил себя Петром III. У Кремнева появилось несколько единомышленников, намеревавшихся привести к присяге однодворцев и ехать в Воронеж, а оттуда в Москву и Петербург с извещением о появлении Петра Федоровича. Екатерина освободила Кремнева от смертной казни на том основании, что его преступление «произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось». Кремнева секли кнутом во всех селах, где он называл себя Петром III, водили с доской, на которой было написано «беглец и самозванец», затем выжгли на лбу первые буквы этих слов и сослали на вечную каторгу в Нерчинск[123].

Пугачев оказался не только удачливее своих предшественников-самозванцев, но и смелее их, находчивее.

После того как 17 сентября 1773 года он публично объявил себя императором, наступили самые тревожные дни — все зависело от того, поверят ли казаки в его царское происхождение или нет. Тем более что даже среди ближайшего окружения, которому Пугачев доверился, нашлись сомневающиеся в этом. Оснований для сомнений было достаточно: внешний вид императора более соответствовал внешности простолюдина, подозрительными казались манера его поведения, язык, одежда и

т. д.

Пугачев действовал решительно и напористо. Убеждая других, он, распалившись, в иные мгновения и сам веровал в истинность произносимых слов. Впрочем, после объявления себя Петром Федоровичем Пугачев совершил еще один рискованный шаг: сначала Зарубину-Чике, а затем Шигаеву, Караваеву и другим он признался, что является не императором, но донским казаком Емельяном Пугачевым.

Это признание пошло на пользу движению, сплотило вокруг Пугачева его соратников, повязало их стремлением достичь общей цели. Сподвижники с еще большим усердием стали убеждать окружающих, что перед ними подлинный государь.

В конечном счете, то обстоятельство, что Пугачев не подлинный государь, мало волновало его окружение. Ход их мыслей четко и определенно выразили два соратника Емельяна Ивановича: Караваев и Мясников. Первый из них рассуждал: «Пусть это не государь, а донской казак, но он вместо государя за нас заступит, а нам все равно, лишь бы быть в добре»; близкие к этим мысли высказывал и Мясников: «Нам какое дело, государь он или нет, мы из грязи сумеем сделать князя»[124].

Пугачев — своего рода символ борьбы. Яицкое казачество, примкнувшее к движению, видело в Пугачеве вожака, способного сплотить вокруг себя всех недовольных и, возможно, достичь желаемых целей. М. Д. Горшков, один из соратников Пугачева, показал на следствии, что казаки, первыми поддержавшие замысел своего вожака, обнаружили в нем «проворство и способность» и потому «вздумали взять его под свое защищение и его зделать над собою властелином и восстановителем своих притесненных и почти упадших обрядов и обычаев». По словам Горшкова, вожаки не сомневались, что в движении примут участие широкие массы крестьянства: его сила «умножится от черного народа», притесняемого господами[125].

17 сентября 1773 года Пугачев впервые появился перед казаками, прибывшими на хутор Толкачевых, в облике императора. С этого дня начинается крестьянская война — трагедия, которая принесла безмерные страдания всем слоям населения, которые хоть как-то были вовлечены в нее.

Казакам был зачитан императорский манифест. Его содержание примечательно двумя штрихами: социальной направленностью начинавшегося движения и отражением в нем чисто казачьих интересов. Государь жаловал яицких казаков тем, что ими было утрачено: «рекою с вершин до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиянтом»[126]. Об освобождении крестьян от

крепостной неволи, о помещичьем землевладении — ни слова, но в той обстановке, в которой зародилось движение, и этих обещаний было вполне достаточно: манифест привлек под знамена Петра III множество казаков.

Итак, 17 сентября, после того как находившиеся на хуторе Толкачевых 80 казаков приняли присягу в верности императору Петру III и выслушали составленный Иваном Почиталиным манифест, отряд двинулся к Яицкому городку.

Последнюю в истории России крестьянскую войну принято делить на три этапа: первый охватывает время от начала движения до поражения под крепостью Татищевой и снятия осады Оренбурга. Второй этап ознаменовался походом на Урал, оттуда — на запад, овладением Казанью и поражением под нею от войск Михельсона. Начало третьему этапу положила переправа на правый берег Волги, овладение множеством городов Нижегородской, Воронежской и Астраханской губерний. Завершился этот этап проигранным Пугачевым сражением у Черного Яра, в результате которого он лишился армии.

Главной опорой Пугачева на первом этапе движения было яицкое казачество, что не исключало участия в нем русских крестьян и башкир. Первые шаги повстанцев оказались неудачными: подойдя к Яицкому городку с отрядом в 200 человек, Пугачев потребовал от коменданта сдать крепость, но тот, располагая гарнизоном в 923 человека регулярных войск, отклонил ультиматум. Попытка овладеть крепостью штурмом закончилась неудачей. Пугачев принял единственно правильное решение: чтобы не терять напрасно людей и не уронить свой престиж, он, не располагая артиллерией, оставил Яицкий городок и двинулся вверх по Яицкой укрепленной линии.

Этот поход с полным основанием можно назвать триумфальным шествием повстанцев. Одна за другой сдавались крепости: Илецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная и Татищева. Последняя являлась главным опорным пунктом линии и располагала запасами продовольствия, вооружения и денежной казной.

Легкость овладения крепостями объяснялась тем, что их гарнизоны составляли преимущественно казаки, при появлении Пугачева тут же вливавшиеся в его отряд. Что касается регулярных войск крепостей, то они в гарнизонах были представлены небоеспособными элементами, инвалидами и стариками.

Число повстанцев значительно увеличилось. Кроме того, Пугачев обзавелся собственной артиллерией, порохом, огнестрельным оружием. На очереди стояло овладение

Оренбургом.

Передовые отряды пугачевцев появились под Оренбургом 3 октября 1773 года, но губернатор Рейнсдорп основательно подготовился к обороне: были отремонтированы валы, гарнизон численностью в 2900 человек приведен в боевую готовность. Единственное упущение генерал-майора состояло в том, что он не обеспечил гарнизон и население города запасами продовольствия.

Упущение легко объяснимо — Рейнсдорп полагал, что осада крепости будет кратковременной, что присланные правительством войска без труда разгонят «злодейскую шайку» и освободят город от блокады. Кроме того, Рейнсдорп наивно возлагал большие надежды на воззвание, обнародованное с церковных амвонов еще 30 сентября, в котором он призывал бунтовщиков опомниться и отложиться от Пугачева, ибо тот является донским казаком, а не императором Петром Федоровичем.

В Петербурге тоже не придали особого значения событиям на Яике — посчитали их заурядным явлением, с которым без труда справится небольшой отряд правительственных войск. Такой отряд был сформирован, но не из закаленных в боях полков, а из частей, дислоцированных в тыловых гарнизонах. Напомним, Россия в это время вела напряженную войну с Османской империей, и каждый боеспособный солдат был на учете.

Во главе карательного отряда был поставлен генерал-майор Кар, которому велено «как наискорее отправиться в Казань, а если последует нужда, то и в Оренбург».

Одновременно с мерами военного характера правительство возлагало надежды и на разоблачение Пугачева. Важно отметить, что манифесты, исходившие из двух противостоявших друг другу лагерей — правительственного и повстанческого, — оказывали далеко неравнозначное воздействие как на население страны, так и на участников движения. Сопоставим два манифеста: Екатерины II, подписанный ею 16 октября и адресованный подданным, проживающим в районе движения (этот манифест вез Кар), и манифест Пугачева, датированный 1 декабря 1773 года.

Манифест императрицы извещал, что беглый казак Емельян Пугачев «собрал шайку подобных себе воров и бродяг из яицких селений, дерзнул принять имя покойного императора Петра III»; манифест призывал примкнувших к движению «от сего безумия отстать» и грозил всем, «кто отважится остаться в его шайке и тотчас не придет в настоящее раскаяние и рабское повиновение», суровыми карами — они будут считаться бунтовщиками, подлежащими «тягчайшему наказанию».

Итак, главная цель манифеста Екатерины состояла в разоблачении Лжепетра III. Никаких благ пришедшим в «рабское повиновение» манифест не обещал — все оставалось по-старому.

Как и воззвание Рейнсдорпа, манифест Екатерины не поколебал повстанцев. Действительно, дело было не в том, что движение возглавлял не подлинный царь, а донской казак. Зато манифест «Петра III» сулил «награждением: землею, рыбными ловлями, бортями, бобровыми гонами и прочими угодьями, также вольностию. Сверх же сего, как от Бога дарованной мне власти обещаюсь, что впреть никакова уже вы отягощения не понесете». Большинство перечисленных обещаний рассчитано на будущее. Но одно, причем привлекательное, давало сиюминутные выгоды. «Император» велел «противников против воли моей императорской, лишать их всей жизни, то есть казнить смертию, а домы их все их имение брать себе в награждение»[127]. Возможность поживиться этими имениями придавала манифесту особую привлекательность. Поэтому манифест императрицы оставался гласом вопиющего в пустыне, а призывы Пугачева находили живой отклик у крестьян и имели огромную притягательную силу.

Все это позволяло пугачевцам быстро умножать свои ряды: отряд в 80 человек через два-три месяца превратился в огромную армию, насчитывавшую под Оренбургом около 24 тысяч человек, оснащенных 20 пушками. Пугачев счел, что этих сил достаточно не только для блокады Оренбурга, но и для его штурма. Попытка штурмом овладеть городом не удалась, и тогда Пугачев решил вынудить гарнизон к сдаче плотной осадой: «Не стану тратить людей, а выморю город мором».

Наступали холода. 1 октября выпал первый снег. Остро встал вопрос о расквартировании огромной армии и снабжении ее продовольствием, фуражом, боеприпасами и всем прочим.

В первые же дни пребывания в Берде, селении в семи верстах от Оренбурга, которое Пугачев избрал своей резиденцией, — там была учреждена Военная коллегия — орган, заимствованный из структуры правительственного аппарата, но по функциям существенно отличавшийся от аналогичного учреждения в Петербурге. Если Военная коллегия в столице занималась исключительно военными делами, то Военная коллегия в Берде — учреждение со всеобъемлющей компетенцией, скорее напоминавшее столичный Сенат. Военная коллегия занималась прежде всего комплектованием полков и снабжением войск продовольствием, обмундированием и вооружением, а также ведала административными делами на территории, охваченной восстанием, финансами, распределением имущества, изъятого у

дворян, чиновников и богатых купцов. Военная коллегия являлась и высшей судебной инстанцией, разбиравшей жалобы пострадавших от бесчинств восставших, выносила приговоры, но, в отличие от самого Пугачева, дававшего добро на повешение без всякого разбирательства, вела устное расследование и без явных улик воздерживалась от вынесения смертного приговора.

Военная коллегия действовала с ноября 1773 года по август 1774 года, но с разной степенью интенсивности и эффективности. Наиболее плодотворно она функционировала в Берде, где ставка Пугачева находилась свыше пяти месяцев; позднее, когда повстанческая армия едва успевала отрываться от наседавших правительственных войск и когда отряды практически действовали автономно, поле деятельности Военной коллегии значительно сужалось.

Едва ли не самым важным событием военного значения, оказавшим огромное влияние на авторитет всего движения и престиж его руководителя, было поражение, нанесенное повстанцами карательному отряду Кара. Самонадеянный генерал рассчитывал на легкую победу над толпой разбойников. «Опасаюсь только, — доносил он императрице 31 октября, — что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег…»[128].

Кар решил взять в клещи повстанческое войско и с этой целью велел разделить свой и без того немногочисленный отряд на несколько групп. Этими нерасчетливыми действиями умело воспользовался Пугачев, разгромив войско карателей по частям. Если бы эти отряды действовали согласованно и одновременно предприняли активные операции, то Кар мог бы торжествовать победу. Но в том-то и дело, что Кар и его офицеры двигались к Оренбургу без должной осторожности, без необходимой в этой обстановке разведки и не знали, где находятся повстанцы, в то время как Пугачев зорко следил за передвижением карателей.

Первой подверглась нападению рота гренадер, двигавшаяся на соединение с Каром. Гренадеры фактически не оказали сопротивления Овчинникову и пополнили ряды пугачевцев. Сам Кар в ночь на 9 ноября тоже подвергся нападению. Неся большие потери, он вынужден был 17 верст бежать от повстанцев. Наибольший урон понес отряд полковника Чернышова, нападением на который руководил сам Пугачев. Отряд Чернышова вместе с 32 офицерами во главе с полковником оказался в плену. Все 32 офицера по повелению самозванца были казнены, причем сам Пугачев махал платком, когда следовало вести к виселице новую жертву.

После поражения Кар совершил странный поступок,

вызвавший недовольство в столице: он решил отправиться в Петербург, чтобы лично доложить императрице о чреватой серьезными последствиями ситуации, сложившейся в Оренбургском крае и убедить двор в необходимости отправить на подавление восстания значительные силы.

Получив сообщение Кара о том, что он выехал в Петербург, оставив вместе себя генерал-майора Фреймана, президент Военной коллегии граф Чернышов расценил его поступок как противоречащий «военным регулам» и отправил навстречу ему курьера с предписанием немедленно возвратиться к своему отряду, где бы ни встретил его курьер, даже под Петербургом. Кар ослушался: получив под Москвой запрещение двигаться к Петербургу и предписание возвратиться к отряду, он все же продолжил свой путь и к неудовольствию императрицы появился в старой столице. Главнокомандующему в Москве, князю Волконскому, Екатерина велела уволить Кара от службы, «ибо в нужное время не надобно, чтобы больной и трус занимал место и получал жалованье». Возглавить карательные войска императрица поручила А. И. Бибикову, бывшему маршалу Уложенной комиссии.

Раздражение императрицы по поводу приезда Кара в Москву станет понятным, если учесть стремление Екатерины скрыть события на Яике не только от иностранных дворов и своих корреспондентов-просветителей, но и от собственных подданных: напомним, ее манифест от 16 октября 1773 года был напечатан в количестве всего 200 экземпляров и предназначался для распространения только на территории, охваченной восстанием. Императрица справедливо полагала, что любое антиправительственное движение подрывало престиж ее благодетельного правления.

Появление Кара сначала в Казани, а затем в Москве посеяло среди горожан панику — и без того возбужденное население, пользовавшееся слухами об успехах повстанцев, теперь, с появлением битого генерала, убедилось в достоверности слухов.

Прибытие Кара в Москву было некстати еще и потому, что движение развернулось в условиях войны с Османской империей, и беспорядки внутри страны могли дать основание османам проявлять несговорчивость во время мирных переговоров. Екатерина в письме к Якову Сиверсу, пользовавшемуся исключительным ее доверием, так объясняла причины, по которым необходимо было скрывать происходившее: «Этот ужас XVII 1-го столетия, который не принесет России ни славы, ни чести, ни прибыли… Европа в своем мнении отодвинет нас ко времени царя Ивана Васильевича — вот та честь, которой мы

должны ожидать для империи от этой жалкой вспышки»[129]. Беспокойство Екатерины международным резонансом, вызванным внутренними событиями, явствует и из ее письма к Бибикову от 9 февраля 1774 года: «Колико возможно не потерять времени, старайтесь прежде весны окончать дурные и поносные сии хлопоты. Для Бога вас прошу и вам приказываю всячески приложить труда для искоренения злодейств сих, весьма стыдных пред светом»[130].

Впрочем, приезд Кара в Москву имел и положительное значение — Екатерина, похоже, была всерьез встревожена размахом движения. Об этом свидетельствует не только назначение опытного карателя Бибикова, усмирявшего приписных крестьян на уральских заводах, но и отправка против Пугачева не рот или батальонов, а целых полков, дислоцировавшихся поблизости от русско-шведской границы.

Скрывать происходившее уже не было смысла — таинственность вынуждала пользоваться непроверенными слухами. В качестве примера приведем донесение английского посланника Роберта Гуннинга, сообщавшего в Лондон, что в восстание вовлечено войско Донское и Оренбургской губернии, где казаки отказались от рекрутского набора.

Западным корреспондентам императрица внушала мысль, что происходившее на Яике — мало значимый эпизод, главными действующими лицами которого являлись разбойники. Так, Вольтеру она писала в январе 1774 года о хозяйничанье в Оренбургской губернии шайки разбойников, справиться с которыми в состоянии четыре тысячи казанских ополченцев[131]. Шайкой грабителей называла пугачевцев Екатерина и в письме к Бьельке, отправленном 16 января 1774 года. Точно такими же эпитетами Екатерина наградила участников движения в письме к Фридриху II, причем высказала полную уверенность, что движение будет скоро разгромлено: пугачевцы, извещала она короля, «толпа разбойников… более негодная и достойная презрения, чем опасная… Если эта неприятная для меня шалость доставила удовольствие моим врагам, то я имею причину думать, что это не надолго»[132].

На поверку оказалось, что императрица и ее окружение недооценили и на этот раз силы повстанцев и их способность быстро восстанавливать потери. Первое крупное сражение прибывших в Оренбургскую губернию трех полков регулярной армии с повстанцами произошло 22 марта 1774 года. В рядах пугачевцев насчитывалось 8 тысяч человек, в то время как руководивший операцией Голицын располагал 6 с половиной тысячами. Сражение с повстанцами, засевшими в крепости

Татищевой, началось с артиллерийской дуэли, длившейся три часа, но не принесшей успехов правительственным войскам. Тогда Голицын решил пойти на штурм, который продолжался шесть часов, причем повстанцы оказали ожесточенное сопротивление. Голицын доносил Бибикову: «…Я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть сии побежденные бунтовщики»[133].

В Татищевой Пугачев потерпел жестокое поражение: его армия перестала существовать, была утрачена вся артиллерия. Голицын и Бибиков были уверены, что сражение, во время которого удалось спастись лишь Пугачеву с горсткой сподвижников, положило конец движению. Бибиков делился этими соображениями с князем Волконским: «Теперь я могу почти ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо одно только главнейшее затруднение и было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою»[134]. Уверенность в близком окончании мятежа разделяла и императрица, извещавшая Бьельке о решительном поражении Пугачева.

Однако желанной «тишины и спокойствия» карателям пришлось ожидать почти полгода, хотя их победа и оказала серьезное влияние на ход событий в Оренбургском крае. Прежде всего была снята блокада с Оренбурга и Уфы. Под Уфой пугачевцами командовал Зарубин-Чика, возведенный Пугачевым в ранг графа Чернышова. Обложенная 24 ноября 1773 года со всех сторон Уфа сопротивлялась силами гарнизона и жителей города. Несмотря на многочисленность войск, достигавших в иные дни 20 тысяч человек, осаждавшие никак не могли овладеть крепостью. Иногда им даже удавалось ворваться в нее, но каждый раз приходилось откатываться на исходные рубежи.

Конец осаде Уфы положило сражение у Чесноковки 24 марта 1774 года, в ходе которого правительственные войска под командой подполковника Михельсона одержали победу. Они захватили более полутора тысяч пленных и 25 пушек. Зарубин-Чика, бежавший в Табынск, был схвачен казаками и выдан карателям.

После двух крупных поражений начался второй этап крестьянской войны. Основные события этого этапа развернулись на горнозаводском Урале, а главной опорой восставших стали горнозаводское население Южного Урала и башкиры. Из приписных крестьян и мастеровых людей формировались сотни и полки повстанческой армии. Здесь проявили себя такие вожаки движения, как Белобородов и Салават Юлаев.

Второй этап крестьянской войны отличался некоторыми

особенностями. Одна из них состояла в отсутствии единодушной поддержки населения, наблюдавшейся на первом этапе. Объясняется это усилением разбойного элемента в движении.

Прибывавшие на завод пугачевские отряды из русских и особенно башкир изымали заводскую казну, предназначавшуюся для оплаты труда заводских работников, грабили заводское население, отбирая у него домашнее имущество и скот, разрушали заводы, работа на которых составляла основной источник существования заводского населения, чинили насилие над женами и детьми.

Если на первом этапе пугачевцы берегли заводы, поставлявшие им пушки и ядра, то теперь, под натиском карателей, вынуждены были оставлять их, предварительно подвергнув сожжению или разрушению. Иногда распоряжения о сожжении заводов исходили от Пугачева, иногда от его соратников. Так, 2 мая 1774 года, перед уходом с Белорецкого завода, Пугачев дал чудовищную команду «…семейства крестьянские, престарелых, малолетних и женск пол гнать за своей толпой, а заводские и крестьянские строения выжечь». Салават Юлаев и его отец Юлай получили распоряжение Пугачева, «чтоб собрав нам команды свои, чинить разорение стоящим по Сибирской дороге заводам и их сжигать, устращивая, что естли мы сего чинить не будем, то он нас вырубит». Воскресенский завод, в свое время отливавший пушки для повстанческой армии, был сожжен башкирами, которые предварительно «обывателей с того завода, как мужеска, так и женска полу, не оставливая ни одного человека, выгнали»[135].

На одних заводах крестьяне и работные люди добровольно записывались в пугачевские отряды (Воскресенский, Богоявленский, Архангельский и др.), на других — по мобилизации, которой сопротивлялись (Белорецкий, Авзяно-Петровский, Вознесенский и др.), на третьих — не только не примкнули к восстанию, а напротив, выступили против повстанцев. По подсчетам А. И. Андрущенко, примкнуло к восстанию население 64 заводов, а выступило против него — 28-ми. Организаторами сопротивления выступали заводовладельцы и их приказчики.

Промышленник А. Ф. Турчанинов в январе 1774 года остановил три принадлежавших ему завода и заставил работных людей возвести вокруг них укрепление: обнести рогатками, надолбами и валами из снега, облитого водой. «В пристойных местах были поставлены пушки». Когда отряд пугачевцев внезапно ворвался на территорию Сысертского завода, то, по словам Турчанинова, сформированный им отряд в 300 человек

«единственно неустрашимой своею храбростью, не только с немалым с неприятельской стороны уроном, поразя, вон с завода выгнали, но и, славно опрокинув, в бегство прогнали». Общая сумма, израсходованная на оборону заводов и заводских поселков, по данным Турчанинова, несомненно преувеличенным, равнялась 39 839 рублям.

Заводская контора трех заводов (Ягошинского, Мотовилинского и Висимского), принадлежавших Р. И. Воронцову, «в рассуждении… великих опасностей» тоже организовала оборону предприятий. На Ягошинском заводе была создана команда из 361 человека, вооруженная имевшимися в наличии средствами обороны: 40 ружьями, 317 копьями и 4 пушками. Вместе с крестьянами села Верхние Муллы они отразили нападение повстанческого отряда[136]. Команды некоторых заводов выполняли не только оборонительные, но и наступательные операции. Отряд приписных крестьян и мастеровых людей казенного Юговского завода, вооруженный пушками, совершал рейды в населенные пункты, расположенные вдали от завода и оказывал им помощь в отражении атак повстанцев[137].

В оборонительных действиях заводчан нет ничего удивительного — они защищали свой домашний очаг, жен и детей, а заодно и предприятие, кормившее их. Характерная деталь — к оборонительным действиям прибегало население заводов, расположенных на периферии движения, где появлялись небольшие по численности отряды повстанцев. Население же заводов, где сосредотачивались значительные или главные силы пугачевцев, на подобные действия не отваживалось.

Статистика тех времен оставила безрадостную картину состояния уральской промышленности после подавления крестьянской войны. (Правда, статистика эта далеко не совершенная, поскольку увеличивала ущерб, понесенный владельцами заводов.) Из 89 заводов, подвергшихся нападению, 23 были сожжены или разрушены до основания. 33 завода, хотя и не были разрушены, но были остановлены и разграблены: с заводов исчезла готовая продукция, инструменты и оборудование. На 28 заводах владельцы организовали оборону и защитили их от вторжения повстанцев. Общая сумма убытков, понесенных заводовладельцами, составила 1 165 781 рубль. Примерно на такую же сумму (1 089 759 рублей) понесли убытков мастеровые и работные люди, а также приписные крестьяне в результате сожжения их домов, расхищения скота, инвентаря и домашнего имущества. Кроме того, заводские поселки и приписные деревни не досчитались 2716 душ мужского пола,

погибших или пропавших без вести, причем львиная доля их (2288 душ) падает на заводы, «которые сожжены и пограблены совсем»[138].

Таким образом, события на Южном Урале нанесли ущерб не только заводовладельцам, но и трудовому населению, лишившемуся крова и имущества или погибшему во время бесчинств восставших. В уничтожении заводов более всего усердствовали башкиры, не только потому, что у них, как и у всех кочевых народов, ограбление соседей относилось к явлениям обычным, но и вследствие того, что заводовладельцы за бесценок скупали или захватывали насильно их земли и тем лишали их пастбищных угодий.

Еще одна особенность второго этапа крестьянской войны состояла в изменении соотношения сил восставших и правительственных войск. Если на первом этапе военная инициатива принадлежала Пугачеву и он предпринимал наступательные операции, то на втором этапе обозначился явный перевес карателей, под натиском которых восставшие вынуждены были отступать.

После поражения под Татищевой пугачевцы двинулись на северо-восток к уездному центру Челябинску, еще в феврале месяце оказавшемуся в руках повстанческого отряда, которым командовал полковник И. Н. Грязнов. Первоначально попытки повстанцев овладеть им заканчивались неудачей; правительственный генерал де Колонг успешно отбивал их атаки, но затем, обнаружив непрерывное пополнение отряда Грязнова, предпочел без боя оставить город, совершив перед уходом жестокое злодеяние — 8 февраля 1774 года по его приказу были казнены 180 повстанцев. Впрочем, Челябинск находился в руках пугачевцев недолго — в апреле городом, без всякого сопротивления со стороны малочисленного отряда повстанцев, овладели каратели.

Двигаясь от одного южноуральского завода к другому, пополняя свои ряды за счет добровольцев и мобилизованных, Пугачев достиг крайнего восточного пункта — крепости Троицкой, которой овладел 20 мая 1774 года. К этому времени пугачевское войско насчитывало 11–12 тысяч человек и 30 пушек. На следующий день Пугачева настиг генерал де Колонг и в сражении одержал победу: повстанческая армия была в очередной раз разгромлена: на поле боя осталось до четырех тысяч убитыми и до трех тысяч было пленено. Остальные мелкими отрядами разбежались по степи.

Пугачев во время следствия показал, что после поражения у Троицкой крепости его отряд насчитывал 500 человек. С такими

силами вступать в соприкосновение с правительственными войсками было бессмысленно, и Пугачев двинулся в обход их расположения. Цель его похода состояла в том, чтобы прорваться в Европейскую Россию, где господствовало помещичье землевладение и где он рассчитывал на активную поддержку крепостного крестьянства. Уже вступление на территорию Казанской губернии, населенной массой крепостного населения, напомнило триумфальное шествие первого этапа войны — Пугачева повсюду встречали колокольным звоном, хлебом и солью. Стихия недовольства крестьян крепостным режимом вылилась в грабежи и поджоги помещичьих имений, увод скота, убийства помещиков. Армия Пугачева пополнялась новыми силами. Наряду с башкирами в повстанческую армию вступали народы Поволжья: чуваши, мордва, татары, так что стремительно двигавшаяся к Казани армия стала насчитывать до 20 тысяч человек.

Приближение Пугачева к Казани вызвало панику среди дворян и чиновников. П. Потемкин (дальний родственник Г. А. Потемкина), назначенный Екатериной начальником Секретной комиссии, на которую было возложено выяснение причин возникновения движения Пугачева, прибыл в Казань 8 июля и в донесении Екатерине так характеризовал обстановку в городе: «В приезд мой в Казань нашел я город в столь сильном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостоверить о безопасности города. Ложные по большей части известия о приближении к самой Казани злодея Пугачева привели в неописанную робость, начиная от начальника, почти всех жителей, так что почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям дворян приказано было спасаться»[139].

Заверения Потемкина, что Казани почти ничто не угрожает, оказались несостоятельными. Три дня спустя после отправки донесения императрице, 11 июля 1774 года, Пугачев разбил лагерь в семи верстах от Казани, которую защищал полуторатысячный гарнизон. Предпринятая повстанцами атака города принесла успех: им удалось овладеть Казанью, а защищавшие город правительственные войска во главе с генерал-майором Потемкиным, четыре дня назад уверявшим Екатерину, что он «погибнет прежде, чем допустит мятежников атаковать город», бежали под защиту крепостных стен в Кремль. Успеху повстанцев способствовала помощь городской бедноты и работных людей суконной мануфактуры.

Казань была охвачена пожаром, крепость подверглась со всех сторон артиллерийскому обстрелу и должна была капитулировать, но в это время на выручку гарнизона

форсированным маршем двигался отряд Михельсона. Осаду крепости пришлось снять и выйти из города, чтобы дать сражение Михельсону. Начавшееся в семи верстах от Казани, оно было самым продолжительным в ходе крестьянской войны; повстанцы хотя и оказывали ожесточенное сопротивление, но под ударами Михельсона и вышедшего из крепости гарнизона Потемкина были разгромлены. В плену оказался один из ближайших соратников Пугачева, Белобородов. Самому Пугачеву вместе с отрядом около тысячи человек удалось спастись — за ним гнались 30 верст, но Пугачев, имевший обыкновение держать несколько запасных лошадей, отличавшихся быстрым бегом, не дался в руки карателей.

Сражение под Казанью составило важную веху движения — оно положило конец второму этапу крестьянской войны и открыло третий. В истории последнего этапа важное место занимает манифест, обнародованный 31 июля 1774 года. На его содержании стоит остановиться подробнее, ибо он с наибольшей полнотой раскрывает, если можно так выразиться, программу движения, его лозунги. В отличие от манифеста 17 сентября 1773 года, обращенного к яицкому казачеству, а также манифеста, обнародованного в декабре 1773 года и адресованного «верноподданным рабам всякого звания и чину», манифест 31 июля обращен к лицам, «находившимся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков».

Манифест 31 июля освобождал крестьян от крепостной зависимости, награждал их «вольностью и свободой и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями, и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и без оброку, и протчими всеми угодьями, и освобождаем всех от прежде чинимых от дворян и градских мздоимцев-судей, всем крестьянам налагаемых податей и отягощениев…»[140].

Утопичность и противоречивость идей этой части манифеста видны невооруженным глазом: если все крестьяне награждаются казачьими вольностями и освобождаются от всех повинностей в пользу государства, то из каких источников будут изысканы средства для снабжения казаков хлебным и денежным жалованьем, а также порохом? Утопичность обещаний состоит и в том, что государство не может нормально функционировать без налоговых обязательств подданных. Кстати, эти обещания вступают в противоречие с практикой повстанцев. Зародыш государственной власти обнаруживается в создании государственной военной коллегии; налицо атрибутика, свойственная самодержавной власти: Пугачев возвел в графы

Зарубина-Чику; накануне последнего своего сражения с правительственными войсками раздал щедрые пожалования своим соратникам: Овчинникова возвел в звание генерал-фельдмаршала, Перфильева — генерал-аншефа, Чумакова — генерал-фельдцехмейстера, Творогова — генерал-поручика и др. При дворе супруги самозванца учреждались должности, реально существовавшие при дворе Екатерины, — фрейлин; у самого Петра Федоровича для личной охраны появилось подобие гвардии.

Все сказанное дает основание полагать, что неграмотный «Петр III» и его окружение имели смутное представление о структуре государственного аппарата России, их познания ограничивались сведениями о Военной коллегии, в ведении которой находилось казачество. Возведение в графское достоинство Зарубина-Чики тоже объяснимо — граф Чернышов был президентом Военной коллегии. Копирование аппарата и титулатуры чинов свидетельствует о намерении сменить лица в элите государства, а не изменить социальную структуру общества и политическую систему.

Вторая часть манифеста 31 июля создавала в стране атмосферу кровавого кошмара: «кои прежде были дворяне в своих поместьях и водчинах — оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, как до века продолжатца будет»[141]. Как видим, манифест призывал к разгулу кровопролития, разжигал звериные инстинкты, ориентировался на произвол и беззаконие и противоречил христианской морали, к которой призывал.

Несмотря на несбыточность обещаний, манифест находил живейший отклик у крестьянской стихии, которую благославляли грабить и убивать. Главнокомандующий карательной армией П. И. Панин отмечал притягательность обещаний Пугачева: «Во многих местах, — доносил он Екатерине II, — чернь прельщением сего врага государственного как собственным приходом, так и рассылками от него в некоторые многолюдные селения и по два только человека, а некоторые и по одному слуху из повиновения вышли и выходят, дерзая злодеянием на своих начальников… и на помещиков»[142].

Все источники того времени единодушны в изображении кровавой жестокости как повстанцев, так и карателей. Первым ее стал проявлять Пугачев. Возникает вопрос: чем она объясняется

— природной свирепостью самозванца, его неистребимой ненавистью к барам? Думается, помимо сказанного выше, еще и стремлением укрепить у окружающих веру, что перед ними не самозванец, а подлинный царь, которому Богом вручена власть распоряжаться жизнью и смертью подданных.

Конечно, филантропией Пугачев не отличался. Возбуждаемая его манифестами ненависть к помещикам находила поддержку и живой отклик крестьян, истоки которой надлежит искать в сфере социальных противоречий.

Третий этап движения, как и два предшествующих, имел свою специфику. Прежде всего изменился социальный и национальный состав его участников. Яицкие казаки и горнозаводское население, ранее составлявшие основную массу русских участников движения, после поражения под Казанью ушли в родные края. Оставили движение и башкиры. Все это значительно ослабило вооруженные силы восставших, ибо казаки среди них составляли лучше всего вооруженную и в военном отношении лучше всего подготовленную часть, а башкиры, будучи превосходными наездниками, составляли основу кавалерии. После поражения под Казанью в составе повстанцев осталась лишь небольшая часть яицких казаков, с которыми Пугачев начинал движение. Место яицких казаков и башкир заняли различные разряды русских крестьян: помещичьи, дворцовые, государственные и экономические, а также представители народов Среднего Поволжья: мордва, чуваши, удмурты, татары.

Еще одна особенность состояла в том, что ослабла концентрация сил восставших — главная армия была не столь многочисленна, как раньше.

В целом крестьянская война на третьем этапе охватила огромную территорию Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний. П. И. Панин вынужден был признать: на правом побережье Волги «вся чернь» Пугачевым и его рассыльными возмущена, перестала подчиняться законной власти и «делает против оной свои злодеяния»[143]. Однако связь главной армии с ее отрядами ослабла. Если на первых двух этапах наряду с армией Пугачева действовали значительные по численности отряды атаманов и полковников, то теперь более или менее крупные отряды являлись редким исключением: на огромном пространстве действовали разъезды пугачевцев в составе нескольких человек, иногда — в несколько десятков, объявлявшие в селе, деревне крестьянам волю и призывавшие к уничтожению помещиков. Эту особенность отметил Панин в донесении Екатерине 3 августа 1774 года: «…теперь представляется не столько нужды в сильном поражении большой злодейской толпы,

нежели в предосторожности от прокрадывания малых подсыльных от злодеев частей к воспламенению отзывающейся и в здешней черни колебимости, страха и мятежных волнований»[144].

В итоге огромная территория была охвачена восстанием многих сотен населенных пунктов, действовавших автономно, вне контактов друг с другом, преследовавших локальные цели. Движение, таким образом, приобрело более стихийный, чем прежде, характер.

Наконец еще одна особенность третьего этапа состояла в достигшем небывалых размеров истреблении дворян.

На всей территории правобережья Волги, охваченной восстанием, все помещики и чиновники, не успевшие своевременно покинуть имение или бежать из города, стали жертвами призыва пугачевских манифестов «казнить и вешать, а имущество делить между собой». Из находившихся в Нижегородской губернии 1425 дворян было повешено или убито 348 человек, то есть четвертая часть. Особенно велики потери дворянского сословия были в Алаторском уезде, где казнили 221 человека. В Саранске было казнено «дворян, штаб и обер-офицеров, ис приказных служителей и других званий, всего мужеска и женска пола 62 человека». В Воронежском крае восставшие лишили жизни 445 дворян, офицеров и других представителей правительственного лагеря. В Саратове, где Пугачев находился менее суток, восставшие лишили жизни 24 дворянина и 21 приказного служителя.

Надо отметить одну особенность списка казненных в Курмышском уезде. Там погибло 72 человека, среди которых 41 представитель духовенства. В Ядринском уезде было казнено 38 представителей духовенства. Церковнослужители становились жертвами пугачевцев в мордовских и чувашских деревнях, где помещиков было мало, а главными врагами восставших становились церковнослужители, осуществлявшие христианизацию местного населения.

Где надлежит искать объяснение столь жестокого обращения пугачевцев со своими господами? Сводить все к классовой ненависти, как это делала советская историография, вряд ли правильно. На наш взгляд, свирепость крестьян была обусловлена обещанием Петром Федоровичем воли. Живой барин непременно бы предъявил свои права на крепостного крестьянина. Более того, живой барин мог предъявить иск за разграбленное в имении имущество, скот, за сожженную усадьбу и т. д. Поэтому рубили под корень — не только главу семьи, но и его супругу, детей и даже гувернанток. Господское имущество делили между собой.

Общий ущерб, нанесенный помещикам и представителям администрации Нижегородской губернии, составил 174 239 рублей. Нижегородский губернатор А. Ступишин писал московскому главнокомандующему князю М. Н. Волконскому: «чернь вся почти преклонна к грабительству, предает смерти помещиков своих»[145]. Имущество и имение казненных в Воронежской губернии оценивалось в 447 166 рублей. Мануфактурист Пензенского края А. И. Бахметев доносил: «он в сие возмущение разорен почти до бесконечности… Привилегированные его хрустальная и стеклянная фабрики, действуемая по 7 печей, разорены, товар перебит, деньги разграблены, записки, в которых записано, что кому роздано на поставку материалов, сожжены и изодраны». Аналогичная судьба постигла тайного советника Лунина, конный завод и суконная фабрика которого разграблены и разорены, «и что с собой какие пожитки взять не могли, то били и изломали, равно как и прикащиковы пожитки и деньги». Приказчики, как правило, разделяли участь своих бар — их столь же немилосердно вешали. Но были и исключения, когда староста и приказчик выступали «главными зачинщиками» грабежа, как то случилось в селе Пиченеск, где по инициативе старосты Алексеева и приказчика Иванова крестьяне убили помещицу и поделили между собою ее имущество[146].

Во всех источниках правительственного происхождения и мемуарах современников из дворян и чиновников Пугачев именовался только «злодеем», а пугачевцы «толпой злодеев». Жестокость пугачевцев действительно надлежит считать кровавой и чудовищной. Но не менее чудовищной была жестокость карателей. В действиях императрицы и правительственных войск прослеживается два вида расправы с повстанцами. Один осуществлялся самой императрицей, стремившейся выглядеть респектабельной государыней, строго соблюдавшей законность и цивилизованный правопорядок.

Вожакам движения при захвате в плен сохраняли жизнь. Это прежде всего относится к самому Пугачеву и его ближайшим соратникам, которые, оказавшись в плену, не были тут же повешены, а содержались в заточении и подвергались троекратному допросу следственных комиссий, действовавших в Яицком городке, Симбирске и Москве. Сподвижникам Пугачева, стоявшим у истоков движения, И. Н. Зарубину-Чике, М. Г. Шигаеву, И. Я. Почиталину, А. П. Перфильеву и многим другим тоже сохранили жизнь до суда.

Их не повесили сразу, а подвергли допросам и суду, выполняя волю императрицы, поручившей следователям выяснить три

интересовавших ее вопроса: не инспирировано ли движение противниками императрицы, стремившимися усилиями самозванца лишить ее трона; не причастны ли к движению иностранные государства, пытавшиеся путем организации беспорядков внутри страны ослабить ее. На оба вопроса следователи дали отрицательный ответ. Дать ответ на третий вопрос было труднее всего: как возникла идея объявить себя самозванцем, какова «технология» ее реализации, какие цели ставило перед собой движение[147].

Своими мыслями на этот счет Екатерина делилась с Вольтером. 22 октября 1774 года она писала: «До сих пор нет ни малейших данных предполагать, что он был орудием какой-либо державы, или он следовал чьему-либо вдохновению. Приходится предполагать, что господин Пугачев сам хозяин-разбойник, а не лакей какой-либо живой души»[148].

Следствие и суд — это видимая часть айсберга; за нею скрывались произвол, бесчинства и жестокости карателей, действовавших столь же свирепо, как и пугачевцы. Только с 1 августа по 16 декабря 1774 года по повелению командующего карательными войсками генерала П. И. Панина казнено 324 повстанца, наказано кнутом с урезанием ушей 399 человек, наказано плетьми, розгами, шпицрутенами, батогами 1205 человек. Из шести тысяч взятых в плен в последнем сражении под Черным Яром Панин освободил от наказания только 300 человек. Так как репрессии продолжались до августа 1775 года, то численность подвергнутых Паниным наказаниям, вероятно, достигала несколько десятков тысяч человек. По свидетельству современника, «города, селения и дороги в Поволжье и Оренбургской губернии были уставлены по приказу Панина виселицами с трупами повешенных повстанцев, которых запрещалось снимать и хоронить месяцами». По Волге плыли плоты с колыхавшимися трупами повешенных.

Жуткую картину жестокости карателей изобразил с натуры саратовский воевода М. Беляев в донесении астраханскому губернатору П. И. Кречетникову от 31 января 1775 года: «В городе Саратове во многих местах известного государственного злодея и бунтовщика Пугачева его сообщники, злодеи ж, повешены на виселицах, а протчие положены на колесы, руки и ноги их воткнуты на колья, кои и стоят почти чрез всю зиму и, по состоянии морозов, ко опасности народной от их тел ничего доныне не состояло, а как теперь воздух стал переменен и наклоняется к теплоте чрез солнечный луч, к тому же открываются дожди, от чего те тела могут откроветь, и из-за того, в случае на город ветров, будет вредный воздух, чем время далее,

то оное умножитца будет более, посему обитатели города от того будут чувствовать тягость».

События на третьем этапе развивались стремительно — повстанцы, преследуемые карателями, нигде долго не задерживались. Первым значительным населенным пунктом, захваченным повстанцами через три дня после того, как они переправились на правый берег Волги, был уездный город Курмыш. Здесь Пугачев находился пять часов. В Алатыре и Саранске он стоял по три дня, а в Пензе и того меньше — в городе он появился 1 августа, а оставил его в ночь со 2-го на 3 августа, чтобы двинуться к Саратову. О настроении жителей Саратова узнаем из донесения Г. Р. Державина Ф. Щербатову от июля 1774 года: «Смею донести, что народ здесь от казанского несчастия в страшном колебании. Должно сказать, что если в страну сию пойдет злодей, то нет надежды никак за верность жителей поручиться. По народным слухам вижу, что всякий ждет уповаемого им Петра Федоровича»[149]. 6 августа Пугачев занял Саратов, но счел опасным пребывание в нем и вышел из города, расположившись в трех верстах лагерем, в котором простоял три дня и двинулся дальше на юг, к Царицыну. Подошел он к этому городу 21 августа, но овладеть им не сумел: между повстанцами и гарнизоном завязалась артиллерийская дуэль, продолжавшаяся пять часов.

От намерения овладеть городом штурмом пришлось отказаться — Пугачеву стало известно, что на выручку гарнизону движется Михельсон. Опасение оказаться между молотом и наковальней, между карательными войсками и гарнизоном Царицына имело полное основание: Пугачев оставил город 21 августа, а на следующий день в него вошли правительственные войска.

Из уездных и провинциальных городов, через которые лежал путь Пугачева на юг, только Царицын оказал сопротивление. Остальные города, как правило, сдавались ему. Был даже выработан церемониал встреч Петра Федоровича: при подходе к городу Главной армии туда направлялся небольшой отряд, предлагавший встретить государя «с честию». Городскому начальству ничего не оставалось, как выполнять этот ультиматум: во-первых, потому, что среди горожан было немало сторонников Пугачева, которых прельщало обещание освободить их от налогов и повинностей; во-вторых, потому, что защищаться было некому и нечем: укрепления отсутствовали, гарнизоны были малочисленными и небоеспособными. Член Военной коллегии И. Творогов в допросе показал, что во всех местах жители не противились, но встречали везде с хлебом и солью, давали «в

толпу нашу вооруженных людей и фураж по силе указов (Пугачева. — Н. П.) им данных». Показательно в этом плане обсуждение пензенскими купцами вопроса, как им встречать Пугачева — сопротивлением или хлебом-солью: «Что де нам противиться хотя бы и было чем, так где нам против его силы устоять, когда уже и сами крепости не в силах были, больше де не остается делать, как встречать его с хлебом и солью»[150].

Попытка Пугачева вовлечь в восстание донских казаков не увенчалась успехом — в своей массе они оказались верными правительству и в пугачевскую армию влилось лишь несколько сотен казаков. Среди яицких казаков, с которыми Пугачев начинал движение и которые составляли его ядро, зрел заговор с целью захвата «царя батюшки» и выдачи его правительству — стала очевидной близкая агония движения. Ценой предательства казаки решили заслужить милосердие императрицы.

Заговор оформился после последнего сражения, которое дал Пугачев карателям. Занятие Царицына Михельсоном убедило Пугачева в невозможности оторваться от преследователей. Он велел у Сальниковой ватаги, что в 40 верстах севернее Черного Яра, оборудовать поле сражения, создать укрепленный лагерь. Сражение состоялось 24 августа, повстанцы потерпели сокрушительное поражение от войск Михельсона: они лишились обоза, артиллерии, от главной армии, насчитывавшей до 20 тысяч человек, осталось 160 яицких казаков во главе с Пугачевым, которым удалось вплавь добраться до левого берега Волги.

Позже Пугачев показал, что Михельсону помог одержать победу командовавший артиллерией Федор Чумаков, сознательно или по неопытности расположивший пушки не позади оврага, а впереди его, что дало возможность наступавшим быстро овладеть ими. «Где бы этому немцу меня разбить, если бы не проклятый Чумаков тому причиной… — продолжал Пугачев. — Если бы Чумаков расположил бы лагерь за рытвиною, то утер бы я нос у этого немца»[151].

Даже если бы Пугачеву и удалось утереть «нос у этого немца», исход Крестьянской войны был предрешен и дни ее сочтены — 10 июля 1774 года был заключен Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей, и освободившиеся войска во главе с А. В. Суворовым быстро следовали на подавление восставших.

Во главе заговора против Пугачева стояли Творогов и Чумаков. После почти двухнедельных скитаний Пугачев был обезоружен, связан и 15 сентября 1774 года передан властям, которые отправили его в Яицкий городок.

Из Яицкого городка Пугачева в оковах, посаженного в клетку, в сопровождении усиленной охраны повезли в Москву. Кортежем

командовал А. В. Суворов, с опозданием вызванный с театра военных действий для борьбы с повстанцами.

Сенат определил состав суда в количестве 38 человек, представлявших Сенат, Синод, генералитет и руководителей центральных учреждений. К суду было привлечено, кроме Пугачева, 55 человек, разбитых следствием по степени виновности на 10 групп или, как написано в источнике, «сортов». В последнюю, десятую группу, были включены ближайшие родственники Е. И. Пугачева: его первая жена Софья Дмитриевна и трое детей от нее — сын Трофим и дочери Аграфена и Христина, а также вторая жена, в девичестве Устинья Кузнецова, на которой Пугачев женился в Яицком городке, будучи «Петром Федоровичем».

Работой суда тайно руководила императрица, находившаяся в Петербурге. С нею был согласован и приговор. Он оказался не столь свиреп, как приговоры крутого на расправу Панина.

Двух обвиняемых, Пугачева и Перфильева, суд приговорил к четвертованию, троих (Шигаева, Подурова и Торопова) — к повешению, а Зарубина-Чику — к отсечению головы. Казнь последнего должна была совершиться в Уфе.

Казнь состоялась 10 января 1775 года на Болотной площади в Москве в присутствии огромной толпы зрителей. Очевидец экзекуции А. Т. Болотов писал, что «подлый народ» не допускали к эшафоту, окруженному со всех сторон войсками с заряженными ружьями. «А дворян и господ пропускали всех без остановки, а как их набралось тут превеликое множество, то, судя по тому, что Пугачев наиболее против их восставал, то и можно было происшествие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем»[152].

Четвертование предполагало следующую мучительную процедуру: сначала отрубали одну ногу, затем руку, потом вторую ногу и руку. Последней отрубали голову. Пугачеву и Перфильеву отрубили головы и лишь затем конечности. В этом проявилось «милосердие» императрицы. Через день, 12 января, эшафот, на котором совершалась казнь, и сани, на которых был привезен к месту казни Пугачев, были сожжены. Части тел четвертованных и тела повешенных были преданы огню в четырех точках Москвы.

Прочие обвиняемые приговорены к битью кнутом, батогами, вырезанию ноздрей и отправке либо на каторгу, либо на поселение в отдаленные края.

Девятеро подсудимых (Творогов, Чумаков, Федулов и др.) были вознаграждены за предательство освобождением от всякого наказания. Впрочем, Екатерина не выполнила своего обещания:

Творогову и другим, освобожденным «от всякого наказания», по резолюции императрицы, надлежало «назначить новое для житья их место только не в Оренбургской и Симбирской губерниях»[153]. Сначала их отправили в Тулу, а затем на пожизненное поселение в Прибалтику.

Одиннадцать человек признано невиновными. Особому наказанию были подвергнуты родственники Е. И. Пугачева. Хотя суд и признал их невиновными, но все они содержались в Кексгольмской крепости. В 1797 году дочь Пугачева Аграфена родила сына, которого «прижила чрез насилие» коменданта крепости полковника Гофмана. Сын, однако, скончался грудным ребенком.

В 1803 году Александр I освободил заключенных из заточения и предоставил им право жить в городе под надзором и зарабатывать деньги на пропитание. Все они в разные годы умерли без потомства. Последней в 1833 году скончалась Аграфена. Таким образом род Е. И. Пугачева пресекся. Появляющиеся в печати сообщения о ныне здравствующих прямых потомках Пугачева не внушают никакого доверия.

Пугачевское движение исключает однозначную оценку. Борьба за лучшую долю оказалась во власти стихии и превратилась, по словам А. С. Пушкина, в «бунт бессмысленный и беспощадный», нанесший огромный ущерб экономике страны. Движение было бесперспективным как в военном, так и в политическом аспекте. Сам Пугачев во время одного из первых допросов признался, что не верил в возможность своего появления на троне: «Что же до намерения ево итти в Москву и далее — тут других видов не имел, как то, естли пройдет в Петербург, там умереть славно, имея всегда в мыслях, что царем быть не мог, а когда не удастся того зделать, то умереть на сражении: „вить все де и смерть заслужил, так похвальней со славой убиту“.»

17 марта 1775 года Екатерина опубликовала манифест, предававший национальную трагедию «вечному забвению и глубокому молчанию».

Глава V. Торжество казанской помещицы

Еще свежи были в памяти кошмары движения Пугачева, еще следствие над ним и его сообщниками только начиналось в Москве, а Екатерине довелось иметь дело с новой неприятностью, сродни только что пережитой, — в Италии появилась женщина, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. В историю она вошла под именем княжны Таракановой. Две общие черты сближают Тараканову с Пугачевым: оба были самозванцами, оба предъявляли претензии на трон. В остальном они резко отличались: Пугачеву удалось поднять на борьбу с властью широкие массы крестьянства; Таракановой такое было не под силу. Следовательно, над Екатериной не висела непосредственная угроза смуты под эгидой дочери Елизаветы Петровны. Однако самозванная дочь покойной императрицы тоже могла доставить немало неприятностей Екатерине, став марионеткой недругов России, орудием шантажа, например, Османской империи, Швеции или Франции.

Существование дочери Елизаветы Петровны, законной наследницы российского престола, лишний раз напоминало об узурпации трона самой Екатериной и в конечном счете подрывало на Западе престиж «северной Семирамиды». Именно эти угрозы заставили Екатерину предпринять энергичные и решительные меры по обезвреживанию самозванки.

Дело княжны Таракановой окутано множеством тайн — в нем больше темных пятен, чем светлых, проясняющих суть дела; на множество вопросов источники не сообщают прямого ответа, что дает основание беллетристам для всякого рода домыслов.

Историки располагают рассказом самой княжны о своих скитаниях, однако что в них достоверного, а что является продуктом болезненного воображения, сказать невозможно. Несомненно одно — перед нами авантюристка, так сказать, европейского масштаба, женщина энергичная, внешне привлекательная и настойчивая.

Если княжна, как позже напишет Екатерина, являлась дочерью пражского трактирщика, то откуда у нее появились средства, чтобы содержать свиту, совершать поездки из одного конца Европы в другой? Если сведения о ее жизненном пути, исходившие от самой княжны, являлись от начала до конца ложными, то почему они так встревожили Екатерину и принудили ее действовать столь напористо, что это могло вызвать серьезные международные осложнения?

Как только Екатерине стало известно о появлении

самозванки, она отправила с нарочным собственноручное письмо находившемуся в Средиземном море командовавшему флотом Алексею Григорьевичу Орлову с повелением взять под стражу самозванку и доставить ее в Россию. Императрица дала совет, как это сделать: «если возможно, приманите ее в таком месте, где б вам ловко бы было посадить на наш корабль и отправить ее за караулом сюда». Если заманить не удастся, то императрица предоставляла Орлову право применить силу: сначала он должен был потребовать от властей Рагузы выдачи «сей твари», а если те откажутся это сделать, то, — писала императрица, — дозволяю вам употребить угрозы, а буде и наказание нужно, то «бомб несколько в город метать можно».

Орлову удалось справиться с деликатным поручением, не прибегая к метанию бомб и не вызвав дипломатических осложнений, — он заманил Тараканову на флагманский корабль и там взял ее под стражу. 22 мая 1775 года Екатерина поздравила Орлова с успешно проведенной операцией. Кроме того, она писала: «Вероятие есть, что за таковую сумасбродную бродягу никто конечно не вступится не так ли, но всяк постыдится скрытно и явно показать, что имел малейшее отношение»[154].

13 марта 1775 года Екатерина извещала фельдмаршала князя А. М. Голицына, что контр-адмирал Грейг везет на своем корабле женщину, выдававшую себя за дочь Елизаветы Петровны, двух поляков, служанку и камердинера, и велела содержать их под караулом в Ревеле. «Письмо сих беспутных бродяг, — добавляла императрица, — теперь разбирают и что выйдет, и кто начальник сей комедии, вам сообщим, а только известно, что Пугачева называла братом ее родным».

Вместо Ревеля самозванку и ее спутников 26 мая заключили в Петропавловскую крепость. Голицын, которому было поручено вести следствие, сообщил императрице о впечатлениях от первой встречи с узницей: «Росту она среднего, сухощава, статна, волосы имеет черные, глаза карие и несколько коса, нос продолговатый с горбом, почему и походит лицом на итальянку». Ее он нашел «в немалом смущении», ибо не думала, что ее определят в такое место. Она в совершенстве владеет французским и немецким, но не знает русского языка. Имеет склонность к изучению языков: в короткое время овладела английским и итальянским; будучи в Персии, изучала арабский и персидский.

Строгое содержание пленницы в пути, а также в крепости подорвало ее здоровье. Лекарь обнаружил у нее опасную болезнь, «ибо у ней при сухом кашле бывает иногда рвота с кровью». Поэтому он распорядился перевести узницу в более сухое помещение, под комендантским домом.

Голицын познакомился и с показаниями самозванки, которые дали ему основание заявить, что «история ее жизни наполнена несбыточными делами и походит больше на басни»[155].

Голицын был прав: в ее биографии, поведанной следователям, масса недомолвок, неясностей, фантастических приключений. Остается неясным — является ли ее рассказ плодом собственного болезненного воображения, или внушен кем-то со стороны.

Зовут ее Елизаветой, ей 23 года, где родилась и кто ее отец и мать — не знает, как не знает, какой она национальности. Воспитывалась и жила до 9 лет в Голштинии, в Киле, а затем в сопровождении женщины и трех мужчин ее через Лифляндию и Петербург отправили в Персию, где она провела 15 месяцев. Приставленная к ней старуха объявила, что она здесь находится по повелению Петра III. Жилось ей не сладко, она часто болела и подозревала, что ее хотят отравить.

Далее — новый виток фантастических похождений: появился какой-то татарин, предложивший ей бежать. Четверо суток они шли пешком, пока староста какой-то деревни, жалея их, не дал им лошадь. Путешественники достигли Багдада, где их приютил богатый перс по имени Гамет. К нему прибыл персидский князь Гали и повез ее в Исфагань, где ее «весьма отменно почитал как знатную особу и многократно ей заявлял, что она дочь Елизаветы Петровны, а отцом называли по-разному, кто Разумовского и кто — иного». Мысль, что она дочь императрицы, внушал ей не только Гали, но и многие его знакомые.

В Исфагани Елизавета прожила до 1769 года, когда в Персии наступило смутное время и Гали вынужден был покинуть страну. Ей он предложил либо следовать за ним, либо, переменив веру, остаться в Персии, где она «может быть великой госпожей». Она согласилась ехать в Европу, но с условием, чтобы маршрут не пролегал через Россию, ибо там, если узнают о ее происхождении, она окажется в заточении.

Гали, однако, повез ее через Россию. Она то переодевалась в мужское платье, то объявлялась дочерью русского дворянина. В Петербурге они провели ночь, оттуда отправились в Ригу, далее путь следовал в Кенигсберг, Берлин, Лондон. В Лондоне Гали известили о необходимости возвратиться в Персию. Гали уехал на родину, «оставив ей драгоценных камней, золота в слитках и наличными деньгами великое число».

На этом связь с Гали обрывается, и молодая и богатая путешественница отправляется из Лондона, где прожила пять месяцев, во Францию под именем персидской принцессы. Из Парижа она держала путь в Голштинию с намерением прочно там

обосноваться и спокойно жить. Намерение не удалось реализовать — о ее приезде узнал шлезвиг-голштинский герцог и предложил стать его супругой, «но она не знала ничего подлинно о своей породе, хотела наперед о том известиться». С этой целью она якобы намеревалась отправиться в Россию, но вместо России оказалась в Венеции, где познакомилась с князем Радзивиллом, согласившимся быть в ее свите.

Из Венеции Елизавета решила отбыть в Персию, но сделала остановку в Рагузе, где к ней явился некий Костенек, передавший желание графа Орлова познакомиться с нею. Знакомство состоялось в Пизе. Орлов предложил ей свои услуги «повсюду, где б она их ни потребовала». В Ливорно она согласилась осмотреть адмиральский корабль. Как только Елизавета оказалась на корабле, офицер объявил, что она арестована. Попытки получить объяснение от Орлова не увенчались успехом.

В распоряжении следователей оказались документы, уличавшие Елизавету в претензии на корону. Среди них три тестамента (завещания): первый — Петра Великого о короновании Екатерины I, второй — Екатерины о короновании Елизаветы Петровны. Третий тестамент написан от имени Елизаветы Петровны о короновании Елизаветы II.

Видимо, у авантюристки были недостаточно осведомленные в русской истории советники, ибо Петр I никакого завещания не оставлял, а Екатерина I объявила наследником Петра II, а не Елизавету Петровну. Последняя объявила наследником Петра III. Кроме тестаментов, у претендентки на российскую корону было обнаружено «два письма без подписи, касавшиеся до тестамента Елизаветы Петровны на оную ее дочь». Обнаружен также указ графа Орлова, «чтобы о завещании Елизаветы Петровны о дочери ее объявить во флоте». Нетрудно догадаться, что этот указ инспирирован самим Орловым, пообещавшим помогать авантюристке в добывании короны. Вероятно, это обещание настолько убедило ее в искренности графа, что она вполне ему доверилась.

Находясь в заточении, самозванка обратилась с тремя письмами к императрице и несколькими посланиями к Голицыну. Она писала о ложных наветах на свой счет, заверяла корреспондентов, что она не знает, «что такое зло», и действовала всегда «для пользы вашего отечества». Письма заканчивались призывами к милосердию, просьбами о личной встрече с императрицей, жалобами на строгость содержания. «Я изнемогаю», — писала она Голицыну, изъявляя при этом готовность «провести жизнь мою в монастыре».

Послания остались без ответа и никак не разжалобили

Голицына. Наоборот, он убедился, что узница — человек, не имеющий «стыда и совести и не исповедующий никакого закона», что ее коварные замыслы подтверждают написанные ее рукой тестаменты и письма. Клятвы и заверения Елизаветы об истинности рассказов о своем прошлом, о своей добропорядочности не поколебали мнения о ней Голицына.

Императрице фельдмаршал писал: «Различные рассказы повторяемых ею басней открывают ясно, что она человек коварный, лживый, бесстыдна, зла и бессовестна». Руководитель следствия доносил, что употреблял разные способы выбить чистосердечное признание: ограничивал в пище, одежде и прочих потребностях, увещевал, но все оказалось бесполезно. Остается гадать, удалось бы Голицыну добиться от самозванки раскаяния и чистосердечного признания, если бы быстротечная чахотка не увела ее в могилу.

26 октября 1775 года Голицын доносил, что узница «от давнего времени находится в слабости, пришла ныне в такое худое состояние здоровья, что пользующий ее лекарь отчаивается в ее излечении и сказывает, что она, конечно, не долго проживет».

Развязка наступила 4 декабря того же года, когда, согласно донесению обер-коменданта Петербурга, «означенная женщина скончалась и похоронена в крепости». От команды, охранявшей заключенную, в количестве 30 человек взята присяга «о сохранении сей тайны»[156].

Все здесь описанное относится к происшествиям, не оказавшим влияния ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику царствовавшей императрицы — вторая половина XVIII века имела репутацию не только времени Просвещения, но и времени расцвета авантюризма как в Западной Европе, так и в России. Эпизод с «княжной Таракановой» стоит в ряду авантюр средней руки и достоин упоминания постольку, поскольку характеризует нравственный облик эпохи, в том числе и нравственный облик Екатерины, не проявившей милосердия к обреченной на смерть сопернице. Императрица, как известно, не отличалась жестоким нравом, но ее отношение к самозванке, видимо, определялось сильным впечатлением только что отпразднованной победы над опасным претендентом на трон.

То обстоятельство, что дело княжны оказалось дежурным эпизодом в истории самозванчеств в России и не вызвало последствий, тоже отличает его от движения Пугачева. Есть прямые и косвенные свидетельства органической связи некоторых мер правительства с только что разгромленной пугачевщиной.

К ним относится Манифест 17 марта 1775 года[157]. Формально его обнародование было мотивировано заключением

выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мира, венчавшего победоносную войну с Османской империей. В этой связи напомним несколько дат: мир был заключен 10 июля 1774 года, Пугачева казнили 10 января 1775 года, а манифест обнародовали 17 марта того же года, то есть восемь месяцев спустя после заключения мира и два с небольшим месяца спустя после казни предводителя крестьянской войны.

Манифест объявлял подданным ряд льгот. Их можно разделить на три категории: первая относилась к непосредственным участникам русско-турецкой войны; вторая — к той части населения, для которой война обернулась взиманием дополнительных налогов. Эти две категории льгот вполне соответствуют мысли, высказанной в преамбуле Манифеста: царские милости предоставляются лицам, которые, «имев участие в необходимых войне трудностях», должны иметь «справедливое участие в выгодах, столь преславным миром нам от Бога дарованных». Два пункта Манифеста посвящены «выгодам», непосредственным участникам войны, впрочем, не требовавшим от казны дополнительных затрат; дворяне, служившие во время войны рядовыми, награждались обер-офицерскими чинами; вторая льгота относилась к рядовым недворянам — их запрещалось наказывать без суда батогами, кошками и плетьми.

Значительно полнее выглядит перечень льгот лицам, которым пришлось платить дополнительные налоги, вызванные войной. К этого рода льготам относится освобождение купцов и цеховых ремесленников от уплаты дополнительного налога в размере 80 копеек, введенного во время войны. Отменен также налог в 100 рублей с каждой доменной и 5 рублей с каждой медеплавильной печи. Отменялся дополнительный сбор по 4 копейки с пуда выплавленного чугуна, сбор по рублю со стана на текстильных предприятиях. Манифест предоставлял всем право заводить станы, не испрашивая разрешения Мануфактур-коллегии.

Третью категорию льгот Манифест формулировал так: любовь императрицы к подданным столь безгранична, что снисходит «даже до малых потребностей, служащих к народному облегчению». Если второй категорией льгот мог воспользоваться лишь ограниченный контингент подданных, преимущественно мануфактуристы, то льготы третьей категории имели в виду значительные массы населения. Речь идет об отмене множества сборов, «из давних времен установленных, иные повсюду, иные местами». Отменялись многие десятки мелких сборов, приносивших казне незначительный доход, но крайне раздражавших население и обусловивших участие мелких

промысловиков в крестьянской войне: с кожевенных, овчинных, салотопенных промыслов, кирпичных сараев, харчевен, кузниц, постоялых дворов, цирюлен («бритвенных изб»), домовых бань, мельниц, соляных варниц и т. д.

Манифест объявлял амнистию — «общее и частное прощение, предавая все прошедшее вечному забвению и глубокому молчанию, и запрещаем впредь чинить о сих делах притязания и изыскания». Заодно амнистированы были уголовники, совершившие тягчайшие преступления и приговоренные к смертной казни, замененной ссылкой на каторгу.

Манифест по достоинству оценил верность трону богатой части купечества во время крестьянской войны и начал внедрять в их среду корпоративное начало — сословия, вычлененные из всей массы горожан особыми привилегиями. Всех городских жителей, занимавшихся торговлей с капиталом менее 500 рублей, велено зачислить в мещане и не называть купцами. Купцы, располагавшие капиталом свыше 500 рублей, разбивались на три гильдии. Их привилегия состояла в исключении из подушного оклада, замененного платежом 1 % с годового оборота капитала.

Через год, в 1776 году, гильдейское купечество было облагодетельствовано еще одной привилегией — оно освобождалось от рекрутской повинности, замененной денежным взносом в 360 рублей за рекрута. Перечисленные привилегии заставляют нас вспомнить городские наказы в Уложенную комиссию — Манифест и последовавший за ним указ удовлетворили требования верхушки купечества о выключении ее из подушного оклада и освобождения от рекрутчины.

Спустя две недели после Манифеста 17 марта 1775 года (31 марта) императрица обнародовала манифест об учреждении Московскому дворянскому банку трех экспедиций в губерниях, в которых помещики и заводовладельцы более всего пострадали от крестьянской войны: Оренбургской, Казанской и Нижегородской[158].

Движение Пугачева четко разделило население страны на два враждебных лагеря: один из них представлен всеми разрядами крестьян, прежде всего помещичьих, и городской беднотой. По другую сторону баррикад стояли дворяне, бюрократия и карательный аппарат государства в лице армии. Сомнения в верности трону и лично императрице дворянской массы и верхушки купечества, а также мануфактуристов в ходе крестьянской войны исчезли, и Екатерина сочла своей обязанностью оказать милости пострадавшим — «столь много претерпевших от бывших в том крае, а ныне благополучно миновавших беспокойств».

Заметим, это был первый законодательный акт после Манифеста 17 марта, призывавшего предать события 1773–1774 годов «вечному забвению». В Манифесте 31 марта Пугачев и пугачевцы названы не «злодеем» и «злодейской шайкой», а «беспокойством».

Из экспедиций банка, каждая из которых располагала суммой в 500 тысяч рублей, пострадавшим предоставлялась льготная ссуда сроком на 10 лет из расчета 1 % годовых в течение первых трех лет и 3 % в течение последующих семи лет. Ссуда выдавалась только тем, у «которых недвижимые имения, заводы, дворы и пожитки действительно граблены и разорены были во время и по причине бывшего возмущения 1773 и 1774 годов». Потерпевшие должны были представить из губернской канцелярии свидетельства, где и какое имение разграблено и на какую сумму. Ссуда выдавалась дворянам под залог крестьян из расчета 40 рублей за мужскую душу, а заводовладельцам — из расчета увеличенной в два раза годовой оборотной суммы[159].

Хотя 1,5 миллиона рублей было недостаточно, чтобы обеспечить ссудой всех пострадавших (услугами экспедиций воспользовались 248 просителей), эта ссуда помогла многим промышленникам в короткий срок полностью восстановить разрушенные предприятия. Во всяком случае, статистика того времени не зарегистрировала затяжного и резкого сокращения выплавки чугуна и меди.

К мерам, облегчавшим положение населения, относится и указ об уменьшении цены на 5 копеек с пуда соли. Характерная деталь: обычно такого рода указы сопровождались словами о «матерном попечении» императриц о подданных, о милосердии монархинь, не имевших иных забот, кроме блага подданных и т. д. В указе от 21 апреля 1775 года эта словесная шелуха отсутствует. Сухо, без эмоций подданных извещали: «для народной выгоды и облегчения сбавить с продажи соли с каждого пуда по 5 коп.»[160].

Наконец, последняя мера, предпринятая правительством в этом же направлении, относится к 1779 году, когда Манифестом 21 мая была повышена оплата труда приписных к заводам крестьян. Хотя этот Манифест отделен от крестьянской войны четырьмя годами, но связь его с пугачевщиной несомненна. Дело в том, что приписным к металлургическим заводам государственным крестьянам платили за работу по тарифу, установленному еще в 1724 году. Уже в то время эти ставки были ниже рыночных в полтора-два раза, а в последующие десятилетия в связи с падением курса рубля разрыв между оплатой труда наемных работников и приписных крестьян увеличился еще

более. Отношения между заводовладельцами и приписными крестьянами не были регламентированы, что открывало неограниченные возможности для произвола промышленников и их приказчиков.

Поскольку заводовладельцам было выгоднее пользоваться трудом приписных крестьян, чем наемных работников, то крестьян принуждали работать на заготовке древесного угля сверх суммы подушного оклада и оброчных денег (1 рубль 10 копеек с мужской души), привлекали их для работы в лесу в страдную пору, уклонялись от уплаты за «прохожие дни», то есть за время пребывания их в пути от деревни, где они проживали, до завода.

Первое активное сопротивление приписных крестьян на уральских заводах относится к 50-м — началу 60-х годов XVIII века, когда они отказывались выходить на работу. Эти же причины вызвали восстание приписных крестьян к металлургическим заводам Заонежья в конце 60-х — начале 70-х годов. Приписные крестьяне уральских заводов активно участвовали в движении Пугачева.

Манифест 1779 года был призван успокоить крестьян установлением ряда норм в их пользу: он вдвое повысил оплату труда — крестьянину с лошадью в летние месяцы платили по 20 копеек в день, без лошади — 10 копеек; в зимние месяцы соответственно — 12 и 8 копеек. Манифест перечислял работы, на которых заводовладелец мог использовать труд приписных крестьян: рубка леса, разломка куч с углем, доставка угля и готовой руды на завод, строительство и починка плотин.

Устанавливалось время выполнения крестьянами внезаводских работ: к рубке дров надлежало приступать с 15 февраля, а возвращаться домой — к 20 апреля. К возке разрешалось привлекать крестьян с появлением санного пути. Лишь починка плотины не предусматривала сроков, ее надобно было производить в любое время, когда случится повреждение. За использование крестьян на недозволенных указом работах, а также за работу сверх указанных сроков с заводовладельца взыскивалась двойная плата в пользу пострадавшего.

Манифест не оставил без внимания и промышленников: отменялась обязательная поставка артиллерии, ядер, якорей в Адмиралтейство. Заводовладельцев разрешалось привлекать к поставкам только во время войны и лишь в том случае, если казенные заводы не обеспечивали армию и флот необходимыми припасами.

Но главной ответной мерой правительства на крестьянскую

войну стали не перечисленные выше манифесты и указы, в большинстве своем игнорировавшие интересы основной массы населения в лице крепостного крестьянства, а проведение областной реформы. Осуществление этой реформы и изложение мотивов ее проведения свидетельствуют об изменении взглядов Екатерины — она твердой поступью двигалась к приобретению репутации дворянской императрицы.

В начале царствования Екатерина обнаружила полное понимание напряженности социальной обстановки в стране и опасности взрыва недовольства крепостного крестьянства. В секретной инструкции вступившему в должность генерал-прокурора А. А. Вяземскому она писала: «В положении помещичьих крестьян таково критическое, что окроме тишины и человеколюбивыми учреждениями ничем избегнуть не можно». Она призывала к сдержанности и осторожности, дабы не ускорить и без того довольно быстро приближавшуюся «грядущую беду», призывала к пресечению жестокостей и проявлению человеколюбия. В противном случае, считала она, крестьяне «против нашей воли сами оную возьмут рано или поздно»[161].

«Грядущая беда» стряслась, но императрица, вместо того чтобы искать ее причины в нестерпимом положении народа и принять меры к существенному облегчению этого положения, встала на путь совершенствования административного аппарата, изъяны которого, по ее мнению, позволили возникнуть пугачевщине. Именно в слабости местных органов власти, в их неспособности быстро реагировать на проявление неповиновения Екатерина видела причину превращения локального явления в грозную силу, потрясшую трон. П. И. Панину она писала: «Слабое поведение в разных местах гражданских и военных начальников я полагаю столь же общему благу вредно, как и сам Пугачев со своею сволочью».

Императрица осуждала не систему, а ее недостойных представителей, отличавшихся злоупотреблениями властью, взяточничеством, «наперед раздражая городских и уездных жителей неправосудием и мздоимством, когда дошло до обороны, чувствуя народную к ним недоверенность, у них и руки упали, что способствовало бунтовщикам причинить толикие злодейства и разорения»[162]. Мнение Екатерины разделял средней руки чиновник, член Секретной экспедиции, пытавшейся установить причины движения, С. И. Маврин. После изучения обстановки на месте он доносил своему начальнику П. И. Панину: «над здешним (яицким казачеством. — Н. П.) наблюдение командиров столь поносно, что превосходит всякое чаяние ваше»[163].

Панин взялся за устранение отмеченных Екатериной

недостатков путем чистки местной администрации трех губерний, охваченных движением Пугачева. Губернаторам было предписано определить соответствие должностного лица занимаемой должности. Панина, в частности, интересовали сведения, «кто имянно из воевод, товарищей и секретарей во время бывших под именем самозванца и изменника Пугачева бунтовчичьих шаек, от мест своих, оставляя города, уходили, а потом возвращались и ныне у тех же своих мест, или кои еще не возвратились, а правят их должностями другие». Вместо не оправдавших доверия правительства чиновников Панин велел подбирать новых кандидатов, причем все они должны быть из дворян. Списки кандидатов надлежало составлять «по согласию господ благородных каждого города дворян, кого б они за своих собратий за достаточных к местам паче воеводским и их товарищей и секретарей находили»[164].

По мнению П. И. Панина и казанского губернатора П. С. Мещерского, не следовало ограничиваться подбором верных трону администраторов, но необходимо было изменить структуру областной администрации. В записке, поданной императрице, авторы предлагали покрыть страну более густой сетью правительственных учреждений. «Внутреннее бывшее беспокойство… для управления таковых народов и стран открыло потребности в умножении над ними более правительств и присутственных полицейских надзирателей нежели доныне оных есть»[165].

Итак, в необходимости изменений областной администрации были убеждены и императрица, и ее вельможи. Остановка за претворением намерения в жизнь.

План реформы и ее воплощения еще находились у Екатерины на кончике пера и еще недостаточно выкристаллизовались в деталях, но она спешила поделиться своим начинанием с западными корреспондентами. 29 декабря 1774 года Екатерина извещала Вольтера о намерении в январе следующего года приехать в Москву. «Там я опять примусь за великое дело законодательства». Работа над законом, видимо, велась успешно, ибо 12 апреля 1775 года императрица отправила Бьельке послание с хвастливым заявлением: «…Обещаю вам, что в нынешнем году вы обо мне услышите: я предсказываю, и это на основании верных данных, что он составит эпоху в летописях России…» Позже Екатерина вновь подогревает интерес Бьельке к предмету своих забот, заявляя, что Манифест 31 марта, несколько облегчивший «участь народа, не более как пустяки в сравнении с обширным произведением, о котором вы что-нибудь услышите через два или три месяца; вот это труд и труд великолепный»[166].

Она заинтриговала и Гримма. 8 апреля Екатерина писала ему: «Умру от проворства пера, потому что в жизни моей я столько не царапала, сколько теперь. Я царапаю прекрасные манифесты весьма красноречивые». Далее следует впечатляющая оценка труда, работа над которым только началась: «„Наказ“ мне в эту минуту представляется пустой болтовней»[167]. Самую скромную информацию императрица отправила Вольтеру в конце 1775 года, когда документ был уже обнародован: «Я только что дала моей империи „Учреждение о губерниях“, которое содержит в себе 215 печатных страниц in 4° и, как говорят, ни в чем не уступает „Наказу“. Мне больше нравится первое: это плод шестимесячной работы, исполненной мною одной»[168].

Приходится согласиться с мнением императрицы, что «Учреждения о губернии» составили веху в истории России и особенно дворянства. Права была Екатерина, когда при сопоставлении двух актов — «Наказа» и «Учреждений о губернии» — отдавала предпочтение последнему. В самом деле, «Наказ» в большей мере итог размышлений, изложение взглядов, чем нормативный акт, устанавливающий точные границы воздействия на общество. «Учреждения о губерниях» выгодно отличаются от «Наказа» тем, что они тесно связаны с реалиями, намечают конкретные пути и методы реализации устанавливаемых норм.

С заявлением Екатерины, что «Учреждения» составлены ею одной, можно согласиться лишь наполовину. Действительно, весь законодательный акт в оригинале написан рукой императрицы. Здесь она, видимо, руководствовалась правилом, которого придерживалась при составлении «Наказа» и о котором писала госпоже Жоффрен в 1765 году: «Я не хотела помощников в этом деле, опасаясь, что каждый из них стал бы действовать в различном направлении, а здесь следует провести одну только нить и крепко за нее держаться»[169].

Не отрицая авторства императрицы, все же надобно отметить, что идейную, так сказать, теоретическую направленность нормативного акта она заимствовала из двух источников: наказов дворянских депутатов в Уложенную комиссию и записок прожектеров, рекомендовавших «умножить» сеть учреждений и «полицейских надзирателей».

«Учреждения о губерниях» имеют два аспекта: административный, или, если так можно выразиться, технический, под которым мы подразумеваем структуру губернской и уездной администрации, и социальный, нацеленный на удовлетворение притязаний дворянства. Напомним, в дворянских наказах и при их обсуждении в Уложенной комиссии дворяне дружно выражали недовольство деятельностью местных

властей. Наказы пестрели жалобами на медленность судебного разбирательства и дороговизну суда, на трудность добиться от него справедливого решения, поскольку повсюду процветало взяточничество, а ответчик мог уклоняться от явки на суд и тем самым затягивать процесс на десятилетия. Другое требование наказов состояло в предоставлении дворянам права широкого участия в уездных органах власти: дворяне не протестовали против сосредоточения власти в губерниях в руках чиновников, назначаемых правительством, но делами уезда хотели бы заправлять сами.

Актуальность этого требования повысилась в связи с Манифестом о вольности дворянской, существенно изменившим возрастной состав лиц привилегированного сословия, осевших в своих имениях. Если до Манифеста 19 февраля 1762 года в провинции проживали дворяне преклонного возраста, увечные или малолетки, не способные нести службу не только в полках, но и в канцеляриях, то теперь в имениях коротало дни множество пышущих здоровьем дворян, воспользовавшихся правом не служить и уходить в отставку.

Изменилось и отношение императрицы к дворянству. Особая роль в сближении ее с дворянским сословием принадлежит крестьянской войне, сплотившей все антинародные силы в борьбе с пугачевщиной. Когда казанские дворяне постановили сформировать на свои средства полк карателей, Екатерина велела передать им, что она, «яко помещица той губернии», то есть владелица дворцовых вотчин, распорядилась поставить в дворянский корпус рекрутов от дворцовых волостей. В ответе, написанном Державиным, казанские дворяне выразили умиление: «признаем тебя своею помещицею: принимаем тебя в свое товарищество, когда угодно тебе равняем тебя с собою. Но за сие и ты ходатайствуй за нас у престола величества твоего»[170].

Вторым источником, использованным Екатериной при составлении «Учреждений о губерниях», были записи прожектеров, делившихся соображениями, как должна быть реформирована областная администрация.

Накануне реформы Россия была поделена на 23 губернии, реформа довела их число до 50. Изменились критерии деления на губернии. Прежнее деление учитывало этническую общность населения, некогда представлявшего независимые государственные образования (например, Казанская, Астраханская губернии) или территории, заселенные в результате колонизации (Азовская, С.-Петербургская губернии). Но подобный принцип приводил к игнорированию численности населения, что при одинаковых штатах губернской

администрации пагубно отражалось на эффективности ее деятельности. Так, в Московской губернии проживало 2230 тысяч жителей, в то время как в Архангельской их насчитывалось всего 438 тысяч, то есть почти в пять раз меньше.

При проведении областной реформы и делении страны на административные единицы Екатерина руководствовалась численностью населения: 300–400 тысяч жителей составляли губернию, а 20–30 тысяч — уезд. Провинция исчезала.

Подобный критерий деления территории тоже имел недостатки: не учитывались особенности экономики региона, его тяготение к издавна сложившимся торгово-промышленным и административным центрам, игнорировался национальный состав населения — территория Мордовии, например, была поделена между Пензенской, Симбирской, Тамбовской и Нижегородской губерниями. Реформа кромсала территорию страны, как бы резала «по живому телу».

Реформа, упразднив провинцию, все же сохранила трехчленное деление областной администрации. Ее возглавлял генерал-губернатор или наместник, в подчинении которого находилось две-три губернии с губернаторами во главе. Губернии делились на уезды.

В результате проведения областной реформы, затянувшейся на целое десятилетие (1775–1785), были пересмотрены границы как губерний, так и уездов. Из Московской губернии было образовано несколько: Московская, Калужская, Тульская, Ярославская, Владимирская, Костромская. Бывшие провинциальные центры были объявлены губернскими. Сложнее обстояло с поисками уездных городов. Уездный город должен был удовлетворять многим требованиям: находиться в центре уезда, не принадлежать частному лицу или монастырю, к нему экономически должна тяготеть близлежащая округа. У устроителей губерний и уездов была еще одна забота, которую откровенно сформулировал владимирский наместник граф Р. И. Воронцов. «…Не столько наблюдал я регулярную фигуру округи, — доносил он императрице, — сколько о том, чтоб во всякой округе было довольное число дворян, могущих отправлять уездные и земские службы, чтоб одного помещика деревни не были разделены по другим уездам, а сколько можно заключалось бы в одной округе, и чтоб предписанное число душ (20–30 тысяч жителей. — Н. П.) наполнено было»[171].

За время проведения областной реформы было объявлено 215 новых городов. Значительная часть их и по внешнему облику, и по роду занятий населения напоминала скорее деревню, чем город. Так, в Звенигороде «купечество никаких ремесел и

промыслов не имеет, кроме земледелия, и то в небольшом количестве». Особенно заметно было отсутствие признаков городской жизни в городах, объявленных уездными центрами Воронежской губернии; жители здесь продолжали заниматься земледелием, скотоводством, огородничеством и садоводством. Такие города Калужской губернии, как Одоев, Лихвин, Мещовск, Серпейск и Мосальск, по словам наместника Кречетникова, «не соответствовали своему званию, ближе к виду деревень».

Изменение областных и уездных границ, разукрупнение старых губерний и уездов сопровождались появлением новых структур и должностей в губернской и уездной администрациях. Новой должностью был наместник, или генерал-губернатор, начальствовавший над двумя-тремя губерниями: он являлся надзирателем за исполнением законов и обязанностей должностных лиц, в его распоряжении находились полиция, гарнизон, а также полевые войска, дислоцированные на территории наместничества. В его обязанности входила также забота о своевременном сборе податей и рекрутов. Наместник «без суда да не накажет никого, преступников законов и должностей да отошлет куда для узаконения ему для суда». Приезжая в одну из столиц, наместник мог заседать в Сенате при обсуждении вопросов его наместничества.

Должность наместника обставлялась огромным внешним почетом: ему полагался конвой, адъютанты и по одному молодому дворянину от каждого уезда. Торжественностью обставлялся его выезд, а также приемы.

Губернскую администрацию возглавляло губернское правление, в котором председательствовал губернатор; членами правления являлись два советника. Губернатору подчинялись все правительственные учреждения губернии, а также сословные суды.

Вторую строку в списке губернских учреждений занимала Казенная палата, ведавшая доходами и расходами, промышленностью и торговлей губернии. Важность этого учреждения подчеркивалась тем, что возглавлял его вице-губернатор.

Далее следовали две судебные палаты — Палата гражданских дел и Палата уголовных дел. Обе палаты являлись высшими судебно-апелляционными инстанциями. Постановление Палат можно было обжаловать в Сенате, но только в том случае, если сумма иска была не менее 500 рублей.

Реформа вводила ряд новых учреждений, аналоги которым отсутствовали в структуре администрации предшествующего времени. К ним в первую очередь относится Приказ

общественного призрения — наиболее яркое проявление политики просвещенного абсолютизма в проведении областной реформы. Председательствовал в Приказе сам губернатор. Новому учреждению были подведомственны школы, больницы, богадельни, сиротские дома, дома для умалишенных. Правительство выделяло на все эти нужды сравнительно небольшую сумму — 15 тысяч рублей в год и рекомендовало проявлять Приказу инициативу в привлечении средств благотворителей и меценатов.

Принципиально новым учреждением, тоже порожденным политикой просвещенного абсолютизма, являлся Совестный суд, стоявший особняком среди судебных учреждений. Он состоял из шести заседателей — по два от каждого из трех сословий: дворян, горожан и незакрепощенных крестьян. Руководил Совестным судом судья, назначенный наместником. Совестный суд, с одной стороны, должен был смягчать жесткость закона, а с другой — восполнять его отсутствие. Главная его задача — примирение тяжущихся сторон. Если примирение не состоялось, то дело передавалось обычному суду.

Совестному суду предоставлено право считать противозаконным содержание в тюрьме свыше трех суток, если арестованному не предъявлено обвинение. Он же мог отдать арестованного на поруки. В своих решениях Совестный суд руководствовался законами, но учитывал и нравственное начало, человеколюбие, милосердие и т. д. Императрица, кстати, гордилась Совестным судом, полагала, что он станет «могилой ябедам», но подобных надежд он не оправдал.

Мемуарист Г. С. Винский назвал Совестный суд «кукольной игрой», ибо его реальные права были значительно уже, чем в Англии, из законодательства которой императрица заимствовала саму идею. Так, в Англии на поруки запрещалось отдавать лиц, совершивших два тяжких преступления: измену и убийство. Согласно же «Учреждениям о губернии» на поруки можно было брать лиц, не причастных к оскорблению монарха, измене, смертоубийству, разбою и воровству, иными словами, Совестный суд мог рассматривать только имущественные дела и мелкие преступления, а также преступления, совершенные душевнобольными и несовершеннолетними.

«Учреждения о губернии» начинили областные учреждения множеством судов. Все они были сословными и состояли из чиновника, возглавлявшего суд и назначаемого правительством, и выборных представителей от каждого сословия. Судебные иски дворян вершил Верхний земский суд; дела купцов и мещан разбирал Губернский магистрат, а свободных крестьян — Верхняя

расправа.

Контроль за деятельностью губернских учреждений осуществлял губернский прокурор, подчинявшийся наместнику. В обязанность губернского прокурора входила защита населения от незаконных поборов, наблюдение за содержанием арестантов и т. д.

Уездная администрация находилась в руках дворян. Высшим органом власти в уезде являлся Нижний земский суд, состоявший из избранных местными помещиками заседателей во главе с капитан-исправником. Нижний земский суд был наделен исключительной властью в уезде: он исполнял распоряжения губернских учреждений, приводил в исполнение приговоры судов, предотвращал распространение эпидемий и эпизоотий, осуществлял сыск беглых крестьян, наблюдал за торговлей. Нижний земский суд подчинялся губернскому правлению.

Судебные учреждения в уезде копировали губернские судебные органы: Уездный суд разбирал дела дворян данного уезда и подчинялся Верхнему земскому суду; Городовой магистрат судил горожан и подчинялся Губернскому магистрату; наконец, Нижняя расправа, судившая свободных крестьян, подчинялась Верхней расправе. В отличие от названных выше судебных учреждений дворян и горожан, Нижняя расправа не была выборной, ее председатель назначался правительством.

Город представлял самостоятельную административную единицу. Главной фигурой в городе был городничий, или комендант, а в двух столицах — обер-полицеймейстер. Кандидата на должность городничего представляло на утверждение Сената губернское управление. Городничий отвечал за состояние дорог, весов, приобщал всех к трудолюбию, искоренял нищенство. Судебные функции в городе осуществлял Городовой магистрат и Совестный суд, разбиравший торговые дела.

Губернская реформа положила начало истории дворянства как сословия, правда, пока на уездном уровне. Один раз в три года дворяне съезжались в уездный город для избрания предводителя дворянства и должностных лиц в администрацию и суд. Появились условия для обсуждения сословных требований дворян. Сама возможность общения укрепляла корпоративное начало и содействовала консолидации привилегированного сословия. Важной фигурой в уезде становился предводитель дворянства; он председательствовал в дворянской опеке и руководил выборами должностных лиц.

О мере престижности должности предводителя дворянства свидетельствует состав предводителей Тульской губернии: среди 12 уездных предводителей был один генерал-поручик, два

генерал-майора, два бригадира, два коллежских советника, четыре майора и один гвардии поручик[172]. Впрочем, в последующие годы привлекательность выборных должностей в губернской администрации пала, прежде всего, вследствие из года в год усиливавшегося давления, испытываемого дворянским собранием со стороны наместников и губернаторов. По свидетельству М. М. Щербатова, наместники и губернаторы «быв деспоты в губерниях, всегда могут иметь некоторую партию для избрания, кого пожелают». Наблюдение Щербатова подтверждают свидетельства иностранцев, относящиеся к началу 90-х годов XVIII века: генерал-губернаторы так сильно влияли на решение дворянских собраний, «что результаты этих собраний можно считать совершенно сведенными к нулю. Известно заранее, кого выберут, потому что кандидаты указаны свыше и власть охотно жертвует формой назначения, раз дворянство этим удовлетворяется». Современник В. Н. Каразин отмечал падение интереса и пренебрежение к выборным должностям в уездной администрации: «Никто из людей достойных не хотел быть выбранным в уездные чины или в Верхний земский суд, и сии места предоставляли, как милостыню, дворянам, не имеющим других способов к жизни. Вообще примечено, что первые выборы в губерниях были и самые лучшие: тогда еще не успели рассмотреть всех сих последствий, и намерения монархини произвели всеобщий энтузиазм к добру; простыл сей жар, когда увидели, что беспристрастие выбирающих и бескорыстие избранных были равно посмеяны… что уездные присутственные места суть пустые инстанции», а дела вершатся в правительственных учреждениях губерний.

Отношение дворян к самой реформе можно охарактеризовать как однозначно восторженное. Ярославский наместник А. П. Мельгунов при открытии наместничества в 1777 году, обращаясь к присутствующим, заявил: «Сей день должны вы почитать как счастливейший в жизни вашей, с сего дня вы вступите в столь важные права и преимущества, для приобретения которых во всякие времена в славнейших народах поднесь кровавые проливались реки…» Но дворяне не нуждались в подсказке. Они сами способны были оценить значение для них реформы и выгод, из нее извлекаемых. Новгородский наместник Я. Сиверс извещал императрицу, что дворяне «не могут довольно нахвалиться деятельностью новик учреждений»: Совестного суда, Приказа общественного призрения, «добрыми делами дворянских опек». Дворяне Смоленского наместничества заявили, что «„Учреждения о губерниях“ утверждают в нас на вечные времена спокойствие и тишину правосудием». «С.-Петербургские

ведомости» опубликовали письмо анонима, высказавшего уверенность, что «Учреждения о губернии» должны «истребить ябеды и несогласия и соединить всех дворян новыми неразрывными узами, утверждающими общее спокойствие и благоденствие».

Самым красноречивым свидетельством признательности дворян за реформу было их желание соорудить во всех наместничествах в честь императрицы монументы. По словам Кречетникова, монументы должны передать потомкам чувство «о щастии верноподданных всех, каковым они в златые времена благополучного царствования… наслаждались». Калужские помещики раскошелились на 50 тысяч рублей, тульские собрали 30 тысяч, а столичные дворяне — 52 тысячи рублей. Екатерина, однако, отказалась от этой чести, повелев передать собранные деньги на нужды Приказов общественного призрения соответствующих губерний. Если даже учесть вполне понятное стремление дворян польстить вкусам императрицы (для которой, как известно, лучшим цветом был розовый), то и тогда хвалебно-восторженное восприятие дворянством реформы останется непоколебленным.

Открытию наместничества предшествовала тщательная подготовка. Ярославский наместник Мельгунов давал знать «всему благородному ярославскому дворянству об открытии в декабре 1777 года губернии» и приглашал всех дворян прибыть на торжества к 25 ноября. «Благородное дворянство» с большой охотой и повсеместно прибывало в центры наместничеств, причем не в одиночку, а семьями — с женами и детьми. А. Т. Болотов, приехав в Тулу с женой, детьми и тещей, отметил: «никогда еще Тула не видала в стенах своих столь великого множества и знатного, и средственного, и мелкого дворянства»[173]. Возникли даже трудности расквартирования такого количества гостей.

Внимание Болотова было сосредоточено на «пышном и великолепном зрелище» открытия дворянского собрания. Оно происходило в самом вместительном зале, в котором был сооружен императорский трон под богатым балдахином, украшенный стоявшим на нем портретом императрицы во весь рост. Наместник, взошедши на ступень трона, обратился к присутствующим с краткой речью, которую присутствовавшие слушали стоя «с должным благоговением». После этого производились выборы губернского предводителя дворянства, которыми руководил наместник.

На следующий день на собрании председательствовал предводитель губернского дворянства. Он руководил выборами уездных предводителей дворянств, а также членов Верхнего

земского суда, Совестного суда, Приказа общественного призрения.

Областная реформа Екатерины II продолжалась свыше десяти лет. Первоначально Екатерина считала необходимым проверить эффективность работы новых учреждений на опыте двух губерний: Тверской и Смоленской, которые были названы примерными, однако Императорский совет убедил императрицу начать немедленно и повсеместно проводить реформу.

О затруднениях, испытываемых при укомплектовании губернской администрации подготовленными кадрами, свидетельствует отказ императрицы утвердить список кандидатов в судебные палаты примерных губерний. «Я не могла оных утвердить, — писала Екатерина генерал-прокурору А. А. Вяземскому 25 ноября 1775 года, — потому что не вижу тут людей, искуснейших в делах сих родов…»

Затруднение испытывали при подборе не только руководящих кадров, но и канцелярских служителей, что явствует из сенатского указа 23 декабря 1775 года, согласно которому коллегии, конторы и канцелярии «нижних приказных служителей не увольняли без свидетельства о болезнях через медицинскую коллегию и ее контору». В то же время запрещалось назначать в приказную службу лиц, положенных в подушный оклад.

Областная реформа принесла дворянству значительные экономические выгоды, ибо существенно увеличила штат чиновников, рекрутируемых из дворян. Из 7,5 миллиона рублей, ежегодно расходовавшихся на содержание административного аппарата, львиная доля оседала в карманах дворян, в особенности вельможной бюрократии; наместники, губернаторы и вице-губернаторы получали от 1200 до 6000 рублей годового жалованья, чиновникам средней руки казна платила от 200 до 600 рублей в год. Особую заинтересованность в расширении сети учреждений проявляли беспоместные дворяне, для которых служба и жалованье являлись источником существования. Таких дворян в 70-е годы числилось до 10 %.

Реформа достигла той цели, ради которой проводилась: в результате дробления губерний и уездов губернская и уездная администрации получили возможность без проволочек реагировать как на события повседневной жизни губернии и уезда (взимание налогов, набор рекрутов, сыск беглых, борьба с разбоями), так и на чрезвычайные обстоятельства: волнения, эпидемии, эпизоотии; о том, сколь удачным было деление страны на губернии и уезды, свидетельствует то обстоятельство, что оно в основном сохранилось до 1917 года.

Областная реформа унифицировала организацию местного

управления на территории всей страны, что привело к уничтожению автономии некоторых окраин. Первыми, по кому правительство нанесло удар, были запорожские казаки. Как и крымские татары, они издавна провоцировали осложнения в отношениях между Россией и Османской империей.

В начале июля 1775 года войска генерала Текели, возвращавшиеся с театра военных действий, внезапно напали на Запорожскую сечь и полностью ее разрушили. В манифесте, извещавшем население России об этом событии, Екатерина заявляла, что казаки помышляли «составить из себя область совершенно независимую, под собственным своим неистовым управлением». Впоследствии, после Ясского мира 1791 года, основная масса запорожцев была переселена на Кубань, где они образовали Черноморское казачество.

Распространение губернской реформы на Левобережную Украину привело к упразднению там в начале 80-х годов деления на полки и сотни и введению наместничеств, губерний и уездов. Все войсковые регалии, напоминавшие о прежней автономии Украины (знамена, печати и др.), были доставлены в Петербург.

Проведение реформы на Дону сопровождалось созданием войскового гражданского правительства, копировавшего губернскую администрацию страны. Эстляндия и Лифляндия были разделены на две губернии — Рижскую и Ревельскую — с учреждениями, существовавшими в прочих губерниях.

Едва ли не главным результатом областной реформы стала независимость судебных учреждений. Правда, независимость эта не была полной и предусматривалась не во всех случаях, но все же крупный шаг в этом направлении несомненен.

Положительное значение реформы состояло и в постепенном изменении внешнего облика уездных и губернских городов; реформа придала им более благоустроенный вид: в губернских центрах сооружались фундаментальные здания для правительственных учреждений и резиденций наместников и губернаторов, центральные улицы многих городов обзавелись мостовыми и ночным освещением. Губернская столица приобретала троякое значение: она являлась экономическим, административным и культурным центром округи.

По свидетельству Болотова, Тула, центр прежней провинции, город «очень малозначащий», превратился в «знаменитый» центр наместничества. «И подлинно, — вспоминал Болотов, — город сей в сравнении тогдашнего его состояния с нынешним ничего почти не значил, а в течение истекших с того времени тридцати лет он так много во всем преобразился и произошло в нем столь много важных перемен как в рассуждении красоты и порядка

строения, так и других обстоятельствах, что если б можно было воскресить ныне кого-нибудь из умерших в тогдашнее время, то он бы и не узнал бы его почти совсем, а почел бы его каким-нибудь другим городом».

А. Т. Болотов с восторгом описывает спектакли созданного им в уездном городе Богородицке любительского театра, в котором он выступал сразу как автор пьес, режиссер и художник-декоратор. Зрителей, никогда не бывавших в настоящем театре, поразила декорация с видом плывущего по воде корабля.

Создание театра было приурочено к открытию в Богородицке ярмарки, во время которой в город съехалось множество дворян, купцов и крестьян. Конечно, Болотов — уникальное явление в истории России второй половины XVIII века: далеко не во всех губернских, не говоря уже об уездных городах, существовали любительские театры, печатались газеты. Но губернские центры как бы состязались друг с другом, чтобы завести и то и другое.

Создание новых учреждений на местах вызвало ломку центрального аппарата в столице. Реформа сопровождалась децентрализацией управления, перенесением заведений правительственной администрации из центра на места, в губернии, где созданные учреждения дублировали компетенцию коллегий. В самом деле, если Казенная палата ведала финансами, торговлей и промышленностью, то исчезла надобность в существовании Мануфактур-, Берг-, Камер— и Штатс-контор коллегий. Появление в губернии Палаты уголовных дел нанесло удар по Юстиц-коллегии, а Палаты гражданских дел — по той же Юстиц-, а также Вотчинной коллегиям. В итоге областная реформа разрушила коллегиальную систему управления. Сохранили свое значение только первейшие три коллегии, ведавшие такими делами, децентрализация управления которыми противопоказана: Военная, Адмиралтейская и Иностранных дел. Им было предоставлено право решать вопросы в пределах своей компетенции, не докладывая Сенату.

Первой жертвой областной реформы стала в 1780 году Мануфактур-коллегия. Вслед за нею одна за другой пали Штате-контор-коллегия (1782 год), Главный магистрат (1783), Берг-коллегия (1784), Камер-коллегия (1785), Вотчинная и Юстиц-коллегии (1786). Столь продолжительное существование коллегий, надобность в которых исчезла, связана с накоплением в них огромного количества нерешенных дел.

Децентрализация управления имела еще одно следствие — она укрепила абсолютную власть императрицы. Это наблюдение представляется парадоксальным лишь на первый взгляд. В самом деле, ликвидация коллегий и управление периферией через

наместников прибавило власти монарху; место учреждения заняло доверенное лицо монарха — наместник. Решение многих вопросов замыкалось лично на Екатерине.

Верховная власть в стране принадлежала и ее предшественницам и предшественникам, но те царствовали, а не управляли. Екатерина и царствовала, и управляла. Децентрализацией управления она усложнила бремя своих забот и в то же время раздвинула поле своей деятельности и круг обязанностей: рычагов влияния на ход событий у Екатерины прибавилось.

Глава VI. На вершине славы

Название главы требует пояснений. Почему именно 80-е годы XVIII столетия мы относим к пику политики просвещенного абсолютизма? Ведь в советской историографии прочно утвердился тезис, что эта политика дала самые плодотворные результаты в 60-е годы. Именно тогда Екатерина II осуществила секуляризацию церковных владений, основала Вольное экономическое общество и Смольный институт, составила знаменитый «Наказ» и созвала Уложенную комиссию 1767–1768 годов. Но на 80-е годы падает обнародование и реализация не менее важных нормативных актов: Устава благочиния или Полицейского (1782), Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства (1785), Грамоты на права и выгоды городам Российской империи (1785), Устава народных училищ (1786), Устава о повивальных бабках (1789).

Строго говоря, принципиальные различия между внутренней политикой 60-х и 80-х годов отсутствовали: она оставалась продворянской, крепостнической и в то же время ориентировалась на распространение просвещения, совершенствование человеческой натуры и смягчение нравов. Различия между двумя этими периодами носили более количественный, чем качественный характер: цели оставались прежними, но менялись способы их достижения. Между манифестом о вольности дворянской 1762 года и Жалованной грамотой благородному дворянству 1785 года такое же различие, как между организацией Смольного института в 1764 году и созданием сети народных училищ в 1786 году — иной масштаб явлений, иные мерки их распространения.

Самый консервативный элемент внутренней политики Екатерины составляло строгое соблюдение интересов дворянства — императрица свято блюла обещание, данное сразу же после вступления на престол, что крестьяне останутся в прежнем повиновении помещикам. Убедительнее всего верность этим обещаниям императрица проявила в структуре бюджета государства и в ее финансовой политике: основную часть из десятилетия в десятилетия увеличивавшихся доходов казне приносили не прямые, а косвенные налоги. На протяжении трех четвертей столетия размер прямого налога — подушной подати, — установленный в 1724 году, оставался неизменным — 70 копеек с мужской крестьянской души. За эти же десятилетия оброчные повинности в пользу помещика увеличились с 40

копеек до четырех-пяти рублей. Если учесть падение курса рубля, то можно констатировать не подлежащий сомнению факт: размер повинности в пользу казны сократился, а в пользу помещиков увеличился если не в десять — двенадцать, то по крайней мере в пять-шесть раз. Таким образом, львиная доля трудовых доходов крестьянина оседала не в государственной казне, а в карманах помещиков, у которых были все основания восхвалять императрицу.

Тем не менее доходы государства в 1796 году превышали доходы 1763 года более чем в четыре раза. Отчасти увеличение дохода происходило за счет прироста населения — с 16 миллионов в 1775 году до 36 миллионов в 1796 году. Подушная подать обеспечивала в казну чуть более половины доходов. Остальная часть бюджета пополнялась за счет косвенных налогов — эксплуатации винной и соляной регалий, а также доходов от внешней торговли.

Императрица на протяжении почти всего царствования руководствовалась идеями, изложенными ею в «Наказе» Уложенной комиссии, и депутатскими наказами. Эти документы в царствование Екатерины имели такое же значение, какое в свое время выпало на долю проектов, поданных дворянами в 1730 году в связи с «затейкой» верховников. Впрочем, у Екатерины можно обнаружить две внешне противоречащих друг другу оценки своего детища — «Наказа» Уложенной комиссии. В апреле 1775 года, извещая Гримма о завершении работы над законом о реформе местной администрации, она писала: «„Наказ“ мне в эту минуту представляется пустой болтовней». Десять лет спустя, в 1785 году, когда в руках императрицы оказались резкие отзывы Дидро о ее «Наказе», она решительно встала на защиту своего творения. Тому же барону Гримму она писала: «Я же утверждаю, что мой „Наказ“ был не только хорош, но превосходен, и хорошо соображен с обстоятельствами, ибо осмнадцать лет как он существует, он не только ни в каком отношении не сдался, но еще все хорошее, что произошло за это время и что признается всеми, проистекало из основных начал, установленных этим „Наказом“»[174].

Если отбросить присущую императрице эмоциональность в оценках, то надобно в обоих случаях признать ее правоту: «Наказ» в сопоставлении с «Учреждениями о губернии» действительно выглядит «пустой болтовней», ибо изобиловал общими фразами программного содержания, в то время как «Учреждения» устанавливали структуру областной администрации и предлагали конкретные пути реализации вынашиваемых Екатериной идей. Но вместе с тем императрица была права,

отмечая значение «Наказа», наметившего программу действий на будущее.

После изложенных выше предварительных замечаний переходим к анализу законодательных актов, направленных на реализацию идей Просвещения. Первым из них был «Устав благочиния или Полицейский», обнародованный 8 апреля 1782 года. В самом названии документа кроется противоречие. «Устав благочиния» предполагает комплекс мер по внедрению самых разнообразных добродетелей: милосердия, уважения к старшим, добросердечия, готовности оказать помощь ближнему, проявлять твердость в православной вере, соблюдать правила общежития и др. Слова же «или Полицейский» имеют в виду не сознательность подданного, не его добровольное восприятие добродетелей, а их насильственное внедрение, использование мер принуждения.

«Устав благочиния» предполагает обращение к разуму подданного, его пониманию необходимости или целесообразности той или иной меры. Понятие «Полицейский» имеет иной смысл: Устав не ограничивается внушением, но прибегает к насилию и перечисляет должностных лиц и учреждения, на которые возложена обязанность блюсти выполнение подданными перечисленных в Уставе рекомендаций. В этом плане «Устав благочиния или Полицейский» близок к законодательным актам петровского времени: он, подобно петровским законам, вторгается в частную жизнь подданных и регламентирует ее. Отличие состоит в том, что в «Уставе» отсутствует присущее петровским актам применение разнообразных санкций: штрафов, физических истязаний, ссылки на каторгу и т. п.

Нас в первую очередь интересует «Устав» как памятник, пронизанный идеями Просвещения. Наиболее выпукло эти идеи выражены в специальном разделе «Правила добронравия». Под ними подразумеваются поступки подданного, достигшего совершенства благодаря беспрекословному выполнению следующих заповедей: не чини «ближнему, чего сам терпеть не можешь»; на зло отвечай добром; если сотворил обиду, то, по возможности, удовлетвори обиженного; помогай в беде: «веди слепого, дай кровлю неимущему, напой жаждущего», протяни руку помощи утопающему, «с пути сошедшему указывай путь».

«Устав» определяет и поведение подданного в храме. Здесь он перекликается с Уложением 1649 года, но исключает его жестокие меры наказания; он предписывает входить в храм «с благоговением, и вести себя в церкви и во время хода с крестами благочинно». Принципиальное новшество в вопросе вероисповедания по сравнению не только со временем принятия

Уложения, но и с недалеким прошлым состояло в веротерпимости — это результат влияния идей Просвещения.

«Устав» не ограничивался требованием соблюдать христианские заповеди, он регламентировал семейную жизнь подданных. Глава семьи — муж, он должен жить с супругой «в согласии и любви», извинять недостатки, «облегчать ее немощи, обеспечивать ее пропитанием». Что касается супруги, то «Устав», как и Домострой XVI века, отводит ей в семье подчиненную роль: она «пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу» и оказывает ему всякое «угождение». Положение детей в семье также близко к домостроевскому: «родители суть властелины над своими детьми».

«Устав благочиния или Полицейский» распространял свои нормы на подданных, обитавших в городах. Определялась структура учреждений и должностных лиц, отвечавших за выполнение установленных «Уставом» норм. Главным учреждением являлась Управа благочиния, председательствовал в которой городничий, а членами являлись приставы по уголовным и гражданским делам, а также два ратмана. Управе вменялось в обязанность соблюдение порядка, навеянного идеями Просвещения: «Управа благочиния выслушивает всех без изъятия: убогих, богатых, сильных, бессильных, знатных и незнатных».

На попечении Управы благочиния находилось благоустройство города и жизнь горожан; Управа должна была следить, чтобы жизнь эта текла в русле спокойствия и законности — преследовала новизну, то есть то, что не предусмотрено указами. Длинный перечень обязанностей Управы благочиния включал множество как значительных, так и мелочных забот, начиная от наблюдения за состоянием бань (девочкам и мальчикам, например, разрешалось мыться в женских и мужских банях до семи лет), дорог, мостов, за качеством продаваемых товаров, соблюдением указов о запрещении роскоши, азартных игр и плясок до обедни, и заканчивая полицейским надзором за благонадежностью населения города: без разрешения запрещалась организация товариществ и братств, театральных представлений, незаконных сходбищ и др. Управа благочиния рассматривала мелкие уголовные преступления и иски, не превышавшие сумму в 20 рублей. Основанием для рассмотрения подобных дел являлось устное заявление истца. Если дело не решалось полюбовным согласием в течение суток, то оно передавалось в обычный суд.

Исполнительными органами Управы благочиния являлись квартальные надзиратели, а в крупных городах, поделенных на две и более части, — частные приставы.

Уставом благочиния нарисован портрет идеального должностного лица, наделенного комплексом добродетелей и лишенного пороков и недостатков: он обязан проявлять человеколюбие, добросовестное отношение к службе, стремление к достижению общего добра, бескорыстие, обязан чинить равный суд, покровительствовать невинному и скорбящему, воздерживаться от взяток, ибо они «ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду». В своих поступках они должны руководствоваться исключительно законом.

Достаточно беглого знакомства с «Уставом благочиния или Полицейским», чтобы убедиться в том, что он изобразил рафинированного подданного и столь же рафинированного чиновника, им управлявшего. Если бы все, кого имел в виду «Устав», руководствовались его наставлениями, то перед нами предстал бы идеальный подданный из горожан, образ которого могла создать только голова просвещенного монарха. В этом плане «Устав» по идейному содержанию близок к «Наказу», но столь же, как и тот, далек от реалий крепостной России. В то же время он существенно отличался от «Наказа». Управа благочиния и ее органы располагали властью, следовательно, способны были осуществлять функции, начертанные в «Уставе», в то время как «Наказ» подобных органов не учреждал. Поэтому нет оснований полностью отрицать назначение этого акта, определенное в преамбуле к нему: «Устав благочиния или Полицейский» учреждался «для споспешения доброму порядку, удобнейшего исполнения законов и для облегчения присутственных мест и по недостатку установления, до себя затрудняющих…»[175].

В один и тот же день, 21 апреля 1785 года, императрица обнародовала две жалованные грамоты, которым была уготована долгая жизнь. Одна из них была адресована дворянству и пышно называлась «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», другая предназначалась горожанам и называлась скромнее: «Грамота на права и выгоды городам Российской империи». Обе грамоты, как и многие нормативные законы екатерининского царствования, отражали противоположные тенденции внутренней политики Екатерины II. С одной стороны, они укрепляли сословный строй, консолидировали дворянство и горожан, то есть укрепляли феодальную структуру общества. С другой стороны, обе грамоты отдавали дань идеям Просвещения, по сути носившим буржуазный характер.

Отчасти грамота дворянству являлась сводом ранее опубликованных указов с перечнем дворянских привилегий: она

включала в себя основные положения Манифеста о вольности дворянства 1762 года, Учреждений о губернии 1775 года, Манифеста 1782 года, предоставлявшего дворянам право собственности не только на поверхность земли, но и на ее недра, а также воды и леса. Грамота подтверждала освобождение дворян от службы, право свободного выезда за границу, право неограниченного распоряжения собственностью, право занимать различные должности в уездной администрации, подтверждала право иметь Дворянскую опеку, право владеть домами в городах и др.

К новшествам Жалованной грамоты дворянству относилось само наименование привилегированного сословия. Отныне оно стало называться не «дворянством», а «благородным дворянством». В преамбуле к грамоте, перечислявшей заслуги дворянства, на первый план вынесено его «послушание», хотя не забыты и такие его важные свойства, как храбрость, верность, доблесть, давшие основание предоставить ему «твердые и прочные установления ко умножению благополучия и порядка на будущие времена».

Едва ли не самым важным новшеством Грамоты, составившим веху в консолидации дворянства, являлось предоставление ему права один раз в три года собираться на губернские съезды. Дворяне избирали из своей среды губернского предводителя дворянства и прочих должностных лиц. Губернским собраниям разрешалось подавать прошения на имя наместника, Сената и императрицы. Дворянскому обществу предоставлялась дисциплинарная власть над своими членами: оно могло исключить из своей среды лиц, опороченных судом или дискредитировавших себя в личной жизни. Только суд мог лишить дворянина дворянского достоинства, чести, жизни, имения. Решения суда о лишении жизни должно быть подтверждено Сенатом и конфирмовано императрицей.

Новшеством являлось и освобождение дворян от истязаний — «телесное наказание да не коснется благородного». От телесных наказаний освобождались и дворяне, служившие рядовыми в армии: нарушители устава из рядовых приравнивались к офицерским чинам. Стоит ли доказывать, сколь велико было значение этого пункта Грамоты в преодолении дворянином холопьей психологии и воспитании личного достоинства.

К новшествам относится и составление в каждом наместничестве Дворянской родословной книги, предусматривавшей все основания для получения дворянского звания, начиная от дворян, получивших его шпагой и пером, и кончая «отличенными родами», носившими княжеские и графские

титулы, а также дворянами, чьи роды имели более чем столетнюю давность.

Введение дворянских родословных книг являлось завуалированной формой чистки дворянских фамилий — каждого дворянина Грамота обязывала представить доказательство принадлежности к дворянскому роду. Доказательств было великое множество, и это обстоятельство предоставляло простор для фальсификаций и получения дополнительных доходов канцелярской мелкотой, которой ничего не стоило сочинить за мзду пышное родословное древо.

Доказательством дворянского происхождения были не только соответствующие дипломы и грамоты, указы на пожалования вотчинами и поместьями, документы, свидетельствующие о том, что отцы и деды несли дворянские службы, но и такие сомнительные источники, как указы с упоминанием фамилий в списках дворян или представление документов о владении деревнями дедом или отцом. Таким образом, Екатерина не встала на путь удовлетворения требований аристократической части дворянства, устами князя М. М. Щербатова домогавшейся отмены Табели о рангах и исключения из числа дворян лиц, получивших это звание на ее основании[176].

Грамота на права и выгоды городам Российской империи, хотя по объему почти в два раза превышала размеры Грамоты дворянству, но не предоставляла городскому населению «вольности и преимущества», которыми будут пользоваться дворяне.

Обращают внимание принципиальные различия в самом названии актов. Грамота дворянам предоставляла права и привилегии лицам, в то время как рассматриваемая Грамота имела в виду не горожан, а города, то есть населенные пункты. Объяснялось это прежде всего разнородным в социальном отношении составом городского населения. Именно поэтому Грамота городам в отличие от грамоты дворянам мотивирует ее обнародование не личными качествами горожан, а выгодами, «от устроения городов происходящими». Правители прославили свои имена «созиданием городов, умножением их числа, дая в них безопасное пристанище торгу и рукоделиям».

Городу, а не его населению, разрешалось иметь мучные и пильные мельницы, содержать харчевни и трактиры, иметь клейменые весы, проводить в году одну или две ярмарки и т. д.

Лишь последующие разделы Грамоты городам имеют в виду интересы городских обывателей. В некоторых случаях они определены предшествующим законодательством. К ним относятся освобождение верхушки купечества от подушной

подати и замена ее подоходным налогом, замена рекрутской повинности денежным взносом, наконец, участие в городском самоуправлении, предусмотренном указом 1775 года. Иногда, правда нечасто, права городских обывателей совпадали с правами дворян. Как и дворянам, «градскому обществу» разрешалось представлять губернатору прошения о своих общественных нуждах, иметь дом для собрания общества; мещанин, как и дворянин, передает свое звание по наследству, он волен распоряжаться своим имуществом. «Мещанин без суда да не лишится доброго имени, или жизни, или имения». Как и дворянин, он лишался доброго имени за совершение тех же самых семи преступлений (измена, разбой, воровство, нарушение клятвы и др.).

В каждом городе должна вестись городовая обывательская книга — новшество, согласно которому главным критерием принадлежности к одному из шести разрядов являлось имущественное положение горожанина. В книгу вносились «имя и прозвище всякого гражданина, в том доме или строение, или землю имеющего». Они составляли самую многочисленную часть городских обывателей и назывались мещанами.

Привилегированную группу горожан составляли так называемые именитые граждане, к которым относились купцы, располагавшие капиталом свыше 50 тысяч рублей, богатые банкиры (не менее 100 тысяч рублей), а также городская интеллигенция: архитекторы, живописцы, композиторы, ученые. Именитые граждане освобождались от телесных наказаний, представители третьего поколения именитых граждан могли возбудить ходатайство о присвоении дворянства. К другой привилегированной группе относилось гильдейское купечество. Купцы первых двух гильдий (капитал от 5 до 50 тысяч рублей) освобождались от телесных наказаний, а также казенных служб (продажа вина, соли). Посадских, то есть горожан, не владевших недвижимостью, не заносили в городовую обывательскую книгу.

В Уложенной комиссии 1767–1768 годов депутаты от городов добивались права носить шпагу, то есть дворянской привилегии. Грамота городам отказала в этом купечеству, но все же ввела градацию в средствах передвижения, дававшую возможность по этому признаку определить принадлежность купца к той или иной гильдии: купцу первой гильдии разрешалось ездить в карете, запряженной парой лошадей, купец второй гильдии тоже довольствовался парой, но запряженной в коляску; в коляске с одной лошадью восседал купец третьей гильдии.

Много внимания Грамота городам уделяла цеховому устройству и отношениям между мастерами, подмастерьями и

учениками. Мастера каждой специальности избирали Управу, подмастерья — двух поверенных, представлявших их интересы в Управе.

Грамота определяла права и обязанности каждого из участников цехового строя. Из текста документа следует, что отношения внутри цеха строились на самой гуманной основе, их в полной мере можно назвать идиллическими. Хотя мастер и объявлялся хозяином в доме, но он должен был обходиться с подмастерьями и учениками «справедливо и кротко», проявлять в усвоении навыков человеколюбие, «сходственное с здравым рассудком, без вины не наказывать, не принуждать к излишней работе». В свою очередь подмастерья и ученики обязаны быть «верными, послушными и почтительны к мастеру и его семье». В результате в доме должна устанавливаться «домашняя тишина и согласие» и устранение поводов для обоюдного неудовольствия и жалоб. Грамота регламентировала поведение мастеров и подмастерьев на сходках: «за шум и неистовства» их наказывали штрафом.

Рассмотренные выше законодательные акты навеяны идеями Просвещения, выраженными в отдельных пунктах или главах документов. Последней значительной мерой в политике просвещенного абсолютизма было обнародование в 1786 году Устава о народных училищах.

Этот устав существенно отличается от прочих акций Екатерины — он от первой до последней строки подчинен основе основ просветительской идеологии, безраздельно верившей в благотворное влияние распространения просвещения, за которым последуют все прочие благотворные результаты: исчезнут как нравственные, так и социальные пороки, усовершенствуется человеческая натура, будет положен конец рабству, невежеству, суевериям и т. д.

Открытие народных училищ требовало серьезной предварительной работы. И. И. Бецкой еще в марте 1764 года подал императрице доклад, ею утвержденный, об учреждении воспитательных училищ в Петербурге и во всех губерниях; в столице предполагалось открыть воспитательное училище для двухсот дворянских девиц. Проект был осуществлен лишь частично — в Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц. Такая же относительная неудача постигла и Учреждения о губернии, предлагавшие учредить школы не только во всех городах, но и в крупных селениях «для всех тех, кои добровольно пожелают обучаться в оных». Приказ общественного призрения, на который возлагалось попечение о школах, не располагал надлежащими ресурсами, и поэтому пожелание

осталось на бумаге. Только в 80-е годы началась серьезная подготовка к организации в стране сети учебных заведений. На нее императрица возлагала большие надежды. Своему секретарю А. В. Храповицкому она в 1782 году заявила: «В 60 лет все расколы исчезнут; сколь скоро заведутся народные школы, то невежество истребится само собою, тут насилие не надобно»[177].

Импульс подготовке к реформе дала встреча Екатерины с императором Иосифом II в Могилеве, во время которой разговор зашел о постановке образования в Австрии. «Школы эти, — писала она Гримму в 1780 году, — прекрасные учреждения». В другом письме императрица высказала мысль о намерении использовать австрийский опыт в России: «Никогда не испугают меня образованностью народов; но когда будут они образованы?»[178].

От слов императрица перешла к делу: из Австрии на службу в Россию в 1782 году был по рекомендации Иосифа II приглашен крупный специалист в области организации образования и ученый методист Федор Иванович Янкович. Императрица обратилась к Иосифу II со словами благодарности: «Выбор такого, как он, человека, соединяющего в себе теорию с практикой, не только возбуждает во мне искреннюю признательность к вашему величеству, но и заставляет меня выразить вам, что вы сделали истинное благодеяние училищам моей империи»[179]. В сентябре 1782 года Екатерина учредила специальную комиссию под председательством сенатора Завадовского, в которую вошел и Янкович как главный специалист по сочинению Устава о народных училищах и составлению учебников как оригинальных, так и переведенных с иностранных языков.

Янкович начал с того, с чего должен был начать, — с открытия в 1783 году учительской семинарии и опубликования двух сочинений с изложением требований, предъявляемых к учителю. В «Руководстве учителям первого и второго классов» содержатся рекомендации, актуальные и в наши дни.

Если в упоминавшемся выше докладе Бецкого в центре внимания находилось воспитание учащихся, то в народных школах преимущество отдавалось овладению суммой знаний. Но и в народных училищах проблема нравственного совершенствования не игнорировалась, причем решающая роль принадлежала нравственному облику самого учителя. «Благородное поведение учителя, — сказано в „Руководстве“, — состоит в том, чтоб он умел сделать учеников себе послушными и знал, как с ними беспристрастно и снисходительно поступать… От учеников должен он наперед снискать себе от них уважение, почтение и любовь». На учителя возлагалась роль чадолюбивого

отца, который хвалит прилежных, использует ласковое уговаривание и не отягчает их приказами из пристрастия. «Руководство» призывает учителя к дифференцированному подходу к ученикам, среди которых встречаются способные к учению, а также дети, одаренные хорошей памятью, но слабые «в рассуждении», ученики со слабой памятью и просто тупые, «которые мало понимают и помнят». К каждой катеории детей должен быть особый подход, суть которого состоит в том, чтоб «не поступать с ними сурово и не отнимать у них строгостью охоты к учению».

«Руководство» рекомендует считаться и с правами учеников. Одни из них «веселые и бодрые», другие «болтливые и застенчивые», третьи «ленивые и сопливые», четвертые «упорные, сердитые и ко злобе склонные». «Руководство» в соответствии с просветительской педагогикой запрещало учителю применять телесные наказания: использование ремней, плети, палок, нанесения пощечин и ударов кулаком, а также «драние за волосы, ставление на колени и драние за уши». Ни в коем случае нельзя наказывать за слабоумие, робость, ветреность, неприветливость, за погрешности, происходящие от телесных недостатков и болезней[180].

Просветительскими идеями было начинено другое сочинение, опубликованное, как и первое, по повелению императрицы в том же 1783 году. Его полное название звучит так: «О должностях человека и гражданина, книга для чтения, определенная в народных городских училищах». Нет смысла пересказывать содержание этого пространного переводного сочинения. О том, что оно создавалось не в России, свидетельствует отсутствие в тексте таких понятий, как подушная подать, помещик, рекрутская повинность, доказательства преимуществ для России монархического правления и др. Единственная «привязка» текста к России состоит в упоминании о прививке оспы, сделанной Екатерине в 1768 году.

Сочинение «О должности человека и гражданина» призывало учащегося руководствоваться в повседневной жизни рядом правил, охватывающих все сферы человеческой деятельности: семейную, общественную, духовную, хозяйственную и др. Отсюда многообразие рекомендаций и норм, подлежащих усвоению и обязательных для человека и гражданина. Чтобы «благополучно и безопасно жить», надлежало быть законопослушным, беспрекословно выполнять волю начальника, проявлять верность государю и отечеству, быть крепким в вере. Подданному надлежало воспитывать в себе такие человеческие качества, как дружелюбие, честность, искренность, почтительное отношение к

старшим, рачительность в ведении хозяйства и др. Генеральная мысль наставления сформулирована в разделе о союзе господ и слуг: «Рабы и слуги должны господ своих и домоначальников любить, и притом не по наружному только виду, но искренне и от всего сердца»[181].

В общей сложности усилиями Комиссии о народных училищах, в которой главная роль принадлежала Янкевичу, было подготовлено к изданию свыше 70 книг учебного назначения[182]. Не вдаваясь в подробности содержания учебников, обратим внимание на одно важное обстоятельство, имеющее прямое отношение к нашей теме, — стремление авторов внедрить в сознание учащихся добродетели и искоренить пороки. Достигалась эта цель незатейливым способом — короткими повествованиями из жизни животных и птиц, заканчивавшимися нравоучениями. Приведем несколько примеров из опубликованного в 1786 году «Российского букваря для обучения юношества чтением». В эссе «Медведь и пчелы» рассказано о том, что пчела ужалила медведя. Разозлившийся и обиженный медведь в отместку решил разорить улей, но был так искусан, что почти лишился зрения. Назидание: «1) Не ходи туда, куда не должно, ибо легко может случиться тебе весьма неприятно; 2) Мы должны научиться сносить малые обиды, когда мы хотим вести спокойную жизнь, ибо обыкновенно от мщения несчастие умножается». Другая повесть «Конь и его неблагодарный хозяин» тоже назидательна: конь долгое время служил хозяину, но тот не учел, что к старости лошадь ослабла настолько, что уже не могла таскать тяжести. Хозяин тем не менее нагрузил ее так, что лошадь не могла сдвинуть с места телегу и упала. Хозяин беспрестанно ее бил, и она в конце концов сдохла. Нравоучение: «1) Нет ничего хуже, как предавать забвению старые благодеяния и услуги; 2) Справедливость наблюдающий человек сожаление имеет также и над скотом и старается всегда сделать сносной жизнь его; 3) Разумный человек никогда не бывает распален гневом, ибо во время оного часто делает то, что несправедливо»[183].

«Новый способ или новейшая азбука» в отличие от «Российского букваря» открывается разделом «Правила учтивости»: «Учтивость есть добродетель, которая состоит в знании жить честным и благопристойным образом и воздавать каждому в надлежащее время и в своем месте то, что мы должны особе по ее летам, состоянию и чести». Далее следуют правила поведения: не чесать головы, не кусать губ, «чихать с тихостью», не харкать, не чистить зубы вилкой и т. д. Помещены также нравоучительные басни. Одна из них: у волка застряла в горле

кость. Он попросил журавля вытащить ее, пообещав вознаграждение. Тот так и сделал, после чего спросил обещанную мзду. Волк ответил: «Ты должен быть очень доволен и тем, что я не отъел тебе головы, когда она была в моей глотке».

Нравоучение: «Не надобно сожалеть о том, когда сильные люди за услуги поступают с нами худо; благородный человек старается всеми мерами не иметь никакого дела с злыми людьми, потому что они рано или поздно ему навредят; всякий должен быть доволен, сделавши добро и не печалиться, если будут к нему недовольны»[184]. Лейтмотив нравоучений: терпимость к злу, неблагодарности, необходимость блюсти кротость и скромность.

Итак, обнародованию 5 августа 1786 года «Устава народных училищ» предшествовала известная предварительная подготовка: с 1783 года в столице действовала учительская семинария, проявлялась забота об издании учебников. «Устав» предусматривал организацию главных народных училищ по одному в каждом губернском городе и малых — как в губернских, так и в уездных городах. Срок обучения в первых — четыре года, во вторых — два года. Учащимися могли стать представители всех сословий, в том числе и крепостные, точнее, дети дворовых.

В течение первых двух лет обучали чтению, письму, «христианскому добронравию»; изучался трактат «О должности человека и гражданина». Во втором классе обучали рисованию. В третьем и четвертом классах продолжали совершенствоваться в рисовании, изучали всеобщую историю, географию, землеописание Российского государства, постигали основы геометрии, механики, физики, естественной истории и латинского языка. В каждый класс малого народного училища определялся один учитель, в главном народном училище их должно быть шесть[185].

Открытие главных народных училищ в 25 губерниях намечалось на 22 сентября. Оно должно было сопровождаться торжественной церемонией. В Перми эта церемония выглядела так: утром 22 сентября «достопочтенная публика собралась у дома губернатора, откуда процессия, возглавляемая четырьмя прибывшими в Пермь из Петербурга учителями, за которыми следовали 25 мальчиков „в довольно длинных кафтанах и шляпах“, за ними по два депутата от дворян и от купечества, двинулась к соборной церкви, где была совершена торжественная литургия.» После этого огромная толпа людей под колокольный звон и пушечную пальбу направилась к зданию народного училища, где после молебна, прочтения «Устава народных училищ», а также речей директора и одного из учителей состоялось окропление класса священником, и учащиеся

приступили к занятиям. После их окончания состоялся торжественный обед, салют из пушек и концерт. Со следующего дня началась будничная жизнь училища[186]. Она была не столь радужной, как ее изображали документы, адресованные учителям и ученикам.

Два года спустя после обнародования «Устава народных училищ» была предпринята проверка, которая обнаружила убогое положение новых учебных заведений. В 1789 году в главном народном училище Москвы числилось 346 учеников и только пять учителей. Малые народные училища отсутствовали в большинстве уездов губернии, а там, где они были открыты, не оказалось необходимого числа учителей. Занимавшие учительские должности учителя не отвечали предъявляемым «Руководством к учителю первого и второго классов» элементарным требованиям — духовные семинарии, из выпускников которых комплектовался учительский персонал, стремились освободиться от самых слабых семинаристов. Когда об этом стало известно императрице, она в рескрипте главнокомандующему Москвы Еропкину выразила недовольство по поводу «толь малого успеха в заведении народных школ в Московской столице» и «толь ограниченного числа учеников в школе». Приказ общественного призрения, в ведении которого находились училища, засуетился — в результате в конце года появляются в Москве три и в уездных городах четыре малых училища[187].

Любопытные бытовые подробности первых лет существования народных училищ сообщает автор статьи о постановке образования в Тамбовской губернии в конце XVIII века. Губернатором там был Г. Р. Державин, попечением которого 22 сентября 1786 года в Тамбове было открыто главное народное училище со 106 учениками, а в шести уездных городах — малые народные училища. Родители неохотно отдавали сыновей в школы, и по распоряжению губернатора полиция вылавливала в городах детей школьного возраста и принудительно определяла их в училища. Учителями были определены воспитанники духовных семинарий, не отличавшиеся ни знаниями, ни прилежанием, ни нравственностью, требуемыми «Руководством учителям первого и второго классов».

После отставки Державина школьное дело в губернии разладилось, что явствует из документов о состоянии малого училища в Козлове. Козловские учителя жаловались в Тамбов в 1791 году: «Уже наступил другой месяц, как мы, не имея от магистрата квартиры, живем в классах, чем, весьма много притесняя учеников, препятствуем преподаванию учения. Да и

сами претерпеваем великую тесноту и, не имея средств порядочно расположить домашнее свое содержание, приходим от сего в великое разорение». Городничий Сердюков отправил встречную жалобу: «Часто в должные для учения часы я не заставал козловских учителей в классах, а шатающихся по городу лености ради. В ночное время не знаемо какие люди к ним ходят, и я уже третью квартиру им переменяю единственно по вздорному и развратному житию». Судя по жалобе учителя Якова Половневского, городничий решил усилить контроль за поведением учителей: «Он с наступлением сумерек не велит хозяину выпускать меня со двора, и каждую ночь полицейский унтер-офицер приходит осведомляться — дома ли я. А встретит меня городничий на улице, ругательски ругает».

Не менее колоритной была фигура попечителя училища, назначенного еще Державиным. После отъезда Державина распоясавшийся попечитель кричал, что все училища вредны и их надо закрыть, являлся в классы пьяным, бил палкою учеников, а учителей публично ругал. Его супруга однажды явилась в училище и грозила учителям: «Погодите, вот муж придет, не миновать вам тогда палочья»[188].

Затруднительно сказать, сколь типичной для страны была обстановка, сложившаяся в Козлове, но не подлежит сомнению, что создание сети народных училищ было сопряжено с преодолением немалых трудностей: не хватало не только учителей, но и учебников, школьных зданий и т. д. Тем не менее забота Екатерины о распространении образования заслуживает похвалы. До 1786 года в провинции отсутствовали начальные и средние учебные заведения. К концу же XVIII века в 45 губерниях России действовало 49 главных народных училищ с 7011 учащимися и 239 малых училищ с 15 209 учениками. В общей сложности в стране существовало всего 288 главных и малых народных училищ с 22 220 учениками и 760 учителями. Результат впечатляющий, если учесть, что дело начиналось с нулевой отметки[189].

К последним по времени акциям политики просвещенного абсолютизма относится Устав о повивальных бабках, обнародованный 20 сентября 1789 года. Эта частная акция, быть может, и не заслуживала бы упоминания, если бы она, как и Устав народных училищ, не носила всесословного характера. Пункт третий Устава предписывал повивальной бабке, обслуживающей роженицу убогую или «низкого состояния», не оставлять ее даже в том случае, «ежели в то время потребуется к какой богатой, почетной или знакомке своей ни под каким видом»[190].

Традиционный взгляд на политику просвещенного абсолютизма ограничивается анализом нормативных актов. Литературная и публицистическая деятельность императрицы обычно рассматривается изолированно, вне контекста проводимой ею политики. Мы же считаем необходимым расширить понятие политики просвещенного абсолютизма, включить в нее все те меры, которые предпринимались императрицей и были в конечном счете нацелены на совершенствование человеческой натуры, на борьбу с пороками, которым подвержен род человеческий. Если на Смольный институт возлагались надежды на воспитание новой породы людей путем изменения среды их обитания, где не было места порокам, то меры более позднего времени были направлены на устранение или смягчение пороков у людей уже сформировавшихся, на повышение их нравственного уровня, воспитание таких добродетелей, как патриотизм, милосердие, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, человеколюбие и т. д.

В одном из манифестов, опубликованных вскоре после восшествия на престол, Екатерина с неподражаемой эмоциональной силой изложила пороки подданных, которыми ей предстояло управлять. Она писала: «Мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самим увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство росло, так что едва есть ли малое самое место правительства, в котором божественное сие действие (суд. — Н. П.) без заражения сей язвы отправляется. Ищет ли кто место — платит; защищается ли от клеветы — обороняется деньгами; клевещет ли на кого кто — все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив того, многие судящие освященное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, в торжище превращают, вменяя себе вверенное от нас звание судей бескорыстно и нелицеприятно за пожалованный будто им доход в поправление дома своего, а не во службу приносимую Богу, нам и отечеству и мздоимствам богомерзким претворяет клевету в праведный донос, разорение государственных в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим»[191].

У императрицы было два способа борьбы с перечисленными пороками: один, традиционный, которым широко пользовался Петр Великий, состоял в ужесточении наказаний за мздоимство, казнокрадство и неправосудие. Читая указы Петра, не перестаешь удивляться его изобретательности в применении мер, которые должны были держать нарушителей законов в постоянном страхе: здесь и разнообразных размеров штрафы деньгами и имуществом,

множество физических истязаний, ожидавших провинившихся, ссылка на каторгу в различные районы страны в зависимости от тяжести преступлений, наконец, лишение жизни способами, зависимыми от тяжести преступления.

Идеи просвещенного абсолютизма исключали из своего арсенала подобные средства воздействия на подданных. Основными средствами исправления пороков считались не физические истязания, не нанесение материального ущерба виновному и тем более не лишение его жизни, а меры морального воздействия, призывы к совести, честолюбию и нравственному совершенствованию. Отсюда проистекали и иные средства достижения этих добродетелей: дыба, кнут, штрафы заменялись внушением, печатным словом.

Трудно сказать, какой из двух способов оказался более эффективным — скорее всего, оба они обнаружили несостоятельность в искоренении столетиями существовавших пороков, но императрица уповала на благотворное влияние печатного слова и горячо содействовала возникновению журналов. На это средство надеялись и образованные современники. Фонвизин в «Недоросле», поставленном на сцене в 1782 году, высказывал устами Стародума мысль, которой двадцатью годами ранее была обуреваема императрица: «Они (средства воздействия. — Н. П.) в руках государя. Как скоро все увидят, что без благонравия никто не может выйти в люди; что ни подлой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми — тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет».

Изданием журнала «Всякая всячина» в начале 1769 года императрица положила основание сатирической журналистике. Формально издателем журнала считался секретарь императрицы Г. В. Козицкий, но фактическим руководителем издания и его основным автором была сама Екатерина. В первом же номере «Всякой всячины» она обратилась с призывом к литераторам следовать примеру этого журнала и учреждать новые периодические издания: «Я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя „Всякой всячины“. Я вижу, что за ней последуют законные и незаконные дети». Призыв императрицы был подхвачен — в том же 1769 году было основано семь новых журналов: «И то и сио» М. Д. Чулкова, «Ни то, ни сио в прозе и стихах» Г. В. Рубана, ежедневный листок «Поденынина» В. В. Тузова, журнал «Трутень» Н. И. Новикова, ежемесячник «Адская почта» Ф. А. Эмина и, наконец, «Полезное с приятным», издававшийся Сухопутным кадетским корпусом.

Многие из перечисленных журналов оказались недолговечными и прекратили существование из-за отсутствия читательского спроса («И то и сио», «Ни то, ни сио в прозе и стихах», «Поденьшина»). Жизнеспособными и завоевавшими популярность были «Всякая всячина» и «Трутень».

Затевая «Всякую всячину», Екатерина полагала, что ее журнал будет задавать тон и идейное направление всей журналистике, но ошиблась. Как справедливо заметил Г. В. Плеханов, издатели журналов «считали себя вправе критиковать, между тем как Фелица (Екатерина. — Н. П.) считала их обязанными восторгаться»[192].

Запевалой критической оценки современных порядков выступил «Трутень» Новикова. Уже само название журнала (а под словом «Трутень» подразумевался помещик, живущий чужим трудом) свидетельствовало о социально-политической ориентации его издателя. Именно крепостник помещик становится главной мишенью, в которую были направлены сатирические стрелы «Трутня».

И «Всякая всячина», и «Трутень» готовы были бороться с такими человеческими пороками, как жестокое обращение с крепостными, казнокрадство, мздоимство, но руководствовались разными способами их исправления. Если издательница «Всякой всячины» считала, что положительных результатов можно достичь сатирой, выражавшей «человеколюбие и кротость», то автор «Трутня» выступал за резкое осуждение пороков. Сопоставим две позиции: «Всякая всячина» заявляла, что любовь его к ближнему более простирается на исправление, нежели на снисхождение и человеколюбие, а кто только видит пороки, не имея любви, тот не способен подавать наставление другому. Журнал выступал за добродушную веселую сатиру, за добродушное осмеяние невинных общечеловеческих слабостей, проявление при этом человеколюбия, духа кротости и снисхождения, ибо слабости присущи человеческой природе[193].

«Трутень» придерживался противоположного суждения: «По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным снисходит, им (сказать по-русски) потакает». Сатира «Всякой всячины», по мнению другого журнала, поддерживавшего «Трутень», является лишь «благородным и модным упражнением, которым увеселяются и знатные люди». Так, «Трутень» обличал судей во взяточничестве, в то время как «Всякая всячина» предприняла попытку возвести порок в добродетель и брала под защиту, заявляя, что судьи не являются столь плохими, как полагает «Трутень»: если они иногда и берут взятки, то виноваты в этом взяткодатели, которых «Всякая

всячина» называла «искусителями». Иными словами, Екатерина выступала за «улыбчивую сатиру», более напоминавшую юмор. Сатира императрицы отличалась безликостью, в ней отсутствовали конкретные носители человеческих слабостей, она была обращена к человечеству вообще, в то время как «Трутень» и сменивший его «Живописец» в обобщенном виде называли конкретных носителей этих слабостей, включая и вельмож.

Императрица призывала не ограничиваться обличениями пороков, а «быть любезным нашим увеселением», ставя в пример «твердого блюстителя веры и закона», преданного «сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю и обществу, искреннего друга, верного хранителя тайны данного слова». В этом «Всякая всячина» видела главный способ исправления слабостей человеческих[194].

«Трутень», напротив, придерживался иного взгляда. Он высказал издевательское отношение к поучению некоего «господчика», заявившего в адрес «Трутня»: «Он-де начинает писать сатиры на придворных господ, знатных бояр, дам, судей именитых и на всех… Пишите сатиры на дворян, на мещан, на приказных, на судей, совесть свою продавших, и на всех порочных людей; осмеивайте худые обычаи городских и деревенских жителей; истребляйте закоренелые предрассуждения и угнетайте слабости и пороки, да только не в знатных, тогда в сатирах ваших и соли находить будут больше…»

В советской историографии было принято резко противопоставлять сатиру Новикова сатире Екатерины. Между тем в принципиальных позициях их журналов можно обнаружить и общее — прежде всего, оно состояло в том, что оба редактора не требовали отмены крепостного права и изменения политической системы.

Новиков изобличал жестоких и немилосердных помещиков, которые в лице своего представителя Безрассуда были больны «мнением, что крестьяне не суть человеки», что они, будучи рабами, «для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платением оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора». А вот другая публикация «Трутня» — наставления помещика отправляемому в деревню доверенному лицу: в них включен пункт, повелевающий высечь «нещадно» старосту в присутствии всех крестьян за то, что «запустил оброк в недоимку». В еще большей мере произвол помещика сказался в его распоряжении сначала высечь старосту и только после экзекуции выяснять, почему он отправлял барину ложные донесения, «не истинную правду» о взимании оброка.

Впрочем, Новиков, как и Екатерина, не оспаривал права дворян владеть крепостными. Различие состояло в том, что императрица придерживалась более умеренных, чем Новиков, просветительских взглядов. «Всели человеколюбие в сердца и души помещиков и смягчи страдания крепостных» — таков девиз «Всякой всячины». Вместе с тем «Всякая всячина» ограничивала меру критики, осуждая людей, которые видят пороки всюду, в том числе и там, «где другие, не имев таких, как он побудительных причин, насилу приглядеть могли слабости, и слабости, весьма обыкновенные человечеству». Отсюда призыв к снисходительному отношению к человеческим слабостям, в то время как Новиков призывал к их беспощадному разоблачению. Примечательно в этом плане рассуждение «Трутня»: «Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно они порокам сшили из человеколюбия кафтан; но таких людей человеколюбие прилично назвать пороколюбием».

Во «Всякой всячине» императрица выступала в роли просвещенной монархини. Именно поэтому, на наш взгляд, отсутствуют основания для односторонне негативной оценки ее журналистской деятельности: без «Всякой всячины» не появились бы ни «Трутень», ни «Живописец».

Другой сферой деятельности Екатерины, также имевшей цель повысить нравственный облик подданных, была литература. Заметим, среди монархов, современников императрицы, литература была модным занятием — к писательскому ремеслу оказались причастными Фридрих II и Густав III.

Свои литературные сочинения императрица называла «безделками» и не считала их шедеврами. «Я любила делать опыты во всех родах, — признавалась Екатерина, — но мне кажется, что все написанное мною довольно посредственно, почему, кроме развлечения, я не придавала никакой важности». Думается, Екатерина лукавила, ибо в данном случае она выступала в двух ипостасях — императрицы и писательницы. Хотя Екатерина и заявляла, что не может обойтись ни одного дня без того, чтобы не написать строчки, а Гримму жаловалась: «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть оное в чернила», сочинительством она занималась не ради забавы. В 1784 году в письме к Гримму она назвала три цели своего писательского труда: «Во-первых, потому что это меня забавляет, во-вторых, потому что я желала бы поднять русский народный театр… и в-третьих, потому что не лишне было

хлестнуть духовидцев, которые начинали задирать нос; теперь осмеянные, они опять притихли и попрятались в кусты.

Екатерина оставила довольно обширное литературное наследие: одиннадцать комедий, семь опер, пять былей и небылиц, итого двадцать три сочинения. Если к этому прибавить семь незаконченных произведений (три комедии, две оперы, две были и небылицы), то их общее число достигает тридцати.

Дело историков литературы оценить писательские таланты императрицы или отметить их отсутствие. Мы преследуем более скромную и ограниченную цель — показать идейную направленность ее сочинений и задачу, которую она преследовала, когда бралась за перо, чтобы сочинять не законодательные акты, а комедии и оперы.

Сочинять комедии, оперы и сказки она стала после того, как убедилась в неудаче своих занятий журналистикой, где она не достигла поставленных перед нею целей. Занимаясь сочинительством комедий и опер, императрица изначально имела преимущество, состоявшее в том, что сцена Эрмитажа, равно как и репертуар, находились в ее полном распоряжении, и она не опасалась соперничества более одаренных, чем она, авторов. Видимо, в связи с этим она навсегда утратила интерес к журналистике в пользу опер и комедий.

В литературном творчестве, как и в журналистике, императрица преследовала все ту же цель освобождения человечества от слабостей и пороков. Правда, публицистика способна наносить более разящие удары, нежели комедии и оперы; она более злободневна и способна откликаться на сиюминутные потребности общества, но зато уступает художественной литературе в долговечности[195].

Первую комедию „О время!“ Екатерина сочинила в 1772 году, причем по свидетельству современников, она „много раз была издана и принята публикою с отменным удовольствием и почиталась за лучшую российскую пьесу“[196]. Литературоведами давно доказано, что это произведение не принадлежит к оригинальным, что его сюжет, характеры и поступки действующих лиц Екатерина заимствовала у немецкого драматурга Геллерта, написавшего комедию „Bets schwester“. Императрица изменила имена действующих лиц и приспособила незамысловатый сюжет к русским условиям. Это, однако, не помешало ей в письме к Вольтеру выступить в роли стороннего наблюдателя, высказывавшего в адрес сочинителя ряд критических замечаний и похвал. „У автора, — писала Екатерина 6 октября 1772 года, — много недостатков: он не знает театра, интриги его пьес слабы. Нельзя того же сказать о характерах: они

выдержаны и взяты из природы, которая у него перед глазами. Кроме того, у него есть комические выходки, он заставляет смеяться; мораль его чиста и ему хорошо известен народ“.

Н. И. Новиков высоко оценил комедию. В „Живописце“ он, обращаясь к автору, писал: „Вы первый сочинили комедию в наших нравах, вы первый с таким искусством и остротой заставили слушать едкость сатиры с приятностью и удовольствием; вы первый с такой благородной смелостью напали на пороки, в России господствующие“. Новиков явно переоценил достоинства комедии, вероятно, льстя автору. Это не помешало Екатерине без ложной скромности написать ответ „Живописцу“: „Комедию мою сочинял я, живучи в уединении во время свирепствовавшей язвы (чумы 1771 года. — Н. П.), и при сочинении оной не брал я находящихся в ней умоначертаний ниоткуда, кроме собственной моей семьи, следовательно, не выходя из дома своего, нашел я в нем одном к составлению забавного позорища (зрелища. — Н. П.) довольно обширное поле для искусного пера, а не для такого, каковым я свой почитаю“.

Предмет осмеяния в комедии — жадность, ради которой совершаются непристойные поступки. Главное действующее лицо комедии — Ханжихина — средоточие пороков; она преисполнена ханжества, бесчестности, жадности к деньгам, любит позлословить и посплетничать. У нее внучка на выданье, которую она не учила грамоте, чтобы та не умела писать любовных писем. Внучка не испорчена современными представлениями о нравственности и в то же время глубоко забита и невежественна. За нее сватается молодой человек, против которого враждебно настроена сестра Ханжихиной. Она убеждает Ханжихину не выдавать за него внучку, и та охотно соглашается с ней, ибо это избавляет ее от необходимости тратить деньги на приданое. Жених дает сестре Ханжихиной взятку, чем вынуждает ее резко изменить к нему отношение — сестра уговаривает Ханжихину выдать за него внучку. Комедия завершается благополучной свадьбой.

Новый всплеск литературного творчества императрицы падает на 80-е годы. В это время она проявляла самостоятельность как в выборе сюжета, так и в его художественном воплощении.

В качестве примера приведем комическую оперу „Горе Богатырь Косоматович“. Если в подавляющем большинстве случаев перо императрицы изобличало пороки собственных подданных, то под псевдобогатырем подразумевался шведский король Густав III. Горе-богатырь даже внешне не похож на богатыря: он немощен и тщедушен в такой мере, что ему не

подходил ни один из рыцарских доспехов — все они были для него велики, и он утопал в них. Горе-богатырь не отличался и отвагой: то он спасался бегством от крестьянина, вооруженного кочергой, то взбирался на дерево от страха, заслышав трубный звук охотников на медведя. Возвратившись домой, горе-богатырь стал хвастать не совершенными им подвигами, своей доблестью. Суть комедийной оперы заложена в исполняемых хором словах, которыми завершается представление:

Пословица сбылась:
Синица поднялась,
Вспорхнула, полетела
И море зажигать хотела,
Но море не зажгла.
А шуму сделала довольно[197].

Особый цикл сочинений Екатерины составляют „Были и небылицы“ — небольшие эссе нравоучительного содержания, высмеивающие человеческие недостатки героев: то отличавшегося непостоянством мнений соседа, который „ропщет противу меня заочно, а в глаза мне льстит“ и способен придерживаться какого-либо мнения не более часа, после чего меняет его на другое; то лгуна, столь часто повторявшего свою ложь, что в конце концов убеждал в истинности рассказываемого; одна из былей и небылиц знакомит читателя с родственником, вторгшимся в доверие к покровителю и через него познакомившимся с вельможами, от которых узнавал разные новости и с важным видом рассказывал их знакомым, выдавая себя за человека влиятельного, осведомленного, пользующегося доверием знатных людей. Императрица пародировала дедушку, изъяснявшегося непонятно для окружающих. На замечания он оправдывался: „Я сам себя разумею, вы старайтесь понимать, что я говорю“[198].

На исходе своего царствования — в 80–90-е годы — Екатерина проявила особый интерес к истории России. В отличие от Грозного или Петра Великого этот интерес проявлялся не столько в стремлении прославить свое правление, сколько во включении исторических знаний в арсенал проводимой ею политики просвещенного абсолютизма. В годы царствования императрицы историческим знаниям придавалось утилитарное значение: ими надобно было овладевать, чтобы извлекать уроки — избегать ошибок прошлого и использовать опыт давнего времени для подражания ему с целью достижения положительных результатов. Именно поэтому основатель исторической науки в России В. Н. Татищев утверждал, что без знания истории „никакое человек, ни един стан, промысел, наука совершен, мудр

и полезен не может“. Татищеву вторил М. В. Ломоносов, который видел назначение истории в практической пользе, извлекаемой из ее знания всеми категориями населения. История, писал он, „дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому незлобивому — увеселение, с несказанною пользою соединенное“[199].

Исторические знания в представлении императрицы являлись элементом просвещения народа, поэтому именно в ее царствование было положено начало их распространению путем опубликования исторических сочинений и исторических источников. До Екатерины источники не печатались, а труды являлись достоянием их авторов и узкого круга знакомых. Напомним, екатерининскому царствованию историческая наука обязана опубликованием исторических сочинений В. Н. Татищева, А. И. Манкиева, М. М. Щербатова, М. В. Ломоносова, Г. Ф. Миллера, И. И. Голикова. Н. И. Новиков внес бесценный вклад в отечественную историческую науку изданием источников 20-томной „Древней Российской вивлиофики“, а М. Д. Чулков — 21-томной „Историей Российской коммерции“. „Журнал или Поденную записку императора Петра Великого“ М. М. Щербатов тоже опубликовал при Екатерине.

Первое историческое сочинение Екатерина напечатала в 1770 году. Строго говоря, оно скорее относится к историко-публицистическому жанру и носит остро-полемический характер, освещая не столько отдаленное прошлое страны, сколько ее настоящее. Речь идет о появившемся в печати анонимном сочинении под названием „Антидот“ („Противоядие“) — разборе книги аббата Шаппа д’Отероша, побывавшего в Сибири в 1761 году с целью астрономического наблюдения за прохождением Венеры через диск солнца. Аббат Шапп прибыл в Петербург в феврале 1761 года, получил от русского правительства вспоможение в 1000 рублей, четыре подводы, одного унтер-офицера для сопровождения и отправился в Тобольск, где удобнее всего было наблюдать редкое в природе явление.

Шапп пробыл в России около года и в 1768 году опубликовал в Париже роскошную книгу на превосходной бумаге и с великолепными иллюстрациями — „Путешествие в Сибирь“.

Надо было обладать огромной отвагой, граничившей с непомерной наглостью, чтобы, не зная языка, за несколько месяцев пребывания в стране написать пространное сочинение, освещавшее практически все стороны жизни страны и ее населения: природные условия, политический строй, занятия

населения, вероисповедание, состояние вооруженных сил, финансов, просвещения, быта и нравов жителей и даже совершать иногда экскурсы в события вековой и более давности. Совершенно очевидно, что даже при добросовестном отношении к делу, неистребимом желании изучить все многообразие жизни страны и особенности населяющего ее народа правдиво описать все это за столь короткое время невозможно. И действительно, сочинение аббата наполнено множеством ошибочных утверждений, вымыслов и домыслов, искажений, причем все они преследуют четко выраженную враждебную России цель — изобразить страну варварской, а ее народ диким, награжденным всеми пороками, чуждыми цивилизованным людям. Хотя автор положительно отозвался о Екатерине, тогда еще не императрице, а великой княгине (назвав ее гениальной личностью, в своем уединении занимавшейся изучением людей и искусства управления, посвящавшей свободные часы наукам, искусствам и словесности»)[200], у нее было несколько поводов взяться за перо и откликнуться на клеветническое сочинение аббата. Главный из них состоял в том, что она воспринимала враждебное отношение Шаппа к русскому народу на свой счет, ибо справедливо полагала, что изображение им русского народа как беспросветно темного, безнравственного, пристрастного к пьянству наносит ущерб ее репутации просвещенной монархини, которой она пользовалась на Западе.

Не меньшее значение имели безнравственность и неблагодарность аббата, ответившего на русскую гостеприимность выступлением, по словам императрицы, «против народа, который осыпал вас (Шаппа. — Н. П.) предупредительностью и вниманием»[201].

Каков был эффект «Антидота»? Удалось ли императрице убедить западноевропейского читателя в тенденциозности автора «Путешествия в Сибирь»? Пожалуй, что на поставленный вопрос следует ответить отрицательно. Причин неудачи императрицы было несколько.

Одна из них, едва ли не главная, состояла в неумении автора «Антидота» отделять главное от второстепенного, различать принципиальные ошибки аббата и мелочи, которые для иностранного читателя не имели никакого значения.

Смешение главного и второстепенного обременяло текст ненужными подробностями, в результате чего «ударные» доводы оппонента терялись, утопали во множестве лишних деталей. Автор «Антидота» не оставил без опровержения ни одной, даже малейшей неточности. Так, аббат писал, что когда реки замерзают, то лед на них гладок; Екатерина поправляет: лед

бывает «один год шероховат, другой — гладок»; аббат утверждает, что готовят пироги только со снетками; императрица опровергает его: используются и другие породы рыбы; аббат путает дни, когда монахи должны поститься; Екатерина тут же его поправляет[202].

Не осталась без внимания и транскрипция написания автором «Путешествия в Сибирь» имен собственных. Екатерина упрекает аббата за то, что тот вместо «Стрешнев» писал «Стрешне», вместо «Черкасский» — «Черкавизей», вместо «Ермак» — «Тремак» и т. п.

Императрица права, заявляя, что путешественник наблюдал Россию «на скаку», «скача на перекладных». Права она и в том, что аббат все увиденное и услышанное изображает во враждебном русским духе. Можно понять заявление автора «Антидота»: «Я имею честь быть русским и горжусь этим. Я буду защищать свое отечество словом, пером и мечем, пока у меня хватит жизни; я буду слишком счастлив, если мне удастся быть ей полезным». Но, к сожалению, автор «Антидота» столь же предвзято относится к автору «Путешествия в Сибирь», как последний предвзято относится к русскому народу: оба они прибегают к декларативным утверждениям, не подкрепленным убедительными доказательствами: источниками, фактами и т. д. Несколько примеров.

Аббат писал: «Женщины не знают других удовольствий, кроме чувственных». Возражение «Антидота» сформулировано столь же бездоказательно: «Мужчины и женщины у нас созданы точно так же, как и весь остальной человеческий род». Шапп писал: «Этот народ, всегда порабощенный, не был связан со своим государем ни законами, ни любовью». Доказательств не приводит. Императрица утверждает противоположное, но тоже без доказательств: «Нет в Европе народа, который ’ б более любил своего государя, был бы искренне к нему привязан». Шапп голословно утверждал: «Русские крестьяне питаются весьма плохо, вследствие чего предаются лени на своих печах, и живут на них в разврате и пьянстве». Екатерина столь же голословно заявила: «Нет простого народа, который питался бы лучше, чем русский».

В некоторых случаях императрица настолько увлекалась опровержениями, что сама допускала передержки и существенные неточности. Шапп, например, утверждал, что «человек в России есть товар, часто продаваемый по ничтожной цене». Вопреки истине императрица взялась оспорить этот факт и категорически заявила: «Ничего подобного нет»[203]. Общеизвестен произвол местной администрации, особенно в далекой Сибири. Шапп

писал, что «правда редко доходит до престола; вообще губернаторам легко злоупотреблять своею властью, что они почти всегда и делают». Императрица неуклюже возразила: губернаторы имеют много власти для того, чтобы делать добро, «а что касается до зла, то на сей предмет крылья у них коротко обрезаны».

Глава VII. Венценосная путешественница

Екатерина II была второй коронованной особой после Петра I, совершавшей поездки по стране. Однако путешествия императора и императрицы существенно отличались друг от друга. Петр исколесил почти всю Европейскую Россию с севера на юг и с запада на восток — трудно назвать более или менее значительный город, в который бы не ступала нога царя. Архангельск и Астрахань, Вологда и Воронеж, Казань и Смоленск, Киев и Полтава, Азов и Тула, Старая Русса и Нижний Новгород — вот далеко не полный перечень крупных городов, которые довелось посетить Петру. Его поездки были вызваны прежде всего военными надобностями: Петр-путешественник выступал в роли Петра-полководца: под стены Азова он вел войска, чтобы овладеть турецкой крепостью и начать борьбу с Османской империей за выход к южным морям; под Нарву он отправился во главе войск, чтобы отвоевать захваченное шведами побережье Финского залива; под Полтавой царь возглавил войска, разгромившие шведскую армию Карла XII; в 1711 году он отправился в злополучный поход к реке Прут; наконец, в 1722 году совершил Каспийский поход с целью завоевания иранских владений.

Петр был частым гостем столиц западноевропейских государств, причем навещал их не в качестве туриста, а стремясь обрести союзников в борьбе со своими противниками. Его принимали в Амстердаме и Лондоне, Варшаве и Берлине, Париже и Вене. Отправлялся он за границу и с целями, не связанными ни с войной, ни с дипломатией: несколько раз он лечился в Карлсбаде и один раз в Спа. Впрочем, болезнь вынуждала царя пользоваться минеральными водами и внутри страны: четырежды он побывал на первом в России курорте, им открытом, — на Марциальных водах, что близ Петрозаводска, и на Угодских заводах, в 90 верстах от Тулы.

В поездках Екатерины можно обнаружить множество отличий. Во-первых, немка Екатерина, прибыв в Россию в 1744 году, лишь единожды покинула ее пределы; свои поездки она ограничивала периферией Европейской России. Отчасти домоседство императрицы объяснялось изменением статуса России: Петр отправлялся за рубеж в пору, когда страна переживала тяжкое время превращения в великую державу; Екатерина занимала трон в десятилетия, когда за Россией уже прочно закрепилась репутация великой державы. Петр отправлялся за границу с протянутой рукой; теперь с протянутой рукой Россию навещали шведский король Густав III, австрийский

император Иосиф II, принцы обанкротившейся французской династии. Но не следует сбрасывать со счетов и опасение императрицы лишиться короны в результате дворцового переворота, совершенного во время ее пребывания за границей.

Второе существенное отличие в путешествиях Петра и Екатерины состояло в том, что первый совершал их налегке, без многочисленной свиты, далеко не в царских экипажах; даже в многочисленном по составу великом посольстве с громоздким обозом Петр ехал инкогнито и пытался затеряться в толпе волонтеров, отправленных за рубеж овладевать корабельным мастерством. Императрицу же подобная непритязательность к быту не устраивала, и она чем дальше, тем в большей степени обставляла свои поездки по стране пышными церемониями и максимумом бытовых удобств того времени: она ездила в сопровождении вельмож, послов иностранных государств и сотен людей обслуживающего персонала. Путешествиям императрицы сопутствовали торжественные приемы, балы, маскарады, фейерверки, подчеркивавшие не простоту монарха, как это было свойственно Петру, а величие царствующей особы.

Однако главное отличие состояло в целях путешествий: Петра звала в путь неотложная необходимость, императрица отправлялась в путешествие по собственной инициативе. На роль полководца она, естественно, не претендовала, и цель поездок вытекала из ее представлений об обязанностях просвещенного монарха, ради достижения блага подданных стремившегося познать их жизнь и нужды, чтобы эти знания использовать в управлении страной.

Подобные сведения императрица не могла добыть, глядя из окон Зимнего дворца или из окна кареты, доставлявшей ее из Петербурга в Царское Село, а тем более читая донесения местной администрации, в которых описывалось полное благополучие на подвластной им территории. Надобно было убедиться в их достоверности. Приходится согласиться с мнением императрицы, что она расставалась с налаженным бытом во дворцах не ради праздного любопытства, а с познавательными, утилитарными целями. «…Я путешествую не для того, чтобы осматривать местности, но чтобы видеть людей», — как-то сказала Екатерина Сегюру[204].

Это утверждение, справедливое в своей основе, нуждается, однако, в коррективах. Одна из них состоит в том, что местные власти стремились показать императрице не подлинную картину быта провинции, не задворки, а фасад, создать иллюзию благополучия.

Поездки Екатерины напоминали триумфальные шествия,

лишь изредка омрачаемые явлениями негативного плана. Поэтому путешествия являлись, помимо всего прочего, средством укрепления престижа императрицы, поводом для выражения населением верноподданнических чувств и благодарности за ею содеянное. Путешествия, кроме того, открывали широкие возможности для проявления императрицей качеств, свойственных просвещенному монарху: человеколюбия, милосердия, благотворительности и т. д.

За время своего 34-летнего царствования Екатерина совершила семь путешествий (не считая поездок в Москву): в 1763, 1764, 1767, 1780, 1783, 1785 и 1787 годах. Все они отличались друг от друга и направлением, и протяженностью, и временем, проведенным в пути, и целями. И еще одно различие — путешествия эти далеко не с одинаковой обстоятельностью освещены источниками: относительно некоторых из них историк лишен возможности сообщить подробности встреч коронованной путешественницы, ее дорожные впечатления и т. д.

Первое путешествие Екатерина II совершила в 1763 году в Ростов. Это путешествие преследовало не столько познавательные, сколько политические цели. Оно было совершено в канун двух событий церковного характера: секуляризации владений, принадлежавших монастырям и епархиям, а также начавшейся борьбы с противником этой правительственной меры — ростовским архиепископом Арсением Мацеевичем. Поездка была приурочена к освящению раки святого Димитрия Ростовского.

Императрица, готовя неприятный сюрприз духовенству, решила лишний раз показать свою приверженность к православию, почитанию его святынь, свое благочиние и тем самым в какой-то мере обезоружить как Мацеевича, так и его сторонников, втайне не разделявших ее намерений лишить белое и черное духовенство их земельных владений.

Екатерина выехала из Москвы в мае 1763 года. Эта первая поездка запомнилась ей стечением неблагоприятных обстоятельств. Прежде всего, она опасалась, что мощи святого Димитрия стараниями главы епархии Арсения, могут быть перенесены еще до ее приезда. К тому же испортилась погода. Из Переславля-Залесского императрица писала Н. И. Панину: «Ветры, холод и непрестанные дожди с происходящею от того грязью отнимают от нас удовольствие, которое б мы могли при хорошем времени в пути иметь». Переелавль оставил неприятное воспоминание еще одним бытовым неудобством, о котором путешественница сообщила генерал-прокурору А. И. Глебову: «Я получила все ваши посылки, и надеюсь последние доклады скоро

к вам возвращать. Ненастье и скука в Переславле равны; дом, в котором я живу, очень велик и хорош и наполнен тараканами»[205].

Из письма к Панину явствует, что во время путешествия Екатерина занималась делами. Одно из них — дело Хитрово, о котором подробнее рассказано выше, не доставило ей радости; оно свидетельствовало о недовольстве в придворной среде слухами о ее намерении скрепить отношения с фаворитом Григорием Орловым брачными узами, а также о ропоте некоторых участников переворота, обойденных наградами. Большой опасности эти разговоры не представляли, но они отвлекали императрицу от вмешательства в дела администрации Ростова, Ярославля и других городов. Кстати, Ярославль, явившийся последним пунктом путешествия, оставил у императрицы благоприятное впечатление: «Город Ярославль всем весьма нравится, и я почитаю его третьим городом из тех, которые я видела в России»[206].

В следующем 1764 году императрица выразила желание познакомиться с западными провинциями империи — Прибалтикой. Из Петербурга она выехала 20 июня, причем эта поездка, как и первая, омрачилась взволновавшими ее тревожными известиями из столицы.

Прибалтийские города радушно встречали императрицу. В Нарве ей довелось выслушать приветственные речи, произнесенные от эстляндского рыцарства и нарвекого бургомистра, а в Ревеле в ее честь были сооружены триумфальные ворота с ласкавшей глаз надписью: «Екатерине II, матери Отечества, несравненной». Императрица не удержалась поделиться своей радостью с главнокомандующим в Петербурге И. И. Неплюевым: «Здесь весьма мне рады и не знают, что затеять, чтоб показать свое удовольствие. Я звана к рыцарству, а другой день к мещанству, и все поистине с великим усердием».

В Ревеле путешественница провела несколько дней, а затем отправилась осматривать Балтийский порт (Рогервик). Путь оказался утомительным — колеса кареты погружались в песок, и 40 верст пришлось преодолевать шагом при изнурительной жаре. Свое раздражение императрица выразила словами: «Уже скучно становища так долго таскаться в дороге».

О путевых невзгодах можно было бы позабыть в Риге, где императрице вновь оказали торжественную встречу, если бы не одно обстоятельство, основательно ее потрясшее. Н. И. Панин прислал ей сообщение о трагедии, разыгравшейся в Шлиссельбурге, где в ночь на 5 июля при попытке освобождения из заточения был убит законный претендент на престол Иоанн

Антонович.

Это известие, надо полагать, вызвало у императрицы два противоположных чувства: чувство радости — навечно исчез главный и последний претендент на трон, но радость, глубоко скрываемую от посторонних, омрачало и подавляло чувство страха, уверенность (как позже выяснилось, необоснованная) в том, что Мирович действовал не один, что в заговоре участвовало множество офицеров.

Казалось бы, императрица, получив тревожное известие, должна была немедленно мчаться в столицу, чтобы предотвратить грозившую беду. Екатерина, однако, проявила свойственную ей железную выдержку — она мобилизовала волю, продолжала расточать улыбки, выслушивать приветственные речи, выражать полное спокойствие. В ответе Панину, от которого Екатерина не скрывала одолевавших ее страхов и сомнений, она писала: «Искра кроется в пепле, то не в Шлиссельбурге, но в Петербурге»[207].

Новое донесение Панина, полученное Екатериной 11 июля, казалось, должно было внести некоторое успокоение: Панин извещал, что Мирович на первом же допросе признался в отсутствии у него сообщников, что он действовал в одиночку, на свой страх и риск. Но это сообщение не развеяло полностью страхов и сомнений императрицы. Сколь глубоко они засели в ее голове, явствует из вопросов, которые надлежало выяснить Панину. «Написано в допросе, — писала она, — что окроме маленьких шлюпок впускать злодей не велел, что подает причину думать, будто он сикурса ждал. Брата утопшего Ушакова также допросить надобно, не ведал ли он братниных мыслей. Еще упоминается в артиллерийском рапорте о канцеляристе, который приказывал пушку с зарядами везти, о чем в расспросах не упомянуто».

И все же события в Шлиссельбурге вынудили императрицу несколько сократить время пребывания в Риге, покинуть столицу Лифляндии раньше намеченного срока. «Я ныне более спешу, — уведомляла она Панина, — как прежде возможно возвратиться в Петербург, дабы сие дело скорее докончать и тем дальних дурацких разглашений пресечь». Из Риги она выехала 15 июля, а в Петербург прибыла 18-го.

Как явствует из писем императрицы, вторая половина ее путешествия в прибалтийские губернии была скомкана, интерес к делу Мировича затмил все остальное, и дорожные впечатления исчезли из корреспонденций Екатерины.

Путешествие по Волге в 1767 году отличается от предшествующих прежде всего тем, что его не омрачали

привходящие обстоятельства и ничто не отвлекало императрицу от решения задач, ради которых она садилась в карету. Это путешествие совершалось до обнародования «Наказа» Уложенной комиссии и накануне созыва последней — именно в это время Екатерина находилась под наибольшим влиянием идей Просвещения, и ей предоставлялись широкие возможности проявить «матерное милосердие» и заслужить репутацию государыни, пекущейся о благе подданных, в число которых включалось не только столичное дворянство, но и широкие круги населения, жившего в глубинке.

Путешествие по Волге отличалось от предшествующих как продолжительностью, так и протяженностью пути: оно заняло время со 2 мая по 16 июня, то есть продолжалось полтора месяца, в течение которых было преодолено 1410 верст.

Поездка Екатерины была обставлена гораздо более пышными церемониями, нежели ее предшествующие путешествия, — сопровождать императрицу впервые были приглашены иностранные дипломаты, и это обстоятельство, с одной стороны, повышало престиж путешествия и самой коронованной путешественницы, а с другой — придавало мероприятию развлекательный характер.

Утром 28 апреля 1767 года во время выезда из старой столицы императрицу провожала «вся Москва». Вечером следующего дня кортеж карет прибыл в Тверь, где императрице предоставилась первая возможность проявить благотворительность: в мае 1763 года почти весь город выгорел. В этой связи Екатерина писала генерал-прокурору А. И. Глебову: «С крайним сожалением усмотрела я разорение по воли Божией города Твери. Старайтесь о вспоможении сим несчастным людям. Я думаю, что многим не печально, что дела почти все сгорели»[208]. В результате погорельцам была оказана существенная помощь[209]. Екатерина обстоятельно осмотрела застройку города и осталась довольна вновь воздвигнутыми зданиями.

2 мая императрица отправилась в путь по Волге. О размахе путешествия можно судить по тому, что караван состоял из 25 судов, сооружение которых началось в Твери еще в 1766 году, а число лиц, сопровождавших путешественницу, по ее словам, достигло «близко двух тысяч человек». Самую многочисленную группу участников похода составляли гребцы. Хотя флотилия двигалась по течению, для ускорения использовались весла, однажды даже подняли паруса, а в другой раз воспользовались бечевой. Среди обслуживающего персонала находились доктор и лекарь, фрейлины, повара, на четырех галерах везли съестные

припасы и утварь для приготовления еды. Свиту императрицы составили вельможи: графы Иван и Захар Григорьевичи Чернышовы, Александр Ильич Бибиков, Дмитрий Васильевич Волков, граф Александр Петрович Шувалов, а также братья Орловы во главе с фаворитом Григорием. Императрицу, кроме того, сопровождали иностранные послы: испанский, австрийский, датский, прусский и саксонский.

Флотилия отчалила из Твери 2 мая, а в конечный пункт путешествия, Симбирск, прибыла 5 июля. На пути лежали значительные города и монастыри, в которых императрица проводила от нескольких часов до нескольких дней: Калязин монастырь, Углич, Рыбная слобода, Ярославль, Ипатьевский монастырь, Кострома, Нижний Новгород, Макарьевский монастырь, Чебоксары, Казань, Симбирск. В Ярославле Екатерина провела четыре дня, в Казани и того больше — пять дней. Остальным городам путешественница отдала по нескольку часов — она сходила на берег для осмотра достопримечательностей и бесед с представителями местных властей. Так, в Калязине монастыре она провела менее двух часов, столько же в Угличе и Рыбной слободе. Когда приходило время обеда, флотилия бросала якорь у какой-либо безвестной деревни.

Никто из участников путешествия не вел дневник, поэтому о путешествии мы знаем лишь из писем самой императрицы, делившейся впечатлениями от посещения городов с корреспондентами, а также из «экстракта из журнала плавания», регистрировавшего продвижение флотилии и продолжительность остановок в населенных пунктах. Поэтому затруднительно в полном объеме осветить распорядительную деятельность императрицы, ее повеления местным властям.

Екатерине впервые довелось увидеть могучую Волгу, которая произвела на нее неизгладимое впечатление. Из Калязина она писала: «Час от часу берега Волги становятся лучше. Вчера мы Кимру проехали, которая издали не уступает Петергофу, а вблизи уже все не то». В письме М. И. Воронцову из-под Ярославля: «Волга не в пример лучше Невы»[210].

В Ярославле императрица оказалась в гуще местных страстей: в городе разгорелось ожесточенное соперничество, переросшее во вражду между богатеями-купцами, заседавшими в магистрате, и притесняемыми ими купцами среднего достатка и купеческой мелкотой. Богатеи, видимо, признавая свою вину, в канун приезда императрицы пошли на попятную и подали ей совместную со всеми купцами челобитную, в которой признали, что ссора и междоусобия «угрожают нашему городу совершенным разорением». На общем собрании купцы пришли к соглашению:

первостатейное купечество обязывалось уплатить недоимку, числившуюся на всем купечестве города в сумме 10 тысяч рублей, а также возместить канцелярские расходы, накопившиеся во время разбирательства дела.

Примирение все же не спасло ярославского воеводу Кочетова от гнева императрицы — она велела Сенату заменить его, так как он «по нерасторопности своей должность свою исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством».

Одновременно с улаживанием конфликта между купцами Екатерина осматривала фабрики Холщевникова, Колесова и других ярославских промышленников. Она обратила внимание и на внешность ярославских женщин: «Ярославки лицом хороши, а тальею и одеянием на tappenmonde похожи» (то есть оставили дурное впечатление).

Перечисленные заботы не поглощали всей энергии императрицы, и она 10 мая писала Н. И. Панину: «Изволь-ка прислать дела, я весьма праздно живу».

Впечатляющим оказался прием путешественницы костромским дворянством, вызвавший слезы умиления у некоторых сентиментальных спутников. 15 мая Екатерина писала Панину из Костромы: «Завтра поеду отселе, а иноплеменников (иностранных дипломатов. — Н. П.) отпущу в Москве. Они вам скажут, как я здесь принята была. Я их всех не единожды видела в слезах от народной радости, а И. Г. Чернышев весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения»[211].

Нижний Новгород произвел дурное впечатление: «Сей город ситуацией прекрасен, а строением мерзок. Чебоксары для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Бросилась в глаза бедность нижегородского купечества. Пребывание в городе императрицы ознаменовалось созданием компании из местных купцов.

Удручающее впечатление оставило нижегородское духовенство, в положение которого императрица пыталась внести существенные изменения. «Во всем здешнем духовенстве, — писала она митрополиту Дмитрию Сеченову, — примечается дух гонения. Сия же епархия, кажется, весьма достойна особливого примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число иноверных и раскольников; итак, кажется, нужнее всего здесь иметь священство, просвещенное учением, нрава кроткого и доброго жития, кои бы тихостию и бескорыстностью добронравного учения подкрепляли во всяком случае Евангельское слово». В рассуждениях Екатерины четко выражена идея свободы вероисповедания и отказ от насильственного

превращения иноверцев в православных. Императрица сочла необходимым обратить внимание митрополита на частный казус: в Федоровском монастыре «игумен так стар, что насилу служить может и что монахи так мало его почитают, что громко с бранью наставляли как ему служить, что и действительно он худо знал»[212].

Казань, куда караван прибыл 26 мая, понравилась: «Мы нашли город, который всячески может слыть столицею большого царства; прием мне отменный; …четвертую неделю видим везде равную радость, а здесь еще отличнее. Если б дозволили, они себя вместо ковра постлали, и в одном месте по дороге свечи давали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали… Здесь триумфальные ворота такие, как я еще лучше не видала». Восторженный прием в Казани соответствовал тщеславным вкусам императрицы — в который раз она не могла сдержать себя от упоминания в письмах о восторженных приемах ее подданными, о том, сколько любви и преданности они ей выражали. Вместе с тем личные наблюдения позволили ей сделать вывод о несовершенстве существующих законов, которые не защищали народ и его имущество от произвола.

Любознательность, проявленная в Казани, в высшей мере расстроила императрицу: она отправилась осматривать развалины древнего города Болгар и обнаружила невежество и вандализм местного духовенства. Причины раздражения императрица изложила в письме к Панину: «Все, что тут ни осталось, построено из плиты очень хорошей. Сему один гонитель, казанский архиерей Лука при покойной императрице Елизавете Петровне позавидовал и много разломал, а из иного построил церковь… хотя Петра I указ есть, чтоб не вредить и не ломать сию древность».

1 июня флотилия оставила Казань, а 5-го прибыла в конечный пункт путешествия, Симбирск, принесший императрице разочарование: «Город самый скаредный и все домы, кроме того, в котором я стою, в конфискации, и так мой город у меня же… Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтоб деньги были возвращены, домы по пустому не сгнились и люди не приведены были вовсе в истребление…» Удалось ли «сыскать способы» освободить симбирцев от конфискации, нам неизвестно.

Общее впечатление о материальном положении населения вдоль Волги самое благоприятное: «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят и никто не жалуется и нужду не терпит. Хлеб всякого рода здесь так хорош, как еще не видали, по лесам везде вишни и розаны дикие (шиповник. — Н. П.), а леса иного нет, как дуб и липа; земля

такая черная, как в других местах в садах и на грядах не видят. Одним словом, сии люди Богом избалованы, я отроду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, что себе представить можешь, и я не знаю, в чем бы они имели нужду: все есть и все дешево».

Письмо, как видим, содержит противоречия: вначале Екатерина пишет, что «цены везде высокие», а заканчивает словами: «все есть и все дешево». И все же можно согласиться с заявлением императрицы о более высоком, чем в других районах страны, материальном достатке населения. Объясняется это не только плодородием почвы, но и дополнительными ресурсами, которые давала населению Волга: рыбные богатства реки, а также заработки отходников при транспортировке грузов по реке существенно влияли на доходную часть семейного бюджета.

Во время своего путешествия на Волгу Екатерина, недавно опубликовавшая свой «Наказ», находилась под сильным впечатлением идей, изложенных в сочинениях просветителей, которые она тщательно изучала. Подогрело интерес к этим идеям полученное в Твери сочинение Мармонтеля «Велизарий». Прочитав «Велизария», Екатерина отправила автору письмо с выражением восторга по поводу сочинения, которое, по ее словам, укрепило «меня в убеждении, что истинная слава заключается единственно в началах, проповедываемых Велизарием (старцем, умудренным политическим опытом. — Н. П.), столь же приятно, как и основательно».

Идеи Мармонтеля импонировали императрице прежде всего потому, что тот, устами Велизария, восхвалял монархию. Екатерина разделяла его мысль о монархе, главной заботой которого является общее благо подданных, равно как и о том, что государь не должен окружать себя людьми, советы которых вооружали бы его против собственного народа, чем могли вызвать «жалобы и роптания» этого народа. «Трудно государю, — рассуждал Велизарий, — среди своекорыстных советов, подавать которые всегда много охотников, трудно остаться верным идеалам добра, трудно, но возможно».

В письме к Мармонтелю Екатерина высказала мысль о необходимости «перевести его сочинение на все языки» и тут же решила перевести его на русский и для ускорения работы поручила переводить каждую из глав одному из сопровождавших ее вельмож. Ей самой достался перевод девятой главы «Велизария».

В письме к Вольтеру, отправленному из Казани 29 мая, Екатерина извещала корреспондента о завершении работы над переводом и заверяла, что «он немедленно будет печататься».

Публикация сочинения по неизвестным причинам задержалась, и оно было напечатано только в 1768 году и несколько раз переиздавалось[213].

Из Симбирска в Москву Екатерина отправилась сухим путем. В письме Панину из Мурома от 12 июня она поделилась впечатлениями от увиденного: «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что приметили дорогою. Где чернозем и лучшие произращения, как то Симбирская провинция и половина Алатырской, там люди ленивы и верст по 15 пусты; не населены и земли не разработаны. От Алатыря до Арзамаса и от сего места до Муромских лесов земли час от часу хуже, селения чаще и ни пяди земли нет, коя не была бы разработана, и хлеб лучше, нежели в первых сих местах… и нигде голоду нет»[214]. Эти впечатления, разумеется, поверхностны, ибо Екатерина писала о том, что видела из окна мчавшейся в Москву кареты.

Подводя итоги путешествия, надо отметить одно из главных отличий его от предшествующих — Екатерина впервые активно использовала власть для вмешательства в дела местной администрации. Вместе с тем вызывает удивление парадоксальный факт: поклонница Мармонтеля оставила без внимания многочисленные жалобы крестьян на притеснения помещиков.

Информируя Сенат о результатах своего путешествия, императрица сообщила, что в пути на ее имя было подано 600 челобитных. С гордостью она констатировала, что ни в одной из них не содержалось жалоб на действия местных властей: воевод и судей. Из этого она сделала ложный вывод о четкой работе правительственного механизма, об отсутствии мздоимства, неправосудия и злоупотребления властью. Но скорее всего, это был результат активного противодействия местной администрации попыткам подать жалобы на нее.

На что жаловались челобитчики? Большинство челобитных исходило от помещичьих крестьян, жаловавшихся на бремя повинностей, налагаемых на них владельцами, на их жестокость. Пахотные солдаты и новокрещены жаловались на захваты их земель соседними помещиками.

Жалобы остались без последствий — по указу Сената, принятому, разумеется, не без ведома императрицы, они были возвращены челобитчикам с предупреждением, чтобы впредь подобные челобитные не подавались[215]. Однако вследствие того, что жалобы продолжали поступать из других губерний, 22 августа 1767 года последовал сенатский указ, подтвердивший установленный еще Уложением 1649 года запрет крестьянам жаловаться на своих помещиков. Указ повелевал, чтобы крестьяне

«имели бы к помещикам своим должное повиновение и беспрекословное во всем послушание»; с теми же, кто призывал крестьян «к неповиновению их помещикам», следовало «поступать по указам, как с нарушителями общего покоя, без всякого послабления». Тех, кто осмелится подавать челобитные в собственные руки императрицы, а также их составителей надлежало после наказания кнутом ссылать «в вечную работу в Нерчинск с зачетом их помещикам в рекруты»[216].

Перед нами едва ли не самый выразительный парадокс екатерининского царствования, пример вопиющего противоречия между идеями Просвещения и правительственными мерами по укреплению крепостнического режима. Намерение предоставить свободу крестьянам в это время не могло быть осуществлено, однако существовали реальные возможности смягчить крепостное право, ограничить произвол помещиков, регламентировать крестьянские повинности. В угоду дворянству императрица отказалась от этого пути. Тем самым социальные противоречия не только не устранялись, но и не смягчались, загонялись вглубь, где тлели, чтобы потом воспламениться в Крестьянской войне.

Следующее путешествие Екатерина совершила 13 лет спустя, в 1780 году. Столь длительный перерыв объяснить нетрудно — императрице в эти годы было не до путешествий: сначала она сосредоточила внимание на русско-турецкой войне 1768–1774 годов и Пугачевщине (1773–1775 годы), а затем — на подготовке и реализации «Учреждений о губернии» — важнейшей реформе своего царствования.

Путешествие в Могилев в 1780 году было четвертым по счету. Это обстоятельство заслуживает внимания прежде всего потому, что венценосная путешественница обрела опыт, и правительственные задачи путешествия были очерчены неизмеримо четче, чем в предшествующих походах. Основанием для подобного утверждения служит анкета, состоявшая из 16 пунктов и направленная в губернские и уездные города, которые намеревалась посетить императрица (в Псковской, Могилевской, Полоцкой, Смоленской и Новгородской губерниях). Основное внимание авторы анкеты сосредоточили на выяснении вопроса, как претворялись в жизнь «Учреждения о губернии»: в соответствии ли с численностью населения губернии разделены на уезды, все ли предусмотренные реформой учреждения созданы и укомплектованы штатами, все ли дела решаются без волокиты и сколько осталось нерешенных.

Ответы на другую группу вопросов должны были сообщить сведения о финансово-экономическом состоянии губерний и уездов: имеются ли недоимки и в какой сумме, увеличились или

уменьшились оброчные доходы, какие промышленные заведения расположены на территории губерний и уездов, каковы цены на съестные припасы. Особняком в анкете стояли предложения, обращенные к местным властям, высказать свои претензии и мнения о нуждах и недостатках управляемой территории и вопрос о взимании неустановленных законом поборов.

Анализ полученных данных императрица поручила графам Брюсу и Строганову, бригадиру Безбородко и полковнику Турчанинову.

Если бы уездная и губернские администрации на каждую из 16 позиций анкеты дали обстоятельные ответы, то историки получили бы бесценный источник о финансово-экономическом состоянии губерний и уездов, об успехах и недостатках в проведении областной реформы, о том, как справлялась администрация с очерченными реформой задачами.

К сожалению, ответы на вопросы не были получены в полном объеме, причем чем дальше кортеж путешественницы удалялся от Царского Села, из которого он отбыл 9 мая 1780 года, тем менее обстоятельными становились ответы, смахивающие на пустые отписки. На многие вопросы анкеты ответы не были получены вовсе. Так, в Нарве, первом городе, где императрица сделала остановку, из 16 вопросов анкеты ответы были получены на 14, администрация Гдова удосужилась ответить на 11 вопросов, а Пскова и того меньше — только на 9.

Из анкеты следует, что главная цель путешествия носила инспекционный характер, но надобно признать, что ее удалось достичь не в полной мере. Часто деловая сторона путешествия отодвигалась на второй план церемониями торжественных встреч, обедами, балами и т. д. Едва ли не главный итог путешествия выразился в широкой благотворительности императрицы, направленной на благоустройство посещенных городов, открытие в них школ, материальную поддержку богаделен и т. д. Так, пребывание в Пскове сопровождалось рядом распоряжений в пользу местного дворянства и горожан: императрица велела начать в следующем году межевание земельных владений в губернии, открыть в губернском городе полотняную мануфактуру, обслуживаемую наемными людьми «бедного состояния», для чего ассигновала пять тысяч рублей. Кроме того, Екатерина распорядилась отпустить тысячу рублей на заведение городской школы и согласилась не взыскивать соляную недоимку в 1500 рублей. Четырем монастырям она пожаловала по 150 рублей каждому, а в уездных городах Острове и Опочке — по две тысячи рублей на закладку ста домов в каждом.

19 мая императрица прибыла в Полоцк — центр

наместничества, образовавшегося в результате первого раздела Речи Посполитой. Здесь к прежней цели путешествия прибавилась новая — знакомство с жизнью населения на присоединенных землях и с новшествами, внесенными в эту жизнь образованием двух наместничеств: Полоцкого и Могилевского.

Ни поведение императрицы и ее свиты, ни благотворительность путешественницы, ни встречи, устраиваемые дворянством и администрацией наместничеств, не отличались от тех, что мы наблюдали в Псковской губернии: те же торжественные встречи под колокольный звон и пушечную пальбу, те же маскарады, обеды, посещения храмов и осмотр зданий для учреждений, предусмотренных реформой, и т. д. Но были и различия: для укрепления позиций православия среди униатского населения императрица поднесла щедрый подарок Богоявленскому монастырю — 500 рублей. Не забыты были школы и богадельни: на школы в Полоцке и десяти других городах она пожертвовала по 100 рублей каждой, а на 24 богадельни — по 50 рублей.

22 мая путешественница выехала из Полоцка, а 24-го прибыла в Витебск. Наместничество организовало самую пышную встречу: в трех верстах от города были сооружены триумфальные ворота; между ними и заставой стояли войска по одной стороне, мещане и цеховые — по другой. У триумфальных ворот императрицу встречали наместник граф Чернышов с чиновниками и дворянством, а у городских ворот — две важные персоны, специально прибывшие для встречи: князь Потемкин и фельдмаршал Румянцев-Задунайский. Под гром пушек и звон колоколов императрица отправилась в собор на торжественный молебен. Наместник выписал в Могилев, где гостья намеревалась провести неделю, итальянскую оперу, а для концертов — придворных музыкантов и лучших артистов.

В дни пребывания в Витебске у Екатерины появилась еще одна забота — в качестве частного лица под именем графа Фанкелынтейна в Могилев прибыл австрийский император Иосиф II. Императрицу развлекало могилевское начальство, а сама она должна была развлекать приезжего графа.

Пребывание графа Фанкелынтейна в России не ограничилось Могилевым — он проявил интерес к стране и решил навестить обе ее столицы — Москву и Петербург. Екатерина, как явствует из ее письма к наследнику, считала обременительной для себя встречу с императором, но судя по ее распоряжениям должностным лицам губерний, через которые следовал император, она стремилась создать для путешественника максимум удобств. Поскольку император путешествовал в

качестве частного лица, он предупредил, чтобы не было торжеств и чтобы ему было предоставлено на каждой станции всего лишь по 36 лошадей.

Императрица, однако, распорядилась о приготовлении 100 лошадей, ремонте дорог, подготовке необходимых помещений для графа и его свиты, в том числе и продовольствия, постельного белья. Путь императора к Могилеву лежал через Киев и Чернигов. Все губернаторы и наместники получили рескрипты императрицы с повелением предоставить в пути «всевозможные выгоды сему гостю» и заверять в расположении к нему Екатерины.

Из донесения князя Долгорукого Крымского из Москвы явствует, что «сей гость» проявил интерес к Кремлю, царь-колоколу, посетил Воспитательный дом, больницу, университет, Царицыно и 13 июня намеревался отбыть в Петербург[217].

В Могилевском наместничестве дела шли хуже, чем в Полоцком, — императрице сообщили о существовании в Могилеве 57, а в уездах 265 нерешенных дел. Не доставило радости и известие о значительной недоимке — 7307 рублей. Зато благополучнее обстояло со школами — их насчитывалось 32 с 858 учащимися. В 42 богадельнях нашли приют 320 человек. Ни Полоцк, ни Могилев не располагали промышленными предприятиями; занятия населения ограничивались земледелием и ремеслом.

В Шклове состоялась пикантная встреча императрицы с отставным фаворитом Зоричем. Он, как будет об этом подробнее рассказано ниже, получил Шклов в качестве пожалования Екатерины и вел там расточительную жизнь: держал открытый стол, театр, завел кадетское училище для неимущих дворян, держал огромный штат слуг. Во время визита Екатерины Зорич еще держался на плаву и встретил ее иллюминацией, маскарадом и театральным представлением.

Наибольшее удовлетворение императрице доставила Смоленская губерния. Здесь полным ходом шло сооружение зданий для губернской администрации. На взгляд императрицы, власти успешно справлялись со своими обязанностями; действовала семинария, которой она пожертвовала 500 рублей. На территории губернии функционировало три пристани, 12 фабрик и заводов, свыше тысячи пильных и мучных мельниц. С нескрываемым удовлетворением императрица выслушала известие о почти завершенном межевании земель. В целом, в Смоленске она «нашла желаемое благоустройство и во всем такой порядок, коим заслуживает всевысочайшее ее благоволение и удовольствие»[218].

Положительное значение этого путешествия отрицать не приходится — оно заставило местные власти усерднее реализовывать реформу. Благотворительность императрицы тоже сыграла свою роль как выражение милосердия и заботы о распространении просвещения. Наконец, витебский поход позволил императрице познакомиться с укладом жизни населения вновь присоединенных земель.

С наименьшей обстоятельностью источники освещают путешествие императрицы в Финляндию в 1783 году для свидания со шведским королем Густавом III. Мы располагаем лишь письмами Екатерины к сыну и к Г. А. Потемкину. Первоначально свидание намечалось на 13 июня 1783 года в Фридрихсгаме, где она намеревалась пробыть три дня. Однако король сломал руку — и по его просьбе свидание было перенесено на неделю — до 20 июня.

18 июня Екатерина отправила письмо великому князю из Фридрихсгама, в котором жаловалась на плохую дорогу, а также отмечала пустынность края: «В этой стране не видно живых существ, даже комаров нет… зато камней в бесчисленном множестве». За 24 часа езды они не встретили ни одной телеги.

В Фридрихсгаме она 19 июня встретилась с королем, о чем известила сына. Императрица осталась недовольной условиями своего пребывания: в предоставленном ей помещении оказались низкие потолки и спертый воздух. Город тоже оставил неблагоприятное впечатление: «Место это так хорошо, — иронизировала императрица, — что может служить ссылкой». И далее: «Царское село — рай в сравнении с этой отвратительной стороной».

Судя по письмам императрицы к Потемкину, она не придала этой встрече серьезного значения прежде всего потому, что считала короля человеком легкомысленным, необязательным, заверения которого ничего не стоили. В одном из писем к князю она сообщала о демонстрации королем своей силы в составе шести полков, собранных на французские деньги у границы с Россией. В другом извещала, что король, страдая от боли, тем не менее «был занят своим убором и охотно стоял перед зеркалом долгое время»[219]. Похоже, самым значительным итогом встречи явилось сообщение короля об обнаруженной в Упсале рукописи Григория Котошихина о России в царствование Алексея Михайловича. Екатерина намеревалась распорядиться снять с нее копию, но по каким-то причинам намерение не было реализовано, и рукопись повторно «открыли» в 1840 году[220].

Очередное путешествие было совершено в 1785 году. В отличие от предшествующего, делового, его можно отнести к

разряду познавательно-развлекательных. Основанием для подобной оценки служит состав свиты, сопровождавшей императрицу: Г. А. Потемкин, И. И. Шувалов, А. А. Безбородко, граф А. С. Строганов, генерал-майор Левашов. Кроме перечисленных русских вельмож, Екатерина пригласила участвовать австрийского посла графа Кобенцеля, французского — Сегюра, английского — Фицберберга. Последний отличался остроумием, галантностью, слыл за виртуозного рассказчика анекдотов и был незаменим в веселой компании.

Путешествие началось 21 мая, когда поезд из множества карет выехал из Петербурга и сухим путем добрался до Боровичей, где путешественники пересели на суда. Крытое судно предназначалось для императрицы, а остальные тридцать — для свиты.

Цель путешествия состояла в осмотре Вышневолоцкой системы. Вышневолоцкой канал был сооружен в 1706 году, но интенсивно стал действовать с 1719 года, когда его усовершенствовал известный механик-самоучка М. И. Сердюков. Петр распорядился передать ему канал, который находился во владении его наследников до 1774 года, когда был продан ими казне. Новгородский губернатор Я. Е. Сиверс, на управляемой территории которого находился канал, усовершенствовал его, чем увеличил пропускную способность и безопасность движения: он ликвидировал Боровицкие пороги и расчистил реки Вышневолоцкой системы.

Екатерина и ее спутники успели осмотреть лишь шлюзы, соединявшие Мету с Тверцой, как их встретил главнокомандующий Москвы граф Брюс и предложил навестить Москву, а основательный осмотр водной системы отложить до обратного пути. Предложение было столь неожиданным, что вызвало ряд вопросов к хозяину, пригласившему гостей. В передаче Сегюра разговор выглядел так: «Где же мы найдем лошадей? — спросили мы. — Это уже мое дело. — Наша компания возразила: мы хотим обедать, ужинать. — Вы все это найдете готовым». Наконец, Брюс уговорил императрицу навестить старую столицу, в которой последний раз та была десять лет назад.

До Твери путешественники добирались водой, а затем пересели в кареты. 31 мая императрица делилась дорожными впечатлениями с сыном и невесткой: «Все городки по пути стали так красивы, что приходит охота посетить один за другим». Москва, где она провела три дня, тоже порадовала путешественницу. Внуку Константину она писала: «Москва против прежнего многим лучше стала». Прочностью, изяществом и

легкостью конструкций удивил Ростокинский водопровод длиною всего в 190 саженей, покоившийся на опорах в четыре-пять саженей.

После выезда сухим путем из Москвы Екатерина отправила письмо Гримму, в котором не преминула с похвалою отозваться о двух спутниках: Сегюре и Потемкине. О Сегюре: «Трудно быть любезнее и остроумнее… он весел, как зяблик… Князь Потемкин всю дорогу морит нас со смеху, все из кожи лезут помогать ему». В другом письме Екатерины Сегюр, бывший душой веселой компании, удостоился еще большей похвалы: «Можно поздравить Францию, если у нее много таких людей, как Сегюр: с личными достоинствами, с умом, талантами и образованием он сохраняет благородство чувств и любезность». Столь же высокого мнения о веселых и беззаботных иностранных министрах был и Безбородко, извещавший А. Р. Воронцова: «Вам может быть известно, что спутники наши иностранные вели себя отменно хорошо, податливы были на все резвости и забавы, умели всем понравиться и были всегда отменно приятны». Безбородко тоже выделил французского дипломата: «Сегюр весьма много имеет в себе приятного при отличных знаниях и способностях»[221].

В Вышнем Волочке путешественники наблюдали спуск судов через Тверецкий шлюз и Боровицкие пороги. Граф Сегюр отдал должное М. И. Сердюкову: «Работы, предпринятые для устройства этих шлюзов, могут сделать честь самому искусному инженеру. Между тем они были задуманы и исполнены в царствование Петра простым крестьянином Сердюковым, который никогда не путешествовал, ничему не учился и едва умел читать и писать. Ум часто пробуждается воспитанием, но гений бывает врожденным»[222]. В этом свидетельстве есть неточности, например, ошибочно утверждение, будто Сердюков едва умел грамоте, но важно отметить, что его творение производило впечатление и 65 лет после пуска системы.

Из Вышнего Волочка флотилия отправилась в Петербург, куда прибыла 19 июня. Гримму императрица сообщила об охватившем ее восторге от увиденного. Как всегда, в общении с иностранными корреспондентами она изображала все исключительно в розовом свете. «В продолжении всего моего путешествия, — писала Екатерина, — около 1200 верст сухим путем и 600 верст по воде, я нашла удивительную перемену во всем крае, который частью видела прежде. Там, где были убогие деревни, мне представлялись прекрасные города с кирпичными и каменными постройками; где не было и деревушек, там я встретила большие села и вообще благосостояние и торговое движение, далеко превысившие мои ожидания».

Разумеется, все перемены, сведения о которых иностранные корреспонденты проверить не могли и которым потому должны были верить на слово, Екатерина приписывала исключительно своему мудрому правлению. «Мне говорят, — продолжала она, — что это последствия сделанных мною распоряжений, которые уже десять лет исполняются буквально, а я, глядя на это, говорю: очень рада. Это не особенно, зато правдиво»[223].

Справедливости ради отметим, что областная реформа, превращая безвестные села в уездные города, а уездные в столицы наместничеств и губерний, изменяла их облик, способствовала оживлению хозяйственной деятельности, но не в таких масштабах, о которых писала императрица. Что же касается реальных последствий и результатов путешествия, то они, надо полагать, были невелики.

Последнее путешествие Екатерины II в Крым в 1787 году отличается от предшествующих как грандиозным размахом, так и влиянием на дальнейший ход событий. Официальная цель путешествия состояла в ознакомлении с результатами освоения обширных территорий, присоединенных к России по условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года и с включением в состав империи Крыма в 1783 году. Эта генеральная цель дополнялась не менее важными задачами, прежде всего внешнеполитического плана — поездка носила демонстративный характер и должна была убедить южного соседа, что утверждение России в Северном Причерноморье и Крыму носит характер не временной акции, а меры, рассчитанной на вечные времена.

Нельзя сбрасывать со счетов и заинтересованность в путешествии Екатерины князя Потемкина Таврического: его противники при дворе нашептывали императрице о нерациональном использовании колоссальных средств в освоении края, о том, что они расходуются впустую и страна не получает никаких выгод. Интриги недругов князя имели известный успех — когда Потемкин в 1786 году прибыл в столицу, то у двора встретил холодный прием.

Мысль самолично убедиться в успехах освоения края подал Екатерине император Иосиф II во время свидания в Могилеве еще в 1780 году. Императрица намеревалась воспользоваться советом императора в 1784 году, но чума, занесенная в Херсон, помешала осуществлению этого намерения.

Отсрочка путешествия вполне устраивала Потемкина — блестящий организатор развил бешеную энергию по благоустройству края и свел надежды на свое близкое падение к нулю: не он, а его недоброжелатели оказались в опале. Князь хорошо знал вкусы и слабости императрицы и не жалел ни сил,

ни средств, чтобы представить Новороссию, которой он управлял, в лучшем виде; он не упускал ни одной мелочи, способной омрачить взор путешественницы: срочно воздвигались дворцы и триумфальные арки, леса и рощи превращались в английские парки, улучшались дороги, возводились мосты, храмы, основывались деревни. Один за другим курьеры Потемкина доставляли предписания, распоряжения, советы подчиненным с перечислением мер, реализация которых должна была ублажить глаза и уши императрицы.

Полковнику Корсакову Потемкин писал: «Дорогу от Казыкерменя до Перекопа сделать богатою рукою, чтоб не уступала римским и назову ее Екатерининский путь». Правителю Екатеринославского наместничества Синельникову он предлагал: «Постарайтесь по всей возможности, чтоб город был в лучшей чистоте и опрятности». Для этого надлежало ветхие и не радующие глаз строения снести или замаскировать. Предлагалось обратить особое внимание на экипировку дворян и чиновников, которые должны были встречать императрицу «в совершенном опрятстве». Екатерине и сопровождавшим ее вельможам должны быть созданы комфортные условия жизни, для чего надобно было должным образом обставить покои мебелью и «наилучшим образом» осветить.

Распоряжения Потемкина предусматривали и развлекательную программу для путешественницы и ее свиты: капельмейстер Сарти должен был к приезду подготовить постановку пьесы, «чтоб оная произведена была наивеликолепнейшим и огромнейшим образом». Не забыл Григорий Александрович и такую мелочь, как униформа музыкантов и певчих — ее должны были специально изготовить к приезду гостей. Дирижерская палочка Потемкина видна и в большом, и в малом; ничто не ускользало от его внимания. Таврический архиепископ Амвросий получил от него распоряжение произнести в Кременчуге приветственную речь, причем заказчик не ограничился общими наставлениями относительно ее содержания, а потребовал, чтобы она была выучена наизусть и произнесена с подобающим сану пафосом. Лейтмотив приветственной речи — превращение «необитаемой земли в сад плодоносный». По поводу присоединения Крыма проповедник должен был заявить, что императрица «народ прежде вредный сделала нам собратией». Заканчивать панегирик надлежало словами: «сей край славе ее принадлежит, а потому народу оного была сугубо мать». Этой фразой приветственной речи, по мысли Потемкина, должно выражать изъявление благодарности населения и надежду на милость императрицы.

Екатерина покинула Петербург под гром пушек 2 января 1787 года. Кортеж состоял из 14 карет и 164 саней, в том числе 40 запасных. Поражало своими гигантскими размерами сооружение, в котором ехала сама императрица. Оно состояло из кабинета, гостиной на восемь персон, игорного стола и небольшой библиотеки. Громоздкое сооружение, поставленное на полозья, везли 30 лошадей.

При наступлении темноты путь освещали гигантские костры, разведенные по обеим сторонам дороги.

Императрица и в дороге существенно не изменила распорядка дня: вставала в 6 утра, занималась делами с министрами, потом завтракала и принимала гостей. В 2 часа дня кортеж останавливался на обед, а в 7 — на ужин. Единственное отступление от обычного распорядка дня состояло в том, что императрица отправлялась ко сну не в 10–11 вечера, а в 9 часов.

От Петербурга до Киева было устроено 76 станций, на каждой из них приготовили по 550 лошадей. На каждой станции сооружались помещения для хранения припасов: три рогатые скотины, три теленка, 15 кур и 15 гусей, два пуда крупитчатой муки, один пуд коровьего масла, 500 яиц, 6 окороков, фунт чаю, полпуда кофе, бочонок сельдей, два пуда сахару, вина белого и красного по три ведра, 50 лимонов, а также пиво. На станциях, где не предполагалось ни обедать, ни ночевать, впрок заготавливались холодные закуски.

Французский посол Сегюр, избалованный изнеженными блюдами, претензий к организации питания не предъявлял: «Везде находим мы теплые покои, отличные вина, редкие плоды и изысканные кушанья». Императрица писала невестке из Нежина 28 января: «Мое путешествие так расположено, что это скорее прогулка».

На границе уездов путешественницу встречали предводители дворянства и верхоконные дворяне в парадных мундирах и на лучших лошадях. Предусматривались все мелочи экипировки — от перчаток и штиблетов до сбруи с обязательной бахромой. Регламентировалось также поведение населения во время встречи кортежа: запрещалось, например, перебегать улицы, покрывать их ельником, находиться в толпе встречавших больным и увечным. Разрешалось покрывать улицы травой и полевыми цветами. Женщинам и девушкам разрешалось подносить цветы императрице.

Путь на юг лежал через Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, а оттуда до Екатеринослава Днепром. Не доезжая порогов, путешественница со свитой пересела в карету и отправилась в Херсон, а из него к цели путешествия — в Крым.

Обратный маршрут был иным: Черкассы, Бахмут, Тор, Изюм, Харьков, Курск, Орел, Тула, Москва, Петербург.

Сохранилось описание пребывания императрицы в Черниговском наместничестве. Приготовления к встрече путешественницы по предписанию малороссийского губернатора П. А. Румянцева начались еще в 1784 году, когда поездка в Крым намечалась на 1785 год.

Согласно предписанию Румянцева, дом для ночлега императрицы должен иметь не менее 16 комнат, соответствующим образом меблированных столами, стульями, зеркалами, занавесками и др. В поисках таких зданий местные власти испытывали немало затруднений. В городе Березне, пограничном в Новгород-Северской губернии, имелось единственное здание подобных размеров, но оно требовало капитального ремонта. Городские власти решили, что выгоднее соорудить новый дом, который после отъезда императрицы останется в казенном ведении, нежели реставрировать старый, подлежавший возврату владелице. Но вот незадача: Черниговскому наместничеству на все мероприятия, связанные со встречей императрицы (ремонт дорог, мостов, закупка провианта и фуража, обеспечение станций лошадьми и пр.), казна ассигновала 10 973 рубля 37 копеек, в то время как на сооружение путевого дома предполагалось издержать около половины этой суммы — 5455 рублей 55 копеек. Из этого следовало, что значительную часть расходов должны были взять на себя дворяне и горожане губернии.

Императрицу надлежало встречать в пограничном городе Березне, где, согласно предписанию Румянцева, велено соорудить триумфальную арку и куда должен был прибыть, наряду с губернатором и высшими чинами губернской администрации, губернский предводитель дворянства в сопровождении уездных предводителей и рядовых дворян. Императорский кортеж должны были встречать дворяне и горожане на каждой из станций. В «знак усердия» население уездного города обязывали подносить императрице хлеб, вино и фрукты «лучшего рода в сосудах, к тому нарочно приготовленных и прилично украшенных», а также музыкой, барабанным боем, ружейной пальбой.

Местные дворянские общества готовы были выразить горячие верноподданнические чувства, если они не требовали от них дополнительных затрат. Но в том-то и дело, что казенные ассигнования на встречу императрицы надлежало дополнить изрядными суммами из собственного кармана, точнее, из кармана принадлежавших им крепостных крестьян.

Новгород-северский предводитель дворянства

А. К. Любосевич решил созвать уездных предводителей для обсуждения вопроса о способах и источниках изыскания денежных средств. Те догадывались о цели приглашения и под разными предлогами уклонялись от приезда. Так, конотопский предводитель мотивировал свой отказ тем, что «от простуды или от чего другого приключившаяся… лихорадка» привела его в бессилие. Коропский предводитель дворянства Маркович отвечал: «Я по старости лет и слабости здоровья в рассуждении наступивших ныне великой распутицы и ненастья прибыть в губернский город не могу». Глуховский предводитель дворянства Кулябка оправдывал свой отказ приехать «болезнью подагрической», а мглинский к подагре присовокупил «каменистую болезнь», которая принуждает его отказаться от должности.

В итоге на призыв Любосевича откликнулось только три уездных предводителя дворянства, которые подтвердили необходимость заготовить продовольствие, но были неправомочны решить финансовый вопрос. В мае 1786 года Любосевичу все же удалось обеспечить явку большинства уездных предводителей, и те решили взимать дополнительный налог по пять копеек с каждой принадлежавшей дворянину мужской души. Кроме того, со всех дворян, получавших жалованье, надлежало взыскивать по две копейки с рубля.

Некоторые дворяне уклонялись от участия в церемониях встреч и проводов императрицы. Затруднения испытывали и при поисках ораторов, способных, не робея перед императрицей, связно произнести приветствие.

Хлопоты в конечном счете дали желаемые результаты. Березнинский городничий Каминский добился того, что «город Березное предмет свой имел высочайшему ее величества зрению благоугодность». Для этого пришлось снести ветхие дома, которые «наводили зрению неприятное безобразие», а богадельни и винокурни, от которых распространялся «смрадный запах, перевести в отдаленные от шествия места». Удалось запереть в кельях и монастырскую братию и тем самым выполнить предписание, чтобы монашествующие обоего пола по городам отнюдь не шатались, но «всяк в своих монастырях при послушании всякой трезвости и исправности пребывание имели, и не сидели в разодранном одеянии».

Императрица прибыла в Киев в феврале и задержалась в нем на три месяца из-за позднего освобождения реки ото льда. Екатерина осталась недовольной пребыванием в Киеве — отсутствовали ожидавшиеся торжественные встречи, улицы оказались дурно вымощенными. Екатерина поручила своему

фавориту Дмитриеву-Мамонову выразить Румянцеву недовольство, на что фельдмаршал с достоинством ответил: «Скажите ее величеству, что я фельдмаршал ее войск, что мое дело брать города, а не строить их и еще менее — украшать». Императрица сначала была поражена ответом, нашла его дерзким, но сдержала гнев и сказала фавориту: «Он прав. Но пусть же Румянцев продолжает брать города, а мое дело будет строить».

Киев произвел на императрицу явно неблагоприятное впечатление. Сына она извещала, что, прибыв в Киев, она искала, где город, «но до сих пор ничего не обрела, кроме двух крепостей и предместий; все эти разрозненные части зовутся Киевом и заставляют думать о минувшем величии этой древней столицы».

Путешествие по Днепру, начавшееся 22 апреля, тоже проходило с задержками: вместо 9 дней оно продолжалось 14 — корабль императрицы то садился на мель, то его прибивало к берегу.

В Каневе состоялось свидание императрицы с фаворитом молодости — Станиславом Понятовским, возведенным ею в короли Речи Посполитой. Встреча носила сугубо официальный характер, от нее веяло прохладой. Сегюр заметил: «После взаимного поклона, важного, гордого и холодного, Екатерина подала руку королю, и они вошли в кабинет, в котором пробыли с полчаса».

Гора в Каневе была богато иллюминирована, вечером ее покрыло море огней, а на вершине взорвалось более 100 ракет. Вечером король дал бал, но императрица отказалась на нем присутствовать. Де Линь записал: «Король дожидался нас при Каневе, он прожил тут три месяца и три миллиона для свидания с императрицей».

30 апреля флотилия пришвартовалась в Кременчуге — первом городе Новороссии, где хозяином был Потемкин. Он сопровождал карету императрицы во главе официальных лиц. Во время обеда 186 музыкантов и певцов развлекали путешественницу. Екатерина вполне оценила старания Потемкина. Она писала И. П. Салтыкову: «В Кременчуге нам всем весьма понравилось, наипаче после Киева… и если б знала, что Кременчуг таков, как я его нашла, я бы давно переехала». Далее следуют комплименты в адрес Потемкина: войска содержатся в исправности и заслужили похвалы иностранных министров, недоимок нет, в то время как в трех губерниях они достигают миллиона рублей.

Близ Херсона состоялась встреча еще с одной коронованной особой — австрийским императором Иосифом II. Город поразил

императрицу двумя тысячами фундаментальных зданий, арсеналом, верфью. Но на Иосифа II город произвел неблагоприятное впечатление, навеянное, видимо, его недоброжелательным отношением к Потемкину. Князь и здесь организовал пышную и расточительную встречу: достаточно сказать, что дорога протяженностью в полверсты от дворца, где останавливалась Екатерина, до верфи, была покрыта зеленым сукном. Екатерина не довольствовалась ролью зрительницы, равнодушно обозревавшей Херсон, — она поспешила поделиться восторгом с Гриммом, по обыкновению несколько приукрасив увиденное: «Херсону нет еще и осми годов от роду, между тем он уже может считаться одним из лучших военных и торговых городов империи: все дома выстроены из тесаных камней; город имеет шесть верст в длину, его положение, почва, климат бесподобны, в нем по меньшей мере от десяти до двенадцати тысяч жителей всяких наций; в нем можно достать все, что угодно, не хуже Петербурга»[224].

Екатерина выехала из Херсона 17 мая и через два дня вступила на землю Крыма. «Монархиня, — повествует Сегюр, — пожелала, чтобы во время ее пребывания в Крыму ее охраняли татары, презиравшие женский пол. Этот неожиданный опыт доверчивости удался, как великий отважный подвиг».

21 мая карета императрицы остановилась в Бахчисарае. «Там мы, — хвасталась она Гримму, — вышли прямо в дом ханов, там мы помещены между минаретами и мечетями, где кричат и молятся, поют и вертятся на одной ноге пять раз каждые 24 часа».

Сегюр нашел, что императрица, проведя в Бахчисарае пять дней, осталась крайне довольной: «В ее глазах светилась радость по поводу того, что она заняла трон ханов, которые некогда были владыками России». Состоявший на русской службе принц Нассау-Зинген, сопровождавший Екатерину, восхищался иллюминацией Бахчисарая: «С наступлением ночи все горы, окружающие город, и все дома, расположенные амфитеатром, были иллюминованы многочисленными огнями; зрелище было великолепное»[225].

Потемкин удивил Екатерину еще одним своим творением — в Ахтиарской гавани он основал порт Севастополь. Здесь уже существовал город с укреплениями, госпиталями, четырьмястами домами, адмиралтейством и сильным гарнизоном. Но главной достопримечательностью нового города был флот: на рейде Севастопольской бухты стояло 15 кораблей, которые Екатерина в сопровождении свиты отправилась осматривать на шлюпках. «Императрица, — записал Сегюр, — находится в восторженном состоянии по поводу всего, что она видит и при мысли о новой

степени величия и могущества, на которую она возводит Русскую империю». Восторгалась увиденным не только императрица, но и Сегюр: «Нам казалось непостижимым, каким образом в двух тысячах верстах от столицы в недавно приобретенном крае Потемкин нашел возможным воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности»[226].

На другой день Екатерина наблюдала морские учения. Увиденное окончательно рассеяло все сомнения о целесообразности присоединения Крыма и укрепило веру в таланты и крайне полезную деятельность своего ученика, как она называла Потемкина. Своими наблюдениями она поделилась с московским губернатором П. Д. Еропкиным: «Весьма мало знают цену вещам те, кои с унижением бесславили приобретение сего края. И Херсон и Таврида со временем не только окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит восьмую часть дохода империи, то вышепомянутые места превзойдут плодами бесплодных мест. Кричали и против Крыма и отсоветовали обозреть самолично. Сюда приехавши, ищу причины такова предубеждения нерассудства… Сим приобретением исчезает страх от татар, которых Бахмут, Украина и Елизаветград поныне еще помнят… Сегодня вижу своими глазами, что я не принесла вред, а величайшую пользу своей империи».

Из Севастополя Екатерина поехала через Бахчисарай, Симферополь и Старый Крым до Феодосии, а оттуда к Перекопу. Близ Балаклавы императрицу ожидал еще один сюрприз — Потемкин для ее встречи велел учредить роту амазонок, укомплектованную из сотни жен и дочерей балаклавских греков под командованием супруги капитана Саранцева Елены Ивановны. Экипировка амазонок состояла из юбок малинового бархата, отороченных золотыми галунами, и курточек из зеленого бархата. На голове — белый тюрбан с золотыми блестками и страусовым пером. Все амазонки были вооружены ружьями с тремя патронами. Встреча должна была состояться в конце аллеи из апельсиновых, лимонных и лавровых деревьев.

Расходы немалые, и все это ради того, чтобы проезжавшая мимо императрица остановилась на минуту-другую и произнесла в адрес Елены Ивановны: «Поздравляю вас, амазонский капитан! Ваша рота исправна. Я ею очень довольна». Екатерина пожаловала Елене Ивановне бриллиантовый перстень в 1800 рублей, а всем амазонкам — 10 тысяч рублей. Вслед за тем рота была распущена[227].

Обратный путь императрицы не оставил ни в ее памяти, ни в

памяти современников столь же ярких и запоминающихся событий, какие в изобилии можно было наблюдать в Новороссии и Крыму. Источники зарегистрировали три более или менее важных события. Первым из них можно считать инсценировку знаменитой битвы под Полтавой. В показательном сражении в июне 1787 года участвовало 50 тысяч солдат и офицеров.

Второе событие — приезд императрицы в Тулу — зарегистрировал известный мемуарист А. Т. Болотов. Участник встречи, он обстоятельно описал нетерпение и восторженное настроение тульского дворянства, ожидавшего приезда Екатерины II: «Вся Тула наполнена была тогда съехавшимся со всех сторон обоего пола дворянством». Прибытие императрицы в Тулу задержалось на два дня — появилась она в городе 20 июня. «Не могу без смеха не вспомнить о той превеликой суете, в которой находились все в сие достопамятное утро, — записал мемуарист, тоже находившийся в приподнятом настроении, — и какая скачка поднялась по всей Туле карет и колясок и бегание взад и вперед народа». Собравшиеся, однако, были разочарованы: императрица, не останавливаясь, промчалась через «великолепные триумфальные ворота», специально в ее честь сооруженные, остановилась на мгновение у собора, где в ожидании ее собралось множество разодетых барынь.

Вечером Екатерина присутствовала на спектакле, не попавшие на представление довольствовались иллюминацией города и Кремля.

На следующий день должна была состояться встреча с тульским дворянством, но вместо императрицы в здание дворянского собрания прибыли наместник и госпожа Протасова. Разочарованным присутствующим было объявлено, что Екатерина не явилась «по причине усталости и небольшого недомогания». Скорее всего, отсутствие императрицы было вызвано не столько недомоганием, сколько тягостным настроением от увиденного в пути: в стране обнаружились явные признаки сильной засухи и надвигавшегося голода.

Пребывание в Москве императрицы ознаменовалось двумя событиями: в честь двадцатипятилетия своего правления она простила купцам и горожанам часть недоимки. Второе событие связано с роскошным приемом, устроенным в честь императрицы графом П. Б. Шереметевым в загородном дворце в Кусково. Этот прием описал граф Сегюр: «Огромный графский сад, насажденный с большим искусством, был освещен разноцветными огнями. На прекрасном его театре сыграли большую русскую оперу; все, кто понимал ее содержание, находили, что она была очень занимательна и хорошо написана. Я мог только судить о

музыке и танцах, и меня удивило изящество мелодий, богатство нарядов и легкость танцовщиков и танцовщиц. Но более всего меня поразило то, что автор слов и музыки оперы, архитектор, построивший театр, живописец, который его расписал, актеры и актрисы, кордебалет и самые музыканты оркестра все были крепостные люди графа Шереметева. Этот помещик, один из богатейших в России, позаботился воспитать их и обучить; ему обязаны они были своими талантами.

Ужин был так же роскошен, как представление; никогда я не видывал такого множества золотых и серебряных сосудов, столько фарфора, мрамора и порфира. Наконец (что многим покажется невероятным) весь хрусталь на столе на 100 приборов был изукрашен и осыпан дорогими каменьями всех цветов и родов и самой высокой цены»[228].

Путешествие имело два важнейших следствия. Одно из них состояло в том, что противникам Потемкина не удалось вселить императрице враждебных чувств к правителю Новороссии — она воочию убедилась в успешной деятельности своего соратника. Престиж Потемкина не пал, а, напротив, укрепился. Екатерина, конечно же, игнорировала разорительные для страны результаты своего вояжа — он обошелся казне в сумму от семи до десяти миллионов рублей. При этом часто трудно разграничить, где кончалась инспекционная часть поездки и начиналась развлекательная, и наоборот.

Второе следствие путешествия оказалось более серьезным — в Стамбуле поездку в Крым расценили как дерзкий вызов Османской империи, как знак намерения России навечно закрепить за собою полуостров. Не осталась без внимания турок и надпись на одной из триумфальных арок в Херсоне, тоже носившая провокационный характер: «Путь в Константинополь».

Порта решила объявить России войну. Не успела императрица освободиться от приятных впечатлений от увиденного во время путешествия, как получила известие, что посол России заточен в Семибашенный замок. Это был гром среди ясного неба. Екатерина не ожидала подобной развязки. Россия, впрочем как и Турция, не была готова к войне.

Путешествие в Крым оставило у императрицы самое радужное впечатление. Полностью она была удовлетворена и деятельностью Потемкина. 13 июля 1787 года, завершив путешествие, она отправила князю письмо из Царского Села: «Третьего дня окончили мы свое шеститысячеверстное путешествие, приехав на сию станцию в совершенном здоровье, а с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест, вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах,

радении, усердии, попечении и порядке вами устроенном повсюду». В другом письме императрица еще раз подчеркнула заслуги Потемкина: «…Ты мне служишь, а я признательна. Вот и все тут. Врагам своим ты ударил по пальцам усердием ко мне и ревностью к делам Империи». Императрица обязалась оберегать князя от наскоков врагов: «И будь уверен, что я тебя защищать и оберегать намерена»[229].

Глава VIII. Две войны

За продолжительное царствование Екатерина вела три больших войны, причем во всех трех случаях Россия выступала не агрессором, а жертвой агрессии со стороны ее главных, традиционных недругов: на севере — Швеции, на юге — Османской империи. Все три войны заканчивались победоносно для России, а противники за свое легкомыслие должны были расплачиваться территориальными потерями.

Екатерину Великую по достигнутым успехам с полным основанием часто сравнивают с Петром Великим. В самом деле, при Петре наметилась четкая тенденция превращения России в великую державу, которая могла составить компанию крупнейшим государствам Западной Европы: Англии, Франции, Австрии, Пруссии, Испании. При Екатерине статус России укрепился настолько, что ни одна коалиция держав не могла игнорировать ее влияния и могущества. Успех сопутствовал в обеих сферах внешнеполитической деятельности — военной и дипломатической. Если на военном поприще славу России приносили талантливые полководцы и флотоводцы, то в сфере дипломатической первенствующая роль принадлежала лично Екатерине.

Относительно роли царствующих особ во внешнеполитических акциях можно установить даже определенную закономерность: чем скромнее успехи во внутренних делах страны, тем активнее участвовали императрицы во внешнеполитических акциях. Екатерина II здесь не составляла исключения, но, в отличие от предшественниц, опускавшихся во внешнеполитических суждениях до матримониальных событий, смены фаворитов, семейных ссор в царствующем доме, ее внимание сосредоточивалось на изучении соотношения сил стран на европейском континенте, на соперничестве между ними, на выгодах, которые можно было извлечь для России при сложившейся ситуации.

Вспомним: в первый год правления Екатерина намеревалась вникать во все мелочи внутренней и внешней политики. Потребовалось всего несколько месяцев, чтобы она убедилась, что бремя подобной нагрузки ей не снести, и она постепенно стала перекладывать на плечи своих вельмож множество обязанностей, касавшихся прежде всего внутренней политики. Что касается внешней политики, то Екатерина до конца своих дней продолжала проявлять к ней живейший интерес, выполняла роль канцлера, зачастую не ограничиваясь указаниями чиновникам

Коллегии иностранных дел, а действуя в обход их. Когда до Иосифа II, путешествовавшего по России в 1780 году, дошли слухи, что императрица читает все документы, он попросил Безбородко подтвердить или опровергнуть их. Тот дал утвердительный ответ: без ведома императрицы из Коллегии не выходила ни одна бумага, не отправлялась ни одна депеша. Повышенный интерес царствующих особ к внешней политике легко объясним. Даже многократное снижение цен на соль или размер подати или оброчных повинностей не принесет такого авторитета монарху, как успешно закончившееся сражение или выгодный для страны мирный договор. В первом случае монарха ожидает признание собственного народа, во втором — признание дворов Европы. В первом случае престиж монарха не выходит за пределы собственной страны, во втором он становится достоянием европейских дворов и народов Европы. Сила и ловкость равно высоко ценились во внешнеполитической сфере.

Среди дипломатических акций Екатерины прежде всего заслуживают внимания три: посредническая роль России при заключении Тешенского договора между Австрией и Пруссией в 1779 году, Декларация о вооруженном нейтралитете, принятая Россией в 1780 году, к которой присоединились многие страны Европы, и, наконец, присоединение Крыма к России в 1783 году.

Тешенский договор явился результатом конфликта между Австрией и Пруссией из-за Баварии. По просьбе враждовавших сторон Россия и Франция выступили в роли посредников, и в мае 1779 года в городе Тешене между противниками был заключен мирный договор. Участие России в качестве гаранта договора свидетельствовало о ее возросшем авторитете в европейских делах[230].

Не прошло и года, как Россия вновь подтвердила свое огромное влияние на европейские дела. Речь идет о Декларации о вооруженном нейтралитете, появившейся на свет в связи с освободительной войной североамериканских колоний против Англии. Война началась в 1775 году, причем англичанам пришлось воевать не только против колоний, но и против своих извечных противников на море — Франции, Испании и Голландии.

Военные действия складывались не в пользу Англии, и она сначала попыталась привлечь на свою сторону Россию, чтобы использовать ее военную мощь и добиться отправки в Америку экспедиционного корпуса. Из этой затеи ничего не вышло, и тогда Англия предприняла рискованный шаг: она, не считаясь с торговыми интересами нейтральных стран, в широких масштабах организовала борьбу против доставки в Америку продовольствия

и вооружения: корабли нейтральных стран и содержимое трюмов становились достоянием каперов, что ограничивало свободу мореплавания и вызывало резкий протест нейтралов.

Весной 1779 года Россия и Дания договорились отправить воевавшим сторонам декларацию о защите нейтральной торговли, которую те игнорировали, продолжая разбойничать на море. Некоторые авторы полагали, что мысль о вооруженном нейтралитете принадлежала Фридриху II или вельможам императрицы. Екатерина решительно опровергает эту версию: «Это неправда, вооруженный нейтралитет родился в голове Екатерины II и ни в чьей другой. Граф Безбородко может засвидетельствовать это, потому что эта идея как бы по наитию была высказана устами этой императрицы однажды утром. Граф Панин не хотел об этом слышать, потому что не он это придумал, и потребовалось много усилий, чтобы заставить его понять это»[231].

После того как русские и голландские суда с хлебом, направлявшиеся в Средиземное море, были конфискованы, в Петербурге была составлена декларация с изложением мер защиты свободы торговли. Суть ее состояла в том, что судам нейтральных государств разрешалось беспрепятственно плавать у берегов воюющих держав, а все грузы, находившиеся на кораблях под нейтральным флагом, являлись неприкосновенной собственностью этих стран. Список контрабандных товаров ограничивался оружием и предметами, к нему относившимися.

Декларация провозглашала новый принцип морского права, к которому присоединились Дания, Швеция, Голландия, Пруссия и Австрия; кроме того, Декларацию признали Франция, Испания и Северо-Американские Соединенные штаты.

В советской историографии Декларация о вооруженном нейтралитете оценивалась однозначно положительно. Причины восторга понятны, ибо Декларация объективно способствовала освобождению Северной Америки от колониального гнета Англии, что само по себе заслуживает похвалы. Но некоторые современники не только не восторгались Декларацией, но считали ее вредной для экономических и политических интересов России. В числе таких современников был видный дипломат екатерининских времен посол петербургского двора в Лондоне С. Р. Воронцов. В его критических замечаниях в адрес Декларации немало разумных резонов, которые, на наш взгляд, справедливо лишают ее однозначной оценки.

Послом в Лондон Воронцов был назначен в 1785 году. В своей автобиографии, написанной много позже, он сообщает о трудностях, которые ему довелось преодолевать во время

пребывания в должности: «Я прибыл сюда при обстоятельствах самых трудных даже для человека искусного и опытного в делах… здесь была свежа память о вооруженном нейтралитете, направленном против этой страны, и Англия искала союза с Пруссией, с которой Россия находилась в дурных отношениях»[232].

Свое негативное отношение к Декларации Семен Романович многократно высказывал в письмах к брату. «Ненависть к нам Англии происходит от вооруженного нейтралитета. Здесь… ласкаю себя надеждой, что Россия при возникновении мира (между Англией и Францией. — Н. П.) откажется от этой системы, которая к тому же должна считаться совершенно бесполезной, так как Россия не имеет возможности создать собственный торговый флот». Между прочим, императрица Декларацию, по отзыву дипломата, «ставит очень высоко»[233].

В другом письме Воронцов задает брату ряд вопросов, на которые должны следовать отрицательные ответы: «Умножили ли мы посредством этого вооруженного нейтралитета наш торговый флот? Что же мы выиграли, поссорившись с Англией? Не принесла ли эта система нашим купцам более убытка, чем прибыли?» Возвращаясь к теме, С. Р. Воронцов вновь писал: «От вооруженного нейтралитета шведская и прусская торговля возросла, а наша ничего не выиграла, напротив — потеряла. А государство потеряло в Англии естественного друга, не приобретя другого на место»[234].

Ощутимый ущерб от ссоры с Англией Россия понесла в годы русско-шведской и второй русско-турецкой войны, когда Англия и Пруссия оказывали неприятелям России дипломатическую и материальную поддержку и даже уговаривали их начать военные действия.

К 1780 году относится еще одна важнейшая внешнеполитическая акция Екатерины II — изменение курса внешней политики и появление новых союзников. Почти два десятилетия (1762–1780) Екатерина ориентировалась на союз с Пруссией. Достаточно взглянуть на переписку этих лет Екатерины II с Фридрихом II, чтобы убедиться, сколь близкими и внешне доверительными были отношения между двумя монархами. Прусский король умел, если того требовала обстановка, безмерно льстить своим корреспондентам; правда, делал он это посол-датски грубо и прямолинейно, но всякая, даже топорная лесть приятнее изощренной и деликатной брани.

Прусский король, например, счел необходимым откликнуться на прививку оспы, которую сделала себе Екатерина. «Вы ведете себя как мать ваших народов, геройски подвергая себя операции,

которая может спасти жизнь множеству ваших подданных». «Пусть вы, государыня, — писал Фридрих в октябре 1769 года, — толикой славой, которой покрыли себя, показав изумленным народам, что тот же самый гений, который способен предписывать мудрые законы империи, способен также и защищать ее». В 70-е годы набор комплиментов становится еще обширнее. Король называет императрицу «государыней, одаренной высшим гением», «величайшей государыней Европы».

На комплименты не скупилась и императрица: «Иметь с вами дело — истинное удовольствие», — писала она Фридриху в январе 1764 года. Или: «Мои предшественники не имели союзника короля Фридриха; и вот мое преимущество перед ними». В декабре 1769 года Екатерина называет Фридриха «великим королем».

За всей этой словесной шелухой четко просматривалась взаимная заинтересованность друг в друге, приземленные цели. Екатерина, например, заверяла Фридриха: «Ваше величество может быть уверен, что никогда не найдет союзника более надежного и более точного в исполнении своих обязательств и друга более верного, чтобы соглашаться в ваших намерениях и благоприятствовать вашим интересам». Фридрих несколькими годами позже отвечал: «Я почитал бы себя счастливым, если бы мог незначительными услугами способствовать блеску царствования вашего величества»[235].

Но все эти комплименты нисколько не мешали ни Екатерине II, ни Фридриху II зорко следить за наращиванием мощи друг друга и их территориальными притязаниями. Так, прусский король был убежден, что к 1771 году силы Османской империи находились в таком жалком состоянии, что Россия могла навязать неприятелю выгоднейшие для себя условия мира. Усиление России не входило в расчеты Пруссии, и Фридрих II в нескольких письмах рекомендовал Екатерине проявить «умеренность» и даже предлагал свои услуги в качестве посредника, намекая на различие интересов в таком многосложном деле, как заключение мира[236]. Совершенно очевидно, что подобная позиция Фридриха пришлась не по душе Екатерине. Однако несколько акций короля облегчили императрице достижение желаемых результатов. К ним относится благосклонное отношение Пруссии к выборам королем Речи Посполитой ставленника России Станислава Понятовского, отзыв по требованию Екатерины прусского посла из Стамбула, действия которого были направлены к разжиганию вражды между Османской империей и Россией. Союзнические отношения России с Пруссией приносили выгоды и последней; так, Пруссия

получила привилегии в торговле через морские порты, принадлежавшие Речи Посполитой, а также участвовала в первом разделе Польши.

К 80-м годам XVIII века ресурсы, из которых союзники могли извлекать взаимные выгоды, были исчерпаны. Дело в том, что взоры Екатерины были прикованы к югу страны, она стремилась овладеть Крымом и укрепить свои позиции на Черном море. Здесь Пруссия могла оказать только дипломатическую поддержку, в то время как Австрия, неизменный противник Османской империи, могла поддержать Россию собственными силами. Происходит внешнеполитическая переориентация: на смену так называемой Северной системе, в которой центральное место занимали Россия и Пруссия, пришел союз России и Австрии. Начало сближению этих государств положил визит в Россию Иосифа II, его беседы с Екатериной, завершившиеся в 1781 году установлением союзнических отношений, формально не закрепленных договором. Вместе с изменением внешнеполитического курса изменились и лица, его возглавлявшие: Панин, придерживавшийся прусской ориентации, должен был уйти в отставку.

Наиболее значительной дипломатической акцией Екатерины следует признать присоединение Крыма.

Соперничество в Крыму между Россией и Османской империей началось с Кючук-Кайнарджийского мира, когда Крымское ханство было объявлено независимым от Османской империи. Но этот договор носил чисто формальный характер: турки смотрели на мир с Россией как на передышку для накопления сил, чтобы возобновить борьбу за Крым. В борьбе за него турки использовали самые разные методы: и смещение неугодных им ханов, и грубое нарушение условий Кючук-Кайнарджийского мира. Так, туркам удалось посадить на ханский трон своего ставленника Девлет-Гирея. Лишь в 1777 году Суворов, возглавивший русские войска в Крыму, сумел добиться изгнания Девлет-Гирея и вскоре торжественно встретил избранного на Кубани ханом Шагин-Гирея, ставленника России. Но султанский двор не ограничивался интригами и засылкой в Крым своих агентов: он отказывался от уплаты контрибуции, предусмотренной Кючук-Кайнарджийским миром, запрещал русским торговым судам входить из Архипелага в Черное море и т. д. Наконец в 1782 году хан Шагин-Гирей при поддержке османов был свергнут своим братом Батыр-Гиреем и бежал под защиту русских войск в Керчь. События показали, что Крымское ханство не могло существовать в качестве суверенного государства и что оно оставалось постоянным объектом

соперничества между более сильными соседями. Разрубить этот узел можно только одним способом — присоединить Крым к России.

Особенно ослабел Крым после того, как Суворов переселил 32 тысячи христиан (греков и армян) на материк, где они основали такие города, как Мариуполь, Нахичевань и другие. Так как греки и армяне занимались преимущественно торговлей, то ханская казна лишилась своего главного источника дохода в виде таможенных пошлин.

Инициатором и исполнителем плана присоединения Крыма к России стал Г. А. Потемкин. Еще в конце декабря 1782 года он убеждал императрицу в необходимости присоединения Крыма, который, по его словам, «положением своим разрывает наши границы». Кроме того, присоединение Крыма к России сулило несколько выгод: предоставляло свободу плавания на Черном море, освобождало Россию от содержания на полуострове множества крепостей, удаленных от материка. Но убеждать императрицу в целесообразности присоединения Крыма не было резону, ибо она прекрасно понимала, во сколько возрастет ее слава в результате подобного события. Екатерина сама несколько раз напоминала Потемкину о его замысле.

30 мая 1783 года она писала князю: «Дай Боже, чтоб татарское или, лучше сказать, крымское дело скоро кончилось»; 9 июня: «Не мешкай с занятием Крыма»; 13 июня: «Желательно, чтоб ты скорее занял Крым, дабы супротивники как-нибудь в чем излишнее препятствие не учинили»[237].

Но у Потемкина были веские мотивы не спешить — он считал более выгодным для России, чтобы «бородавка на носу», как он называл Крым, была ликвидирована неоперационным путем, то есть без применения оружия. Императрицу он извещал: «Я сторонник, чтобы они сами просили подданства, думаю, что тебе то угоднее будет». На этот раз Потемкин оказался прозорливее Екатерины, вероятно, потому, что имел возможность наблюдать события в Крыму с близкого расстояния.

Хан Шагин-Гирей, посаженный на трон Суворовым, вскоре вынужден был бежать от преследований своего очередного соперника в Петровскую крепость под защиту русских войск. Бывший хан справедливо рассудил, что куда предпочтительнее жить на полном пансионе императрицы, чем коротать время в далекой Сибири в качестве ссыльного. Тем более что Екатерина, получив известие об отречении хана, дала Потемкину такие указания: «Хан отказался от ханства. И о том жалеть нечего, только прикажите с ним обходиться ласково и со почтением, приличным владетелю, и выдать то, что ему назначено».

Оформление присоединения Крыма к России должно было последовать после того, как Шагин-Гирей покинет полуостров. Но бывший хан медлил с отъездом, рассчитывая на то, что у него за рубежом появятся защитники. Таковых, однако, не оказалось.

Наконец, 10 июля императрица получила от Потемкина долгожданную депешу: «Я чрез три дни поздравляю вас с Крымом. Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все»[238].

Одновременно с крымскими татарами присягнули на верность России ногайские. Церемония состоялась в небольшой крепости в устье реки Ей — Ейском укреплении, являвшемся ставкой Суворова. Там собралось около шести тысяч крымских и ногайских татар. Началось празднество, продолжавшееся три дня. Было съедено сто быков, восемьсот овец, выпито пятьсот ведер простой водки.

Шагин-Гирей объявил, что он добровольно слагает с себя ханское достоинство, дает право избрать себе преемника, а сам решил вести частную жизнь.

Так был присоединен Крым. Суворов в награду получил орден святого Владимира первой степени, а Потемкин — звание фельдмаршала и Таврического генерал-губернатора. Не оставлен был без наград и Шагин-Гирей — размер его пенсиона составлял 200 тысяч рублей в год; императрица обещала соблюдать в неприкосновенности веру новых подданных. Все доходы (таможенные, соляные, а также поземельные) разрешалось расходовать на нужды края.

В сентябре 1783 года Екатерина писала Потемкину: «Теперь ожидаю с часу на час объявления войны по интригам французов и пруссаков». Но война в том году объявлена не была[239].

Вторая война с Османской империей (1787–1791) началась неожиданно как для нападавшей стороны, так и для защищавшейся. Во всяком случае, следов какой-либо тревоги по поводу грозящего нападения отечественные источники не сохранили. Если бы в Петербурге было известно, что османы готовились к нападению, то Екатерина вряд ли предприняла рискованное в этом случае путешествие в Крым. Но из этого следует, что открывшиеся военные действия явились плодом усилий третьей силы, энергично толкавшей Османскую империю на путь реванша — происков англо-прусской дипломатии; Англия, безраздельно господствовавшая во внешней торговле России на Балтийском и Белом морях, ревниво следила за утверждением ее на Черном море, которое превращалось в важный путь сбыта русских товаров; Пруссия же, будучи заинтересованной в ослаблении влияния России в Европе,

затрачивала немало сил, чтобы втянуть ее в военный конфликт.

Тучи сгустились внезапно на казавшемся безоблачным небе — в июле 1787 года русский посланник Булгаков был приглашен в Диван, где от него потребовали отказа России от покровительства над царем Картлийским, выдачи молдавского господаря Маврокордато, которому Россия предоставила убежище, предоставления Османской империи права держать в Крыму консулов. Не прошло и трех недель, как Булгакова вновь призвали на заседание Дивана, где ему было предъявлено самое несуразное требование — возвратить Крым Турции и отказаться от условий Клочук-Кайнарджийского мира. Не ожидая ответа на этот ультиматум, Порта 13 августа объявила России войну, а ее посланника по традиции отправила в Семибашенный замок. России ничего не оставалось, как Манифестом 7 сентября 1787 года объявить войну Османской империи.

Продолжавшаяся четыре года война велась с разной интенсивностью, сопровождалась то мелкими стычками на суше и на море, то вылазками, то грандиозными осадами крепостей и полевыми сражениями с участием огромного числа солдат и офицеров.

Поскольку обе стороны не были готовы к началу активных военных действий, то в течение двух первых лет они протекали вяло и усилия воевавших сторон были сосредоточены на концентрации войск и подготовке к грядущим сражениям.

Никто из современников не сомневался в победоносном для России исходе войны. Османский флот, как и сухопутная армия уступали вооруженным силам России по всем параметрам: войска были плохо вооружены и еще хуже обучены, отсутствовали знающие военное дело офицеры. Такие вооруженные силы не могли противостоять регулярной армии России, располагавшей и более совершенной артиллерией, и современной выучкой солдат и офицеров, и талантливыми полководцами и флотоводцами. Единственное преимущество Османской империи состояло в том, что она могла мобилизовать во много раз более многочисленную, чем Россия, армию. Но численный перевес в XVIII веке уже не имел того значения, которое обеспечивало османам победы в XVI и XVII веках. Теперь исход сражений зависел от выучки, дисциплины, стойкости в бою, то есть от тех качеств, которых как раз и недоставало османской армии, укомплектованной из покоренных османами народов. Если к этому присовокупить высшую степень коррумпированности правительственного аппарата и военного механизма, то станет понятной и безуспешность попыток модернизировать османскую армию путем использования иностранных, преимущественно

французских офицеров.

Не сомневалась в успехе и Екатерина; за сдержанными фразами ее письма к Гримму от 25 ноября 1787 года видна уверенность в скором заключении победоносного мира: «Я убеждена, что два мои фельдмаршала (Румянцев и Потемкин. — Н. П.) справятся очень хорошо; я вполне верю в их способности и искусство и льщу себя надеждой, что и они в меня верят. Люди остались те же, что и в прежние войны; средства те же, а потому и не вижу, от чего бы нам много хандрить; может быть туркам и есть от чего, а нам не от чего»[240]. Императрица явно переоценила свои возможности, война приняла затяжной и изнурительный характер и потребовала от России огромных усилий для достижения желаемого мира.

Еще Россия не объявила войны, а Османская империя открыла против нее военные действия: турецкий флот, сосредоточенный у Очакова, напал на расположенную поблизости слабо укрепленную крепость Кинбурн и обстрелял ее. В Кинбурн прибыл А. В. Суворов. 30 сентября турки предприняли усиленную бомбардировку крепости и, полагая, что гарнизону нанесен значительный урон, на рассвете 1 октября высадили пятитысячный десант отборных янычар. Суворов великолепно знал слабые стороны турецкой армии, ее уязвимость в полевом сражении и предоставил туркам возможность беспрепятственно высадить десант, а затем атаковал его. Операция закончилась разгромом десанта, лишь небольшой ее части удалось достичь кораблей. Под пером Суворова бегство десанта с полуострова выглядит так: они «так на шлюпки бросились, что многие из них тонули, а с излишне нагруженными людьми також одна шлюпка по примечанию утонула». Сам Суворов был ранен и контужен, но не покинул поле боя[241]. Победой при Кинбурне военные действия в 1787 году не ограничились. Кампания этого года принесла успехи и за Кубанью. Но русский флот в это же время постигла крупная неудача. Начавшийся 8 сентября сильнейший шторм фактически уничтожил с огромным трудом созданный Черноморский флот. Потеря настолько огорчила его создателя, что Потемкин предложил оставить Крым и Севастополь. Екатерина вынуждена была решительно отклонить подобное намерение. «На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу, — писала она Потемкину. — Об нем идет война и, есть-ли сие гнездо оставить, тогда и Севастополь и все труды и заведения пропадут, и паки восстановятся набеги татарские на внутренние провинции…»[242]

Кампания 1788 года не принесла осязательных результатов воевавшим сторонам: вылазки и стычки не могли победоносно

завершить войну. Они лишь демонстрировали отвагу и воодушевление русских воинов. Примечателен в этом плане эпизод, случившийся с капитаном Сакеном, отправленным в шлюпке из Херсона в Кинбурн с каким-то донесением. Перед рискованным возвращением обратно в Херсон Сакен сказал командиру Козловского полка Маркову: «Мое положение опасно, но честь свою спасу. Когда турки атакуют меня двумя судами — я возьму их; с тремя — буду сражаться; от четырех — не побегу. Но если нападут более, тогда, прощай Федор Иванович — мы уже более не увидимся». Свое обещание капитан сдержал — будучи атакован тринадцатью неприятельскими кораблями, он сражался до последнего, велел оставшимся в живых матросам оставить шлюпку, а сам взорвал пороховую бочку: погиб сам, но был разнесен в щепы и приблизившийся к шлюпке неприятельский корабль[243].

Самым неприятным и в известной мере неожиданным событием этого времени для Екатерины стало объявление войны России Швецией. Шведский король не пользовался высоким авторитетом у русской императрицы, хотя внешне отношения между ними выглядели благопристойными. В 1777 году шведский король Густав III нанес Екатерине неофициальный визит в Петербург, где в течение месяца предавался увеселениям, за которые, кстати, он и заслужил нелюбовь своего народа. Король посещал спектакли, Смольный институт, Кадетский корпус, Академию наук. В знак любезности Екатерина даже отменила празднество 27 июня в связи с юбилеем Полтавской битвы.

Прибыв на родину, король расточал комплименты в адрес императрицы: «Я в величайшей монархине узнал самую любезную женщину своего времени». Но «величайшая монархиня» была отнюдь не в восторге от короля, подлинное мнение о нем она скрывала, а в письме к Бьельке откровенно поделилась своими впечатлениями: «Я вижу, что молодой шведский король не придает никакого значения самым торжественным клятвам и уверениям своим… Никогда ни в какой стране законы не были так почитаемы, как в Швеции при этом случае, и я вам ручаюсь, что этот король такой же деспот, как сосед мой султан». В другом письме к той же Бьельке Екатерина высказывала подозрение относительно планов северного соседа: «Этот молодой шведский король, которого вы считаете благоразумным, не таков по моему; он вел в Норвегии тайные интриги, которые открылись и дают мало веса его словам: я по всему вижу, что он не уважает своих заверений… для него нет ничего святого, после этого доверяйте ему, если можете»[244]. Недоброжелательно о Густаве она отзывалась и в письме к Гримму: «Нет, нет, Густав не создает, он

не животворит лучшие плоды, тождественные на навозной земле, когда в нее положено семя. Густав и его сподвижники удобряют только собственным навозом. Конечно, и тут есть создание и зарождение, но такое, как во многих зарождениях — то есть без всякой мысли»[245]. Самый резкий отзыв о Густаве III встречаем в письме к Гримму от 28 мая 1788 года: «Мой многоуважаемый брат и сосед, тупица затевает вооружение против меня на суше и на море». Подозрительное отношение к Густаву подтверждают и письма императрицы к русским корреспондентам. Н. И. Панину она писала в 1771 году: «Я не столь отзывалась утвердительно на добрые диспозиции короля, чтоб не должно нам бденным оком». Необязательность короля, его продажность императрица подчеркивала и в письме к Потемкину в 1787 году: «Король шведский будет в кармане того, кто ему даст денег»[246].

В этих отзывах и характеристиках императрица опустила едва ли не главный порок короля — его необузданное честолюбие и тщеславие. Жажда славы, стремление походить на своих воинственных предков Карла X и Карла XII порою лишали его здравого смысла и овладевали им настолько, что он готов был ринуться на самые авантюрные дела. Миролюбие короля, сменяемое бряцанием оружия, ставило иногда отношения между соседями на грань войны, к счастью, не состоявшейся.

Густаву казалось, что в 1788 году наступил благоприятный момент для Швеции, чтобы напасть на Россию; он надеялся выиграть войну и вернуть провинции, некогда отвоеванные у нее Петром Великим. Ситуация, однако, оказалась более сложной и противоречивой, чем рассудил легкомысленный Густав III.

Выбор времени для нападения казался удачным прежде всего потому, что основные силы России были прикованы к русско-турецкому театру военных действий. Север страны, в том числе столица империи Петербург оказались без защиты. Это главный козырь в расчетах короля. Но он, несмотря на свое легкомыслие, быть может, и не рискнул бы открыть военные действия, если бы не щедрые посулы военной и финансовой помощи, обещанной Пруссией и Англией.

Натянутые, а порой и враждебные отношения между Англией и Пруссией, с одной стороны, и Россией, с другой, берут начало с 1780 года, когда Екатерина совершила два недружелюбных поступка по отношению к обоим государствам — объявила Декларацию о вооруженном нейтралитете, о которой в Лондоне хорошо помнили и восемь лет спустя, и отказалась пролонгировать союзный договор с Пруссией, переориентировавшись в своей внешней полйтике на извечного врага Пруссии Австрию. На этот счет императрица писала

Потемкину: «Англичане и пруссаки нам вражествуют, и где могут умалить ее (Екатерины. — Н. П.) славу и отвратить от нее умы и сердца, тут не оставят отложить труда, а если сыскать могут, кто бы ее убил, то и сие не оставят»[247].

Помимо прочего оптимизм шведского короля подогревал и шведский посол в Петербурге Нолькен, в каждой депеше убеждавший Густава III в бессилии России, в отсутствии возможностей для продолжения успешной войны России с одной Турцией, в слабости ее флота, укомплектованного новобранцами.

Но Густав III, избрав лето 1788 года для нападения на Россию, допустил крупные просчеты отчасти по легкомыслию, отчасти потому, что не мог предусмотреть развития событий в Западной Европе. Один из его просчетов состоял в том, что он объявил войну до отправки русского флота в Средиземное море. Если бы Густав объявил войну России после отбытия эскадры, то Кронштадт, Петербург и юг Балтики оказались бы беззащитными перед сильным шведским флотом.

Густав III, разумеется, не мог предвидеть и революционного взрыва во Франции, вынудившего прусского короля Фридриха-Вильгельма II отказаться от нападения на Россию — ему пришлось думать о сохранении собственного трона. Кроме того, Густав не учитывал дипломатических талантов русского посла в Лондоне С. Р. Воронцова. В отличие от Нолькена, своими донесениями дезориентировавшего шведского короля, С. Р. Воронцов, в тонкости постигший расстановку политических сил в Англии, умело использовал антивоенные настроения части парламентариев и заинтересованного в торговле с Россией английского купечества и сумел парализовать агрессивные намерения главы английского правительства Питта. Тому удалось лишь сколотить Тройственный Союз (Англия, Пруссия, Голландия), направленный против России, запретить русским кораблям заходить в английские порты, продавать экипажам кораблей продовольствие и, наконец, наниматься английским матросам на русскую службу.

Сколь успешно и умело действовал Воронцов, явствует из писем к нему третьего лица в Коллегии иностранных дел А. И. Моркова. 23 апреля 1791 года Морков писал Воронцову: «Я восхищен вашей деятельностью в столь сложных обстоятельствах». 6 июня он сообщил и об одобрении императрицы: «Императрица могла руководствоваться правилами мужества и настойчивости главным образом вследствие ваших донесений»[248]. Высокую оценку деятельности своего представителя в Лондоне Екатерина подкрепила увеличением ему жалованья на шесть тысяч рублей в год.

Наконец, Густав III не учитывал характер Екатерины, ее стойкость и волю к сопротивлению. Он полагал, что «самая любезная женщина своего времени», до слуха которой донесутся первые артиллерийские залпы шведских кораблей, незамедлительно запросит мира, но ошибся — императрица оказалась не только любезной, но и стойкой дамой, не терявшейся в сложной обстановке.

Замыслив войну с Россией, Густав должен был преодолевать еще одно препятствие. Дело в том, что по конституции королю было дано право вести оборонительную войну и запрещено выступать агрессором, то есть нападающей стороной. Король придумал самое примитивное средство для преодоления этого препятствия: он велел переодеть своих солдат в русскую форму и отправить их в Финляндию, где те принялись безнаказанно бесчинствовать: грабить население, сжигать деревни, уводить скот и т. д. Этой провокацией король предоставил себе право объявить России войну, поскольку Швеция будто бы оказалась жертвой русской агрессии.

Густав III намеревался извлечь из этой инсценировки еще одну выгоду: Россия находилась в союзе с Данией, обязавшейся вступить в войну на стороне России, если та подвергнется нападению третьей державы. Поскольку инсценировка давала повод считать нападавшей стороной Россию, то, рассчитывал Густав III, она лишится военной помощи Дании. Этот расчет короля также провалился — в сентябре Дания объявила войну Швеции, но под угрозой нападения Англии прекратила военные действия.

В июне 1788 года шведы без объявления войны осадили крепости Нейшлот и Фридрихсгам. Только 1 июля Густав объявил войну России. Ультиматум, предъявленный Петербургу, кажется настолько смешным и странным, что заслуживает подробного изложения. Должно заметить, что повод для демарша Густаву предоставил русский посол в Стокгольме граф А. К. Разумовский. Будучи осведомленным о подготовке Швеции к войне и зная о том, что это нападение не одобряется оппозицией в парламенте, он обратился к ней с призывом противодействовать враждебной акции против России. Разумовскому инкриминировалось вмешательство во внутренние дела Швеции, стремление «отделить короля от народа». Послу было предложено покинуть Стокгольм в течение недели. Екатерина отреагировала немедленно и предложила выехать из Петербурга шведскому послу Нолькену.

Надо признать — Разумовский действовал вопреки нормам международного права даже того времени. Вмешательство во

внутренние дела соседей — Речи Посполитой, Османской империи и Швеции — входило в арсенал русской дипломатии, и она широко пользовалась им, прибегая к подкупам, угрозам, интригам и т. д. Поэтому Густав имел серьезные основания для того, чтобы выпроводить русского посла из Швеции. Однако прочие требования короля либо вызывали язвительную улыбку, либо доказывали, что король пребывал в мире иллюзий и никак не хотел считаться с реалиями.

Король потребовал наказания Разумовского «примерным образом», а также возвращения Швеции земель в Финляндии и Карелии, закрепленных за Россией Ниггадтским и Абовским договорами, и принятия шведского посредничества в войне России с Османской империей, причем заранее оговаривалось восстановление границ между ними, существовавших до 1768 года, то есть возвращение Турции Северного Причерноморья, Крыма и части Грузии. Заканчивалась нота ультимативным требованием: «Король желает знать: да или нет и не может принять никаких изменений в этих условиях, не нарушая интересов и достоинства своего народа».

Когда императрица спросила мнение о содержании ноты французского посла Сегюра, тот ответил: «Мне кажется, государыня, что шведский король, очарованный обманчивым сном, вообразил себе, что уже одержал три значительные победы». «Если бы он в самом деле одержал три значительные победы, — возразила императрица горячо, — если бы даже овладел Петербургом и Москвою, я бы ему показала еще, что может сделать во главе храброго и преданного народа решительная женщина на развалинах великой империи»[249].

О степени самонадеянности короля, его неукротимой вере в успех начатого дела, о его мании величия можно судить по его письму к своему другу барону Армфельду, отправленному 24 июня 1788 года: «Мысль о великом предприятии, которое я затеял, весь этот народ, собравшийся на берег, чтобы проводить меня и за который я выступал мстителем, уверенность, что я защищу Оттоманскую империю и что мое имя сделается известным в Азии и Африке, все эти мысли, которые возникли в моем уме, до того овладели моим духом, что я никогда не был так равнодушен при разлуке, как теперь, когда иду на грозящую гибель».

Исход войны предугадать было нетрудно — ясно, что небольшая страна с населением, немногим превышающим два с половиной миллиона человек, поднявшая меч против великана, способного выставить полумиллионную армию, должна была потерпеть поражение. Правда, победа России далась нелегко, но

не вследствие отваги шведских войск и их предводителя, а потому, что Россия располагала на севере малочисленным войском и совсем не располагала талантливыми полководцами: цвет русской армии, ее опытные военачальники — Румянцев, Суворов и другие — действовали против Османской империи. Короче, русско-шведской войне 1788–1790 годов неведомы ни громкие победы на суше, ни крупные поражения: война протекала вяло, сопровождалась в большинстве своем мелкими стычками малочисленных отрядов на суше. Главные события войны происходили на море.

Пассивность русских войск и отсутствие значительных побед на суше объяснялись, с одной стороны, небольшим числом войск, участвовавших в сражениях (Екатерине удалось наскрести для этого театра войны лишь 12 тысяч человек, и только к концу войны их число увеличилось до 20 тысяч), а с другой — абсолютной бездарностью командовавшего русскими войсками генерал-аншефа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина — сына известного сподвижника Петра Великого Платона Ивановича Мусина-Пушкина.

Императрица знала, что Мусин-Пушкин, хотя и сделал карьеру не на придворной, а на военной службе, дарованиями полководца не обладал. Тем не менее она назначила его главнокомандующим за неимением других военачальников. Ее отзывы о Мусине-Пушкине столь противоречивы, что, кажется, будто принадлежат двум разным лицам. Они заслуживают внимания уже потому, что дополняют новыми штрихами портрет императрицы. Вот что писала Екатерина Г. А. Потемкину, в письмах к которому она могла не лукавить, 6 сентября 1788 года: «Сей нерешимый мне весьма надоел»; 17 сентября 1789 года: «Графом В. П. Пушкиным я весьма недовольна по причине нерешительности его и слабости: он никаким авантажем не умеет воспользоваться, он одним словом дурак… А ему, Пушкину, впредь не командовать, понеже не умеет»; 22 сентября того же года: «Я ничем не могу жаловаться, окромя глупым, унылым и слабым поведением Пушкина и его интриганского генералитета, который перетасовать надобно, а ему, Пушкину, впредь не командовать, понеже не умеет»; 19 октября: «Здесь прекрайняя нужда в финляндской армии в генерале, понеже Пушкин, быв в двух кампаниях, показал свое несмыслие»; 15 ноября: «В Финляндии начальника переменить крайне нужно. Ни в чем на теперешнего положиться нельзя»[250].

В то же время императрица отправляла Пушкину рескрипты с выражением удовлетворения и благодарности за его умелые действия. Так, Пушкин прочитал в письме Екатерины слова

одобрения за его ответ на непристойный тон послания шведского генерала: «Приемлем за благо образ, каковым вы на сие требование ответствовали». По поводу занятия русскими войсками Гексфорса 16 сентября 1788 года: «Полную справедливость отдаем тут вашим трудам и стараниям, быв удовлетворены, что оными и дальнейшие успехи способствуемы будут». В связи с ремонтом Фридрихсгамской крепости: «Мы имеем добрую надежду, что вы таким образом все устроили, что неприятель не токмо встретит для себя урон, где он в пределы наши вторгнуться покусится, но и сам еще от наших войск озабочен будет»; 2 июня 1789 года Екатерина поздравила Пушкина с вступлением русской армии на финскую территорию, причем успех она отнесла к «благоразумным вашим распоряжениям». Последнюю благодарность Пушкину императрица выразила 14 июля: в рескрипте она писала «о добрых распоряжениях ваших».

В последующих рескриптах появляются нотки недовольства действиями главнокомандующего, выраженные поначалу в такой деликатной форме, что о них можно догадываться, лишь зная манеру обращения императрицы с подчиненными. Так, в послании, отправленном в августе, Екатерина поучала Пушкина, чтобы им для достижения цели «всемерное предложено было старание», чтобы «всякий главный начальник обратил рвение и внимание»; в рескрипте от 1 сентября отчетливо виден явный упрек: «Полагали мы, что вы между тем по крайней мере употребите старание ваше тревожить неприятеля частыми и значущими поисками», но «к сожалению нашему» сделано было только две попытки в этом направлении, так что императрица «с прискорбием» отмечала потерянное время. В результате «неприятель успел отвратить гибель, ему предстоявшую, своим отступлением». У императрицы еще теплилась надежда, что главнокомандующий не упустит «воспользоваться всяким случаем к одержанию над неприятелем поверхности, к нанесению ему ощутительных ударов».

Раздражение неумелыми действиями Пушкина нарастало, и уже рескрипт от 7 сентября начинался с упрека: главнокомандующий вместо того, чтобы энергично выполнять предписание от 1 сентября, продолжал терять время в бесплодной переписке, хотя «в военном же ремесле, — поучала императрица генерала, — всего более не должно тратить времени» впустую. Получив такой рескрипт, Пушкин должен был немедленно подать прошение об отставке, но подобное решение не приходило ему в голову, и он решился на этот шаг почти три месяца спустя. 29 декабря 1789 года Екатерина известила Пушкина, что «в

рассуждении болезненных ваших припадков» ему дозволено прибыть в Петербург. В столице он оказался 5 января 1790 года и, согласно Дневнику Храповицкого, ему был оказан «худой прием».

Почему же Екатерина столь долго проявляла снисходительность к человеку, явно не соответствовавшему занимаемой должности? Отчасти она вынуждена была мириться с этим по причине, ранее отмеченной, — из-за отсутствия опытных генералов. В этой связи не лишне напомнить, что и И. П. Салтыков, сменивший Пушкина, по отзыву той же императрицы, был человеком «глупым и упрямым». Другую причину нерешительности назвала сама Екатерина: «К крайности приступить так же не хочется, понеже я ему персонально обязана»: «обязана» же Екатерина Пушкину была участием в перевороте 1762 года. Признательность императрицы за некогда оказанную услугу похвальна, но должно отметить, что тем самым она несет долю ответственности за бездарные действия главнокомандующего, приводившие к лишним потерям солдатских жизней.

Начало войны обнаружило в шведском короле немало странностей. «Просто неслыханные вещи рассказывают про шведского короля, — писала Екатерина Гримму 7 июля 1788 года. — Представьте, говорят, будто он хвастает, что приедет в Петербург, велит низвергнуть конную статую Петра I, а на ее место поставит свою». Отъезжая из Стокгольма, король заявил дамам, что надеется дать им завтрак в Петергофе[251].

Хвастливые заявления сопровождались столь же странными действиями. 21 июня шведы заняли предместье Нейшлота и осадили слабую крепость, защищаемую горсткой русских войск. На предложение короля сдать крепость комендант Нейшлота ответил: «Я без руки, не могу отворить ворот; пусть его величество сам потрудится». Подвергнув бомбардировке замок, король оставил намерение овладеть им. Это дало основание Екатерине в письме к Потемкину съязвить: «Нейшлот не шведов боится, но шведы Нейшлота»[252].

Кампания 1788 года ознаменовалась единственным более или менее важным событием: морским сражением двух флотов у острова Готланда, состоявшимся 6 июля. Сражение закончилось вничью: русские пленили адмиральский корабль шведов, а шведы завладели такого же типа русским кораблем. Обе стороны считали себя победителями, и по этому случаю в столицах отслужили благодарственные молебны. Впрочем, у императрицы было больше оснований отмечать победу, во-первых, потому что в составе экипажа корабля «Принц Густав» находился оказавшийся в плену вице-адмирал; во-вторых, эскадра шведов оставила место

сражения и под покровом ночи укрылась в Свеаборге. Шведские корабли свыше трех месяцев не выходили в открытое море, капитально ремонтируя поврежденные суда.

Кампания 1789 года, как, впрочем, и следующего, не отличалась интенсивными боевыми действиями. Главные события по-прежнему развертывались на море, где в июле 1789 года русская эскадра под командованием адмирала Чичагова нанесла поражение шведскому флоту, а в августе принц Нассау, командовавший русскими гребными судами, разгромил часть шведского гребного флота. Однако обе победы не оказали решающего влияния на ход войны.

Морские сражения, на которые уповала Швеция, не принесли им желаемого успеха и в 1790 году. В мае Балтийский флот Швеции, имея тройное превосходство в численности кораблей, напал на эскадру Чичагова, стоявшую в Ревеле. Накануне сражения Чичагов заявил: «Не проглотят они нас». Действительно, сражение закончилось не в пользу шведов — потеряв несколько кораблей, они ушли в море.

Король не достиг желаемого результата и при попытке овладеть Фридрихсгамом: он отправил парламентера с предложением сдаться, но, обнаружив подход русских подкреплений, снял осаду и удалился на гребных судах от города. Еще одну неудачу король испытал под Выборгом, где шведский флот был блокирован эскадрой Чичагова, который решил заморить неприятеля голодом. Королю оставалось либо сдаться, либо проявить отчаянную решимость и выйти из окружения. Густав III решил прорвать кольцо блокады. Плена ему избежать удалось, но во время прорыва из окружения почти полностью был уничтожен флот Швеции, в плену оказалось более пяти тысяч шведских матросов. Этот успех был омрачен крупной неудачей, постигшей принца Нассау, командовавшего русской гребной флотилией. Флотилия оказалась под огнем береговой артиллерии шведов: 55 гребных судов с шестью тысячами экипажа оказались в шведском плену. Виновник неудачи, принц Нассау, подал прошение о лишении должности, всех чинов, званий и орденов. Екатерина утешила огорченного поражением вице-адмирала: «Я не забыла, что вы семь раз были победителем на юге и на севере. Сей же раз была буря, которая противоборствовала вашему предприятию и которая обычна человеку, находящемуся в морской службе. Вы мне служили, еще служите и впредь будете служить, дабы урон сей наградить». Гримма императрица заверяла, что Нассау потерпел поражение не от флотилии короля, а вследствие сильного ветра[253].

Этот успех дал повод Густаву III обратиться с личным

посланием к Екатерине с предложением мира. Нужда в нем была велика: шведская казна истощилась, война не пользовалась популярностью ни в армии, ни в народе, среди которого раздавался ропот недовольства. Если к этому прибавить, что надежды на присылку английского флота в Балтийское море не оправдались, то тяга короля к миру станет понятной. Жаждала мира и Екатерина: война на два фронта тоже опустошила казну; кроме того, угроза со стороны Пруссии могла превратить войну на два фронта в войну на три фронта.

Переговоры начались в июле 1790 года и протекали довольно успешно, поскольку России удалось избежать посреднических услуг Англии и Пруссии, заинтересованных в продолжении войны. 3 августа был заключен Верельский мирный договор, оставлявший неизменными границы государств. Следовательно, в войне, продолжавшейся свыше двух лет, Густав III не добыл славы воителя, о которой горячо мечтал, не расширил границ своего государства за счет России и, наконец, не удовлетворил своих претензий на роль защитника османских интересов. Зато он основательно разорил страну. Единственная выгода, извлеченная королем из войны, состояла в том, что Россия отказалась от требования восстановления порядков, существовавших в Швеции до переворота 1772 года, когда Густав узурпировал у парламента часть его прав в свою пользу.

Радостью по поводу заключения мира императрица поделилась с Потемкиным. 9 августа она ему писала: «Одну лапу мы из грязи вытащили, а вытащим другую, то пропоем Аллилуйя». Мир избавил императрицу от необходимости держать пятьсот лошадей на случай эвакуации из столицы; напряжение исчезло, и Екатерина стала набирать вес в прямом, а не только в переносном смысле: «Мои платья все убавляли от самого 1787 года, а в сии три недели стали узки становиться, так что скоро паки прибавить должно меру; я же гораздо веселее становлюсь»[254].

Вернемся, однако, к изложению главнейших событий русско-турецкой войны. Напомним, что мы остановились на начальной стадии войны, когда Суворов одержал блестящую победу у Кинбурна.

В кампании 1788 года успехи чередовались с неудачами, причем последние падали на долю союзницы России Австрийской империи, которая вступила в войну зимой 1788 года. 10 февраля Екатерина извещала Потемкина: «Вчера получен из Вены курьер с ведомостью, что цесарь объявил туркам войну». Известие вызвало нескрываемую радость императрицы, что отметил ее личный секретарь Храповицкий: «С удовольствием сказывали, что

император объявил туркам войну»[255].

Австрия мобилизовала значительные силы: 246 тысяч пехоты, 36 тысяч конницы, 898 орудий. Император Иосиф II командовал армией в 125 тысяч пехоты. Именно ведомые императором войска терпели одно поражение за другим. Объяснялось это тем, что Иосиф II придерживался кордонной системы, предполагавшей сосредоточение армии не в одном месте, а по всей линии фронта: турки без труда громили разрозненные силы австрийцев, что дало основание Потемкину заявить: «Цезарь повел войну странную, истощил армию свою на оборонительном положении и везде, где сам присутствует, с лутчими войсками был бит. Многие его корпусы бежали, не видав неприятеля». Однако там, где австрийцы действовали совместно с русскими войсками, союзники добивались успеха. Так случилось при осаде Хотина. Крепость настолько плотно была осаждена, что турки, лишившись продовольствия и пороха, сгоревших во время бомбардировок, стали испытывать голод и вынуждены были капитулировать. Граф Румянцев-Задунайский, командовавший Украинской армией, выразил недовольство принятыми условиями капитуляции: гарнизону было предоставлено право выйти из крепости с развернутыми знаменами; войска, осаждавшие крепость, взяли на довольствие гарнизон и местное население, предоставили подводы местным жителям, выезжавшим из крепости. Потемкин был настроен более миролюбиво: «Как бы они (условия капитуляции. — Н. П.) худы ни были, хорошо однако же, что Хотин сдался»[256]. Был взят и Очаков, о чем подробно будет рассказано в главе, посвященной Потемкину.

Зима 1789 года прошла спокойно. Но зато в этом году произошло событие, не лучшим образом характеризующее императрицу. Выше мы имели случай познакомиться с тактичным и терпеливым отношением Екатерины к бездарным действиям командовавшего армией в войне со Швецией Пушкина; проявила императрица великодушие и к боевому вице-адмиралу Нассау, погубившему гребной флот. Но совсем по-другому отнеслась Екатерина к прославленному полководцу Румянцеву. В его судьбу вмешался Потемкин, решивший, что Румянцев является ему помехой. Граф Сегюр отметил напряженные отношения между ними еще в 1787 году. «Лицо этого маститого и знаменитого героя, — писал он о Румянцеве, — служило выражением его души; в нем видна была и скрытность, и гордость, признаки истинного достоинства; но в нем был отгенок грусти и недовольства, возбужденного преимуществами и огромным значением Потемкина. Соперничество во власти разъединяло этих двух военачальников; они шли, борясь между славою и

милостью, и, как всегда почти бывает, восторжествовал тот, кто был любимец государыни»[257]. В угоду Потемкину Екатерина объединила Украинскую армию, которой командовал Румянцев, и Екатеринославскую, находившуюся под командованием Потемкина, в одну, причем командование ею вверила Потемкину. Румянцев оказался не у дел; он жил в Яссах, мозоля глаза Потемкину.

Князь потребовал, чтобы Румянцев был выдворен из Ясс — подальше от действующей армии, в которой старый полководец пользовался огромным авторитетом, и императрица стала послушно выполнять волю своего фаворита: «Графа Румянцева, — писала она Потемкину 17 сентября 1789 года, — всячески стараются вывести из Молдавии, и естьли инако нельзя, то напишу к нему письмо, чтоб непременно выехал из Молдавии, а команду за верно ему не поручу». Старик оставался в Бессарабии в надежде быть полезным армии. Потемкин настаивал на своем. «Граф Румянцев, — писал он Екатерине в декабре 1789 года, — изволит находиться под Яссами безо всякой необходимости. Болезнь его не видна, но его охота говорить и собирать вести много делает каверз. Я все сносил, но теперь говорю, открывая мои обстоятельства и не в жалобу, а чтоб при сем сказать, что он может жить в тягость делам. А я бы на его месте не смел сего делать».

8 апреля 1790 года Екатерина извещала Потемкина о принятых ею мерах: «К фельдмаршалу Румянцеву от меня сего же дня отправлено письмо, где к нему пишу начисто, чтоб выехал из Молдавии либо к водам, либо в Россию, ибо его пребывание вредно моим делам».

Письмо такого содержания Екатерина, действительно, отправила Румянцеву 19 апреля, а 9 мая фельдмаршал отвечал ей, что он готов выехать из Молдавии, «но болезни, которые меня восемь месяцев сряду в постеле держат, и часто возобновляющиеся припадки, как и тот род горячки, который я на сих днях претерпел, всякой раз мне в том мешали; теперь однако ж при хорошей погоде, коя только что здесь начинает устанавливаться, я велю себя везти в мои имения в Малороссии, какого бы труда и изнурения мне ни стоило…»

Это письмо было не первым: в конце 1789 года Румянцев также жаловался императрице на болезни. Как видим, его пребывание в Яссах обусловливалось не какой-либо прихотью, но тяжелым недугом. Но ни первое, ни второе письмо Румянцева нисколько не тронули императрицу. Отношение Екатерины к сподвижнику, создававшему ей славу, явствует из ее письма к Потемкину 29 августа 1790 года: «Касательно до фельдмаршала

Румянцева и его пребывания под разными выдумками в Молдавии, я думаю, что всего лутче послать ему сказать, что легко случиться может, что турки его вывезут к себе скоро, ежели он не уедет заранее. А ежели сие не поможет, то послать к нему конвой, который бы его, сберегая, выпроводил. Но воистину, ради службы прежней сберегаю, колико можно из одной благодарности и памятуя заслуги его персоны, а предки мои инако бы поступили»[258]. Екатерина права — ее предшественники и предшественницы сурово бы расправились с ослушником царских повелений, тем более что Румянцев выехал из Бессарабии только в 1792 году. Но должно заметить, что фельдмаршал не заслуживал преследования императрицы, слывшей просвещенной монархиней.

Кампания 1789 года ознаменовалась двумя крупными победами, причем обе были достигнуты совместными действиями союзных войск, которыми командовал Суворов. 21 июля при Фокшанах армия турок была разгромлена союзниками. Победа эта примечательна еще и тем, что корпус Суворова, к которому австрийский генерал Кобург обратился с просьбой оказать срочную помощь, преодолел расстояние в 60 верст, отделявшее его от австрийской армии, за 28 часов. Иосиф II отправил благодарственное письмо Суворову: «Принц Кобург не может довольно нахвалиться благоразумною и храброю помощью вашей и всего вашего корпуса».

Сражение продолжалось девять часов вследствие того, что часть турецкой пехоты, как доносил Суворов Потемкину, «заперлась в крепком Фокшанском монастыре». «Варвары, — писал Суворов, — побежали стремглав на речку Бузео и на Рымник к Бухаресту; легкие войска за ними гнались, многих рассеянных и кроющихся побили, на обеих сих дорогах получили в добыч брошенных ими по несколько сот повозок с военной аммуницией, разными припасами и вещьми, как и многое число скота».

Верховный визирь, зная малочисленность армий Суворова и Кобурга, решил отомстить за поражение при Фокшанах. Собрав у Браилова 90-тысячную армию, он двинул ее в междуречье Рымни и Рымника, чтобы дать сражение союзникам. Сражение началось на рассвете 11 сентября и вновь закончилось полной победой союзных войск. План сражения составил Суворов, которого Кобург называл своим учителем. Победителям достались огромные трофеи — до четырех тысяч повозок с припасами, 81 орудие, сто знамен и прочее.

В реляции Потемкину от 11 сентября 1789 года Суворов описал панику, охватившую неприятельские войска: «Во время

баталии верховный визирь особою своею под лесом Крынгу-Мейлор обретался. Когда оттуда изгнали его войско, поехал он на рыбницкий лагерь и останавливаясь неоднократно, при молитве возвышал алкоран и увещевал их бегущих сражение обновить, но они его слушать не хотели, отвечая, что стоять не могут. По прибытии его в лагерь учинил он на своих выстрелов пушечных до 10 без успеха и после того поспешно отъехал по Браиловской дороге» [259].

Победителей ожидали щедрые награды. Екатерина пожаловала Суворову и Кобургу бриллиантовые шпаги с лавровыми венками и надписью «Победителю визиря». Суворов был возведен в графское достоинство с наименованием «Рымникский». «К графу Суворову, — извещала Екатерина 18 октября Потемкина, — хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерия Егорья Большого Креста посылаю по твоей просьбе: он того достоин»[260].

По мнению военного историка А. Н. Петрова, после Рымникской победы союзной армии был открыт практически беспрепятственный путь к Константинополю. Вместо этого Потемкин велел атаковать сравнительно мелкие крепости в устье Днестра: Аккерман, Бендеры. Другой ошибкой Потемкина А. Н. Петров считал неуважительное отношение к австрийцам, пренебрежительная оценка их роли в совместных действиях. В то время как Суворов установил с Кобургом дружеские отношения, строго соблюдал взятые на себя обязательства, Потемкин даже не удостаивал ответом многочисленные письма Кобурга с изложением планов дальнейших действий. В этой связи Кобург жаловался Суворову в марте 1790 года: «Можете ли вы себе представить, что все мои письма к князю Потемкину относительно общего движения на Дунай к Константинополю, а также по поводу замирения, писанные с тою откровенностью и бескорыстною ревностью во имя общего блага, которыми я горжусь, несмотря на то, что были писаны с соблюдением самой утонченной вежливости, остались без ответа»[261].

Кампания 1789 года завершилась взятием Аккермана и Бендер — обе осажденные крепости капитулировали, не оказав сопротивления. Осадой Бендер руководил Потемкин, и его успех привел в восторг Екатерину: она отправила ему золотой венок и нежное письмо. В ответ на донесение от 4 ноября («Вот, матушка всемилостивейшая государыня, и Бендеры у ног ваших») Екатерина писала: «Нет ласки, мой друг, которую я не хотела сказать вам. Вы очаровательны за то, что взяли Бендеры без потери одного человека»[262].

Успех сопутствовал и австрийцам — они овладели Белградом

и Бухарестом.

Екатерина считала, что наступил благоприятный момент для заключения мира. Еще до взятия Бендер императрица писала Потемкину: «Постарайся, друг мой, сделать полезный мир с турками, тогда хлопоты многие исчезнут и будем почтительны: после нынешней твоей кампании ожидать можем».

Надежды на скорый мир, однако, не оправдались. Тому способствовали неблагоприятные обстоятельства: в феврале 1790 года скончался Иосиф II, и вступивший на престол Леопольд II не счел целесообразным продолжать войну. Позиция нового императора относительно союза с Россией вселяла в турок надежду, что Россия, оставшись в одиночестве, будет воевать с меньшим успехом.

Еще более удручали императрицу вести из Берлина — прусские дипломаты настойчиво убеждали султанское правительство продолжать войну, а король Фридрих-Вильгельм II энергично готовился к нападению на Россию. «Не осталось почти никакого сумнения, — писала Екатерина Потемкину 10 января 1790 года, — что король прусский не имел намерения обще с поляками напасть на наши владения». Напряженность в отношениях с Пруссией усиливалась, и императрица высказывала опасения относительно беззащитности Лифляндии «от прусских и польских набегов, коих теперь (май 1790 года. — Н. П.) почти ежечасно ожидать надлежит по обстоятельству дел»[263]. В этих условиях призыв Екатерины к Потемкину «соединить к победам имя миротворца» повис в воздухе — путь к миру лежал через новые победы на театре войны. 1790 год принес две такие победы. Адмирал Ф. Ф. Ушаков у острова Тендра нанес поражение туркам, уничтожив два линейных корабля и один взяв в плен; это сражение решило участь морской кампании года. Но главное сражение, подводившее итог военным действиям года, развернулось у стен мощной турецкой крепости Измаил. Достаточно сказать, что ее гарнизон насчитывал 35 тысяч человек, а на ее бастионах стояло 245 артиллерийских орудий.

Осадные работы под Измаилом начались 6 сентября, но велись безуспешно, и на военном совете было решено отказаться от штурма и отвести войска на зимние квартиры. Потемкин велел принять командование над войсками Суворову и овладеть Измаилом.

На пути к Измаилу Суворов встретил отступавшие от крепости полки и вернул их обратно. 2 декабря он принял командование войсками, а 7-го отправил парламентера с письмом Потемкина, предлагавшего сераксиру сдать крепость. Сверх того, Суворов в отдельной записке написал знаменитые слова,

вошедшие во все учебники по отечественной истории: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — неволя, штурм — смерть. Что оставляю вам на рассмотрение». Сераксир запросил десять дней на размышление, но Суворов, зная обыкновение турок затягивать переговоры в ожидании подкреплений, отсрочки не предоставил. С утра 10 декабря начался артиллерийский обстрел крепости, продолжавшийся до рассвета следующего дня.

Описание штурма Измаила, данное Суворовым, обнаруживает в авторе литературные дарования: «День бледно освещал уже предметы, все колонны наши, преодолев и неприятельский огонь и все трудности, были уже внутри крепости, но отверженный неприятель от крепостного вала упорно и твердо защищался. Каждый шаг надлежало приобрести новыми поражениями; многие тысячи неприятеля пали от победоносного нашего оружия, а гибель его как будто возрождала в нем новые силы, но сильная отчаянность его укрепляла… Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, через шесть часов с половиною с помощью Божией наконец решился в новую России славу».

Императрица надеялась, что взятие Измаила заставит «турок взяться за ум и скорее заключить мир», но Потемкин не разделял этих надежд: «Султан, варвар кичливый, еще упорствует, будучи противных держав обещанием ослеплен». Английское правительство отправляло в Петербург несколько раз своих представителей, чтобы шантажом и угрозами заставить Россию заключить мир, выгодный для Османской империи, но Екатерина проявила твердость. В апреле 1791 года она писала Гримму, что «не потерпит, чтоб ей предписывали законы, и что, наконец, она бы давно заключила мир, если бы смутники сидели смирно и не мешали туркам мириться, а на это дело они тратят попусту огромные суммы. Русские так и останутся русскими»[264].

31 июля 1791 года в Галаце было подписано перемирие, а 29 декабря в Яссах русская делегация, возглавляемая, после кончины Потемкина, А. А. Безбородко, в результате продолжительных переговоров заключила мир. Ясский договор подтвердил Кючук-Кайнарджийский мир и все дипломатические акты, заключенные после него, главным из которых было признание присоединения к России Крыма. Граница между двумя государствами должна была проходить по реке Днестр — Россия приобрела территорию, пролегавшую между Бугом и Днестром, в том числе Очаков и Гаджибей — будущую Одессу. Порте были возвращены Бессарабия, Молдавия и Валахия.

Ясский договор не был адекватен затраченным на войну человеческим и материальным ресурсам, а также успехам на

театре военных действий. Объясняется это действиями враждебных России прусской и английской дипломатии, а также стремлением Екатерины закончить войну на юге, чтобы заняться польскими и французскими делами.

Екатерина пыталась залатать двухсотмиллионный дефицит двумя новшествами в финансовой политике — выпуском ассигнаций и иностранными займами, чем еще больше усложняла финансовое положение страны. Впрочем, не следует драматизировать эти факты — впереди Россию ожидали суровые испытания наполеоновскими войнами, и Россия с честью их выдержала.

В годы второй русско-турецкой войны вполне раскрылись полководческие дарования А. В. Суворова. Он прошел путь от рядового солдата до генералиссимуса. Боевое крещение Суворов получил в 28-летнем возрасте, участвуя в чине подполковника в Семилетней войне. С тех пор он дал множество сражений на открытой местности, в горах, при осаде и штурме крепостей и ни одного не проиграл. Он опирался на опыт предшествовавших русских полководцев, прежде всего П. А. Румянцева. Но заслуга Суворова состоит в том, что находившиеся в зародыше новшества в стратегии и тактике он довел до совершенства, придав им суворовские черты.

В Западной Европе в это время господствовала кордонная система, суть которой состояла в том, что войска распределялись равномерно по всей линии фронта, используя в качестве опорных пунктов крепости. Главным способом ведения войны считалось маневрирование на коммуникациях противника. Румянцев и Суворов заменили кордонную стратегию сосредоточением основных сил на главном участке сражения, а целью войны считали не маневрирование и истощение ресурсов противника, а уничтожение его живой силы. Эту мысль Суворов формулировал в своих знаменитых афоризмах: «Дерево срубишь — сучья сами упадут»; «Уничтожена армия — крепости сами падут». Овладение полем боя полководец считал неудачей: «Оттеснен противник — неудача, уничтожен — победа». Отсюда главный вид боевых действий — наступление, стремительная атака, переходящая в штыковой удар. Эти высказывания Суворова на много лет опередили взгляды Наполеона: «Я вижу только одно — массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними».

Суворов считал, что на исход операций оказывали воздействие три фактора: глазомер, быстрота и натиск. Под глазомером подразумевалось умение быстро ориентироваться в обстановке, определить уязвимые места боевых порядков

противника, проникнуть в его планы. Быстрота — умение действовать внезапно, что уравнивало силы атакующего с силами численно превосходящего противника. «Неприятель нас не чает, считает нас за сто верст, а коли издалека, то в двух и трех стах и больше: вдруг мы на него как снег на голову. Закружится у него голова? Атакуй с чем пришли, с чем Бог послал!» Натиск, по мысли Суворова, означал решительные действия: нельзя останавливаться на полпути, надо преследовать противника до полной над ним победы.

Мысли Суворова о стратегии и тактике изложены в многочисленных его приказах, наставлениях, письмах и высказываниях, зарегистрированных современниками. Главным трудом в его теоретическом наследии является «Наука побеждать», в которой обобщен богатый боевой опыт командования войсками и участия в сражениях. Оригинален язык этого сочинения, в нем мысли отточены в афоризмах, понятных как офицеру, так и солдату: «Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко»; «Голод — лучшее лекарство» и т. д.

Особое место в «Науке побеждать» занимает солдат, его воспитание и обучение. Некоторые высказывания Суворова звучат актуально и в наши дни: главным он считал воспитание патриотизма, выносливости, храбрости, решительности.

Суворов, как известно, отличался оригинальным поведением, нередко шокировавшим двор, о чем он сам писал, обращаясь к сослуживцам: «Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою: меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при дворе надо мной смеялись. Я бывал при дворе, но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном, шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре Первом и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых, угомоняя буйных врагов отечества. Если бы я был цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его; но всегда чуждался бы его пороков».

Не менее примечательны мысли Суворова о своем долге подданного, о нравственности. Он высказывал их своей любимой дочери Наташе, которую ласково называл Суворочкой. В мае 1790 года он ей писал: «Храни неукоснительно верность великой нашей монархине. Я ее солдат, я умираю за свое отечество. Чем выше возводит меня ее милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нее. Смелым шагом приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана. Мне шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, но Господь дарует мне жизнь для блага государства».

В другом письме, отправленном в феврале следующего года,

отец, зная о распущенности двора, внушал дочери необходимость блюсти нравственную чистоту и девическую скромность: «Помни, что вольность в обхождении рождает пренебрежение; берегись сего, привыкай к естественной вежливости, избегай подруг, острых на язык: где злословие, там, глядишь, и разврат. Будь сурова и немногословна с мужчинами, а когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием»[265].

Глава IX. В защиту трона

В последние семь лет царствования Екатерина II предстает перед нами в непривычном для себя облике. И дело не только в том, что изменился ее внешний вид. Конечно, она постарела, вынуждена была прибегать к ухищрениям, чтобы скрыть свою грузность, хотя и продолжала молодиться. Но изменилось ее восприятие действительности: нимб идеала просвещенной монархини потускнел, кумир просветителей превратился в оплот реакции, государыней овладел страх за свою судьбу и судьбу монархии в России.

Подобная метаморфоза явилась результатом целого ряда событий, центральным из которых стала буржуазная революция во Франции. Именно революция вызвала смену либеральной политики Екатерины консервативной; на смену терпимости к взглядам, которые она не разделяла, пришло преследование лиц, проповедовавших идеи, несхожие с ее собственными. Революция во Франции, наконец, оказала огромное влияние на судьбу Речи Посполитой как суверенного государства — она исчезла с географической карты Европы.

Было бы несправедливо связывать распространение прогрессивных идей в России только с событиями во Франции. Должно подчеркнуть, что их восприятию в немалой степени содействовала сама императрица. Подобно тому как французские просветители, отвергавшие революционные формы борьбы за установление новых порядков, критикой прогнившей феодальной системы, обличением невежества монархов, продажности судей готовили умы к революционной борьбе, так и «Наказ» Екатерины Уложенной комиссии и серия сатирических журналов, возникших не без ее активного содействия, готовили общество, правда, в неизмеримо меньшей степени, чем во Франции, к восприятию новых идей, чуждых крепостническому режиму и абсолютной монархии.

Екатерина на первых порах не понимала или делала вид, что не понимает значения событий, происходивших во Франции в первые месяцы революции, и связи революции с просветительским движением.

Первые ее слова, прозвучавшие сразу же по получении известия о взятии Бастилии, приобрели хрестоматийную известность, ярче всего продемонстрировав отсутствие у нее политического чутья: «Какой же Людовик король, он всякий вечер пьян, и им управляет кто хочет». Иными словами, дело не в объективных предпосылках, а в бесхарактерности короля,

подверженного к тому же страсти к горячительным напиткам. Екатерине вспомнились события пятнадцатилетней давности в России, когда достаточно было бросить несколько полков регулярной армии, чтобы расправиться с «маркизом Пугачевым». В 1790 году она даже поведала Гримму рецепт того, как взять под контроль события в Париже: «Я полагаю, что если бы повесили некоторых из них (депутатов Национального собрания. — Н. П.), остальные бы образумились»[266]. Императрица игнорировала принципиальное отличие стихийного движения Пугачева, имевшего, по выражению А. С. Пушкина, характер «бунта бессмысленного и беспощадного», от революционных событий во Франции, которыми руководили не безграмотные мужики, а образованные адвокаты и прокуроры.

Екатерина не понимала и связи революционной идеологии с просветительской. 5 декабря 1793 года она писала тому же Гримму: «Французские философы, которых считают подготовителями революции, ошиблись в одном: в своих проповедях они обращались к людям, предполагая в них доброе сердце и таковую же волю, а вместо того учением их воспользовались прокуроры, адвокаты и разные негодяи, чтоб под покровом этого учения (впрочем, они и его отбросили) совершать самые ужасные преступления, на какие только способны отвратительнейшие в мире злодеи».

Впрочем, наиболее проницательные современники Екатерины, хорошо знавшие сочинения Вольтера, обнаруживали прямое влияние его идей на события в Париже. Один из них, известный переводчик Вольтера и Руссо П. С. Потемкин, писал в 1793 году графу И. И. Шувалову: «Вы, будучи знакомы всем философам нашего века: Вольтеру, Руссо, Рейналю и грубому Дидро, почерпнув не из сочинений их, но в беседах, где образ мыслей живее виден… вразумите меня постигнуть, как могли сии, столь знаменитые разумом люди, возбуждая народы к своевольству, не предвидеть пагубные следствия для народа? Как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но человеки буйны суть». В следующем году П. С. Потемкин высказался еще решительнее: «Олеары, Нероны, Атиллы и все злодеи вкупе не могли произвесть столько зла, сколько произвел один Вольтер». Он называл философа человеком, открывшим «бездну кипящей крови»[267].

Позже и Екатерина, похоже, несколько прозрела и стала находить различия между просветителями и энциклопедистами: «Энциклопедисты, — делилась она своими мыслями с Гриммом в 1795 году, — имели в виду лишь две цели: во-первых, уничтожение христианской религии, во-вторых, — устранение

королевской власти». Это суждение не помешало императрице, как известно, намеревавшейся опубликовать в России 20-томное сочинение Вольтера, распорядиться не только прекратить издание, но и изъять из продажи вышедшие к 1794 году четыре тома его сочинений[268].

На начальном этапе революции литература о ней была доступна читательским кругам в России, проявлявшим к событиям во Франции живейший интерес. Современник П. Лопухин отмечал: «Никогда столько ввозимо иностранных книгопродавцам книг не было, как ныне». Московский генерал-губернатор А. А. Прозоровский доносил императрице: «Все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно»[269].

Современники отмечали не только интерес к французской литературе, но и сочувственное отношение к происходившим в стране событиям. С. Р. Воронцов писал: «Дух преобразований и общество равенства вскружили голову всем тем, кто из мещан и из народа». Проживавший в России француз Э. Дюпон занес в Дневник следующую запись: «Французская революция была принята со страстью; молодым людям она совсем вскружила голову; права человека стали всеобщим катехизисом; некоторые не стеснялись даже, когда Робеспьер был во главе правительства, выражать свое безграничное удивление и свое сочувствие революции»[270].

Нас в первую очередь интересует не отношение общественности к революции, а реакция на нее героини книги — Екатерины. На первом этапе пелена как бы застилала ее глаза и не позволяла разглядеть опасность, грозившую Людовику XVI, да и всем монархическим режимам Европы. Во время прощальной аудиенции французского посла в России Екатерина произнесла напутствие. «Передайте королю, — сказала она между прочим, — что я желаю ему счастья. Я желаю, чтобы доброта его была вознаграждена, чтобы намерения его исполнялись, чтобы прекратилось зло, которое его печалит, и чтобы Франция возвратила себе тишину, силу и влияние».

Помимо соблюдения банального придворного этикета, Екатерина, очевидно, проявила уверенность в том, что слабовольный король в состоянии самостоятельно справиться со «злом» (то есть революцией) и возвратить Франции ее величие[271]. По словам Дашковой, первоначально Екатерина смотрела на события в Париже как на «порыв мгновенный».

Постепенно, однако, тревожные мысли овладевают сознанием императрицы, но предпринять что-либо реальное в помощь незадачливому королю императрица не могла — Россия

одновременно вела две напряженные войны, поглощавшие все наличные экономические и людские ресурсы страны. Верельский мир со Швецией в 1790 году и Ясский мир с Османской империей как будто развязали руки Екатерине, но она отнюдь не спешила воспользоваться казалось бы благоприятной ситуацией: во-первых, страна находилась на грани полного истощения ресурсов, во-вторых, Россия не имела общей границы с Францией, и, наконец, императрица вынашивала далеко идущие внешнеполитические планы относительно своего западного соседа — Речи Посполитой.

В этих условиях Екатерине ничего не оставалось иного, как пристально и с напряженным вниманием наблюдать за событиями в Париже, выражая то радость, то огорчение происходившим. Объяснялось это несовершенством связи тех времен, когда в один и тот же день на столе императрицы лежали депеши с разноречивыми описаниями и оценками происходивших событий.

Отношение императрицы к революции отражают два важнейших и дополняющих друг друга источника: Дневник А. В. Храповицкого и письма императрицы к Гримму. Дневник Храповицкого скупо, но систематически регистрировал поведение императрицы после получения каких-либо новостей из Парижа, то есть внешнюю сторону ее поведения. Письма Екатерины, напротив, эмоциональны, они раскрывают ее внутренний мир, переживания. Оба источника позволяют составить хронику событий и увидеть накал страстей по их поводу.

26 августа 1790 года Храповицкий сделал запись о повелении русскому послу во Франции И. М. Симолину объявить всем находящимся в Париже русским «о скорейшем возвращении в отечество». Поводом для этого указа послужило вступление сына графа А. С. Строганова и его учителя в Якобинский клуб. Тем самым императрица намеревалась локализовать события во Франции и предотвратить проникновение революционных идей в Россию и возможность участия в революции русских людей.

22 июня 1791 года императрице доставило радость полученное из Берлина известие о выезде короля и его семьи из Парижа в сопровождении восьми тысяч дворян. К вечеру того же дня выяснилось, что король совершил не торжественный выезд в сопровождении многочисленного эскорта, а бегство под чужим именем и отнюдь не в королевской экипировке. Вместе с семьей он был схвачен и возвращен в Париж.

4 июля Екатерина получила подтверждение печального факта: «Король французский действительно пойман. У королевы найден паспорт на чужое имя»[272].

Во время двух войн России и в первый год после заключения Верельского мира императрице дано было выражать гнев, негодование, эмоциональный настрой, приклеивая самые непристойные ярлыки: французскую революцию она называла «гидрой о тысячах двухстах головах», Париж — «вертепом разбойников», участников революции — «канальями». Не скупилась императрица и на призывы к дружным действиям контрреволюционных сил внутри Франции и за ее пределами, убеждая монархические режимы, сколь велика опасность распространения революционной заразы.

«Мы не должны предать, — записал секретарь Екатерины ее рассуждения, — добродетельного короля в жертву варварам. Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Европа скоро погрузится в варварство, если не поспешить ее от оного предохранить. С моей стороны я готова воспрепятствовать всеми моими силами. Пора действовать и приняться за оружие для устрашения сил беснующихся. Благочестие к сему возбуждает, религия повелевает, человечество призывает, а с ними драгоценные и священные права сего требуют».

Соответствующие обстановке внушения императрица делала и французским дворянам. 27 марта 1791 года она писала Гримму: «Когда мне случается видеть французов, я всем им проповедую объединение в одном духе: в духе полнейшей верности королю и монархии, жить и умереть для их защиты и потом отсылаю их, говоря: „Я буду другом и опорой всякому, кто будет держаться такого образа жизни“»[273].

Быть может, императрица воздерживалась от решительных действий отчасти и потому, что была убеждена в способности французской контрреволюции восстановить порядок собственными силами. «Мне кажется, — делилась она своими мыслями с Гриммом, — что главная сумятица прошла и что после некоторых судорожных движений, которые будут еще в этом году, все войдет в свою колею». Спустя месяц императрица вновь демонстрирует свое непонимание происходившего во Франции: «Франция одержима теперь душевной болезнью, но вследствие легкомыслия французов эта болезнь у них пройдет скорее, чем у всякого другого народа»[274].

Болезнь, однако, не только не проходила, но изо дня в день обострялась. Императрица убедилась, что обращения к дворянам с призывами о соблюдении чести и долга, осуждения варварства восставших делу не помогут, и возложила на себя миссию организатора вторжения монархических сил во Францию.

О первых реальных шагах по сколачиванию антифранцузской

коалиции можно судить по записи Храповицкого под 14 сентября 1791 года. В этот день он снимал копию с письма Екатерины к принцу Нассау, в котором та извещала принца о заключении союза Пруссии и Австрии с целью интервенции во Францию для подавления революции. Ясский мир еще не был заключен, и Екатерина обещала не участие в походе, но только денежную помощь, причем специально оговорила, «чтобы принцы и король с фамилией были согласны и имели основательные правила и в деле не плошали»[275]. Иными словами, императрица обусловила свою помощь прекращением раздоров в королевской семье, а также дружными и эффективными действиями сил, противостоявших революции.

Не удовлетворившись участием в союзе Австрии и Пруссии, Екатерина стремилась вовлечь в него и Швецию. Преодолев неприязнь к Густаву III, которого она считала человеком легкомысленным и ненадежным, императрица решила лично сочинить к нему пространное послание на 13 страницах, в котором убеждала короля отреагировать на принятую Национальным собранием конституцию, подписанную Людовиком XVI, а также организовать дипломатическую блокаду мятежной страны — «под видом отпуска отозвать министров из Парижа». При этом Екатерина предлагала королю воздерживаться от немедленных действий, «обождать до весны, ожидая, что покажут обстоятельства и на что решатся другие державы»[276].

Планам Екатерины не суждено было осуществиться: коалиция, не успев возникнуть и разработать план действий, распалась. Почти одновременно отправились в лучший из миров два монарха: австрийский император Леопольд II, которого, по слухам, отравили, и шведский король Густав III, ставший жертвой террористической акции. «Перед вечером приехал, — читаем в Дневнике Храповицкого под 13 марта 1792 года, — с известием, что в маскараде 5 марта нашего стиля застрелили короля шведского, Густава III, но он еще жив». Через две недели получена обнадеживающая депеша — «шведский король вышел из опасности». Прошло еще две недели, и 18 марта пришло уведомление о смерти короля без указания ее причины. Наконец 7 апреля императрица получила известие об обстоятельствах смерти: по вскрытии тела нашли пулю, гвозди и дробь[277].

Известие не на шутку встревожило императрицу. 4 апреля она писала Гримму: «…Я боюсь одуреть от всех потрясающих нервы событий, каковы, например, неожиданная смерть императора, убийство короля шведского, развязка событий, ежедневно ожидаемая во Франции, да еще бедная королева португальская вздумала сойти с ума». В следующем послании, от

14 апреля, Екатерина извещала Гримма о готовившемся лично на нее покушении: «Якобинцы печатают и объявляют на все страны, что собираются убить меня и поспешили отправить с этой целью трех или четырех человек, которых приметы мне отовсюду присылают»[278]. Были приняты ответные меры: разослали указ, извещавший о якобы прибывшем через Кенигсберг французе «с злым умыслом на здравие ее величества». Предписывалось усилить контроль за приезжающими в Россию, а также бдительнее охранять резиденцию императрицы.

Террористический акт, конечно же, потряс императрицу, посеял в ней страх за свою судьбу. Но где-то в тайниках души она не то чтобы радовалась гибели шведского короля, но расценивала эту гибель как предлог для развала коалиции, для ее освобождения от обязательства раскошеливаться и отправлять войска во Францию. Первоочередным Екатерина считала польский вопрос, лишь после решения которого она намеревалась вплотную заняться революционной Францией[279].

Приходили и радостные вести. 9 мая 1792 года Храповицкий зарегистрировал радужное настроение императрицы в связи с победой австрийцев над французами. Радостью она поспешила поделиться с Гриммом. 9 мая она ему писала: «Я вчера получила известие, что при первом столкновении в Монсе французская сволочь была хорошо встречена австрийским войском. Я очень этим довольна, только удары могут исцелить этих сумасбродов» [280].

Радостное настроение продолжалось недолго, всего четыре месяца: набравшиеся военного опыта французские войска одерживают одну победу за другой, овладевают Савоей, Ниццей, Фландрией, Брабантом. «Сумасброды» и «оборванцы», как называла Екатерина французские войска, громят армии немцев и австрийцев. Императрица в гневе: «Вшивая Шампань, — злословила она в письме к Гримму, — станет теперь плодоносной от того навоза, который немцы в ней оставили». Но самый страшный удар императрице нанесли не известия о военных неудачах австрийцев и немцев, а полученная 2 февраля 1793 года депеша о казни Людовика XVI, совершенной 21 января того же года. Двор пребывал в трауре. Храповицкий отметил, что потрясение, переживаемое императрицей, было примерно таким же, как при кончине ее фаворитов Ланского и Потемкина: «С получением известия о злодейском умерщвлении короля французов ее величество слегла в постель и больна и печальна». Из ее уст даже вырвалась фраза: «Нужно искоренить всех французов, чтобы и имя этого народа исчезло». Русский двор оделся в шестинедельный траур.

Поэт Г. Р. Державин написал стихотворение с осуждением казни — «На панихиду Людовика XVI». Печалью были охвачены и провинциальные дворяне. Известный мемуарист А. Т. Болотов отозвался об этом событии так: «Возгремел повсюду у нас слух и поразительное для всей Европы о бешенстве французских революционистов и казнении ими своего доброго и невинного короля Людовика XVI. Мы не могли без содрогания читать обстоятельное описание о сем страшном происшествии, сообщенное свету в гамбургской газете». Казнь короля привлекла внимание не только Болотова: по просьбе дворян округи он перевел на русский все статьи, относящиеся к этому событию, «из коих набралась целая книжка». Болотов выразил радость по поводу известия о выселении из России всех французов, к его огорчению не состоявшемся: они продолжали выступать «развратителями нашего юношества»[281].

Болотов имел в виду указ императрицы, обнародованный сразу же после казни короля: из России подлежали выселению все французы, за исключением тех, кто даст присягу на верность монархии и заявит о своем «омерзении к идеям французской революции». Указ не имел успеха: по данным А. Брикнера в России в это время проживало около 1500 французов, из коих только 48 согласились дать требуемую присягу.

Другая мера правительства, которая должна была воспрепятствовать проникновению в Россию революционной заразы, состояла в ужесточении режима при досмотре ввозимой в Россию литературы. С этой целью в Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивилловской таможне была учреждена специальная цензура. Были запрещены к ввозу и распространению не только книги на иностранных языках, но даже, казалось бы, невинная трагедия Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», описывавшая восстание в Новгороде, хотя и подавленное, но все равно вызвавшее гнев императрицы. Президенту Российской академии наук Е. Р. Дашковой за напечатание «Вадима Новгородского» императрица объявила выговор.

Екатерина понимала, что самым эффективным средством подавления революции во Франции было бы вооруженное вмешательство в ее внутренние дела, но после распада сколоченной ею коалиции она не имела ни возможности, ни большого желания действовать против революции в одиночестве. Пришлось довольствоваться советами и моральной поддержкой сил, выступавших в защиту монархии. Правда, императрице пришлось и раскошелиться — она оказывала щедрую финансовую помощь французским эмигрантам, нашедшим приют как в России, так и в других странах с монархическим правлением. Так,

она выдала взаймы французским принцам два миллиона рублей, а Людовику XVI, после того как у него было конфисковано все движимое и недвижимое имущество, перевела 100 тысяч франков. Эти расходы дополнялись займами для организации похода коалиционных войск, а также расходами на содержание французской колонии эмигрантов.

Ограниченные возможности противодействовать успехам французской революции вне пределов России императрица компенсировала суровыми расправами с лицами, в той или иной форме поддерживавшими революционные начинания в Париже, — возможности для этого у абсолютистского режима были неограниченные. Главными своими идейными противниками Екатерина считала, конечно, не Княжнина, а А. Н. Радищева и Н. И. Новикова.

Оба они в известной мере являлись порождением распространения в России идей Просвещения, и их творчество осталось бы скорее всего безнаказанным, появись их труды тремя — пятью годами раньше. Но теперь, на фоне событий во Франции, в России каждый шорох воспринимался как гром, а трон, занимаемый императрицей около тридцати лет, казалось, приобрел неустойчивость, слегка зашатался.

Парадокс состоял в том, что Екатерина в годы молодости утверждала, что не следует наказывать людей за убеждения. Теперь, на старости лет, она подвергла двух представителей общественной мысли, не разделявших ее взгляды, суровым преследованиям.

Автор знаменитого сочинения «Путешествие из Петербурга в Москву» в течение 10 дней конца июня — начала июля удостоился трех высказываний Екатерины, записанных Храповицким 26 июня 1790 года: «Говорено о книге „Путешествие от Петербурга до Москвы“. Тут разсевание заразы французской: отвращение от начальства; автор мартинист; я прочла 30 страниц, посылали за Рылеевым (полицеймейстером. — Н. П.). Открывается подозрение на Радищева». 2 июля: «Продолжают писать примечания на книгу Радищева, а он, сказывают, препоручен Шешковскому (обер-секретарь при Тайной экспедиции Сената. — Н. П.) и сидит в крепости». 7 июля: «Примечания на книгу Радищева посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит он Франклина как начинщика и себя таким же представляет. Говорено с жаром и чувствительностью»[282].

Что вызвало гнев императрицы, суровое осуждение книги, какие высказывания автора оказались ей не по душе?

В письменных замечаниях Екатерина дала более пространный и конкретный ответ на этот вопрос: «В намерение сей книги на каждом листе видно; сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет и выискивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа к негодованию противу начальника и начальства».

Заметим, осуждение крепостнических порядков, неправосудие судей, произвол чиновников, безнаказанность помещиков за истязания крепостных, взяточничество можно частично обнаружить в «Наказе» самой Екатерины и в особенности в выступлениях депутатов в Уложенной комиссии, в сатирических журналах, появившихся в большом количестве в 60–70-е годы XVIII века опять же по инициативе Екатерины. То было время увлечения императрицы идеями французских просветителей, и тогда критика сходила авторам с рук. Теперь же аналогичные заявления на фоне революционных событий во Франции приобрели иное звучание. Напомним, «Наказ» Екатерины Уложенной комиссии множество раз переиздавался и широко распространялся в России, во Франции же был запрещен. Теперь, наоборот, все критическое, исходившее из Франции, предавалось анафеме.

Из сказанного не следует, что «Путешествие» Радищева — плод спонтанного развития общественно-политической мысли России. Влияние французской революции сказалось в том, что просветительская мысль предшествующего времени обрела более радикальные черты.

Советская историография при оценке Радищева допускала несколько существенных неточностей. Во-первых, она объявляла его первым в России революционером. Но прямые призывы к революционному свержению самодержавия и ликвидации крепостнических порядков в «Путешествии из Петербурга в Москву» отсутствуют. Если бы они имели место, то императрица — главный критик «Путешествия» и обвинитель Радищева — не ограничилась бы замечанием, что автор «заражен французским заблуждением», а прямо бы сослалась на его призывы к революции. Поэтому замечание Екатерины о том, что «сочинитель не любит царей и где может им убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкой смелостью», как и призывы Радищева к ликвидации крепостного рабства еще не означают наличия в его сочинении призывов к революционным преобразованиям. В тех условиях эти призывы могли найти воплощение только в очередной крестьянской войне, быть может, менее стихийной и свирепой, чем предшествующая: Пугачев и Радищев личности несопоставимые.

Упоминание о призыве к революции отсутствует и в приговоре суда над Радищевым. В нем сказано, что книга подсудимого «наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к власти уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальств и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями против сана и власти царской»[283].

Во-вторых, подчеркивая революционность взглядов Радищева, советская историография не отмечала их утопичности: современная Радищеву Россия не располагала силами, способными возглавить революцию. Буржуазия в своем формировании совершала первые шаги и продолжала домогаться феодальных привилегий, тем самым выражая готовность сосуществовать с крепостническими порядками и самодержавием.

В-третьих, советская историография придавала «Путешествию из Петербурга в Москву» значение первостепенной важности источника для характеристики положения крепостных крестьян, их отношений к барину, судопроизводства и т. д. Книга Радищева, бесспорно, является источником, но источником публицистическим, недостоверно отразившим исторические реалии. Заслуга Радищева как публициста состояла в том, что он впервые в литературе создал портреты простых селян, изображенных с теплотой и глубоким сочувствием к их тяжкой доле. Но в сочинении смещены акценты, сгущены краски. Крепостные, по утверждению Радищева, шесть дней в неделю обрабатывали барскую пашню и только один день — собственную. Симпатии вызывает девушка Аннушка, несмотря на сиротство, сумевшая сохранить гордость, достоинство и независимость. Аннушка — личность тоже мифическая, во всяком случае не типичная.

Помещик в изображении Радищева — средоточие человеческих пороков: он корыстолюбив, жаден, похотлив, надменен, лишен совести и человеколюбия. Собирательный образ помещика тоже далек от реального, что, конечно, не исключает наличия отдельных бар, лишенных добродетелей.

Остается ответить на вопрос, что же подвигнуло автора, сына богатого саратовского помещика, человека высокообразованного и преуспевшего по службе (он был руководителем Петербургской таможни), написать подобное сочинение.

Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос крайне затруднительно, ибо историк обязан учитывать не только показания источников, но и психологию автора, его характер, степень честолюбия и тщеславия, отношения с окружающими и

многое другое, что не поддается документальному подтверждению.

Во время заключения Радищев сам попытался объяснить следователям появление своего сочинения. Он писал о том, что чиновная карьера его не прельщала, и считал, что славы и влияния на общество он может достичь только писательским трудом. «Не достойны разве признательности, — писал он, — мужественные писатели, восстающие на губительства и всесилие для того, что не могли избавить человечество от оков и пленения».

Первые литературные труды Радищева не вызвали резонанса, на который он рассчитывал. Так, его комментарии к сочинению Мабли «Размышление о греческой истории», вышедшие в 1773 году, хотя и содержали выпад против самодержавия («Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние»), не вызвали окрика. Утонули в литературе о Петре Великом и сочинения Радищева «Письмо жительствующему в Тобольске», «Житие Федора Васильевича Ушакова», хотя они и содержали оценки, противоречившие официальным. Е. Р. Дашкова писала своему брату А. Р. Воронцову, что в книге его протеже встречаются «выражения и мысли, опасные по тому времени».

В идейном плане сочинения Радищева, предшествовавшие «Путешествию из Петербурга в Москву», являлись как бы подготовительными этапами. В повинной суду во время следствия Александр Николаевич заявлял, что написал книгу из желания «быть известну между авторами», что он «писал, гоняясь за пустою славою прослыть писателем» и т. д.

Суд вынес автору самый суровый приговор — смертную казнь четвертованием. Екатерине представилась возможность проявить милосердие — смертную казнь она заменила десятилетней ссылкой в Тобольск. После смерти Екатерины Павел I освободил Радищева из ссылки, но ограничил его пребыванием в собственном имении в Калужской губернии под строгим полицейским надзором. Лишь после гибели Павла Александр I разрешил Радищеву жить в Петербурге и заниматься литературным трудом. В 1802 году надломленный Радищев покончил жизнь самоубийством.

Второй жертвой новой политики Екатерины II стал Николай Иванович Новиков — едва ли не самая яркая фигура России эпохи расцвета в ней Просвещения. Особенность Новикова состоит в сочетании разделяемых им просветительских идей с практической деятельностью: он издавал сатирические журналы, трудно переоценить его заслуги в распространении самых

разнообразных знаний.

В отличие от блестяще образованного Радищева, Новиков не мог похвастаться хорошим образованием. Н. М. Карамзину он писал о себе: «Не забывайте, что с вами говорит идиот, не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных философов, и они никогда не лезли в мою голову; это странность, однако истинно было так». Из Московского университета его отчислили «за леность и нехождение в классы». В 1767 году Новиков служил письмоводителем в Уложенной комиссии, затем ушел в отставку, чтобы заняться издательской деятельностью.

Эта самооценка Новикова может создать у читателя впечатление, что перед ним ограниченный человек с некоторой предпринимательской жилкой, позволявшей ему заниматься коммерцией в издательском деле, но отнюдь не гигант просветительского движения. Новиков, конечно же, не был ни «идиотом», как он себя величал, ни человеком, чуждым философской мысли. Ограниченное образование он компенсировал самообразованием и достиг высот, позволивших ему занять почетное место не только в издательском деле, но и в публицистике, журналистике и писательском творчестве.

Новиков прославился как создатель журналов «Трутень» и «Живописец». Он придерживался более радикальных, чем Екатерина, просветительских взглядов и настолько остро с ней полемизировал, описывая бесправное положение крестьян и произвол помещиков, что «Трутень» в 1770 году был закрыт. В «Живописце» Новиков продолжал критиковать существовавшие порядки, причем критика приобрела более острый характер, поскольку высмеивались не отдельные пороки и безнравственность помещиков, но система, взятая в целом. Новиков энергично отстаивал идею, что «крестьяне такие люди, как и дворяне».

Главной сферой деятельности, в которой талант Николая Ивановича раскрылся в полной силе, было издательское дело. Представление о грандиозных масштабах издательской деятельности Новикова дают приведенные Г. Макогоненко цифры: за десятилетие (1781–1790) в России было издано 2685 книг, из коих на долю Новикова приходилось 748 или 28 %[284]. Среди издаваемых им сочинений были русские и переводные; они охватывали самые разнообразные отрасли культуры — здесь были художественные произведения, труды по экономике и географии, народные песни и особенно сочинения по истории. «Будучи рожден и воспитан в недрах отечества, — писал о себе Новиков, — обязан оному за сие служить посильными своими трудами и любить оное, как я и люблю его по врожденному

чувствованию и почтению ко древним всяким добродетелям, украшавшим наших праотцев и кои некоторых из наших соотечественников еще и ныне осиявают» (журнал Новикова «Кошелек». М., 1771). Руководствуясь этой задачей, Новиков опубликовал «Древнюю Российскую Вивлиофику» — собрание источников, в первом издании состоявшее из десяти томов, а во втором — из двадцати. Им же были напечатаны исторические сочинения: 12-томные «Деяния императора Петра Великого» И. И. Голикова, труды Феофана Прокоповича, Миллера и других.

Вклад Новикова в распространение знаний признавали как современники, так и потомки. С. Н. Глинка писал: «Умный, деятельный, предприимчивый Николай Иванович Новиков, далеко опередивший свой век… двигал вслед за собою общество и приучал мыслить»[285].

Столь же высокую оценку просветительской деятельности Новикова дал В. О. Ключевский: «Новиков, создавший в Москве настоящий центр русского просвещения, способствовал этому важному историческому процессу (формированию в России общественности. — Н. П.), как способствовал росту самосознания широких кругов людей, никогда до того не державших книги в руках, которым он привил любовь к наукам, к знанию, к политике, страсть к настоящему систематическому чтению».

Если преследование Радищева непосредственно связано с событиями во Франции, то прямая связь между революцией и карательными мерами императрицы по отношению к Новикову отсутствует. Истоки недоброжелательства императрицы к Новикову, человеку, по ее же оценке, умному и одновременно опасному, надо, видимо, искать в тех годах, когда редактор «Трутня» и «Живописца» вступил в отважную полемику с издаваемой Екатериной «Всякой всячиной». Отсутствие веских аргументов в полемике с Новиковым Екатерина восполнила личной к нему враждебностью. Пастор Виганд, занимавший кафедру истории в Московском университете, отметил в «Записках»: «Императрица Новикова лично ненавидела»[286].

Императрица ждала лишь удобного случая отлучить Новикова от издательской деятельности и лишить его возможности распространять в обществе идеи Просвещения, становившиеся с конца 80-х годов XVIII века для нее чуждыми. Еще в 1785 году, то есть во времена расцвета издательской деятельности Новикова в арендованной им на 10 лет типографии Московского университета, Екатерина писала московскому главнокомандующему Брюсу, что у Новикова «выходят многие странные книги» и поручила архиепископу Платону выяснить, «не скрывается ли у них умствований, не сходных с простыми и

чистыми правилами веры нашей православной и гражданской должности». Ничего предосудительного с точки зрения веры и интересов государства в печатаемых Новиковым книгах обнаружено не было.

Следующий этап в преследовании Новикова связан с его принадлежностью к масонам. В обеих столицах расплодилось великое множество масонских кружков (лож). Члены лож ставили перед собой цель нравственного усовершенствования, внедрения мысли о равенстве всех людей. Внешне прием в члены масонских лож, как и их заседания, сопровождались таинственной обрядностью. Конечная цель масонов — объединение человечества в едином братском союзе. Утопичность масонских идей ярче всего продемонстрировал сам Новиков: после выхода из заточения в Шлиссельбургской крепости он устроил обед, на котором присутствовал и его крепостной слуга, деливший с барином тяготы жизни в крепости. Спустя некоторое время Новиков продал слугу за две тысячи рублей.

Движение масонов непосредственной угрозы режиму не представляло, тем не менее Екатерина безуспешно пыталась отвадить от них дворян, высмеивая масонов в комедиях, лишая их милостей и т. п. Московскому губернатору она как-то сказала, что «всегда успевала управляться с турками, шведами и поляками, но, к удивлению, не может сладить с армейским поручиком» (этот чин имел Н. И. Новиков)[287]. Как справедливо отметил в своей интересной статье о Павле I А. Г. Тартаковский, императрица ополчилась на масонов прежде всего в связи с тем, что те поддерживали ее сына, потенциального претендента на незаконно занятый ею самой престол.

Наконец, повод для расправы был найден — Новикову приписали публикацию старообрядческой «Истории о отцах и страдальцах Соловецких», к которой он никакого отношения не имел и содержание которой было совершенно безобидным. В имении Новикова Авдотьине, где он создал небольшую типографию после того, как Екатерина запретила продлевать аренду университетской типографии, был произведен обыск.

Поначалу Екатерина намеревалась организовать над Новиковым судебный процесс, поручив следствие обер-секретарю при Тайной экспедиции Сената С. И. Шешковскому и Московскому главнокомандующему А. А. Прозоровскому. Оба были одиозными фигурами своего времени. Так, Г. А. Потемкин как-то спросил Шешковского: «Что, Степан Иванович, как кнутобойничаешь?» — «Помаленьку, ваша светлость, помаленьку», — последовал ответ. О мере услужливости мракобеса Прозоровского узнаем из письма того же Потемкина

императрице, отправленного по случаю назначения Прозоровского главнокомандующим в Москву: «Ваше величество выдвинули из вашего арсенала старую пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества».

Состава преступления убедительно сформулировать не удалось, и Новиков без суда, личным указом Екатерины от 1 мая 1792 года, был заточен в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Указ объявлял его государственным преступником, шарлатаном, наживавшимся за счет обмана доверчивых людей. Цель указа — лишить Новикова авторитета бескорыстного подвижника на ниве просвещения и радетеля книжного дела.

Павел I освободил Новикова из заточения, но больной и надломленный просветитель отошел от общественно-политической жизни, замкнулся в себе и умер в одиночестве в Авдотьине в 1818 году.

Итак, расправа с Радищевым и Новиковым не принадлежит к числу деяний, оставивших у потомства добрую память об императрице. Они означали отказ ее от политики просвещенного абсолютизма и приверженность к политике реакционной.

Ставить точку после изложения традиционного взгляда на поведение Екатерины в последние годы ее царствования преждевременно прежде всего потому, что он, этот взгляд, является односторонним и не объясняет причин ее крутого поворота от идей Просвещения к преследованию свободы, о которой она пеклась в предшествующие годы. Во-первых, Екатерина даже в годы интенсивного проведения в жизнь чаяний просветителей никогда не являлась сторонницей радикальных мер их внедрения. Просветители умеренного крыла, к которым принадлежала и Екатерина, являлись сторонниками медленной, рассчитанной на многие десятилетия реализации просветительских идей, прежде всего путем просвещения народа, и на этом поприще, как мы видели, Екатерина достигла немалых результатов. Во-вторых, и это не менее существенно, позволим задать риторический вопрос: как должна была реагировать абсолютная монархиня (впрочем, как и монархи других стран Европы) на события во Франции? Покорно и безропотно ожидать судьбы Людовика XVI и его супруги, чтобы быть повешенной или задушенной, добровольно отрешиться от трона или бороться за сохранение за собой короны и своей жизни?

Рассчитывать на пассивность императрицы не приходится. Среди монархов Европы она проявляла наибольшую активность как в борьбе с революционной Францией, так и в борьбе с

внутренними противниками своей власти. Тому тоже есть объяснение: императрицу всю жизнь не покидал страх за свою жизнь и судьбу трона, которым она овладела далеко не праведным путем; ее, надо полагать, не покидал страх перед свежим в памяти движением Пугачева. Наконец, немалую роль играл темперамент Екатерины, действовавшей всегда напористо и энергично.

Без учета этих обстоятельств облик Екатерины будет неполноценным — честолюбцы добровольно власть никогда не отдавали.

Важной акцией Екатерины, связанной с французской революцией, было участие России во втором и третьем разделах Польши. Было бы ошибочно связывать эти разделы исключительно с событиями во Франции — они совершились бы и без них. События во Франции лишь ускорили развязку. Обессиленная и отсталая Польша рано или поздно сделалась бы добычей ее более сильных соседей, располагавших и более развитой экономикой, и более совершенным политическим устройством, и превосходящими по численности, лучше оснащенными и обученными армиями. Этими соседями были Австрия, Пруссия и Россия.

Патриотические силы Польши осознавали грозившую стране опасность, но ничего не могли поделать, чтобы преодолеть условия, навязанные Польше соседями и крайне стеснявшие прогресс страны. Главными из этих условий были сохранение республиканского строя, выборности короля исключительно из природных поляков («пястов») и — самое основное — незыблемости «liberum veto», то есть права любого члена сейма блокировать любое его постановление выкрикиванием двух слов «Не позволим!».

Сохранение «liberum veto» означало сохранение в стране анархии, слабости государства и безграничной возможности для соседей вмешиваться в ее внутренние дела. Именно поэтому соседи ревниво и зорко следили за тем, чтобы ни один пункт декларации 1772 года не был нарушен и чтобы в стране сохранялись порядки, обрекавшие ее на застой.

Но не только отмеченные выше причины обусловливали прогрессирующее отставание Польши. К этому надо добавить еще одно условие, игнорировавшееся и старательно замалчивавшееся советской историографией и шедшей за ней в фарватере польской. Речь идет о натуре поляков, о совокупности черт их характера, которую в современной науке принято называть менталитетом. Первым среди отечественных историков обратил внимание на менталитет поляков Н. И. Костомаров. В своем

фундаментальном труде «Последние годы Речи Посполитой» он так увлекся складом характера поляков, что придал ему решающее значение во всех бедах, постигших нацию. Н. И. Костомаров прямо находил «корень падения Польши в тех качествах народа, которые так легко увлекали его к деморализации и вообще делали поляков неспособными к самостоятельной государственной жизни»[288].

По мнению Н. И. Костомарова, все народы наделены разрушительными силами, но беда поляков состояла в том, что в Польше не находилось начал, которые противодействовали бы дурным наклонностям и противостояли бы им. Далее следует длинный перечень положительных и негативных свойств натуры поляка, которые привели страну к гибели: «поляк не отличается постоянством и настойчивостью, ему не свойственны ни постоянная долгая дружба, ни упорная мстительность. Он не злопамятен и охотно протянет руку заклятому врагу, если тот удачно польстит его чувству. Его легко поднять до восторга и довести до уныния, он чрезвычайно храбр и столь же труслив, бывает чересчур бурлив и неугомонен, то чересчур податлив». Поляка отличают гостеприимство и радушие. «Польское легкомыслие у всех вошло в пословицу, но никто не скажет, чтобы оно происходило от врожденной тупости и недостатка способностей; напротив, поляки народ очень даровитый, но сердечность увлекала их за пределы рассудка, вводила в ошибочные взгляды, приводила к промахам и только горький опыт, охлаждающий сердечные увлечения, заставлял их увидеть истину». Склонность к пьянству и обжорству тоже присуща полякам, так что они часто предавались кутежам.

Короче, Костомаров определил поляков как людей, отличавшихся «господством сердечности над умом». На наш взгляд, сбрасывать со счетов менталитет нации нет оснований, как и нет оснований придавать ему решающее значение среди причин гибели Польши. Национальный характер несомненно оказывал влияние на исторические судьбы нации, но он сам являлся производным от множества факторов: экономики, социальной и политической структуры общества, семейного быта, географической среды и т. д.

Польский король Станислав Понятовский, известный под именем Станислава-Августа, — ставленник Екатерины на польском престоле, фаворит ее молодости, — по мнению Костомарова, воплощал важнейшие черты своей нации. Он был достаточно образован и начитан, отличался лоском и любезностью, знал несколько европейских языков, но качествами государственного мужа не обладал — был мягок, легко

поддавался постороннему влиянию и поэтому часто менял взгляды, охотно прощал зло, творимое его недругами, проявлял слабость к прекрасному полу и имел специальную залу, где были выставлены «трофеи» — портреты фавориток. Одним словом, Станислав-Август не напоминал венценосца, способного настойчиво и упорно добиваться поставленной цели и ради нее готового жертвовать многими удобствами королевского бытия.

Несмотря на неблагоприятные условия, Речь Посполитая медленно, но неуклонно двигалась по пути прогресса. Правда, существенных изменений это продвижение не влекло, но, например, создание общей в стране полиции укрепляло центральную власть и хоть в какой-то мере обуздывало шляхетское своеволие, а введение выборных судей способствовало упрощению судебной процедуры. Но главное новшество вводила конституция 3 мая 1791 года. Если мелкие реформы мало тревожили соседей, то конституция вызвала у них крайнюю настороженность, в особенности у Екатерины, послы которой хозяйничали в Варшаве, будто губернаторы внутренних губерний России. Конституция содержала четыре радикальных новшества: фактически отвергая декларацию, подписанную Австрией, Пруссией и Россией в 1792 году, она вводила наследственную монархию, причем подтверждала норму декларации, согласно которой королем мог быть только природный поляк. Тем самым Саксония, откуда рекрутировались польские короли, лишалась права поставлять их. Конституция устраняла «liberum veto», а также право на организации конфедераций. Эти два новшества настолько радикально изменяли политический строй в стране, что ни Екатерина, ни ее соседи не могли остаться равнодушными.

Екатерина сразу же поняла, что события в Польше — отголосок событий во Франции, и вполне оценила возможную опасность от нововведения, но включиться в борьбу за восстановление старых порядков не могла. Тому препятствовали два обстоятельства. Во-первых, Россия находилась в состоянии войны с Османской империей и, истощенная двумя войнами, была лишена возможности ввязываться в польские дела. Вторая причина, едва ли не главная, состояла в том, что непосредственное вмешательство в польские дела не входило в намерения императрицы.

С точки зрения интересов России дальновидная немка вынашивала далеко идущие планы, терпеливо выжидая более благоприятных условий для активных действий. Первое из них состояло в том, чтобы втянуть Австрию и Пруссию в борьбу с Французской революцией: когда у них будут связаны руки, она

свободнее станет распоряжаться польскими делами. В минуту откровения она, человек по натуре скрытный, поделилась своими планами со статс-секретарем Храповицким: «Я стараюсь, — сказала она доверительно 14 декабря 1791 года, — втянуть Берлинский и Венский дворы в дела французские. Прусский бы пошел, но останавливается Венский, у меня много предприятий неоконченных и надобно, чтобы они были заняты и мне не мешали»[289]. Из контекста явствует, что к «неоконченным делам» она относила раздел Польши.

Второе, чего дожидалась Екатерина, это получение благоприятных вестей из самой Речи Посполитой. Ей было хорошо известно, что сейм, принявший конституцию 3 мая 1791 года, не являлся правомочным — на нем присутствовало всего 157 депутатов, в то время как две трети, то есть 327 депутатов, отсутствовало. Это означало, что большая часть сейма не разделяла взглядов патриотов и не соглашалась с нововведениями конституции, а значит, требовалось какое-то время, чтобы сами поляки обратились за помощью к России. Оценка Екатериной ситуации в Польше свидетельствовала о ее незаурядных дипломатических способностях.

В феврале 1790 года Екатерина писала своему послу в Варшаве графу Штакельбергу: «Я нужным нахожу предписать, чтоб вы по настоящим делам удержались от всяких на письме деклараций, отговаривая от того же римско-императорского поверенного в делах, потому что я для пользы службы моей считаю нынешнее время сходнее спокойно смотреть на неистовства поляков, в собственный их вред обратиться могущие, нежели ускорять дальнейшие беспокойства». Сменивший Штакельберга Булгаков получил инструкцию, подтверждавшую это предписание: «Теперь имею вам предписать не иное что, как только чтоб вы продолжали тихим, скромным и ласковым обхождением привлекать к себе умов, пока наш мир с турками заключен будет».

События развивались по сценарию, составленному Екатериной. В Варшаве рассчитывали на помощь Пруссии, заключившей союз с Речью Посполитой и обязавшейся противодействовать всяким попыткам ее раздела. Свои обязательства Пруссия коварно нарушила; как только появилась надежда оторвать от Речи Посполитой лакомый кусок территории, обязательства были забыты, и Пруссия из всех возможных заняла самую коварную позицию по отношению к союзнику.

Слухи о готовящемся новом разделе Польши стали достоянием народа и подняли новую волну патриотизма. Король

заявил, что единственное спасение Польши в принятии новой конституции: «Мы погибли, если будем медлить с принятием новой конституции». Получилось наоборот — именно принятие новой конституции ускорило гибель Польши.

Принятие конституции дало повод для активных действий Екатерины: с одной стороны, она выделила из тощей казны 500 тысяч рублей в помощь контрреволюции, а с другой — заявила: «Буду хлопотать изо всех сил о союзе держав против революционной Франции…»

В конце февраля 1792 года Екатерине удалось добиться соглашения между Пруссией и Австрией об отправке во Францию 40–50 тысяч войска, а в мае того же года русские войска вторглись в Польшу. Там к этому времени возникла в поддержку России и старой конституции Торговицкая конфедерация. Сопротивления русские войска не встречали. Напротив, делегация поляков просила у Екатерины прощения за противодействия ее планам, а сам король готов был отказаться от престола в пользу одного из внуков Екатерины, если она согласится оставить конституцию 3 мая 1791 года. Императрица, естественно, отказалась.

Еще не были получены победные реляции о действиях союзников во Франции, а в Пруссии и Австрии уже были озабочены дележом шкуры неубитого медведя. Поскольку Австрия имела общую границу с Францией, то она претендовала на часть ее территории. Россия и Пруссия общих границ с Францией не имели и поэтому их затраты должны были быть компенсированы за счет… Польши. Прусский король после поражения у Вальми отказался продолжать военные действия без компенсации. Переговоры между Пруссией и Россией завершились вторым разделом Польши. Пруссия получила Познань и земли на границе с Силезией, Россия — Волынь, Подолию и часть Литвы. Императрица оправдывала акцию тем, что решено дело, «которому началом и концом, — как сказано в рескрипте, — предполагаем избавить земли и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменниками ее населенные и созданные и единую веру с нами исповедующие, от соблазна и угнетения, им угрожающих».

Второй раздел Польши вызвал новую волну освободительного движения. На этот раз оно сопровождалось вооруженной борьбой, во главе которой стоял участник борьбы североамериканских колоний генерал Тадеуш Костюшко. Движение началось в Кракове, затем охватило Варшаву, которую русские войска должны были оставить.

Успех восставших носил временный характер. Патриоты,

вооруженные вилами и косами, не могли противостоять хорошо обученной, прошедшей школу войны с турками регулярной армии, которой командовал такой полководец, как А. В. Суворов. Осенью 1794 года Суворов взял штурмом предместье Варшавы Прагу. Восстание было подавлено, раненый Костюшко оказался в плену.

Поражение восстания объяснялось не только слабой выучкой и вооружением участников сопротивления, но и безразличием руководителей движения к судьбам основной массы населения — крестьян, нисколько не почувствовавших от новой власти облегчения своего положения: те же повинности в пользу пана и государства, то же бесправие и безнаказанность помещика. Подобное отношение к крестьянству не способствовало приливу его в ряды восставших.

В октябре 1795 года состоялся третий раздел Польши, положивший конец ее существованию как государства. По третьему разделу России отошли западная часть Белоруссии, Западная Волынь, Литва и герцогство Курляндское. Австрии достались Сандомир, Люблинская и Хелемская земли, Пруссии — Краков.

Разделам Польши затруднительно дать однозначную оценку, поскольку они являлись результатом воздействия множества факторов. В частности, остаются открытыми вопросы об исторической обоснованности присоединения земель, о влиянии разделов на материальную жизнь населения. Не ясно, в какой мере эти разделы тормозили или ускоряли развитие экономики, просвещения, культуры, проявление этнических особенностей народа, населявшего край, и т. д.

Ликвидация суверенного государства есть разбойничья акция со стороны соседей. Однако не следует игнорировать положительное значение вхождения в состав России этнически близких русским украинцев и белорусов, у которых можно обнаружить множество общностей в культуре, языке, быту, религии, письменности и т. д. Вхождение в состав могущественного государства положило конец панскому своеволию, политической анархии, отсутствию элементарной законности. Именно поэтому присоединение Украины и Белоруссии к России следует считать положительным актом, хотя население присоединенных земель, как и население коренной России, продолжало находиться в тисках крепостнического режима и самодержавия.

Третий раздел Польши был последней значительной акцией царствования Екатерины Великой. Проживи она еще два-три года и, быть может, ей удалось бы расправиться с

тысячедвухсотголовой гидрой во Франции, но смерть лишила ее этого. Казалось бы, симптомов ее близкой кончины не обнаруживалось; всем она пыталась внушить мысль о полном своем здравии. Действительно, внешне она выглядела достаточно бодрой, хотя и располневшей женщиной. Единственная болезнь, о которой знали окружающие, — незаживающие раны на ногах, затруднявшие ходьбу. Самочувствие тоже не предвещало тревоги. 18 августа 1796 года, то есть за два с половиной месяца до кончины, она писала Гримму: «Будьте здоровы; я весела и чувствую себя легкою, как птица»[290]. Думается, что императрица утешала и себя, и своего корреспондента. 5 ноября 1796 года Масон записал: «Здоровье (императрицы. — Н. П.) плохо; не ходит более; буря, похожая на случившуюся в последнее время императрицы Елизаветы, произвела тяжелое впечатление (на Екатерину. — Н. П.); не выходит более»[291].

Скорее всего, информация в письмах Гримму объясняется бравадой, напускным оптимизмом, стремлением дать ответ на появившиеся при европейских дворах слухи, усердно распространявшиеся ее недругами, о скорой кончине императрицы.

Напомним, богатырским здоровьем императрица не могла похвастаться ни в молодые, ни в зрелые годы, ни тем более в старости: болела она часто, жаловалась то на боли головы, то поясницы, то на простуду, но в постель укладывалась в редких случаях, когда к тому принуждала острая необходимость.

И если императрица прожила долгую для женщины жизнь, то объясняется это несколькими причинами. Одна из них — размеренный образ жизни, строгое соблюдение распорядка дня: Екатерина вставала в одно время, в шесть утра, затем следовали заботы по управлению государством, обед, после которого либо продолжались занятия делами, либо чтение книг; вечером — развлечения: театр, игра в карты и на бильярде, прогулки и т. д.

Благотворно повлиял на состояние здоровья отказ от обильной и жирной пищи; все современники отмечали скромное меню императрицы. Имел значение и отказ императрицы от употребления горячительных напитков, которыми грешили ее предшественницы и предшественники. Некоторые современники, редко наблюдавшие императрицу за столом, отмечали емкие сосуды, якобы наполненные вином. В действительности это было не вино, а смородинный сок, разбавленный в небольшом количестве вина. Наконец, Екатерина избавилась от истощения организма сравнительно редкими родами: за всю жизнь она родила пятерых детей, в то время как в обычной семье того времени насчитывалось 18–22 новорожденных.

Все эти ограничения продлевали жизнь и избавляли императрицу от некоторых хворей. Неизвестно, правда, компенсировали ли они чрезмерное увлечение Екатерины ночными забавами.

В личной жизни императрицы не стыкуются две особенности ее поведения: сравнительно частые болезни и игнорирование медицинской помощи. Казалось бы, она должна была часто пользоваться услугами медиков, иметь с десяток эскулапов, созывать консилиумы и т. д. Но Екатерина не только игнорировала медиков, но и пренебрежительно отзывалась о них, именуя их шарлатанами. Подозрительность к медикам, по ее признанию, внушил ей Мольер, сочинения которого она прочла еще в молодости[292]. В 1774 году она писала Гримму: «Не люблю я частых совещаний с докторами, эти шарлатаны всегда сделают вам больше вреда, чем пользы; пример Людовика XV; у него их было человек десять…» Даже профессиональному медику доктору И. Г. Циммерману, с которым она находилась в дружеской переписке, императрица с некоторой дозой издевки писала в 1789 году, что ее с 1766 года мучили нестерпимые головные боли, иногда сопровождавшиеся рвотами и почти летаргическим сном: «Лекарствами не пользовалась, но года три-четыре назад стала употреблять капли Бестужева, и вот уже два года как эти капли избавили меня от этих ужасных головных болей». Ему же она хвасталась, что годовой счет аптеки за лекарства, лично ею израсходованные, редко превышал 30 су.

В 1783 году императрица повторила нападки на медиков: «Боль и доктор стали у меня однозначущими словами. Эти дьяволы морили меня много раз; по крайней мере они никого не вылечили. Месяца два у меня началась горячка; семь дней я пролежала в постели, но ни один эскулап не перешагнул порога моей комнаты».

Последний раз нелестный отзыв о врачах Екатерина высказала за год до смерти, когда пожаловалась Гримму на «ужасную боль головы», лишавшую ее возможности заниматься делами: «Вот уже двенадцать дней как я почти ничего не ем и совсем не сплю, а доктора глупы. Я из сил выбиваюсь, толкуя им, что это просто спазмы. Наконец сегодня я потеряла всякое терпение и начала лечить себя от спазмов, стала употреблять самые сильные лекарства от этой болезни, и вот я спала после этого целый час и вот доктора все дураки, а я права»[293].

На наш взгляд, подобные заявления императрицы можно расценить как банальное кокетство, стремление выглядеть оригинальной. Иначе как объяснить вызов в Россию из Англии доктора Демсделя, прославившегося изобретением эффективного

препарата для борьбы с бичом средневековья — оспой.

Доктор сначала сделал прививки четырем кадетам. Убедившись, что у подопытных пациентов прививка прошла благополучно, Екатерина сделала прививку и себе. Граф Сольмс, со слов Н. И. Панина, доносил Фридриху II, как протекала процедура: «Прививка натуральной оспы имела самый счастливый исход у ее величества императрицы России. Ее величество чувствовала небольшую лихорадку». Подвиг считался столь значительным, что о нем трубили почти весь 1768 год.

Императрица возложила на себя обязанности пропагандиста оспопрививания. В циркулярном рескрипте от 20 апреля 1768 года она скрыла свое небольшое недомогание и объявила, «что не чувствовала во все время такого припадка, который принудил нас хоть на краткое время быть в постеле».

Игнорируя профессиональных медиков, Екатерина часто пользовалась либо услугами знахарей, либо занималась самолечением. Смерть ее, если верить молве, ускорил совет какого-то проходимца принимать ванны для ног в холодной воде. П. Зубов настоял, чтобы императрица воспользовалась советом. Ей стало легче, но на следующий день, 6 ноября 1796 года, последовал удар и тридцатишестичасовая агония, завершившаяся смертью.

Глава X. Итоги

При подведении итогов царствования Екатерины Великой попытаемся определить меру соответствия ее заявления о том, что «вся жизнь моя была посвящена поддержанию блеска России», реальному положению страны, оставленной наследнику. Императрица называла огромную империю, которой управляла три с лишним десятилетия, «маленьким хозяйством». Однажды она допытывалась у Сегюра: «Как вам нравится мое маленькое хозяйство? Не правда ли, оно понемножку устраивается и увеличивается. У меня немного денег, но, кажется, они употреблены с пользою»[294].

Наибольших, можно сказать, блестящих успехов Екатерина достигла в области внешней политики: за счет разделов Польши, Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года и Ясского мира 1791 года, а также присоединения Крыма Россия раздвинула свои границы на западе и юге. За годы царствования Екатерины численность населения страны почти удвоилась; по третьей ревизии (1762–1766) она равнялась 18–19 миллионам человек, а по пятой ревизии (1792–1796) — 36 миллионам человек. Столь значительное увеличение численности населения связано отчасти с его естественным приростом, отчасти — с присоединением достаточно населенных земель Польши.

В отличие от населенных земель, отошедших к России в результате трех разделов Польши, огромная территория Северного Причерноморья и Приазовья представляла неосвоенную степь с плодороднейшей почвой. Хозяйственное освоение обширного края, его заселение следует поставить в заслугу Екатерине и исполнителю ее воли Потемкину. К концу столетия свыше 430 тысяч мужчин и более 385 тысяч женщин обрабатывали пашню, занимались ремеслом и торговлей в городах, ранее отсутствовавших на картах, — Николаеве, Херсоне, Екатеринославле, Мариуполе, Севастополе и других. Военные и торговые корабли бороздили воды Черного моря, выход к которому тоже следует отнести к успешным внешнеполитическим акциям Екатерины II.

В XVIII веке, как и в последующем столетии, Россия оставалась аграрной страной, в которой только четыре человека из ста жили в городах. Остальное население относилось к селянам, занимавшимся сельским хозяйством, причем большую часть их (6555 тысяч душ мужского пола из общего числа 12 123 тысячи душ мужского пола) составляли помещичьи крестьяне. Успехи в развитии сельского хозяйства можно назвать весьма

скромными.

Казалось бы, что манифест о вольности дворянской, предоставлявший дворянам право жить в своих усадьбах, должен был стимулировать интерес помещиков к совершенствованию земледелия и скотоводства, их интенсификации. Но лишь немногие из помещиков вникали в нужды хозяйства, проявляли интерес к его ведению на рациональных началах. Большинство уклонялось от хозяйственных забот, традиционно ориентировалось на усердие приказчиков, отдавая предпочтение праздному времяпровождению: охоте, рыбной ловле, встречам с соседями, с которыми часами судачили о бедной новостями деревенской жизни. Зимой барин среднего достатка отправлялся вместе с семьей в Петербург или Москву. За барской каретой тянулся обоз со всякой снедью. В столицах продолжалась праздная жизнь, но велась она в ином ритме и в иных заботах: балы, маскарады, театр, показ девиц на выданье в поисках выгодной партии.

Большие надежды на развитие интенсивного земледелия и скотоводства возлагались на открытое в 1765 году Вольное экономическое общество. В его «Трудах» печатались образцовые инструкции приказчикам, рекомендации к способам повышения урожайности, устройству гумен и овинов, использованию более совершенных орудий труда и т. д. Эффективность этих рекомендаций была ничтожной, в большинстве своем хозяйство велось по старинке, как и сто лет назад. Рекомендации оставались невостребованными, ибо они противоречили самим основам крепостного режима: повсюду господствовало использование примитивных орудий труда с трехпольной системой земледелия, обеспечивавшей сравнительно высокую урожайность только в черноземных районах страны. Весь доход от имения помещик использовал на потребительские нужды, не вкладывая ни копейки в рационализацию хозяйства, а крепостной крестьянин не склонен был радеть о нововведениях, поскольку они увеличивали бремя повинностей в пользу барина.

И все же сдвиги имелись. В скобках заметим, что историческая наука не располагает конкретными данными о количественных и качественных показателях в сельском хозяйстве. Поэтому приходится прибегать к таким общим понятиям, как «росло», «увеличивалось», «расширялось» и т. д.

К новшествам в сельском хозяйстве екатерининского царствования относится возделывание подсолнечника и картофеля. Правда, картофель значился в списке огородных культур на протяжении всего XVIII века, но с каждым десятилетием его значение возрастало. На полях юга появилась

еще одна новая культура — кукуруза.

Новым в укладе деревенской жизни являлось широкое распространение отходничества: в конце столетия треть взрослого мужского населения уходила на заработки. Отходничество существовало и ранее, но таких размеров оно не достигало. Еще одно новшество состояло в повышении товарности сельского хозяйства. Оно связано с увеличением спроса на зерно на внутреннем рынке отчасти за счет увеличения числа отходников, отчасти за счет значительного роста числа винокуренных заводов. Появился новый канал сбыта зерна — экспорт его за границу, ранее производившийся в порядке исключения.

Новшество негативного плана состояло в малоземелье, появившемся в отдельных районах в связи с приростом населения. Так, в Ряжском уезде Тамбовской губернии Сенатская анкета зарегистрировала: «Земель пустых не оказывается, но многие как мелкопоместные дворяне, так и однодворцы приносят жалобу, что годных к хлебопашеству земель и не довольно, за что бывают с кровопролитием всякие драки». В этих ссорах и драках верх брали сильные, которые «у бедных во владение отбирают» пахотную землю, сенокосы и леса[295].

При характеристике положения крестьян надобно учитывать их принадлежность к определенному разряду (помещичьи, государственные, дворцовые), а также плодородие земель, на которых они проживали, и возможность использования внеземледельческих ресурсов. В наибольшем достатке жили государственные крестьяне, а также крестьяне, поселения которых располагались вдоль Волги — дополнительный доход им приносили рыболовство и бурлачество. Хуже всего жили помещичьи крестьяне, составлявшие больше половины всего сельского населения.

Принято иронически относиться к словам Екатерины из ее письма к Вольтеру о том, что крестьяне перестали довольствоваться курами и за обеденным столом предпочитают индейку, равно как сомневаться в достоверности ее наблюдения о высоком достатке крестьян, живших вдоль Волги, зарегистрированном во время ее путешествия по реке в 1767 году. Однако есть свидетельство, исходившее не от императрицы, а от стороннего наблюдателя, записки которого отличаются и достоверностью и глубоким проникновением в события и факты, которые он освещал. Граф Сегюр, сопровождавший императрицу в ее путешествии в Крым в 1787 году, проезжая по Орловской губернии, отметил: «Внутренние области империи в плодородной местности и под благотворным правлением Екатерины, ежегодно

обогащались более и более, и потому здесь похвалы были искренни; императрицу встречали как мать; народ, который она защищала от злоупотреблений господской власти, выражал восторг свой, внушенный ему единственно чувством признательности»[296].

Аналогичную картину Сегюр наблюдал и во время путешествия в 1780 году: «Повсюду народ, как будто торжествуя свои победы над природою, добываемые без крови и слез, усердно выражал своей повелительнице чувства искренней преданности. Толпы крестьян падали перед нею на колени, вопреки ее запрещению, потом поспешно вставали, подходили к ней и называли ее матушкой, радушно говорили с нею». Но тот же Сегюр писал, что помещичьи крестьяне «достойны сожаления, потому что их участь зависит от изменчивой судьбы, которая по своему произволу подчиняет их хорошему или дурному владельцу».

Время царствования Екатерины характеризуется развитием крепостничества вширь и вглубь. Главным показателем углубления крепостнического режима является систематическое увеличение оброчных и барщинных повинностей в пользу помещика при сохранении в неизменном виде размера налога в пользу государства. Если оброчные повинности в конце царствования Петра I оценивались в 40 копеек с мужской души, то к концу царствования Екатерины II они достигали четырех-пяти рублей, в то время как подушная подать составляла в 1725 году и в конце столетия 70 копеек.

Повинности крестьян в пользу помещика не были регламентированы законом, и здесь царил полный произвол владельца крепостных — размер повинностей определялся многими параметрами: количеством крестьян у помещика, его духовными и материальными запросами, уровнем нравственности владельца, наличием или отсутствием добродетелей в его характере. Екатерина в ответ на вопрос анкеты Дидро о размере крестьянских повинностей в пользу помещика уклонилась от прямого ответа, но справедливо заметила, что рачительный хозяин не станет изнурять корову, ибо останется без молока[297].

Сказанное, однако, не означает, что помещик мог беспредельно увеличивать размер повинностей — его разуму была доступна элементарная мысль, что чрезмерные повинности разоряли крестьян, на хозяйстве которых зиждилось благополучие барина. И еще одна оговорка: увеличение оброчной суммы в 10–12 раз не означало, что во столько же раз увеличилось реальное его бремя: здесь надобно учитывать и падение курса рубля, и повышение, хотя и незначительное,

производительности труда, и уход части членов семьи на заработки и т. д.

Все эти оговорки не исключают роста повинностей владельческих крестьян. Но для того, чтобы барин имел возможность выколачивать из крестьян повышенные повинности, необходимо было расширить его права на труд и личность крестьянина. Екатерина встала на этот путь, ужесточив крепостнический режим в поместьях. Уже в начале царствования Екатерина обещала «сохранять ненарушимо помещиков при их имениях и владениях и содержать крестьян в должном им повиновении». В последующие годы императрица свято блюла данное обещание, продолжив крепостническую политику Петра Великого и его преемников. Елизавета Петровна в 1760 году издала указ, предоставлявший помещикам право ссылать своих крестьян на поселение в Сибирь. Эту меру указ мотивировал необходимостью заселить удобные для земледелия места в отдаленном крае. Указ, однако, предоставлял барину возможность избавиться от неугодных ему элементов на селе: лодырей, пьяниц, больных, владельцев хозяйств, неспособных выполнять повинности и т. д. Помещик при этом ничего не терял, ибо за каждого сосланного мужчину старше 15 лет он получал рекрутскую квитанцию, а за детей и женщин — денежное вознаграждение[298].

Екатерина продолжила эту линию, предоставив в 1765 году право помещику отправлять провинившихся крестьян на каторжные работы — без суда и следствия срок каторги устанавливал сам помещик. Ему же предоставлялось право в любое время вернуть наказанного в имение[299]. В 1767 году императрица еще раз подтвердила установленную еще Уложением 1649 года норму, многократно затем повторенную указами преемников царя Алексея Михайловича: запрещалось крестьянам подавать челобитные с жалобами на своих помещиков. Наконец, Екатерина в 1763 году обнародовала указ, направленный на то, чтобы сбить волну неповиновения крестьян помещикам: если последний вызывал воинскую команду для усмирения бунта, то расходы на ее содержание перекладывались на крестьян — возмутителей спокойствия[300].

Таким образом, в годы правления просвещенной монархини крепостное право развивалось вглубь. Но оно развивалось и вширь — в 1783 году крепостнический режим был узаконен на Украине, а в конце 1796 года — на Дону.

Крепостное право унижало человеческое достоинство, приучало к рабской покорности барину, создавало своеобразную иерархию подчиненности внутри дворянского сословия,

закрепленную не законом, а обычным правом. Все население страны от крестьянина захолустной деревни до вельможи самого высокого ранга величало себя рабами государыни. Даже такого масштаба сановник, как Г. А. Потемкин, подписывался в донесениях императрице так: «верный раб», «верноподданный раб». Первый раз «верным подданным» Потемкин назвал себя в донесении от 28 марта 1786 года, то есть после опубликования жалованной грамоты благородному дворянству. В последующие годы подпись варьировалась: «вернейший подданный», «вернейший и благодарнейший подданный», «по смерть вернейший ваш питомец и вернейший и благодарнейший подданный»[301].

Особенно выразительно бесправие крепостных крестьян, низведенных до положения рабов, обнаруживает распространившаяся при Екатерине практика их купли-продажи в одиночку и семьями. Газеты того времени пестрят объявлениями о продаже крестьян, об обмене их на породистых псов и лошадей. Крестьян проигрывали в карты, отдавали в залог за долги и т. д.

«Желающие купить 17 лет девку, знающую мыть, гладить белье, готовить кушанье и которая в состоянии исправлять всякую черную работу, благоволят для сего пожаловать на Охтинские пороховые заводы к священнику»[302].

Приведем еще несколько примеров, заимствованных из Московских и Петербургских ведомостей за разные годы:

«Продается холостой человек, годный в гусары и егери, ростом 2 арш. 10 вершков, 29 лет. О цене спросить в 8 части 5 квартала под № 399 у домуправителя».

«Продаются люди: девка 20 лет, мастерица кружева плесть, за 200 руб.; крестьянская девка 16 лет за 100 руб., малой крестьянской за 400 р.»

«Продается мужской и женской хороший перукмахер, ростом выше среднего и недурной фигуры; годный в камердинеры, официанты и лакеи; а жена его, 24 лет, прачка и швея с дочерью по третьему году, оба хорошего поведения. Последняя им цена 1000 руб.»

«Продаются дворовые мастеровые люди: 2 портных, сапожник, часовщик, пекарь, каретник, колесник, резчик золотарь и 2 кучера, коих видеть и узнать о цене… у самого помещика. Тут же продаются 3 беговые молодые лошади, один жеребец и два мерена и стая гончих собак, числом 50, которые годуют в генваре и феврале месяцах».

«Продается девка, умеющая белье шить и в тальбуре, гладить и крахмалить, отчасти кушанье готовить и портному. Тут же продаются брильянтовые вещи и цветные каменья, да бык и

корова хорошей породы, за сходную цену».

Перечисленные объявления напечатаны в Московских ведомостях за 1797 год. В этом же году аналогичные объявления можно было прочесть и в С.-Петербургских ведомостях:

«Продается 16 лет девка весьма доброго поведения и немного поезженная карета».

«Банкетные скатерти… тут же две девки ученые и мужик».

Парикмахер и «английской лучшей породы корова».

«Повар и кучер… да попугай»[303].

3 января 1780 года С.-Петербургские ведомости опубликовали следующее объявление: «Желающих купить с публичного торгу в городе Торжке находящихся при красочной фабрике крестьян мужеска 6, женска 7 душ явиться Тверского наместнического правления в казенную палату сего генваря 15 числа».

Крепостных не только продавали оптом и в розницу, но и подвергали истязаниям. В качестве показателя бесправия крестьян и безнаказанной жестокости и произвола помещиков обычно ссылаются на дело Салтычихи, от истязаний которой умерло 75 человек дворовых, но она была женщиной больной и поэтому ее поведение не следует считать характерным — она не правило, а исключение. Но перед нами образованные помещики, тем не менее считавшие физические истязания своих крепостных делом обычным, не вызывавшим осуждения.

Знаменитый генералиссимус А. В. Суворов не любил пьяниц и прибегал к таким средствам воздействия на них, как наказание розгами, батогами и плетьми, содержание виновного под стражей на хлебе и воде с наложением цепей и без них, надевание колодок на ноги, бритье половины волос на голове.

Известный мемуарист и ученый агроном второй половины XVIII — начала XIX века А. Т. Болотов тоже не чтил пьяниц. В мемуарах он поведал, как поступил с любителем горячительных напитков, к тому же нечистым на руку: «Посекши его немного, посадил его в цепь в намерении дать ему посидеть в ней несколько дней, и потом повторить сечение, дабы оно было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много».

Поэт Г. Р. Державин велел приказчику четырех скотниц, просивших «уволить их от страды», высечь «хорошенько на сходе мирском, которые старее, тех поменее, а которые моложе, тех поболее»[304].

Князь М. М. Щербатов, образованнейший человек времен Екатерины, публицист и блестящий оратор, писатель и историк, тем не менее был горячим защитником крепостнических

порядков. В инструкции приказчику он рекомендовал бить провинившегося палками, но чтобы не нанести увечья, надлежало наносить удары ниже спины[305]. Одним словом, телесные наказания относились к столь обычным явлениям повседневной жизни крепостной деревни, что от них не отказывались даже образованные представители дворянства. Мера наказания нигде и никем не была регламентирована, поэтому истязания некоторых помещиков заканчивались смертью наказуемого.

Обширные права помещиков над крестьянином унижали крепостного, лишали его чувства собственного достоинства, приучали к покорности. В итоге формировался особый менталитет русского человека в районах, подвергшихся монгольскому нашествию и утверждению крепостнических порядков, отличный от менталитета русского человека, проживавшего в районах, где отсутствовало то и другое: психология и черты характера жителя северных районов существенно отличаются от характера жителей Центральной России.

Крепостнический режим отражался и на барине, воспитывал в нем леность, стремление к праздности, глушил инициативу и предприимчивость, а также тягу к знаниям — жизненными ресурсами, без всяких усилий барина, обеспечивал его крепостной крестьянин.

Екатерина последовательно проводила четко выраженную продворянскую политику. В истории России никогда дворянство не было облагодетельствовано в такой мере разнообразными привилегиями, как при Екатерине Великой. Именно в ее царствование тенденция освобождения дворян от обязательной службы получила завершение, и некогда служилое сословие превратилось в привилегированное — при отмене обязанностей оно в полной мере воспользовалось привилегиями, число которых увеличилось.

Екатерина в первые годы царствования, зная силу дворян, способных заменить одного монарха другим, проявила по отношению к дворянскому сословию известную осторожность. Работа Уложенной комиссии и в особенности поведение дворян во время движения Пугачева засвидетельствовали верность их трону и готовность защищать самодержавие. Это дало основание Екатерине предоставить дворянам монопольное право занимать должности в правительственных учреждениях. Губернская реформа 1775 года положила начало корпоративному устройству дворянского сословия, а жалованная грамота дворянству не только закрепила за ним ранее предоставленные льготы и привилегии, но и объявила новую привилегию — отныне дворяне

являлись собственниками не только земли, но и ее недр.

Направленность проводимой Екатериной политики очевидна: уберечь дворян от тлетворного влияния проникновения рыночных отношений в помещичью усадьбу, ранее бывшую оплотом натурального хозяйства, создать дворянам тепличные условия для приспособления этого хозяйства к нетрадиционным формам его ведения. Объективно эта политика консервировала старую модель хозяйственной деятельности помещика.

В этой связи возникают вопросы: как в деятельности императрицы совмещалась просветительская идеология не только с сохранением крепостнического режима, но и его ужесточением? Почему Екатерина не предприняла попытки хотя бы ослабить влияние крепостного права на личную жизнь и хозяйственную деятельность селянина, не говоря уже об отмене крепостного права? Ключом к разгадке этого противоречия являлся, на наш взгляд, довлевший над императрицей страх за судьбу своей короны, ее опасения сменить покои роскошного дворца на келью какого-нибудь отдаленного монастыря.

Отважилась же императрица провести секуляризацию церковных владений, то есть совершила акцию в духе просвещенного абсолютизма, но так и не попыталась хотя бы урезать права помещика на крестьянина, хотя знала, что положение помещичьих крестьян «таково критическое», что «бунт всех крепостных деревень воспоследует», как она писала генерал-прокурору А. А. Вяземскому. Объясняется это просто: секуляризацию императрица осуществила после того, как убедилась в неспособности духовенства оказать сопротивление этой акции. В этом намерении ее поддерживали и вельможи, и рядовые дворяне, и Екатерина разрешила вековой спор духовной власти со светской за первенствующую роль в жизни государства в пользу последней.

Иное дело помещичьи крестьяне, за сохранение прав на владение которыми горой стояли дворяне. В такой ситуации бунт дворян был для Екатерины опаснее бунта крестьян. О том, что Екатерина считалась с мнением дворян, свидетельствует и заявление Е. Р. Дашковой Дидро о том, что «некоторые лица, пользовавшиеся доверием Екатерины, оставались сторонниками крепостного права»[306].

Несколько иное объяснение отказа императрицы освободить крестьян дал французский посланник Верак, доносивший в 1780 году о надежде императрицы путем принятия областной реформы «положить конец произволу и жестокости помещиков в их обращении с крепостными крестьянами; мало того: императрица хотела постепенно отменить крепостное право и, между прочим,

намеревалась ежегодно освобождать некоторое число крестьян, дарованием им гражданских прав в разных городах. Однако исполнение такого плана не состоялось по недостатку в честных и добросовестных чиновниках. Таким образом, государыня, к крайнему сожалению, потерпела неудачу в этом важном предприятии»[307]. Думается, однако, что в объяснении причин неудачи Екатерины в этом важном предприятии Верак заблуждался — понадобилось столетие, чтобы общество осознало пагубность крепостного права.

Свободнее императрица чувствовала себя, когда речь заходила о промышленной политике и промышленности, сравнительно молодой отрасли хозяйства и поэтому в меньшей мере связанной с крепостным режимом. Но и здесь некоторые меры правительства имели в виду интересы не промышленников из купцов, в руках которых находилось подавляющее большинство крупных предприятий, а интересы дворян, занимавшихся промышленным предпринимательством. Указ восстанавливал монопольное право дворян на землю и душевладение, чем повышал конкурентоспособность дворянских предприятий, поскольку их владельцы пользовались дешевым трудом собственных крестьян. Объективно этот указ, принуждавший промышленников из купцов обеспечивать предприятия наемным трудом, способствовал генезису капитализма.

Принципиально новым явлением в промышленной политике екатерининского времени были отмена монополий и привилегий, которые в петровское время относились к основным средствам поощрения развития промышленности. Вспомним привилегии, предоставляемые купцам, вложившим капитал в промышленное производство: право покупать крепостных к мануфактурам, освобождение от постойной и подворной повинностей и городских служб, предоставление монополий промышленникам, создававшим новые отрасли производства.

Екатерина Великая руководствовалась иными принципами, четко изложенными в указе 1767 года: «Никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, не можно завести принуждением, а дешевизна родится только от великого числа продавцов и от вольного умножения товаров»[308]. В этом указе уже был заложен принцип свободы предпринимательства, свойственный буржуазному, а не феодальному обществу. Впрочем, указ имел ограниченное значение и распространялся на фабрику по производству лосиных кож. Такое же частное значение имел указ 1769 года, разрешавший заводить ткаческие станы, не испрашивая дозволения Мануфактур-коллегии. Указ разъяснял

причины его опубликования: раньше, когда мануфактурное производство только начиналось, «за нужное почтено было, чтоб кроме оных никто в своей особенности тем же рукоделием не промышлял»[309]. Это были шаги к объявлению полной свободы предпринимательства. Манифест 1775 года подводил итог этому направлению промышленной политики: «Всем и каждому дозволяется и подтверждается добровольно заводить всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышнего до нижнего места»[310].

Некоторые историки полагают, что искать буржуазные явления в экономике России екатерининского времени — дело бесперспективное. На наш взгляд, это утверждение основано на недоразумении. Буржуазные элементы в политике и экономике настолько очевидны, что их можно обнаружить, не прибегая к оптическим приборам. Они были отмечены выше. Добавим — идеи Просвещения, которыми руководствовалась императрица во многих сферах своей деятельности, по своей сути были буржуазными. Эта мысль настолько общеизвестна и общепризнанна, что не нуждается в аргументации.

По сравнению с сельским хозяйством успехи в развитии промышленности были более ощутимы. Промышленная статистика того времени, несмотря на ее некоторые изъяны, позволяет установить количественные и качественные сдвиги, происходившие в мануфактурном производстве в годы царствования Екатерины II. Самые крупные достижения отмечены в металлургии. За четыре десятилетия (1760–1800) выплавка чугуна увеличилась в 2,7 раза, достигнув 9908 тысяч пудов выплавленного чугуна по сравнению с 3663 тысячами в 1760 году. Возросла производительность доменных печей: их число увеличилось в 1,8 раза и составило в 1800 году 111 домен, по сравнению с 62 в 1760 году. По количеству выплавленного чугуна Россия выдвинулась на первое место в мире, опередив даже такую промышленно развитую страну, как Англия. Быстрый рост металлургии, особенно уральской, был обусловлен широким спросом на железо иностранного рынка — известно, что промышленный переворот в Англии был в значительной мере осуществлен при участии высокосортного уральского железа[311].

Вывоз за границу полотна и парусины стимулировал значительное увеличение числа парусно-полотняных мануфактур. На конец 60-х годов их насчитывалось 85, а в 1799 году — 318. Особенно бурный рост наблюдался в хлопчатобумажной промышленности, практически превратившейся в значимую отрасль производства при Екатерине II: в конце 60-х годов в стране насчитывалось семь предприятий, а к концу столетия —

249.

Мы не станем утомлять читателя цифрами по другим отраслям промышленности. Общий итог промышленного развития России в конце XVIII века составлял около 1200 крупных предприятий, в то время как в 1767 году их насчитывалось 663[312].

Заслуживает внимания социальный аспект промышленного развития, имеющий прямое отношение к генезису капитализма. Почти вся металлургия работала на принудительном труде. Высок был удельный вес принудительного труда в суконной промышленности. Это объясняется тем, что значительная часть суконных мануфактур принадлежала дворянам. Что касается шелковой промышленности, то она изначально, с петровских времен, обслуживалась наемным трудом. В новой отрасли промышленности — хлопчатобумажной — число наемных работников превышало 90 %. Что касается парусно-полотняной и суконной промышленности, то предприятия этих отраслей, основанные после 1762 года, за редким исключением, сплошь использовали наемный труд. Таким образом, промышленность в целом представляла капиталистический островок в море феодального хозяйства России.

В обобщенном виде хозяйственное развитие страны отразилось в структуре экспорта России в начале и в конце царствования Екатерины Великой. Общая сумма вывоза товаров из России составила в 1760 году 13 886 тысяч рублей, а в 1790 году — 39 643 тысячи: налицо увеличение вывоза почти в три раза. Даже с учетом падения курса рубля прирост был значительным. Наряду с ростом вывоза продуктов земледелия и скотоводства наблюдалось увеличение вывоза промышленных изделий — с 2183 тысяч рублей в 1760 году до 5708 тысяч рублей в 1790 году. И еще одно новшество — включение в торговый оборот портов Черного моря — Евпатории, Очакова, Херсона, Керчи и других. Правда, оборот черноморских портов был еще невелик, но за ними — будущее[313]. Среди вывозимых продуктов земледелия выделялась пшеница.

Диапазон деятельности самой Екатерины был широк и разнообразен: от сочинения детских сказок для внуков до составления «Наказа» Уложенной комиссии, от проведения губернской реформы до строительства роскошных дворцов в Царском Селе и столице империи, от рескриптов генералам и фельдмаршалам с указаниями, как им вести военные действия, до написания комедий и исторических сочинений, от собирания библиотеки и коллекций картин и раритетов до правительственных указов, составленных по ее указанию статс-

секретарями. Граф Сегюр был прав, когда записал: «Деятельность Екатерины была беспредельна».

В 1782 году статс-секретарь Безбородко составил небольшую таблицу, что сделано Екатериной за 19 лет ее царствования. Таблица выглядит так:

• Учреждено новых губерний — 29.

• Учреждено и построено городов — 144.

• Заключено условий и трактатов — 30.

• Одержано побед — 78.

• Постановлений о народном довольствии и облегчении — 123[314].

К сожалению, таблица не подверглась проверке учеными-историками на предмет достоверности ее сведений и выяснения, где А. А. Безбородко из угодничества делал приписки или допускал произвольное толкование источников. Сошлемся, например, на количество основанных Екатериной городов: в некоторых случаях это были обыкновенные села, объявленные во время губернской реформы городами; за несколько лет они не могли приобрести городского облика. Неясно также, какими критериями руководствовался составитель таблицы при включении мер в рубрику «о народном довольствии и облегчении».

Таким образом, сведения Безбородко нуждаются в некоторых коррективах, что, однако, не исключает громадных успехов, достигнутых Екатериной в разных сферах жизни общества и государства.

Время Екатерины — время бурного расцвета русской культуры: живописи и архитектуры, литературы и исторической науки, публицистики и ваяния, монументальной скульптуры и грандиозных описаний страны экспедициями, возглавляемыми учеными, театральной культуры и просвещения.

Особенно впечатляют достижения в области архитектуры и градостроительства. Талантливые отечественные зодчие, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов, а также иностранные, Д. Кваренги, Ч. Камерон и другие создали огромное количество сооружений, которые своим величием и простотой радуют глаз и наших современников.

В августе 1771 года, то есть в разгар первой русско-турецкой войны, Екатерина писала Бьельке: «Несмотря на войну, страсть к постройкам не оставляет меня»[315]. Императрица нисколько не приукрашивала меру строительной горячки, не покидавшую ее во все время царствования. Достаточно взглянуть на даты сооружений зданий в Петербурге, Москве и летней резиденции — Царском Селе, чтобы убедиться в том, что ни три войны, которые

она вела, ни социальные катаклизмы, ни угрозы вовлечения России в военный конфликт не мешали ей заниматься строительством. Результаты ее усилий налицо.

Екатерина как-то заявила, что в начале ее царствования Петербург был деревянным, а она оставляет столицу каменной. Это тоже не преувеличение — за время ее правления столицу украсило огромное количество правительственных и общественных зданий, а также частных дворцов и особняков.

В 1763 году императрица создала «Комиссию о каменном строении С.-Петербурга и Москвы» — орган, руководивший реконструкцией новой и старой столиц и утверждавший проекты зданий, представленных зодчими. Главное внимание было уделено столице, где сооружались шедевры зодческого искусства. Портик и колоннада, придававшие сооружению величественный и парадный вид — характерные черты классицизма в архитектуре, а прямолинейная планировка улиц, симметрично расположенные здания, составлявшие ансамбли, — в градостроительстве. Для русского классицизма примечательна также внешняя скромность отделки, отсутствие лепных украшений и богатство отделки внутренней.

Основоположниками русского классицизма принято считать В. И. Баженова и И. Е. Старова. Первый работал в Москве, второй — в Петербурге. Суть этого направления ярче всего была выражена в требованиях, предъявленных Баженову при выполнении испытательного задания после возвращения из-за границы, где он совершенствовал свои знания: экзаменуемый должен был показать «новый, еще не употребляемый вкус в величавой простоте, сохраняя красоту, спокойствие и выгодность, наблюдая, дабы как в наружных украшениях, так и внутренних уборах красота с пользой были неразделимы». Свое понимание задачи архитектора, получившего задание от Екатерины составить проект перестройки Кремля, Баженов видел в том, чтобы сооружение служило «к славе великой империи, к чести своего века, к бессмертной памяти будущих времен, ко украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего народа»[316].

Классическим образцом нового стиля в архитектуре является дворец Потемкина, или Таврический дворец в Петербурге, построенный Старовым в 1783–1789 годах. К достопримечательностям дворца относится грандиозная Большая галерея из 36 колонн. Г. Р. Державин, присутствовавший на празднестве по случаю взятия Измаила, состоявшемся 28 апреля 1791 года, поделился впечатлениями о дворце: «При первом шаге представляется длинная овальная зала, или, лучше сказать,

площадь, пять тысяч человек вместив в себя и разделена в длину в два ряда еще 36 столпами… Кажется, что исполинскими силами вмещена в ней вся природа. Сквозь оных столпов виден обширный сад и возвышенные на малом пространстве здания. С первого взгляда усомнишься и помыслишь, что сие есть действие очарования, или по крайней мере живописи и оптики, но, приступив ближе, увидишь лавры, мирты… Везде царствует весна и искусство спорит с прелестями природы… Везде виден вкус и великолепие, везде торжествует природа и художество, везде блистает граненый кристалл, белый мрамор и зеленый цвет, только глазам приятный… Наружность его не блистает ни резьбой, ни позолотой, ни другими какими пышными украшениями. Древний изящный вкус — его достоинство; оно просто, но величественно»[317].

После смерти Потемкина его дворец перешел в казну и стал называться Таврическим, превратившись в любимую зимнюю резиденцию императрицы. Грибовский в «Записках» отмечал: «Государыня любила жить в этом дворце оттого, что главный корпус его был в один этаж, а государыня высоким входом не любила быть обеспокоена. Покои ее здесь были просторнее, чем в Зимнем дворце, особенно кабинет, в котором она дела слушала». Екатерина тоже оставила описание дворца в послании к Гримму: «На дворец этот пошла мода; он в один этаж с огромным прекрасным садом… для осени и весны нельзя желать ничего лучшего. Я живу направо от галереи со столбами; такого подъезда, я думаю, нет еще нигде на свете». Императрица отмечала сырость во дворце, но от нее удалось избавиться дренажными сооружениями. В результате «в доме и не пахнет гнилью, как прежде»[318].

Талантом Старова создано еще одно здание, единственное в своем роде в храмовой архитектуре — Троицкий собор в Александро-Невской лавре, являвшийся памятником над гробницей Александра Невского. Своеобразие этому церковному сооружению придают грандиозный купол, покоящийся на высоком, прорезанном окнами барабане, портик, опирающийся на шесть колонн, и две квадратные колокольни.

На южном берегу Васильевского острова архитектор Кваренги соорудил три великолепных здания: Академии художеств, Морского кадетского корпуса и Академии наук. На стрелке Васильевского острова им же было построено здание Биржи; к творениям Кваренги относятся и здания Ассигнационного банка, Эрмитажного театра и концертного зала в Царском Селе. Архитектор проектировал и сооружение частных жилых домов. Поражает своей монументальностью дом И. Фитингофа —

четырехэтажное здание, два верхних этажа которого украшены полуколоннами.

«Комиссия» выполнила свою задачу — придать Петербургу «такое великолепие, которое соответствовало бы столице столь пространного государства»[319]. Этот факт подтвердил и сторонний наблюдатель, граф Сегюр: «Петербург, — писал он, — занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на чреду престолов самых могущественных и значительных»[320].

Москва не могла соперничать каменной застройкой с Петербургом — в старой столице она была намного скромнее, и время Екатерины оставило значительно меньше памятников, чем в новой столице. В Москве трудились два выдающихся зодчих — В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Белокаменная обязана Баженову созданием архитектурного шедевра — дома Пашкова. Творчество Казакова было более продуктивным. Главным его сооружением общественного назначения был Дом благородного дворянского собрания, предназначавшийся для балов и собраний. В этом творении, украшающем и современную Москву, Казаков сумел сочетать парадную пышность, торжественность с возможностью обсуждать в здании деловые вопросы. Казаковым были сооружены еще два здания общественного назначения: здание Московского университета, сгоревшего во время нашествия Наполеона, и Голицынской больницы. Под его же руководством сооружались и частные дома: М. И. Губина и И. И. Барышникова.

В каменное строительство была вовлечена и провинция. Губернские и уездные центры оставались деревянными, застройка их, как и раньше, велась стихийно. Лишь пожары, превращавшие в пепел города, предоставляли возможность планировать их застройку. Так случилось с Тверью, выгоревшей в 1763 году и застраивавшейся после этого по проекту «Комиссии».

Каменные здания в провинции имели общественное назначение. Это были присутственные места, дома губернаторов, почтовые дворы, военные склады, казармы. Дворяне в уездных и губернских городах сооружали «дома общественных собраний», «дома благородных дворян».

Здания присутственных мест и поныне украшают многие областные центры. В некоторых городах (Костроме, Нижнем Новгороде, Тамбове и др.) сооружались огромные по размерам гостиные дворы. Казенные здания придавали городам новый облик, который не остался незамеченным иностранными путешественниками. Граф Сегюр, сопровождавший Екатерину в ее поездке в Крым, проезжая через Орел, заметил: «Екатерина украсила Орел изящными зданиями, назначенными для судебных

и правительственных мест». О Туле: «На пути из Москвы мы не встречали ничего замечательнее города Тулы, который можно было почесть за одно из созданий Екатерины — так она его украсила. Большая часть деревянных домов уступила место каменным строениям. Кроме других заведений, мудростью императрицы воздвигнут здесь воспитательный дом и приют для инвалидов»[321].

Несколько замечаний заслуживает усадебное строительство, развернувшееся после опубликования манифеста 1762 года, когда значительная часть дворян ринулась в усадьбы и занялась их обустройством. Особенно широкий размах оно приобрело в Подмосковье, где сосредоточивалась основная масса дворян-землевладельцев. Усадьбы в Кусково, Останкино, Архангельском представляли роскошные дворцовые ансамбли. Интерьеры дворца в Кусково обработаны позолотой, украшены зеркалами и декоративными тканями. Помещики, владевшие меньшим числом крепостных, тянулись к вельможам и, подражая им, тоже сооружали дворцы и дома, правда, меньших размеров.

Помещики, как правило, выбирали место для постройки усадебных зданий на высоком берегу реки или водоема, откуда открывался прекрасный вид на округу. Дворцы в усадьбах богачей имели роскошно украшенные залы, предназначенные для приемов, балов, парадных обедов. Усадебные сооружения создавались силами крепостных архитекторов и мастеров, как, например, Кусково — творчество крепостного Федора Аргунова. Непременной принадлежностью дворцов являлся английский парк с аллеями, диковинными деревьями и кустарниками.

До Екатерины русское искусство не было представлено ваянием, которое при ней начало бурно развиваться. Этот вид изобразительного искусства охватил пока только столицу; даже Москва, не говоря уже о провинции, не располагала видными скульпторами. В скульптуре, как и в архитектуре, ваятели руководствовались идеями классицизма, пытаясь создать величественные образы государственных деятелей, осанкой, наградами, внешним видом подчеркивавших свою незаурядность и героический облик.

Искусство ваяния времени Екатерины II представлено именами Ф. И. Шубина, И. И. Козловского, Э. М. Фальконе. В биографии самоучки Шубина много общего с биографией М. В. Ломоносова. Как и Ломоносов, Шубин родился в Архангельской губернии. В 1759 году, 19 лет, отправился в Петербург для совершенствования навыков, при помощи Ломоносова, протежировавшего земляку, поступил в Академию художеств, затем был отправлен за границу.

Шубин прославился как портретист, любимым его материалом был мрамор. Моделью первого портрета Шубина стал бывший вице-канцлер М. А. Голицын; портрет выполнен в типично классическом стиле — перед нами эффектный образ государственного мужа, аристократа и светского человека с гордо приподнятым подбородком и любезной улыбкой. В другом стиле, близком к реализму, выполнен портрет полководца и государственного деятеля З. Чернышова: его поза не отличается величественностью, перед зрителем предстает умное, уверенное в своих силах лицо. Портрет другого полководца, П. А. Румянцева-Задунайского, еще ближе к оригиналу: зрителю бросается в глаза курносый нос, двойной подбородок, пухлые щеки.

За свои 65 лет жизни Шубин создал великое множество портретов, ибо постоянно был перегружен заказами. Особенность его работ состоит в стремлении не только передать сходство с оригиналами, но и раскрыть их внутренний мир, особенности характера, высокий интеллект или его отсутствие. Едва ли не самым выразительным портретом, наиболее полно выразившим черты модели, является портрет императора Павла I. Все детали уродливого лица отражают умственную неполноценность оригинала: скошенный лоб, выдвинутый вперед подбородок.

В другом стиле работал М. И. Козловский — типичный представитель классицизма. Главную цель своего искусства он находил не в передаче портретного сходства с оригиналом, а в передаче чувств и переживаний человека, символизирующих скорбь и страдание, готовность к борьбе и радость победителя. Таково его надгробие С. Н. Строгановой, содержащее огромный эмоциональный заряд. Особое место в творчестве Козловского занимает памятник А. В. Суворову. В нем меньше всего портретного сходства с подлинным полководцем, скульптор стремился передать черты, присущие национальному герою: энергичность, волю к победе, мужественность и т. д.

Особое место среди ваятелей екатерининского времени принадлежит Э. Фалысоне — основоположнику монументальной скульптуры. Если бы его перечень творений ограничился единственным памятником Петру Великому, он, бесспорно, обессмертил бы свое имя. По глубине выразительности, по раскрытию идейной направленности скульптура не имеет себе подобных. Не случайно она и в наши дни остается символом основанной Петром столицы. Памятник состоит из пяти элементов, каждый из которых несет огромную эмоциональную и смысловую нагрузку, — пьедестала, змеи, лошади, всадника и высеченной на пьедестале надписи.

Пьедестал — не просто место для памятника. Очертания

этого монолита, с трудом найденного недалеко от столицы и с еще большим трудом доставленного к месту сооружения памятника на специально построенном плоту (вес монолита — 80 тысяч пудов), придают памятнику динамичность. За его доставкой наблюдала императрица, по инициативе которой из Франции был приглашен скульптор Фальконе. На пьедестале затоптанная копытом коня змея — олицетворение победы над грозным противником в Северной войне. Вздыбленный конь символизирует вздыбленную преобразованиями Россию. Чтобы создать соответствующий образ коня, по просьбе Фальконе в столицу были доставлены два орловских рысака, каждого из которых опытный берейтор осаживал на скаку. На коне сидит всадник — Петр Великий — с энергичным и волевым лицом, протянутой рукой, указывающей путь, по которому должна двигаться Россия. Не менее выразительна запоминающаяся благодаря своей лаконичности надпись на пьедестале: «Екатерина Вторая Петру Первому». Сам Фальконе в письме к графу И. И. Шувалову столь же лаконично выразил суть всадника, сидящего на коне: «Созидатель, Преобразователь, Законодатель».

Успехи, достигнутые в живописи, могут быть сопоставимы только с успехами в архитектуре и градостроительстве — настолько они значительны как в количественном, так и в качественном отношении. На первом плане здесь стоит портретная живопись. Зародившись в годы царствования Петра Великого, она зачахла при его преемниках и преемницах и возродилась при Екатерине, не без ее личного содействия.

Портретная живопись второй половины XVIII века связана с именами славных художников Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского и других, чьи произведения стояли на уровне лучших образцов портретной живописи Европы.

Рокотов происходил из крепостных князя Репнина, но при покровительстве одного из соратников Екатерины на ниве культуры, И. И. Шувалова, обнаружившего в молодом художнике самобытный талант, оказался в Петербурге в стенах Академии художеств. Расцвет творчества художника относится к 60-м годам.

Индивидуальный творческий почерк Рокотова позволил историкам живописи признать его живописцем-поэтом, художником человеческой личности. Вот портрет поэта В. И. Майкова, получившего широкую популярность благодаря комической поэме «О карточной игре». Открытое лицо с обаятельной полуулыбкой вызывает у зрителя симпатии к поэту. Наибольшего мастерства и выразительности Рокотов достиг в интимных портретах, к числу которых принадлежит портрет П. Ю. Квашниной-Самариной: на зрителя смотрит пожилая

женщина с умным выражением глаз и чертами лица, в которых просматривается прежняя красота.

Г. Д. Левицкий создал ряд шедевров, вошедших в сокровищницу русской живописи. Художник родился в Киеве, но его творчество протекало в России. Начинал он с участия в устройстве в честь коронации Екатерины триумфальных ворот в Москве с восемью портретами императрицы в полный рост. Расцвет творчества Левицкого падает на 70-е годы. По заданию Екатерины он написал ряд портретов воспитанниц Смольного института. В каждой из смольнянок видна индивидуальность: в одних — наивное лукавство, в других — простота и непосредственность, неискушенность в житейских мудростях, в третьих — кокетство, желание понравиться с первого взгляда. Кисти Левицкого принадлежит портрет знаменитого Д. Дидро, выполненный во время пребывания последнего в России. Художник сумел создать образ мыслителя: высокий лоб, проницательный взгляд выразительных глаз.

Примечателен портрет П. А. Демидова, крупного уральского промышленника, прославившегося своими чудачествами, неординарными выходками. Демидов изображен не в парадном мундире и парике, а в халате, с колпаком на голове. Оригинален интерьер — Демидов опирается на лейку, рядом на столе лежат луковицы каких-то цветов, а в глубине расположены горшки с цветами. Все это придает портрету интимность.

Кисти Левицкого принадлежит несколько парадных портретов императрицы. Наиболее известен из них портрет Екатерины-законодательницы. Все были осведомлены о способности императрицы перевоплощаться, становиться то приятной собеседницей, располагавшей обаятельной улыбкой к доверительному разговору, то «домашней» дамой, занимавшейся вязанием и одновременно внимательно слушающей собеседника, то величественной императрицей с надменным взором, приводившей в трепет даже видавшего виды дипломата.

Императрица сама поведала графу Сегюру, как ее внешний вид настолько смутил посла Франции, что тот растерялся и утратил дар речи. Один из послов Франции, «представляясь мне, — рассказывала императрица, — до того смутился, что мог только произнести: „Король, государь мой…“ Я ожидала продолжения; он снова начал: „Король, государь мой…“ и дальше ничего не было. Наконец, после третьего приступа я решилась ему помочь и сказала, что всегда была уверена в дружественном расположении его государя ко мне»[322].

Портрет Екатерины-законодательницы должен был прославлять императрицу, жестом, положением фигуры

показывающей, что она правит могущественной империей. Портретист лучшим образом справился с поручением. Сам он так определял содержание картины: «Середина картины представляет внутренность храма Богини правосудия, перед которой в виде законодательницы ее императорское величество, сжигая на алтаре маковые цветы, жертвует драгоценным своим покоем для общего покоя. Вместо обыкновенной императорской короны увенчана она лавровым венцом, украшающим гражданскую корону, возложенную на главе ее. Знаки ордена святого Владимира изображают отличность знаменитую за понесенные для пользы отечества труды, коих лежащие у ног законодательницы книги свидетельствуют истину. Победоносный орел покоится на законах и вооруженный Перуном страж рачит о целости оных»[323].

В. Л. Боровиковский — находка Екатерины, оказывавшей ему покровительство. Он был привлечен для оформления здания в Киеве, предназначавшегося для императрицы во время ее путешествия в Крым. Выполненный художником портрет изображал мудрость Екатерины, что ей понравилось, и художник был вызван в столицу — в 1788 году он переехал в Петербург. Боровиковский принадлежал к сентиментальному направлению в живописи, отличавшемуся лиричностью создаваемых образов. Он изображал представителей творческой интеллигенции того времени: архитекторов, поэтов, писателей. Подкупающей простотой, обаятельностью и задорностью отличается портрет В. И. Арсеньевой. В середине 90-х годов Боровиковский написал еще один потрет Екатерины. Особенность его в том, что он отказался от изображения ее земной богиней, как это сделал Левицкий в «Екатерине-законодательнице». Императрица выглядит простой располневшей женщиной со всеми признаками старости, одетой в салоп, на голове — шляпа. Она изображена во весь рост на фоне природного ландшафта. Рядом с императрицей — собака, как бы подчеркивающая «домашность» изображения.

При Екатерине возникают новые виды художественного творчества — художники уже не довольствуются портретной живописью и создают полотна, относящиеся к новым жанрам — появляется историческая, пейзажная и бытовая живопись. Сюжетом для картин на исторические темы поначалу служили эпизоды из истории классической древности или из жизни Христа («Чудесный лов рыбы» Лосенко; «Беседа Диогена с Александром Македонским» Пучкова; «Апостол Петр отрекается от Христа» Козлова и др.), но появляются и художники, писавшие на сюжеты из отечественной истории, причем художники использовали насыщенные драматизмом происшествия, содержание которых

позволяло держать зрителя в напряжении. Таковы «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко, — полотно, на котором новгородский князь насильно заставляет выйти за него замуж дочь побежденного им полоцкого князя Рогнеду. Художник сумел передать переживания князя и его невольницы, будущей супруги. Кисти И. Акимова принадлежит полотно «Великий князь Святослав целует мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев», Г. Угрюмова — «Избрание Михаила Федоровича Романова на царство» и др.

В пейзажах художники воспевали богатства природы Павловска, Гатчины, Петергофа. М. М. Иванов запечатлел пейзажи Крыма и Молдавии, а кисть Ф. А. Алексеева была прикована к городским сюжетам: «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной», «Вид города Николаева», виды Измаила, Очакова и др.

Бытовой жанр появился в живописи в середине XVIII века. Начало ему положил крепостной художник Михаил Шибанов, принадлежавший Потемкину. Эпизоды для своих картин он заимствовал из крестьянской жизни, ему хорошо знакомой. В картине «Крестьянский обед» запечатлен эпизод повседневного бытия крестьянской семьи: усталые лица, натруженные руки, скудная трапеза. В другой картине, «Сговор», автор обратился к праздничной стороне крестьянского быта: жених, невеста и все присутствующие нарядно одеты, на лицах радость по случаю ожидаемого свадебного торжества.

Богатством направлений отличалась и художественная литература. Первое из них — классицизм — воплотилось в творчестве плодовитого А. П. Сумарокова, перу которого принадлежит множество лирических и сатирических стихотворений, 9 трагедий, 12 комедий.

Герои его трагедий либо добродетельны, либо отталкивающе безобразны. Таким выглядит герой трагедии «Дмитрий самозванец». Как положительные, так и отрицательные герои кажутся не живыми людьми, а резонерами, изъясняющимися выспренним языком.

Комедии Сумарокова, как и трагедии, выполняли воспитательные функции, они были нацелены на исправление нравов и устранение человеческих пороков («Лихоимец», «Рогоносец но воображению»).

Сумароков отличался вздорным и неуживчивым характером, явно переоценивал свой талант, считал себя русским Шекспиром и Вольтером. Поссорившись со всеми, с кем мог, он переселился из Петербурга в Москву, где испытывал огромные материальные трудности, так как нигде не служил, а литературный труд в те

времена не приносил дохода. Обращения за помощью к Потемкину и Екатерине остались без ответа. С горя Сумароков запил и умер в 1777 году в совершеннейшей нищете — после смерти не осталось денег на похороны; его похоронили в складчину актеры, несшие гроб на руках до Донского монастыря.

В художественно-реалистическом направлении самый заметный след оставил Д. И. Фонвизин — автор комедии «Бригадир» и бессмертного «Недоросля». По форме они близки к классицизму, в них пять актов, соблюдено единство места и времени, положительные герои носят пристойные фамилии Правдина и Стародума, отрицательные — Вральмана, Кутейкина, Скотинина. Однако содержание комедий не соответствует канонам классицизма, их герои не резонерствующие манекены, а живые люди.

Герой «Недоросля» — Митрофанушка — порожден Манифестом 1762 года о вольности дворянской. При Петре дворяне должны были служить, а их отпрыски — учиться. Манифест освобождал дворян от того и другого: вместо обучения в школах дворянским недорослям разрешалось овладевать знаниями в домашних условиях. Неучи Кутейкины и Цифиркины должны были внедрять в головы ленивых учеников элементы Знаний.

Проблема воспитания волновала Фонвизина в такой же степени, как императрицу и И. И. Бецкого. Он искал корень зла в воспитании, поэтому вел борьбу с невежеством, бесчеловечным обращением с крестьянами. Идеальный дворянин Стародум произносит фразу, которую готов повторить автор: «Угнетать рабством себе подобных беззаконно». Особо надлежит отметить язык «Недоросля» — лаконичный, образный. Некоторые выражения комедии приобрели значение поговорок: «Не хочу учиться, хочу жениться»; «убояся бездны премудрости», а само имя Митрофанушка стало нарицательным.

Третье направление в литературе — сентиментализм — представлено будущим знаменитым историком Н. М. Карамзиным, забросившим в начале XIX века литературное творчество ради написания «Истории государства Российского».

Для сентиментализма характерен интерес к интимной жизни, семейному быту. Изображаемая Карамзиным жизнь далека от реальной, в ней преобладают идиллические мотивы, уход от общественной деятельности. Классическим произведением этого направления является «Бедная Лиза» Карамзина. Не лишне отметить, что и «История государства Российского» подвержена влиянию сентиментализма.

Мы подвели некоторые итоги деятельности Екатерины. Одни

из итогов имеют концептуальное значение, другие упомянуты в связи с тем, что в самой книге о них ничего не сказано, а ведь без оценки успехов в развитии экономики или культуры невозможно в полной мере оценить значение царствования императрицы. Нам остается коротко остановиться на генеральном итоге ее деятельности: каким она оставила наследнику свое, как она любила говорить, «маленькое хозяйство».

Показателем благополучия государства является состояние его финансов, доходной и расходной части бюджета. Напомним, сама императрица, овладев троном, крайне негативно отозвалась о состоянии государственного хозяйства. А как обстояло дела с финансами в конце ее царствования? Приведем мнение на этот счет ее сына, занявшего трон после смерти матери. Павел I в указе от 18 декабря 1797 года дал следующую характеристику финансового состояния страны: «По вступлении нашем на всероссийский императорский престол, входя по долгу нашему в различные части государственного управления, при самом начальном их рассмотрении увидели мы, что хозяйство государственное, невзирая на учиненные в разные времена умножения доходов, от продолжения чрез многие годы беспрерывной войны и от других обстоятельств, о которых, яко о прошедших, излишним почитаем распространяться, подвержено было крайним неудобностям. Расходы превышали доходы. Недостаток год от году возрастал, умножая долги внутренние и внешние; к наполнению же части такого недостатка заимствованы были средства, больший вред и расстройство за собой влекущие»[324].

В упреках сына матери есть много истины, но в его указе названа лишь одна конкретная причина расстройства финансов — войны, которые Россия на протяжении царствования Екатерины вела 10 лет. Это, разумеется, истощало казну. Но об остальных причинах дефицита в бюджете сказано глухо: «…и от других обстоятельств, о которых, яко о прошедших, излишним почитаем распространяться». Что же это за другие обстоятельства?

Это прежде всего расточительность императрицы и дворянства. Мы еще вернемся к затратам Екатерины на содержание фаворитов. Создается впечатление, что она щедрыми подарками покупала любовь, а при расставании расплачивалась с любовниками за все их услуги по совокупности.

Другой источник дефицита — увеличившиеся расходы на содержание двора, в частности на путешествие в Крым, стоившее казне, не считая расходов дворян, до семи миллионов рублей. Императрица в Киеве объясняла графу Сегюру цели своих

путешествий: «Мне нужно дать народу возможность дойти до меня, выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие, опасение, что я открою грехи их нерадения и несправедливости. Вот какую пользу хочу я извлечь из моей поездки: одно известие о моей поездке поведет к добру. Я держусь правила, что „глаз хозяйский зорок“»[325].

Цель, что и говорить, похвальна, ее следует одобрить с одной оговоркой: путешествия 1785 и 1787 годов являлись одновременно и увеселительными прогулками, стоившими казне огромных сумм.

Появились, кроме того, статьи расхода, ранее отсутствовавшие, либо составлявшие незначительные суммы: на сооружение общественных зданий, содержание школ, больниц, богаделен, инвалидных и воспитательных домов. Сооружение только Медного всадника обошлось казне в 424 610 рублей[326]. Немалые затраты казна несла на содержание французских эмигрантов, бежавших из революционной Франции.

Упрек в свой адрес о расточительности Екатерина отклонила на том основании, что все, на что она тратила деньги, оставалось в стране. Действительно, Гостиный двор в Костроме, или здание Академии наук и Таврический дворец в Петербурге, или Медный всадник продать невозможно, они и поныне стоят на своем месте. Не пользовались спросом за рубежом и 800 тысяч душ крепостных, пожалованных Екатериной фаворитам и вельможам. Но часть дохода, извлекаемого из труда миллионов крепостных, все же уплывала за рубеж в виде расходов бар на развлечения в европейских столицах[327].

Обобщая, можно сказать, что крепостнический режим и являлся главной причиной дефицита; львиную долю доходов, получаемых крепостными крестьянами, получала не казна, а барин, использовавший их на потребительские нужды.

Приспело время дать общую оценку тридцатичетырехлетнего царствования Екатерины II, причем руководствуясь широкомасштабным критерием. Продвинулась ли Россия вперед по пути прогресса? Мы имеем в виду развитие экономики, правового государства, науки, культуры, просвещения, градостроительства, укрепление мощи страны, повышение ее престижа в Европе, наконец улучшение благосостояния народа. На все эти вопросы мы должны дать положительный ответ, в котором, как нам представляется, читатель, прочитавший книгу, может убедиться и сам.

Порицать же императрицу — имея в виду тоже ее крупномасштабные недостатки — можно за ужесточение крепостного режима, распущенность и излишнюю

расточительность. Под последней подразумевается не сооружение дворцов, а расходы на путешествия и пожалования фаворитам.

Часть II. Екатерина и ее окружение

Глава XI. Императрица

Нарисовать словесный портрет императрицы чрезвычайно сложно, прежде всего потому, что оригинал был крайне многолик. Историку грозит опасность впасть в крайность: превратиться в панегириста ее личности, либо, напротив, в хулителя. За множеством исключающих друг друга черт характера можно не разглядеть главного, определяющего, наградить этот характер столь мозаичными свойствами, что портрет будет выглядеть достаточно размытым. Многие специфические черты натуры императрицы вытекают из ее принадлежности к слабому полу; отсюда ее склонность к кокетству, невинным забавам, поиски мужского плеча, на которое можно опереться, и т. д.

Предваряя содержание главы, сделаем три оговорки. Во-первых, многогранная государственная деятельность императрицы раскрыта в предшествующих главах, и поэтому нас в первую очередь будут интересовать черты характера, душевные, то есть общечеловеческие, качества Екатерины. Во-вторых, поведение императрицы на протяжении ее продолжительного царствования претерпевало существенные изменения, обусловленные возрастом, прочностью занимаемого ею трона, внутри— и внешнеполитической обстановкой. Наконец, третья оговорка состоит в наличии в главе повторений, правда, редких, но неизбежных, поскольку без них утрачивается обоснованность оценок и наблюдения.

Узурпировав трон, Екатерина пребывала в растерянности и неуверенности. Месяц спустя после переворота она писала С. Понятовскому: «Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей и вместе с тем чувствую все бремя правления»[328].

Удержать корону оказалось труднее и сложнее, чем овладеть ею, и это вынуждало императрицу остерегаться любого поступка, пускай и соответствовавшего ее взглядам, но противоречившего установившимся в стране традициям, лавировать между придворными группировками и сословными интересами групп общества.

Неуверенность Екатерины не осталась незамеченной и иностранными наблюдателями. 25 октября 1762 года граф Бекингем доносил в Лондон: «Наружность императрицы выражает самую глубокую меланхолию», подобное состояние «превращается у нее в привычку, хотя она не знает, чем это объяснить. Недели энергичных действий, бодрого духа сменялись

временем беспокойства за будущее». Почти год спустя этот же дипломат не заметил существенных изменений в поведении императрицы. В депеше от 22 августа 1763 года он сообщал, что ей приходится преодолевать массу «искусственно воздвигаемых трудностей… Она также сознает, что главный ее недостаток в глазах народа то, что она иностранка, и потому считает своей обязанностью придерживаться предрассудков русских»[329].

В другом свете Екатерина выглядит в пору зрелости, когда она почувствовала прочность своего положения и приобрела более широкую свободу действий. На эти годы падает законотворческая активность императрицы, появление важнейших нормативных актов царствования. Это время продолжалось примерно два десятилетия (1767–1786) и отличалось, кроме всего прочего, пристальным интересом императрицы к внутренней политике. Согласно донесению посла Фридриха II графа Сольмса, относящемуся к 1767 году, государыня просила уверить короля, что «она считает себя положительно вне всякой опасности по этому поводу (возможности переворота. — Н. П.)». Мнение Екатерины подтверждает английский поверенный в делах Генрих Гарлей, доносивший 30 июля 1768 года: «Удивительно, какие трудности пришлось ей преодолеть и с каким непреодолимым усердием устранила она все, что только могло внушить ей малейшее опасение. Теперь корона так утвердилась на ее голове, что я не предвижу никакой случайности, могущей побудить ее сложить эту корону в пользу своего сына». Лорд Каскарт в августовской депеше того же года вполне соглашался с мнением Гарлея: «Ее необыкновенный ум ставил ее выше всяких опасений как со стороны сына, так и фаворита»[330].

Наконец, третий период, продолжавшийся последние восемь-девять лет ее царствования, характеризуется снижением физических возможностей императрицы, утратой прежней активности во внутренней жизни страны и изменением ее интересов — наблюдатели отметили повышенное внимание Екатерины к внешнеполитическим акциям, отодвинувшим на второй план вопросы внутренней политики, а также повысившуюся роль в управлении страной «дуралеюшки» Платона Зубова, о котором подробнее — в следующей главе. Она сама в 1789 году призналась статс-секретарю А. В. Храповицкому: «Теперь за законы не могу приняться, но думаю, что могу взяться за историю»[331]. Этот этап отличался особым вниманием к событиям во Франции, когда императрица не только отказалась от осуществления идеалов, проповедываемых просветителями, но и выступила организатором усилий монархических режимов для

подавления революционной заразы. Внутри страны она сурово расправилась с Новиковым и Радищевым, чье творчество получило развитие благодаря ее же стараниям по распространению идей Просвещения в России. Дяшнна выпустили из бутылки, и Екатерина проявила несвойственную ей жестокость при определении мер наказания.

Отмеченные три периода вовсе не обязывают нас рассматривать императрицу в трех ипостасях. Между ними нет четких граней, и они отмечены с единственной целью частично избежать упреков в адрес Екатерины в противоречиях, непоследовательности и прочих грехах, отмечавшихся советской историографией.

После этих предварительных замечаний обратимся к своего рода автобиографиям, принадлежавшим перу самой императрицы. Одна из них, хотя и не содержит прямых указаний, что является автопортретом, бесспорно имеет к ней отношение — речь идет о сочинении, опубликованном под выразительным названием «Нравственные идеалы Екатерины», в котором императрица изложила свои представления об идеальном облике монарха. Приведем его полностью.

«Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора, отыскивать истинное достоинство, хотя бы оно было на краю света; по большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе.

Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей.

Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости.

Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны, шедры; ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение так, чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания. Пусть все видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали.

Храните в себе великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого и героя. Страшитесь всякой искусственности. Зараза пошлости да не помрачит в вас античного вкуса и чести и доблести.

Мелочные правила и желание утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу. Двоедушие чуждо великим людям; вы презираете все низости.

Молю Провидение, да запечатлеет оно эти немногие слова в моем сердце и в сердцах тех, которые их прочтут после меня»[332].

Образ абстрактного монарха нашел конкретное воплощение в двух автопортретах. Первый относится к 1778 году, и его принято считать шуточной эпитафией на собственной могиле. В действительности, шуточное содержится лишь в первой фразе, остальной текст представляет апологетику собственной персоны.

«Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штутгарте 21 апреля (2 мая) 1729 г. Она прибыла в Россию в 1744 г., чтобы выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет отроду она возымела намерение — понравиться своему мужу, Елизавете и народу. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на Российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравна, с душою республиканской и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась. Она любила искусство и быть на людях»[333].

Много позже, в конце царствования, в письме к Гримму (1791 год), а затем к французскому эмигранту Сенаку де Мальяну, намеревавшемуся писать историю России без знания русского языка, Екатерина изобразила более обстоятельный автопортрет.

«Я никогда не признавала за собою творческого ума. Мною всегда было очень легко руководить, потому что для достижения этого нужно было только представить мне лучше и более основательные мысли, и я становилась послушна как овечка. Причина этого кроется в желании, которое я всегда имела, содействовать благу государства. Мне посчастливилось узнать благие и истинные принципы, чему я обязана большими успехами; я имела неудачи, проистекавшие от ошибок, в которых я невинна и которые, быть может, случились только потому, что мои распоряжения не были точно исполнены.

Несмотря на гибкость моей натуры, я умела быть упряма, или настойчива, как хотите, когда мне казалось, что это необходимо. Я никогда не стесняла ничьего мнения, но при случае держалась своего собственного. Я не люблю споров, так как всегда замечала, что всякий остается при своем убеждении; к тому же я не могла бы никого перекричать. Никогда не была я злопамятна. Провидение поставило меня так высоко, что, взвесив все по

справедливости, я не могла меряться с частными людьми и не находила равной себе партии. Вообще я люблю справедливость, не держусь того мнения, что безусловная справедливость не есть справедливость и что лишь условная справедливость совместима со свободою человека. Но во всех случаях я предпочитаю человеколюбие и снисходительность правилам строгости, которую, как мне казалось, часто дурно понимают. К этому привело мое собственное сердце, которое я считаю нежным и добрым. Когда старики проповедывали мне суровость, я, заливаясь слезами, признавалась в своей слабости и видела, как они со слезами же на глазах, присоединялись к моему мнению. Я по природе своей весела и искренна, но я долго жила на свете и знаю, что есть желчные умы, не любящие веселости и что не все способны терпеть правду и откровенность»[334].

При сопоставлении «Нравственных идеалов Екатерины II» с ее автобиографическими заметками бросается в глаза зависимость представлений об идеальном монархе от представлений о собственной персоне. Идеальный монарх не имеет пороков, он олицетворяет всю совокупность добродетелей: сердечность, доброжелательность, отвращение к лести, заботу о благе подданных, милосердие, незлопамятность и т. д.

Нарисованный императрицей автопортрет далек от его зеркального отражения: о негативных сторонах как своего характера, так и правления — ни слова. В одном месте она глухо говорит о каких-то ошибках, но вину за них взвалила на подчиненных. Не соответствует истине и ее утверждение, что она «никогда не стесняла ничьего мнения». Именно за мнения, ею не разделяемые, она упекла Радищева в Сибирь, а Новикова — в Шлиссельбургскую крепость. Вместе с тем Екатерина ни словом не обмолвилась о том, как она овладела короной, умолчала об убийстве собственного супруга, не упомянула и о смерти законного наследника престола Иоанна Антоновича, о коварстве при задержании авантюристки княжны Таракановой. Императрица не сочла необходимым рассказать о своих отношениях с сыном, весьма натянутых, ибо она видела в нем соперника, имеющего законные права на корону. Могла бы она сказать и о расточительности двора, о своей способности начинать новое дело, не доведя до конца старого, о склонности часто менять фаворитов и щедро их награждать и т. д.

В минуту откровения она позволяла себе упоминать о своих недостатках, но столь пустяковых, что это можно отнести к кокетству. В разговоре с Сегюром она как-то сказала: «Я знаю, я вообще вам нравлюсь, и вы хвалите меня целиком, но разбирая меня поподробнее, вы осуждаете во мне многое. Я беспрестанно

делаю ошибки против языка и правописания, что у меня иногда претупая голова, потому что никому не удалось заставить меня сочинить 6 стихов. Без шуток я думаю, несмотря на ваши похвалы, что если бы я была частной женщиной во Франции, то ваши милые парижские дамы не нашли бы меня довольно любезною для того, чтобы ужинать с ними».

* * *

XVIII столетие подарило России двух выдающихся государственных деятелей: Петра Великого и Екатерину II. В обоих царствованиях было немало черных пятен, непривлекательных поступков, действий, обременявших жизнь простых людей, одинаково достойных осуждения, но история тем не менее чтит этих деятелей не за темные эпизоды в их жизни, в которых блекнет их нравственный облик, а за сохранившиеся в памяти народа их великие подвиги, прежде всего за ратные дела, обеспечившие выход к Балтийскому и Черному морям, за достижения в области торговли и промышленности, за развитие культуры, за превращение России в могущественную империю, мировую державу. Хотя их царствования отделены почти четырьмя десятилетиями, у них было больше общего, чем различий. Общее состояло в целях царствования — достижении общего блага; различия наблюдались в способах и средствах достижения этой цели, обусловленных свойствами характеров обоих монархов. Вспыльчивый, порою крайне жестокий, необузданный и деспотичный Петр Великий главным средством воздействия на подданных считал страх: как правило, указы царя завершались угрозами применения санкций за невыполнение устанавливаемых им норм, начиная от телесных истязаний, штрафов, конфискации имущества, ссылки в Сибирь и на каторгу и кончая лишением жизни. Екатерина, женщина доброжелательная, мягкосердечная по природе, человеколюбивая, пользовалась иными средствами — в ее указах отсутствовали угрозы истязаний, изъятия в казну движимого и недвижимого имущества у всей семьи за вину его главы и т. д.

Два века — век Петра и век Екатерины — в политическом плане отличались тем, что первый был веком деспотизма, изредка подвергавшегося влиянию европеизации, веком проявления властного характера императора, в котором законность и право совершали первые шаги; второй был веком просвещенного абсолютизма, утверждения правового государства, хотя и сохранившего элементы деспотизма, но не в тех масштабах, что

при Петре.

И Петр, и Екатерина считали себя слугами государства, лицами, награжденными от Бога колоссальными полномочиями и не менее колоссальными обязанностями. О том, что Петр считал себя слугой государства, есть прямые, исходящие от него заявления. Аналогичное свидетельство находим и у Екатерины: «Мы в долговременной службе государству, — заявила как-то императрица статс-секретарю А. М. Грибовскому, — притупили зрение и теперь принуждены по необходимости очки употреблять»[335].

Петр I и Екатерина II тем и отличались от монархинь и монархов, сменявших в России друг друга на протяжении 37 лет, что оба они и царствовали, и управляли, в то время как другие, сидевшие на троне, от Екатерины I до Петра III, использовали его прежде всего для удовлетворения личных надобностей, для того, чтобы получать удовольствия, жить в праздности, не обременяя себя никакими заботами, избегая малейшего напряжения неразвитого интеллекта.

В распоряжении историка имеется и такой доброкачественный источник, как распорядок дня монарха. У Петра он появился в канун окончания Северной войны — энергию царя в предшествующие годы поглощали заботы об укомплектовании, обучении, вооружении армии и флота, а также руководство их боевыми действиями. Царь большую часть времени проводил вне столицы, находился в пути и о распорядке дня не могло быть речи.

При сопоставлении распорядка дня Петра и Екатерины обнаруживаются существенные различия: у Петра день делился всего на две половины: с утра до обеда и после него, с указанием конкретных дел, которыми он занимался: составление Генерального регламента, Регламента адмиралтейства, посещение Адмиралтейской верфи и др. У Екатерины, отличавшейся от импульсивного Петра, распорядок дня носил черты размеренности, педантичности с обозначением часов, в течение которых она принимала вельмож, давала повеления, читала донесения, предавалась развлечениям, отвечала на письма, отходила ко сну, обедала и ужинала. Работу она считала нормальным состоянием своего бытия и была убеждена, что управлять такой огромной страной, как Россия, не работая, живя в праздности, невозможно. В ее представлении праздность — источник пороков. В наставлении будущей супруге сына, принцессе Дармштадтской, она писала: «Праздность влечет за собою скуку, а оттуда часто рождается дурное расположение духа и своенравие… Только день, наполненный заботами, избавит ее

от ощущения пустоты».

Императрица в первый год царствования взвалила на себя огромное количество дел, подменяя коллегии, особенно Иностранную и Сенат, предприняла попытку держать в поле зрения все нити управления, прежде всего внешнюю политику: она читала все донесения послов, давала письменные и устные указания сотрудникам коллегии, что и как надлежало отвечать на донесения послов. Многочисленные пометы и резолюции на донесениях русских дипломатов свидетельствуют о ее стремлении вникнуть в суть дела. С Кайзерлингом, послом России в Речи Посполитой, Екатерина общалась через голову коллегии, канцлеру она давала указания, что отвечать послу России в Курляндии, поручив ему объявить местному дворянству, «что мне весьма угодно будет, если при нынешнем собрании они Герцогу Эрнесту Иоганну ему принадлежащую присягу учинят»[336].

Вскоре, однако, императрица убедилась в том, что нести такую ношу забот и выдержать подобное напряжение ей не под силу, ибо приходилось довольствоваться пятью часами сна, а львиную долю остального времени корпеть над бумагами. 31 августа 1763 года в указе она призналась, что «мне одной, прочитав реляции, столько прилежности иметь за множеством дел» невозможно. Императрица переложила заботы об изучении донесений послов и составление рескриптов на Иностранную коллегию, оставив за собой право их утверждать[337].

В последующие годы императрица перешла к более щадящему режиму. Сохранилось множество распорядков дня, о которых она извещала иностранных корреспондентов. Мадам Жоффрен она писала, что встает в шесть, до восьми пишет, потом до 11 принимает с докладами вельмож. После этого — одевается, в праздники и воскресные дни отправляется к обедне, а в будни — выходит в приемную, где ее ждут посетители, с которыми она беседует 30–45 минут, после чего обедает. Вслед за обедом до половины шестого «гадкий генерал» (Г. Орлов. — Н. П.) читает ей вслух книги, а она, слушая, занимается рукоделием. Вечер посвящается развлечениям. Екатерина отправляется в театр, играет в карты или бильярд. Ужин в И вечера, после чего — сон. «Многие утверждают, — комментировала свой распорядок дня императрица, — что я работаю много, а мне всегда кажется, что я мало сделала, когда я посмотрю на то, что мне остается сделать»[338].

С наступлением преклонного возраста распорядок дня существенно изменился: вставала она уже не в шесть, а в восемь, позволяла себе двухчасовой отдых; появились заботы семейного

характера — воспитание двух внуков — Александра и Константина. Но и в эти годы первейшей своей обязанностью Екатерина, как и Петр, считала законотворчество. В 1781 году она извещала Гримма, что «постоянно держит в руках перо и составила целые тома законов», но ее иногда одолевала «охота бросить в огонь все это», и она решилась бы на подобный шаг, если бы не была уверена, что написанное ею «разумно и полезно».

Надо полагать, что императрица в письмах иностранным корреспондентам несколько преувеличивала свою работоспособность. Гримму она, например, писала в 1788 году, что «работает, как лошадь», но следов этой «лошадиной» работы не видно: последний нормативный акт общегосударственного значения был обнародован в 1786 году.

Екатерина разделяла веру Петра в магическую силу законов. Оба они должны были довольствоваться и весьма скромными результатами выполнения принимаемых законов. С такими пороками бюрократии, как мздоимство, казнокрадство и неправосудие, царь и царица вели настойчивую борьбу, но желаемых результатов не достигли. Взяточников и казнокрадов не урезонивали ни суровые наказания Петра, ни увещевания Екатерины. Императрица писала Бьельке в 1775 году: «…Меня обворовывают точно так же, как и других». После этой фразы следовало утешение: «Но это хороший знак и показывает, что есть что воровать»[339].

Что касается достижения целей своего государственного служения, его конечных результатов, то здесь обнаруживаются принципиальные различия, обусловленные разным толкованием понятия «общее благо». Петр, как мы пытались доказать в своих работах, под общим благом понимал необходимость каждого подданного служить государству в границах обязанностей сословия, к которому он принадлежал. Отсюда жесткие меры принуждения, распространявшиеся на все без исключения сословия, из которых складывалось общество того времени: дворянство, духовенство, горожан, крестьян.

Дворянство при Петре являлось служилым сословием, обремененным двумя обязанностями: оно должно было, во-первых, служить до потери служебной годности, то есть до старости, болезни или увечья, и, во-вторых, учиться. На протяжении последующих десятилетий после смерти Петра дворянство превратилось из служилого в привилегированное, землевладельческое сословие, освобожденное от всех обязанностей. Процесс этот завершила Екатерина II, освободив дворян от обязательной службы и суровых условий приобретения знаний в учебных заведениях, более напоминавших казарму с ее

палочной дисциплиной. Дворянам, кроме того, было предоставлено неограниченное право распоряжения собственностью и исключительное право занимать должности в правительственных учреждениях.

Расширение привилегий дворянства сопровождалось ущемлением интересов самой многочисленной прослойки населения — крепостных крестьян: они стали еще более бесправными, чем были, усилилась их зависимость от произвола барина и т. д.

Между тем Екатерина упорно твердила о неусыпной заботе о благе подданных, о благородной задаче достижения их благоденствия. Приведем ее высказывания, относящиеся ко времени, когда она более всего была увлечена идеями Просвещения. «Мне кажется, у короля (имеется в виду шведский король. — Н. П.), — писала она Бьельке, — одна обязанность, это — желать блага своих подданных». В другом письме к ней же читаем: «…Клянусь вам, что не предприму никогда ничего, что было противно справедливости и благу рода человеческого». В ответном письме Берлинской академии наук с выражением благодарности за избрание ее академиком она заявила: «…Вся моя наука заключается именно в том, что все люди братья и всю мою жизнь я проведу в изучении искусства поступать согласно этому правилу. Если я до сих пор в чем-либо успела, то приписывайте это только означенной истине»[340].

Из сказанного вытекает важный вывод — под народом, о благе которого она пеклась, императрица подразумевала не все население страны, а лишь небольшую ее прослойку — дворянство и отчасти купечество. Дворянство достигло при Екатерине II вершин благоденствия и материального благополучия. Отсюда вытекает, что понятие общего блага при Екатерине было ограничено благом дворянства и отчасти купечества; второй вывод состоит в том, что понятие общего блага было фикцией как при Петре Великом, так и при Екатерине II.

Надо признать исключительную способность императрицы общаться с подчиненными, овладение ею искусством управлять людьми. Здесь она достигла поразительных успехов и виртуозности, которым могли позавидовать многие коронованные особы. Это достоинство присуще лишь немногим государственным деятелям.

Екатерина, как упоминалось выше, считала Петра Великого монархом, достойным подражания. Но обращает на себя внимание, сколь по-разному строились отношения с соратниками и вельможами у Петра и Екатерины.

Принц де Линь, сопоставляя Екатерину и Людовика XIV,

отметил, что король внушал страх, в то время как Екатерина — расположение. Эту оценку можно использовать и при сравнении Петра Великого с Екатериной II. Главным средством воздействия на подчиненных у Петра была угроза сурового наказания за невыполнение поручения. Показательно письмо Петра к Б. П. Шереметеву, написанное 5 декабря 1700 года после поражения русских под Нарвой. Короткое послание состоит из трех сюжетов. В первом из них царь утешает: нельзя терять голову в связи с постигшим под Нарвой несчастьем; затем царь ставит перед полководцем конкретную задачу — «иттить в даль для лутчего вреда неприятелю». Третья часть указа написана с учетом особенностей натуры Шереметева — его основательности и расчетливости при подготовке любой военной акции, сопровождавшейся медлительностью, всегда раздражавшей нетерпеливого царя. Указ заканчивался угрозой: «О чем паки прошу: не чини отговорки ничем, и та положена меж беглецами, которых товарищ майор Л. на смерть осужден»[341].

И хотя Екатерина почитала Петра Великого своим кумиром и стремилась ему во всем подражать, свои отношения с подчиненными и соратниками она строила на иных принципах — ничего подобного ни в указах, ни в эпистолярном наследии императрицы обнаружить не удалось. Екатерина в подобных случаях выступала тонким психологом, умело пользовавшимся для поощрения усердия соратников и подчиненных такими свойствами человеческой натуры, как честолюбие, патриотизм, чувство долга, преданность трону и т. д. Эту способность познать психологию управляемого ею народа отметил Генрих Гарлей, относившийся к Екатерине отнюдь не благосклонно. В 1768 году он доносил в Лондон: «Надо признать, что русская императрица понимает вернейший способ управлять гораздо лучше своими подданными, чем можно было ожидать от иностранной принцессы. Она так близко знакома с их духом и характером и так хорошо употребляет эти сведения, что для большей части народа счастие его кажется зависящим от продолжительности ее царствования»[342]. И действительно, императрица умела подстегивать усердие управляемых лестью, похвалой, своевременной наградой и др.

Еще одно правило в отношениях с подчиненными Екатерина сформулировала в письме к Бьельке в 1792 году: «Держусь правила, что злым надо делать как можно менее зла; зачем следовать примеру злых? Зачем в отношении их становиться жестоким? Это значит нарушать обязанности к самому себе и к обществу»[343].

Способность императрицы познать психологию и ловко ею

пользоваться можно проиллюстрировать многочисленными примерами, зарегистрированными современниками. Общим в этих примерах является принцип, которым она руководствовалась: хвалить громко, во всеуслышание, а ругать тихо. У императрицы как-то спросили: «Разве ваше величество всеми этими людьми довольны?» — «Не совсем, — отвечала она, — но я хвалю громко, а браню потихоньку».

Екатерина, например, была недовольна тем, что Румянцев, командовавший русской армией, 2 августа 1769 года форсировал Днестр, но затем из-за недостатка фуража должен был отступить. Упреки, недовольство этими действиями генерала она сумела облечь в такую деликатную форму, что Румянцев не имел оснований для обиды; напротив, лестными отзывами о его талантах императрица призывала его к новым подвигам. Отступление, писала императрица, дало повод неприятелю «возгордиться, но я надеюсь от вашего искусства, военной поворотливости, что вы недолго дозволите неприятелю пользоваться таким пустым тщеславием тогда, когда вы имеете под вашей командой армию, которая уже действительно в пять месяцев шесть раз обратила в бег беспорядочную толпу бесчисленного неприятеля». «Наступательной операцией, — обращалась она к командующему, — вы себе приобретете новую славу и приумножите чрез то мою»[344].

Осенью того же 1769 года императрица была недовольна медленным продвижением к Средиземному морю эскадры под командованием адмирала Г. А. Спиридова. Вместо брани и порицания за нерасторопность Екатерина обращается к чувству долга адмирала, призывает его мобилизовать все силы для выполнения задания: «Прошу вас для самого Бога, соберите силы душевные и не допустите до посрамления пред всем светом. Вся Европа на вас и на вашу экспедицию смотрит, старайтесь соответствовать вашими поступками моему определению и заслужить те отменные милости, кои вы уже от меня получили, и вспомните, что расстройка, беспорядок и медление никогда мне приятны быть не могут и для того старайтесь оные везде укротить и пресечь, чрез что приобретете продолжение той милости, которую к вам имела».

Самый разительный пример деликатного обращения с провинившимся вельможей связан с отстранением от должности главнокомандующего Москвы, героя Семилетней войны генерал-фельдмаршала П. С. Салтыкова. Во время эпидемии чумы в Москве, 14 сентября 1771 года, после того, как зараза проникла в служебные помещения главнокомандующего в Кремле, Салтыков оставил столицу и укрылся в подмосковной вотчине. Столица,

оставшаяся без главы администрации, оказалась во власти обезумевшей от страха толпы. 15 сентября в Москве начался бунт, а 16-го был убит архиепископ Амвросий. Лишь 17 сентября Салтыков возвратился в столицу.

Казалось бы, трусость главнокомандующего должна была вызвать его публичное осуждение, но императрица пощадила старика и ограничилась всего лишь уведомлением Салтыкова об отставке без указания на ее причину. 7 ноября 1771 года он получил указ императрицы: «Мы ныне рассудили за благо вас из Москвы уволить и там поручить команду нашему генералу князю Михаилу Волконскому, о чем мы чрез сие даем вам знать, оставаясь, впрочем, к вам благожелательны»[345]. Подлинное же отношение к поступку фельдмаршала «остававшаяся благожелательной» Екатерина выразила в частном письме к А. И. Бибикову, отправленном еще до отстранения Салтыкова. Как бы оправдывая грядущее суровое наказание, она доверительно сообщала Бибикову: «Слабость фельдмаршала Салтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнения тогда, когда он своею персоною нужен там был, и, не ожидая дозволения, выехал — чаеть можно — забавляться со псами»[346].

Еще раньше, в 1764 году, императрица проявила милосердие к генерал-прокурору А. И. Глебову, оказавшемуся нечистым на руку и причастным к так называемому иркутскому делу. Екатерина ограничилась отстранением Глебова от должности без указания причин опалы. Лишь в секретной инструкции новому генерал-прокурору князю А. А. Вяземскому императрица написала, что оправдательное письмо Глебова не убедило ее ни в его искренности, ни в невиновности: «Прежнее худое поведение, корыстолюбие и худая вследствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и искренности против меня нынешнего генерал-прокурора, все сие принуждает меня сменить и совершенно помрачает и унижает его способность и прилежание к делам». Из всех провинившихся вельмож Глебов, которого императрица отругала «тихо», понес самое суровое наказание — ему было запрещено находиться на государственной службе.

Умела Екатерина и хвалить и награждать, причем делала это достаточно тонко и награждала за реальные успехи, иногда даже переоценивая их. Императрица при этом руководствовалась принципом: монарх, не умеющий достаточно оценивать заслуги подданных и должным образом награждать их, сам лишен достоинств и заслуг. В молодости она писала: «Кто не уважает заслуги, тот сам их не имеет; кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот недостоин и царствовать». Полезно в этом случае напомнить еще одну привлекательную черту характера

императрицы — она не была злопамятной и мстительной. Пример тому ее отношения с приближенными свергнутого Петра III.

П. А. Румянцева Екатерина считала сторонником Петра III и, воцарившись, заменила его П. И. Паниным, чем вызвала недовольство генерала. Румянцев обиделся и подал прошение об отставке. Императрица преодолела неприязнь и, видимо, подозревая в нем полководческий талант, ответила ему собственноручным посланием: «Я получила письмо ваше, в котором пишете и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне пришло с вами изъясниться и открыть вам мысли мои, которые вижу, что вам совсем неизвестны. Вы судите меня по старинным поведениям, когда персоналитет всегда превосходил качества и заслуги всякого человека и думаете, что бывший вас фавор ныне вам в порок служить будет».

Содержание разговора между императрицей и ее подданным осталось неизвестным, но закончился он к удовольствию обеих сторон примирением — Екатерина убедила Румянцева, что зла на него не таит, и тот остался на службе, а в июле 1764 года был назначен губернатором Малороссии. Достойно упоминания, что и прочие любимцы свергнутого императора не оказались в Сибири, как это должно было случиться в предшествующие царствования. Правда, они были удалены от двора, но получили высокие должности: Д. В. Волкова Екатерина назначила губернатором в Оренбург, а А. П. Мельгунова — губернатором Новороссии, а затем наместником Ярославским и Вологодским.

Особенно щедро был обласкан Румянцев во время русско-турецкой войны, когда он командовал первой армией. Уже в начале войны императрица в рескрипте Румянцеву нашла все его распоряжения «весьма благорассудными и достойными искусного генерала»[347]. Награды посыпались одна за другой вслед за блестящими победами Румянцева. После получения известия о победе при Ларге Екатерина самолично написала генералу лестные слова: «Вы займете в моем веке несомненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного… За долг почитаю вам отдать сию справедливость, и дабы всем известен сделался мой образ мысли об вас и мое удовольствие о успехах ваших, посылаю к вам орден св. Георгия первого класса». Румянцев был первым в России кавалером этого ордена I класса. Кроме того, он получил 5 тысяч душ крестьян. В этом рескрипте Екатерина уподобила Румянцева римлянам, которые не спрашивали, «многочислен ли неприятель, но где он?»[348].

Особенно высоко была оценена победа при Кагуле.

Императрица пожаловала Румянцева чином фельдмаршала и заверила, что не только будет пресекать интриги против него, но и предоставляет ему «дозволение употреблять и мое собственное имя, где вы усмотрите, что сие нужно для успеха дел моих». Аналогичное право получили командовавший 2-й армией князь В. М. Долгорукий, а также А. Г. Орлов.

Победа при Кагуле принесла фельдмаршалу жезл с бриллиантом, великолепную шпагу, шляпу с лавровым венком, бриллиантовую оливковую ветвь, 100 тысяч рублей, 5 тысяч крестьян, серебряный сервиз на 40 персон и собрание картин[349].

В память о Кагульской победе императрица велела соорудить обелиск с текстом, ею составленным: «В память победы при реке Кагул в Молдавии июля… дня 1770 г. Предводительством графа генерала Петра Румянцева Российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турецкого везиря Галил Бея с силою до полтораста тысяч».

Последняя награда ожидала Румянцева после победного заключения Кючук-Кайнарджийского мира: к фамилии Румянцев был прибавлен титул Задунайский. Двор, находившийся в начале 1775 года в Москве, решил соорудить в честь полководца триумфальную арку, но тот проявил скромность и отказался от участия в подобной церемонии. Напомним, однако, что императрица, использовав до конца талант полководца, проявила к нему неблагодарность на склоне его жизни.

К чувству долга императрица обращалась и в отношениях с другим военачальником — Алексеем Григорьевичем Орловым. Правда, брат фаворита, слывший самым умным среди братьев, пользовался особым ее расположением. По его совету, поддержанному императрицей, намечалось осуществить дерзкий план — отправить в Средиземное море флот с секретнейшим и важнейшим поручением — поднять восстание среди славянских и христианских народов, томившихся под османским игом, прежде всего среди греков. Инструкция предписывала «более всего непроницаемую в сем деле иметь тайну, ибо секрет всем делам душа». Предполагалось, что само появление русских кораблей в Средиземном море — событие до того небывалое — способно привести в потрясение и ужас все турецкие области в Европе[350].

Волею случая Алексей Орлов, понятия не имевший о военно-морском деле, оказался командующим русским флотом в Средиземном море. Туда в разное время отправились две эскадры под командованием Г. А. Спиридова и контр-адмирала Эльфинстона, между которыми возникла ссора. Это вынудило императрицу назначить командующим флотом сухопутного генерала.

А. Г. Орлову, пользовавшемуся безграничным доверием императрицы, с самого начала были предоставлены обширные полномочия — ему разрешалось присваивать обер-офицерские чины до капитана включительно тем представителям высших слоев местного населения, которые окажут «полезные услуги России». Генерал-поручику Орлову, чтобы «чрез сие показать вам, сколь приятно в памяти у нее усерднейшая ваша к нам и отечеству служба», императрица пожаловала чин генерал-аншефа.

Разве мог Орлов остаться равнодушным к рескрипту Екатерины от 19 июля 1770 года, в котором он прочитал такие слова: «Вся Европа дивится нашему подвигу и с любопытством обращает на вас, исполнителя оного, свои взоры». Еще больше воодушевил Орлова рескрипт императрицы, получившей известие об уничтожении сотни судов, то есть практически всего турецкого флота в Чесменской бухте: «Но блистая в свете не мнимым блеском флот наш под разумным и смелым предводительством вашим нанес сей раз наичувствительнейший удар османской гордости… лаврами покрыты вы; лаврами покрыта при вас находящаяся эскадра»[351].

Императрица полагала, что Турция, лишившись флота, запросит мира, и 22 марта 1771 года уполномочила А. Г. Орлова вести мирные переговоры и подписать договор, еще раз подчеркнув, что она пребывает «в полной уверенности на ваше патриотическое усердие и прозорливость». В том же 1771 году она предоставила Орлову такое же право, как Румянцеву и Долгорукому, расходовать деньги на содержание Средиземноморской экспедиции «в каких бы то суммах не было».

Надежды на скорый мир не оправдались. Османская империя, опираясь на помощь Франции, продолжала оказывать сопротивление, и императрице ничего не оставалось, как убеждать Орлова наносить урон неприятелю, уповая на его «разумное, прозорливое, усердное, ревностное поведение». В награду за два частных успеха Екатерина отправила украшенную бриллиантами шпагу [352].

Помимо наград за военные успехи, в результате которых граф Алексей Орлов стал графом Орловым-Чесменским, ему было поручено выполнить одно деликатное поручение — доставить в Петербург княжну Тараканову, что он успешно и выполнил.

Все современники единодушны в оценке способности императрицы превращаться из обаятельной и приветливой дамы в гордую, величественную императрицу, жестами, походкой, осанкой подчеркивавшей различие между нею и подданными.

Доктор Дамсдель, будучи приглашенным на обед, обратил внимание на непринужденную обстановку, царившую за столом:

«Хотя мы (он и его сын. — Н. П.) не понимали языка, на котором говорили, беседа шла, по-видимому, так свободно и весело, как можно было ожидать от лиц, равных между собою, а не от подданных, удостоенных чести быть в обществе их государыни».

Можно привести множество примеров перевоплощения императрицы, но мы ограничимся двумя. Первый из них, описанный бароном Гриммом, относится к его первой встрече с Екатериной. «Ну что же, — сказала она, — вы желали переговорить со мною; что имеете вы сказать?» Официальная тональность фраз не очень смутила Гримма, и он ей ответил: «Если ваше величество сохраните этот взгляд, то я должен буду удалиться, потому что чувствую, что голова моя не будет свободна, и что, следовательно, напрасно было бы злоупотреблять минутами, которые вам угодно мне пожертвовать». Улыбка просияла на лице ее. «Садитесь, — сказала она мне, — потолкуем о наших делах»[353].

Частенько такого рода беседы Екатерина проводила, занимаясь рукоделием, что придавало им, так сказать, домашний, непринужденный характер, располагало собеседника к откровенности, вызывать которую она была великой мастерицей.

Едва ли не самый яркий пример умения Екатерины подчинить своей воле собеседника привел Г. Р. Державин, служивший у нее секретарем. В общении с ним императрица проявляла то деспотический характер, то уважительное отношение и даже готовность извиниться за нанесенную обиду. Державину доводилось наблюдать монархиню в чрезвычайном гневе, так что «лицо пылает огнем, скулы трясутся». Она кричала на Державина, топала ногами, прогоняла из кабинета. Поэту пришлось обратиться за защитой к фавориту императрицы П. Зубову, и тот уладил дело.

В «Записках» Державина читаем: «Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, дает себе слово быть осторожным и ничего с нею не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит: зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным.

В один раз случилось, что он, не выдержав, вскочил со стула и в исступлении сказал: „Боже мой, кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек, я сегодня положил на себя клятву, что после вчерашнего ничего с вами не говорить, но вы против воли моей делаете из меня, что хотите“. Она засмеялась и сказала: „Неужели это правда!“ Умела такое

притворство и обладать собою в совершенстве, а равно и снисходить слабостям людским и защищать бессильных людей»[354].

Рассказ Державина относится к 90-м годам, когда у Екатерины стали сдавать нервы и она порой теряла самообладание. В годы, когда императрица находилась в расцвете сил, подобных выходок она себе не позволяла. А. А. Башилов, будучи пажом императрицы, записал свое простодушное мнение о ней: «Всем известно, как старики и старухи безобразны, но императрицы лицо было так привлекательно, улыбка такая очаровательная, осанка такая важная, что вселяет любовь и такое уважение, какое мудрено видеть»[355].

К важным достоинствам государственного деятеля относится умение угадывать таланты, окружать себя способными соратниками, единомышленниками, готовыми на все испытания ради выполнения благородных целей, поставленных повелителем. Сопоставляя в этом плане Петра I и Екатерину II, должно отдать предпочтение первому — круг сподвижников Петра был более многочисленным, и среди них было больше талантливых людей, нежели в окружении Екатерины.

Назовем далеко не всех «птенцов гнезда Петрова»: Меншиков, Головин, Головкин, Ягужинский, Я. Ф. Долгорукий, М. М. Голицын, Репнин, Брюс, Шафиров, Курбатов, П. А. Толстой, Нестеров и др. У Екатерины по-настоящему талантливых соратников было меньше: Панин, Безбородко, Дашкова, А. Г. Орлов, Суворов, Сиверс, Потемкин.

Ни у Петра Великого, ни у Екатерины И не должно было возникать опасений, что соратники могут превзойти их своими талантами. Более того, в письме к Н. И. Панину в 1770 году Екатерина писала: «Я умных людей люблю». В 1782 году, как бы оправдываясь, заявляла Гримму: «О, как жестоко ошибаются, изображая, будто чье-либо достоинство страшит меня. Напротив, я бы желала, чтоб вокруг меня были только герои, и я всячески старалась внушить героизм всем, в ком замечала к тому малейшую способность»[356].

Менее значительные успехи Екатерины в этом плане объясняются двумя обстоятельствами. Во-первых, у Петра был шире круг лиц, из которых он выбирал соратников — он пренебрегал при подборе «команды» национальными и социальными критериями. Сын конюха, сын органиста, сиделец у купца, холоп боярина находились в одной упряжке с представителями древнего боярского рода, а также с иноземцами: немцами, датчанами, шотландцами. Круг лиц, из которых комплектовалась «команда» Екатерины, был значительно уже —

не только вельможи, но и клерки рекрутировались только из рядов дворянства. Этот любопытный факт, между прочим, находит подтверждение и в различиях между обликами императора и императрицы, запечатленными в так называемых анекдотах о Петре и Екатерине, а также в семейных преданиях той поры. Не лишне заметить, что в понятие «анекдот» в XVIII веке вкладывали иное содержание, нежели сейчас. Тогда под анекдотом подразумевался краткий рассказ о подлинном событии. Иногда этот рассказ вполне достоверен, даже в деталях; иногда автор, записавший его, вносил отсебятину, драматизировал события и искажал их до неузнаваемости.

Фольклорный материал о Петре Великом и Екатерине Великой нуждается в изучении. Здесь мы ограничимся лишь констатацией принципиальных различий в содержании анекдотов о крупнейших деятелях XVIII столетия. Эта разница состоит в том, что анекдоты запечатлели в царе-реформаторе образ человека, наделенного демократическими чертами, не чуравшегося общения с простыми людьми и умевшего использовать их таланты, в то время как Екатерина довольствовалась лишь общением с вельможами и дворянами. Разве можно себе представить Екатерину за занятием, доступным женским рукам, но равноценным тем, которыми увлекался Петр? Или Екатерину, участвующую в собраниях, подобных всепьянейшему собору? Или разъезжающую в двуколке по улицам столицы, или с усердием занимающуюся тушением пожара, или стоявшую на запятках в карете? Нельзя также представить, чтобы при Екатерине губернатором столичной губернии и президентом военной коллегии стал человек, подобно Меншикову занимавшийся в детстве торговлей пирожками, а на пост вице-канцлера был возведен бывший сиделец при богатом купце, подобно крещеному еврею Шафирову. При Екатерине уже сформировалась правящая элита, и только из нее императрица выбирала себе соратников и вельмож.

Сравнивая анекдоты о Петре и Екатерине, должно отметить, что те и другие являются панегириками императору и императрице. Эта общность не исключает существенных различий. Во-первых, анекдотов о Екатерине во много раз меньше, чем о ее предшественнике. Во-вторых, они в большей мере заимствованы из официальных источников, записок современников и их переписки. Таковы, например, известные и из анекдотов слова императрицы о своем «маленьком хозяйстве», под которым она подразумевала хозяйство империи, о том, что она любит «хвалить громко, а бранить тихо», что у нее были хорошие учителя — «несчастье с уединением», об уплате

жалованья Дидро и т. д. Часть анекдотов — результат регистрации рассказов, — таких, например, как рассказ о подарке императрицы статс-даме Перекусихиной перстня со своим изображением в мужском костюме: «Вот и тебе жених; я уверена, что ты, Марья Саввишна, никогда не изменишь ему и останешься верною до гроба, такою, какою до сих пор была ты».

Но главное отличие состоит в том, что героями анекдотов о Екатерине являются, помимо самой императрицы, вельможи и придворные служители от самого высокого ранга до низшего, а также рядовые дворяне и дворянки. По отношению к ним Екатерина выступает заботливой, рассудительной, милосердной, внимательной к их нуждам, щедрой, великодушной и т. д. Она прощает кражу продуктов из дворцовых запасов и яблок для царского стола, не решается будить спящего камердинера, заявляя: «Я буду сама убираться» и т. д. Короче, анекдоты представляют Екатерину дворянской монархиней, ограничившей свое попечение нуждами и чаяниями благородного сословия.

Второе обстоятельство, в большей или меньшей мере препятствовавшее выдвижению талантов, заключалось в фаворитизме, достигшем пышного расцвета именно при Екатерине.

Мы не располагаем убедительными фактами, свидетельствующими о том, что кто-либо из фаворитов преграждал путь к власти кому-либо из соратников Екатерины. К слову сказать, фаворитизм вообще не оставляет подобного рода улик. Но сама по себе необходимость служить двум господам — одновременно угождать и императрице, и ее фавориту — не каждому была по душе. Вспомним только что приведенный пример — знавший себе цену Державин вынужден был обращаться с просьбой о защите от нападок императрицы к «дуралеюшке» П. Зубову, ограниченность которого была известна всем современникам. В следующей главе мы увидим, как императрица безуспешно пыталась выпестовать государственных деятелей из фаворитов — удача ей сопутствовала лишь единственный раз, когда ее ученик Потемкин стал поистине государственным мужем.

Императрица явно преувеличивала число дельных людей из своего окружения, когда в 1793 году писала Гримму: «Я никогда не искала и всегда находила под рукой людей, которые служили мне, и по большей части служили хорошо. Сверх того, по временам, я люблю свежие головы, которые очень полезны рядом с головами, более умудренными; все зависит именно от умения направить людей»[357].

О недостатке способных людей в окружении императрицы

свидетельствует факт, приведенный выше, — она так и не смогла найти дельного полководца для войны со Швецией; сменивший В. П. Мусина-Пушкина граф И. П. Салтыков тоже был человеком «глупым и упрямым». Не менее показательна судьба генерал-прокурора А. А. Вяземского. После почти двадцатилетнего отправления должности он в 1783 году подал прошение об отставке «во избежание могущих произойти упущений». Императрица отклонила просьбу, начертав резолюцию: она взяла князя из генерал-квартирмейстеров, чтобы приготовить его к своей неограниченной доверенности; «тогда я свету показала, что я умею людей приуготовить, научить, подкрепить, покровительствовать и защитить во всех случаях как частных, так и общих». Это, однако, не помешало «ученику» за тридцатилетнюю службу прослыть человеком глупым и недалеким; «все называли его дураком», как писала сама Екатерина.

То, что императрица испытывала острую нужду в дельных соратниках, явствует и из ее послания к Потемкину, с которым она была, разумеется, откровеннее, чем с другими корреспондентами. 19 октября 1783 года она делилась с ним: «Не знаю, за кого взяться: армейских требовать не сметь; по губерниям — или молоды, или трогать не сметь же. Заглянула в придворных… право, тут выбрать немного»[358].

Из вышеизложенного следует, что интуиция на выбор талантливых сподвижников у императрицы была ниже, чем у Петра Великого. Тем не менее многие из избранников действовали умело и энергично. По словам мемуариста, Екатерина заявляла: «Графу Орлову должна я частию блеска моего царствования, ибо он присоветовал послать флот в Архипелаг. Князю Потемкину обязана я приобретением Тавриды и рассеянием татарских орд, столь беспокоивших пределы империи. Все, что можно сказать, состоит в том, что я была наставницей сих господ. Фельдмаршалу Румянцеву должна я победами; вот что только я ему сказала: „господин фельдмаршал! дело доходит до драки — лучше побить, чем самому быть побитым“; Михельсону я обязана поимкою Пугачева, который едва было не забрался в Москву, а может быть и далее»[359].

Императрица обладала еще одним несомненным достоинством, свойственным неординарным государственным деятелям, — умению слушать и прислушиваться к словам собеседника. Абсолютная власть, как правило, соседствует с деспотизмом, позволяет проявлять произвол, требовать немедленного исполнения прихотей, даже самых нелепых. Самодурство было чуждо Екатерине не только потому, что она

великолепно знала на опыте своего супруга трагические последствия его проявления, но и потому, что само по себе было чуждо ее натуре. Екатерина знала также, что не во всех сферах она была компетентна. Ее, например, обделил Бог музыкальным слухом, и музыка в ее представлении была всего-навсего шумом, ее раздражавшим. Не могла она, даже под угрозой эшафота, сочинить четверостишие, хотя ее обучали этому искусству опытные наставники. Но неумение сочинять вирши и наслаждаться музыкой — далеко не первостепенной важности недостаток монарха.

Когда читаешь ее рескрипты военачальникам, в которых она дает им совершенно конкретные рекомендации, создается впечатление, что императрица пользовалась услугами лиц, осведомленных в военном деле. Равным образом создается впечатление, что она пользовалась рекомендациями сведущих администраторов, градостроителей. Окончательное решение — за императрицей, но она внимала советам. В данном случае ей надлежит отдать предпочтение перед Петром 1 и не потому, что царь не хотел или не умел прислушиваться к советам, а вследствие того, что в условиях коренной ломки традиций не успели вырасти люди, порвавшие с прошлым и способные глядеть в будущее.

По свойствам характера Екатерина была типичным прагматиком, не совершавшим ни в государственных делах, ни в обыденной жизни опрометчивых, необдуманных решений или поступков. Удержаться от этого было непросто, в особенности при абсолютистском режиме, когда придворная жизнь была начинена интригами, подсиживанием, происками льстецов, готовых убрать с пути своих соперников. Мемуарист М. Гарновский в 1788 году засвидетельствовал: «Всякой лезет с чем хочет, всякой называет себя спасителем отечества и старается уменьшить силу влияния людей несравненно превосходнее и полезнее себя»[360].

«Она умела слушать», — записал мемуарист Грибовский. По свидетельству Гримма, «она всегда верно схватывала мысли своего собеседника, так что неточное или смелое выражение никогда не вводило ее в затруднение, а тем менее не рисковало показаться ей неуважительным»[361]. Любопытную быль или молву опубликовала «Русская старина» об адмирале Чичагове, которого императрица пригласила рассказать об одержанных им победах над шведским флотом в 1789 и 1790 годах. Тот, не будучи светским человеком, во время рассказа сначала смущался, а потом вошел в такой азарт, что стал кричать, размахивать руками, горячиться и употреблять нецензурные слова. Затем, опомнившись, стал на коленях просить прощения. — «Ничего,

Василий Яковлевич, продолжайте, я ваших морских терминов не разумею». Чичагов был щедро награжден, получив в два приема 1388 и 2417 душ, а также орден Георгия I степени[362].

В случаях, когда императрица не видела выхода из затруднительного положения, она не считала зазорным обращаться за советом к более компетентным лицам. Так, ей стало известно, что на территории Речи Посполитой проживало около 300 тысяч старообрядцев, бежавших из России. Как их вернуть на родину и наставить на путь истинного православия? Запросила мнения архиепископа Дмитрия Сеченова: «Я б желала изыскать способы к тому и другому, того для вручитель сего имеет с вашим преосвещенством говорить и посоветовать»[363].

Далеко не каждый венценосец готов признать своего подданного умнее себя. Екатерина это сделала. В 1785 году она писала Гримму о Г. А. Потемкине: «Надо отдать ему справедливость, он умнее меня и все, что он ни делал, было глубоко и обдумано»[364].

Императрица умела пользоваться еще одним средством для укрощения даже таких строптивых подчиненных, как, например, Державин, — обаятельной внешностью. Современники оставили множество портретных зарисовок Екатерины, выполненных как кистью, так и пером.

Мы оставляем в стороне описание чисто женских прелестей Екатерины и обратимся к портретным зарисовкам, авторы которых пытались раскрыть ее манеру поведения, внутренний мир, интеллектуальные способности. Это более сложная задача, чем описание внешности; не всем современникам она оказалась по плечу, тем не менее даже самые скудные сведения о ней вносят пусть незначительные, но дополнительные штрихи к ее портрету.

Едва ли не самое подробное описание императрицы, относящееся ко времени ее блеска и славы, принадлежит английскому послу лорду Каскарту, трижды в разные месяцы 1768–1769 годов возвращавшемуся к ее характеристике. 12 августа 1768 года он отзывался о Екатерине с величайшим пиететом: «Между всеми женщинами на свете императрица едва ли не способнейшая для ведения столь сложного механизма». Ум ее он назвал «необыкновенным». Через пару месяцев лорд дополнил портрет новыми деталями: «Наружность императрицы полна неописанного достоинства, преобладающего над остальными чертами выражения, и в то же время проникающее ее ясное спокойствие, внимание и благосклонность, распространяющиеся на всех». Ее решения отличались мудростью. В депеше в марте 1769 года Каскарт, будучи человеком

мыслящим и наблюдательным, присмотревшись к императрице, обнаружил в ней новые достоинства: «Не видев императрицы, трудно представить себе понятие о быстроте ее мысли и соображении, о ее внимании к делам и желании управлять государством с достоинством и пользой даже до последнего из ее подданных». Через три четверти года Каскарт сосредоточил внимание еще на одной черте характера императрицы, причем продолжал отзываться о ней с таким же восторгом, как и в предшествующих донесениях: «Ее императорское величество обладает весьма просвещенным умом, быстрым соображением, замечательной решимостью, большой твердостью и весьма похвальным желанием действовать относительно всех обязанностей, относительно ее высокого сана с полной доступностью для полезных сведений и с явным уважением к характерам, достойным повсюду, где бы она не нашла их»[365].

Комплименты Каскарта в адрес Екатерины написаны в то время, когда отношения между Англией и Россией отличались доброжелательностью и взаимные интересы в дружественных отношениях находили понимание и в Лондоне и в Петербурге.

Если Каскарт в своих отзывах об императрице руководствовался интересами своей страны, то на отзывы другого англичанина, наблюдавшего императрицу в том же 1768 году, оказали влияние личные интересы. Речь идет о докторе Дамсделе, приглашенном Екатериной для прививки оспы ей, наследнику и его супруге, а также вельможам обеих столиц. Он оставил, так сказать, психологический и интеллектуальный портрет императрицы: «росту выше среднего, в ней много грации и величия, так что даже если бы можно было забыть о ее высоком сане, то и тут бы ее признали за одну из самых любезных особ ее пола. К природным ее прелестям прибавьте вежливость, ласковость и благодушие и все это в высшей степени; при том столько рассудительности, что она проявляется на каждом шагу, так что ей нельзя не удивляться. Ее величество говорит по-русски, по-немецки и на французском в совершенстве, читает также свободно по-итальянски, и хотя она не знает по-английски столько, чтобы говорить на этом языке, но понимает достаточно, что говорят… Императрица примерным образом соблюдает обряды греческой церкви, за столом она чрезвычайно умеренна, употребляет в питье только один или два стакана воды с вином. Она встает очень рано и занимается неутомимо государственными делами; поощрение и преуспевание свободных искусств, благо ее подданных — вот предметы, на которые в мирное время постоянно и ежедневно были обращены ее великие дарования»[366].

Дамсдель настолько был польщен вниманием императрицы и ее щедротами, что не заметил ни одного недостатка в своей благодетельнице. Если принять на веру слова Дамсделя, то перед нами идеальный образ человека и монарха. Быть может, столь высокая оценка Екатерины была обусловлена не менее высокой наградой за его услуги: Дамсдель был возведен в баронское достоинство Российской империи, единовременно пожалован 2000 фунтов стерлингов и пожизненным пенсионом в 500 фунтов ежегодно.

Оценивая свидетельства современников о царствующих особах, в особенности иностранцев, надобно учитывать два обстоятельства: интересы страны, которую представляет дипломат, и обычай воздерживаться от негативных и особенно резких оценок лиц, занимавших трон: их редко осмеливались осуждать, старались не замечать пороков, а если и замечали, то умалчивали о них. К числу таких авторов принадлежит принц де Линь, писавший после смерти императрицы и, казалось бы, не стесненный никакими этическими соображениями. Но он принадлежал к обожателям императрицы, и поэтому от него трудно ожидать объективной оценки: «Ее внешность известна по портретам и описаниям, почти всегда довольно верным. Шестнадцать лет назад (в 1780 году. — Н. П.) она была еще очень хороша. Было видно, что она была скорее мила, чем красива: глаза и приятная улыбка уменьшали ее большой лоб, но этот лоб был все… Было видно, что в этом лбе всему было место… Она должна была отличаться свежестью и высокой грудью, которая развилась в ущерб талии, слишком тонкой; но в России скоро тучнеют. Лицо у нее было чистое, и если бы она не задирала так волос, которые должны были опуститься ниже и окружать ее лицо, она была бы еще милее…

Входя в зал, она всегда делала одни и те же три, по русскому обычаю, мужских поклона: один направо, один налево и один прямо. Все у нее было размеренно и методично. У нее было особое искусство слушать и такая же привычка владеть собою, что казалось она слушает и тогда, когда думает совсем о другом… Но роль императрицы наиболее шла к ее лицу, к ее походке, к возвышенности ее души и к необъятности ее гения, столь же обширного, как и ее империя. Она знала себя и умела ценить других»[367].

Что касается оценок Гримма, слывшего льстецом и неоднократно произносившего императрице дифирамбы, то они однозначно положительны. Он, например, обнаружил у Екатерины талант, который ему не доводилось встречать у других: «талант этот заключался в том, что она всегда верно

схватывала мнение своего собеседника». В другом письме он отмечал еще одно достоинство императрицы, далеко не всем коронованным особам свойственное: «умение сохранять прирожденное ей достоинство при непринужденности или даже бесцеремонности, которую она любила встречать в разговоре, составили таинственную особенность государыни…»[368].

Даже К. Массон, отнюдь не благосклонно относившийся к императрице, не счел возможным критически о ней отзываться. Он писал о ее стремлении казаться моложе 67 лет, о том, что она к концу жизни сделалась почти безобразно толстой, а ноги, всегда опухшие и часто открытые, были совершенно как бревна, по сравнению с той ножкой, которою некогда восхищались. Впрочем, и он отмечал, что императрица все же сохранила «остатки красоты» и что, несмотря на излишнюю полноту, умела держаться «пристойно и грациозно» и «никогда корона лучше не венчала головы, чем ее голову»[369].

Обстоятельную характеристику Екатерины дал французский посол Сегюр, прибывший в Петербург в 1785 году и располагавший возможностью наблюдать императрицу с близкого расстояния. Блестяще образованный, остроумный, наблюдательный, с литературным талантом, Сегюр был приятным собеседником, и Екатерина, зная эти его достоинства, приглашала его сопровождать ее в путешествиях 1785 и 1787 годов. При дворе он был своим человеком, и это сказалось на содержании его записок, отличавшихся обстоятельностью и достоверностью.

Сегюр не ограничился описанием внешности императрицы. Впрочем, и здесь он обнаружил то, чего не замечали прочие современники: «У нее был орлиный нос, прелестный рот, голубые глаза и черные брови, чрезвычайно приятный взгляд и привлекательная улыбка. Белизна и блеск кожи служили ей украшением, которое она долго сохраняла».

Примечательно описание аудиенции, во время которой Сегюр представлялся императрице в качестве посла Франции. Умение императрицы придать себе величественность вызвало замешательство даже у видавшего виды дипломата, в тонкости постигшего светское обхождение: «В богатой одежде стояла она, облокотясь на колонну. Ее величественный вид, важность и благородство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная поза, все это поразило меня, и я окончательно позабыл (приветственную речь. — Н. П.). К счастью, не стараясь напрасно понуждать свою память, я решился тут же сочинить речь; но в ней уже не было ни слова, заимствованного из той, которая была сообщена императрице и на которую она

приготовила свой ответ. Это ее несколько удивило, но не помешало тотчас же ответить мне чрезвычайно приветливо и ласково и высказать несколько слов, лестных для меня лично».

Сегюр наградил императрицу всеми земными добродетелями: она и остроумна (хотя сама этого качества за собою не признавала), и обладательница тонкого ума, трудолюбива, добродушна, любезна. Это была величественная монархиня и любящая женщина, «страстная в увлечении, но постоянная в дружбе». Ценность зарисовки портрета Екатерины Сегюром состоит в том, что он не скрыл от читателя наличия в ней некоторых, правда, малосущественных отрицательных черт, например, беспредельного честолюбия. Кроме того, «одаренная возвышенной душой, она не обладала ни живым воображением, ни даже блеском разговора, исключая редких случаев, когда говорила об истории или политике».

Среди этого многочисленного хора панегиристов встречались и скептики, сомневавшиеся в ее добродетели. Среди них английский дипломат Генрих Шерлей, выполнявший в 1768 году обязанность поверенного в делах в промежутке между Макартни и лордом Каскартом. Он доносил, что «намерения императрицы первоначально клонились к тому, чтобы заявить ее заботливостью о счастье своих подданных, но так как намерения эти приобретают из оснований не совсем чистого свойства, дела ее, как поддельный жемчуг, имели более блеска, но меньше ценности, чем жемчуг настоящий. Между русскими есть некоторые лица, сознающие эту истину, но так как лесть и слепое повиновение составляли для большей части их единственный путь к богатству, могуществу и влиянию, они еще усерднее восторгаются всем, исходящим от дворца императрицы, чем те, чьи похвалы искренни… Общее восхищение усилило ее тщеславие до такой степени, что она начинает считать себя выше остального человечества и полагает, что она непоколебимо утвердила за собою престол Русской империи»[370].

Самую негативную оценку дал императрице М. Д. Корберон, который, в отличие от прочих дипломатов и мемуаристов, не обнаружил в Екатерине ничего заслуживающего похвалы. В дневнике под 30 сентября 1776 года он записал: «Она беспримерно непостоянна, легкомысленна по природе, всегда прикрывается маской мягкосердечия. Вообще во всем государстве нет лицедейки более искусной, чем Екатерина II».

Обратимся к суждениям соотечественников. Не все из тех, кто оставил дневники и воспоминания, запечатлели образ императрицы. Так, например, дневник А. В. Храповицкого, свыше десяти лет (1782–1793) служившего Екатерине статс-секретарем и

общавшегося с нею почти ежедневно, скорее напоминает камер-фурьерский журнал — настолько скупо он отражал события и еще более сдержанно о них отзывался. Этот, по оценке Бантыша-Каменского, тучный делец «имел нрав гибкий, вкрадчивый» и, видимо, опасался доверять свои мысли даже дневнику. Этим суждением мы не умаляем значения «Дневника» как исторического источника: в нем зарегистрированы весьма ценные суждения императрицы, отмечены события придворной жизни, но на тему, нас интересующую, — ни единого слова. Читатель не обнаружит здесь не только оценок действий императрицы, ее личных качеств, но даже безобидного описания ее внешности.

Статс-секретарем у Екатерины служил и известный поэт Г. Р. Державин. Он, человек, владевший пером и наблюдательностью, мог бы дать исчерпывающий образ императрицы, но воздержался, видимо, из опасения прослыть ее недоброжелателем, автором, выделившимся из хора льстецов, тем более что своей карьере он в известной мере был обязан оде «Фелица», восхвалявшей Екатерину, которая, впрочем, весьма скромно оценила труд поэта — он получил в вознаграждение лишь табакерку, осыпанную бриллиантами.

Когда Державин стал секретарем, его уговаривали, в том числе и императрица, написать апологетическое сочинение типа «Фелицы». Поэт несколько раз принимался за дело, но результатов не достиг. Причину неудачи он чистосердечно объяснил так: «Видя дворские хитрости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог ей таких тонких писать похвал, каковы в оде Фелице и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе, ибо издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении ко двору весьма человеческими и даже низкими и недостойными великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ее».

Чтобы не выглядеть неблагодарным перевертышем, Державин ограничился лишь беглыми, далеко не исчерпывающими его познания оригинала заметками: «Вот, как выше сказано, она царствовала политически, наблюдая свои выгоды, или поблакая своим вельможам, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражить их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была она милосердна и снисходительна к слабостям людским, избавляя их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью законов, но особым материнским о них попечением, а особливо умела выигрывать сердца и ими

управлять как хотела… Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве». Императрица любила повторять Державину, докучавшему ей просьбами блюсти законы: «Живи и жить давай другим»[371].

Державин в данном случае поступил честно: он не хотел выглядеть неискренним и писать противоположное тому, что он писал в «Фелице»; с другой стороны, он не мог умолчать хотя бы о части «низких» и недостойных черт характера «великой Екатерины».

Более обстоятельную и разностороннюю характеристику императрицы обнаруживаем в памфлете известного историка и публициста второй половины XVIII века князя М. М. Щербатова. Общая оценка Екатерины в сочинении с выразительным названием «О повреждении нравов в России» не могла быть положительной, ибо наибольшей распущенности нравы достигли именно при ней. Но Щербатов не умолчал и о достоинствах императрицы. «Не можно сказать, — отметил строгий критик, — чтобы она не была качествами достойна править роль великой империей, естли женщина достойна поднять сие иго, и естли одних качеств довольно для сего вышнего сану. Одарена довольно красотою, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системе, сластолюбива, трудолюбива по славолюбию, бережлива, предприятельна и некое чтение имеющая… Напротив же того, ее пороки суть: любострастна и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности, и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку находить, принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении и, наконец, толь переменчива, что редко в один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает»[372].

В отличие от Щербатова младший современник Екатерины историк Н. М. Карамзин в своей «Записке о древней и новой России» сосредоточил внимание не на личных достоинствах и недостатках императрицы, а на результатах ее царствования. Хотя он и называл правление Екатерины «блестящим», утверждал, что она «очистила самодержавие от примесов тиранства» и сумела «без казни, без пыток, влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей неугодным и пламенное усердие заслуживать ее милость», хвалил за внешнеполитические успехи — она приучила Европу «к нашим победам», но не одобрял многие итоги ее царствования: «Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных; дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения».

Историк обвинял императрицу в том, что «чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало», он упрекал «великую монархиню» в том, что она мало заботилась о хорошем воспитании и внедрении «твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным». Величие и недостатки императрицы Карамзин формулировал четко и достаточно убедительно: «Екатерина — Великий Муж в главных собраниях государственных — являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности»[373].

По яркости, выразительности и полноте черт натуры императрицы портреты Щербатова и Карамзина не имеют равных не только среди отечественных, но и среди зарубежных авторов. Обобщение, доступное Щербатову и Карамзину, оказалось не под силу А. М. Грибовскому, подобно Храповицкому и Державину занимавшему пост секретаря Екатерины на исходе ее царствования (1792–1796). Его «Записки о Екатерине Великой» по содержанию превосходят «Дневник» Храповицкого, но по яркости и полноте уступают и Державину, и Щербатову. Грибовский ограничился описанием внешности императрицы: «Облик ее в сокровенности не был правильный, но должен был крайне нравиться, ибо открытость и веселость всегда были на ее устах. Она была в одеянии взыскательна; но если бы прическа ее не была слишком вверх подобрана, то волосы распускались около лица, несколько бы оное закрывали, и это б ей лучше пристало. Не можно даже было заметить, что она небольшого роста».

«Несмотря на 65 лет государыня еще имела довольную в лице свежесть, руки прекрасные, все зубы в целости, отчего говорила твердо, без шамканья, только несколько мужественно, читала в очках, притом с увеличительным стеклом». О личных достоинствах и недостатках — ни слова.

Авторы этих зарисовок сообщали иногда схожие сведения о внешности и характере императрицы, иногда противоречившие друг другу, как, например, относительно ее роста: одни считали, что Екатерина выше среднего, другие, напротив, относили ее к дамам низкого роста. Скорее всего, эти расхождения связаны с тучностью Екатерины в преклонном возрасте; эта тучность как бы скрадывала ее рост.

В изображении современников императрица, с одной стороны, предстает в виде умной, образованной, энергичной, мягкосердечной, милосердной и доброй государыни, проявлявшей незаурядный талант в управлении такой огромной империей, как Россия: она достойно представляла интересы

страны в международных делах, умела общаться со своими сподвижниками, проявляла превосходные знания менталитета русского человека и ловко использовала в интересах дела достоинства и недостатки человеческой натуры. Вместе с тем она была наделена и множеством недостатков, которые, хотя и не затмевали ее достоинств, но накладывали тень на ее личность. К числу этих недостатков можно отнести любострастие, любовь к лести, внешнему блеску, увлеченность делами, которые она не стремилась довести до конца и которые бросала, с такой же увлеченностью принимаясь за другие, оставляя их тоже незавершенными, чтобы взяться за третьи. Н. М. Карамзин был тысячу раз прав, когда отметил одну из главных слабостей императрицы: «Избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по форме».

Она была сентиментальна и навзрыд оплакивала утрату не только близких людей, но иногда и далеких от нее. Сентиментальность, с особенной силой проявлявшаяся при известиях о смерти фаворитов, уживалась с безразличием, которое она выказывала в других подобных случаях.

Приходится согласиться с суждением, которое цитирует В. О. Ключевский: «Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине». В самом деле, государь, лишенный честолюбия, подобен безвольному существу, которым может командовать любой, превращается в послушное орудие соперничающих придворных группировок. Екатерина к подобным деятелям не принадлежала, ее женские руки по крайней мере четверть века оказывались достаточно твердыми для того, чтобы держать руль правления.

Перечисленные черты характера не дают объяснений некоторым поступкам императрицы. Как, например, совместить ее пристрастие к лести и непомерное честолюбие с отказом принять предложенный Уложенной комиссией титул Великой, матери отечества? Почему она отказалась отметить двадцатилетие своего царствования, протестовала против сооружения ей прижизненных памятников? Наконец, какими подлинными мотивами руководствовалась, когда сделала жесткий выговор Гримму, назвавшему ее образцовой монархиней? В ответном письме Екатерина назвала его «отъявленным льстецом» и не то с напускной, не то с искренней серьезностью выговаривала: «Если верить вам, я стала на старости лет образцом для государей. О, Боже мой, Боже мой, какой дурной образец, если верить всему дурному, что говорили и говорят еще про меня? И к чему эти метания похвал, на что

они? Это длинно, скучно и баста».

Или другой, столь же выразительный пример, дающий основание полагать, что написанное Гримму является отражением истинного мнения. В заметке для себя (1781 год) Екатерина писала, что ей попалась в руки изданная в Лондоне в 1776 году хвалебная брошюра о ней. «Кажется мне, — писала императрица, — что это какой-нибудь студент, желавший начертать пример для государей: он, должно быть, очень мало образован, и, несмотря на чрезмерные похвалы кстати и некстати, никакая книга не доставила мне более скуки; к тому же эта книга полна неправды и неправды, придуманной автором».

Или, как сопрягается ее заявление: «Ничего нет хуже, как величие», с ее манерой придавать своей позе на официальных приемах величественность, принимать непроницаемый вид, позы и жесты, вероятно, отрабатываемые перед зеркалом?

Все эти загадки, на наш взгляд, трудно объяснимы, и разгадать их, пользуясь научным арсеналом, практически невозможно.

Глава XII. Фавориты

Знакомство с мерами Екатерины в области внутренней и внешней политики создает образ крупного государственного деятеля, человека с широкими взглядами, прилагавшего немало усилий для претворения их в жизнь. Подобно Петру, но в противоположность его преемницам и преемникам, Екатерина, выражаясь словами Пушкина, была на троне «работником». Но в отличие от Петра, орудовавшего пером, мечом и топором, императрица работала только пером, причем довольно успешно законодательствовала, сочиняла письма и записки, создавала труды по истории и даже писала художественные произведения. Однако при обращении к частной жизни императрицы нас ждет разочарование. Создается впечатление, будто перед нами другой человек. Екатерина парадоксальным образом совмещала в себе высокий интеллект, образованность, государственную мудрость и банальный разврат. Речь пойдет о фаворитах.

Фаворитизм сопутствовал предшественникам и преемникам Екатерины и являлся своеобразной визитной карточкой абсолютной монархии. Но ни до Екатерины, ни после нее распутство не достигало столь широких масштабов и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме.

Екатерина имела внешность, располагавшую к себе сильный пол. Приведем ее собственное суждение на сей счет, относящееся к ее молодости: она, читаем в ее «Записках», была «одарена большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере интересною, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда».

Первое описание ее внешности, сделанное сторонним наблюдателем, принадлежит перу ее второго фаворита и относится к середине 50-х годов, когда она была великой княгиней. Станислав Понятовский, бывший тогда секретарем английского посла сэра Уильямса, так писал о ней: «Ей было двадцать пять лет. Оправляясь от первых родов, она расцвела так, как об этом может мечтать женщина, наделенная от природы красотой. Черные волосы, восхитительная белизна кожи, большие синие глаза на выкате, много говорившие, очень длинные черные ресницы, острый носик, зовущий к поцелую, руки и плечи совершенной формы, средний рост, скорее высокий, чем низкий, походка на редкость легкая и в то же время исполненная величайшего благородства, приятный тембр голоса, смех, столь же веселый, сколь и игривый, позволяющий ей с легкостью переходить от самых резвых, по-детски беззаботных — к

шифровальному столику»[374].

Восторженный отзыв пылавшего страстью любовника к великой княгине несколько приукрашивал ее внешние достоинства. Три года продолжались тайные связи влюбленных, пока о них не узнала императрица Елизавета Петровна, и Понятовскому довелось испытать судьбу первого фаворита Екатерины, Салтыкова. Тот был отправлен послом за границу, а Понятовский выдворен из России в Польшу.

После переворота и восшествия на престол возлюбленной Понятовский рассудил, что теперь уже устранено препятствие для открытого выражения чувств, и рвался из Варшавы в Петербург. Ему было невдомек, что его место уже занято Григорием Орловым и отважные братья могли сломать шею сопернику, если тот появится в столице. Екатерине стоило большого труда под всякими предлогами убедить Понятовского отказаться от этой затеи: «Ваше пребывание при настоящих обстоятельствах, — писала императрица бывшему фавориту, — было бы опасно для вас и очень вредно для меня». Когда Понятовский возымел намерение прибыть в столицу тайно, то Екатерина решительно возразила: «Я отсоветую вам тайную поездку, ибо мои шаги не могут оставаться тайными». Наконец, в последнем письме Екатерина прямо охладила пыл корреспондента: «Все умы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда из страха усилить его». Более того, новоиспеченная императрица сделала грозное предупреждение: «убьют нас обоих». Взамен отказа от поездки в Петербург Екатерина обещала Понятовскому польскую корону и сдержала свое слово — после смерти Августа III под давлением России королем Речи Посполитой был избран Понятовский[375].

В достаточно зрелые годы, точнее, в бальзаковском возрасте, когда Екатерина становилась на путь распутства, она пыталась переложить вину за свое поведение на других, обелить себя и доказать, что к разврату ее принуждали обстоятельства. Эта мысль пронизывает ее «Чистосердечную исповедь» Потемкину, а также ее «Записки».

«Чистосердечная исповедь», которую императрица составила для своего фаворита Г. А. Потемкина и в которой поведала о своих прежних увлечениях, — любопытный человеческий документ, заслуживающий полного воспроизведения.

«Марья Чоглокова (приставленная Елизаветой к великой княгине Екатерине Алексеевне для присмотра за ее поведением. — Н. П.), видя, что обстоятельства оставались те же, каковы были до свадьбы (имеется в виду отсутствие у Екатерины детей. — Н. П.), и быв от покойной государыни часто бранена, что

не старается их переменить, не нашла иного к тому способа, как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, кои она на мысли имела; с одной стороны выбрали вдову Грот, которая ныне за артиллерии генерал-поручика Миллера и с другой — Сергей Салтыков и сего более по видимой его склонности и по уговору мамы (Чоглоковой. — Н. П.), которая в том поставлена великая нужда и надобность.

По прошествии двух лет Сергея Салтыкова послали посланником, ибо он себя нескромно вел, а Марья Чоглокова у большого дворца уже не была в силе его удержать.

По прошествии года великой скорби приехал нынешний король польский (Понятовский. — Н. П.), которого отнюдь не приметили, но добрые люди заставили пустыми подробностями догадаться, что глаза были отменной красоты, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие. Сей был любезен и любил с 1755 до 1761 — то есть от 1758 и старательства князя Григория Григорьевича (Орлова. — Н. П.), которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мыслей. Сей бы век остался, если б сам не скучал, я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из села Царского и просто сделала заключение, что, о том узнав, уже доверки иметь на могу; мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешперации (отчаяния. — Н. П.) выбор кое-какой, во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и никогда более, как тогда, когда другие люди бывают довольны, и всякая приласканья во мне слезы возбуждали, так что я думаю что от рожденья своего я столько не плакала, как сии полтора года (когда фаворитом был Васильчиков. — Н. П.).

Сначала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже, ибо с другой стороны месяца по три дуться стали, и признаться надобно, что я никогда довольна не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала.

Потом приехал некто богатырь (Григорий Потемкин. — Н. П.), сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюсша (П. А. Брюс — урожденная Румянцева, сестра фельдмаршала. — Н. П.) сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которая я желаю, чтоб ты имел.

Ну, господин богатырь, после сей исповеди, могу ли я

надеяться получить отпущение грехов своих, изволишь видеть, что я не пятнадцатая, но третья доля из сих, первого по неволе, да четвертого из дешперации, я думала насчет легкомыслия поставить никак не можно; о трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, которому никакой склонности не имею, и, если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась; беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви.

Сказывают, такие пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца есть порок, нежели добродетель. Но напрасно я к тебе сие пишу, ибо после того возлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтоб я тебя позабыла, но право не думаю, чтоб такую глупость сделала. А если хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче любви и говори правду»[376].

Это послание, названное автором «чистосердечной исповедью», в действительности содержит более фальши, чем чистосердечных признаний. Достаточно сравнить интимные письма императрицы к двум фаворитам: Г. А. Потемкину и П. В. Завадовскому. Обоим фаворитам она клялась в беспредельной любви и верности до гроба, но рассталась с ними с легкостью необыкновенной. Думается, что подобные клятвенные обещания она давала и другим своим любовникам. Иначе и не могла поступить дама, сердце которой, по ее признанию, «не хочет быть ни на час охотно без любви». Поэтому сомнительным надобно считать и ее заявление о том, что она создана для семейного очага и если бы была любима Петром III или первым фаворитом в годы царствования, Григорием Орловым, то об ее изменах не могло быть и речи.

Много позже, будучи в преклонном возрасте, императрица как-то заявила, что Россия должна быть благодарна ей за фаворитов, которых она считала своими учениками, овладевавшими под ее руководством мудростью управления государством. На самом деле из всего своего мужского «гарема» она подготовила лишь единственного толкового политика — Григория Потемкина, но и у того мужские достоинства случайно соединились со способностями государственного мужа. Что касается прочих фаворитов, то они, как увидим ниже, были людьми ничем не примечательными, в большинстве своем хапугами, радевшими о личных интересах, а не о благе государства. Следовательно, все теории Екатерины о пользе фаворитизма надобно считать прикрытием сладострастия, попыткой возвести разврат в ранг государственной политики.

Приведем перечень фаворитов, составленный Лонгиновым в середине XIX века. В первые 12 лет царствования Екатерина сменила двух фаворитов: князя Г. Г. Орлова (1759 — лето 1772 года) и А. С. Васильчикова (сентябрь 1772 — лето 1774 года). Последующее двенадцатилетие можно назвать расцветом фаворитизма, когда на вахту один за другим заступили двенадцать фаворитов: князь Г. А. Потемкин (ноябрь 1774–1776 год); П. В. Завадовский (ноябрь 1776 — июль 1777 года); С. Г. Зорич (июнь 1777 — июнь 1778 года); И. Н. Корсаков (1778 — июнь 1779 года). До 10 октября 1779 года императрица успела сменить двух фаворитов: Стахиева и Страхова; непродолжительным оказался фавор еще двух человек: В. Я. Левашова и Н. П. Высоцкого (октябрь 1779 — март 1780 года). Затем настало памятное для Екатерины время А. Д. Ланского (апрель 1780 — июль 1784 года), прерываемое непродолжительными связями с Мордвиновым (май — июль 1781 года); А. П. Ермолов находился «в случае» значительно дольше — с февраля 1783 по июнь 1786 года. Его сменил граф А. М. Дмитриев-Мамонов (июль 1786 — ноябрь 1789 года). Князь П. А. Зубов был последним фаворитом императрицы — с июля 1789 по ноябрь 1796 года. Кроме того, упоминаются в конце 1779-го и начале 1780 года Ранцов, Станов (?) и какой-то армянский купец. К этому списку Я. Л. Барсков, изучавший вопрос в 1920-х годах, добавил еще две фамилии — Милорадовича и Миклашевского.

Случайных, кратковременных связей, не зарегистрированных источниками, у императрицы, видимо, было немало. Основанием для подобного суждения можно считать семейное предание о происхождении фамилии Тепловых. Однажды Григорий Николаевич, родоначальник Тепловых, будучи истопником, принес дрова, когда императрица лежала в постели.

«Мне зябко», — пожаловалась она истопнику. Тот успокоил, заявив, что скоро станет тепло, и затопил печь. Екатерина продолжала жаловаться, что ей зябко. Наконец робкий истопник принялся лично обогревать зябнувшую императрицу. С тех пор он и получил фамилию Теплов.

Сколько в этой истории истины и сколько вымысла — сказать трудно, но общеизвестно, что Екатерина не пренебрегала случайными связями, и Марья Саввишна Перекусихина выполняла у нее обязанности «пробовальщицы», определявшей пригодность претендента находиться в постели императрицы.

Таким образом, императрица имела за 34 года царствования двадцать одного учтенного фаворита. Если к ним приплюсовать двух фаворитов великой княгини Екатерины Алексеевны, то в

итоге получится 23 фаворита.

Самая длительная связь была у нее с Г. Г. Орловым, сближение с которым произошло еще до восшествия Екатерины на престол. Уже тогда, по свидетельству французского дипломата М. Д. Корберона, Орлов «поклялся своей возлюбленной, что возведет ее на престол, и начал вербовать ей приверженцев». Корберон не преувеличивал значение Г. Орлова и его братьев в предоставлении Екатерине II трона — они действительно являлись главными исполнителями плана заговорщиков. Императрица в благодарность решила сочетаться с фаворитом законным браком. «Уже был определен его штат, состоящий из хранителей, пажей и камергеров». Но усилиями Панина и Воронцова, воспротивившихся этому намерению, императрице пришлось отказаться от него.

Согласно интимному дневнику того же Корберона Орлов грубо обходился с императрицей и даже не раз бивал ее[377].

Современники оставили о Г. Орлове самые противоречивые сведения. Князь М. М. Щербатов, отрицательно отзывавшийся обо всех фаворитах императрицы, для Орлова сделал исключение. До вхождения в «случай» он слыл забиякой, картежником, кулачным бойцом и участником шумных забав, но став фаворитом императрицы, остепенился и, несмотря на отсутствие талантов государственного деятеля, заслужил похвалу за некоторые добродетельные черты характера: обретя влияние на императрицу, он никому не мстил, отгонял от нее льстецов, разыскивал достойных сотрудников, которых считал возможным возвышать по заслугам, сообщал ей горькую правду. Похвал Щербатова Орлов заслужил и за воздержание от роскоши: его дом даже после того, как он стал князем, был обставлен скромной мебелью. «Но, — продолжал Щербатов, — все его хорошие качества были затмены его любострастием». Распутство его выражалось в сожительстве почти со всеми фрейлинами и в растлении своей тринадцатилетней двоюродной сестры Екатерины Загряжской; хотя он и женился на ней после отставки, «но не прикрыл тем порок свой».

Сведения Щербатова о распутном образе жизни Орлова перекликаются с отзывом французского посланника Дюрана: «Природа сделала его не более как русским мужиком, таким он и остался до конца. Он развлекается всяким вздором; душа у него такова же, каковы у него вкусы. Любви он отдается так же, как еде, и одинаково удовлетворяется как калмычкой или финкой, так и самой хорошенькой придворной дамой. Это прямо бурлак»[378].

Английские дипломаты относились к фавориту в общем

доброжелательно. Так, граф Бекингем доносил в Лондон в 1763 году: «Наружность графа Орлова чрезвычайно замечательна». Хотя его положение при дворе, по мнению английского посла, укреплялось с каждым днем, но из его же депеши, чуть раньше отправленной, явствует, «что он не вмешивается в дела государственные, однако его императорскому величеству приятно всякое внимание, ему оказываемое»[379]. Схожий отзыв находим в донесении другого английского посла, лорда Каскарта, относящемся к 1768 году: «Граф Орлов роста гораздо выше обыкновенного, манеры его ловки и изящны, а наружность его выражает скромность и доброту». По словам того же лорда, высказанным год спустя, Орлов «употреблял большие усилия для своего образования с тем, чтобы иметь возможность в различных частях правления приносить пользу императрице и отечеству». Способности фаворита Каскарт тоже оценивал достаточно высоко: «императрица соображает весьма быстро, граф Орлов медленнее, однако весьма способен правильно обсудить отдельные предложения, хотя не может связать несколько различных мнений».

Благожелательное отношение английских дипломатов к Орлову, видимо, объяснялось услугами, оказанными им фаворитом. Лорд Каскарт в 1770 году доносил, что «граф Орлов при всяком удобном случае оказывает мне совершенно особую и радушную внимательность». В другом донесении он называл Орлова «горячим сторонником Англии». Сменивший Каскарта Гуннинг связывал падение Орлова с нанесением ущерба английским интересам в России: «Я имею полное основание считать немилость графа Орлова большой потерей для нас».

Как бы ни относились английские дипломаты к фавориту, от их внимания все же не ускользнула его ограниченность. Так, Орлов, будучи членом учрежденного Екатериной в 1768 году в связи с русско-турецкой войной Императорского совета, мог обнаружить способности к государственным делам, но их не проявил. Фаворит присутствовал на заседаниях совета, высказывал мнения по поводу обсуждавшихся вопросов, но не личные, а императрицы, от которой получал соответствующие наставления. Так во всяком случае оценивал роль Орлова в Императорском совете Гуннинг. Граф Н. И. Панин тоже придерживался невысокого мнения об участии Орлова в работе Императорского совета. Если Гуннинг считал его рупором императрицы, то Панин, делясь своим мнением с прусским послом Сольмсом, многократно подчеркивал, что присутствие Орлова в совете вредно, ибо он часто, высказывая свои личные мнения, ставил в затруднительное положение остальных

участников заседания, ибо они были столь же смелыми, как и нелепыми, но принуждали оспаривать их с большой осторожностью.

Гуннинг считал причиной утраты фаворитом влияния на императрицу его леность. Екатерина, доносил он в Лондон в 1772 году, «желала и намеревалась образовать его, если возможно, для занятия делами и в случае успеха доверить ему министерство иностранных дел; но совершенное отсутствие в нем трудолюбия заставило ее отказаться от этого намерения». Преодолеть леность уговаривал фаворита и его брат Алексей Орлов, но достичь этого не удалось ни ему, ни императрице, что не мешало ей высоко оценивать его добродетели.

Так, в 1763 году она писала послу России в Речи Посполитой Кейзерлингу: «Еще раз рекомендую вам этого молодого человека; он пошел в род свой, с которым благодарность связывает меня по гроб»[380]. Более трезвый отзыв императрицы о фаворите относится к 1775 году, когда Орлов уже пребывал в отставке. Подруге своей матери Бьельке она писала: «Если когда-нибудь вам придется встретить его, вы увидите бесспорно самого красивого мужчину из всех тех, которых удавалось вам видеть в жизни». Далее Екатерина наградила фаворита свойствами, из которых он обладал далеко не всеми. Она писала, что «природа наделила его всем как со стороны внешности, так и со стороны сердца и ума. Это — баловень природы, который, получив все без труда, сделался ленивцем». «Орлов большой лентяй», — писала Екатерина Жоффрен в 1766 году.

Императрица права относительности внешности, сердечности и лени Орлова, но вот ума современники у него не обнаруживали. Хитрово, в 1763 году осуждавший намерение Екатерины обвенчаться с Григорием Орловым, считал среди братьев Орловых самым умным Алексея, а Григорий представлялся ему человеком глупым.

О заурядности Г. Г. Орлова — правда, уже после его отставки — писал и шевалье де Корберон: «Из друзей императрицы, быть может, один только Орлов имел силу давать ей смелые и достойные уважения советы; но будучи увлечен свойственным рабству эгоизмом, он кончил тем, что стал жить только для себя. Притом, не имея никаких познаний в управлении, он остался в свойственном его родине состоянии невежества и стал совершенно бесполезным государству».

В другой характеристике, оставленной Корбероном после того, как Орлов услужил секретарю, негативные качества фаворита несколько смягчены: «Это человек откровенный, прямой и честный; твердость никогда не покидала его; у него

решительный характер. Если бы с этими качествами он соединил в себе государственные познания и умел держать себя как нужно в его положении, из него вышел бы великий министр России»[381].

Надо, однако, отметить заблуждение автора дневника, считавшего, что Григорий Орлов оказался в фаворитах великой княгини потому, что она, претендуя на трон, обнаружила в нем свойства государственного деятеля, но этот деятель обманул ее ожидания и, оставаясь в состоянии невежества, оказался «совершенно бесполезным государству». Мы множество раз убедились, что полезность государству не относилась к первостепенной важности критериям подбора фаворитов.

У Орлова было множество возможностей проявить себя в качестве государственного деятеля и «застолбить» свое имя в истории страны. Он мог, например, прославиться на дипломатическом поприще — в 1772 году Екатерина назначила его руководителем делегации, отправлявшейся в Фокшаны для мирных переговоров с Османской империей. Легкомыслие, однако, лишило фаворита этой возможности — ему стало известно, что императрица подыскивает преемника в фаворе, и он, бросив конгресс, помчался в Петербург.

Реальных успехов Г. Орлов достиг лишь однажды, в 1771 году, когда в Москве вспыхнул чумной бунт. Орлов сам вызвался отправиться в Белокаменную и быстро навел там порядок, проявив немалое личное мужество: он учредил вокруг Москвы крепкие заставы и, пренебрегая опасностью, появлялся в местах скопления народа — в церквах, на рынках.

Тревога Екатерины за судьбу фаворита выразилась в ее письме к нему от 3 декабря-1771 года, в котором она предложила ему выехать из Москвы в новую столицу «не мешкав дале» в придворной карете, которую она для этой цели отправила в Москву.

Напомним, императрица сохранила высокое мнение о Г. Г. Орлове и после его смерти. В письме к доктору И. Г. Циммерману, написанном в 1785 году, она называла его «единственным в своем роде поистине великим человеком, так плохо понятым современниками таким, каким он был. Мы с вами всегда будем сожалеть о нем. Его храбрость, его геройские доблести имели прекрасный случай высказываться в их истинном свете при двух обстоятельствах. Последним была чума в Москве». Однако названных Екатериной достоинств Орлова совершенно недостаточно, чтобы возвести его в ранг «великого человека». Остается предположить, что высокая оценка фаворита императрицей связана с его продолжительным пребыванием в этом качестве — признание его заурядности нанесло бы урон

престижу императрицы, 12 лет делившей ложе с человеком, лишенным достоинств.

В «Чистосердечной исповеди» Екатерина писала, что Орлов лишился ее «доверки» перед отъездом на фокшанский конгресс, когда ей кто-то раскрыл глаза на его распутство.

Версию Екатерины подтверждает и граф Сольмс, доносивший Фридриху II: «Уменьшение благосклонности к графу Орлову началось незаметно со времени его отъезда на конгресс. Императрица, размыслив о холодности, оказываемой им к ее особе в течение последних лет, о той поспешности, лично ее оскорбляющей, с которой он недавно уехал отсюда… наконец, открыв многие случаи неверности, по поводу которых он вовсе не стеснялся — ввиду всех этих обстоятельств, взятых вместе, императрица сочла его за человека недостойного ее милости». О том, что распутство фаворита было известно Екатерине и она терпеливо сносила его, свидетельствует и князь М. М. Щербатов[382].

Думается, разрыв назрел приблизительно за год до конгресса. Если бы было так, как писала императрица, то она вряд ли отправила бы фаворита в рискованную поездку в Москву, где свирепствовала чума. Вряд ли бы она отпустила его и в Фокшаны, где переговоры могли затянуться не только на недели, но и на месяцы.

Орлов спешил в столицу к возлюбленной, но в нескольких десятках километров от Петербурга курьер вручил ему письмо Екатерины с повелением выдержать карантин. «Я, — писала императрица, — предлагаю вам избрать для временного пребывания ваш гатчинский дворец».

Расставание с Орловым протекало мучительно и долго. Причин нерешительности, обычно не свойственной Екатерине, было несколько. Во-первых, Екатерина была многим обязана фавориту и порывать с ним в одночасье было затруднительно, равнозначно неблагодарности. В письме к И. Г. Орлову, извещавшем об отставке фаворита, она заявила: «С моей же стороны я никогда не позабуду, сколько я всему роду вашему обязана». Во-вторых, двенадцать лет фавора не остались без следа, и императрица должна была преодолеть психологический барьер; наконец, в-третьих, колебания были связаны с крайне неудачным выбором нового фаворита. На Васильчикова жребий пал как бы впопыхах, сгоряча, в отместку за неверность Орлова.

Неуверенные действия императрицы приметили английские дипломаты, пристально наблюдавшие за судьбой своего покровителя Орлова. Они извещали Лондон, что Григорию Григорьевичу предложили сохранить за ним все занимаемые

должности и выдавать ему 100 тысяч рублей жалованья при условии, что он не станет выполнять должностных обязанностей и не будет жить ни в Петербурге, ни в Москве. Продолжительный торг закончился согласием Орлова отбыть на год за границу.

Летом 1773 года у Орлова блеснула надежда восстановить свое положение. Он стал часто появляться при дворе, императрица будто бы встречала его ласково, но с полным равнодушием. Отставной фаворит воспрянул духом, получив от Екатерины письмецо, заканчивавшееся словами «непременно и искренне любящий вас друг». В феврале 1774 года Гуннинг доносил: «Сила и влияние князя Орлова в настоящую минуту вполне восстановлены».

Но восстановление фавора не состоялось. Императрица откупилась от Орлова щедрыми подарками. Он и брат его Алексей не только сохранили ранее пожалованные поместья, но и получили сверх того еще 10 тысяч душ. Кроме этого, Григорию был определен пенсион в 150 тысяч рублей в год. Ему же были обещаны 100 тысяч рублей на достройку дома, пожалован великолепный столовый сервиз французской работы из серебра, а также разрешалось в течение года пользоваться царским винным погребом и придворными экипажами.

Признательность Г. Г. Орлову Екатерина сохранила до конца дней его и своих. О признаках умопомешательства Орлова императрица извещала Гримма в ноябре 1782 года. «Он кроток и тих, но слаб и мысли у него не вяжутся». Бывший фаворит скончался в следующем году. Извещая об этом событии Гримма, императрица повторила высокую оценку Орлова, которой она делилась с Бьельке много лет назад: «Я жестоко страдаю с той минуты, как пришло это роковое известие, только работа развлекает меня». В письме можно прочесть такие слова: «Гений князя Орлова был очень обширен; его мужество было верхом мужества». Впрочем, императрица обнаружила в покойном два недостатка: «Ему не доставало последовательности в том, что ему казалось не стоящим внимания». Второй недостаток — «он был ленив». Императрица не забывала об услугах, оказанных им: «В нем я теряю друга и общественного человека, которому я бесконечно обязана и который оказал мне самые существенные услуги»[383].

В записке, не предназначенной для постороннего глаза, Екатерина еще раз подтвердила высокое мнение о Г. Орлове: «…Я никогда не видела человека, который бы в таком совершенстве овладевал всяким делом, которое он предпринимал… хорошее все и дурное все в этом деле приходит ему сразу на ум… Жаль, что воспитание не помогло его талантам и качествам, которые

действительно превосходны, но которые благодаря небрежности остаются необработанными…»

Итоговую характеристику Г. Г. Орлова мы считаем справедливым завершить лаконичным в то же время деликатно выраженным отзывом Д. Дидро: «Граф Орлов, любовник ее (Екатерины. — Н. П.), статный, веселый и развязный малый, любивший вино и охоту, цинический, развратник, совершенно чуждый государственным делам…»

Жизненный путь Орлова завершился трагедией — он скончался в 1783 году от помешательства, признаки которого появились лет за десять до смерти.

Следующий фаворит — Александр Семенович Васильчиков — принадлежит к числу самых незадачливых лиц, оказавшихся «в случае». Получив доступ в покои императрицы, конной гвардии поручик Васильчиков вскоре был пожалован званием действительного камергера и орденом Александра Невского.

Екатерина, как правило, высоко оценивала способности своих фаворитов. Васильчиков составил исключение. Потемкину она писала: «…а я с дураком пальцы обожгла и к тому же я жестоко опасалась, что привычка к нему не зделала мне из двух одно: или на век бесщастна, или же не укратила мой век». В другом письме императрица конкретизировала непривлекательные свойства Васильчикова: «Мне от него душно, а у него грут часто болить, а там куда не будь можно определить, где дела мало, посланником. Скучен и душен».

Оценку, данную Екатериной Васильчикову, подтверждают отзывы современников. Гуннинг в депеше от 4 марта 1774 года доносил: «Г. Васильчиков, любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни, теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы владеть тем и другим (Г. А. Потемкиным. — Н. П.)». Даже такой блюститель нравственности, как князь Щербатов, отметил безликость Васильчикова: он «ни худа ни добра не сделал»[384].

Граф Сольмс доносил Фридриху II: «Поручик конногвардеец Васильчиков, которого случай привел этой весной в Царское Село, где он должен был командовать маленьким отрядом, содержавшим караул во время пребывания там двора, обратил на себя внимание своей государыни; предвидеть этого никак не мог, так как это человек наружности не представительной, никогда не искал быть замеченным и мало известен в свете».

Екатерина и на сей раз откупилась от фаворита щедрыми подарками: он получил 50 тысяч рублей, серебряный сервиз на 24 персоны, белье к столу, поваренную посуду, дом на Миллионной;

при этом она велела Елагину «поспешить указами об деревне, доме, деньгах и сервизе». Радостью, связанной с избавлением от Васильчикова, императрица поделилась и с Гриммом[385].

Скорбевшего грудью Васильчикова сменил «богатырь», как называла Екатерина Григория Александровича Потемкина. Этот единственный фаворит, ставший государственным деятелем, пользовался безграничным доверием императрицы до конца дней своих. Историк М. Ковалевский заметил: «Он самый прочный фаворит самой непостоянной из женщин». Это замечание нуждается в уточнении: в роли фаворита Потемкин выступал всего два года. В последующие годы он прославился в другом качестве — стал вельможей, соратником императрицы. Здесь мы остановимся на альковном, продолжавшемся два года, периоде жизни Потемкина, а о его государственной деятельности расскажем в следующей главе.

Этот голубоглазый гигант, родившийся на Смоленщине, отличался странными чертами характера: он учился в университетской гимназии, проявил блестящие способности, затем забросил обучение, решив посвятить свою жизнь служению Богу, и, наконец, пришел к выводу, что его призвание — военная служба.

Екатерина обратила на него внимание еще в бурные дни переворота в июле 1762 года. С тех пор она пристально следила за карьерой красавца и оказывала ему покровительство, в частности назначила обер-прокурором Синода. Вероятно, и Потемкин интуитивно чувствовал интерес к своей персоне и изредка напоминал императрице о своем существовании.

Во время первой русско-турецкой войны, в 1769 году, Потемкин обратился к Екатерине с прошением, в котором писал, что благодарность императрицы за ее покровительство «тогда только объявится в своей силе, когда мне для славы вашего величества удастся кровь пролить». Он заверял Екатерину, что «ревностная служба к своему государю и пренебрежение жизни бывают лучшими способами в получении успехов». Верноподданническое послание Потемкина оставило еще одну зарубку в памяти императрицы — он напомнил о своем существовании и готовности ради ее славы и благополучия пожертвовать жизнью.

Просьбу Потемкина Екатерина удовлетворила, и он, в чине генерал-майора, участвовал в штурме Хотина, а в следующем 1770 году — в сражении при Фокшанах. Императрица запросила мнение о Потемкине у главнокомандующего Румянцева. Тот лестно аттестовал храброго генерала, что дало основание Екатерине благосклонно встретить Потемкина в Петербурге, куда

он прибыл в 1770 году. В последующие годы Потемкин участвовал в военных операциях, пока, наконец, не получил от императрицы долгожданное письмо, круто изменившее всю его последующую жизнь.

В письме от 4 декабря 1773 года Екатерина выразила желание «ревностных храбрых и умных людей сохранить» и рекомендовала генерал-аншефу «не вдаваться в опасности». Послание императрица закончила интригующим пассажем. Сначала она задала риторический вопрос: «К чему оно (письмо. — Н. П.) писано?» И тут же дала обнадеживающий корреспондента ответ: «На сие вам имею ответствовать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мысли об вас, ибо я всегда к вам доброжелательна была».

На крыльях радужных надежд, предчувствуя близость осуществления своих самых дерзких мечтаний, Потемкин в январе 1774 года прибыл в Петербург. Он имел аудиенцию у императрицы, после чего в марте получил вожделенный чин генерал-адъютанта. Наступило время очередного фаворита.

В письмах к Гримму императрица не нарадуется новым фаворитом, называет его «самым смешным, забавным и оригинальным человеком, забавным, как дьявол». В отличие от прежних — ленивого Григория Орлова и недалекого Васильчикова — Потемкин, отличавшийся умом, неуемной энергией, способностью все схватывать на лету, быстро приобрел влияние при дворе. Его способности обнаружила не только императрица, привыкшая без всяких на то оснований без удержу хвалить всех своих фаворитов, за исключением Васильчикова. На этот раз государыня не ошиблась, как не ошиблись и наблюдательные дипломаты, быстро обнаружившие в Потемкине даровитого человека. Сольмс доносил в Берлин 15 марта 1774 года: «По-видимому, Потемкин сумеет извлечь пользу из расположения к нему императрицы и сделается самым влиятельным лицом в России». Далее Сольмс пишет о преимуществах Потемкина над Орловым: «Потемкин никогда не жил между народом, а потому не будет искать в нем друзей для себя и не будет бражничать с солдатами». Среди иностранцев в этой связи ходил анекдот: Потемкин подымался по дворцовой лестнице, а Г. Орлов спускался по ней вниз. «Что нового при дворе?» — спросил Потемкин. Орлов холодно ответил: «Ничего, только вы подымаетесь, а я иду вниз».

Английский дипломат Гуннинг тоже предрекал новому фавориту блистательное будущее. 4 марта 1774 года он доносил в Лондон: «Васильчиков заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы обрести влияние на дела и доверие

государыни. Это — Потемкин, прибывший сюда с месяц тому назад из армии, где он находился во все время продолжения войны и где, как я слышал, его терпеть не могли… Он громадного роста, непропорционального сложения и в наружности его нет ничего привлекательного. Судя по тому, что я об нем слышал, он, кажется, знаток человеческой природы и обладает большей проницательностью, чем вообще выпадает на долю его соотечественников, при такой же как у них ловкости для ведения интриг и гибкости, необходимой в его положении, и хотя распущенность его нрава известна, тем не менее он единственное лицо, имеющее сношение с духовенством».

Прошло чуть больше месяца, и в конце апреля тот же Гуннинг, не переставший следить за возвышением Потемкина, писал о его выросшем влиянии: «Весь образ действия Потемкина доказывает совершенную уверенность в прочности его положения. Он приобрел сравнительно со всеми своими предшественниками гораздо большую степень власти и не пропускает никакого случая объявить это. Недавно он собственной властью и вопреки Сенату распорядился винными откупами невыгодным для казны образом». О возросшем его влиянии свидетельствует также его назначение на правительственные должности. В июне он стал вице-президентом Военной коллегии, что вызвало крайнее раздражение президента Захара Чернышова. Гуннинг по этому поводу размышлял: «Принимая в соображение характер человека, которого императрица так возвышает и в чьи руки она, как кажется, намеревается передать бразды правления, можно опасаться, что она сама для себя изготовит цепи, от которых ей впоследствии нелегко будет освободиться».

Наряду с восторженными оценками у Гуннинга встречаются и негативные высказывания в адрес фаворита, видимо, навеянные каким-либо неосторожным или пренебрежительным его поступком. Так, 12 апреля Гуннинг доносил: «Насколько я могу судить на основании немногих случаев, встретившихся мне для разговора с ним, мне кажется, что он не обладает теми качествами и способностями, которые обыкновенно приписывались ему, но, напротив того, проявляет большое легкомыслие и пристрастие к самым пустым развлечениям». Все же думается, что этот отзыв о легкомыслии Григория Александровича, так удивившем дипломата, являлся плодом недостаточного знакомства с характером и поведением Потемкина, с его способностью перевоплощаться и переходить от инфантильности к серьезным делам. Некоторые свойства натуры, подмеченные его племянником, выступившим биографом своего знаменитого дяди, объясняют, почему у Потемкина было много

врагов, трепетавших перед ним и боявшихся его, но терпеливо ожидавших случая, чтобы если не свалить его, то по крайней мере обуздать его дерзость. А. Н. Самойлов писал, что Потемкин «не мог преодолеть врожденной своей пылкости», в характере его не доставало умеренности, «без коей при дворе трудно существовать». Он позволял себе осмеивать «тех, кои заслуживали порицания»[386].

14 июля 1774 года Екатерина писала Гримму о медовом месяце с новым фаворитом Потемкиным: «Я отделалась от некоего превосходного, но весьма скучного гражданина, которого немедленно, и сама точно не знаю как, заменил величайший, забавнейший и приятнейший чудак, какого только можно встретить в нынешнем железном веке». В письме к Гримму от 3 августа императрица не переставала восхищаться новым фаворитом: «Ах, что за светлая голова у этого человека!.. И при всей своей должности он чертовски забавен». В еще одном письме императрица отмечала бескорыстие Потемкина. Он воевал шесть лет «с большой пользою для отечества, но себе богатства не нажил, потому всегда свою долю отдавал солдатам».

Императрица, как известно, многократно называла Потемкина своим учеником. Надо полагать, что два года пребывания при дворе и были той школой, в которой талантливый и прилежный ученик постигал азы мудрости государственного мужа, набирался опыта и учился радеть о нуждах громадной империи.

К значительным деяниям Потемкина на государственном поприще следует отнести его совет Екатерине отказаться от мелочной опеки над П. А. Румянцевым, командовавшим русской армией на юге и предоставить ему право самостоятельно принимать решения, что несомненно способствовало раскрытию его полководческого дарования. Потемкин оставил следы своего участия в заседаниях Государственного совета, членом которого он был, и высказывал собственные мнения при обсуждении вопросов, касавшихся как внутренней, так и внешней политики, давал советы императрице в связи с ликвидацией последствий пугачевского движения. Его влиянию приписывают решение Екатерины ликвидировать Запорожскую Сечь.

Надо полагать, Потемкин полностью удовлетворял Екатерину и как фаворит, и как ученик. Об этом свидетельствуют награды и пожалования, дождем полившиеся на фаворита. В 1775 году, в день торжеств по случаю заключения Кючук-Кайнарджийского мира, он был возведен в графское достоинство, ему были пожалованы осыпанная алмазами золотая шпага и орден Святого Андрея, он получил в награду 100 тысяч рублей. За два года

Екатерина украсила грудь фаворита не только всеми отечественными орденами, но и многими иностранными: у Фридриха II она исхлопотала для фаворита орден Черного Орла, у датского короля — орден Слона, у шведского — Орден Серафима, у польского — ордена Белого Орла и Святого Станислава. Потемкину хотелось также получить ордена Золотого Руна, Святого Духа и Голубой Подвязки, но в этом в Вене, Версале и Лондоне Екатерине отказали под тем предлогом, что первыми двумя орденами не награждались лица иного вероисповедания, а орден Подвязки даже соотечественникам выдавался в редких случаях. Наконец в марте 1776 года императрица исхлопотала Потемкину у Иосифа II княжеское достоинство Священной Римской империи. Отныне Григорий Александрович стал величаться светлейшим.

Потемкин будто бы был тайно обвенчан с императрицей. Мысль об этом была высказана давно, но имела форму догадки. И лишь после опубликования писем императрицы к Потемкину, как представляется, догадки обрели статус бесспорного факта, ибо подтверждены самой императрицей, называвшей Григория Александровича «муженком дарагим», «дорогим супругом», «нежным мужем».

Потемкин заслуживает того, чтобы на его «случае» остановиться подробнее. Во-первых, потому, что его кратковременное пребывание при дворе оставило неизгладимый след как в жизни императрицы, так и в истории страны. Во-вторых, потому, что историки располагают таким бесценным источником, как переписка императрицы с любовником, точнее, ее к нему письмами и записочками: письма Потемкина к Екатерине практически не сохранились, ибо императрица предавала их огню. Тем не менее даже письма Екатерины без ответных посланий возлюбленного позволяют проследить перипетии их отношений от задушевных и нежных до холодных и полуофициальных, лишенных щедро расточаемых ласковых слов и клятв в верности, которыми так богаты письма и записочки императрицы 1774–1775 годов.

У обоих корреспондентов были общие черты: они обладали сильными характерами, недюжинным честолюбием, обоюдным желанием подчинить другого своей воле. Но были и существенные различия, оказывавшие огромное влияние на отношения между ними. Императрица предстает темпераментной, но уравновешенной и рассудительной женщиной. Ее признание, что она «не хочет быть ни на час охотно без любви», не делало ее рабой любви. Обладая огромной выдержкой, она, конечно же, возводила на себя напраслину, когда

писала, что глупела от любви или заявляла: «Стыдно, дурно, грех Екатерине Второй давать властвовать над собой безумной страсти». В другом письме: «…как это дурно любить чрезвычайно». На ее возлюбленном, напротив, лежала печать человека неуравновешенного, со взрывным характером, с непредсказуемыми поступками в минуты гнева, которому он часто поддавался. Вспышки гнева у Григория Александровича чередовались с состоянием угнетенности и апатии, сменявшимися приливами бешеной энергии.

Указанные черты характера обусловили постоянную напряженность в отношениях между возлюбленными. Периоды нежности сменялись кратковременными размолвками и даже более или менее продолжительными ссорами, последние столь же внезапно оборачивались горячими клятвами в любви и преданности. Интимные письма и записочки императрицы второй половины 1774 года дают основание считать, что императрица исчерпала весь словарный запас ласковых слов. Ее изобретательность беспредельна: «Гришенька не милой, потому что милой», «Милая милюшечка, Гришенька», «Милая милюша», «Миленький милюшечка», «Миленький голубчик», «Миленький, душа моя, любименький мой», «Милуша», «Сердце мое», «Душа моя», «Сударушка милая», «Гришенок», «Милинкой голубчик и безценной Дружечик», «Мой бутон».

В июне 1774 года в письмах сорокапятилетней Екатерины впервые встречается слово «муж». Обычно им заканчивались послания императрицы: «муж дорогой», «нежный муж», «дорогой супруг», «мой дорогой друг и супруг», «остаюсь вам верной женой», «мой дражайший супруг», «муж родной». Некоторые письма заканчивались иными словами, выражавшими ее недовольство. Но здесь перед нами не обычная ругань, не стремление дать обидную и унизительную кличку, как это может показаться на первый взгляд, а та же нежность с оттенком недовольства, отраженного нарочито грубыми словами.

Одно из мартовских писем 1774 года заканчивается словами: «Дурак Яур». Самый пространный набор кличек содержит послание, относящееся, видимо, ко второй половине 1775 года: «Гяур, москов, козак яицкий, Пугачев, индейский петух, павлин, кот заморский, фазан золотой, лев в тростнике».

Клятвенных заверений в нерушимой верности в письмах и записочках столь много, что они вызывают некоторое подозрение относительно истинности и постоянства чувств — скорее всего некоторая часть клятв навеяна упреками фаворита в утрате либо ослаблении интереса к «милому милюшечке Гришеньке», в ожидании охлаждения или измены. Опасения на этот счет

подтверждает одно из писем императрицы в апреле 1774 года, в котором она усиленно стремилась развеять подозрения ревнивца: «Признаться надобно, что и в самом твоем опасеньи тебе причины никакой нету. Равного тебе нету».

Приведем лишь малую толику заверений императрицы: «Я тебя более люблю, нежели ты меня любишь»; «Я вас чрезвычайно люблю»; «Гришенок бесценный, беспримерной и милейший в свете, я тебя чрезвычайно и без памяти люблю, целую и обнимаю душою и телом, муж дорогой»; «Я тебя люблю сердцем, умом, душою и телом… и вечно любить буду»; «Милая душа, верь, что я тебя люблю до бесконечности», «Милая душа, знай, что тебя нет милей на свете» и т. д.

Многие записочки императрицы отражают ее чувственную любовь, горячее желание встретиться с любимым: «Я тебя жду в спальне, душа моя, желаю жадно тебя видеть»; «Сударынька, могу ли прийти к тебе и когда»; «Гришенька, друг мой, когда захочешь, чтоб я пришла, пришли сказать»; «Я умираю от скуки, когда я вас снова увижу».

Если бы историки располагали только письмами Екатерины к Потемкину, то у них были бы веские основания высоко оценить нравственные качества императрицы, поверить ее клятвенным обещаниям блюсти верность, вечную любовь и т. д. Но в том-то и дело, что аналогичные заверения и клятвы можно обнаружить в письмах к новому фавориту, сменившему Потемкина, — П. В. Завадовскому: «Я тебя люблю всей душой», «право я тебя не обманываю», «обещаю тебе охотно, пока жива, с тобою не разлучаться» и т. д.

Из писем императрицы явствует, что между влюбленными часто случались размолвки, причем инициатором их выступал Потемкин, а миротворцем — императрица, пытавшаяся погасить вспышки гнева, убедить своего любовника в неосновательности подозрений. Причем чем ближе к 1776 году, тем меньше императрица использует примирительные слова, уговоры заменяются выговорами, появляется раздражительность: «Я не сердита и прошу вас также не гневаться и не грустить»; «Я, душенька, буду уступчива, и ты, душа моя, будь также снисходителен, красавец умненький»; «Я не зла и на тебя не сердита… Мучить тебя я не намерена»; «Мир, друг мой, я протягиваю вам руку»; «Душу в душу жить готова». Среди суждений на эту тему есть и такое: «Мы ссоримся о власти, а не о любви». Приведенные слова дают основания полагать, что Потемкин претендовал на более обширную власть, чем та, которую ему соглашалась уступить императрица. Некоторые строки писем императрицы дают основание полагать, что она

постигла характер супруга и знала истоки его раздражительности: «Холодности не заслуживаю, а приписываю ее моей злодейке проклятой хандре». В другом письме: «И ведомо, пора жить душа в душу. Не мучь меня несносным обхождением, не увидишь холодность». И далее угроза: «Платить же ласкою за грубость не буду».

Екатерина не без основания считала, что напряженность, создаваемая Потемкиным в их отношениях, является нормальным его состоянием. Она писала: «Спокойствие есть для тебя чрезвычайное и несносное положение». В другой раз императрица заклинала: «Я хочу ласки, да и ласки нежной, самой лучей. А холодность глупая с глупой хандрой ничего не произведут, кроме гнева и досады».

В цитированных письмах от февраля-марта 1776 года уже нет ни прежней теплоты, ни бесконечных клятв в верности, ни нежных обращений.

Первое, что приходит в голову, когда читаешь письма императрицы, так это вывод о том, что не она, а Потемкин являлся виновником назревавшего разрыва интимных отношений. Екатерина же выступала кроткой женщиной, ничего так не желавшей, как спокойствия, снисходительности к недостаткам друг друга. Много позже после разрыва Екатерина жаловалась Гримму: «О, как он меня мучил, как я его бранила, как на него сердилась». Но этой версии противоречит письмо Потемкина Екатерине от июня 1776 года, когда кризис завершился формальной отставкой одного фаворита и заменой его другим: «Я для вас хотя в огонь, но не отрекусь. Но, ежели, наконец, мне определено быть от вас изгнану, то пусть это будет не на большой публике. Не замешкаю я удалиться, хотя мне сил и наравне с жизнью». Из письма следует, что Потемкин «изгнан» императрицей и что не он, а она являлась виновницей разрыва.

Кого же следует считать виновником конфликта и прекращения фавора? Если руководствоваться письмами Екатерины с многочисленными ее упреками в адрес супруга и единственным письмом Потемкина, опровергавшего версию императрицы, то ответ может быть однозначным: конечно же, виноват вздорный, неуравновешенный и непредсказуемый в своем поведении Григорий Александрович, а не кроткая Екатерина, у которой иссякло терпение переносить его оскорбления.

Думается, что разрыв вполне устраивал обе стороны. Медики полагают, что Екатерина страдала нимфоманией (нарушением гормонального баланса, выражающегося в превалировании гормонов, усиливавших желание близости с мужчиной)[387].

Признание этого факта, правда, косвенное, находим у придворного врача, Мельхиора Адама Вейкарта, заметившего: «Жениться на ней потребовало бы чрезвычайной смелости». Свидетельство самой императрицы тоже подтверждает диагноз. В декабре 1775 года она писала Потемкину: «Я твоей ласкою чрезвычайно довольна… моя бездонная чувствительность сама собою уймется».

Однако бездонная чувствительность все никак не унималась, и Потемкину, человеку, несомненно, неординарному, честолюбивому и наделенному организаторскими талантами, скоро стало не с руки совершать каждодневные подвиги на ложе императрицы. Из ее записочек явствует, что он иногда уклонялся от выполнения супружеских обязанностей. Для него становилось очевидным, что в этом качестве долго протянуть невозможно, что ему предстоит уступить место новому фавориту. Именно поэтому его решение оставить двор и удалиться в глухомань — в Новороссию, наместником которой он был назначен в 1776 году, — имело основание, ибо он усвоил, что все клятвы возлюбленной — чистой воды риторика. Мы склонны полагать, что Екатерина попросту играла в любовь, что она испытывала наслаждение не только от близости с тем или иным фаворитом, но и от своей власти над ним.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ее записочки к Потемкину и Завадовскому, следующему ее фавориту, в которых императрица расточала почти одни и те же ласки. «Гришенку» в обращениях к Завадовскому заменило другое имя: «Петруша», «Петруса», но остались и «сударушка», и «милай», и «голубчик». Много общего и в содержании писем — рука императрицы поднаторела в написании клятвенных обещаний, причем она выработала даже определенный шаблон.

Историки располагают письмами Екатерины, но у них нет писем фаворитов. Судя по ответам императрицы, оба фаворита часто выражали сомнения в ее верности. Та клялась в вечной любви и тому и другому. Потемкину она писала: «Я сама тебя очен, очен люблю», «я всякого чувства с тобою разделяю пополам», «кукла, милая, я тебя люблю чрезвычайно», «здор, душинка, несеш; я тебя люблю и буду любить вечно против воли твоей», «останся дома, милуша, и быть уверен, что я тебя очен, очен люблю», «я люблю вас всем сердцем», «после тебя можно ли кого любит; я думаю, что тебя подобного нету… я перемены всякую не люблю». Схожие клятвенные обещания встречаем и в записках и письмах к Завадовскому: «Решительно есть то, что я тебя люблю и любить буду и твердо в том пребываю, а ты скорбишь по пустому», «верь мне для своего спокойствия: право я

тебя не обманываю, я тебя люблю всею душою», «сама же тебя люблю как душу»; «любовь наша равна; обещаю тебя охотно, пока жива, с тобою не разлучатся».

В записочках выражено страстное желание встретиться, горячая признательность за ласку, тревога в связи с болезнью того и другого фаворита. Потемкину: «приди ко мне, чтоб я могла успокоить тебя бесконечной ласки моей»; «весьма мне прискорбно, милинкой, что ты недомогаеш»; «душечка, милая, выйдеш ли сегодня?»; «изволь приласкаться, твоя ласка мне и мила и приятна, и тебя за то спасибо». Завадовскому: «с нетерпеливостью ждать буду вечера, чтоб тебя видит»; «ты сердцем и душею питает мою страсть; нежность и чувствительность твоя ни с чем несравненно суть»; «любовь твоя утеха души моей» и др.

Менее ласковые записочки Екатерина писала И. Н. Корсакову, но и они не лишены нежности и клятв в верности: «Ни единая минута из мысли не выходишь»; «сие пишу во свидетельство, что в совершенном уме памятую приятные часы, кои проводили с вами»; «буде скоро не возвратишься, сбегу отселе и понесусь искать по всему городу»; «буде бы тебе можно было видеть сердце и душу мою и чистосердечную привязанность, с которой не на час к тебе расположено»[388].

И все же в содержании писем к фаворитам можно обнаружить некоторые различия. Первое из них состоит в том, что Завадовский искренне влюбился в императрицу и, вероятно, чаще, чем Потемкин, высказывал свои сомнения и подозрения относительно ее верности. Это наскучило императрице, и она дала Завадовскому отставку. А. А. Безбородко, хорошо знавший Завадовского, объяснял его отставку тем, что «его меланхолический нрав и молчаливый характер не нравились пылкой государыне, и он тихо удалился в свое имение Ляличи, где жил некоторое время в уединении, затем женился». Подлинные причины падения Завадовского крылись в другом — он, будучи приверженцем братьев Орловых, предпринял попытку подорвать у императрицы кредит доверия к Потемкину и удалить его от двора. Сам Потемкин поначалу способствовал утрате своего положения тем, что сгоряча и из ревности отпросился у Екатерины в Новгородскую губернию инспектировать войска. Ревнивец, однако, просчитался; императрица не противилась исполнению намерения, и казалось, что Потемкин дал повод торжествовать победу и Завадовскому, и его покровителям. Но возвратившийся князь все расставил по своим местам — 8 июня 1777 года Завадовский получил отставку и оказался в своем имении на Украине[389].

Другой современник, управитель дел Потемкина М. Гарновский, тоже отметил дурной характер Завадовского. «Говорят, — записал он в июле 1876 года в дневнике, — что жена раскаивается, что вышла замуж за злого, ревнивого, подозревающего и застенчивого меланхолика и мизантропа».

Императрица утешила отвергнутого любовника роскошными наградами: за год пребывания «в случае» он получил 6 тысяч душ на Украине, 2 тысячи душ в Польше, 1800 душ в русских губерниях; кроме того, 150 тысяч рублей деньгами, 80 тысяч рублей драгоценностями, 30 тысяч рублей посудой, а также пенсион в 5 тысяч рублей. Желчный М. М. Щербатов отметил слабость Завадовского к землякам — «он ввел в чины подлых малороссиян».

Екатерина все же не рассталась навсегда ни с Завадовским, ни с Потемкиным в отличие от прочих фаворитов, получивших отставку. Завадовский в 1775 году был назначен статс-секретарем императрицы. Эту должность он продолжал отправлять и после отставки с поста фаворита.

Положение же Потемкина при дворе, как явствует из записок императрицы, было настолько прочным, что остается загадкой осуществленное им намерение оставить столицу и свою возлюбленную, чтобы отправиться в захолустье управлять наместничеством. Потемкин конечно же знал, что с его отъездом императрица обретет утешение в новом фаворите, и риск остаться навсегда покинутым был настолько велик, что только крайняя необходимость вынудила его совершить этот шаг.

Анонимный автор официозной биографии Потемкина, обнародованной в 1808 году, вероятно его современник, тоже удивлялся поступку князя. «В 1776 годе, — читаем в тексте „Жизни князя…“, — князь Потемкин к общему изумлению просил у императрицы позволения отправиться на несколько времени в свое наместничество для поправления расстроенного здоровья»[390]. «Несколько времени» переросли в полтора десятилетия, проведенные светлейшим в Новороссии.

Решение князя однозначно объяснить невозможно. Скорее всего, оставляя столицу и двор, Потемкин не рассчитывал на восстановление своего прежнего положения. Отчасти он, видимо, уповал на клятвы императрицы в вечной верности, дававшие хотя и слабую, но все же надежду сохранить ее доверие и свое на нее влияние. Но более всего князь уповал на то, что в Новороссии он приобретет возможность полностью выразить себя, реализовать свои таланты государственного деятеля — ему, надо полагать, опостылела косная и однообразная жизнь двора, мелкие интриги и трата своих сил и дарований на то, чтобы ублажать

императрицу.

Потемкин приобрел новое качество, и в Новороссию ехал не отверженный фаворит и не опальный придворный, а вельможа, облеченный доверием императрицы, которого на пути следования встречали и провожали едва ли не с царскими почестями: триумфальными арками, фейерверками и торжественными обедами. Екатерина, отправляя вельможу в дальний путь, не ошиблась в нем, когда считала его верным слугой, а Потемкин не ошибся в императрице, когда рассчитывал обрести в ней покровительницу, горячо поддерживавшую все его начинания и сохранявшую при этом дружбу и привязанность, но уже не как к фавориту, а как к соратнику.

Но вернемся к любовникам императрицы.

Завадовского сменил Семен Гаврилович Зорич, серб по национальности, ослепивший всех своей красотой. В фаворе он пробыл одиннадцать месяцев. Этот гусар, адъютант Потемкина, стал флигель-адъютантом императрицы. Он отличался остроумием, неиссякаемой веселостью и добродушием, но явно переоценил свои возможности: будучи рекомендован Екатерине Потемкиным, он осмелился перечить ему, поссорился со светлейшим и даже вызвал его на дуэль. Потемкин вызова не принял и настоял на отставке фаворита, впрочем, щедро награжденного, как и его предшественники. Зорич получил город Шклов, где завел свой двор и основал на свои средства кадетский корпус.

Кроме Шклова ему было выдано 500 тысяч рублей, из коих 120 тысяч предназначались для уплаты долгов; на 120 тысяч рублей куплены поместья в Лифляндии и на 200 тысяч рублей — бриллианты. Щербатов порицал его: «Зорич ввел в обычай непомерно великую игру».

Современники нарисовали любопытный портрет Зорича, расходящийся с изложенными выше сведениями о нем: «Он был приятного вида при посредственном воспитании и способностях ума, однако ж ловок, расторопен, любил богато одеваться», играл в карты на крупные суммы. Пристроил его к императрице якобы не Потемкин, а Г. Орлов, решивший этим отомстить своему недругу.

Говорили, будто Зорич спустил все свои богатства за карточным столом. С. А. Тучков не подтверждает этих сведений. Не отрицая, что Зорич был картежником, Тучков считал причиной его разорения нерасчетливую благотворительность: в Шклове он учредил кадетский корпус на 400 человек из небогатых дворян, выстроил для него огромное здание, выпускникам давал от себя мундир, офицерский экипаж, деньги на проезд к месту службы и

100 рублей на расходы. Он добился того, что его корпусу было присвоено звание учебного заведения; корпус выпускал хорошо подготовленных офицеров, которых отправляли служить в армию.

Кроме кадетского корпуса Зорич прославился еще некоторыми благотворительными акциями: устроил бесплатную больницу, театр, помогал многочисленным родственникам, держал открытый стол.

Сменивший Зорича Иван Николаевич Корсаков тоже пользовался фавором недолго, причем по собственной оплошности: по свидетельству К. Массона, «Екатерина лично застала его на своей кровати державшим в своих объятиях прелестную графиню Брюс, ее фрейлину и доверенное лицо. Она удалилась в оцепенении и не пожелала видеть ни своего любовника, ни свою подругу». Корсаков удалился в Москву, где продолжал распутствовать. Щербатов отметил, что он «преумножил бесстыдство любострастия в женах», вступив в связь с графиней Е. П. Строгановой, урожденной княгиней Трубецкой.

Косвенное подтверждение случившемуся находим в письме Екатерины к Гримму от марта 1785 года, в котором она сообщала о смерти графини Брюс: «Нельзя не пожалеть о ней всякому, кто знал ее близко, потому что она стоила того, чтобы ее любили; лет шесть или семь тому назад это огорчило бы меня еще более, но с тех пор мы несколько более прежнего поотдалились одна от другой». Кажется, Корсаков был единственным фаворитом, чьи услуги императрица не оплатила пожалованиями.

Последним из калифов на час стал Александр Петрович Ермолов. Любопытные сведения о его фаворе сообщает М. М. Щербатов. Оказывается, императрица готовила из него «ученика» и фаворита с младых ногтей: еще в 1767 году Екатерина, возвращаясь из путешествия по Волге в Москву, остановилась в доме прапорщика Петра Леонтьевича Ермолова, где ей приглянулся его тринадцатилетний сын Александр. Обняв и поцеловав его, Екатерина сказала: «Поздравляю тебя дружок с чином капрала конной гвардии» и взяла его в Петербург. Екатерина долго пестовала Ермолова — фаворитом он стал в 31 год, но чем-то не угодил ей и был отставлен. «Он не понравился, однако, Потемкину прежде, чем перестал нравиться Екатерине», — записал Массон. Это была, надо полагать, ничем не примечательная личность; о нем, как и о Васильчикове, М. М. Щербатов отозвался кратко, но выразительно: «не успел сделать ничего». Вместе с отставкой Ермолов получил 130 тысяч рублей, 4000 душ и пятилетний отпуск с правом выезда за границу.

В промежутке между фавором Зорича и Ермолова «в случае»

оказался Александр Дмитриевич Ланской. По словам К. Массона, он был «самый любимый из любовников» императрицы. В 1780 году, когда он поселился во дворце, ему шел 23-й год, то есть он был моложе императрицы на 29 лет. Мемуаристы отмечали его привлекательную внешность, он любил искусство, был гуманен и отличался благотворительностью.

«Он был большого роста, — писала о Ланском Л. Н. Энгельгардт, — стан имел прекрасный, мужественный, черты лица правильные, цвет лица показывал здорового и крепкого сложения человека». Лорд Мальсборн доносил в Лондон в октябре 1778 года: «Ланской молод, красив и, как говорят, чрезвычайно уживчив… государыня страстно привязалась к своему новому любимцу».

Но если современники были единодушны в оценке внешности Ланского, то по поводу его отношений с окружающими и характера их мнения расходились. Гельбиг писал, что Ланской всю жизнь думал, «как бы хитростями и притворствами получить побольше богатств; бесчувственность его ко всему, лично до него не касавшемуся, в Ланском была так развита, что он не хотел даже сделать что-либо полезное для своих родных»[391]. Аналогичного мнения придерживался гофмедик императрицы Мельхиор Адам Вейкарт, считавший Ланского избалованным и необузданным человеком, который к «государыне поворачивался спиной, когда она говорила не по его и который теперь становился все раздражительнее»[392]. А. А. Безбородко сопоставлял надменного и мелочно мстительного Мамонова с Ланским, и последний в этом сравнении выигрывал, хотя тоже был не лишен недостатков: «Ланской, конечно, не хорошего был характера, но в сравнении с его (Мамонова. — Н. П.) был сущий ангел. Он имел друзей, не усиливался вредить ближнему и многим старался помогать».

Императрица, как известно, имела обыкновение восторгаться большинством своих фаворитов, приписывать им отсутствовавшие у них добродетели. О Ланском она писала Гримму: «Вы не поверите, какую силу имеет этот человек». Правда, сопоставляя способности Ланского и Потемкина, она отдавала предпочтение последнему: «Он не имел такого ума как Потемкин, зато был красивее, умел вмешиваться в семейные дела государыни… занимался ее мелочами и пользовался ее полным доверием». В другом письме к Гримму от 29 июня 1782 года Екатерина продолжала восхищаться добродетелями Ланского, его стремлению к знаниям. В течение зимы он «начал поглощать поэтов и поэмы; на другую зиму — многих историков… Не предаваясь изучению, мы приобретали знания без числа и любим

водиться лишь с тем, что есть наилучшего и наиболее поучительного. Кроме того, мы строим и садим, мы благотворительны, веселонравны, честны и мягкосердечны».

Императрица готовила из Ланского, впрочем, как и из других фаворитов, государственного деятеля. «Я надеялась, — сообщала она о своих планах Гримму после смерти Ланского, — что он будет опорой моей старости; он усердно трудился над своим образованием, оказывал успехи, принял все мои вкусы, это был мой воспитанник — благородный, кроткий и добросовестный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям».

Как и Потемкина, Екатерина осыпала Ланского множеством наград и пожалований. Грудь его украшали многие ордена, отечественные и иностранные: король Речи Посполитой наградил его орденами Белого Орла и Святого Станислава, а Екатерина — Александра Невского. В 1783 году он получил орден Святой Анны, звание генерал-поручика, а также шведский орден Полярной Звезды. Его богатство по подсчетам современников составляло 7 миллионов рублей. Одни пуговицы на его кафтане стоили около 80 тысяч рублей.

Неизвестно, вылепила бы Екатерина из Ланского государственного деятеля масштаба Потемкина, ибо способностей сопереживать радости и печали, быть благородным и кротким достаточно для ординарного подданного, но мало для государственного мужа. Неожиданная смерть Ланского в июне 1784 года прервала воспитательные упражнения императрицы. Перед этим Ланской «едва не сломал себе шею».

Причины смерти Ланского не совсем ясны, и путаницу внес лечивший его гофмедик М. А. Вейкарт. В официальном заключении он писал о кончине Ланского от злокачественной жабы. А. Г. Брикнер приводит свидетельства недоверчивого и пренебрежительного отношения Ланского к медикам и медицине, видимо, внушенного ему императрицей: он отказывался от лекарств, прописанных доктором, позволял себе кричать на него: «Что он за доктор, когда не может вылечить меня», срывал и бросал на пол примочку. Екатерине Вейкарт, однако, откровенно сказал о безнадежном положении больного и пророчил ему быструю смерть, что и случилось.

«Государыня слушала и видела все это с грустью, — писал Вейкарт в другой записке, как бы в оправдание, что он не в силах был помочь больному, — но решительно ничего нельзя было поделать с избалованным, необузданным человеком…» Екатерина «иногда сама с величайшей заботливостью и материнской нежностью ухаживала за больным».

Уже после смерти Ланского Вейкарт узнал, что мужскую «силу», о которой Екатерина писала Гримму, придавало Ланскому возбуждающее средство (контарид), которое он употреблял во все возрастающих дозах. «Ланской в самом начале своей болезни мазал себе тело и обкладывался пластырями, чего не соглашался делать только с шеею; а известно, что шея находится в прямой связи с половыми частями, в которых он почувствовал страдание при самом начале своей болезни. Возможно, что употребление контарида расположило к столь ужасной болезни».

В письмах к Гримму Екатерина многократно возвращалась к описанию своей скорби в связи с кончиной Ланского. «Когда я начинала это письмо, — делилась Екатерина переживаниями в одном из них, — я была счастлива и мне было весело, и дни мои проходили так быстро, что я не знала, куда они деваются. Теперь уже не то: я погружена в глубокую скорбь, моего счастья не стало. Я думаю, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга, постигшей меня неделю назад… Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям».

В другом послании: «Я не могу ни спать, ни есть, чтение нагоняет на меня тоску, а писать я не в силах. Не знаю, что будет со мной; знаю только, что никогда в жизни я не была так несчастна, как с тех пор, как мой лучший дорогой друг покинул меня». В письме, отправленном Гримму 9 сентября, то есть два с половиной месяца спустя, Екатерина все еще находилась во власти переживаний: «От слишком сильно возбужденной чувствительности я сделалась бесчувственной ко всему, кроме горя; это горе росло каждую минуту и находило себе новую пищу на каждом шагу». «Моя скорбь чрезмерна… и вот уже три месяца как я в таком положении, и адски страдаю». Скорбела императрица и в феврале 1785 года.

Вероятно, переживания императрицы усиливались чувством собственной вины за гибель молодого, пышущего здоровьем фаворита. Об искренности ее чувств к Ланскому свидетельствует и тот факт, что она свыше года воздерживалась от заведения нового любовника.

Предсмертный поступок Ланского заслуживает похвалы — ни один из фаворитов ничего подобного не совершил: часть своего колоссального богатства он перед кончиной распорядился передать в казну: два дома, один из которых был недостроен, а также часть вотчин. Императрица, однако, не выполнила воли покойного, распорядившись передать вотчины в Пензенском и Тамбовском наместничествах в вечное и потомственное владение

его брату, подполковнику Якову Ланскому; вотчины в Псковской и Тверской губерниях, а также дом в Петербурге — его матери; вотчины в Псковской губернии и два дома в Петербурге — трем сестрам покойного. Деньги и драгоценности разделила равными долями между матерью, братом и сестрами. Имения, которые покойный фаворит просил возвратить в казну, Екатерина велела принять, но уплатить за них 400 тысяч рублей, которые тоже разделили между наследниками[393].

Очередного фаворита, Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова, ввел «в случай» сам Потемкин, пожелавший иметь при дворе своего человека, в обязанность которого входило наблюдение за происками недоброжелателей князя. Один из адъютантов Потемкина, гвардии поручик Мамонов, пришелся ко двору, и пожалования посыпались одно за другим — императрица возвела его в полковники и флигель-адъютанты; в 1787 году он был пожалован в премьер-майоры Преображенского полка и сделан действительным камергером, а в следующем году — генерал-поручиком и генерал-адъютантом. В этом же году он стал графом Римской империи.

Одновременно с чинами и орденами он получал поместья, так что по свидетельству Гельбига превратился в одного из богатейших людей страны: в одном Нижегородском наместничестве он владел 27 тысячами душ крестьян, а общий доход с вотчин достигал 63 тысяч рублей в год. Не скупилась императрица и на денежные пожалования: он получал сотни тысяч рублей на содержание стола в день рождения и именин. Только в течение последних трех месяцев 1789 года, когда прервалась карьера Мамонова при дворе, он получил до полумиллиона рублей[394].

Чем больше седых волос появлялось на голове императрицы, тем восторженнее она отзывалась о каждом новом любовнике — старость делала ее снисходительной к их недостаткам, явным для стороннего наблюдателя. Один из современников писал о Мамонове: «Ни в какие дела не мешается, да и не любит их выслушивать». Так вел себя Мамонов в первое время, но возможность властвовать и извлекать из своего положения личную выгоду и поблажки со стороны старухи-императрицы придали Мамонову смелость вмешиваться в дела управления.

А. А. Безбородко, занимавший в годы фавора Мамонова должность статс-секретаря императрицы и наблюдавший его с близкого расстояния, считал его человеком злобным и деспотичным. «Перемена, — делился Безбородко своим мнением с приятелем С. Р. Воронцовым, — конечно была нечаянна, ибо Мамонов всем столько уже утвердившимся казался, что, исключая

князя Потемкина, все предшественники его не имели подобной ему власти и силы, кои употреблял бы на зло, а не на добро людям. Ланской, конечно, не хорошего был характера, но в сравнении сего был сущий ангел. Он имел друзей, не усиливался слишком вредить ближнему, о многих старался, а сей ни самим приятелям своим, никому ни о чем помочь не хотел. Я не забочусь о том зле, которое он мне наделал лично, но жалею безмерно о пакостях, от него в делах происшедших, в едином намерении, чтоб только мне причинить досады». Отзыв М. М. Щербатова близок к оценке Безбородко: «…Мамонов вводит деспотичество в раздаянии чинов и пристрастие к своим родственникам».

Иностранцы, не имевшие деловых контактов с Мамоновым, характеризуют его положительно. Сегюр назвал его человеком «отличного ума и по наружности», а датский посол Остен Сакен писал, что он «хорошо воспитан, наружность у него степенна и кажется он обладает большим умом и живостью, чем Ермолов». Князь де Линь тоже положительно оценивал Мамонова на том основании, что он пользовался правом говорить императрице правду, противоречить ей, оспаривать ее мнение. Екатерине, по словам де Линя, это весьма импонировало, и она восхищалась его, Мамонова, «справедливостью, честностью, его стремлением творить добро по мере сил». Скорее всего, эти отзывы были внушены дипломатам самой императрицей, не обнаружившей в любимце никаких недостатков. В письме к Гримму портрет Мамонова выглядит так: «Под этим красным кафтаном (прозвище Мамонова. — Н. П.) скрывается превосходнейшее сердце, соединенное с большим запасом честности; умны мы за четверых, обладаем неистощимой веселостью, замечательной оригинальностью во взглядах на вещи, в способе выражения, удивительной благовоспитанностью». Далее Екатерина описывает внешность фаворита: «черты лица правильны — у нас чудные черные глаза с тонко вырисованными бровями, рост несколько выше среднего, осанка благородная, поступь свободна. Одним словом, — завершает зарисовку императрица, — мы столько же основательны по характеру, сколько отличаемся силою и блестящей наружностью».

Другое письмо, отправленное императрицей Гримму, содержало еще больше похвал. «Красный кафтан личность далеко не рядовая. В нас бездна остроумия, хотя мы никогда не гоняемся за остроумием, мы мастерски рассказываем, обладаем редкой веселостью; наконец, мы — сама привлекательность, честность, любезность и ум; словом, мы себя лицом в грязь не ударим». Письмо, отправленное, когда императрица находилась на пути в

Крым: «Все наши путешественники любят его, потому что он необыкновенно мил в обществе». Императрица считала необходимым сообщать Гримму и об увлечениях «Красного кафтана»: то его внимание было сосредоточено на нумизматике — он коллекционировал медали, то переключалось на гравирование.

«Он верный друг, имею опыты его скромности», — как-то отозвалась императрица о фаворите. Но «верному другу» и ангелу, по словам Массона, «опротивели увядшие прелести шестидесятилетней любовницы, и он влюбился в юную фрейлину Дарью Федоровну Щербатову, ответившую взаимностью»[395]. М. Гарновскому он жаловался: «При дворе жить очень скучно и что между придворными людьми почитает он себя как между волками в лесу». Эти слова Мамонова Гарновский комментировал так: «Не наскучил бы он такими отзывами прежде времени».

О подробностях разрыва Екатерины с Дмитриевым-Мамоновым можно узнать из ее переписки с Потемкиным. 29 июня 1789 года она извещала князя, что граф Мамонов 18 июня «пришел сказать мне, что я обращаюсь с ним не так хорошо, как прежде, что я не отвечала на вопросы, которые он мне задавал за столом, что он недоволен тем, что множество людей, заметивших это, переглядывались между собой и что он тяготится ролью, которую играет…» Мамонов далее повторял, «что кроме преданности у него не было ко мне иных чувств». Если верить императрице, то она заявила фавориту: в изменении к нему отношения он должен пенять на себя сам, так как задушил ее к нему чувства «обеими руками».

Из текста письма Екатерины следует, что она была готова к разрыву и нисколько не жалеет о случившемся, что явно не соответствует истине, ибо демарш «Красного кафтана» для нее был полной неожиданностью и сильным ударом по ее самолюбию. Она нашла пристойный выход из положения, выступив в роли свахи, и предложила фавориту в невесты тринадцатилетнюю графиню Брюс, располагавшую богатым приданым, но он отказался, заявив, что безумно влюблен в фрейлину Щербатову.

Потемкин отвечал, что он догадывался об этом «амуришке давнем», что Мамонов, отказываясь от вечерних визитов к императрице под предлогом болезни, ранним утром бежал в специально нанятый дом к возлюбленной.

Если исходить из свидетельств Мамонова, зарегистрированных М. Гарновским, то события, приведшие к разрыву, развивались несколько по-иному. Мамонов еще 21 июня 1789 года отправил Екатерине письмо: «Вам известно, что по

причине расстроенного моего здоровья я еще зимою просился в Москву. Меня уговорили здесь остаться и после всего того, что мне тогда из разных уст сказано было, я почитал от прежней моей должности уволенным. Отвращение мое к придворной жизни, которое происходило от болезненных припадков и грустию стесненного духа, усиливаясь во мне со дня на день, видно, наконец, наскучило».

В пересказе автора «Записок» императрица ответила следующим посланием: «Желая всегда тебе и твоей фамилии благодетельствовать и видя, сколько ты теперь состоянием своим скучаешь, я намерена иначе счастье тебе устроить. Дочь графа Брюса составляет в России первейшую, богатейшую и знатнейшую партию. Женись на ней, на будущей неделе граф Брюс будет дежурным. Я велю, чтобы и дочь его с ним была». Императрица при этом обещала: «Я буду помогать, и при том ты и в службе остаться можешь».

Из ответа Екатерины следовало, что она согласна на отставку, и тогда Дмитриев-Мамонов отважился на решительный шаг — открыть подлинные причины своего желания уйти в отставку: брак с дочерью Брюса его ни в какой мере не устраивает, он давно влюблен в фрейлину Щербатову и пользуется ее взаимностью и именно с нею желает связать свою судьбу брачными узами.

Это был жестокий удар для Екатерины и как для императрицы, и как для отвергнутой женщины. Последовало объяснение с фаворитом, длившееся, согласно сведениям Гарновского, свыше четырех часов, после чего она вышла из покоев графа в слезах, а из ее покоев раздались рыдания.

Если бы нечто подобное произошло в предшествующие царствования, то измена была бы сурово наказана, и влюбленным пришлось коротать время врозь в глухомани. Екатерина проявила выдержку и сдержанность. Подавив раздражение отвергнутой женщины, она высказала вслух лишь одну претензию: если бы он признался об этом зимой, то влюбленные соединились брачными узами на полгода раньше. «Бог с ними! Пусть будут счастливы. Я простила их и дозволила жениться». Более того, Екатерина вела себя так, будто ничего не произошло: она пожаловала Мамонову 2250 душ и 100 тысяч рублей. Согласно придворному обычаю императрица сама наряжала фрейлин под венец. Екатерина не отступила от обычая. «Перед вечерним выходом, — занес Храповицкий в Дневник, — сама ее величество изволила обручить графа и княжну; они, стоя на коленях, просили прощения и прощены».

Мамонов был креатурой Потемкина. Об этом

свидетельствуют два факта, приведенные анонимным автором, подготовившим публикацию писем А. М. Мамонова Екатерине II. На второй день после назначения флигель-адъютантом Мамонов подарил Потемкину золотой чайник с надписью «Plus unis par le coeur que par le sang» («соединены более сердцами, нежели узами крови»). Известно также, что Потемкин негодовал, когда Мамонов, не дождавшись его приезда в Петербург, объявил императрице о своей любви к княжне Щербатовой. Храповицкий по этому поводу записал слова Потемкина: «Зачем, обещав, его не дождался и оставил свое место глупым образом». Иной оттенок можно обнаружить в характеристике Мамонова, прозвучавшей в письме Потемкина к Екатерине: «…Это смесь беспечности с эгоизмом… Думал только о себе самом, он требовал всего, ничем не оплачивая; будучи ленив, он забывал самые приличия… Можно ли так глупо и столь странно себя оказать всему свету… Мне жаль было тебя, кормилица, видеть, а паче были несносны его грубость и притворные болезни».

Екатерина и после отставки Мамонова поддерживала с ним переписку, о чем свидетельствуют десять отправленных к ней писем бывшего фаворита, брак которого не доставил ему семейного счастья. Быть может, императрица сознательно отправляла послания Мамонову, чтобы вызвать подозрительность и ревность супруги.

В 1792 году Мамонов просил разрешения возвратиться ко двору, оправдываясь тем, что «по молодости моей и тогдашнему легкомыслию» совершил поступок, «терзающий и поныне мою душу». Императрица отказала просителю, многократно продлевая отпуск фаворита на один год. Последний раз Мамонов благодарил императрицу за продление отпуска 5 февраля 1795 года.

После свадьбы, состоявшейся 1 июля 1789 года при небольшом стечении народа и в отсутствие Екатерины, новобрачные отбыли в подмосковную деревню.

И все же беспрецедентный в жизни императрицы поступок новобрачных оставил у отвергнутой женщины чувство раздражения, которое изредка выползало наружу. Она продолжала следить за судьбой фаворита и, похоже, не без злорадства извещала своих корреспондентов, что брак не принес ему счастья. Гримму она писала в июне 1790 года: «Что касается неблагодарных, то они очень строго наказали сами себя. По-видимому, семейного ладу нет. Да и что может быть хуже положения человека, одаренного умом и имеющего познания, как очутиться в 30 лет в деревне с женой брюзгой и капризной, которую он ежедневно попрекает, что остался один с нею и для

нее. Кроме того, вся тяжесть неблагодарности пала ему на грудь, и он сначала по мнительности, а потом на самом деле стал страдать одышкой». Еще раньше, в ноябре 1789 года, она извещала Потемкина, будто, согласно слухам, Мамонов сошел с ума. «Естьли то правда, то Бога благодарить надобно, что сие не сделано прошлого года. Конфузию в речах я в самый день свадьбы приметила, но сие я приписывала странной его тогдашней жизни»[396].

Между тем Екатерина обрела утешение в Платоне Александровиче Зубове. В конце июня 1789 года, когда Мамонов признался в любви к княгине Щербатовой, Зубов уже оставался с нею наедине, а в августе Потемкину довелось прочесть следующие слова, написанные императрицей: «Это очень милое дитя, имеющее искреннее желание сделать добро и вести себя хорошо. Он не глуп, сердце доброе, и я надеюсь, он не избалуется». В сентябре следующего года она в письме к тому же Потемкину обнаружила в двадцатидвухлетнем фаворите новые достоинства: «Твой корнет за мной ходит и такое попечение имеет, что довольно не могу ему спасибо сказать». Через месяц новое выражение восторга: «Твой корнет непрерывно продолжает свое похвальное поведение, и я ему должна отдать истинную справедливость, что привязанностью его чистосердечной ко мне и прочими приятными качествами он всякой похвалы достоин». В начале 1791 года еще одно признание: «…Я чрезвычайно довольна честностью, добросердечием и нелицемерною его привязанностью ко мне».

Если в письмах к Потемкину Екатерина высвечивала достойное похвалы поведение фаворита, то Гримму она внушала мысль о его исключительных дарованиях: «Зубов трудолюбив, бескорыстен, исполнен доброй воли и отличается чрезвычайными умственными способностями; вы о нем услышите еще более, кажется, от меня зависит сделать из него новый фактотум».

В другом письме, извещавшем Гримма о кончине Потемкина, Екатерина писала: «Нет ни малейшего сомнения, что двое Зубовых подают более всего надежд; но подумайте, ведь старшему только 24-й год, а младшему нет еще и двадцати. Правда, они люди умные, понятливые, а старший обладает обширными и разнообразными сведениями. Ум его отличается последовательностью и поистине он человек даровитый». Воображение императрицы не оставляет ее и в дальнейшем: «Генерал Зубов, — делилась она своими оценками с Гриммом, — отличается трудолюбием, бескорыстием, усердием и замечательным складом ума. От меня зависит, чтобы из него вышел фактотум».

Сдается, эти отзывы дают основание считать, что императрица вместе с утратой молодости утратила способность объективно оценивать достоинства и недостатки фаворита — все современники, как русские, так и иностранцы, дружно опровергают ее оценку Зубова. Ослепленная любовной страстью, она не замечала пороков. Самый лаконичный отзыв фавориту дал Храповицкий: «дуралеюшка Зубов». Не пользовался он уважением и у известного вельможи екатерининского царствования А. А. Безбородко. Осторожный Безбородко избегал резких слов, но находил Зубова человеком бездарным, стремившимся присвоить себе успехи и таланты его, Безбородко.

Биограф П. А. Зубова приводит два примера опрометчивых внешнеполитических акций фаворита, вызвавших дипломатические осложнения. Одна из них связана с поездкой графа Д'Артуа в Лондон, не согласованной ни с английским правительством, ни с русским двором. Дело в том, что наследник французского престола оказался несостоятельным должником многих англичан и ему грозила опасность оказаться за тюремной решеткой. Зная о покровительстве императрицы французским эмигрантам, и в частности графу, Зубов поспешил его успокоить: «Все опасения вашего высочества будут отстранены. Англия почтет за честь принять вас, она сделает все, что ни пожелает императрица, и у нас есть посланник, который сумеет побудить министерство сделать все вам угодное».

Вторая акция нанесла самолюбию императрицы удар такой силы, что от него она так и не оправилась и спустя несколько недель скончалась. Именно по настойчивому совету фаворита Екатерина решила выдать свою внучку Александру Павловну замуж за шведского короля Густава IV Адольфа. Летом 1796 года семнадцатилетний жених прибыл в Петербург, где ему был оказан пышный и радушный прием. Статный, красивый, вежливый и обаятельный жених обворожил двор, в том числе и невесту.

Дело шло к благополучному концу, но в самый последний момент, когда королю надлежало подписаться под свадебным контрактом, он заупрямился: императрица настаивала, чтобы супруга шведского короля сохранила православие и для отправления обряда ей при дворце была сооружена молельня, а король соглашался на право супруги остаться православной, но упорно протестовал против сооружения молельни.

День 11 сентября 1796 года оказался для императрицы днем величайшей скорби и негодования. На семь вечера было назначено бракосочетание великой княжны. Придворные получили повеление явиться в парадном облачении. К семи в одеянии невесты появилась великая княжна, а затем в полном

парадном облачении и сама императрица. Недоставало самой малости — прибытия жениха.

Проходит час, другой, а короля все нет. Между дворцом и резиденцией жениха снуют озабоченные вельможи, пытаются уговорить упрямца, но тот вопреки всем настояниям отказался подписать контракт, содержавший пункт о сооружении молельни.

Замешательству не было предела. Можно представить состояние императрицы, привыкшей к тому, чтобы ей безропотно повиновались. Наконец, около 10 вечера было объявлено, что король внезапно занемог и церемония не состоится. Когда Зубов на ухо что-то шепнул императрице, та встала, заикаясь произнесла несколько слов, ей сделалось дурно, гости были распущены.

На следующий день двор праздновал день рождения великой княжны Анны Федоровны, супруги великого князя Константина Павловича. Король как ни в чем не бывало появился на торжестве, императрица тоже показалась на одну минуту, но, не произнеся ни слова, удалилась[397].

Самое резкое суждение о Зубове высказал в 1792 году Ф. Ростопчин: «Он по природе недалек, но ему память заменяет рассудок. Его изречения то ученые, то таинственные и технические выражения, которые он произносит, прикрывают его бездарность. Он выказывает грубую и возмутительную гордость, все поступки его свидетельствуют о дурном воспитании и бывать у него значит подвергнуться унижению».

Проявлением заносчивости и грубости Зубов обнаруживал дремучую непредусмотрительность — у него не хватило рассудка руководствоваться самой примитивной житейской мудростью: престарелая императрица не вечна, его карьера только начинается и со смертью императрицы тут же закончится.

Ф. Ростопчин запечатлел поведение Зубова после кончины императрицы: «Отчаяние сего временщика ни с чем сравниться не может, не знаю, какие чувства сильнее действовали на сердце его; но уверенность в падении и ничтожество изображалось не только на лице, но и во всех его движениях. Проходя сквозь спальную комнату императрицы, он останавливался несколько раз пред телом государыни и выходил рыдая… толпа придворных удалялась от него, как от зараженного, и он, терзаемый жаждою и жаром, не мог выпросить себе стакана воды»[398].

С приведенными выше отзывами о Зубове вполне согласуется суждение графа Штернберга, наблюдавшего жизнь двора в 1792–1793 годах. «Он среднего роста, очень худощав, имеет довольно большой нос, черные волосы и такие же глаза. Внешность его не представляет ничего величественного, скорее всего в нем есть

какая-то нервная подвижность». Когда императрица была помоложе, ее фаворитами были дюжие красавцы. Теперь располневшая и одряхлевшая Екатерина, вынужденная скрывать свою полноту за изобретенным ею платьем, напоминавшем сарафан, должна была довольствоваться тщедушным, часто болевшим Зубовым, человеком с невыразительной внешностью.

Не менее уничтожающий отзыв о последнем фаворите императрицы дал Массон, противопоставивший его Потемкину. Последний, по словам Массона, «почти всем своим величием был обязан самому себе, Зубов — слабости Екатерины. По мере утраты государынею ее силы, деятельности, гения, он приобретал могущество, богатство и силу. В последние годы ее жизни он был всемогущ в обширнейшем смысле слова… Все ползало у ног Зубова, он один стоял и потому считал себя великим. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждали его двери, наполняя его прихожие и приемные… Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами, бесцельно устремленными в потолок, этот молодой человек с лицом холодным и надутым едва удостаивал внимание на окружавших его… Из всех баловней счастья царствования Екатерины II ни один, кроме Зубова, не был тщедушен и наружно, и внутренно»[399].

Как относились современники к любовным утехам императрицы и частым сменам фаворитов?

В большинстве своем интеллектуальная элита осуждала ее поведение. Среди хулителей императрицы на первое место должно поставить М. М. Щербатова: блюститель нравственности считал, что царствование Екатерины — высшая точка падения нравов в стране, что любострастие, охватившее двор, перекинулось в семьи вельмож, а от них — к столичным дворянам. В особенности Щербатова раздражало любострастие императрицы в годы, когда на голове ее виднелась седина: «Хотя при поздых летах ее возрасту, хотя седины уже покрывают ее голову, и время нерушимыми чертами означило старость на челе ее, но еще не уменьшается в ней любострастие. Уже чувствует она, что тех приятностей, каковые младость имеет, любовники ее в ней находить не могут, и что ни награждения, ни сила, ни корысть не может заменить в них того действия, которая младость может над любовником произвести».

Не менее беспощаден был к пороку императрицы младший ее современник, знаменитый Н. М. Карамзин, хотя он и высказал свое порицание в более деликатной форме: «Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна… Слабость тайная есть только

слабость, явная — порок, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия, как люди ни развратны, но внутренно не могут уважать развратных… Горестно, но должно признаться, что хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество»[400].

Смену фаворитов не относил к добродетелям императрицы и чопорный английский дипломат Р. Гуннинг, доносивший в Лондон в октябре 1772 года: «Назначение преемника (Васильчикова. — Н. П.), сменившего его (Орлова. — Н. П.), послужит едва ли не сильнейшим заявлением слабости и пятном в характере ее величества и ослабит высокое мнение, распространенное о ней столь повсеместно и в значительной мере заслуженное ею». Заметим, депешу с шокировавшей его новостью Гуннинг отправил в год, когда императрица лишь становилась на путь смены фаворитов. Что бы сказал этот дипломат десять лет спустя, когда любовники сменяли один другого каждые год-два? Английский посланник в Вене, сэр Роберт Мюррей Кейт, в донесении в Лондон передал отзыв об императрице Иосифа II, лично познакомившегося с нею в Могилеве в 1780 году: «Главное несчастье императрицы заключается в том, что возле нее нет человека, который бы осмелился ограничить или хотя бы сдержать вспышки ее страстей».

Впрочем, среди современников встречалось и снисходительное отношение к любострастию императрицы, которое расценивалось не как порок, а как отдых и развлечение после утомительных забот по управлению страной. «Сила ее рассудка являлась в том, что несвойственно называть слабостью сердца. Между тем, которые во время ее отдохновения или для разделения ее трудов удостаивались ее самой близкой доверенности и по чувствительности ее сердца жили в ее дворце, ни один не имел ни власти, ни кредита. Но когда кто-либо приучен к делам государственным самой императрицей и испытан в тех предметах, для которых угодно ей было предназначать, таковый был уже ей полезен; тогда выбор сей, делающий честь обеим сторонам, давал право говорить правду, и его слушали». Эти витиеватые слова принадлежали статс-секретарю императрицы А. М. Грибовскому[401]. Упрекать Грибовского в снисходительности к пороку императрицы нет резона — все зависит от его моральных устоев. Что же касается его заявления, что фавориты не имели «ни власти, ни кредита», то это не соответствует действительности. Конечно, ни один фаворит, даже Потемкин, не был формально облечен полномочиями, но положение человека, близкого императрице,

предоставляло ему множество возможностей воздействовать на правительственный механизм в угодном для себя направлении. Эти возможности во много крат увеличились с возрастом императрицы, когда она лишилась прежней работоспособности и фактически устранилась от государственных дел, препоручив их фавориту Зубову. Он приобрел статус временщика.

Несомненное влияние на дела управления оказывал Дмитриев-Мамонов. Этот факт зарегистрировали два мемуариста: М. Гарновский и А. Храповицкий. Первый из них, например, сделал следующую запись 14 сентября 1787 года: «Александр Матвеевич много может, нет в сем ни малейшего сомнения. Никто из предшественников его не в состоянии был поколебать власть графа докладчика (Безбородко. — Н. П.), а он оную колеблет». Влиятельность Мамонова подтвердил и А. Храповицкий в присущей ему манере — он не делал подобно Гарновскому обобщений, а регистрировал факты, когда к фавориту посылали на просмотр указы и другие документы. Следовательно, императрица ставила мнение фаворита выше мнения Безбородко[402].

Остается ответить еще на один вопрос: как сама императрица относилась к смене фаворитов, не усматривала ли она в этом банального распутства, не считала ли она, что ее поведение наносит ущерб ее репутации Северной звезды, которой гордились просвещенные умы Западной Европы, как выглядела она перед собственным взрослым сыном? Похоже, что эти вопросы ее не волновали, а если иногда и возникали сомнения относительно собственного поведения, то она придумала ответ, как-то высказанный ею Салтыкову: «Я делаю и государству немалую пользу, воспитывая молодых людей». Эти молодые люди годились ей во внуки.

В фаворитизме Екатерины заложен, помимо нравственного, еще один порок — материальный. Фавориты, как известно, всегда извлекали из своего положения множество выгод. Достаточно вспомнить имена Меншикова, Бирона, Разумовского. Белой вороной среди фаворитов выглядел лишь И. И. Шувалов, отказывавшийся от пожалований Елизаветы Петровны. Но в том-то и дело, что у Екатерины насчитывалось свыше двух десятков фаворитов, почти каждого из которых она по-царски вознаграждала. Точные данные о цене пожалований фаворитам отсутствуют, но публицист начала XIX века оценивал их в 92 500 тысяч рублей. Орловы, например, получили 45 тысяч душ и 17 миллионов рублей, братья Зубовы — 3500 тысяч рублей и т. д.

Аристократа Щербатова возмущали богатства безвестных выскочек, ставших князьями и графами и за год-два «службы»

императрице получивших богатства, которые родовитые люди накапливали усердной службой многих поколений. «Не охуляю я, — писал Щербатов, — что имеет всегда при себе любимцев, ибо до внутренних деяний государя касаться не смею; но охуляю я, что сокровищами коронными их до крайности богатит и дает им такие преимущества, которые ни долговременная служба, ни полезные подвиги приобрести не могут, и такую власть, что все пред ними должны трепетать, чрез что и усердие уменьшается и робость и подлость духу час от часу вселяется».

Возмущение Щербатова имеет серьезные основания. Для сравнения приведем награды, полученные отнюдь не ординарным человеком, поэтом Г. Р. Державиным. За 35 лет службы от рядового до сенатора он имел награды, по своим размерам несравнимые с теми, которые получили фавориты. О себе Державин писал, что он хотя и пользовался «довольной доверенностью, но никогда не носил отличной милости за верную службу». Его общие пожалования составили 300 душ крестьян, за оду «Фелице» он получил золотую табакерку с бриллиантом и 500 червонцев и золотую табакерку за оду «На взятие Измаила».

Щедрость Екатерины объяснима. С одной стороны, положение императрицы исключало возможность интимных отношений с каким-либо корнетом, либо поручиком. Отсюда проистекало награждение фаворитов графскими и княжескими титулами. Но щедрость императрицы, кроме того, подогревала усердие фаворитов — денежными пожалованиями, дорогими подарками, наградами, орденами и крепостными крестьянами она как бы покупала любовь фаворитов: известно, что лишь немногие из них питали к ней искренние нежные чувства. Наконец, отставку фаворитов Екатерина сопровождала новыми пожалованиями — в этом, видимо, состояло утешение отвергнутых любовников, покупались их скромность, молчание.

Чтобы составить представление о нравственных устоях, царивших в дворянском обществе второй половины XVIII столетия, надобно выйти из дворцовых покоев и взглянуть на семейную жизнь благородного сословия.

Анна Ивановна за десять лет царствования довольствовалась одним фаворитом, Елизавета Петровна за 20 лет — двумя, Екатерина II за 34 года переменила свыше двух десятков. Следовательно, чем ближе к концу столетия, тем распущеннее становился двор. Конечно, отрицать влияние распущенности двора на нравственный облик вельмож и придворных не приходится. Но, пользуясь терминологией М. М. Щербатова, «повреждению нравов» подверглась и провинция, непосредственно не испытывавшая тлетворного влияния двора.

Таков был век, таковы были нравственные устои общества. Муж или жена, соблюдавшие супружескую верность в обществе столичного дворянства, подвергались если не осуждению, то насмешкам. Супруг считался добродетельным главой семьи, если имел метрессу, а супруга нисколько не вредила своей репутации, если располагала одним или несколькими «болванчиками».

Два фактора обусловили падение нравов: низкие культурные запросы большинства дворян, вполне удовлетворявшиеся чувственными наслаждениями, и безделье, праздная жизнь, отсутствие забот о хлебе насущном. Отсюда главной заботой становилась охота за метрессами и «болванчиками», а также пристальное внимание к своей внешности, поглощавшее уйму времени.

Муж и жена столичной элиты жили в отдельных покоях, каждый из них имел свой круг знакомых и свое общество, независимое от супруги и супруга.

Сколь обычным считался подобный взгляд на супружескую жизнь, явствует из многочисленных свидетельств современников-мемуаристов — лишь немногие из них осуждали легкомысленное поведение и распущенность, большинство же бесстрастно сообщали факты супружеской неверности, не давая им оценки.

Г. Р. Державин писал о себе, «что имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, и как был очень к ней привязан, а она не отпускала меня отклоняться в дурное знакомство, то и исправил он мало-помалу свое поведение».

М. Гарновский сообщил любопытную деталь из частной жизни генерал-майора В. И. Левашова, командовавшего войсками, осаждавшими во время русско-шведской войны 1788–1790 годов Фридрихсгам. Он отправил письмо: «Я имею от многих дам детей, коих число по последней ревизии шесть душ; но как по теперешним обстоятельствам я легко могу лишиться жизни, то прошу, чтобы по смерти моей означенные дети, которым я может быть и не отец, были наследники мои»[403].

Блюститель нравственности М. М. Щербатов писал, что П. И. Шувалов содержал несколько метресс, расходовал на них немалые деньги, а «дабы и тело его могло согласоваться с такою роскошью, принимал ежедневно лекарства, которые и смерть ему приключили».

Принято было хвастать своими победами над слабым полом, и молодые люди, не отличавшиеся развратом, наговаривали на себя такие похождения, которых никогда не совершали.

Провинциальные дворяне, подражая столичным, стремились не отставать от них, причем распущенность приобретала грубые

формы. Мемуарист Г. И. Добрынин рассказывал, что один севский помещик завел у себя гарем, в котором роль султанши выполняла дочь местного священника. За попытку вызволить свою дочь отец ее «заплатил своею жизнью, ибо неизвестно куда девался».

Школьный учитель Богородицка, по свидетельству А. Т. Болотова, совращал «лучших девок при помощи каких-то напитков, заманивая их к себе, паивал к распутству». Тот же Болотов сообщает о влиянии на калужского наместника М. Н. Кречетникова его любовницы. Она властно вмешивалась в служебные дела наместника, а также предоставила возможность своему мужу жить не по средствам и благодаря покровительству наместника расходовать казенные деньги. «Любя до обожания сию злодейку, — писал Болотов, — и повинуясь ей», наместник по ее внушению хотел отстранить от должности его, Болотова, и пристроить на его место брата супруга.

Другой авторитетный современник, Г. Р. Державин, сообщает сведения и о своих амурных похождениях, и о нарушении супружеской верности директором гимназии, сожительствовавшим с той самой «прекрасной благородной девицей», с которой развлекался и сам Державин. Еще один благородный по происхождению человек женился на «прекрещеной иностранке, которая торговала своими прелестями» и с ведома супруга обирала своих поклонников.

Не все дамы были подвержены распутству. Супруга графа П. А. Румянцева блюла супружескую верность, но знала, что фельд-маршал имел метрессу. По случаю какого-то праздника она послала подарки супругу, камердинерам и несколько кусков материи на платье метрессе. Граф таким вниманием был растроган до слез, но сокрушался: «Если бы знал ее любовника, послал бы ему подарки»[404].

Едва ли не самое тягостное впечатление о пороках семейной жизни оставляют воспоминания А. Е. Лабзиной. Во всяком случае, по описанию цинизма, по глумлению над супружеской верностью, по растленности нравов в мемуаристике XVIII века не сыщется сочинения, равного воспоминаниям Лабзиной.

Оставшись после смерти отца в пятилетнем возрасте, Анна воспитывалась вдовой в домостроевском духе рабского и беспрекословного подчинения супругу. В тринадцатилетнем возрасте она была выдана замуж за владельца университетского диплома, горного инженера А. М. Карамышева, бывшего старше своей супруги на 15 лет.

Девочка покорно переносила издевательства супруга, иногда оказываясь неспособной дать оценку и протестовать против его омерзительного поведения. Она, например, спокойно перенесла

такую странность в поведении супруга: брачную ночь он провел не с нею, а с племянницей, с которой продолжал сожительствовать и после женитьбы. Иногда они спали втроем. Мемуаристка сообщает, что на таком же нравственном уровне находился и сын знаменитого токаря Петра I А. А. Нартов, будущий президент Берг-коллегии, участник оргий с девицами сомнительного поведения.

Супруг не только сам развратничал, но и рекомендовал супруге вести себя подобным образом — советовал, чтобы она себе «нашла по сердцу друга, с которым бы… могла делить время». Более того, он сам обещал подыскать ей такого друга. Нравственный кодекс Карамышева прост и столь же циничен: «Нет греха и стыда в том, чтоб в жизни нашей веселиться». На упреки Анны Евдокимовны он отвечал: «Разве ты думаешь, что я могу тебя променять на тех девок, о которых ты говоришь. Ты всегда мне жена и друг, а это — только для препровождения времени и для удовольствия». В другой раз он ей заявил: «Тем-то платишь за любовь мою к тебе и за дружеское позволение наслаждаться жизнью и всеми утехами»[405].

От мук и страданий Анну Евдокимовну освободила ранняя смерть Карамышева, что позволило ей обрести покой во втором браке.

Видимо, и столичная элита, и императрица игнорировали внушение, которым должен был руководствоваться человек и гражданин в своей повседневной жизни. В разделе «О распутстве» в многократно переиздаваемом при Екатерине сочинении «О должности человека и гражданина» написано: «Распутным называется человек, который порокам и неистовствам предан. Кто распутно живет, тот в стыд и посмеяние впадает, ослабляет тело свое, делает себя пред Богом наказания достойным и пред людьми ненавидимым»[406].

Непоследовательность императрицы проявлялась и в другом: ее частная жизнь противоречила пренебрежительному отношению к петиметрам — модникам и отличавшимся непостоянством молодым людям, доблесть которых определялась количеством побед, одержанных над слабым полом.

Невозможно оспорить суровый приговор М. М. Щербатова поведению императрицы: «К коликому разврату нравов и женских всей стыдливости пример ее множества имения любовников, един другому часто наследующих, и равно почетных и корыстями снабженных, обнародовал чрез сию причину их щастия, подал другим женщинам! Видя храм сему пороку, сооруженный в сердце императрицы, едва ли за порок себя щитают ей подражать; но паче, мню, почитает каждая себе в добродетель, что еще столько

любовников не переменила!»[407]

Глава XIII. Григорий Александрович Потемкин Таврический

Григорий Александрович Потемкин принадлежит к самым выдающимся сподвижникам Екатерины II. Его можно назвать едва ли не самой спорной личностью XVIII века, вызвавшей наиболее противоречивые отзывы современников как из числа иностранцев, так и соотечественников. Уже один этот факт свидетельствует, что перед нами личность оригинальная и деятельная, поступки которой оставили заметный след в истории.

Быть может, сын небогатого смоленского помещика, род которого ничем не прославился, так бы и остался безвестной для истории персоной, дослужившись до чина заурядного полковника или в лучшем случае генерал-майора, если бы не попал в «случай», обеспечивший ему блестящую карьеру, славу и богатство.

О младенческих и юношеских годах Потемкина известно мало — даже историки называли три даты его рождения — 1736, 1739 и 1742 год. Теперь установлено, что он родился в 1739 году. Уже в юном возрасте он якобы произнес фразу, свидетельствующую о масштабности его честолюбия: «Хочу непременно быть архиереем или министром».

В 1757 году Потемкин поступил в Московский университет, где проявились, с одной стороны, его неординарные дарования, а с другой — странности в поведении: то он проявлял живейший интерес к наукам, просиживая ночи над книгами, прослыл одним из лучших студентов и в числе 12 отличившихся был отправлен в Петербург, то интерес к наукам угасал настолько, что он переставал посещать университет, за что и был отчислен из него. Это натолкнуло его на мысль искать счастья на военной службе. Анонимный автор статьи о Потемкине был прав, когда писал: «Характер Потемкина-юноши представлял странную смесь любознательности и легкомыслия, склонности к ученым трудам и лени, в особенности же набожности, не соответственной возрасту»[408].

Активного участия в перевороте Потемкин не принимал, ибо был малозаметной фигурой, но все же Екатерина приметила рослого с непропорциональной фигурой двадцатилетнего офицера, наградила его 400 крепостными и 10 тысячами рублей. В 1762 году он лишился одного глаза. По поводу этого прискорбного факта существует множество версий. Так, полагали, что Потемкину проткнули глаз шпагой на дуэли или же что он

потерял его, получив сильный удар кулаком от Алексея Орлова. Но граф А. Н. Самойлов, племянник Потемкина и очевидец происшедшего, сообщил наиболее достоверные сведения: Потемкин стал жертвой некоего знахаря, порекомендовавшего ему какую-то примочку для лечения глаза. «Примочка, — сообщает Самойлов, — притянула пресильный жар к голове, а более к обвязанному глазу, отчего болезнь усилилась до нестерпимости». Потемкин снял повязку и обнаружил нарост, который попытался снять булавкою, в результате чего лишился глаза вовсе. Этот же Самойлов, откровенный панегирист своего знаменитого дяди, оставил описание его внешности: Потемкин почитался «красивейшим мужчиной своего времени», имел «глаза голубые, полные, не впалые», «бороду острую, несколько посредине разветвленную»[409].

Потеря глаза настолько расстроила Потемкина, что он якобы закрылся в темной спальне, отрастил бороду и 18 месяцев не вставал с постели, погруженный в мрачные мысли. Однако императрица вспомнила о Потемкине, велела призвать его ко двору. Григорий Орлов увидел в Потемкине опасного соперника и уговорил императрицу отправить его курьером в Швецию.

Все эти сведения не опираются на достоверные источники. Первым внушающим доверие документом, освещающим карьеру Потемкина до времени, когда он стал фаворитом, является составленная во второй половине 1763 года императрицей инструкция об обязанностях Потемкина, назначенного помощником обер-прокурора Синода. Однако главным поприщем, на котором Потемкин достиг значительных успехов, была служба придворная — в 1768 году он стал камергером. Но и придворная служба его тяготила. Он попытался обрести успех на театре военных действий и обратился к императрице с просьбой отправить его на юг, где в разгаре была война с Османской империей. Здесь он отличился в штурме Хотина, участвовал в сражении при Фокшанах и наконец был вызван императрицей ко двору и стал ее фаворитом.

О времени пребывания в «случае» рассказано в предшествующей главе. Здесь будет идти речь о деятельности Потемкина в качестве наместника Новороссии, заслужившей, как отмечено выше, разноречивые оценки. Самая расхожая из них принадлежит перу австрийского дипломата де Линя и французского посланника графа Сегюра. Их характеристики Потемкина близки друг другу и скорее всего появились в результате обмена мнениями. Эти характеристики сближает не только содержание, но и форма передачи материала, основанная на контрастах.

Де Линь писал: «Показывая вид ленивца, трудится беспрестанно; не имеет стола, кроме своих колен, другого гребня, кроме своих ногтей; всегда лежит, но не предается сну ни днем ни ночью; беспокоится прежде наступления опасности, и веселится, когда она настала; унывает в удовольствиях; несчастлив от того, что счастлив; нетерпеливо желает и скоро всем наскучивает; философ глубокомысленный, искусный министр, тонкий политик и вместе избалованный девятилетний ребенок; любит Бога, боится сатаны, которого почитает гораздо более и сильнее, чем самого себя; одною рукою крестится, а другою приветствует женщин; принимает бесчисленные награждения и тотчас их раздает; лучше любит давать, чем платить долги; чрезвычайно богат, но никогда не имеет денег; говорит о богословии с генералами, а о военных делах с архиереями; по очереди имеет вид восточного сатрапа или любезного придворного века Людовика XIV и вместе изнеженный сибарит. Какая же его магия? Гений, потом и еще гений; природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздавании наград, чрезвычайно тонкий дар угадывать то, что он сам не знает, и величайшее познание людей; это настоящий портрет Алкивиада».

Характеристика Сегюра, на наш взгляд, более обстоятельна, хотя и он нарисовал портрет психологический, а не государственного деятеля, сосредоточил внимание на свойствах характера, а не на его влиянии на судьбы России. «Никогда еще ни при дворе, ни на поприще гражданском или военном не было царедворца более великолепного и дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе нерешительного. Он представлял собой самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность. Везде этот человек был бы замечателен своей странностью…

Потемкин обладал счастливой памятью при врожденном живом и подвижном уме, но вместе с тем был беспечен и ленив. Любя покой, он был, однако, ненасытимо сластолюбив, властолюбив, склонен к роскоши, и потому счастье служило ему, утомляло его, оно не соответствовало его лени и при всем том не могло удовлетворить его причудливым и пылким желаниям. У него было доброе сердце и едкий ум»[410].

Думается, оба мемуариста принесли истинные свойства натуры Потемкина в жертву литературной форме, яркости изложения, ибо с такими качествами характера, о которых они

живописали, невозможно было добиться успехов в освоении края, достигнутых наместником Новороссии.

Недоброжелатель Потемкина Массон оставил о нем язвительный отзыв: «Он создавал или уничтожал все, он приводил в беспорядок все. Когда его не было, все говорили лишь о нем; когда он находился в столице, никого не замечали, кроме него. Вельможи, его ненавидевшие и игравшие некоторую роль разве только в то время, когда князь находился в армии, обращались в ничто при его возвращении…» Тем не менее и Массон признавал: «Его кончина оставила громадный пробел в империи».

Что касается отечественных современников, то хвалебные отзывы о нем тонут в потоке отрицательных. К панегиристам князя относится Мария Федоровна, супруга наследника Павла Петровича, писавшая: «Карьера этого необыкновенного человека была блестящей; ум и способности его были громадными, и думаю, что трудно и даже невозможно начертить его портрет».

Еще выше оценивал его мемуарист А. М. Тургенев, считавший, что именно Потемкин придавал блеск царствованию Екатерины II. «Один придворный блеск, — писал он, — ее окружавший, как тень самодержавного величества, остался ей в удел. Вельможи делали, что хотели, не страшились ответственности и возмездия, будучи уверенными, что некому исполнить веления государыни: Потемкина уже не существовало». В другом месте: «Истинный и бескорыстный друг Екатерины, человек необразованный, но великий гений, человек выше предрассудков, выше своего века, желавший истинно славы отечества своего, прокладывавший пути к просвещению и благоденствию народа русского».

В целом положительную оценку Потемкина обнаруживаем и в «Записках» С. Н. Глинки, хотя автор мемуаров не забыл упомянуть и о негативных чертах его характера: «Князь Григорий Александрович Потемкин, из участи бедного смоленского шляхтича перешедший на гряду князя Таврического, — Потемкин был при Екатерине главным оплотом от притязаний сильной аристократии, или лучше сказать от вельможной гордыни. Вековые грамоты вельмож смирились перед юною его грамотою. Но он не пренебрегал вельмож дельных, нужных для дела…

Память, желудок и сладострастие его все поглощали. Он метил из гвардии в монастырь, а попал в чертоги Екатерины. В глубоком раздумье грыз он ногти, а для рассеяния чистил бриллианты. Женщин окутал в турецкие шали, а мужчин нарядил в ботинки. Поглощал и ананасы, и репу, и огурцы… Посылал в Париж за модными башмаками и под этим предлогом подкупал

любовниц тогдашних дипломатов. Лакомя хана роскошью, выманил у него Крым… дал Екатерине и двору ее такое празднество, какого не придумал бы и обладатель Аладиновой лампасти…

У князя Таврического не было никакой оседлости. Не строил он замков, не разводил садов и зверинцев: дворец Таврический был даром Екатерины И, а у него своего домовитого приюта не было нигде… И этот исполин, повторяю, еще был странником; он жил беспризорно и умер в пустыне, на плаще под сводом сумрачного неба октябрьского»[411].

Отзывы других мемуаристов (разумеется, за исключением Екатерины) сплошь негативные, с налетом сарказма и выражения злорадства в связи с его кончиной. А. Т. Болотов писал, что смерть князя «поразила всю Россию не столько огорчением, сколько радостью». Чувство радости выразил и знаменитый новгородский наместник К. Е. Сиверс: «Так его нет более в живых, этого ужасного человека, который шутил когда-то, что станет монахом и архиепископом. Он умер, но каким образом? Естественною ли смертью, или быть может Провидение нашло орудие мести? Или это была молдаванская горячка? — дар страны, которую он поверг в несчастие и над которой он хотел царствовать».

Самым ярым ненавистником Потемкина был Ф. В. Ростопчин, много раз возвращавшийся к оценке деятельности князя в письмах к своему приятелю, послу в Лондоне С. Р. Воронцову. Вскоре после смерти Потемкина, в декабре 1791 года он писал: «…забытый совершенно, грядущие поколения не благословят его память. Он в высшей степени обладал искусством из добра делать зло и внушать к себе ненависть». Через год Ростопчин сожалел, что управитель Потемкина Попов пользовался влиянием при дворе: «Память князя, хотя и ненавистная всем, имеет еще сильное влияние на мнение двора; к нему нельзя применить пословицу: „у мертвой змеи не остается яда“.» В другом письме: «Здесь все прикидываются печальными; однако никто не скорбеет». И совсем не в духе христианской морали: «Смерть совершила свой удачный удар. Великий муж исчез; об нем сожалеют… разве только гренадеры его полка, которые, лишась его, лишились привилегии воровать безнаказанно. Что касается меня, то я восхищаюсь тем, что день его смерти положительно известен, тогда как никто не знает времени падения Родосского колосса». Не обнаружил ни единого заслуживающего в Потемкине одобрения и князь Щербатов; Потемкину, по его мнению, были присущи все существующие человеческие пороки: «властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорливость

и, следственно, роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и, можно сказать, все другие знаемые в свете пороки, которыми или сам преисполнен, или преисполняет окружающих его…»[412].

Достойно удивления, что Щербатов, акцентировавший внимание на нравственности царствующих особ и вельмож, не затронул любострастия Потемкина. Между тем он обладал пылкой страстью, отличался непостоянством, влюблялся с легкостью то в одну, то в другую красавицу и с такой же легкостью расставался с ними. Он умел им вскружить голову, находил слова, отражавшие глубокие чувства, которые не могли не тронуть самое черствое сердце. Распущенность же нравов и при дворе, и за его пределами нам уже известна из предшествующей главы.

Сохранилась переписка Потемкина с одной из его любовниц, одновременно являвшейся его племянницей, — Варварой Васильевной Энгельгардт. В одном из многочисленных писем она писала: «Я теперь вижу, что вы меня ничего не любите; когда бы вы знали, чего мне стоила эта ночь, душка злая моя, ангел мой, не взыщи пожалуйста, мое сокровище бесценное, приди, жизнь моя, ко мне теперь, ей Богу грустно, моя душа, напиши хоть строчку, утешь свою Вариньку». А вот образец письма той же «Вариньки», взбешенной неверностью любовника, письма, наполненного упреками, обидой и утраченными иллюзиями: «Если вы помните Бога, если вы когда-нибудь меня любили, то прошу вас забудьте меня навеки, а я уже решилась оставить вас. Желаю, чтобы вы были любимы тою, которую иметь будете, но верно знаю, что никто вас столь любить не может, сколько я дурачилась понапрасно; радуюсь, что в одну минуту узнала, что я только была обманута, а не любима вами».

Сохранились и любовные послания соблазнителя, которым доверилась племянница. Приведем некоторые из них: «Варинька, я тебя люблю до бесконечности, мой дух не имеет опричь тебя другой пищи… ты обещала меня любить вечно; я люблю тебя, душа моя, как еще никого не любил… Прости мое божество милое, я целую всю тебя». Или: «Не забыл я тебя Варинька, я не забуду никогда… Я целую всю тебя… Как ни слаб, но приеду к тебе. Жизнь моя, ничто мне так мило, как ты… Целую тебя крепко… голубушка, друг бесценный. Прости мои губки сладкие, приходи обедать». Еще одно послание: «Скажи, моя душа, красавица моя, божество мое, что ты меня любишь; от этого я буду здоров, весел, счастлив и покоен, я весь полон тобой».

К кануну разрыва с «Варинькой» относятся письма других дам, оставшихся неизвестными: «Как ты провел ночь, мой милый;

желаю, чтоб для тебя она была покойнее, нежели для меня; я не могла глаз сомкнуть… Мысль о тебе единственная, которая меня одушевляет. Прощай, мой ангел, мне недосуг сказать тебе более… прощай; расстаюся с тобою; муж мой сейчас приедет ко мне».

Другая, тоже неизвестная дама: «Люблю тебя безмерно и веселюсь твоей ко мне любовью, милый и бесценный друг, собственный голубчик, ангел». Ее же: «Я не понимаю, что у вас держало; неужели, что мои слова подавали повод, чтоб ранее все утихло, и я б вас и ранее увидеть могла, а вы тому испужавшись, и дабы меня не найти на постели и не пришли, но не извольте бояться; мы сами догадливы; лишь только что легла и люди вышли, то паки встала, оделась и пошла в вивлиофику (библиотеку. — Н. П.), чтоб вас дожидаться, где в сквозном ветре простояла два часа, и не прежде как уже до одиннадцатого часа в исходе и пошла с печали лечь в постель, где по милости вашей пятую ночь проводила без сна».

Во время второй русско-турецкой войны Потемкин влюбился в Прасковью Андреевну Потемкину, до замужества Закревскую, бывшую женой его троюродного брата П. С. Потемкина. Его письма к ней относятся к 1789–1790 годам. «Жизнь моя, душа общая со мной! Как изъяснить словами мою к тебе любовь, когда меня влечет непонятная к тебе сила, и потому я заключаю, что наши души сродные. Нет минуты чтобы ты, моя небесная красота, выходила у меня из мысли; сердце мое чувствует, как ты в нем присутствуешь. Суди же, как мне тяжело переносить твое отсутствие. Приезжай, сударыня, поранее, о мой друг, утеха моя и сокровище бесценное ты; ты дар Божий для меня… Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя радость! Моя любовь не безумною пылкостью означается, как бы буйное пьянство, но исполнена нежнейшим чувствованием. Из твоих прелестей неописанных состоит мой екстазис, который я вижу живо перед собою». В другом письме к ней: «Я тебе истину говорю, что тогда только существую, как вижу тебя, а мысли о тебе всегда заочно, тем только покоен. Ты не думай, чтоб сему одна красота твоя была побуждением, или бы страсть моя к тебе возбуждалась обыкновенным пламенем; нет душа, она следствием прелестного испытания твоего сердца, и от тайной силы и некоторой сродной наклонности, что симпатией называют. Рассматривая тебя, я нашел в тебе ангела, изображающего мою душу. Итак ты — я»[413].

Похоже, единственным человеком, искренне и глубоко скорбевшим о смерти Потемкина, была императрица. 16 октября 1791 года, спустя четыре дня после кончины Потемкина,

Храповицкий записывал в Дневнике: «Продолжение слез. Мне сказано: как можно Потемкина мне заменить? Все будет не то… Он был настоящий дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить»[414].

Своей печалью Екатерина несколько раз делилась с Гриммом: «Страшный удар разразился над моей головой, — писала она в половине третьего ночи, — …курьер привез горестное известие, что мой выученик, мой друг, можно сказать, мой кумир, князь Потемкин Таврический умер в Молдавии от болезни, продолжавшейся почти целый месяц. Вы не можете себе представить, как я огорчена». Далее следуют хвалебные слова в адрес покойного: «Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца; цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне любезен. В голове его непрерывно возникали новые мысли; какой он был мастер острить, как умел сказать слово кстати… Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; с летами, благодаря опытности, он исправлялся от многих своих недостатков… но в нем были качества, встречающиеся крайне редко и отличавшие его между всеми другими людьми: у него был светлый ум, смелая душа, смелое сердце… По моему мнению, князь Потемкин был великий человек, который не выполнял и половины того, что был в состоянии сделать»[415]. 12 октября: «Князь Потемкин своею смертью сыграл со мной злую шутку. Теперь вся тяжесть правления лежит на мне одной». Оплакивала императрица смерть своего соратника и два месяца спустя 12 декабря: «Дела идут тем же порядком несмотря на ужасную потерю, о которой я вам писала в ту же ночь. Заменить его невозможно, поэтому нужно родиться таким человеком как он, а конец нынешнего столетия не представляет гениальных людей»[416].

Мы нарочито начали главу отзывами современников о деятельности Потемкина и его амурных похождениях, а не закончили ими, — знакомясь с делами князя, читатель сам может убедиться, какими чувствами руководствовались мемуаристы, сообщая о нем неодобрительные отзывы: завистью, непроверенными слухами, расходившимися кругами от недоброжелателей из Петербурга, неосведомленностью о том, что творилось за тридевять земель от столицы, и т. д.

Новый этап во взаимоотношениях Екатерины и Потемкина наступил весной — летом 1776 года. Фаворит, человек, утешавший императрицу в ночные часы и дававший ей дельные советы в том случае, когда она просила о них, превратился в вельможу первой величины, соратника императрицы,

фактического владыку огромной территории, которой он управлял и распоряжался формально именем самодержицы, а фактически по своему усмотрению.

Еще в феврале 1776 года императрица и фаворит обменялись посланиями, лишенными всякой интимности: «Сухое ваше письмо я получила… я с вами о докладе изъяснюсь, когда сделаете мне честь ко мне прийти». В феврале-марте еще одно свидетельство наступившей перемены: «Прошу быть уверен, что моя искренняя дружба и чистосердечная привязанность никогда непременно во мне пребудет».

Обычно расставание с фаворитом Екатерина сопровождала щедрыми наградами: деньгами, крепостными, драгоценностями и т. д. Не обошлось без пожалований и на этот раз: 21 марта 1776 года императрица известила Потемкина о пожаловании ему княжеского достоинства Римской империи. Отныне граф Потемкин стал светлейшим князем. В мае императрица направила ему записочку, свидетельствующую о прекращении близких отношений: «Буде есть в тебе капля крови, еще ко мне привязанная, то сделай милость — прийди ко мне и выложи бешенство».

То, что любовь осталась в прошлом, показывает письмо Потемкина императрице, датированное февралем-мартом 1776 года: «Позволь, голубушка, сказать последнее, чем я думаю, наш процесс и кончится. Не дивись, что я беспокоюсь в деле любви нашей. Сверх бессчетных благодеяний твоих ко мне, поместила ты меня у себя на сердце. Я хочу быть тут один преимущественно всем прежним для того, что тебя так никто не любил; а как я дело твоих рук, то и желаю, чтоб мой покой был устроен тобою, чтоб ты веселилась, делая мне добро»[417].

В другом послании Потемкин выразил горячее желание служить императрице: «Моя душа бесценная, ты знаешь, что я весь твой, и у меня только ты одна. Я по смерть тебе верен, и интересы твои мне нужны».

Переписка Екатерины с Потемкиным не прекращалась и в последующие 15 лет. Более того, она стала более интенсивной, ибо корреспонденты были отделены друг от друга многими сотнями верст, и приобрела новые черты. Главная из них состояла в официальном содержании писем и исчезновении прежней интимности. Вместо «голубчик родной», «душа милая и бесценная» императрица в 70-х годах прибегала к таким официальным обращениям, как «князь Григорий Александрович», «светлейший князь, милостивый государь», «князюшка». С конца 70-х годов обращения становятся менее официальными и более сердечными, внешне напоминающими прежние времена: «батя»,

«батинька князь», «князенька батинька». Об укреплении дружественных отношений можно судить и по заключительным фразам писем и рескриптов Екатерины: от «пребываю навеки дружелюбна» и «пребываю к вам отлично благожелательна», с которыми она обращалась к вельможам, до фамильярных и нежных: «Прощай мой милый друг», «мой дорогой и горячо любимый друг», «друг мой сердечный», «князюшко друг мой сердечный».

Менялся и тон донесений Потемкина. Поначалу: «Матушка, государыня», «всемилостивейшая государыня». В 80-х годах обращения изменяются: «Моя матушка родная, сударка моя», «милостивейшая матушка». Однако заканчивал свои письма Потемкин почти всегда подчеркнуто верноподданически: «Вашего императорского величества наивернейший раб князь Потемкин» или «Вернейший по смерть раб твой», а после запрещения употреблять слово «раб» — «Вернейший и благодарнейший подданный князь Потемкин Таврический».

Иногда императрица использовала давно забытые слова: «Я люблю тя, князь, и не забуду тя» или: «Я сама, ваша светлость, вас очень, очень и очень люблю». Любовные слова, заимствованные из лексики медового месяца, теперь наполнились иным содержанием: «За ушки взяв обеими руками, тебя целую, друг мой сердечный». Потемкин отвечал: «Мне польза ваших дел столь дорога как моя жизнь»; «Моя матушка родная, люблю тебя беспримерно»; «…Я вам верен, я вам благодарен, я вас чту матерью. Лично для меня тут хорошо и славно, где могу положить живот за тебя, чего я не только не удалялся, но и искал»[418]. «Не щажу я ни трудов, ни жизни»; «Моя матушка родная, я право вас люблю как душу». Это была иная любовь, выражавшая удовлетворение верного соратника и ученика, признание заслуг преданного подданного и готовность преодолевать любые трудности при выполнении поручений императрицы. Именно деловые качества Потемкина, его неистощимая энергия, достигнутые успехи во всех сферах деятельности обязывали Екатерину проявлять о своем ученике и соратнике материнскую заботу.

В «Чистосердечной исповеди» Екатерина называла Потемкина богатырем. На поверку оказалось, что он обладал отнюдь не богатырским здоровьем. То ли он подорвал его будучи фаворитом, то ли от общения с многочисленными дамами, которые его окружали в Новороссии, то ли от огромного напряжения физических сил и изматывавших продолжительных поездок из одного конца обширного края в другой, то ли, наконец, от непривычного климата, но Григорий Александрович

часто и продолжительно болел, что крайне беспокоило Екатерину. «Береги себя для меня. Ты знаешь, что ты мне очень, очень нужен». «Унимать тебя некому… при первом свидании за уши подеру», — грозила Екатерина, узнав от Потемкина, что тот за три дня в январе преодолел расстояние от Кременчуга до Могилева. «Устал как собака, съездивши день и ночь». 31 августа 1783 года императрица выговаривала: «Браниться с тобою и за то хочу, для чего в лихорадке и горячке скачешь повсюду».

Императрица была вполне уверена и в преданности Потемкина, и в готовности выполнить самое сложное или деликатное поручение. «Вижу, что ты летал повсюду на сухом пути и на воде и распорядил все нужное». «Видит Бог, что я тебя люблю и чту, яко умнейшего и вернейшего друга», — писала императрица в конце 1782 года.

Потемкин и Екатерина отдавали отчет в необходимости друг другу, они дополняли один другого. Григорий Александрович никогда не забывал, что он всем обязан Екатерине. В 1789 году он писал ей: «Ты едина моя мать, ты от первой степени офицера возвела меня на вышний, ты подала мне способы оказаться достойным». Признание заслуг Потемкина и полезности его деятельности для России заложено в словах императрицы, говорившей, что он принадлежит не себе, а государству и ей, Екатерине. Она писала Потемкину в 1783 году: «Жалею и часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я, как без рук». «Ты сам знаешь, — писала императрица, получив известие о том, что русские войска, расположенные в Крыму, избежали эпидемии чумы, — колико я чувствительна к заслугам, а твои — отличные, так как и моя к тебе дружба и любовь». Или: «Я ведаю как ты не умеешь быть болен и что во время выздоровления никак не бережешься».

Потемкин знал, что у него много завистников и врагов, и просил защиты у императрицы: «Я у вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю, но пакостники мои неусыпны в злодействе конечно будут покушаться. Матушка родная, избавьте меня от досад: опричь спокойствия нужно мне иметь свободную голову». Императрица заверила князя: «Злодеи твои, конечно, у меня успеха иметь не могут».

Деятельность Потемкина на юге России охватывала четыре сферы, в каждой из которых он оставил заметный след. Главнейшей из них надлежит считать хозяйственное освоение Северного Причерноморья — заселение края, основание новых городов, развитие земледелия на некогда пустынных землях; три другие — присоединение Крыма к России, создание военно-морского флота на Черном море и, наконец, руководство

военными операциями в годы Второй русско-турецкой войны 1787–1791 годов.

Из этих сфер наиболее сложной было освоение края, требовавшее неустанных повседневных забот, на первый взгляд дававших малозаметные результаты, но в конечном счете завершившихся блестящими успехами. Именно здесь в первую очередь проявились незаурядные организаторские таланты Григория Александровича, его умение определить главные направления, на которых надлежало сосредоточить и собственную энергию, и находившиеся в распоряжении ресурсы.

Потемкин был назначен губернатором Новороссийской губернии указом 31 марта 1774 года, то есть до заключения Кючук-Кайнарджийского мира. По этому миру к России отошли крепости Керчь и Еникале в Крыму на побережье Керченского пролива, крепость Кинбурн, охранявшая выход в Черное море из Днепра, а также пространство между Днепром и Бугом и огромные территории к востоку от Азовского моря. Напомним, этот же мир предусматривал независимость Крыма от Османской империи. Важность этих условий договора определялась тем, что Россия с одной стороны утвердилась в Северном Причерноморье и обеспечила себе выход в Черном море, а с другой — обеспечила безопасность своих южных владений от набегов крымских татар, формально лишившихся поддержки Османской империи.

Задача Потемкина, ставшего с 1775 года наместником Новороссии, в состав которой вошла, помимо Новороссийской губернии, вновь образованная Азовская, состояла в хозяйственном освоении обширной территории. Начинать надлежало с заселения ранее пустынного края.

С этой целью еще в 1764 году был разработан план земельных раздач всем переселенцам, за исключением помещичьих крестьян; вся территория разбивалась на участки в 26 десятин на земле с лесом и 30 десятин в безлесных. Поселенцам предоставлялась существенная льгота: они освобождались от уплаты податей и прочих налогов на срок от 6 до 16 лет. План 1764 года предусматривал и насаждение в крае помещичьего землевладения: если помещик давал обязательство заселить земельные дачи своими крепостными, то их размер мог достигать 1440 десятин.

Эффективность плана 1764 года была невелика, и Потемкин ввел новшества, которые должны были стимулировать поток переселенцев и повысить заинтересованность помещиков в переводе своих крестьян из центральных неплодородных уездов на тучный чернозем Северного Причерноморья: он увеличил размер дач для крестьян и горожан вдвое — до 60 десятин, а

размер дач для помещиков до 12 тысяч десятин. Вербовщики переселенцев получали денежное вознаграждение, а наиболее активные из них — даже дворянское звание: так, купцу Алексею Кунину за переселение 150 человек Потемкин в 1780 году пожаловал капитанский чин[419].

Результаты переселенческой политики Потемкина сказались довольно быстро: если к 1774 году население Новороссийской губернии составляло около 200 тысяч человек, то через два десятилетия (к 1793 году) оно возросло более чем вчетверо и достигло 820 тысяч человек. Национальный состав поселенцев отличался крайней пестротой: большинство составляли русские (отставные солдаты, государственные крестьяне, горожане); в Екатеринославском наместничестве проживали также болгары, молдаване, греки, переселившиеся с территорий, подвластных Османской империи, а также с Крымского полуострова; греки, вывезенные из Крыма, основали в 1779 году при устье Кальмиуса город Мариуполь, а крымские армяне, переселившиеся в устье Дона, — город Нахичевань.

О масштабности мышления Потемкина, как и его наставницы, ставившей превыше всего интересы государства, можно судить по готовности светлейшего ущемить интересы помещиков в угоду интересам государственным: в 1787 году он выступил с предложением не возвращать беглых из наместничества. «Противно было бы пользе государственной запретить здесь принятие беглецов, — рассуждал князь. — Тогда Польша всеми бы ими воспользовалась»[420]. Помимо вольной колонизации осуществлялась и правительственная: в 1778–1785 годах в Екатеринославское наместничество было переселено 20 тысяч экономических крестьян[421].

С именем Потемкина связано возникновение новых городов. Едва ли не самым важным был основанный в торжественной обстановке в 1778 году город Херсон. Ему предназначалась роль главной базы строившегося Черноморского флота, а также порта, связывавшего Россию с Османской империей и странами Средиземноморья. Верфь начала действовать уже через год — в 1779 году на ней был заложен первенец Черноморского флота 60-пушечный корабль «Слава Екатерины».

На строительстве крепости, верфи, адмиралтейства, административных зданий было занято до 10 тысяч работников, среди которых большинство составляли солдаты; из внутренних губерний были доставлены специалисты — плотники, каменщики, кузнецы.

В том же 1778 году на берегу реки Кильчени Потемкин заложил еще один город — Екатеринослав, призванный закрепить

славу императрицы в освоении края. Уже через четыре года в нем насчитывалось более 2200 жителей обоего пола, созданы два училища: одно — для детей дворян, другое — для разночинцев, основаны два предприятия — кожевенное и свечное. Вскоре, однако, было обнаружено, что место для города избрали неудачно, и город перенесли на Днепр. Относительно Екатеринослава Потемкин вынашивал грандиозные планы. Он предполагал создать там университет, обсерваторию, 12 промышленных предприятий, соорудить множество фундаментальных зданий, в том числе колоссальных размеров храм, подобный храму Святого Петра в Риме, «судилище, наподобие древних базилик», огромные склады и магазины.

Все эти планы не были реализованы, хотя начали строиться дома для профессоров университета. Из промышленных предприятий Потемкин успел пустить только чулочную фабрику, на которой были изготовлены для поднесения Екатерине шелковые чулки, такие тонкие, что уместились в скорлупе грецкого ореха. Детищем Потемкина явились и такие города, как Никополь, Павлоград, Николаев и др.

Основным занятием населения наместничества было земледелие. О его успехах можно судить по тому, что уже в 90-е годы край превратился в экспортера пшеницы и пшеничной муки, правда, пока в скромных размерах: в 1793 году было продано свыше 264 четвертей пшеницы и пшеничной муки.

Особым попечением Потемкина пользовались ремесло и промышленность. Наместник Новороссии проводил покровительственную политику, полагая, что «всякое новое заведение, особливо в крае, никаких еще мастеров не имеющем, требует со стороны казенной поощрения и помощи». Успехи здесь были невелики отчасти из-за отсутствия полезных ископаемых, отчасти из-за недостаточно развитого рынка, отчасти из-за отсутствия необходимых специалистов. Поэтому в наместничестве сосредоточивались промыслы, связанные с обработкой продуктов земледелия и скотоводства; винокурни и кожевенные предприятия, а также кирпичные заводы, которых в 1793 году насчитывалось 26 — новые города предъявляли большой спрос на кирпич и строительные материалы.

В 1787 году, во время своего знаменитого путешествия в Крым, императрица осматривала все созданное при активном участии Потемкина. Она осталась довольна увиденным и об этом многократно заявляла как в письмах к князю, так и публично.

Второй по важности акцией Потемкина можно считать его активное участие в присоединении к России Крыма. Судьба ханства была предрешена еще Кючук-Кайнарджийским миром,

когда Крым был фактически окружен русскими владениями. У ханства оставался единственный путь связи с внешним миром — море, но крымцы не обладали морским флотом. Реализации плана присоединения Крыма к России пришлось ждать несколько лет.

По условиям Кючук-Кайнарджийского договора Крымское ханство объявлялось независимым государством. Впрочем, независимость была фиктивной, ибо ханство не располагало собственными силами, чтобы защищать свой суверенитет. Фактически Крым превратился в арену соперничества России с Османской империей за ханский трон: каждая из сторон желала видеть на нем своего ставленника.

Крымским ханом после заключения Кючук-Кайнарджийского мира стал ориентировавшийся на Россию Сагиб-Гирей; однако, опираясь на военную поддержку Османской империи, его в 1776 году лишил трона Девлет-Гирей. Екатерина, опираясь на находившиеся в Крыму русские войска, возвела на престол своего ставленника Шагин-Гирея.

Обстановка в Европе и Османской империи благоприятствовала тому, чтобы разрубить узел противоречий в Крыму, присоединив его к России. Единственной страной, которая могла оказать сопротивление намерениям России, была Австрия, но с ней Россия находилась в союзе и к тому же Австрия, подобно России, была заинтересована в ослаблении Османской империи. За день до обнародования Манифеста о присоединении Крыма Екатерина писала Иосифу II: «Я надеюсь, что на этот раз собственные силы моего государства будут достаточны для того, чтобы принудить Порту к миру надежному, выгодному и соответствующему моему достоинству»[422]. Что касается самой Турции, то ее военный потенциал расценивался в Петербурге крайне низко.

Интерес Екатерины к присоединению Крыма искусно и энергично подогревал Потемкин. В конце 1782 года он отправил императрице послание, обосновывавшее необходимость решительных действий. «Крым положением своим, — рассуждал князь, — разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны кубанской — в обоих сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце.

Положите же теперь, что Крым ваш и что нету уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других.

Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубани сверх частных крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово».

Под конец Григорий Александрович, хорошо изучивший натуру императрицы, пустил в ход еще один, едва ли не важнейший аргумент: «Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море. От вас зависеть будет запирать ход туркам и кормить их или морить с голода».

Там, где речь шла о славе, убеждать честолюбивую Екатерину предпринять решительные действия не было надобности, тем более что князь предложил перечень мер, способных сковать силы турок и удержать их от объявления войны: увеличить численность войск на западной границе с Турцией, а также на Кубани и Кавказе. Для экономической изоляции Османской империи Потемкин рекомендовал отправить в архипелаг флот с задачей воспрепятствовать доставке продовольствия из Египта и с островов.

Известно, что действия Екатерины, продуманные и осторожные, отличались от импульсивных поступков князя. Но на этот раз роли поменялись: осторожность, предусмотрительность и тонкую дипломатическую игру затеял Потемкин, а императрица, напротив, выражала нетерпение, ожидая, когда, наконец, князь преподнесет ей бесценный подарок. Она убеждала сделать это поскорее, «дабы турки не успели оному наносить препятствие», если им станет известно намерение России до его осуществления, — писала Потемкину императрица 30 мая. 9 июня: «Прошу тебя всячески: не мешкай занятием Крыма». Но князь «мешкал», намереваясь организовать присоединение Крыма так, чтобы сами татары просили об этом императрицу. Медлительность Потемкина как раз и объяснялась тем, что отрекшийся от ханского престола в пользу российской императрицы правитель все еще находился в Крыму и татары отказывались присягать Екатерине до тех пор, пока он не покинет полуостров. Другую причину задержки Потемкин объяснял тем, что «истинно нельзя было без умножения войск, ибо в противном случае нечем бы было принудить»[423].

Указ о присоединении Крыма к России был обнародован 8 апреля 1783 года.

Секретный рескрипт о присоединении Крыма императрица

отдала Потемкину еще 14 декабря 1782 года, предоставив ему право опубликовать его, когда сочтет надобным. В нем дано обоснование необходимости присоединения Крыма к России: чтобы сохранить независимость Крыма, сказано в рескрипте, Россия должна изнурять себя содержанием близ границ значительной армии. «Таковы бдение над крымскою независимостью принесло уже нам более семи миллионов чрезвычайных расходов, не считая непрерывного изнурения войск и потери в людях, кои превосходят всякую цену». Для обнародования рескрипта императрица рекомендовала воспользоваться любым поводом: похищением нынешнего хана, ориентировавшегося на Россию, его изменой, вмешательством в крымские дела Османской империи. Потемкин воспользовался более выгодным для России поводом для присоединения Крыма — добровольным отречением хана от престола.

В июле Потемкин извещал Екатерину: «Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все. Вам еще то приятнее и славнее, что все прибегли под державу вашу с радостию». Потемкин вполне оценил историческое значение этой акции. «Род татарский, — писал он Екатерине в августе, — тиран России некогда, а в недавних временах стократный разоритель, коего силу подсек царь Иван Васильевич. Вы же истребили корень. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской. Взойди на трофей, не обагренный кровью, и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги»[424]. Так был присоединен к России Крым — без единого выстрела, без пролитой капли крови. В декабре 1783 года Турция, скрепя сердце, признала присоединение Крыма к России. Это позволило Потемкину заявить, что турки «кажется о Крыме спорить не будут». Екатерина вполне оценила роль в этой акции Потемкина — он стал называться Потемкиным Таврическим, а в 1784 году пожалован чином фельдмаршала и президентом Военной коллегии.

Следующая забота Потемкина состояла в хозяйственном освоении Таврической области, как стало называться Крымское ханство. Дело в том, что после Кючук-Кайнарджийского мира здесь осталась только треть прежнего населения — примерно 50 тысяч человек. Убыль была связана с отъездом части татар в Турцию, а части христиан — в Россию. Задача состояла в том, чтобы увеличить численность жителей Крыма за счет переселения туда государственных крестьян, отставных солдат, рекрутов, выходцев из Турции, а также беглых крестьян. Выходцам из Польши и старообрядцам гарантировалось свободное выполнение обрядов. В 1785 году Потемкин распорядился о переселении в

Крым рекрутских жен и вдов. По данным на 1786 год, из переведенных туда 1497 женщин 1032 являлись солдатскими женами, а остальные 465 — одинокими, которые тут же были выданы замуж.

Князь Потемкин Таврический придавал огромное значение установлению дружеских контактов с местным населением. От командовавшего русскими войсками генерала Дебальмена он требовал, чтобы солдаты и офицеры «обращались с местными жителями как с собратьями своими», а у императрицы просил денег «на содержание некоторых мечетей, школ и фонтанов публичных»[425].

Не забыты были интересы верхушки татарского общества. Хану, поселившемуся в России, Екатерина пожаловала колоссальный по тем временам пенсион — 200 тысяч рублей в год. Татарской знати в количестве 334 человек в 1791 году были предоставлены права и привилегии российского дворянства.

Военно-административная деятельность Потемкина развернулась на двух поприщах: в качестве президента Военной коллегии и создателя военно-морского флота на Черном море. Современники резко отрицательно отзывались об управлении князем Военной коллегией. А. А. Безбородко извещал своего приятеля С. Р. Воронцова в 1784 году: «По Военной коллегии не занимается он кроме секретных и самых важных дел, дав скорее течение прочим». В свою очередь граф С. Р. Воронцов писал своему брату: «Князь Потемкин даром, что он военный министр, ничуть не годится для этой должности; он вздумал сооружать крепости при помощи нехороших топографических карт; таким образом был построен Херсон, таким образом сооружена Моздокская линия укрепления, напрасно специалисты, люди знающие, старались убеждать князя в невозможности такого образа действий, он считал себя Вобаном и верил безусловно в свою способность в математике». Князь Ю. В. Долгорукий тоже разделял мнение о неспособности Потемкина управлять Военной коллегией: «В начальство Чернышова армейские дела шли, можно сказать, по музыкальным нотам, а Потемкин в армии все расстраивал… Гусарские полки, кои были всегда хороши, переделал в легкоконные». После кончины Потемкина Безбородко осуждал его за неравнодушие к донским казакам, удивляясь «более всего странной страстью князя к казакам, которая до того простиралась, что он все видимое превращал в это звание»[426].

Недостатки, о которых писали современники, связаны с двумя обстоятельствами. Первое и главное состояло в том, что Военная коллегия находилась в столице империи, а ее президент бывал в Петербурге лишь наездами, то и дело переезжая из

одного пункта обширного наместничества в другой, что, разумеется, не способствовало укреплению дисциплины ни в учреждении, ни в армии. Кроме того, рутинная канцелярщина противоречила натуре князя, питавшего пристрастие к живому делу, результаты которого видны невооруженным глазом.

И все же Потемкин оставил о себе добрую память, прежде всего среди солдат, введением новой формы одежды. В марте-апреле 1783 года он, еще будучи вице-президентом Военной коллегии, подал императрице записку с обоснованием необходимости избавить солдат от одежды, стеснявшей движения, плохо защищавшей тело от непогоды и требовавшей огромных усилий для содержания ее в надлежащем порядке. Речь шла о косах, шляпах, клапанах, обшлагах, а также о ружейных приемах. «Словом, — заключал князь, — одежда войск наших и аммуниции таковы, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата, тем паче, что он, взят будучи из крестьян, в 30 почти лет возраста узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее платье и пропасть вещей, век сокращающих».

Потемкин отметил и конкретные недостатки отдельных элементов экипировки: шляпа негодна, ибо «головы не прикрывает и, торча во все стороны, озабочивает навсегда опасность, чтоб ее не измять»; лосиные штаны в коннице выдаются на такой длительный срок, что солдат, чтобы сохранить их, должен был приобретать суконные, расходуя собственные деньги из своего скудного жалованья; сапоги настолько узки, что их с трудом надевают и с еще большими трудностями снимают, в особенности, если они в непогоду намокли.

«Завивать, пудриться, плесть косы, солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрой, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов». Новая форма одежды и туалет не должны изнурять солдат, вводить их в дополнительные расходы на приобретение пудры, помады, лент, краски и прочего. Все это привнесено в русскую армию иноземными офицерами, равно как и муштра, в результате которой солдаты, «занимая себя таковой дрянью, не знают самых важных вещей: разных построений и оборотов»[427].

Потемкину принадлежит слава основателя Черноморского военно-морского флота. Первый линейный корабль «Слава Екатерины» был спущен на воду в 1781 году. По поводу названия корабля между князем и императрицей состоялся обмен мнениями. «Это наименование я берусь оправдать и в случае действительном», — писал Потемкин, обращаясь к Екатерине с

просьбой назвать корабль ее именем. Императрица отвечала: «Пожалуй, не давай кораблям очень огромные имена, чтобы слишком знаменитые имена не стали бы в тягость и чтобы не было слишком затруднительно выполнять им подобную карьеру; впрочем, как хочешь с именами; держи узду в руках, потому что — лучше быть, чем казаться и не быть».

На верфях Херсона, Таганрога и Севастополя сооружались линейные корабли и фрегаты. В короткие сроки флот стал представлять грозную силу, которую Потемкин демонстрировал Екатерине во время ее пребывания в Севастополе. Князь облюбовал бухту близ татарской деревни Ахтиар и превратил гавань, лучше которой не было, по его мнению, во всем свете, в стоянку Черноморского флота, названную им Севастополем. Укреплять Севастополь Потемкин начал сразу же после присоединения Крыма к России.

Кажется, менее всего Потемкин Таврический прославился в качестве полководца. Когда началась русско-турецкая война 1787–1791 годов, Григорию Александровичу пришлось выполнять непривычные для него обязанности главнокомандующего русскими войсками. Если бы его не окружали блестящие полководцы, среди которых первенствовали А. В. Суворов и П. А. Румянцев, если бы князя не поддерживала и не воодушевляла императрица, когда тот пребывал в растерянности, то ход военных действий мог принять совсем иной оборот. В самом начале войны Екатерина заверила фельдмаршала в полном к нему доверии и готовности защищать его от нападок — «чтоб тебе никто и ничем помеху не сделал, ниже единым словом. И будь уверен, что я тебя равномерно защищать и оберегать намерена, как ты меня от неприятеля…»[428].

В самом начале войны Потемкин серьезно заболел. 16 сентября он извещал Екатерину: «…Я в слабости большой, забот миллионы, ипохондрия пресильна. Нет минуты покою. Право не уверен, надолго ли меня станет. Ни сна нету, ни аппетиту». Через три дня новая жалоба на здоровье, сопровождавшаяся просьбой об отставке с передачей своих полномочий П. А. Румянцеву. «Спазмы мучат, и, ей Богу, я ни на что не годен… Будьте милостивы, дайте мне хотя мало отдохнуть». Еще через три дня, 24 сентября, после получения известия, что буря уничтожила выпестованный Потемкиным Черноморский флот, ипохондрия достигла высшего накала. «Я при моей болезни поражен до крайности, нет ни ума, ни духу». Повторяет просьбу: «Хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится». Императрица отвечала: «…Ничего хуже не можешь делать, как лишить меня и империю низложением твоих

достоинств человека самонужного, способного, верного, да при том и лутчего друга. Оставь унылую таковую мысль, ободри свой дух…» Князь однако настаивает: «…Сжальтесь над моим слабым состоянием, я не в силах: дела ваши от сего потерпят».

В ответ императрица успокаивала, обнадеживала и придавала его здоровью государственное значение: «Вы принадлежите государству и мне, — писала она 24 сентября 1787 года, — вы должны, приказываю вам, беречь свое здоровье»[429].

Пребывая в состоянии депрессии, Потемкин просил разрешения вывести войска из Крыма. Екатерина оказалась мудрее и тверже характером: ни в коем случае, отвечала императрица, оставление Крыма откроет туркам и татарам прямой путь «в сердце империи, ибо в степи едва ли удобно концентрировать оборону».

В середине декабря Потемкин почувствовал некоторое облегчение и известил императрицу о своем намерении отправиться в Херсон и осажденный турками Кинбурн. Намерение вызвало тревогу Екатерины: «Я удивляюсь тебе, как ты в болезни переехал и еще намерен предпринимать путь в Херсон и Кинбурн». Тем не менее Потемкин отправился в путь и 22 октября доносил: «Я объехал семьсот верст, ослабел очень. Впротчем болезнь моя становится легче».

Находясь в Елизаветграде, Потемкин решил овладеть Очаковым, возложив на себя руководство операцией. Однако она не принесла ему лавров талантливого полководца. Напротив, его подвели качества отнюдь не присущие одаренному военачальнику: медлительность, нерешительность, отсутствие чутья и здравого расчета при выборе самого благоприятного времени для атаки.

Это, однако, не мешало Потемкину проявлять личную отвагу, причем не ради того, чтобы покрасоваться перед подчиненными, а чтобы личным примером воодушевить их на подвиги.

11 сентября 1788 года он писал императрице, которая неустанно призывала его к осторожности: «Не щажу я ни трудов, ни жизни. Тому свидетели все. Намедни ездил рекогносцировать на шлюбке в такой близости, что турецкие картечи через шлюбку летали. Но Бог везде хранит. Тут был случай убиту, потоплену и взяту в полон. Вы опять, матушка, изволите сказать, что ненадобно этого делать. Но мне долг говорит, что надобно. От этого все генералы суются под пушки»[430]. Императрица ожидала взятия Очакова еще в ноябре 1787 года. Тогда она рассуждала так: «Честь моя и собственная княжая требуют, чтоб он не удалялся в нынешнем году из армии, не сделав какого-нибудь славного дела — хотя б Очаков взяли! Бог знает, почему он

унывает и почти печальные письма пишет. Должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась».

Однако истекли холодные месяцы зимы, унесшие немало жизней от стужи, наступила весна, а успехов — никаких. А. В. Суворов давал обязательство овладеть крепостью еще в апреле, когда ее гарнизон насчитывал четыре тысячи человек, но Потемкин ему отказал, мотивируя свой отказ возможностью понести значительные потери во время штурма: «Я на всякую пользу тебе руки развязываю, но касательно Очакова попытка может быть вредна; я все употреблю, чтобы достался он дешево».

В мае 1788 года, после получения очередной депеши от Потемкина, Екатерина заявила: «После сего не только фельдмаршал (Румянцев. — Н. П.) и если б вся Россия вместе с ним против князя восстали — я с ним».

Активных боевых действий для овладения Очаковым князь не предпринимал вплоть до конца 1788 года. Иссякало терпение и у Екатерины. Мамонов говорил Гарновскому в начале октября 1788 года: «Государыня недовольна». Впрочем, открыто это недовольство императрица не высказывала в письмах, хотя настойчиво напоминала о необходимости овладеть крепостью. «Ничего на свете так не хочу, как чтоб ты мог по взятии Очакова… приехать на час сюда», — писала она 7 ноября 1788 года. 27 ноября: «Возьми Очаков и сделай мир с турками»[431].

Неизвестно, сколь долго Потемкин не предпринимал бы решительных действий и зря терял солдат от небывалой в этих краях холодной зимы, если бы 5 декабря ему не объявил дежурный генерал, что осаждавшие лишены топлива, а оберпровиантмейстер дополнил: хлеба не хватит даже на один день. Только после этого, 6 декабря 1788 года, фельдмаршал решился на штурм. Штурм был крайне кровопролитным и стоил больших потерь. Это, однако, не помешало императрице щедро наградить Потемкина: она пожаловала ему фельдмаршальский жезл, осыпанный алмазами и драгоценными камнями, велела Сенату заготовить грамоту с перечислением заслуг князя, выбить в его честь медаль с надписью «Усердием и храбростью», наградила орденом Георгия 1-й степени, подарила 100 тысяч рублей на достройку Таврического дворца, золотую шпагу, поднесенную на золотом блюде.

Восторгу Екатерины не было конца. Поздравляя фельдмаршала, она писала: «Всем, друг мой сердечный, ты рот закрыл, и сим благополучным случаем доставляется тебе еще способ оказать великодушие»[432].

После овладения Очаковым Потемкин вновь запросил

отставку. «Изволите говорить, — писал он Екатерине, — что не время думать теперь о покое. Я, матушка, писал не о телесном покое, но успокоить дух пора. Заботы повсеместные, бдение на нескольких тысячах верстах границ, мне вверенных, неприятель на море и на суше, которого я не страшусь, да не презираю. Злодеи, коих я презираю, но боюсь их умыслов; сия шайка людей неблагодарных, не мыслящих, кроме своих выгод и покою, ни о чем, вооруженные коварством делают мне пакости образами. Нет клеветы, чтобы они на меня не возводили». Потемкину в отставке было отказано и на этот раз.

Положение Потемкина после овладения Очаковым упрочилось настолько, что он не счел необходимым на зимние месяцы, когда военные действия затихали, отправиться в столицу для свидания со своей наставницей и благодетельницей. Он остался в Яссах, затем отправился в Бендеры, где его задержало очередное увлечение новой красавицей, княгиней Е. Ф. Долгоруковой. В Яссах и Бендерах Потемкин окружил себя необычайной роскошью и походил на государя, жившего среди блистательного двора; один праздник сменялся другим, его фантазия не знала границ: то он для полюбившейся дамы отправил в Париж специального курьера, чтобы тот доставил ей туфли к балу, то на празднике в ее честь велел наполнить хрустальные бокалы для дам не вином, а жемчугами. Чудачества, которым он предавался в молодые годы, на исходе жизни приобрели новый размах.

Княгиня П. Ю. Гагарина рассказала об инциденте, происшедшем в Яссах в 1790 году. Однажды Потемкин схватил ее за талию, за что публично получил звонкую пощечину. Все были удивлены отважным поступком и ожидали скандала. Супруг хотел увезти ее домой, но княгиня воспротивилась и попыталась превратить случившееся в шутку.

Потемкин удалился в свой кабинет, через четверть часа вышел из него, делая вид, будто ничего не случилось, и, поцеловав руку княгине, поднес ей изящную бомарьерку с надписью «Temple de l'Amitie» («Храм дружбы»)[433].

Автор монографии о Потемкине А. Г. Брикнер приводит описание пребывания Потемкина в Могилеве в январе 1789 года: «Около семи часов перед губернаторским домом остановились его сани. Из них вышел высокого роста и чрезвычайно красивый человек с одним глазом. Он был в халате и его длинные нерасчесанные волосы, висевшие в беспорядке по лицу и плечам, доказывали, что человек этот менее всего заботится о своем туалете…» В передней губернатора произносились приветствия от сословий. Они «были так же длинны, как коротки его ответы,

ограничивавшиеся, впрочем, одним благосклонным наклонением головы». Затем вошли в залу, «мы простояли вдоль стен залы еще более двух часов. Князь во все это время не открывал рта и не подымал головы, как с тем, чтобы проглотить большой стакан кислых щей, который ему подносили каждые четверть часа. Мне сказывали, что этот напиток, приготовленный для него необыкновенно густым, служит ему питьем и пищею, и он выпивал его в день до пятнадцати бутылок».

На следующий день князь, сидя за тем же столом, «провел несколько часов, не подавая других признаков жизни, как дергая время от времени за звонок, причем адъютант его или сам наместник выходили за приказанием. Около полудня нас уведомили, что его светлость скоро выйдет. Действительно, он показался, прошелся два или три раза по зале, осмотрел всех и каждого и, не сказав ни слова, возвратился через несколько минут на свое место». Тогда началось представление тех, кто хотел обратиться к нему с просьбами либо прочитать в его честь стихи.

После начался обед, ипохондрия прошла, князь выглядел совсем по-другому: он «сел обедать вместе с нами и разговаривал довольно весело с наместником. Он был по вчерашнему в халате… Князь Потемкин имеет двести тысяч душ крестьян: этого слишком достаточно для человека, который пьет только кислые щи и не платит никому долгов»[434].

Таков был светлейший, избалованный вниманием окружающих, не признававший этикета и уважительного отношения к нижестоящим, человек неуравновешенный, внезапно предававшийся меланхолии и столь же внезапно приобретавший облик беззаботного весельчака.

4 февраля князь прибыл в столицу, а лето провел в ставке в Дубоссарах, которая, по свидетельству современника, «весьма похожа была великолепием на визирскую; даже полковник Боур посадил вокруг нее сад в английском вкусе». В столице Екатерина организовала фельдмаршалу пышную встречу: дорога от Царского Села до Петербурга была иллюминована, императрица демонстрировала уважение к Потемкину тем, что первой нанесла ему визит. Двор, подражая Екатерине, устраивал герою пышные торжества.

Несомненное достоинство Потемкина состояло в отсутствии зависти к успехам подчиненных на поле брани. Именно при его содействии раскрылись полководческие дарования А. В. Суворова и таланты флотоводца Ф. Ф. Ушакова. Получив известие о победе при Рымнике, Потемкин писал Суворову: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты во мне возбуждаешь желание иметь тебя

повсеместно»[435]. По представлению Потемкина императрица пожаловала Суворова графом и к его фамилии прибавила: «Рымникский».

Последний приезд Потемкина в столицу состоялся 28 февраля 1791 года. Это было триумфальное шествие, еще более пышное, чем путешествие после взятия Очакова. А. Т. Болотов описал прибытие Потемкина в Лопасню, на пути в Москву: «Мы нашли и тут великие приуготовления к приезду княжескому и видели расставленные повсюду дегтярные бочки для освещения в ночное время пути сему вельможе. Словом, везде готовились принимать его как бы самого царя. А он, по тогдашнему своему полновластию, и был немногим ниже оного». О пребывании его в Москве Болотов записал: «Вся знать обратилась к нему для обыкновенного идолопоклонства; но нам удалось видеть его только однажды, проезжающего на нашей улице с пышною и превеликою свитою»[436].

Никогда Потемкин не пользовался таким влиянием на Екатерину, как в этот свой последний приезд в столицу. «Князь у вас силен и всемогущ», — писал Кирилл Григорьевич Разумовский своему сыну. Ему вторил Андрей Кириллович Разумовский, писавший: «Екатерина и Потемкин, не имеющий равных себе гений, приводят в удивление человечество и делают ему честь».

На исходе жизненного пути Потемкина он и Екатерина как бы вспомнили, что являются супружеской парой и в переписке изливали друг другу нежные чувства и трогательную заботу, словно два десятилетия назад. Теперь настала пора доверить бумаге чувства верности и благоговения друг к другу. При непосредственном же общении Екатерина делала все, чтобы удовлетворить честолюбие своего соратника и прилежного ученика, или, как называл себя сам Григорий Александрович, «по смерть вернейшего» ее «питомца», которому она была обязана многими успехами своего царствования.

Самым впечатляющим происшествием, на долгие годы сохранившимся в памяти столичной знати, стал прием, устроенный князем в четверг 28 апреля в подаренном ему Таврическом дворце. Об украшении дворца свидетельствуют грандиозные расходы князя — только в первые дни пребывания в Петербурге он издержал 100 тысяч рублей. Из лавок на прокат было взято до 200 люстр и множество зеркал, завезено 400 пудов воска для изготовления 10 тысяч свечей и 20 тысяч стаканчиков для них. Прислугу, насчитывавшую сотню человек, нарядили в новые роскошные ливреи. Зимний сад, эстрада, мраморная статуя императрицы, картины, гобелен, ковры, изготовленный из золота

слон с механизмом, приводившим в движение хвост и уши, с часами на спине — вся эта роскошь предназначалась для того, чтобы порадовать глаз императрицы и удивить гостей. Гостей обслуживали 80 лакеев, 12 гусар, 12 егерей и 4 великана-гайдука. Появление императрицы было встречено двумя кадрилями и знаменитой песней Державина «Гром победы раздавайся».

Сам Потемкин стоял за креслом, на котором сидела императрица, и прислуживал ей. Это был апофеоз карьеры князя и его лебединая песня. Надо полагать, он чувствовал, что дни его сочтены, и решил отметить свое пребывание на вершине славы столь неординарным способом.

Жизнь Потемкина в Петербурге запечатлена современниками. П. В. Завадовский, бывший фаворит Екатерины, ставший после своей отставки статс-секретарем, писал 6 июня 1791 года С. Р. Воронцову в Лондон: «Князь, сюда заехавши, иным не занимается, как обществом женщин, ища им нравиться и их дурачить и обманывать. Влюбился он еще в армии в княгиню Долгорукову, дочь князя Барятинского. Женщина превзошла нравы своего пола в нашем веке: пренебрегла его сердце. Он мечется как угорелый. Уязвленное честолюбие делает его смехотворным».

Аналогичное свидетельство обнаруживаем и в письме Ф. В. Ростопчина: «Последней слабостью князя Потемкина было влюбляться во всех женщин и прослыть за повесу. Это желание, хотя и смешное, имело полный успех… Женщины хлопотали о благосклонности князя, как мужчины хлопочут о чинах. Бывали споры о материях на платья, о приглашениях и проч. Он был почти сослан, значение его упало; он уехал, истратив в четыре месяца 850 тысяч рублей, которые были выплачены из Кабинета, не считая частных долгов».

Движимый завистью Завадовский и желчный Ростопчин явно преувеличивали амурные похождения больного Потемкина. Надо полагать, это были платонические увлечения, очередные причуды князя. Занимался он и делами, часто встречался с Екатериной для обсуждения положения внутри страны, а главное — внешнеполитической ситуации. Правда, в определении внешнеполитического курса между ними обнаружились существенные разногласия: императрица враждебно относилась к Фридриху-Вильгельму И, в то время как Потемкин настаивал на сближении с ним.

24 июля 1791 года князь по настоянию Екатерины оставил Петербург и отправился в действующую армию.

Эта поездка не являлась формой ссылки, как полагал Ростопчин, но объяснялась крайней заинтересованностью

Екатерины в заключении мира с Османской империей. Князю императрица отправила записочку: «Признаюсь, что ничего на свете так не хочу, как мира», считая это «полезным делом». Потемкину, однако, не удалось довести «полезное дело» до конца.

В Киев князь прибыл тяжелобольным, к нему была вызвана племянница Браницкая. Получив это известие, Екатерина, по свидетельству Храповицкого, проявила «печаль и слезы». Немного оправившись, Потемкин продолжал путь и 30 июля прибыл в Яссы, «замучась до крайности». Упадок сил сопровождался упадком духа. На обеде у князя Репнина хозяин спросил у него: «О чем так вдруг закручинились?» — «Не взыщите, князь Николай Васильевич, — грусть находит вдруг на меня как черные тучи. Ничто не мило, иногда помышляю идти в монастырь». 20 августа он писал Репнину: «Продолжительные мои страдания и лечение довели меня до совершенной слабости».

В конце августа князю стало полегче. 24 августа он доносил Екатерине: «Благодаря Бога опасность миновалась, и мне легче. Осталась слабость большая. День кризиса был жестокий». Преодолевая слабость, он стал заниматься делами. 16 сентября он извещал Безбородко из Ясс: «Когда дела много, тут сил нет, но и верно себя не щажу… устал как собака». Не прошло и пяти дней, как новое обострение: «Третий день продолжается у меня параксизм. Сил лишился и не знаю, когда будет конец».

Императрица, получая подобные письма, пребывала в тревоге: «Прошу Бога, да подкрепит силы твои»; письмо «паки умножило во мне беспокойство». «Христа ради, — умоляла Екатерина, — ежели нужно, прийми, что тебе облегчение по рассуждению докторов дать может»; просила «уже и беречь себя от пищи и питья, лекарству противных». Но обреченному уже не могли помочь никакие лекарства. 4 октября Потемкин отправил императрице продиктованное им послание: «Нет сил более переносить мои мучения. Одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти в Николаев».

Последние дни жизни князя запечатлены в двух источниках: донесениях фактотума светлейшего В. С. Попова и описании смерти Потемкина, составленном графом А. А. Безбородко.

Желание отправиться в «здоровейшее место», как назвал светлейший Николаев, он высказал впервые 2 октября. «Но я не знал, — сокрушался Попов, — как тронуться ему отсюда, когда все силы его изнурены до крайности». 3 октября доктора не обнаруживали у него пульса, он не узнавал людей, руки и ноги стали холодными и цвет лица изменился. Несмотря на ухудшение состояния, Потемкин настаивал, «чтоб взяли его отсюда». В туманное утро 4 октября князь велел посадить себя в кресло и

нести в шестиместную карету. В восемь утра тронулись в путь. Ехали тихо и за день преодолели 30 верст. Утром 5 октября был совсем плох, «но приказывал скорее ехать».

Не доезжая Большой горы, верстах в 40 от Ясс «так ослабел, что принуждены были вынуть его из коляски и положить на степи». Здесь он и испустил дух. Ночью того же 5 октября тело покойного Привезли в Яссы.

Хотя Безбородко и не являлся свидетелем последних дней жизни князя и его кончины, ибо прибыл в Яссы для продолжения переговоров о мире после смерти светлейшего, он составил свое описание событий, пользуясь рассказами очевидцев. Это описание содержит ряд любопытных подробностей, отсутствовавших у В. С. Попова.

Безбородко поведал, что сам Потемкин ускорил свою кончину тем, что велел ночью открывать окна, чувствуя внутренний жар, требовал, чтобы его голову обливали холодной водой, не воздерживался в пище, отказывался принимать лекарства. Князь, по свидетельству князя М. М. Щербатова, отличался обжорством и «приехав в Чердак близ Ясс, съел целого гуся и впал в рецидиву». Когда ему 4 октября после плохо перенесенной ночи стало полегче, он велел перенести себя в большую постельную коляску, чтобы продолжать путь. Проехав несколько верст, он потребовал, «чтобы ему не дали в коляске жизнь кончить» и положили на землю. Там он сначала потерял зрение, а затем и испустил дух. «По вскрытии тела его найдено необычайное разлитие желчи, даже, что части ее, прильнув к некиим внутренностям, затвердели».

Храповицкий регистрировал каждое донесение из Ясс о состоянии здоровья князя. Они вызывали у Екатерины слезы. Наконец, к пяти часам пополудни 12 октября курьер поведал о кончине Потемкина. «Слезы и отчаяние», — записал Храповицкий. Потрясение было столь глубоким, что «в 8 часов пустили кровь, к 10 часам легли в постель». На следующее утро «проснулись в огорчении и в слезах». 16 октября: «Продолжение слез». Всякое событие, связанное с именем Потемкина, вызывало у императрицы переживания и слезы. 4 декабря при чтении письма из Ясс «вдруг прыснули слезы». 6 января 1792 года был доставлен мирный трактат с Османской империей: «За уборным столом слезы». 30 января племянник Потемкина Самойлов и граф Безбородко привезли ратифицированный Ясский договор: «всех отпустили и с Самойловым плакали»[437].

У императрицы был резон оплакивать уход из жизни Григория Александровича Потемкина — фаворита, супруга, соратника, подобного которому она не имела за все годы своего

царствования. Он отличался талантом, целиком отданным во славу императрицы.

Глава XIV. Екатерина Романовна Дашкова

Мисс Вильмонт, приятельница Дашковой, англичанка, гостившая продолжительное время у княгини и, следовательно, наблюдавшая за нею с близкого расстояния, писала: «Мне часто приходила в голову мысль, как трудно было бы очертить характер княгини Дашковой, если б кто принялся за него; я даже думаю, что это невозможно. Особенности ее характера и отдельные стороны до того разнообразны, что описание их показалось бы смешением противоположных человеческих крайностей. В ее натуре можно найти элементы всех темпераментов, всех возрастов и состояний. Мне кажется, она была бы на своем месте и управляя государством, и командуя армией. Она рождена для поприща в широких размерах и доказала это тем, что восьмнадцати лет от роду стояла во главе революции; а потом в продолжении двенадцати лет управляла двумя академиями»[438].

Заметим, эти слова были написаны, когда Дашкова перешагнула через шестидесятилетний рубеж и уже не занимала никакой должности, вела частную жизнь, коротая дни не в столице, а либо в Москве, либо в имении Троицком. Тем не менее и в этом возрасте она сохранила резкость в суждениях, крайнее честолюбие, эгоизм и энергию. Остались при ней ум, образованность, используемые теперь в единственной сфере ее активной деятельности — в устройстве своих имений и прежде всего Троицкого. Эта барская усадьба представляла маленький городок, в котором был свой театр, манеж, больница, конюшня, квартира управителя, здания для гостей и т. д.

Екатерина Романовна Дашкова — уникальное явление отечественной истории. Ни Древняя Русь, ни средние века, ни новое и новейшее время не знали женщины, равной ей по разнообразию дарований. Перед нами их перечень, сделанный на склоне жизни Екатерины Романовны ее современницей: «В наружности, разговоре и манерах есть какая-то особая оригинальность, отличающая ее от всех других людей. Она помогает каменщикам возводить стены, сама проводит дороги и кормит коров, сочиняет музыкальные пьесы, пишет статьи для печати и громко поправляет священника в церкви, если тот отступает от правил, а в театре прерывает актеров и учит и их, как надобно выполнять роли. Княгиня вместе доктор, аптекарь, фельдшер, купец, плотник, судья, администратор».

Однако не эти свойства натуры позволили Дашковой оставить заметный след в истории века Екатерины, а ее общественная и политическая деятельность, склад ума,

мыслившего масштабами крупного государственного деятеля. На долю женщины, принадлежавшей к великокняжеской или царской династии, иногда выпадала роль в истории, но историкам неведомы случаи, когда бы графиня по рождению и княгиня по мужу выбилась в ряды вельмож, причем не подличая, не заискивая, не утрачивая своего достоинства, не работая локтями, а благодаря своей исключительности. В ней причудливо сочетались гордость и колкость языка, чувство собственного достоинства и эгоизм, высокая нравственность и нежелание поступиться даже малой толикой независимости. Добродетели и пороки далеко не всегда благотворно влияли на ее судьбу: она то поднималась к подножию трона, то становилась опальной дамой, прозябавшей в деревенской глуши.

Екатерина Романовна Дашкова (в девичестве Воронцова) родилась в Петербурге 17 марта 1743 года. В двухлетнем возрасте она лишилась матери, а ее отец, Роман Илларионович, любил удовольствия, вел светский образ жизни и мало заботился о воспитании детей, сплавив младшую дочь Екатерину на попечение бабушки. Екатерине повезло — ее в четырехлетием возрасте взял к себе на воспитание дядя, канцлер, проявивший трогательную заботу о племяннице. Екатерина росла вместе с двоюродной сестрой: «Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи — все должно было бы сделать из нас два совершенно одинаковых существа; между тем трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни».

О дяде Екатерина Романовна отзывалась добрыми словами: «Мой дядя, — вспоминала она, — не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности владели отлично французским; хорошо танцевали, умели рисовать… у нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц».

Личная встреча двух Екатерин состоялась в конце 1758 года, когда Екатерина Алексеевна была еще великой княгиней. Во время продолжительной беседы у них выявилось много общего: обе отличались честолюбием, начитанностью, знанием идей французских просветителей, их беседа оставила у обеих неизгладимое впечатление. «Мы почувствовали, — вспоминала Дашкова, — взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться, и я навсегда отдала ей свое сердце… Возвышенность

ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившем ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам»[439]. Но у них впоследствии обнаружилось и немало различий: Екатерина Романовна отличалась бескомпромиссными и прямолинейными суждениями, гордым и независимым нравом, эгоизмом, в то время как Екатерина Алексеевна отличалась покладистым характером, умела находить общий язык с собеседником, обтекать острые углы и пленять его своим обаянием.

Какие условия способствовали тому, что обе Екатерины стали образованнейшими женщинами своего времени, что они посвящали свой досуг вместо праздных забав чтению серьезных сочинений? Екатерина Алексеевна ответила на этот вопрос вполне определенно: ее учителями были скука и уединение, обусловленные пренебрежительным отношением к ней нелепого супруга. Екатерина Романовна подобных объяснений не оставила, и нам остается высказывать на этот счет догадки. Обратимся к описанию Дашковой, принадлежащему перу Дидро и относящемуся не к юным, а к зрелым годам: «Княгиня Дашкова вовсе не хороша; она мала ростом; лоб у нее большой и высокий; щеки толстые и вздутые; глаза — ни большие, ни малые, несколько углубленные в орбитах; нос приплюснутый; рот большой; губы толстые; зубы испорчены. Талии вовсе нет, в ней нет никакой грации, никакого благородства, но много приветливости».

Заметим, портрет, выполненный неизвестным художником маслом, ничего общего не имеет с тем, как Дашкову описал Дидро. На нас смотрит симпатичная женщина с волевым лицом и проницательным взглядом; недостатки, описанные французским энциклопедистом, не заметны вовсе: нет вздутых щек, толстых губ, приплюснутого носа. Но все же, видимо, описание внешности, выполненное Дидро, ближе к оригиналу — художник, надо полагать, выполняя волю заказчицы, сделал портрет более привлекательным.

Не в этой ли непривлекательности Дашковой, отличавшей ее, по-видимому, и в юношеские годы, находится объяснение причин ее влечения к книгам, а не к обществу более красивых подруг, в частности ее двоюродной сестры. Девушки-дурнушки должны были привлекать внимание молодых людей податливым характером, приветливостью, умными разговорами, начитанностью. Первых двух качеств Дашкова была лишена, приходилось прибегать к двум последним.

Но чтобы начитанность дала свои плоды и внушила уважение собеседника, необходимо было обладать еще одним качеством,

присущим обеим Екатеринам, — умом. Природа наградила их с избытком этого рода свойством натуры. Думается, в этом одиночестве формировался гордый, непреклонный и целеустремленный характер, которому Дашкова осталась верна в течение всей жизни, как осталась верна и идиллическому образу императрицы, созданному ее воображением во время первого знакомства. В итоге приходится согласиться с мнением Дашковой, писавшей: «Я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением».

Екатерина Романовна вышла замуж пятнадцати лет, в 1758 году, причем ее замужество овеяно легендой. Согласно официальной версии, Дашкова случайно встретилась с будущим супругом, князем Михаилом Ивановичем Дашковым, который тут же влюбился в молодую графиню, ответившую ему взаимностью. Императрица Елизавета Петровна как-то навестила дом канцлера и благословила пару, мать князя тоже не возражала против брака, и вскоре была отпразднована скромная свадьба. Так изображала свои матримониальные дела сама Екатерина Романовна.

Согласно молве свадебные дела графини развивались более романтично. Ход событий по Рюльеру происходил так: «Однажды князь Дашков, один из самых красивых придворных кавалеров (привлекательную внешность князя отмечают все источники. — Н. П.), слишком свободно начал говорить любезность девице Воронцовой; она позвала канцлера и сказала ему: „Дядюшка, князь Дашков делает мне честь просить моей руки“. Не смея признаться первому сановнику империи, что слова его не заключали именно такого смысла, князь женился на племяннице канцлера, но тотчас отослал ее в Москву, где она провела два года»[440].

В природе не существует источников, подтверждающих или опровергающих эту версию. Нам она представляется вполне правдоподобной, ибо соответствует характеру графини, не испорченной нравами XVIII века, простодушной в свои 15 лет, по неопытности принявшей банальные комплименты за предложение стать супругой, тем более что внешность князя давала основание влюбиться в него с первого взгляда. Мы полагаем, что поведение Екатерины Романовны не было преднамеренной хитростью, стремлением заловить жениха.

По сговорной графа Р. Л. Воронцова и князя М. Й. Дашкова от 12 февраля 1759 года невеста получила сравнительно богатое приданое: движимого имущества на 12 917 рублей и на покупку деревень 10 тысяч рублей. Список предметов открывают бриллиантовые серьги в 500 рублей, перстень бриллиантовый в

тысячу рублей и др. Далее следуют одежда, меха, постельное и нижнее белье, кровать, зеркало и др. Завершает список золотая табакерка, оцененная в 200 рублей[441].

После скромной свадьбы наступили будни семейной жизни. Екатерина Романовна была счастлива: она нежно любила супруга, а тот отвечал взаимностью. Счастье совместной жизни оказалось, однако, непродолжительным — капитан Дашков должен был оставить супругу на попечение свекрови, чтобы отправиться к месту службы в Петербург. Екатерина Романовна окунулась в непривычную для аристократки патриархальную жизнь Белокаменной. «Передо мной открылся новый мир, — вспоминала Дашкова, — новая жизнь, которая меня пугала, тем более что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка».

Через год княгиня родила дочь, а еще через год князь поспешил в Москву, где его ждали прибавления в семье. Здесь произошло событие, высвечивающее супружеские отношения. В пути Дашков занемог, утратил голос настолько, что не мог разговаривать, и, чтобы не расстраивать своим болезненным видом находившуюся накануне родов супругу, решил остановиться в доме своей тетки Новосильцевой. Екатерине Романовне стало известно, что князь находится в Москве и что он серьезно болен. Княгиня совершила поступок, дающий основание высоко оценить ее человеческие достоинства: она отправила родственника из своих покоев и, вопреки уговорам не вставать с постели, в сопровождении повивальной бабки отправилась навестить больного, страдая при этом от нестерпимой боли. Увидев его бледным и лишенным голоса, она упала в обморок. Ее немедленно отнесли домой, где она тут же родила сына Павла.

В этом эпизоде проявились нравственные качества Екатерины Романовны: готовность жертвовать собой, чтобы помочь горячо любимому человеку, неукротимая воля, верность и т. д. Герцен высоко оценил этот подвиг княгини: «Женщина, которая умела так любить и так выполнять волю свою, вопреки опасности, страху и боли, должна была играть большую роль в то время, в которое она жила, и в той среде, к которой принадлежала»[442].

29 июня 1761 года, ровно за год до переворота, чета Дашковых переезжает в Петербург, и благодаря вниманию великого князя к молодому офицеру княжеских кровей Дашковы пополнили двор наследника престола. Здесь Екатерине Романовне довелось часто наблюдать грубые выходки Петра Федоровича против своей супруги, его нелюбовь к России и русским обычаям, издевательство над православным духовенством, слепое преклонение перед прусским королем

Фридрихом II и пр. У всякого патриота возникала боль за будущее России, когда она окажется под властью неуравновешенного монарха.

У Екатерины Романовны появилась возможность часто общаться с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Великая княгиня обладала даром чарующей улыбкой располагать к себе людей, и она воспользовалась этим, чтобы прочно привязать к себе молодую даму, начитавшуюся трудов французских просветителей, мечтавшую о процветании страны и уверенную в неспособности наследника обеспечить это процветание. Более того, Дашкову крайне беспокоило и будущее ее кумира — великой княгини, над которой нависла серьезная угроза оказаться в заточении в каком-либо отдаленном монастыре: Петр Федорович не скрывал своего намерения жениться на своей фаворитке, родной сестре Екатерины Романовны, графине Елизавете Романовне Воронцовой.

В декабрьскую ночь 1761 года Дашкова совершила поступок, близкий к тому, что произошел ранее в Москве: зная, что дни императрицы Елизаветы Петровны сочтены, Екатерина Романовна, будучи больной, тайком отправилась к великой княгине, чтобы предложить свои услуги. «Ваше высочество, — объясняла Дашкова причину своего тайного визита, — я не могла дольше противиться потребности узнать, какими средствами можно рассеять грозовые тучи, которые собираются над вашей головой. Ради Бога, доверьтесь мне, я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Императрице остается всего несколько дней, может быть, несколько часов жизни, могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать?»[443] Екатерина Алексеевна вполне оценила преданность и верность темпераментной посетительницы, но, будучи опытной интриганкой, проявила осторожность и не стала раскрывать ни секретов подготовки переворота, ни тем более называть фамилии офицеров, готовых пожертвовать головой ради свержения Петра Федоровича, который через несколько дней должен был стать обладателем короны. Между собеседницами произошла трогательная сцена расставания.

После осуществления переворота между двумя честолюбивыми Екатеринами произошла размолвка относительно степени участия в событиях и роли, выполняемой каждой из них в памятный день 28 июня 1762 года.

В интерпретации Дашковой именно она, Екатерина Романовна, возглавила заговор или во всяком случае была главным действующим лицом, обеспечившим Екатерине

Алексеевне трон. Приписываемую себе роль руководителя «революции», как называла переворот Дашкова, она не скрывала от окружающих, и ее невоздержанный язык привел к охлаждению со стороны Екатерины Алексеевны, провозглашенной императрицей.

Ей, взрослой женщине, отнюдь не импонировал распространяемый Дашковой слух, что она получила корону благодаря усилиям восемнадцатилетней дамы, решительность и распорядительность которой и обеспечили успех перевороту.

Размолвка обозначилась сразу же после переворота, о чем можно судить по письму, отправленному Екатериной II 2 августа 1762 года Станиславу Понятовскому. Из письма явствует, что переворот — дело ее, Екатерины Алексеевны, рук: «Все делалось под моим руководством», заявляла императрица своему бывшему фавориту и тут же опровергала слухи, распространяемые Дашковой. «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя и желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести по причине своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица (бывшие в заговоре) имели сношения со мной в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена» [444].

Много лет спустя после переворота, когда обе Екатерины взялись за перо, чтобы писать воспоминания, они придерживались первоначальных версий своего участия в свержении Петра III. Императрица в «Записках» уделила полторы страницы описанию участия княгини в перевороте. Отрывок начинается словами: «Вот какое участие принимала княгиня Дашкова в этом событии». Далее следует рассказ о том, что многие офицеры, не имея прямого доступа к великой княгине и зная о привязанности к ней княгини Дашковой, общались с Екатериной через нее. При этом «Екатерина никогда не называла княгине Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами; большое рвение княгини и ее молодость заставляли опасаться, чтобы в толпе ее знакомых не нашелся кто-нибудь, кто неожиданно не выдал бы дела». Императрица признавала отвагу Дашковой, проявленную во время переворота, но считала, что «она ничего бы не порешала; у нее было больше льстецов, чем кредита, и характер ее семьи вызывал всегда известное недоверие» (дядя — канцлер Петра III, а сестра Елизавета — фаворитка императора)[445].

Послушаем другую сторону. Княгиня Дашкова рассказывает, как благодаря ее настойчивости удалось привлечь к заговору

графа К. Г. Разумовского, Н. И. Панина, князя Н. В. Репнина; она писала о том, что была «поглощена выработкой своего плана», не сообщая, впрочем, в чем он состоял. Она успокоила гвардейцев, опасавшихся отправки в Данию. «Я, — утверждала княгиня, — велела им передать, что получаю каждый день известия от императрицы и уведомлю их, когда надо будет действовать». «Записки» Дашковой пестрят местоимениями: «Я поняла», «Я сразу увидела», «Я подошла к нему». Согласно ее «Запискам», она всем распоряжалась и направляла ход событий. Когда стало известно об аресте одного из заговорщиков (капитана Пассека), она велела: «Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткому и Бредихину (офицерам, участникам заговора. — Н. П.), чтобы не теряя ни минуты, они отправлялись в свой Измайловский полк и что они должны встретить там императрицу (это первый полк на ее пути), а вы (Алексей Орлов. — Н. П.) или один из ваших братьев должны стрелой мчаться в Петергоф и сказать ее величеству от меня, чтобы она воспользовалась ожидающей ее наемной каретой и безотлагательно приехала в Измайловский полк, где она немедленно будет провозглашена императрицей».

Когда в ночь на 28 июня один из братьев пришел к ней выразить сомнение, «не слишком ли рано вызывать в Петербург императрицу, не испугали ли мы ее понапрасно, я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова…». Она сообщает, с каким восторгом ее встретила толпа у Казанского собора, где уже находилась императрица, и понесла на руках к собору. Не без гордости она писала о помятом платье и растрепанных волосах как липшем «доказательстве моего триумфа»[446].

«Мы бросились друг другу в объятья. „Слава Богу! Слава Богу!“ — могли мы только переговорить…» Это было последнее проявление нежности в отношениях между двумя Екатеринами. Далее наступила пора охлаждения и даже враждебности, исходившей от императрицы. У нее, конечно, не мог вызвать восторга прием, оказанный толпой княгине, несшей ее на руках. И хотя императрица, если верить Дашковой, и произнесла фразу, подтверждающую колоссальную роль ее в перевороте, но поступки опровергают эти слова — императрица один за другим наносила удары по самолюбию и честолюбию княгини. Екатерина, представляя друг другу активных участников переворота, будто бы воскликнула: «Вот княгиня Дашкова! Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова». Скорее всего, это выдумка Дашковой, ибо поступки императрицы противоречат приведенным выше ее словам. Екатерина, по меткому выражению А. И. Герцена, «отдалялась от нее (Дашковой. — Н. П.) с

быстротой истинно царской неблагодарности»[447].

После изложенного выше нам остается ответить на вопрос, является ли версия Дашковой о ее участии в перевороте плодом мистификации и заведомой лжи, удовлетворявшей ее тщеславие, или же Екатерина Романовна искренне верила в свою исключительную роль в возведении на престол Екатерины Алексеевны. Мы склонны считать более вероятной вторую версию.

Основанием для этого суждения следует считать сведения, сообщаемые современниками о складе ее неугомонного и в то же время деятельного и решительного характера: ее активность и суетливость создают убежденность, что именно она и никто другой стояла в центре событий, что именно от нее и ни от кого другого исходили указания, обеспечившие успех делу. К этому надобно добавить еще одно соображение — отсутствие полной информации об участии в перевороте прочих заговорщиков. И еще одна оговорка: приведенные выше характеристики Дашковой относятся ко времени, когда она перешагнула через порог молодости и житейские невзгоды отразились и на ее внешности, и на характере: поубавилось энергии, эмоции уступили место рассудку и т. д.

Перед нами обстоятельный портрет княгини, принадлежащий перу лорда Бекингема, наблюдавшего молодую Дашкову: «Леди, чье имя, как она считает, бесспорно отмечено в истории, обладает замечательно хорошей фигурой, прекрасно подает себя. В те краткие моменты, когда ее пылкие страсти спят, выражение ее лица приятно, а манеры таковы, что вызывают чувства, ей самой едва ли известные. Но хотя это лицо красиво, а черты не имеют ни малейшего недостатка, его характер главным образом таков, какой с удовольствием изобразил бы опытный художник, желая нарисовать одну из тех знаменитых женщин, чья утонченная жестокость напоминает журналы ужасов. Ее идеи невыразимо жестоки и дерзки, первая привела бы с помощью самых ужасных средств к освобождению человечества, а следующая превратила бы всех в ее рабов». Другой отзыв того же автора высвечивает новые черты и звучит пророчески: «Княгиня много читала, исключительно активна телесно и умственно, обладает прекрасной сообразительностью. Если она сможет сдержать свой темперамент, пока нынешние подозрения не умолкнут (ее подозревали в причастности к делу Мировича. — Н. П.), пока возраст не смягчит ее суждения, ее история на этом не закончится».

Лорд Бекингем запечатлел Екатерину Романовну в 1762 году еще в одном ракурсе: «Гордость этой дамы значительно ослабила

уважение к ней императрицы… Характер ее был слишком непреклонен для того, чтобы стараться умилостивить государыню или покорно подчиниться ее немилости, и вследствие того подозревают, что она возбуждала и поощряла всех недовольных настоящим правительством».

Сменивший Бекингема новый посол проявил больше снисходительности, чем предшественник, но не удержался от того, чтобы отметить авантюристический склад характера Екатерины Романовны: «Эта женщина обладает редкой силы умом, смелостью, превосходящей храбрость любого мужчины, и энергией, способной предпринимать задачи самые невозможные… Такого рода характер весьма опасен в стране, подобной здешней».

Первый удар по самолюбию Дашковой нанес наградной список лиц, отличившихся во время переворота. Открывали список вельможи Н. И. Панин и К. Г. Разумовский; Дашкова же обнаружила свою фамилию среди многочисленных рядовых, ничем не примечательных участников событий. Екатерина тем самым отвергла претензии Дашковой на особую роль в перевороте.

Неизгладимое впечатление на княгиню произвел тот факт, что Григорий Орлов являлся фаворитом императрицы — это было сокрыто от нее, и она обнаружила близость между ними, когда ей довелось наблюдать, как Орлов, развалившись на диване, распечатывал конверты с бумагами государственного значения. Это дало основание Екатерине Романовне сделать вывод, что даже в период наибольшей близости к ней Екатерины Алексеевны она не была с нею до конца откровенна.

Екатерину Романовну потрясло известие о насильственной смерти Петра III, о причастности к ней Алексея Орлова, после чего она не пожелала с ним знаться в течение десятилетий. «Да, ваше величество, смерть случилась слишком рано для вашей славы и для моей», — Дашкова произнесла слова, неприятные для императрицы. Наконец, Екатерина Романовна находилась среди тех, кто противился браку императрицы с Орловым, и это тоже вызвало неудовольствие Екатерины II.

Невыдержанная на язык Дашкова, продолжая питать нежные чувства к императрице, выражала в то же время колкие суждения в ее адрес и адрес ее фаворита, превратившегося в злейшего врага княгини. Вскоре муж княгини получает записку императрицы, означавшую разрыв отношений между совсем недавно бывшими неразлучными подругами. В письме, вспоминала Дашкова, «императрица выражала надежду, что не окажется вынужденной забыть мои заслуги и потому просит мужа повлиять на меня в том

смысле, чтобы и я не забывалась, так как до нее дошли слухи, что я осмеливаюсь ей угрожать»[448]. У Дашковой, как и ее супруга, высоко ценивших понятия о чести, достоинстве и независимости, послание императрицы вызвало резко отрицательную реакцию. Наступивший разрыв отметил иностранный дипломат, доносивший 28 июня 1763 года в Лондон: «Княгиня Дашкова, отличившаяся во время революции, получила приказание отправиться вместе с мужем в Ригу, где стоит его полк. Гордость этой дамы значительно ослабила уважение к ней императрицы еще до моего приезда в Москву. Характер ее был слишком непреклонен для того, чтобы стараться умилостивить государыню или покорно подчиниться ее немилости»[449].

В 1764 году на голову Дашковой обрушилось новое горе — в связи со смертью Августа III Екатерина для поддержки своего кандидата в короли Станислава Понятовского двинула в Речь Посполитую войска, в составе которых находился и Михаил Иванович. Во время похода в сентябре он занемог и умер, оставив на попечении вдовы дочь, сына, расстроенное хозяйство и долги. В этом же году Дашковой довелось пережить еще одну неприятность. Она жила на даче своего родственника Куракина. На той же даче жил сенатор и генерал Н. И. Панин, к которому являлось множество просителей и среди них оказался Мирович, совершивший впоследствии неудачную попытку посадить на трон Иоанна Антоновича. Недоброжелатели Дашковой распространили слух, что Мирович якобы навещал ее и что она причастна к его заговору. Слухи, дошедшие до императрицы, оказались ложными — к Мировичу Дашкова не имела никакого касательства.

1 марта 1765 года упоминавшийся выше английский дипломат Джордж Макартни отправил депешу об отъезде Дашковой в деревню: «Княгиня Дашкова, которая со времени смерти своего мужа вела здесь самый уединенный образ жизни, теперь решилась выехать из этой столицы и поселиться в Москве. Она уже уехала вчера, но перед отъездом имела честь целовать руку императрицы и проститься с ней; ей давно уже был запрещен приезд ко двору, но ввиду того обстоятельства, что она уезжает быть может навсегда, ее императорское величество по ходатайству Панина согласилась видеться с нею перед ее отъездом. Прием, оказанный ей, был таков, как ей и следовало ожидать, то есть холоден и неприветлив, кажется все рады ее отъезду»[450].

Поселившись в подмосковной деревне, княгиня со свойственной ей энергией взялась за хозяйственные дела и к своему удивлению достигла значительных успехов. «Я ассигновала на себя и детей всего пятьсот р. В год, и благодаря

моим сбережениям и продаже серебра и драгоценностей, к моему крайнему удовольствию, все долги были уплачены в течение 5 лет».

В 1768 году Екатерина Романовна возбудила просьбу о разрешении выехать за границу в надежде, что «перемена климата и путешествие благотворно подействуют на моих детей, у которых была английская болезнь». Прошение осталось без ответа, и только в следующем году она улучила момент, чтобы во время празднования годовщины восшествия на престол в Петергофе лично возобновить просьбу у императрицы. Разрешение было получено, и княгиня, как только появился санный путь, отправилась в путешествие. Ее путь лежал через Кенигсберг, Данциг, Берлин, Аахен, Спа, оттуда она отправилась в Англию, где посетила Лондон, Оксфорд, Бристоль.

Возвратившись на материк, княгиня отправилась в Париж, где часто встречалась с Дидро, который, кстати, отметил, что двадцатисемилетняя княгиня настолько состарилась, что выглядела сорокалетней женщиной — невзгоды отразились на ее здоровье.

Княгиня решила снискать милость Екатерины и, сломив собственную гордость, совершила два поступка, в полной уверенности, что они станут известны императрице: она отказалась принять Рюльера, автора сочинения о перевороте 1762 года, в котором Екатерина представлена не в лучшем виде. «Вы понимаете, — убеждал Екатерину Романовну Дидро, — что, принимая Рюльера у себя, вы тем самым санкционировали бы сочинение, внушающее беспокойство императрице…»

Второй поступок должен был еще больше умилостивить императрицу — Дашкова без удержу хвалила Екатерину, уверяла собеседника в своей преданности ей, и в своих расчетах не ошиблась: «после моего отъезда из Парижа Дидро в письме к ее величеству, — вспоминала княгиня, — много говорил обо мне и моей привязанности к императрице и выразил мнение, что вследствие моего отказа принять Рюльера вера в правдивость его сочинения была сильно поколеблена…»[451].

Во время одной из встреч с Дидро между ними состоялся обмен мнениями о крепостном праве в России. Дашкова заявила, что отсутствие деспотизма в ее характере позволило орловским крестьянам жить в довольстве.

Дидро возразил: «Но вы не можете отрицать, княгиня, что будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Дашкова ответила аргументом, свойственным умеренным просветителям: «Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и

беспорядок». Как видим, просветительские воззрения Дашковой были одинаковыми со взглядами императрицы.

В свойственной княгине манере преувеличивать свое влияние на собеседника она внесла в свои воспоминания запись: Дидро в конце беседы вскочил с места и воскликнул: «Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целые двадцать лет»[452].

Во время путешествия Екатерина Романовна значительно пополнила свои знания, расширила кругозор. Посещение городов не ограничивалось осмотром достопримечательностей. Путешественница посещала театры, музеи, картинные галереи, мануфактуры, свела знакомство со знаменитыми деятелями культуры того времени: Дидро, Вольтером, музыкантом, поэтом и художником Гибнером, министрами, наследниками престола и др.

Когда в 1771 году Дашкова возвратилась в Петербург, двор ее встретил с большим, чем прежде, уважением — комплименты в адрес императрицы возымели свое действие: императрица пожаловала ей 60 тысяч рублей и обласкала ее. Екатерина Романовна связывала эту перемену с утратой прежнего влияния на императрицу братьев Орловых. Лесть Екатерине тоже сыграла свою роль. Дидро писал императрице, что глаза Дашковой при виде портрета императрицы, вышитого на шелковой материи, «наполнялись слезами. Она четыре часа сряду рассказывала о вашем императорском величестве, а мне показалось, что она говорила не более четырех минут».

В 1775 году княгиня вновь отправляется за границу, на этот раз с целью дать образование сыну в Эдинбургском университете, который тот закончил четыре года спустя. Во время встречи в Брюсселе с бывшим фаворитом Григорием Орловым между ним и княгиней произошел любопытный разговор, свидетельствующий о нравственном уровне собеседника. Оценив внешность сына княгини, молодого, статного красавца, Орлов заметил: «…трудно представить себе более красивого юношу, чем князь Дашков», а затем продолжил: «Я жалею, князь, что меня вероятно не будет в Петербурге, когда вы туда приедете; я убежден, что вы затмите фаворита, а так как с некоторых пор мне вменили в обязанность вести переговоры с отставленными фаворитами и утешать их, я с удовольствием занялся бы этим, если бы он принужден был уступить вам свое место».

«Эта странная речь, — писала Дашкова, — заставила меня жалеть, что сын при ней присутствовал». Г. Орлов даже держал пари с И. И. Шуваловым, что Павел Дашков займет место Потемкина.

Во второй приезд за границу Дашкова, помимо Франции и Швейцарии, посетила множество городов Италии, где обогатила свои познания в зодчестве, ваянии и живописи. В июне 1782 года в Пизе княгиня на свои средства устроила бал в честь двадцатилетия царствования Екатерины. Во время второго путешествия Дашкова, более не подвергавшаяся гонению двора, имела встречи с Фридрихом II и Иосифом II.

В июле 1782 года она возвратилась в Россию и была благосклонно встречена Екатериной, пожаловавшей ей 2500 душ крепостных и дом в Петербурге ценой в 30 тысяч рублей.

На одном из балов Екатерина сказала Дашковой: «Я имею сообщить вам, княгиня, нечто особенное». Отойдя в сторону, она известила, что назначает ее директором Академии наук и художеств. Причину отказа Екатерины Романовны от предложенной должности точно определить невозможно: то ли она набивала себе цену, то ли действительно полагала, что пост ей не по плечу. «От удивления я не могла выговорить ни слова, — вспоминала Дашкова, — когда возвратилась домой, то села за письмо к императрице, в котором были и такие слова: „сам Господь Бог, создавая меня женщиной, этим самым избавил меня от должности директора Академии наук; считая себя невеждой, я никогда не мечтала попасть в ученую корпорацию…“»

С доводами Дашковой можно было бы согласиться, если бы историкам не был известен факт: Академией наук с восемнадцатилетнего возраста ведал брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Кирилл Григорьевич Разумовский, не имевший ни научных знаний, ни умения управлять ученым учреждением. Он был номинальным президентом, за его спиной дела в Академии наук вершил немец Шумахер. Поэтому выбор Екатерины, остановившейся на кандидатуре Дашковой, женщине образованной, честной, властной, давшей сразу же понять, что она будет ценить ученые заслуги членов Академии, а не умение их интриговать, надлежит признать удачным.

Назначение Дашковой дает повод для размышлений о характере двух Екатерин и их способности отделять личные симпатии от государственных интересов. После переворота Екатерина II, как нам представляется, не питала нежных чувств к Дашковой. Но императрица, преодолевая неприязнь, назначила Дашкову на высокую должность, руководствуясь не личными, а государственными интересами. То же самое можно сказать и о Екатерине Романовне. Думается, что у Дашковой, многократно подвергавшейся преследованиям императрицы, вряд ли сохранились прежние теплые чувства к ней. У человека с такой непреклонной волей, честолюбием, гордостью они не могли не

поблекнуть. Впрочем, подобные категорические утверждения нуждаются в некоторых коррективах, поскольку при монархическом режиме нередко трудно бывает провести грань между личными и государственными интересами.

А. А. Безбородко, передавая княгине указ о назначении, добавил: «Когда угодно, утром или вечером, можете обращаться к ней (императрице. — Н. П.) по каждому делу, касающемуся вверенного вам учреждения», императрица, заверил он, будет ей всячески помогать. Екатерина же заявила, «что она не только вполне довольна своим выбором, но даже гордится им»[453]. По словам гофмаршала Дашкова всегда будет желанной гостьей при дворе.

Первый визит в Академию Дашкова совершила в сопровождении знаменитого математика Эйлера. Обращаясь с краткой речью к профессорам, она призналась в скудости своего научного образования, но заверила их в своем глубоком уважении к науке.

В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей трехлетней деятельности, из которого следует, что за три года она достигла немалых успехов. До ее прихода за Академией имелись долги, профессора не получали жалованья, отсутствовали средства для оплаты арендуемых помещений, на приобретение бумаги и т. д. Заботами директора Академии наук типография обзавелась новыми шрифтами, академическая библиотека пополнилась новыми книгами, в библиотеке составлен каталог книг, значительно снижены цены на издаваемые Академией книги и карты — до этого они продавались по столь высокой цене, что это препятствовало «осуществлению благодетельных намерений государыни, направленных к распространению просвещения»; приведены в порядок коллекции минералов, архив Академии, в гимназии учениками оставлены только молодые люди, проявившие способности к науке, ряды сотрудников были очищены от бездельников. Академиков директор обязала публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от их напечатания за границей до тех пор, «пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати и пока государство не воспользовалось ими»[454].

В процессе работы Дашковой, как известно, обладавшей трудным характером, пришлось преодолевать препятствия, исходившие, с одной стороны, от генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, человека недалекого и педантичного, а с другой — от фаворитов А. Д. Ланского и П. А. Зубова. Первый чинил разного рода неприятности по финансовой части, а вторые

внушали императрице враждебность к Дашковой. Так, Ланской устроил скандал по поводу отчета о путешествии императрицы в Финляндию, в котором среди лиц, ее сопровождавших, не была названа его фамилия.

По инициативе Дашковой в октябре 1783 года была учреждена Российская академия. В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составлении словарей. Главой Российской академии императрица назначила Дашкову, причем, как и в первом случае, вопреки ее желанию. При открытии Российской академии Екатерина Романовна произнесла речь, в которой вслед за М. В. Ломоносовым подчеркнула достоинства выразительного языка русского и определила главную задачу нового учреждения: «Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением». «Будьте уверены, — обращалась княгиня к многочисленной аудитории, — что я всегда гореть буду беспредельным усердием, истекающим из любви моей к любезному отечеству, ко всему тому, что всему нашему обществу полезно быть может, и что неусыпною прилежностию буду стараться заменить недостатки моих способностей… в помощи ж вашей надежду свою полагаю и тем самым желаю искреннее свое к вам почтение засвидетельствовать»[455].

В итоге Екатерина Романовна возглавила работу двух научных учреждений в качестве директора Академии наук и президента Российской академии. Автор книги о Дашковой справедливо заметила: «В Петербургской академии наук проявлялись административные таланты Е. Р. Дашковой, в Российской академии раскрылись ее творческие дарования»[456].

Научный подвиг Дашковой и руководимого ею коллектива состоял в том, что в короткий срок, в течение шести лет, был создан «Словарь Академии Российской, словопроизводным порядком расположенного». Заметим, что Французская академия над аналогичным трудом работала шесть десятилетий. К составлению Словаря живейший интерес проявила императрица. Он включал в себя не только русские слова, но и научные и технические термины.

Детищем Екатерины Романовны явился журнал «Собеседник любителей российского слова». Сначала он печатался Академией наук, а затем Российской академией. В предисловии к первому номеру журнала было написано, что он издается «по желанию нынешнего Академии наук директора ее сиятельства княгини Екатерины Романовны Дашковой, которая почитает нужным пещись по долгу звания своего о приведении наук в России в

цветущее состояние, но и стараться о доставлении публике хороших российских сочинений». Статьи «Собеседника» разоблачали, по словам Н. А. Добролюбова, пороки человека: «двоедушие, ласкательство, ханжество, суетность, фанфаронство, обман, презрение к человечеству»[457], то есть по идейной направленности они были близки к безобидной критике человеческих недостатков, разоблачаемых «Всякой всячиной», издаваемой Екатериной II в 60-е годы.

Руководство двумя академиями приносило Дашковой как радости, так и огорчения. Последние были связаны не только с конфликтами с генерал-прокурором и фаворитами, но и с размолвками с самой императрицей: «Я предвидела, что между мной и императрицей возникнут неоднократные недоразумения», — писала Екатерина Романовна в связи со своими назначениями. По сути дела отношения императрицы к Дашковой лишь внешне выглядели лояльными, но без доверительности и теплоты. Более того, императрице будто бы доставляли радость и удовольствие невзгоды, переживаемые Екатериной Романовной в эти годы.

У княгини сложились не лучшие отношения с детьми: дочерью Анастасией и сыном Павлом. Отчасти в этом повинна сама Дашкова, деспотически опекавшая дочь и сына — будучи взрослыми, они находились под пристальным ее надзором; она контролировала каждый их шаг, и когда те освобождались от опеки, то давали волю своим неуравновешенным поступкам, что приводило ее к огорчениям, от которых она заболевала.

Дочь Анастасия оказалась существом пустым и безнравственным. Она была выдана замуж за Щербинина, но развелась с ним отчасти потому, что не сошлась характером со свекром, отчасти потому, что была кокеткой и прославилась мотовством и такой расточительностью, что ее имения оказались под опекой.

Еще больше огорчений доставил сын. Внешностью он напоминал красавца отца и, отправившись на юг, где служил у Потемкина, вел разгульную жизнь. В Киеве он встретил дочь купца Алферова и без благословения матери женился на ней. Княгиня узнала об этом от посторонних, сын удосужился известить ее об этом только два месяца спустя. Расстроенная мать написала ему короткое и холодное письмо: «Когда твой отец намерен был жениться на дочери графа Воронцова, он на почтовых поскакал в Москву, чтобы испросить позволения у своей матери. Ты уже обвенчан — я это знала прежде. Я знаю также и то, что моя свекровь не более меня заслуживала иметь друга в моем сыне».

Женитьба сына — самый тяжелый удар для княгини; ею овладели тоска и чувство одиночества, пессимизм. Она пыталась обрести утешение в академической службе, но вдохновение покинуло ее.

Как реагировала императрица Екатерина на житейские неудачи Екатерины Дашковой? Похоже, они доставляли ей удовольствие и радость.

В 1788 году свиньи Нарышкина, соседа по даче княгини, разрыли ее цветник. Княгиня велела загнать двух свиней в сарай и убить их. Между соседями возникла тяжба. 30 октября 1788 года А. В. Храповицкий записал в Дневнике: «Дашкова побила Нарышкиных свиней; смеясь сему происшествию (императрица. — Н. П.), приказала скорее кончать дело в суде, чтоб не дошло до смертоубийства». 2 ноября новое бесстрастное свидетельство Храповицкого: «Княгиня Дашкова прислала к графу Александру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову с изъяснением о свиньях. Тот (Нарышкин. — Н. П.) любит свиней, а она цветы, от того все дело вышло»[458].

Императрицу это событие так развеселило, что она сочла необходимым известить об инциденте князя Потемкина, причем в тональности описания его нетрудно обнаружить нотки злорадства — дескать, умная женщина дала повод для злословия окружающим. 7 ноября Екатерина писала Потемкину: «Какие дурачествы делает княгиня Дашкова в своей ссоре с обершенком Нарышкиным, ты себе представить не можешь. И ежедневно выходит новая комедия между ними, и все над ними смеются»[459].

Императрица как бы радовалась, что у сильной женщины с цельным характером, энергичной и деятельной, можно обнаружить слабость, являющуюся следствием ее тяжелого характера.

Храповицкий записал 23 апреля 1789 года еще одно суждение императрицы о Екатерине Романовне, тоже свидетельствующее о том, что потрясения, ею переживаемые, не вызывают у Екатерины сочувствия: «Разговаривая о княгине Дашковой (императрица. — Н. П.), отдавала ей справедливость в том, что имеет познание и умнее многих мужчин, но дивились, что никто ее не любит, даже дочь, в нынешних недостатках и быв под опекою, не соглашается жить с матерью. Княгиня больше приписывала сыну, чем он стоил: он прост и пьяница»[460].

Вряд ли и Екатерине Романовне до конца дней ее застилала глаза пелена восторга и любви, возникшая в годы, когда она, будучи юной и неопытной, воспринимала великую княгиню как образец человеческой натуры, честности и образованности.

Только недалекий человек может восторгаться другим человеком, наносившим ему множество обид и оказавшимся неблагодарным за услуги. Дашкова к числу таких людей не принадлежала. Наносимые ей удары позволили ей распознать и собственные слабости, и слабости императрицы и извлечь из тех и других собственные уроки — она сочла главным своим пороком невоздержанный язык и в конце концов научилась его вовремя прикусывать. Екатерина Романовна обнаружила и главный недостаток императрицы, состоявший в непомерной любви к лести, и не скупилась расточать похвалу в ее адрес, когда представлялся к тому удобный случай — в частных беседах и публичных выступлениях. Вспомним о четырехчасовом потоке лестных слов, высказанных Дидро в адрес императрицы в полной надежде, что эти слова станут достоянием адресата, или бал, данный в честь двадцатилетия царствования Екатерины. В обоих случаях возвратившаяся на родину Дашкова встретила не только благосклонное отношение Екатерины, но и материальное вознаграждение за усердие.

В связи с этим возникает вопрос: чем объяснить похвалы императрице, расточаемые после ее смерти, когда она уже не могла расплатиться за них ни рублями, ни крепостными душами? Нам представляется, во-первых, что невзгоды, перенесенные Дашковой при Екатерине, были пустяками по сравнению с испытанной ею горечью при ее сыне Павле; во-вторых, Дашкова, как и Екатерина, была «государственницей», выдвигавшей на первый план не личные качества государя, а содеянное им. Подобный критерий позволил Екатерине Романовне называть императрицу «великой государыней и благодетельницей России».

Очередное охлаждение в отношениях между двумя Екатеринами наступило в 1795 году, когда Дашкова опубликовала посмертно сочинение Княжнина «Вадим Новгородский». Недоброжелатели княгини нашептали императрице об опасной, подрывающей устои трагедии Княжнина. Началось с того, что граф Салтыков, по отзыву Дашковой, не прочитавший за всю жизнь ни одной книги, сообщил Зубову о крамольном сочинении. Екатерина, к этому времени отказавшаяся от либеральных просветительских идей и твердо ставшая на охранительные позиции, поверила фавориту, не отказавшему себе в удовольствии доставить неприятность гордой Дашковой, и отправила княгине записку: «Недавно появилась русская трагедия „Вадим Новгородский“, которая, судя по заглавному листу, напечатана в академической типографии. Говорят, эта книга очень ярко нападает на авторитет верховной власти. Вы хорошо сделаете, если остановите продажу, пока я

просмотрю. Доброй ночи. А вы читали ее?»[461]

Спустя несколько дней полицмейстер прибыл в академическую лавку, чтобы изъять из продажи книгу, которую императрица признала очень вредной. В тот же день Дашкову посетил генерал-прокурор Сената Самойлов и по поручению императрицы объявил ей выговор за напечатание книги, показавшейся Екатерине более опасной, чем «Путешествие из Петербурга в Москву». Во время личной встречи между двумя Екатеринами произошло такое бурное объяснение, что Дашкова на следующий день решила подать в отставку. Но императрица умела сглаживать острые углы.

— Очень рада побеседовать с вами, княгиня. Милости просим за мною, — такими словами встретила Екатерина Алексеевна Екатерину Романовну. Обаятельная улыбка погасила взрыв своенравной княгини.

Дашкова испросила разрешения удалиться от двора и от исполнения обязанностей президента двух академий. Она объявила, что явилась с прощальным визитом, но Зубов и на этот раз успел настроить императрицу против Дашковой, и вместо выражения благодарности за усердную службу и сожаления по случаю разлуки услышала холодное: «Желаю вам счастливого пути». Это была последняя встреча Екатерины Великой с Екатериной Малой.

Известие о смерти императрицы Екатерина Романовна получила, находясь в Троицком, и эта весть уложила ее на три недели в постель, надо полагать, не только в связи со скорбью об утрате, но и с тревогой за будущее. Не успела она оправиться, как последовала серия ударов, исходивших от Павла, — сын Екатерины II знал об активном участии Дашковой в перевороте и мстил за отца: последовал указ Павла I об отрешении Дашковой от всех должностей. Екатерине Романовне ничего не оставалось, как просить генерал-прокурора Самойлова передать благодарность императору за освобождение от бремени, которое она не могла нести.

На этом преследования Дашковой не закончились: она получает приказ императора жить не в Троицком, а в отдаленном имении Нижегородской губернии. Полубольная, в зимние морозы, она отправилась в ссылку, где ей довелось коротать дни в крестьянской избе, лишенной удобств, к которым она привыкла.

Екатерина Романовна обратилась за помощью к князю Н. В. Репнину, но тот ответил, что вмешаться в дело «решительно невозможно», и посоветовал в качестве «кавалерственной дамы» написать прошение на имя императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, в котором пожаловаться, что является

«единственной несчастной женщиной в империи», подчеркнуть, что на месте ее ссылки у нее нет своего крова, что здоровье ее расстроено[462]. Мария Федоровна откликнулась на призыв и ходатайствовала о разрешении княгине жить в Троицком. Император, узнав, что конверт с прошением принадлежит Дашковой, не стал его распечатывать и велел отобрать у нее бумагу, письменные принадлежности и запретить ей общаться с кем-либо.

Мария Федоровна предприняла повторную попытку добиться смягчения наказания и на этот раз достигла своего. Последовал указ Павла: «Княгиня Екатерина Романовна, вы желаете переехать в свое калужское имение — переезжайте».

Новый всплеск великодушия Павла последовал в 1798 году, когда ходатаем за освобождение Дашковой от ссылки выступил ее сын Павел Михайлович, пользовавшийся фавором у императора. Матери разрешалось свободно разъезжать по стране и даже жить в столице, правда, то время, когда там не будет царской фамилии. Впрочем, милости, которыми пользовался Павел Михайлович у императора, продолжались недолго: он имел неосторожность заступиться за одного офицера, справедливо обвиненного в использовании труда солдат в своем имении, и тут же скорый на расправу император издал указ: «Так как вы мешаетесь в дела, до вас не касающиеся, поэтому увольняйтесь от службы».

Опала сына не отразилась на судьбе матери — она целиком отдалась заботам по упорядочению хозяйства, объезжала свои владения, занималась возведением усадебных построек, разведением садов и т. д. Вторым занятием, которым она стала увлекаться с 1804 года, было писание мемуаров. Ей шел 61-й год — возраст, достаточно почтенный, чтобы кое-что забыть, кое-что перепутать, кое-что оценивать сквозь призму достигнутого возраста. Именно поэтому мемуары пользуются у историков репутацией самого субъективного источника, требующего к себе более чем в других случаях критического отношения, ибо цель мемуаров, как правило, понятна: либо оправдать перед потомками свою негативную роль, либо показать в лучшем виде свои человеческие достоинства, либо опорочить кого-либо из своего окружения, родственников, либо подчеркнуть наличие множества добродетелей и отсутствие пороков. Последнее относится к мемуарам Дашковой, из каждой строки которых выпирает местоимение «Я». Она любит подавать себя женщиной, снизу доверху начиненной христианскими добродетелями, оставаясь при этом безразличной к судьбе своей невестки, которая, будучи брошенной ее сыном, прозябала в одиночестве,

продолжая любить своего бывшего супруга. Княгиня не желала не только знаться с нею, но и слышать ее имя.

Если высокомерное отношение к окружающим было продиктовано интеллектуальным превосходством над ними, наличием знаний, которыми они не располагали, то третирование купеческой дочери, волею случая оказавшейся невесткой, питалось, видимо, княжеской спесью. Только смерть сына Павла в 1807 году смягчила сердце княгини, и между двумя вдовами состоялась трогательная встреча: обе заливались слезами так, что не могли вымолвить слова.

Мы проследили, правда, в самых общих чертах жизненный путь княгини Дашковой. Он не был усеян розами. Казалось бы, множество обрушившихся на нее невзгод должны были сломить эту хрупкую и невзрачную женщину. Но она выстояла, сохранив свое достоинство. Личность ее имела бы еще большую притягательную силу, если бы она не стремилась стать лучше, чем была на самом деле. Это стремление обнаруживается и в ее «Записках», и в рукописном автопортрете.

В конце XVIII — начале XIX века было модно описывать свою личность, создавать рукописный автопортрет. Мы имели случай познакомиться с автопортретом Екатерины II. Пришел черед посмотреть на автопортрет, выполненный нашей героиней. Автобиография Дашковой — труд оригинальный, своеобразие которого состоит в том, что она отказалась от присущего этому жанру повествования. Ее сочинение — ответ, как она полагала, на наветы ее недругов, распространявших о ней, по ее мнению, небылицы всякого рода.

В письме к своей подруге, мистрис Гамильтон (автобиография имеет форму письма), княгиня обязалась «говорить о себе искренно, не скрывая ни добрых, ни дурных сторон». Посмотрим, в какой мере Екатерина Романовна выполнила свое обещание, действительно ли она не скрывала неприглядных качеств своей личности, которых у нее было немало и которые производили на современников дурное впечатление. Согласилась ли она вывернуть себя наизнанку и предстать перед читателем такой, какой она была?

Княгиня начинает письмо с опровержения одного утверждения, исходившего от императрицы, заявившей через месяц после переворота в послании к Станиславу Понятовскому, «что мое участие в этом деле было ничтожно, что я на самом деле не больше, как честолюбивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве». Более того, Екатерина Романовна удивляется, «каким образом умная Екатерина могла говорить о бедной ее подданной», готовой ради нее отправиться на эшафот.

Источники, которыми располагают историки, дают основание принять сторону императрицы. Во-первых, Дашкова неточно излагает мысль Екатерины: она не называла Екатерину Романовну «дурой», а напротив, считала ее «очень умной» женщиной, но «тщеславной и взбалмошной». Во-вторых, дело даже не в формулировках, а в сути: великая княгиня и ее сообщники, как отмечалось выше, имели основание не доверять Екатерине Романовне. Поэтому императрица права, когда уличала Дашкову в преувеличении своей роли в перевороте. Поскольку с этой оценкой своей роли Дашкова не расставалась до конца дней своих, то остается строить догадки, почему она осталась верной своим заявлениям, сделанным сразу же после переворота. Вероятно, суетливость, затрату переливавшей через край энергии она и в самом деле принимала за реальный вклад в «революцию», как называли современники события 28 июня 1762 года. В действительности же его успех или неудача решались не Дашковой и даже не примкнувшими к заговорщикам вельможами, а офицерами-заговорщиками в казармах гвардейских полков.

Приписываемая Дашковой руководящая роль в перевороте опровергается и тем, что она, по собственному признанию, появилась в Казанском соборе, когда все завершилось без ее участия; Екатерина была объявлена императрицей.

В другом отношении, пожалуй, права Дашкова: императрица в беседе с австрийским императором охарактеризовала княгиню «как самую капризную женщину». Следов этой капризности Екатерина Романовна не оставила.

Вслед за замечаниями в адрес императрицы идет опровержение молвы о достоинствах и пороках Дашковой, сформулированных ею самой. Многие, писала она, ей приписывали «ум и проблески гения». Дашкова дала ответ, с которым трудно не согласиться: «В уме я не чувствовала недостатка, но на второй не обнаруживала ни малейшего притязания».

Следующее суждение о натуре Екатерины Романовны относилось к ее учености. Здесь тоже можно с ней согласиться: «Это совершенно ложная черта». Раннее замужество, дети, болезни «вовсе не благоприятствовали кабинетным трудам, которые я так любила».

Ответы на вопросы о характере ставят под сомнение искренность Екатерины Романовны. Здесь она подает себя без изъянов и темных пятен. Княгиня, например, решительно и столь же безосновательно отвергает наличие у нее таких пороков, как тщеславие, крайнее самолюбие, упрямство.

В Толковом словаре Даля читаем следующее определение:

«тщеславиться чем, искать суетной или тщетной, вздорной ложной славы, внешнего почета, блеска, почестей или хвалы; величаться, кичиться, возноситься, ревнуя вообще к наружным знакам почести; хвалиться заслугами, достоинствами, богатством своим, хвастаться, бахвалиться»[463].

Разве не тщеславие и самолюбие руководили ее пером, когда она бралась составлять «Записки» и описывать свою персону? Самолюбием и тщеславием она руководствовалась, когда отвергла выбор сына в супруги купеческой дочери. Княгиня обладала характером, который в обыденной жизни принято называть тяжелым или дурным.

Нерасположение к ней окружения императрицы отчасти можно поставить в вину окружению, но главным образом самой княгине: она сама писала о наличии «толпы моих врагов, окружавших императрицу». Если речь идет о толпе врагов, то справедливо было бы поискать причины ее существования в самой княгине. К сожалению, вражда к княгине проникла не только в придворную среду, но и в среду родственников.

Погружаясь в сферу семейных отношений, мы должны учитывать, что ее полноценное освещение возможно только при наличии всего комплекса источников: писем, мемуаров, хозяйственных документов, свидетельств посторонних лиц и т. д.

К сожалению, мы располагаем ограниченным количеством источников, случайно сообщающих отрывочные сведения и взгляды только одной стороны (самой княгини), участвующей в семейном конфликте. Поэтому выводы, на них основанные, не представляются нам бесспорными.

Нам представляется, что виновницей напряженных и даже враждебных отношений в семье Дашковых была властная и самолюбивая княгиня, игнорировавшая интересы дочери и сына. Дочь Анастасию Екатерина Романовна выдала замуж за некоего Щербинина. Выбор пал на него потому, что он был меланхоликом, что, по мнению княгини, должно было благотворно отразиться на семейной жизни и сгладить неуравновешенный характер дочери. На поверку оказалось, что супруг Анастасии Михайловны страдал психическим расстройством, с годами усиливавшимся. В письме, относящемся к 1784 году, анонимный автор писал к неизвестному корреспонденту о Щербинине: «Говорят, он помешан, разговаривает сам с собой, смеется, и затем становится задумчивым и печальным». Нетрудно представить, имея в виду нравы второй половины XVIII века, как вела себя супруга — она пустилась в разгул, промотала часть приданого, составлявшего 80 тысяч рублей, чего, разумеется, не одобряла мать-аскетка.

Начались ссоры. Судя по письмам княгини, она запретила дочери появляться в своем доме, взяла с нее обязательство не показываться «в тех местах, где может меня встретить». В письме к брату 30 ноября 1803 года княгиня сообщала о мотовстве дочери: «Ты увидишь в Петербурге мою дочь. Шесть лет как я заплатила все ее долги. Однако один из кредиторов предъявил иск на 10 тысяч рублей, и через шесть недель продали часть ее имения». В другом письме, на этот раз к дочери, мать писала: «Я тебя прощала семь раз, что только ангел милосердия простить мог…» и т. д. Далее — упрек дочери, что она тайком приезжала в имение матери и настраивала против нее крестьян. Княгиня обвиняла дочь в разврате, мотовстве, неповиновении и прочих грехах. Распря с дочерью кончилась тем, что мать лишила ее наследства, как недвижимого, так и движимого имущества.

Не лучше обстояло дело и с сыном. Княгиня, похоже, делала все от нее зависящее, чтобы сын и дочь выросли физически крепкими, здоровыми и образованными. Она возила их лечиться за границу, сочла необходимым, чтобы сын закончил Эдинбургский университет. И тем не менее и сын, и дочь не ответили заботливой матери ни благодарностью, ни послушанием. Сын, как только освободился от опеки матери, стал бражничать, залез в долги, так что матери пришлось раскошеливаться на их погашение. И хотя после смерти сына состоялось примирение свекрови с невесткой, трагедия не растопила до конца суровое сердце княгини; из 69 тысяч рублей, завещанных различным лицам, на долю невестки пришлось только 10 тысяч рублей.

Непросто разобраться в последнем упреке в адрес Дашковой: «Меня также представили жестокой, беспокойной и алчной». Перечисленные упреки княгиня отклонила. Можно безоговорочно принять ее заявление относительно жестокости: «Мои знакомые и слуги, я уверена, не могут обвинить меня в жестокости». Что касается скупости, то «этот порок, — писала Екатерина Романовна, — свойствен только низкому уму. В этом отношении лучшим моим оправданием служат денежные пособия родственникам, гораздо выше моих средств». Цитированное заявление соответствует действительности: горячо любимого сына она выручала из беды дважды, раз уплатив за него девять тысяч, в другой — 24 тысячи. Погашала она долги и своей непутевой дочери.

Порок Екатерины Романовны скорее можно назвать стяжательством. В самом деле, в источниках, исходивших от Дашковой, часто упоминаются жалобы на бедность, на необходимость экономить во всем, ибо надлежало расплатиться с

долгами покойного супруга и сделать это так, чтобы не продать ни одного крепостного и тем самым не оставить детей без наследства. Ей пришлось расстаться с драгоценностями, серебряной посудой и ограничить свои расходы 500 рублями в год. По инерции она продолжала экономить и в годы, когда ее годовой доход достигал 25 тысяч рублей — сумма по тем временам громадная.

Помещица держала все нити управления имениями в своих руках, вникая во все детали их хозяйственной жизни. В 1799 году она сетовала на понесенные убытки от града: «У нас два раза были грозы и град, наделавшие много бед; моя конопля почти совсем уничтожена; хорошо, если нам удастся спасти хоть десятую часть; убыток свой исчисляю в 1500 рублей». В другом письме (1793 год) она жаловалась на подорожание мяса: «Провизия с каждым днем дорожает. Говядина стоит 10 коп.».

Дашкова занималась и ростовщичеством, причем с кредиторами обходилась довольно жестко. Брата она уведомляла, что отказалась одолжить 3–4 тысячи рублей некоему Страхову, так как тот не уплатил 5 % с ранее взятых 2 тысяч рублей[464].

Непривлекательные черты характера Екатерина Романовна сохранила до конца жизни. Уже будучи в преклонном возрасте, она заявила издателю «Русского вестника» С. Н. Глинке: «Я вызываюсь к вам в сотрудницы, только с уговором: я настойчива и даже своенравна в мнении и в слоге моем; прошу не переменять у меня ни буквы, ни запятой, ни точки»[465].

Жизненный путь единственной в истории России женщины-вельможи не был усеян розами: в ее служебной и общественно-политической карьере взлеты сменялись столь же крутыми падениями. Но особенно сильные удары обрушились на нее в области семейной жизни. Приходится удивляться, с каким мужеством переносила удары эта невзрачная на вид женщина, до конца дней своих остававшаяся верной своим принципам. Скончалась она в 1810 году.

Глава XV. Никита Иванович Панин

В двух последних главах речь пойдет о вельможах, занимавших высокие посты в правительственном механизме, — канцлерах. За тридцатичетырехлетнее царствование Екатерины их сменилось три: М. И. Воронцов, Н. И. Панин и И. А. Остерман. Но Воронцов, верно служивший Петру III и даже приезжавший в Петербург, чтобы уговорить Екатерину отказаться от переворота, продержался недолго и после воцарения императрицы должен был подать в отставку. Что касается Остермана, то он относится к числу марионеточных канцлеров, не оказывавших серьезного влияния на дела. Фактическим руководителем внешнеполитического ведомства до 1797 года был Александр Андреевич Безбородко, формально остававшийся вторым лицом в Коллегии иностранных дел.

Внешняя политика относится к той сфере управления, к которой проявляли известный интерес, преимущественно на бытовом уровне, такие императрицы, как Анна Ивановна и Елизавета Петровна, как известно, освободившие себя от всех государственных забот. В их царствование внешнеполитическое ведомство находилось в руках А. И. Остермана и А. П. Бестужева-Рюмина, определявших внешнеполитический курс страны.

Совсем иная ситуация сложилась при Екатерине И, фактически выполнявшей роль канцлера, вникавшей во все детали внешней политики страны. Если Потемкин, находясь вдали от двора, являлся фактическим хозяином наместничества с неограниченными полномочиями, доверенными ему Екатериной, а Дашкова, будучи президентом двух академий, исполняла свои обязанности более или менее самостоятельно, далеко не всегда испрашивая дозволения императрицы, то внешнеполитические дела настолько интересовали императрицу, что находились под ее неусыпным контролем. Объясняется это тем, что внешнеполитический престиж государства был адекватен престижу императрицы внутри страны.

Сказанным определяется роль канцлеров при Екатерине — они являлись всего лишь исполнителями ее воли, иногда отстаивавшими свою точку зрения, но в большинстве случаев (в особенности это относится к Безбородко) безропотно выполнявшими повеления Екатерины.

Никита Иванович Панин родился в 1718 году в семье военного служаки Ивана Панина, завершившего свою военную карьеру генерал-поручиком. Хотя он прослужил всю жизнь в армии, но не стяжал военной славы. Его сын Никита начал

службу с нижних чинов в конногвардейском полку, вручившем в 1741 году скипетр Елизавете Петровне.

Когда Елизавета Петровна обратила внимание на Никиту Панина, ее фаворит И. И. Шувалов решил избавиться от соперника давно испытанным способом — удалить от двора и взвалить поручение, выполнение которого связано с выездом из столицы. В итоге Панин получил назначение послом в Дании, а затем в Швеции. В последней он зря времени не терял, знакомился с борьбой политических партий, овладевал искусством дипломата. Так как в Швеции были сильны реваншистские настроения, нацеленные на пересмотр Ништадтского мира, то Панину, чтобы обезвредить влияние реваншистов, довелось овладевать всем арсеналом интриг: обострять соперничество противоборствующих «партий», использовать подкупы, поднатореть в лести.

Одновременно, живя в Швеции, Панин усвоил некоторые идеи Просвещения. Он, например, фетишизировал силу законов, которым неукоснительно должно подчиняться все население страны, включая и монарха, — только располагая хорошими законами, страна может достичь благоденствия. Панин считал первейшей обязанностью государства покровительствовать развитию внутренней и особенно внешней торговли, промышленности, использующей богатейшие природные ресурсы страны, совершенствованию путей сообщения как сухопутных, так и водных, поощрению земледелия. Для достижения этих целей надлежало купцам и промышленникам выдавать на льготных условиях ссуды, защищать отечественную промышленность покровительственными пошлинами и т. д.

Дипломата Панина интересовала и судьба крепостных крестьян. Здесь он в принципе придерживался взглядов умеренных просветителей, но вносил в них существенные коррективы. По его мнению, ликвидация крепостного права была преждевременной, но он считал первоочередной задачей государства регламентацию отношений между барином и крестьянином правительственными законами, устанавливавшими размер повинностей в пользу помещика. Нарушителей закона ожидала суровая кара.

С таким запасом знаний и убеждений Никита Иванович в 1760 году прибыл в Россию — его вызвала императрица Елизавета Петровна, поручив ему ответственную задачу воспитателя сына наследника престола — Павла Петровича. Должность обер-гофмейстера среди придворных чинов котировалась достаточно высоко — она беспрепятственно открывала двери двора, правда, малого, позволяла завести с этим

двором, то есть с великим князем и великой княгиней, более или менее близкие отношения. Обер-гофмейстер был вхож и в апартаменты императрицы. Все это вместе взятое ставило его в ряд важных сановников страны.

Согласно инструкции, которой должен был руководствоваться обер-гофмейстер при воспитании сына Екатерины, первейшая обязанность воспитателя состояла в утверждении «в нежном его сердце прямого благочестия, то есть убежденности в вере». Далее следует пространный перечень добродетелей, которые надлежало внушить воспитаннику: добронравие, добродетельное сердце, человеколюбие, кротость, правосудие и др.

Панину разрешалось приглашать в общество воспитанника «всякого звания чина и достоинства» людей «доброго состояния», чтобы он мог познать их нужды и научиться отличать добродетельных людей от злонравных.

В обязанность Панина вменялось предупреждение таких пороков, как лесть, трусость, непристойные шутки и др. Из наук, преподаваемых великому князю, первое место должна занимать история России, изучение нравов и обычаев ее народа, примеров отваги при защите Отечества, а также природных ресурсов страны. Что касается остальных предметов, подлежащих усвоению воспитанником, то их перечень отдавался на усмотрение воспитателя: «по долговременному вашему обращению в делах политических, сами знаете, которых из оных его высочеству пристойны и нужны»[466].

Нам неведомо, какими педагогическими навыками располагал Никита Иванович, мы не знаем и педагогических принципов, которыми он руководствовался. Известно лишь, что он получил материал для воспитания не лучшего качества: великий князь от рождения до шести лет находился на попечении невежественных нянек, сказочниц, приживалок, считавших благом для ребенка, если его содержат в закрытом душном помещении, укутанным сверх всякой меры. В результате мальчик рос болезненным и хилым, крайне нервным и вспыльчивым. Няньки приучали ребенка к послушанию, запугивая именами императрицы и обер-гофмейстера, так что первое свидание воспитателя с подопечным сопровождалось ревом из-за страха, внушенного няньками.

С появлением Панина няньки были удалены от великого князя, но, судя по запискам С. А. Порошина, изо дня в день отмечавшего все события из жизни воспитанника, Панин рвением и сердечными заботами о воспитании не отличался. Отчасти это объяснялось его ленью, отчасти — тем, что на него одновременно

с обязанностями воспитателя было возложено в 1763 году руководство внешнеполитическим ведомством.

Порошин в своих «Записках» каждодневно регистрировал присутствие или отсутствие Панина за обеденным столом и темы бесед, которые вел главный воспитатель. Как правило, он обращался не к десятилетнему ребенку, а к взрослым, сидевшим за столом: к Порошину, отцу Платону, Г. Н. Теплову, Захару Чернышову, брату П. И. Панину и др.

Содержание бесед не дает оснований считать, что Панин руководствовался какой-либо системой в выборе тем. Это была скорее светская или деловая беседа, чуждая детским интересам и разуму малолетнего воспитанника.

Поскольку Никита Иванович занимал первое место среди присутствовавших вельмож, то он, и никто другой, определял тему разговора, и в зависимости от настроения Панина за столом царили либо веселье, либо гробовая тишина — молчал Панин, безмолвствовали остальные. Так, 17 и 18 января 1765 года Никита Иванович пребывал в плохом настроении, что тут же отметил Порошин: «Его превосходительство Никита Иванович по большей части сидел задумавшись»; на другой день он же «мало разговаривал», а запись от 8 октября 1764 года зарегистрировала влияние дурного расположения духа воспитателя на поведение присутствовавших: Панин «весьма был задумчив, и задумчивость его по всем распространилась».

Далеко не изо всех бесед ребенок мог извлечь для себя какую-либо пользу. Довелось, например, Панину сравнить нынешние маскарады с предшествующими, и он стал убеждать слушателей, что в былые времена маскарады отличались богатством одежды и занимательностью масок: во времена Анны Ивановны на генерал-берг-директоре А. Шемберге «платье было с бриллиантами тысяч на полтораста», а «в нынешних маскарадах богатых масок совсем не бывает», что привело к падению интереса к этого рода увеселениям. В другой раз Панин затеял разговор с отцом Платоном о церковной обрядности и вел себя так, будто совершенно не замечал присутствия за столом воспитанника. Запись Порошина от 14 января 1765 года: «Почти до осьми часов сидел у нас Никита Иванович. Изволил по большей части разговаривать со мною о некоторых придворных обстоятельствах во владение императрицы Елизаветы Петровны, о графе Петре Ивановиче Шувалове, о заведении здесь банков, о прошлой войне и о прочем».

В другой раз собеседником Панина вновь оказался Порошин, причем разговор шел о судебной практике, об училищах, о военных распоряжениях «и о прошедших временах». Нередко

беседы со взрослыми велись на темы, совершенно недоступные детскому восприятию. Так, 11 января 1765 года Панин затеял беседу о кавалере Данжеле, сочинившем книгу о прибытках и убытках коммерции в Англии и во Франции, при этом заявив, что Данжель «все выкрал из одного английского автора». При сравнении финансовых систем Никита Иванович хулил французскую.

23 февраля Панин затеял «великий спор» с Тепловым о том, «в армию докторов назначать Медицинской ли коллегии, или по требованию командующего дивизией». Невнимание к наследнику вызывало у последнего раздражение, и тот в резком тоне высказал недовольство: «Как не стыдно во весь стол говорить одно, да одно».

Изредка, однако, темы бесед с некоторой натяжкой можно отнести к воспитательным. Однажды Панин спросил у воспитанника: «Как вы думаете, повелевать ли лучше или повиноваться?» «На сие изволил сказать государь: все свое время имеет; в иное время лучше повелевать, в иное лучше повиноваться». От воспитателя надобно было ожидать рассуждений, оценки ответа, его конкретизации, но Панин оставил ответ без внимания, во всяком случае Порошин умолчал о его реакции.

Воспитательное значение имел рассказ Никиты Ивановича о шведском короле, большом почитателе кукольных комедий, «и как он сам (король. — Н. П.), стоя за декорациями, говорил вместо Полишинеля». Панин «рассказывал о сем с насмешкою его величеству», из чего вытекало нравоучение: не дело короля участвовать в кукольных комедиях.

Крайне редко встречаются записи, непосредственно относившиеся к воспитательному процессу. 20 сентября 1765 года наследнику исполнилось 11 лет. Панин в связи с этой датой спросил у Порошина, сам ли наследник «умываться изволит». «И как я сказал, — читаем в „Записках“ Порошина, — что мы его умываем и сегодня умывал я, то Никита Иванович говорил, чтобы его высочество впредь изволил умываться сам, что теперь не дитя уже». К этому проявлению заботы Никиты Ивановича о своем воспитаннике можно добавить разве что еще один случай, когда он удосужился лично наблюдать за одеванием наследника, да его указание на то, чтобы чадо не перекормили.

За столом бывали случаи, когда разговор носил, выражаясь современным языком, антипедагогический характер, прививавший не чувство сострадания к ближнему или нравственность, а наоборот, развивавший жестокость, садизм, капризность и т. д. Порошин описал несколько подобных

разговоров. Один из них начался с казни Мировича, давшей повод Панину вспомнить, с его точки зрения, забавный случай казни в Париже какого-то аббата: палач возвел того на эшафот, наложил петлю на шею и затем толкнул жертву с лестницы. Аббату, однако, удалось зацепиться ногою за лестницу и повиснуть. «Палач толкнул его в другой раз покрепче, сказав: „Descendez done, ne faites pas i'enfant Mr. l'abbe“ (Спускайтесь же, не изображайте из себя ребенка, мистер аббат. — Н. П.). Сему весьма много смеялись».

Вряд ли был полезен для ребенка и рассказ Панина о шведской графине Цедеркрейц, которую обманул первый ее супруг, шотландец Мул: женившись на ней и обобрав ее, он уехал на родину и к ней не возвратился.

Если добавить, что великого князя водили в театр, где ему доводилось наблюдать фривольные сцены, присущие отнюдь не целомудренному веку Екатерины, а также смотреть комедии, рассчитанные вовсе не на детей, то трудно оценить положительно роль Панина в воспитании у Павла добродетелей, предусмотренных инструкцией.

И все же Панин оказал немаловажное влияние на воспитание Павла: во-первых, подбором знавших свое дело воспитателей, среди которых выделялся высокими нравственными качествами и обширными знаниями молодой офицер С. А. Порошин, преподававший наследнику математику, фактический его воспитатель, к сожалению, выполнявший свои обязанности лишь в течение года; во-вторых, по словам А. Г. Тартаковского, Панин вместе с Порошиным «настойчиво внушал наследнику представления о его династических правах». Разумеется, подобные внушения не способствовали установлению доверительных отношений между матерью и сыном — Екатерина смотрела на Павла как на законного наследника и зорко следила за ним, чтобы пресечь всякие попытки воспользоваться своими правами.

Особенно усилился разлад между Екатериной и сыном после того, как последний достиг совершеннолетия и с 20 сентября 1772 года, по представлению Панина и его сторонников, мог бы стать если не соправителем, то исполнителем важных правительственных поручений. Екатерина, однако, держала «малый двор» в изоляции и делиться даже малой толикой власти не намеревалась.

Екатерина знала о симпатиях Панина, но лишить его должности и отвадить от двора в первые годы царствования не решалась, ибо учитывала и степень его влияния в придворных кругах, и его активную роль в перевороте, и, наконец,

непрочность своего положения на троне. В последующие годы она, напротив, уже была уверена, что ни Панин, ни его воспитанник не представляли угрозы. Екатерина убедилась в крайней необходимости графа на посту главы внешнеполитического ведомства, поскольку тот, являясь ее единомышленником во взглядах на сближение с Пруссией, с усердием выполнял волю императрицы. Но как только Екатерина изменила внешнеполитическую ориентацию, Панин оказался не у дел.

Обстоятельства сложились так, что осторожному Никите Ивановичу пришлось участвовать в бурных событиях 28 июня 1762 года. Отличительная особенность этого переворота состояла в участии в нем, помимо рядовых гвардейцев и гвардейских офицеров, таких вельмож, как Н. И. Панин и гетман К. Г. Разумовский. Вовлечение Панина в ряды заговорщиков было делом достаточно сложным, ибо Никита Иванович не любил рисковать. И все же его удалось уговорить. Тому немало содействовал сам Петр III, наградивший Панина, человека сугубо штатского, ненавидевшего муштру, чином генерал-аншефа. Чин обязывал тщедушного вельможу участвовать в вахтпарадах, построениях всякого рода, к которым был так пристрастен император.

Панин отказался от генеральского чина, заявив, что, если будут настаивать на его принятии, он отправится в Швецию. Когда об этом отказе доложили императору, он произнес две оскорбительные в адрес Панина фразы: «Мне все твердили, что Панин умный человек. Могу ли я теперь этому верить?» Петр III все же наградил воспитателя своего сына гражданским чином, соответствовавшим генерал-аншефу[467].

Дашкова после многих раздумий и сомнений все же решилась заговорить с Паниным, доводившимся ей дальним родственником, «о вероятности низложения с престола Петра III». «Я решилась открыться графу Панину, — писала Дашкова, — при первом моем свидании с ним. Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената». В переводе с дипломатического языка на обыденный слова Панина означали, что он понимал гибельность для страны правления неуравновешенного Петра III, но противился насильственным мерам. «Соблюдение законности» означало, что трон должен наследовать законный преемник, то есть сын Петра Павел, его, Панина, воспитанник, а Екатерине, матери Павла, до его совершеннолетия отводилась роль регента. Быть может, на каком-то этапе подготовки переворота и его совершения Екатерина и могла согласиться на роль регента, но в обстановке всеобщего ликования по поводу свержения Петра III и

воцарения Екатерины мысль о регентстве сама собою исчезла.

Казалось бы, что столь существенные различия во взглядах на цель переворота должны были заставить Екатерину проявить настороженное отношение к Панину и повлиять на его карьеру. Но этого не случилось, во-первых, потому, что более или менее доверительные отношения между малым двором, в особенности Екатериной и Паниным, имели давнюю историю; во-вторых, Панин, видя бесполезность протеста, не настаивал на реализации своего плана; в-третьих, императрица не стала мстить и проявлять враждебность не только к Никите Ивановичу, но и к явным сторонникам свергнутого супруга, таким, как Волков, Мельгунов, М. И. Воронцов.

27 октября 1763 года Панин получил от Екатерины следующий рескрипт: «По теперешним не беструдным обстоятельствам мы за благо во время отсутствия нашего канцлера препоручить вам исправление и производство всех по Иностранной коллегии дел; чего ради и повелеваем вам до возвращения канцлера присутствовать в оной коллегии старшим членом поколику дозволяют вам другие ваши должности». По смыслу рескрипта новая должность Панина была временной, отправлять ее он должен был до возвращения Воронцова из двухлетнего отпуска, но просьба последнего о предоставлении отпуска была ничем иным, как благовидным предлогом ухода в отставку, и Панин почти на 20 лет стал руководителем внешнеполитического ведомства. Слова рескрипта «поколику дозволяют вам другие ваши должности» означали, что за ним сохранялись обязанности воспитателя наследника и руководителя ведомства, разбиравшего политические преступления.

Назначение Панина, как и вступление на престол Екатерины, получило отклик австрийского посла графа Мерси д'Аржан-то, доносившего в Вену в 1763 году: «Что касается до настоящего времени, то, во-первых, более чем вероятно, что характер новой государыни, составленный из бурных страстей, сделает ее царствование, как в хорошем, так и в худом, весьма оживленным и деятельным; во-вторых, так как Панин был главным орудием к возведению на престол новой государыни и через то достиг непременного права руководить ею в делах правления, то он, конечно, сумеет искусно согласовать сохранение собственного кредита со страстями императрицы. Этот министр чрезвычайно своенравен и искусен в предприятиях, выгодных ддя его конечной цели».

В течение продолжительной службы Панину довелось исполнять самые разнообразные поручения Екатерины, в том

числе и самого деликатного свойства, не имевшие прямого отношения ни к дипломатии, ни к обязанностям воспитателя, при этом, то пользуясь ее безграничным доверием, то находясь в полуопале. К таким деликатным поручениям относится руководство расследованием двух дел: «дела Хитрово», связанного с намерением Екатерины связать свою судьбу с фаворитом Григорием Орловым брачными узами, и следствия по делу Мировича, неудачно пытавшегося совершить очередной переворот — свергнуть Екатерину и вручить корону томившемуся в заточении в Шлиссельбурге Иоанну Антоновичу.

Первое следствие не обнаружило серьезной опасности для Екатерины, и участники так называемого заговора понесли сравнительно легкое наказание, объясняемое, в частности, и тем, что сам Никита Иванович находился в рядах тех, кто противился этому браку.

Что касается Мировича, то он, как мы помним, совершил попытку освободить из заточения Иоанна Антоновича в дни, когда императрица находилась в Прибалтике, и она руководила следствием через Панина, проявившего при его проведении и личную инициативу, и верность Екатерине, и неукоснительное выполнение всех ее распоряжений, присылаемых из Риги.

Когда читаешь письма императрицы Панину, то из их содержания вытекают два наблюдения: высокая степень доверия императрицы к Панину и невероятная выдержка Екатерины. Первое известие, полученное императрицей от Панина, по всей видимости, вызвало у нее два чувства: радость по случаю гибели главного претендента на корону и заключения под стражу главного виновника трагедии, происшедшей в Шлиссельбурге, и чувство тревоги, под влиянием которого она выразила сомнение в том, что Мирович действовал в одиночку, и уверенность, что у него были сообщники в Петербурге из числа гвардейцев, готовых повторить то, что два года назад она сама содеяла.

Поведение Екатерины тем более вызывает удивление, что она, получив известие из Петербурга, не бросилась, очертя голову, в столицу, а оставалась в Риге и делала вид, что на небосклоне все спокойно; она, как и раньше, продолжала расточать улыбки, покорять обаянием лифляндских дворян, участвовать в маскарадах, торжественных приемах и пр. Только по письмам императрицы к Панину, достаточно откровенным, можно судить о глубокой тревоге и напряженном ожидании новых вестей из Петербурга. Между Ригой и столицей день и ночь скакали курьеры, доставлявшие донесения Никиты Ивановича и распоряжения императрицы, до мелочей вникавшей в дело. Обращает внимание, с какой поспешностью императрица

отвечала на донесения Панина, причем все рескрипты к нему, ради сохранения тайны, она писала собственноручно: 9 июля, It июля (два рескрипта), 14 июля, 22 июля. В последнем рескрипте императрица высказала полное удовлетворение действиями Никиты Ивановича: «Лучше сделать не можно было как вы сделали, за что я весьма благодарна… кажется дело гладко»[468].

Панин активно участвовал и в событиях, развернувшихся в столице Речи Посполитой Варшаве и связанных с выборами нового короля, бывшего любовника императрицы, Станислава Понятовского.

Русской дипломатии при осуществлении своего намерения пришлось преодолевать сопротивление постоянного соперника за преобладание в Европе — Франции, а также Австрии. В результате в месяцы, когда проводилась избирательная кампания в Речи Посполитой, Екатерина сблизилась с Фридрихом II, посчитавшим, что Станислав Понятовский более всего соответствует его видам в Польше.

В итоге давления на конволационный (избирательный) сейм 4 июля 1764 года королем единогласно был избран Станислав Понятовский. Это дало повод Екатерине написать Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы делали»[469]. Справедливости ради отметим, что главным «делателем» короля был не Панин, а Екатерина, державшая в своих руках все нити интриги избирательной кампании и через голову Иностранной коллегии непосредственно общавшаяся с послом России в Варшаве Кайзерлингом и сменившим его Репниным.

На 1763 год падает еще два события, к которым имел прямое касательство Панин. Одно из них носило матримониальный характер и связано с попыткой Г. Орлова стать супругом императрицы.

Формально эту затею предложил А. П. Бестужев-Рюмин, по повелению Елизаветы Петровны оказавшийся в опале. Этот вельможа опирался в своей карьере на лесть и угодничество, умение предвосхищать тайные желания сильных мира сего. После смерти Анны Ивановны Бестужев предложил Бирону стать регентом Иоанна Антоновича и, проявив незаурядную настойчивость, достиг своего. Теперь, в 1763 году, он, будучи возвращен из ссылки Екатериной, сделал ставку на ее фаворита и, конечно же с его подачи, уговорил императрицу согласиться на брак.

Нам представляется, что Екатерина согласилась на этот шаг поневоле, находясь в состоянии неуверенности за свою судьбу и страшась лишиться короны, которую вручили ей Орловы и которую с той же легкостью могли у нее отнять. Фаворит

Григорий Орлов, самый недалекий из братьев, в присутствии императрицы и вельмож хвастливо заявлял, что ему понадобится месяц, чтобы посадить на трон другого претендента. На это Кирилл Разумовский резонно заметил, что Орлов за неделю до переворота был бы повешен.

Согласно версии Дидро, «Бестужев открыл эти замыслы канцлеру Воронцову. Канцлер, не хотев слышать его и прервав на половине речи, сказал: „Чем я заслужил такое унизительное доверие с вашей стороны?“ Вслед за тем он побежал к императрице и поставил ей на вид неприличие и опасность такого поступка, советуя, если угодно удержать Орлова как любовника, осыпать его богатствами и почестями, но отнюдь не думать о бракосочетании с ним, столь вредном для нее самой и для народа». От Екатерины он отправился к графу Панину и рассказал ему дело, и умолял его помочь своим влиянием. Панин занял твердую позицию: «Императрица может сделать все, что захочет, но госпожа Орлова не может быть императрицей».

План Бестужева, как видим, не встретил поддержки вельмож. Не поддержало затею бывшего канцлера и среднее звено придворных, что подтверждает дело Хитрово. Дидро сообщает сомнительную в своей достоверности деталь: когда «тайна брака обнаружилась, негодующий народ сорвал портрет императрицы и, отстегав его плетью, разорвал на клочки»[470].

Даже если игнорировать сомнительные сведения Дидро об отношении народа к намерению Екатерины сделаться супругой Орлова, то протест против этого намерения со стороны верхов и низов столичного дворянства подтверждается достоверными источниками. Опираясь на их поддержку, императрица без труда отклонила план Бестужева. Хотя Екатерина и понимала, что Орлов может быть только обузой ее царствования, отказать ему без поддержки извне она бы не посмела.

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг проекта Н. И. Панина. Если проект Бестужева в значительной мере имел отношение к частной жизни императрицы, то проект Панина имел государственное значение, точнее, вносил изменения в структуру высших органов власти: Никита Иванович предлагал создать в стране новое учреждение — Императорский совет, а также реформировать Сенат.

По сути Императорский совет не относился к числу новых и оригинальных учреждений — с подобным учреждением, но под другим названием история страны знакома. Речь идет прежде всего о Верховном тайном совете и Кабинете министров, учрежденных в помощь императрицам, понятия не имевшим об управлении государством.

Проект Панина предусматривал создание Императорского совета, состоявшего из императорских советников, «число коих никогда восьми превосходить и меньше шести умалиться не должно». Четверо из советников назначаются статс-секретаря-ми, каждый из которых ведал определенной сферой управления: внутренними делами, внешней политикой, военной и морской отраслями.

Надобность в статс-секретарях Панин мотивировал двумя причинами: необходимостью оградить государя от ошибок, «свойственных человечеству», ибо он «никак инако все в полезное действо произвести не может как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон». Вторая причина создания Императорского совета состояла в стремлении отстранить от управления страной временщиков и «припадочных людей», как называл Панин фаворитов.

Фаворитизм, по мнению Никиты Ивановича, — зло, ибо фавориты руководствовались не интересами государства, а личными выгодами. «Прихоть была единственным правилом, по которому дела к производству были избираемы». Автор проекта задает ряд риторических вопросов: «Может ли партикулярный хозяин управлять своим домом, когда он добрым разделением своего домоводства не уставит прежде порядок? И как искусный фабрикант учредит свою фабрику или мастеров не по знанию, но по любви к ним будет распоряжать по станам разных работ?»

Подготовленный Паниным проект Манифеста об учреждении Императорского совета подчеркивал, что в прежние времена в производстве дел решающее влияние оказывала «сила персон, нежели власть мест государственных». Новое учреждение должно было положить конец прихотям, взамен которых выступает сила закона. Нередко за правительственными учреждениями «оставалось только их наименование, а все государство одними персонами и их изволениями без знаний и вне мест управляемо было».

Компетенция нового учреждения определена в самом общем виде: «все то, что служить может к собственному самодержавию государя, попечению и приращении и исправлении государственном имеет быть в нашем Императорском совете, яко у нас собственно».

Императорский совет должен заседать ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Каждый статс-секретарь докладывал о делах по своему департаменту, а императрица могла либо принять, либо отклонить подготовленный департаментом проект указа с внесенными во время обсуждения дополнениями и

исправлениями.

Императрица не только одобрила проект и подписала Манифест о его создании, но назвала его персональный состав. Возглавлять Императорский совет должен был А. П. Бестужев-Рюмин, а его членами назначались князь Я. П. Шаховской, граф К. Г. Разумовский, Н. И. Панин, князь М. П. Волконский, граф З. Г. Чернышов и М. И. Воронцов. На Панина возлагалась обязанность руководителя департамента внутренних дел, иностранных дел — на М. И. Воронцова, военных — Чернышова. Должность статс-секретаря морских дел осталась вакантной[471].

Казалось, реформатор Панин мог праздновать победу, его престиж укрепился еще более, а во влиянии на императрицу он не имел соперников. И вдруг все радикально изменилось: Екатерина надорвала лист. Это означало отказ от панинского проекта. Причин тому несколько, среди них и та, на которую ссылался С. М. Соловьев: предшественники Императорского совета создавались при беспомощных государынях, не имевших данных для управления страной. Екатерина себя к их числу не причисляла. Следовательно, проект Панина наносил удар по самолюбию императрицы. Кроме того, и это самое главное, Императорский совет, хотя и формально не ограничивал самодержавную власть Екатерины, но ущемлял ее права относительно фаворитов, которых она намеревалась не только использовать для утех, но и привлекать к делам управления. Ясно, что весь клан Орловых настоятельно убеждал отклонить проект Панина. Но как это сделать, чтобы не вызвать ропота влиятельного Панина, которого, надо полагать, поддерживали многие вельможи?

Хитроумный ход Екатерины состоял в том, чтобы похоронить проект чужими руками — она предоставила возможность ознакомиться с проектом влиятельным чиновникам, с тем чтобы те высказали о нем свое мнение. В распоряжении историков имеется два анонимных отзыва. Их авторы не возражали против учреждения Императорского совета, но вносили мелкие дополнения и изменения: например, Совет должен заседать не пять, а четыре раза в неделю, руководителя канцелярии один из анонимов рекомендовал называть не директором, а обер-секретарем.

Резко отрицательные суждения о проекте Панина высказал лишь фельдцейхмейстер Вильбоа, полагавший, что «под видом защиты монархии» проект «тонким образом склоняется более к аристократическому правлению», в котором члены Совета «весьма удобно могут вырости в соправителей», что приведет «к разрушению могущества и величия Российской империи».

Вильбоа не скупился на комплименты в адрес императрицы: ее мудрость, «благоразумие и светлый взгляд» не нуждаются ни в каком особенном совете.

Угодническая критика проекта как раз и требовалась императрице — появились основания дезавуировать свою подпись. О том, что Вильбоа, угодничая, подлаживался под мнение императрицы и Орловых, а быть может, пользовался их подсказкой, можно судить по тому, что никакой угрозы превращения членов Совета «в соправителей» не существовало, равным образом проект не давал повода для установления аристократического правления: назначение и отстранение членов Совета находились в компетенции императрицы. В данном случае важны были не доводы, не их убедительность, а сам факт неприемлемости проекта всего лишь единственным критиком. Главный аргумент в пользу искусственности доводов Вильбоа состоял в том, что трон занимала умная, энергичная императрица, не намеревавшаяся подчиняться чужой воле.

Фельдцейхмейстер рекомендовал вместо учреждения Императорского совета реформировать Кабинет императрицы, разделив его на необходимые департаменты, притом так, чтобы только известные, законом установленные доклады представляли ей лично и чтобы в каждом департаменте председательствовал статс-секретарь или кабинет-секретарь. Эти секретари принимали входящие и исходящие бумаги, регистрировали их, докладывали в точно определенные часы императрице об их содержании, наконец, составляли проекты указов для подписания императрицей[472].

Таким образом, вместо Императорского совета, учреждения, имевшего политическое значение, Вильбоа предлагал облегчить труд императрицы совершенствованием техники прохождения дел. Подобное предложение вполне устраивало Екатерину.

Устраивала ее и вторая часть проекта Панина, предусматривавшего реформу Сената. По мнению Панина, Сенат в его нынешнем виде представлял собой громоздкое учреждение, имевшее незначительный коэффициент полезного действия. Каждый из 30 сенаторов, считал автор проекта, «приезжает на заседание Сената как гость на обед, который еще не знает не только вкуса кушанья, но и блюд, коими будет подчиван».

Что касается деятельности Никиты Ивановича в качестве руководителя внешнеполитического ведомства, то она встречала поддержку императрицы лишь в тех случаях, когда соответствовала ее видам; напротив, императрица игнорировала его мнение, если оно противоречило ее намерениям. Приведем несколько примеров того, как Панин, вопреки своим убеждениям,

должен был подчиниться воле императрице и безоговорочно выполнять ее повеления.

В этом отношении показателен крутой поворот во внешнеполитической ориентации России в 1780 году. До этого года Екатерина поддерживала союзнические отношения с Фридрихом II, срок которых истекал в 1777 году. Панин, являвшийся одним из архитекторов так называемой Северной системы, продолжал ориентироваться на Пруссию, в то время как Екатерина считала, что Россия извлекла максимум выгод от союза с Пруссией и настало время сближаться с Австрией, естественной союзницей России в борьбе с Османской империей.

Если до 1780 года Фридрих II рассыпался в лести Екатерине II, получая в ответ щедрую дозу похвал в свой адрес, то с 1780 года место прусского короля в переписке с императрицей занял австрийский император Иосиф II. С этим поворотом Панин не был согласен, но должен был смиренно выполнять повеления Екатерины.

Вопрос в конечном счете клонится к тому, с каким усердием и отдачей Никита Иванович выполнял обязанности канцлера. Историки, как и в большинстве случаев, располагают разноречивыми свидетельствами современников. При пользовании ими следует учитывать три обстоятельства: эти свидетельства различаются по национальной принадлежности и по времени составления отзывов. Большинство иностранцев оставили отрицательные характеристики Панина. Мы, однако, еще раз должны напомнить, что критериями оценки иностранцев, в данном случае дипломатов, являются не объективные данные, а степень удовлетворения русским вельможей интересов страны, которую они представляют.

Послы при русском дворе нередко сваливали свои неудачи не на собственные промахи и неумение вести переговоры, а на отрицательные черты характера русского собеседника. Наконец, отзывы неравноценны по содержанию: если дипломаты преимущественное внимание уделяли отношению Панина к служебным обязанностям, то русские авторы пытались осветить его нравственные качества, причем в хвалебных отзывах нередко проскальзывают нотки панегирика.

Фонвизин писал: «Нрав графа Панина достоин был искреннего почтения и непритворной любви. Твердость его доказывала величие души его. В делах, касательных до блага государства, ни обещания, ни угрозы поколебать его были не в силах. Ничто в свете не могло его принудить предложить монархине свое мнение противу внутреннего своего чувства. Колико благ сия твердость даровала отечеству. От коликих зол

она его предохранила. Другие обожали его, самые враги его ощущали во глубине сердец своих к нему почтение и от всех соотечественников его дано было ему наименование честного человека».

Столь же восторженную оценку Панину дал Голицын: «Он был с большим достоинством, и что более всего отличало — какая-то благородность во всех его поступках и в обращении ко всякому внимательность, так что его нельзя было не любить и не почитать: он как будто к себе притягивал. Я в жизни моей не видал вельмож, столь по наружности приятных. Природа его одарила сановитостью во всем, что составить может прекрасного мужчину. Все его подчиненные его боготворили»[473].

Мнение императрицы о Панине менялось. Во время переворота и много лет после него он пользовался полным ее доверием. Накануне похода в Петергоф для ареста Петра III Екатерина, по ее выражению, созвала «нечто вроде совета», на котором было решено отправить против свергнутого императора и голштинцев четыре гвардейских полка, кирасирский полк и четыре полка пехоты. В числе самых доверенных лиц, принимавших это решение, был Н. И. Панин[474]. В письме к Понятовскому, относящемуся к 1762 году, императрица не жалела хвалебных слов в адрес Никиты Ивановича: это «самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем дворе»[475]. По-иному выглядит Панин под пером императрицы в 1783 году: «Граф же Панин был ленив по природе и обладал искусством придавать этой лености вид благоразумия и рассчитанности. Он не был одарен ни такой добротою, ни такой свежестью души, как князь Орлов, но он больше жил между людьми и умел скрывать свои недостатки и свои пороки, а они были у него великие»[476]. Так оценила службу Панина императрица.

Похоже, иностранные дипломаты относились к Панину несколько благожелательнее, чем русская императрица. Британский посол Гаррис в 1778 году доносил: «Надо обладать сверхчеловеческим терпением, чтобы вести дела с людьми настолько ленивыми и не способными ни выслушать вопроса, ни дать рассудительный ответ. Вы едва ли поверите, что граф Панин посвящает деловым занятиям по получасу в день»[477]. В том же 1778 году посол Франции Карберон отправил депешу со схожим отзывом о Панине: «Граф Панин слаб, как и все лица этого двора, держащиеся милостию; доверие, которым он пользуется, бывает иногда бесполезно. По натуре он чувствителен, а из системы и по привычке ленивец. Слово „нет“ ему неизвестно, но обещания свои выполняет редко, и если с его стороны по-видимому лишь

изредка встречаешь в чем-нибудь отпор, зато и подаваемые им надежды почти никогда не сбываются. К числу черт его характера принадлежит и хитрость — та хитрость, что он окружает вас вежливостью и тысячами любезностей, заставляющих человека, беседующего с ним о делах, забывать, что он говорит с главным министром императрицы, а этим он отвлекает собеседника от предмета его миссии и сбивает его с серьезного тона, которого следовало бы ему держаться среди увлекательной и опасной беседы»[478].

Карберон возвратился к теме ленивости Панина еще раз два года спустя, описав его распорядок дня: «Он встает очень поздно, забавляется рассматриванием эстампов или новых книг, потом одевается, принимает являющихся к нему, затем обедает, а после того играет в карты или спит, потом он ужинает и очень поздно ложится. Старшие чиновники его работают нисколько не больше его и проводят время за картежной игрой, причем проигрывают пропасть денег, до шестисот рублей в вечер, как случается, например, с Фонвизиным или Морковым, Бакуниным и др.»[479]

Все эти депеши относятся к концу 70-х годов. Но и в первой половине этого десятилетия посол союзной Пруссии, граф Сольмс, пользовавшийся особым расположением Панина, не отмечал его служебного рвения. В январе 1774 года Сольмс доносил королю: «Неприятно видеть, что этот министр, который и никогда не был особенно трудолюбив, теперь еще гораздо менее деятелен, и позволяет себе несравненно более развлечений с тех пор, как он покинул двор, чем когда он занимал там должность обер-гофмейстера. Вдобавок он становится болезненным, и я боюсь, что он едва ли продержится долго. Дела слишком страдают от такого безделья»[480].

Итак, иностранные дипломаты, равно как и Екатерина, упрекали Панина в лености. Быть может, ключ к объяснению снижения работоспособности Панина лежит в донесении английского посла Гуннинга, отправленном тремя годами раньше: «В последнее время враги графа Панина распространяют слух, будто бы с ним недавно произошло нечто вроде апоплексического удара, что значительно ослабило его способности. И мне известно, что несколько дней тому назад он сам в присутствии императрицы говорил, что нервы его чрезвычайно ослабели и что он уже не в состоянии много заниматься делом. Все полагают, что он хотел приготовить императрицу к своему удалению от службы, событие, которое очень обрадует графа Потемкина и Чернышовых, так как всего их влияния оказалось недостаточно, чтобы устранить его от должности, хотя в последнее время их мнение перевешивало его

мнение во многих случаях»[481].

О благородстве натуры Панина и его бескорыстии свидетельствует его поступок, изумивший современников. В 1773 году императрица щедро наградила воспитателя своего сына, достигшего совершеннолетия и более не нуждавшегося в опеке. Никите Ивановичу было пожаловано звание, приравненное к фельдмаршальскому, жалованье со столовыми деньгами, 8412 душ крепостных, 100 тысяч рублей на меблировку дома.

О том, как граф Панин распорядился крепостными, узнаем из донесения графа Сольмса прусскому королю: «Граф Панин только что совершил поступок, исполненный великодушия, не имевший до сих пор себе подобного и которому вряд ли найдутся подражатели. Из девяти тысяч пятисот крестьян, дарованных недавно его государыней, он отдал в подарок четыре тысячи крестьян, находящихся в новых приобретенных Россией польских владениях, своим трем главным подчиненным чиновникам — Бакунину, Убри и Фонвизину. А так как не слышно, чтоб он был им чем-нибудь особенно обязан и двое первых занимали уже свои должности, когда он вступил десять лет тому назад в министерство, то приписать подобный поступок можно лишь чувству благодарности; и весьма естественно дарить людям, хорошо служившим государству, вполне преданным графу и не имеющим собственного состояния».

Английский дипломат Гуннинг тоже высоко оценил благородный поступок, чуждый человеку XVIII века: «Столь необычное заявление щедрости, хотя должно встретить восторженное одобрение, не может удивить тех, кому известно бескорыстие этого министра». Бескорыстие, неприятие взяточничества и казнокрадства придают натуре Панина черты честного и добропорядочного вельможи — явление столь же редкое в обществе XVIII века, как белая ворона в природе.

Несколько слов о частной жизни Панина. Он, как и его преемник А. А. Безбородко, не обзавелся семьей, но, в отличие от Александра Андреевича, не чуждавшегося случайных связей с девицами отнюдь не благородного поведения, Никита Иванович придерживался на этот счет более строгих правил. Панин предпринимал по крайней мере две попытки жениться — причем в годы, когда он находился в достаточно зрелом возрасте, по меркам того времени — на пороге старости.

Первая из них относится к 1766 году, когда, по свидетельству английского дипломата Джорджа Макартни, Панин страстно влюбился в графиню Строганову, дочь канцлера Воронцова, даму «необычайной красоты, с год назад разорвавшую брачные узы». Страсть эта достигла таких размеров, что Панин забросил все

дела и стал утрачивать уважение общества, «которому трудно простить человеку его лет, положения и опытности до того нескрываемую и юношескую страсть». Враги Панина полагали, что дурной пример, выказываемый воспитателем наследника, будет осужден Екатериной, но та, не отличавшаяся целомудрием, не придала этому обстоятельству никакого значения и в 1767 году, в годовщину своей коронации, пожаловала Панину графское достоинство.

Страсть прошла и вспыхнула с новой силой в следующем году, когда он решил жениться на дочери Петра Борисовича Шереметева Анне. На 10 мая 1768 года была назначена свадьба, но накануне невеста заболела оспой и 27 мая умерла. Эту утрату Никита Иванович тяжело переживал и тоже пустил все дела на самотек. Таков был рыцарь без страха и упрека, честно служивший своему Отечеству. Екатерина, хотя и потешалась над медлительностью Панина (в шутливой характеристике придворных она писала о Панине: «Граф Панин — если когда-либо поторопится»), признавала таланты дипломата и образованного человека. «Когда хочешь рассуждений и хороших общих принципов, — писала императрица в заметке „Портреты нескольких министров“, — нужно советоваться с Паниным, но отнюдь не в делах частных, ибо тут он начинает увлекаться и так как он очень упрям, то он только введет вас в заблуждение. Его доля — дела иностранные»[482].

Императрица отправила Панина в отставку в 1781 году, а 31 марта 1783 года он скончался.

Глава XVI. Александр Андреевич Безбородко

Александр Андреевич Безбородко принадлежит к числу тех, редко встречавшихся государственных деятелей, которые поднимались по ступеням чиновной лестницы самостоятельно, не опираясь ни на «случай», ни на протекцию, ни на покровительство, но лишь благодаря своим незаурядным дарованиям: огромной работоспособности, удивлявшей современников, феноменальной памяти, умению быстро все схватывать, четко и ясно формулировать мысли.

Безбородко родился в Глухове в 1747 году в семье генерального писаря, человека, хотя и энергичного, но не богатого. Сведениями о детских и юношеских годах будущего канцлера историки почти не располагают, скудные данные имеются и о его пребывании в Киевской духовной академии, где его сверстникам он запомнился двумя своими качествами: цепкой памятью, способностью без труда запоминать страницы текста и владением пером. Академию он закончил в 1765 году и начал службу в канцелярии правителя Малороссии П. А. Румянцева. Граф заметил способности Безбородко и помог его карьере. Сначала, во время первой русско-турецкой войны, Безбородко находился при ставке Румянцева, затем служил в его канцелярии, участвовал в Кагульском сражении и в марте 1771 года по ходатайству главнокомандующего был возведен в полковники Киевского малороссийского полка.

Надо отдать должное Румянцеву, ибо в ущерб собственным интересам он рекомендовал своего толкового сотрудника императрице в качестве секретаря, аттестовав его так: «Представляю вашему величеству алмаз в коре: ваш ум даст ему цену»[483].

Вместе с Безбородко Румянцев рекомендовал в секретари и П. В. Завадовского. Оба они начали службу в Кабинете Екатерины, но судьба их сложилась по-разному. Завадовский приглянулся императрице, и та обрела в нем фаворита, в котором, впрочем, через одиннадцать месяцев разочаровалась и отправила в отставку. Искренне влюбившийся в императрицу Завадовский поехал переживать свое крушение на родину, чтобы вновь возвратиться исполнять секретарскую должность. Безбородко же, неуклюжий и нескладно сложенный, с физиономией, не вызывавшей симпатии, продолжал выполнять секретарские обязанности. «Быть при нас у приема челобитен» — так

определила круг его служебных забот Екатерина.

Императрице представился случай убедиться в необыкновенной памяти своего секретаря: она назвала какой-то закон, который Безбородко тут же рассказал наизусть, а когда императрица затребовала книгу с законом, чтобы убедиться, действительно ли указ изложен в точности, то Безбородко назвал и страницу, на которой он напечатан.

У провинциального украинца, оказавшегося при пышном царском дворе, недоставало светского лоска, начитанности, обхождения, которые он стал с упорством приобретать. Не всегда он достигал успехов, но, кажется, более всего преуспел в пополнении своих знаний. Часы, свободные от службы, Безбородко отдавал истории, причем все его три сочинения были посвящены не истории страны, а ее отдельным сюжетам. В первом сочинении Безбородко изложил историю татар. «Татарский народ, — мотивировал он в 1776 году свой интерес к крымцам, — столько с нами по делам своим связан, что почти непростительно не иметь о нем надлежащего сведения как людям в штатских знатных чинах находящимся, так и военным». Главная мысль сочинения состояла в том, что независимость Крыма — фикция, его надобно присоединить к России: «Россия уже с двести лет как страждает и разные разорения претерпевает…» Уже тогда он считал, что «против сих наших вечных неприятелей, дабы единожды навсегда привести себя от них в безопасность и чрез то доставить отечеству нашему надежное навсегда спокойствие», необходимо присоединить Крым к России. Таким образом, Безбородко первым вслух высказал идею, которую реализовал Г. А. Потемкин.

Второе сочинение, написанное им вместе с Рубаном и опубликованное в 1778 году, излагало историю Украины — «Краткая летопись Малой России». Третий труд, являвшийся более публицистическим, чем историческим, посвящен современности и назывался «Хронологическая таблица замечательнейших событий царствования Екатерины II»; в нем собраны сведения о достижениях 19-летнего правления Екатерины. Пользуясь данными этого труда, императрица сообщила Гримму о количестве вновь учрежденных губерний, основанных городах, одержанных победах в войнах. Своими успехами и возросшим доверием императрицы Александр Андреевич поделился с отцом: «Меня вся публика и двор, — хвастался он, — видит яко первого ее секретаря». Она «отзывами своими неоднократно всем знатным и приближенным изразить изволила свое отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим»[484]. Особенную гордость Безбородко доставило

приглашение императрицы на обед: он сидел за одним столом с Потемкиным, Вяземским, фаворитом Зоричем. Он даже подсчитал, что за 1778 год сподобился обедать с императрицей 20 раз.

Благосклонность императрицы к секретарю обрела материальное выражение: в 1779 году Безбородко был пожалован чином бригадира и 1220 душами крепостных.

Рост влияния Безбородко не остался незамеченным и современниками. Даже известный недоброжелатель России и ненавистник всего русского Гельбиг отмечал исключительное умение Александра Андреевича составлять деловые бумаги: «Никто из государственных министров даже в труднейших случаях и по какой бы то ни было отрасли государственного управления не мог представить государыне такого ясного доклада, как Безбородко. Одним из главнейших его дарований было искусство в русском языке». На составление бумаги ему требовались минуты. «Когда императрица, — продолжал Гельбиг, — давала ему приказание написать указ, письмо или что-либо подобное, то он уходил в приемную и, по расчету самой большой краткости времени, возвращался и приносил сочинение, написанное с таким изяществом, что ничего не оставалось делать лучшего»[485].

С Гельбигом вполне солидарен секретарь Екатерины Грибовский, вблизи наблюдавший за манерой работы Безбородко: «При острой памяти и при некотором знании латинского и русского языков Безбородке нетрудно было отличиться легким сочинением указов там, где бывшие при государыне вельможи, кроме князя Потемкина, не знали русского правописания»[486].

Сардинский посланник маркиз де Палермо высоко ценил в Безбородко умение находить компромиссы в самой запутанной ситуации и улаживать конфликты. Эта черта характера (между прочим, определяемая императрицей как податливость) привлекала и Екатерину, которую нередко раздражало упрямство Панина. Именно поэтому императрица питала к Безбородко полное доверие и делилась с ним сокровенными тайнами и планами.

Влияние и значение Безбородко подчеркивалось тем, что он в числе очень немногих вельмож имел непосредственное общение с императрицей. В его ведении находились дела о прошениях частных лиц, не всегда добивавшихся удовлетворения своих просьб. Маркиз де Палермо, чрезвычайный посланник Сардинии при русском дворе с 1783 по 1789 год, писал: «Граф Безбородко, имея в своем ведении более дел, чаще других бывает вынужден навлекать себе такие нарекания; поэтому неудивительно, что,

несмотря на его вежливость, приветливость, кротость, отовсюду слышатся жалобы на него. Впрочем, изо всех министров я гораздо более склонен верить в его честность, чем в честность кого-либо другого из них»[487].

Доверие, которым пользовался у императрицы Безбородко, до 1792 года было безграничным. Добавим, что он им не злоупотреблял, слыл честным человеком, не брал взяток, хотя возможностей для этого было немало, поскольку все дела просителей проходили через его руки. Впрочем, дела челобитчиков, хотя и являлись основным источником неприятностей, не относились к главным обязанностям статс-секретаря. Главная его забота заключалась в составлении манифестов, именных указов и рескриптов, резолюций на донесения правительственных учреждений, составлении конфиденциальных писем и т. д.

Не менее важная обязанность Александра Андреевича состояла в выполнении роли докладчика. Во многих случаях императрица смотрела на дела глазами Безбородко, ибо не имела возможности лично знакомиться с огромным потоком информации, стекавшейся со всей страны и из-за рубежа в ее кабинет. Выдерживать колоссальную нагрузку, ложившуюся на его плечи, Безбородко помогала необыкновенная память — он считался первейшим в стране знатоком законов и прецедентов, что помогало ему быстро справляться с поручением. Одним словом, Безбородко выполнял функцию приводного ремня от махового колеса к колесам и колесикам сложного государственного механизма. Само собой разумеется, что, докладывая императрице, он пользовался результатами трудов остальных пяти секретарей с их канцеляриями.

О доверии к Безбородко со стороны императрицы можно судить по записочкам, отправленным ею: «Я писала к тебе в разные времена конфиденциальные записки, кои я не читала, думая, что выедешь»; «О продолжении вашей болезни много сожалею. Тысячу и одну вещь я имею с тобою переговорить ежедневно»; «Я не знаю, приедешь ли сегодня, только мне есть кое-что говорить с тобою»; «Я разучилась писать; прикажите составить примерный ответ»[488].

В 1780 году круг обязанностей Безбородко расширился — Екатерина решила доверить Александру Андреевичу более самостоятельный пост, позволявший ему проявить качества не услужливого секретаря, а государственного чиновника высокого ранга, вельможи, которому иногда удавалось принимать вполне самостоятельные решения: 24 ноября 1780 года он был определен в Коллегию иностранных дел со званием «полномочного для всех

негоциаций» и пожалован в генерал-майоры.

Назначению предшествовало составление Безбородко двух дипломатических документов, импонировавших императрице. Первый из них — Манифест о вооруженном нейтралитете[489], второй — «Мемориал по делам политическим», предназначавшийся для австрийского двора и предлагавший ему план совместных действий против Османской империи. Меморандум положил конец так называемой Северной системе, ориентировавшейся на Пруссию, и установил союзнические отношения с Австрией.

Третьим важным документом, составленным Безбородко, был Манифест о присоединении Крыма.

Зная громадную работоспособность Безбородко, Екатерина привлекала его и к делам внутренней политики. В 1783 году была организована комиссия для «приумножения государственных доходов». В ее состав помимо генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, графа А. Р. Воронцова и графа А. П. Шувалова был включен и Безбородко. Нельзя отнести предложенные комиссией меры к достаточно мудрым, в значительной степени они ущемляли интересы трудового населения. Суть их заключалась в увеличении налогового бремени. Комиссия сочла возможным «не в тягость народную» взимать с государственных, экономических и дворцовых крестьян вместо двухрублевого оброка три рубля; повышены были налоги с крестьян некоторых регионов (Харьковская, Ревельская, Могилевская и другие губернии) — они были уравнены с налогами, уплачиваемыми русскими крестьянами. Повышение налогов коснулось и других слоев населения: с купцов было решено взыскивать за поставку рекрутов по 500 рублей вместо 360. Цена соли в местах ее добычи ранее была ниже, чем в районах, отдаленных от них; теперь ее уравняли, и она составила 35 копеек за пуд. Усердие Безбородко императрица оценила пожалованием ему в 1783 году 2 тысяч крестьян на Украине.

В феврале 1784 года Екатерина назначила Безбородко вторым присутствующим Коллегии иностранных дел, президентом которой числился после смерти Панина И. А. Остерман, занимавший при Панине должность вице-канцлера. Остерман являлся личностью достаточно бесцветной. Иосиф II называл его «соломенной чучелой», человеком, не оказывавшим влияния на дела; фактическим руководителем ведомства был Безбородко, кстати, выражавший недовольство своим формально подчиненным положением. В письме к Г. А. Потемкину он претендовал на чин вице-канцлера: «Пожалование меня сим званием было бы для меня знаком большой государской

милости».

Остановимся на содержании лишь некоторых сочинений Александра Андреевича, обнаруживающих широту и глубину его познаний и государственный подход к делу.

Примечателен в этом плане разбор записки генерал-прокурора А. А. Вяземского об умножении государственных доходов, составленной, видимо, в 1786 году. Не мудрствуя лукаво, Вяземский решил двигаться по проторенной дорожке и внес предложения, соответствовавшие рекомендации комиссии 1783 года, — увеличить доходы казны за счет повышения ставок налогов и введения новых.

Мы не знаем подлинных мотивов суровой критики, которой подверг проект Вяземского Безбородко. Возможно, он был уязвлен тем, что генерал-прокурор возложил на себя работу, ранее выполненную группой вельмож, в том числе и им, Безбородко. Возможно также, что, по мнению Безбородко, предложение Вяземского лишало императрицу «драгоценного права делать добро людям, награждать заслуги, призирать вдовство и сиротство и поощрять людей к усердной государству службе».

Когда Безбородко был представлен доклад Вяземского, он болел и потому вместо развернутого анализа доклада ограничился его общей оценкой и перечислением негативных последствий реализации предложений генерал-прокурора. Ознакомившись с запиской Безбородко, Екатерина не без иронии начертала резолюцию: «Очень, очень хорошо, с Божьей помощью; а я требовала от г. генерал-прокурора представления, чтобы потешить больного; его нужды и не столько притеснительны, как представлены; вашего выздоровления нетерпеливо жду».

В итоге такие предложения Вяземского, как взимание с капиталов купцов вместо одного двух процентов налога, лишение дворян права заниматься винокурением, взимание налога с заводовладельцев за пользование казенными землей и лесами, обложение населения налогом на содержание областной администрации и многое другое, были отклонены[490].

Значительный интерес представляет записка А. А. Безбородко «О причинах разрыва мира России с Турцией», в которой автор обнаружил глубокое знание отношений между двумя странами после заключения Кючук-Кайнарджийского мира: он проследил меры султанского правительства, направленные на срыв условий мира, и интриги Турции, направленные на возвращение Крыма под свою протекцию. Главнейшее желание России в этой войне состояло не в расширении границ России, а в обеспечении спокойствия и тишины путем истребления и обуздания хищного и воровского гнезда.

Гуманными соображениями руководствовался Безбородко и другие члены комиссии (А. А. Вяземский, И. А. Остерман, П. В. Бакунин), представившие доклад императрице о мерах к переселению в Россию ногайских орд. Авторы записки констатировали факт, что ногаи столько же раз находились под протекторатом России, сколько отказывались от него. Они рекомендовали «обуздать их буйства» облегчением нынешних податей, определением территорий, на которых им разрешалось вести оседлый или кочевой образ жизни[491].

Не все предложения Безбородко встречали поддержку императрицы. Граф, например, рекомендовал при заключении мира со Швецией и Османской империей воспользоваться посредническими услугами Пруссии, против чего решительно возражала Екатерина[492].

Таким образом, Александр Андреевич одновременно выступал в нескольких ипостасях: главным докладчиком императрицы по вопросам внутренней и внешней политики, докладчиком по прошениям челобитчиков и советником по важнейшим вопросам правительственной политики.

Должно отметить жажду Безбородко к чинам, званиям и материальному вознаграждению. Накануне отправки письма Потемкину, в том же 1783 году, «в воздаяние усердной нам службы» императрица пожаловала ему около 3 тысяч душ крестьян, наградила орденом Александра Невского и установила жалованье в 6 тысяч рублей в год, да по 500 рублей в месяц столовых[493]. «Государская милость», о которой просил Безбородко Потемкина, последовала в 1784 году — Екатерина возвела его в графское достоинство. В теплом письме к графу она обещала «не уменьшить мое усердие к тебе. Сие говорит императрица. Екатерина же к тебе дружески советует не лениться и не спесивиться за сим»[494]. Извещая об этом послании графа А. Р. Воронцова, Безбородко писал, что оно «для него лестнее и драгоценнее самого сего графства и всякой почести или награды».

80-е годы, точнее их первые две трети, — годы зенита славы и влияния Безбородко. В списке вельмож императрицы этого десятилетия он занимал вторую строку вслед за Потемкиным. Однако Потемкин большую часть времени проводил в наместничестве, а Безбородко всегда был под боком и на второй план отодвигался лишь во время наездов князя в столицу. Упоминавшийся выше маркиз де Палермо писал: «Вслед за князем Потемкиным по этому порядку вещей следует говорить о графе Безбородко, который ревностью своего характера, кротостью и даже, может быть, застенчивостью, как и небрежною простотою костюма представляет странный контраст с

пышностью, самоуверенностью и горделивой осанкой упомянутого министра (Потемкина. — Н. П.). Судя по наружности, можно бы подумать, что граф пользуется второстепенным кредитом при дворе и играет роль подчиненного, но если всмотреться поглубже, нельзя не заметить тотчас, что он стоит выше во мнении государыни, чем первый, вся сила которого зависит единственно от убеждения ее в том, что он необходим»[495].

О значимой роли Безбородко при дворе сообщал и министр Генуэзской республики Ривароло: «Наибольшим влиянием пользуется граф Безбородко. Секретарь Кабинета ее величества, он ежедневно в положенные часы докладывает ей о текущих делах по всем министерствам и вместе с ней предварительно разбирает их… Деятельный, мягкого характера, старающийся по возможности угодить всякому, он считается искусным дипломатом и ловким царедворцем». Граф Сегюр, наблюдавший Безбородко как во время официальных приемов, так и в частной жизни, к приведенным выше зарисовкам портрета Безбородко добавляет некоторые существенные штрихи, разбросанные по страницам его мемуаров. Его наблюдения отличаются меткостью и тонкостью: «Он скрывал тонкий ум под тяжелой внешностью»; «Умный, ловкий и уступчивый, но отчасти слабый»; «Граф Безбородко постоянно старается всех примирить…»[496].

У Безбородко, несмотря на его уступчивость и готовность пойти на компромисс, не сложились отношения с фаворитом императрицы Дмитриевым-Мамоновым. Соперничество между ними за влияние на императрицу не укрылось от современников, да и Безбородко его не оспаривал. Михаил Гарновский, управитель дел Потемкина в Петербурге, перед которым открывались двери дворцов всех столичных вельмож и который поэтому был осведомлен о всех событиях придворной жизни, записал 3 сентября 1787 года: «…Граф Александр Матвеевич (Мамонов. — Н. П.) сильнее графа (Безбородко. — Н. П.)», а в записи от 14 сентября несколько приоткрыл завесу, в чем проявлялась сила фаворита: «Александр Матвеевич много может, нет в сем ни малейшего сумнения. Никто из предшественников его не в состоянии был поколебать власти графа-докладчика, а он оную колеблет». Соперничество между ними дошло до того, что Мамонов оттер Безбородко, и тот «бывает теперь редко у государыни и старается при том бывать только тогда, когда Александр Матвеевич не бывает.» Однажды Безбородко явился для доклада в часы, когда по его расчетам у нее не должен быть Мамонов, но ошибся и, увидев его, «потерял дар речи».

Положение вельможи при дворе напоминает человека на

качелях: он то поднимается, то опускается. Такое случилось и с Безбородко. Храповицкий, например, записал 3 июля 1787 года, что императрица подписала указ о пожаловании Безбородко дома, ранее принадлежавшего Бестужеву-Рюмину. Реставрировать его надлежало на казенный счет. Этой акцией императрица выразила удовлетворение деятельностью графа. Но уже в сентябре положение Безбородко покачнулось, что явствует из записки Гарновского. Наблюдение Гарновского подтвердил Храповицкий, отметивший, что в 1788 году Безбородко редко появлялся на глаза императрице и та даже высказала открыто недовольство его отсутствием. 3 июля 1788 года Храповицкий занес следующую запись: «Недовольны, что граф Безбородко на даче своей празднует; посылали сказать в его канцелярии, чтоб по приезде скорее пришел. Он почти не показывается, а до него всякий час дело»[497].

Мамонов третировал Безбородко и как-то сказал императрице: «Хотел бы я наплевать на его достоинства, на него самого и на всю его злодейскую шайку».

Осторожный Безбородко подобных выпадов в адрес своих неприятелей не позволял. Недоброжелательно он отозвался о Мамонове только после отставки, причем проявил дальновидность: Мамонов, женившись на Щербатовой, хорохорясь, заявлял, что через год он вернется ко двору. Более опытный в интригах Александр Андреевич полагал, что путь Мамонову ко двору заказан. 21 августа 1789 года он извещал С. Р. Воронцова: «Всем он твердил, что еще служить и делами править возвратится, но не так, кажется, расстались. Здесь умел он уверить публику, что он все сам распоряжает; а я божусь, что он кроме пакости ничего не делал, и я тот же труд с той только разницей, что без всякой благодарности и уважения исправлял, перенося то для блага отечества в дурном его положении»[498].

Екатерина считалась с мнением фаворита, но и учитывала деловые качества Безбородко: его терпели при дворе потому, что заменить было некем. Гарновский после падения Мамонова писал: «Граф Александр Андреевич опять немножко поправился для того, что дел исправлять некому; а Храповицкий хотя и моден, но с Бахусом не перестает своего знакомства, да и способностей к делам таким, какие граф имеет, не имеет».

Не сложились отношения Безбородко и с последним фаворитом императрицы, Платоном Зубовым. 7 марта 1791 года, во время последнего приезда Г. А. Потемкина в столицу, Безбородко пожаловался своему приятелю С. Р. Воронцову на преследования Зубова: «Уже ненавидящий меня (Зубов. — Н. П.) до того простирал свои происки, чтоб меня привести в

ничтожество и по части политической. Колобродства, нередко выходившие, и недоумения в трудных случаях заставляли по необходимости за нас браться; а я, решившись трудное нынешнее для государства время перенести, не уважая никакими особенными огорчениями, и потом все бросить, никогда ни от чего не отказывался и противу всех нападений твердо и смело воевал». Далее следуют пессимистические рассуждения о будущем и готовность отстаивать свою честь: «Знаю, что по отъезде его (Потемкина. — Н. П.) и паки за меня примутся; никто же им так тяжел не был, как я. Ибо я, конечно, не нагнуся и никому больше цены, как он ставит, не дам»[499].

В то время как при дворе плелись интриги и фавориты один за другим пытались избавиться от влияния Безбородко, страна вела две изнурительные войны — с Османской империей и Швецией. Безбородко в письме к Воронцову в ноябре 1789 года рассуждал: «Наш интерес теперь в том состоит, чтоб скорее сделать мир, хотя несколько честный, ибо мочи уже нет продолжать войну. От неурожая хлебного и возвышения цен, и от худой экономии в войсках так возросли расходы, что на нынешний год станет на войну тридцать с лишком миллионов, и чтоб быть в состоянии протянуть будущую кампанию, дошло дело до наложения новых податей»[500]. На шведском театре войны, особенно волновавшем Екатерину вследствие угрозы нападения на столицу, главнокомандующим был Пушкин — человек столь же нерешительный, как и бездарный, к тому же легко поддававшийся постороннему влиянию. Безбородко подал императрице две записки. В первой доказывал необходимость и возможность заключить мир со Швецией и Османской империей; во второй предлагал использовать в качестве посредника при заключении мира Пруссию. С необходимостью заключить мир Екатерина согласилась вполне, но посредничество Пруссии решительно отклонила.

Между тем и в Петербурге стало известно о склонности Густава III заключить мир: «…По некоторым признакам, — писал Безбородко С. Р. Воронцову, — наклонность короля шведского обратиться на ум и кончить войну для него еще более, нежели для нас тягостную»[501].

По поручению Екатерины Александр Андреевич составил условия, на которых могли быть начаты переговоры о мире. Главное из них — сохранение неизменными границ, предусмотренных Абовским миром 1742 года. В начале 1790 года начались секретные переговоры о заключении мира со Швецией. Король, как и во время объявления войны, продолжал выступать защитником интересов Османской империи, требуя от России

отказа от Крыма и возвращения туркам завоеванных территорий. Подстрекаемый прусским королем, Густав III продолжил войну, и только заявление русских уполномоченных о готовящемся заключении мира с Османской империей и угроза лишиться союзника вынудили короля быть более уступчивым.

Военные действия со Швецией тем не менее продолжались, причем пушечная канонада, раздававшаяся 3 мая 1790 года при острове Сексаре, была слышна в Петербурге и встревожила двор. Храповицкий записал в Дневнике: «Великое беспокойство. Почти всю ночь не спали. Граф Безбородко плакал». Успокоились лишь после того, как на следующий день получили известие о поражении шведов после двухчасового сражения: «Неприятель разбит и прогнан»[502]. Зато 28 июня победу праздновал шведский король.

Роль Безбородко во время переговоров выражалась в составлении от имени императрицы рескриптов баронам Ингельстрему и Армфельду, непосредственно общавшимся с представителями враждебной стороны.

Король согласился на условия мира, предложенные русской стороной. За заключение Верельского мира 1790 года оба барона получили по ордену Андрея Первозванного, а Армфельд еще и 10 тысяч червонцев. Не остался без награды и Александр Андреевич: «Гофмейстеру графу Безбородко, которого труды и упражнения в отправлении порученных ему от ее императорского величества дел, ее величество ежедневно сама видит, всемилостивейше жалуется чин действительного тайного советника, и оставаться ему при его должностях»[503].

Самой значительной акцией, совершенной Безбородко в 90-х годах, было заключение Ясского мира с Османской империей. Если в заключении Верельского мира граф непосредственного участия не принимал, то на переговорах в Яссах он возглавил русскую делегацию и в полной мере раскрыл свои дипломатические способности.

Безбородко выехал из столицы 19 октября 1791 года, а прибыл в Яссы 4 ноября, то есть месяц спустя после смерти Потемкина. По словам Гельбига, граф обставил свое пребывание роскошью «владетельного восточного сибарита», чем дал знать турецким уполномоченным, что русская казна не пуста.

Перед Безбородко стояла непростая задача: с одной стороны, по требованию Екатерины мир надлежало непременно заключить и чем быстрее, тем лучше; 4 ноября императрица писала графу: «Почитая вас уже теперь прибывшим в Яссы, ожидаю от вас нетерпеливо уведомления о возложенном на вас деле»; с другой — мир должен быть выгоден России, во всяком случае должен

оправдать материальные и людские потери.

Александр Андреевич начал выполнять возложенные обязанности с изучения личных качеств османских уполномоченных. На следующий день он отправил императрице донесение с колоритными характеристиками каждого из них. Глава делегации, Абдуллах-рейс-эфенди, в представлении османов «в делах искусный, скромный и вежливый, но слывущий у них за самого хитрого и деятельного человека»; однако у него была слабость: «когда увидит, что не допустят его продолжать время, то непременно, в отвращение разрыва и возобновления неприязненных действий согласится на все пристойные и удобные к тому средства». Второй делегат, Измет-бей, известен «ненавистью к христианам», фанатизмом, но он опасается продолжения войны, которая, по его мнению, приведет к разрушению империи. Остальные члены делегации тоже довольно искусные люди по османским меркам.

Безбородко держал императрицу в курсе переговоров и своих действий. Он, что называется, взял быка за рога: «Хотите ли войны, или мира. Можете иметь и то, и другое. Мир по Галацким предварительным статьям или войну до конечной гибели. Выбирайте». Граф настойчиво внушал туркам мысль, «что ежели мы мира желаем, то и войны отнюдь не боимся».

Твердая позиция главы русской делегации смутила османов, и они, по словам Безбородко, были приведены в крайнее замешательство: «Они говорят, что видят для себя самую худшую альтернативу: или согласиться на требования наши и подвергнуть за то свои головы потере, или же в случае несоглашения навлечь на себя бедствия и потери их государству, а чрез то же голов лишаются».

Предметом самого ожесточенного спора являлся Крым, послуживший османам поводом для объявления России войны. Турки отказывались нести ответственность за набеги крымцев, а также не соглашались компенсировать военные расходы России. Безбородко разрядил напряженную обстановку, сообщив, что императрица отказывается от контрибуции. Граф использовал еще одно средство воздействия на позицию османов: зная алчность и продажность турецких чиновников, готовых продать интересы страны ради личных выгод, он не скупился на подарки членам делегации.

После заключения 29 декабря 1791 года Ясского мирного договора Безбородко писал императрице: «Счастливым почитаю себе, что был избран орудием к окончательному исполнению высочайших намерений ваших и повергаю к священнейшим стопам вашим поздравление».

Это был крупный успех Безбородко на дипломатическом поприще. В этой войне он отличился дважды: был автором Манифеста об объявлении войны Османской империи и главным действующим лицом при заключении мира. Вполне сознавая успех переговоров, он поделился радостью с московским главнокомандующим А. А. Прозоровским: «Мы все то одержали, чего хотели, а теперь остается пользоваться покоем на приведение внутренности нашей в цветущее состояние»[504].

Редкий случай в истории, когда оба участника переговоров делали вид, что условия мирного договора выгодны для них. Порта отблагодарила Безбородко роскошными подарками: перстнем ценой до 25 тысяч рублей, табакеркой в восемь тысяч, часами тысяч в семь, лошадью с богатой сбруей, ковром салоникским, 37 пудами кофе и пр. Глава османской делегации довольствовался более скромными подарками: кинжалом ценой в девять тысяч рублей, саблей в десять тысяч рублей, чаем и ревенем.

Скромно была оценена и заслуга Безбородко. Императрица пожаловала ему 50 тысяч рублей и орден Андрея Первозванного.

Надо полагать, что императрица скорее всего под влиянием внушений Зубова не была довольна результатами мира. Ясский мир подтвердил присоединение Крыма к России и установление протектората над Грузией. Территориальные приобретения были невелики: к России отошли земли между Бугом и Днестром; Бессарабия, Молдавия и Валахия были возвращены османам.

Если учесть блистательные победы русских на суше и на море, а также человеческие жертвы, понесенные в течение четырехлетней войны, то Ясский мир ни в коей мере нельзя признать блестящим. Но и Османская империя не достигла ни одной из целей, которые ставила перед собой, развязывая войну.

Результаты, достигнутые Безбородко во время переговоров, объяснялись фактическим отсутствием у России ресурсов для продолжения войны. Война на два фронта истощила казну настолько, что даже Ясский мир был выгоден России, ибо для большего у нее отсутствовали возможности.

Недоброжелатель Ростопчин писал по поводу заключения Безбородко Ясского мира: «Он теперь собирает на пути должную дань хвалений и предполагает быть здесь (в Петербурге. — Н. П.) около 20 числа; но думают, что он ускорит свой приезд вследствие последнего письма императрицы, где она говорит ему, что он окажет ей новую услугу, если прибудет к ней как можно скорее»[505].

Какие неотложные дела вынудили Екатерину торопить Безбородко? Оказалось, дворцовые интриги, воля фаворита

Зубова, а не самой императрицы.

За два с половиной месяца отсутствия Безбородко в Петербурге Зубов прибрал к рукам дела, которыми ведал Александр Андреевич. Но внешнеполитические заботы недалекому Зубову были не по плечу, и ему требовался советчик. Выбор Зубова пал на Аркадия Ивановича Моркова, третьего советника Коллегии иностранных дел, обязанного своей карьере Безбородко. Морков решил поменять покровителя и переметнулся на сторону Зубова, которому, как писал Ростопчин, он был «необходим для прикрытия его невежества, довольно, впрочем, извинительного. Предполагается, что они (Зубов и Морков. — Н. П.) трудятся вместе и последний курьер получил свои депеши от г. Моркова без ведома графа Безбородко и вице-президента. Все дела в его руках, и он идет быстрыми шагами к высокому положению»[506].

Впрочем, Ростопчин неточно излагает события. Более соответствует истине описание происшедших изменений при дворе, выполненное приятелем Безбородко, статс-секретарем Екатерины П. В. Завадовским. Уступчивый, любивший покой, во всем стремившийся угодить Безбородко статс-секретарь искал случая примирения с фаворитом, отношения с которым складывались не лучшим образом.

Граф, по словам Завадовского, «разжигаясь честолюбием, равно и легкомысленностью захватить весь кредит, когда не стало князя, кинулся в Яссы. При отъезде из трусости врожденной поручил внутренний портфель Зубову, а иностранных дел — Моркову. Последнего разумел себе первым другом; и у первого думал там найтить связь. Возвратившемуся после мира в голубой ленте, при первой встрече дано почувствовать, что дела уже не в его руках. И так, с тех пор без изъятия Зубов управляет всеми внутренними делами, Моркова, имея под собою, для письма иностранного».

Несколько личных писем императрицы к Безбородко с настойчивым требованием двигаться быстрее в столицу вызвали взаимное недовольство. Екатерина была недовольна медлительностью графа, а Безбородко был недоволен тем, что императрица, не установив причин задержки, выразила порицание: оказалось, что граф дорогою занемог. А. Р. Воронцову пришлось выслушивать претензии Безбородко, которые тот не посмел высказать императрице: «Кажется и то заслужил, чтоб не гнать меня по курьерски и дать хотя спокойно и прохладно путь совершить. Я же и теперь с кашлем и насморком».

Более всего Безбородко возмутился после того, как узнал, ради чего его торопили с приездом в Петербург, — как

выяснилось, чтобы быть в услужении у Зубова. Подобной роли Безбородко не выполнял даже у всесильного Потемкина. Честолюбивый граф рассудил, что на его долю выпадет вся черновая работа, а славу за нее получит фаворит. Не вызвало радости Безбородко и то обстоятельство, что Зубов отнял у него престижные дела, оставив ему второстепенные, требующие заботы, но «ни чести, ни славы не влекущие».

Безбородко ожидал еще один неприятный сюрприз — он счел себя обиженным наградами, поскольку в списке значился рядом с Державиным, Храповицким и другими, «у которых еще и дела никакого нет». Александр Андреевич выразил желание, чтобы он, как и прежде, занимался внешнеполитическими делами и был освобожден от обременяющих его «безделиц», которые не соответствуют ни его интересам, ни его репутации человека, знающего свое дело.

Демарш не принес результата, и тогда граф воспользовался последним средством — 30 июня 1793 года он подал прошение об отставке: «Если служба моя вам уже неугодна, и ежели по несчастию лишился я доверенности вашей, которую вяще заслужить последним подвигом уповал, то повинуяся достодолжно воле вашей, готов от всего удалиться; но если я не навлек на себя такового неблаговоления, то льщу себя, что сильным вашим заступлением охранен буду от всякого уничижения…»[507].

Сочинив прошение, Безбородко, вероятно, недели три с лишним пребывал в раздумье — следует ли его подавать императрице и не навлечет ли его тон гнев. Он решил посоветоваться со статс-секретарем А. В. Храповицким. В Дневнике Храповицкого от 30 июня читаем запись: «Граф Безбородко показал мне свою записку касательно его и дел польских, от него скрываемых, прося увольнения, буде не нужен. Вся записка его руки и по совету моему подана ее величеству Захаром Константиновичем Зотовым, камердинером императрицы».

5 июня пространная для манеры Храповицкого запись: Безбородко показал ему резолюцию императрицы на свое прошение. «В ответе ее изображена ласка, похвала службе и усердие». Вместе с тем резолюция содержит оправдание императрицы относительно польских дел — она при подписании документов всегда спрашивала, показывают ли их Безбородко и вице-канцлеру. И далее: «Вы сами говорили о слабости здоровья своего и от некоторых дел отклонялись». Последовало объяснение.

Дальнейшие записи Храповицкого свидетельствуют о том, что

состоявшееся примирение носило формальный характер. Правда, императрица, как и всегда в подобных случаях, устранила трещины щедрыми пожалованиями. Безбородко было пожаловано в 1793 году 7 тысяч душ крепостных и в том же году он получил самый высокий придворный чин обер-гофмейстера. В следующем году Безбородко извещал своего лондонского приятеля: обращением «со мною государыни и ее доверенностью я весьма должен быть доволен». Что касается ее окружения, в особенности Зубова, то они к нему «не лучше расположены»[508].

И все же Безбородко по внушению Екатерины попытался сойтись с Зубовым, найти с ним общий язык, «но по скрытности сего юного человека при внушении многих его близких, кроме самой наружности, не мог того достигнуть». В который раз Безбородко возмущало присвоение фаворитом его трудов, с тем чтобы «в публике» укрепилось мнение, что все плод усилий Зубова «во славу и пользу государства».

При Павле I положение Безбородко не только не пошатнулось, но укрепилось и внимание к нему императора достигло таких высот, на которых он не находился при Екатерине даже в годы наибольшей к нему благосклонности. Вероятно, внимание Павла и его заботы о Безбородко объясняются стремлением сына поступать «наоборот» с наследием матери. Г. Р. Державин сообщил другу свою версию причины благосклонности Павла к Безбородко, за достоверность которой он, впрочем, не ручался: Безбородко якобы вручил Павлу завещание, в котором Екатерина лишала короны сына в пользу внука Александра[509].

6 апреля 1797 года Александр Андреевич был извещен о милостях, обрушившихся на его голову в связи с коронацией.

Излишней скромностью Безбородко не отличался, но даже его смутили милости, «ибо они превосходят всякую меру». Император подарил ему свой портрет, богато украшенный бриллиантами, пожаловал более десяти тысяч крестьян и возвел его в княжеское достоинство[510]. 21 апреля 1797 года ему, наконец, было пожаловано канцлерство.

Исключительные по размерам пожалования еще раз дают основание полагать, что Павлу было известно полуопальное положение графа, его преследование, быть может, не столько со стороны Екатерины, ценившей заслуги и таланты Александра Андреевича, сколько со стороны честолюбивого не по разуму фаворита.

Пожалования, разумеется, прибавили желания отблагодарить императора усердной службой, но силы оставляли канцлера, к тому же в первые годы царствования Павел I не предпринимал

важных внешнеполитических акций.

В июле 1798 года граф жаловался Воронцову: «попеременно то в руках, то в ногах боль чувствую», в связи с чем признавал свою бесполезность по службе и мечтал о переезде в Москву, «где покойнее и здоровее». В том же июле Безбородко писал Воронцову: «Несмотря на прилежное лечение, столь худо успеваю, что должен терять надежду оправиться совершенно, разве покой моральный и физический тут присоединить».

Письмо к Лопухину от 10 декабря 1798 года является своего рода исповедью. Безбородко писал: «Никогда я не скрывал пред вами моего желания, еще при жизни покойной государыни существовавшего, чтоб остаток дней моих прожить в Москве спокойно. Смерть ее застигла меня в тяжкой болезни, поставила меня в иное положение. Государю угодно было, чтоб я остался при нем. Я повиновался воле его; он осыпал меня преизбыточно почестями и щедротами. Ласкал я себя, что хотя несколько могу их заслужить моими трудами, но вижу крайнюю свою к тому неспособность. Два года протекшие были для меня исполнены болезней. Лечение нынешнего года расслабило меня до самой крайности, так что верьте, — ибо не привык вещей черными видеть, — ощущаю я часто такие симптомы, которые мне весьма неотдаленный конец предвещают. Скоростием работы и понятием награждал я прежде природную лень свою; но теперь природное только и осталось, а память и другие дарования совсем исчезают. Хотя стыдно, но должен признаться, что, работая иногда длинные пьесы, впадал я часто в повторения и другие недостатки… Мне кажется, что полная свобода, свежий воздух умереннейшего климата и лечение у вод могли бы еще поддержать безвременную старость, но не по летам меня постигшую…»

Последнее послание к своему приятелю А. Р. Воронцову Безбородко отправил 10 марта 1799 года, он жаловался на ухудшение здоровья и бесполезность пользуемых лекарств. «Вчера пустили мне много крови пиявицами, не чувствую себя однако же легче. Новая болезнь во всех нервах, а правая рука поминутно то немеет, то по суставам ее чувствую une especе d’endgurdi-sement (нечто вроде оцепенения. — Н. П.); видно, уже надобно о продолжении дней, а не о восстановлении».

Князь упорно сопротивлялся болезни. 20 февраля, преодолевая сильнейшую боль в ногах, он явился во дворец и участвовал в церемонии обручения великой княжны Александры Павловны, а 4 марта в честь обрученной дал бал, по поводу которого Завадовский писал: «Князь удивил гостей убранством дома и в качестве и в количестве, каковой начинки ни один богач во вселенной в своем жилище не имел».

Во время сборов для поездки на воды с ним приключился удар, и 6 апреля 1799 года князь скончался.

Несколько слов о частной жизни князя. Он так и не обзавелся семьей, но держал открытый стол, часто устраивал торжественные обеды, на которых иногда присутствовала и императрица. Александр Андреевич слыл поклонником искусства, был завсегдатаем театра, любил русские песни. После себя оставил богатейшую картинную галерею, по качеству и количеству картин не уступавшую строгановской.

Обладая тонким художественным вкусом, Безбородко не всегда был аккуратен в собственной экипировке. Автор биографий дипломатических сановников Терещенко писал: «Являясь к императрице во французском кафтане, он иногда не замечал ссунувшихся чулков и оборванных пряжек на своих башмаках, был прост, несколько неловок и тяжел; в разговорах то весел, то задумчив»[511]. В обращении, в особенности в кругу близких, в домашней обстановке был обходителен, не зазнавался своим положением, любил протежировать своих соотечественников с Украины. В его доме на Почтамтской улице постоянно толпились просители, которым он старался помогать, чем заслужил репутацию добряка.

Граф Комаровский со слов своего зятя оставил описание домашнего быта Безбородко: «Кроме знатных гостей, обыкновенное общество состояло из особ, живущих у графа, и нескольких человек коротких знакомых. Ничего не было приятнее слышать разговор графа Безбородко. Он одарен был памятью необыкновенною и любил за столом много рассказывать, в особенности о фельдмаршале (Румянцеве. — Н. П.), при котором он находился несколько лет. Беглость, с которой он, читая, схватывал смысл всякой речи, почти невероятна. Мне случалось видеть, что привезут ему от императрицы преогромный пакет бумаг; он после обеда обыкновенно садился на диван и всегда просил, чтобы для него не беспокоились и продолжали бы разговаривать, между тем он только что переворачивал листы и иногда вмешивался в беседу гостей своих, не переставая в то же время читать бумаги. Если то, что он читал, не заключало в себе государственного секрета, он нам сообщал содержание оного. Я слышал от графа Моркова, что он не мог никогда надивиться непостижимой способности графа Безбородко читать самые важнейшие бумаги с такою беглостью и так верно и так скоро постигать смысл оных».

У Александра Андреевича было две страсти: игра в карты и увлечение слабым полом. В карты ему, по свидетельству современников, не везло, в любви — не всегда, тем более что

Безбородко, по свидетельству маркиза де Палермо, «далеко не красив собой». Обе страсти были известны императрице, и она к ним относилась снисходительно. Храповицкий записал об отсутствии графа при дворе 13 и 14 января 1791 года: «Спрашивали и на ответ, что болен, улыбнувшись сказала: знаю от чего болен»[512]. Улыбка императрицы означала, что ей известны слабости канцлера.

Предметом его ухаживаний были актрисы, русские и иноземные. Екатерина, узнав, что граф подарил итальянской певице Давиа 40 тысяч рублей, велела выслать ту из столицы[513].

Безбородко был влюблен в певицу Е. С. Угарову и так назойливо ухаживал за ней, что та, улучив момент, пожаловалась Екатерине. «Лизинька ни на какие обещания графа не поддается», — записал Гарновский. Угарова была влюблена в актера Сандунова. При содействии Екатерины влюбленные были обвенчаны и, чтобы избавиться от поклонников, уехали в Москву.

Столь же неудачны были амурные похождения с другой актрисой, о чем рассказала Е. Р. Дашкова в письме к неизвестному корреспонденту 1 января 1787 года. Безбородко «влюбился в танцовщицу по имени Маврушка, по слухам очень хорошенькую; он нанял ей дом Убри, по соседству с собою, поместил на ее имя в Воспитательный дом десять тысяч рублей и драгоценностей на такую же сумму и вдруг Чесменский (сын. — Н. П.) графа Алексея (Орлова. — Н. П.) отбил ее у него; она предпочла его всем материальным выгодам, предлагаемым графом, и тот остался без двадцати тысяч и без девицы. Говорят, он был этим огорчен и пытается завязать отношения с Давией, рискуя быть побитым, так как она угощает пощечинами своих поклонников; благодаря ей многочисленные враги графа будут отомщены»[514].

Источники сообщают на этот счет и другие фантастические сведения. А. М. Грибовский в своих «Записках» писал о том, что Безбородко давал ежемесячно итальянской певице по 8 тысяч золотом, а при ее отъезде на родину одарил ее деньгами, золотом и бриллиантами на 500 тысяч рублей. Такими суммами отнюдь не бедный Безбородко, конечно же, не располагал[515].

Н. И. Греч сообщает, что Безбородко не чурался визитов и в непристойные заведения: «Каждую субботу после обеда надевал он синий сюртук, круглую шляпу и клал сто рублей в карман. Вооруженный таким образом, посещал он самые неблагопристойные дома». О том, что визиты Безбородко в публичные дома не являются выдумкой Греча, явствует из свидетельства Терещенко, писавшего ранее Греча: Александр Андреевич имел обыкновение ходить по городу в старом

долгополом зеленом сюртуке, в грязных сапогах, с небрежно повязанным платком на шее, в помятой шляпе и тростью в руке[516].

Гарновский записал суждение Безбородко о том, почему неженатый человек имеет преимущество над женатым. Однажды граф поссорился с И. А. Остерманом, упрекавшим статс-секретаря в том, что он связывался с «девками». Безбородко парировал упрек: «Я для того люблю девок, что имею власть их переменять, чего мужья с женами своими делать не могут, хотя и знают, что она б…»[517].

Самую продолжительную связь Безбородко поддерживал с актрисой О. А. Каратыгиной. Она оставила сцену и в 1790 году поселилась в доме Безбородко. У нее родилась дочь Наташа, горячо любимая отцом. Он дал ей прекрасное воспитание и образование, обеспечил богатым приданым и выдал замуж за гвардейского полковника. Наташа тепло отзывалась об отце. Князю Кочубею она писала: «В оном же письме изволите упоминать о благодетеле моем, князе Александре Андреевиче. О сем священнейшем для меня имени я не могу слышать равнодушно, и по мере моего возраста я более и более чувствовала мою в нем потерю и сиротство, лишаясь в нем всего, что было для меня священнейшего»[518].

Слабости присущи каждому человеку, и если мы здесь о них упомянули, то с единственной целью избежать искаженного образа героя — не они оставляют след в истории. Итоги своей службы подвел в одном из писем Воронцову сам Безбородко: «Много ли или мало я в том потрудился, а был не просто свидетелем, но и участником многого к чести государства и его прибыли совершившегося».

Приложения

Список принятых сокращений

Болотов — Болотов А. Т. Жизнь и приключения. М., 1871–1893.

Ек. Втор. — Екатерина Вторая. Записки. СПб., 1907.

Ек. II. — Екатерина II. Сочинения. М., 1990.

Ек. II и П. — Екатерина II и Г. А. Потемкин. М., 1997.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

ИВ — Исторический вестник.

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи (Первое).

РС — Русская старина.

РА — Русский архив.

РВ — Русский вестник.

РИО — Сборник русского исторического общества.

Сегюр — Граф Сегюр. Записки… СПб., 1965.

Соловьев — Соловьев С. М. История России с древнейших времен.

Со шп. и фак. — Со шпагой и факелом. М., 1991.

Храповицкий — Храповицкий А. В. Дневник. М., 1901.

Основные даты жизни и деятельности Екатерины Великой

1729, апреля 21 — рождение в Штеттине цербстской принцессы Софии Августы Фредерики.

1744, февраля 3 — приезд Софии с матерью в Петербург в качестве невесты Петра Федоровича.

1744, июня 28 — лютеранка София Августа Фредерика принимает православие и нарекается Екатериной Алексеевной.

1745, августа 28 — бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны.

1761, декабря 25 — кончина Елизаветы Петровны и провозглашение императором Петра III.

1762, июня 28 — дворцовый переворот в пользу Екатерины II.

1762, начало июля — убийство Петра III.

1763 — дело Арсения Мацеевича.

1764 — основание Вольного экономического общества.

1764, февраль — Указ о секуляризации церковных владений.

1764, июля 5 — неудачный заговор Мировича и убийство царевича Иоанна Антоновича.

1766, декабря 14 — опубликование Манифеста о созыве Уложенной комиссии.

1767 — опубликование «Наказа» Уложенной комиссии.

1767–1768 — деятельность Уложенной комиссии.

1768–1774 — первая русско-турецкая война, завершившаяся 10 июля Кючук-Кайнарджийским миром.

1772 — первый раздел Речи Посполитой.

1773–1775 — движение Е. И. Пугачева.

1775, марта 17 — Манифест о свободе предпринимательства.

1775, ноября 7 — Учреждения для управления губерний Всероссийской империи.

1780, февраля 28 — Декларация о вооруженном нейтралитете.

1782 — Устав Благочиния или Полицейский.

1782, августа 18 — открытие памятника Петру Великому в Петербурге.

1783, апреля 8 — Манифест о присоединении Крыма к России.

1783, мая 3 — Указ о закрепощении крестьян на Украине.

1784 — основание Севастополя.

1785, апреля 21 — Жалованная грамота дворянству и грамота городам.

1786, августа 5 — опубликование Устава народных училищ.

1786 — опубликование книги «О должностях человека и гражданина».

1787 — путешествие Екатерины II в Крым.

1787–1791 — вторая русско-турецкая война, завершившаяся 29 декабря Ясским миром.

1788–1790 — русско-шведская война, завершившаяся 3 августа Верельским миром.

1789, сентября 20 — Устав о повивальных бабках.

1790 — выход в свет «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

1793 — второй раздел Речи Посполитой.

1795 — третий раздел Польши.

1796, ноября 6 — смерть Екатерины Великой.

notes

Примечания

1

Грот Я. К. Екатерина II в переписке с Гриммом // Сборник отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Т. XXI. № 4. С. 28, 29.

2

Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982. С. 23.

3

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. СПб., 1909. С. 86.

Переворот 1762 года. М., 1908. С. 16.

РИО. Т. 18. СПб., 1876. С. 1, 27.

6

Со шп. и фак. С. 272.

РВ. 1882. № 11. С. 22.

РИО. Т. 91. СПб., 1894. С. 443; ЧОИДР. 1866. Кн. 4. С. 109.

9

Дугин П. Великая княгиня Екатерина Алексеевна. СПб., 1884. С. 34, 36; *Бильбасов В. А.* История Екатерины Второй. Т. 1. Берлин, 1900. С. 1–24, 37–45 и др.

РВ. № 1. 1883. С. 200–203.

Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 81.

12

Ек. II. С. 32, 42.

13

Там же. С. 28.

Там же. С. 41, 44.

15

Там же. С. 166.

PC. T. 3. 1871. C. 530.

Архив Воронцова. Кн. II. М., 1871. С. 100–110.

Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 334.

19

Ек. II. С. 118, 225.

Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 453.

РС. № 2. 1902. С. 441, 442; РА. 1911. № 7. С. 324.

22

Ек. II. С. 207

РВ. № 10. 1883. С. 486–488.

24

Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла Чарльза Уильямса. М., 1909. С. 26, 27, 35, 109.

25

Со шп. и фак. С. 274.

Дашкова Е. Р. Записки. Л., 1985. С. 39, 40, 42 и др.

27

Со шп. и фак. С. 313, 347.

РА. № 5. 1911. С. 5–20.

Болотов. Т. II. 1993. С. 120.

РА. № 5. 1911. С. 16.

Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 24.

Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 455.

33

РИО. Т. 18. С. 204.

РИО. Т. 7. СПб., 1871. С. 101.

35

Со шп. и фак. С. 310.

РА. № 5. 1911. С. 22.

37

Со шп. и фак. С. 304, 305.

38

ПСЗ. Т. XVI. № 11599; Несколько иную версию смерти Петра III излагает А. С. Мыльников: Петр III. Ропшинская трагедия в свете новых данных // Уральский исторический вестник. № 2. Екатеринбург, 1995. С. 52–56. Переворот 1762 года. С. 69.

39

Со шп. и фак. С. 300.

Там же. С. 301, 302.

41

Соловьев. Кн. 13. С. 129; РИО. Т. 12. СПб., 1873. С. 46, 53.

Ек. II. С. 573, 577.

РИО. Т. 7. СПб., 1871. С. 149, 150.

Со шп. и фак. С. 381, 382.

РИО. Т. 1. СПб., 1867. С. 234.

РИО. Т. 7. С. 293, 290

ПСЗ. Т. XVI. № 11843.

Соловьев. Кн. XIII. С. 306, 307.

РИО. Т. 7. С. 97, 98.

PA. 1865. C. 492–494.

Брикнер А. История Екатерины II. Т. 1. М., 1991. С. 155, 156.

Болотов. Т. II. С. 171–173.

ПСЗ. Т. XVI. № 11582.

РС. Т. 26. 1879. С. 592–594.

ПСЗ. Т. XVI. № 11643.

Там же.

Там же. № 11716.

Там же. № 11593.

РИО. Т. 7. С. 233.

Там же. С. 265.

РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 2, 3.

ПСЗ. Т. XVII. № 12347.

Болотов. Т. II. М.; Л., 1931. С. 324; *Милов Л. В.* Исследование об экономических примечаниях к Генеральному межеванию. М., 1968. С. 19, 20.

Соловьев. Кн. XIII. С. 180.

Брикнер А. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 272, 273.

Головачев П. Иркутское лихолетье 1758–1760 гг. М., 1904. С. 35; РИО. Т. 1. С. 215, 216.

РИО. Т. 1. С. 345.

Ек. Втор. С. 710, 711.

PC. T. 24. 1879. C. 24, 25.

РИО. Т. 7. С. 334.

71

ПСЗ. Т. XVI. № 11630.

РИО. Т. 1. С. 203–205.

73

Очерки по истории СССР. Вторая половина XVIII в. М., 1956. С. 273.

Мякотин Б. А. Очерки социальной истории Украины в XVII–XVIII вв. Вып. 2. Прага, 1921. С. 222.

РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. 212, 226.

Орешкин В. В. Вольное экономическое общество в России. М., 1963. С. 17.

Труды ВЭО. Ч. I. 1760. С. 1.

РИО. Т. 20. СПб., 1877. С. 161–204.

79

РИО. Т. 7. С. 373.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 16. С. 164, 165.

Вольтер и Екатерина II. СПб., 1887. С. 11, 14, 16.

РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. XVI.

83

Грот Я. К. Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1879. С. 66, 67.

РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 52, 345.

РИО. Т. 13. С. 80, 81, 95, 386.

Иконников В. С. Значение царствования Екатерины II. Киев, 1897. С. 13.

РИО. Т. 27. СПб., 1880. С. 30, 35, 44, 57.

РИО. Т. 13. С. 25, 39–41.

Вольтер и Екатерина II. С. 55, 174.

Сегюр. С. 24.

РИО. Т. 13. С. XVII.

Сегюр. С. 150.

ПСЗ. Т. XVII. № 12801.

ПСЗ. Т. VII. № 4436.

РИО. Т. 10. С. 167.

Ек. II. Т. XII. Ч. 2. СПб., 1907. С. 527.

Соловьев. Кн. XIV. М., 1944. С. 63–65, 32.

Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины И. М., 1993. С. 82, 83.

ПСЗ. Т. XVII. N9 12801.

Болотов. Т. II. СПб., 1871. С. 641, 654.

101

Русское богатство. № 6. 1897. С. 47.

РИО. Т. 4. СПб., 1868. С. 243, 318, 351.

РИО. Т. 115. СПб., 1903. С. 423, 431.

Записки имп. Харьковского университета. Кн. 4. 1911. С. 21.

105

Русское богатство. С. 67, 68.

РИО. Т. 68. СПб., 1889. С. 394, 411.

Там же. С. 372–390.

РИО. Т. 4. С. 239.

109

РИО. Т. 68. С. 525.

РИО. Т. 4. С. 460.

Соловьев. Указ. соч. С. 95.

РИО. Т. 93. СПб., 1894. С. 85, 230.

РИО. Т. 32. СПб., 1881. С. 401.

ЖМНП. № 6. 1887. С. 223.

Болотов. Указ. соч. С. 654.

Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева. М., 1965. С. 173; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 16. С. 164, 165.

117

РИО. Т. 10. С. 390.

ЧОИДР. Т. II. М., 1865. С. 2–23, 33–35, 37–43.

РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 345; Там же. Т. 27. СПб., 1880. С. 27; *Балагуров Я. А.* Приписные крестьяне Карелии в XVIII–XIX вв. Петрозаводск, 1962. С. 283–307.

РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. 173, 174.

121

Дубровин Н. Пугачев и его сообщники. Т. 1. СПб., 1884. С. 42, 45.

Андрущенко А. И. Крестьянская война 1773–1775. М., 1969. С. 32.

Исторические записки. № 31. М., 1950. С. 88—120.

Дубровин Н. Указ. соч. С. 218.

Андрущенко А. И. Указ. соч. С. 31.

126

Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. М., 1975. С. 23.

127

Дубровин Н. Указ. соч. Т. II. СПб., 1884. С. 65, 66; Документы ставки Е. И. Пугачева… С. 35, 36.

Дубровин Н. Указ. соч. Т. II. С. 97.

129

РА. № 8. 1870. С. 1431, 1432.

130

РИО. Т. 13. С. 386.

131

Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером. Ч. I. М., 1803. С. 162–164.

РИО. Т. 20. СПб., 1877. С. 340, 341.

Дубровин Н. Указ. соч. Т. II. С. 303.

134

Там же. С. 305

135

Крестьянская война в России в 1773–1775. Т. III. Л., 1970. С. 55.

Андрущенко А. И. Указ. соч. С. 216, 278.

137

Там же. С. 287.

Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII в. М., 1962. С. 474–475.

139

Крестьянская война в России… Т. III. С. 105.

Документы ставки… С. 23, 38, 48.

141

Там же. С. 48.

Крестьянская война… Т. III. С. 137

143

Там же. С. 138.

Там же. С. 151.

145

Там же. С. 172.

Там же. С. 157, 216.

Овчинников Р. В. Следствие и суд над Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С. 29.

Вольтер и Екатерина II. СПб., 1882. С. 230.

Державин Г. Р. Соч. Т. 5. СПб., 1876. С. 139.

Крестьянская война… Т. III. С. 195, 200.

PC. T. II. 1870. C. 353, 354.

Болотов. Т. III. С. 488.

Овчинников Р. В. Указ. соч. С. 209, 210.

РИО. Т. 1. СПб., 1867. С. 107, 108.

Там же. С. 169–171.

Там же. С. 188–192.

ПСЗ. Т. XX. № 14275.

Там же. № 14285.

159

Там же.

160

Там же. № 14303.

161

Осьмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869. С. 390.

РИО. Т. 6. СПб., 1871. С. 112, 113, 135.

Абсолютизм в России. М., 1964. С. 464.

Пугачевщина. Т. 3. М.; Л., 1931. С. 320, 321.

165

РИО. Т. 6. С. 172, 173.

РИО. Т. 27. СПб., 1880. С. 14, 44.

167

Грот Я. К. Екатерина в переписке с Гриммом. СПб., 1879. С. 29, 30.

РИО. Т. 27. С. 57.

169

РИО. Т. 1. С. 276.

Державин Г. Р. Соч. Т. 7. СПб., 1872. С. 28, 29.

171

Клокман Ю. Р. Социально-экономическая история русского города. М., 1967. С. 26.

Ученые записки Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. Т. 229. Л., 1962. С. 218.

173

Болотов. Т. III. С. 715, 720, 721.

РА. Кн. 3. 1872. С. 123.

175

ПСЗ. Т. XXI. № 15379.

ПСЗ. Т. XXII. № 16187.

177

Храповицкий. С. 1.

Толстой Д. А. Городские училища в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1886. С. 4–6.

179

Там же. С. 35.

180

Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской империи, изданное по высочайшему повелению царствующей имп. Екатерины Второй. СПб., 1783. С. 88–93, 95—108.

181

О должности человека и гражданина. СПб., 1783.

Ученые записки Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. Т. 118. Л, 1955.

183

Российский букварь… СПб., 1781. С. 23, 25.

184

Новый способ или новейшая азбука для научения детей по правилам грамматическим. М., 1791. С. 81, 135–137.

185

ПСЗ. Т. XXII. № 16421.

Смагина Г. И. Академия наук и российские школы. СПб., 1996. С. 139, 140.

ЖМНП. № 4. 1910. С. 130, 140, 142.

Древняя и новая Россия. Т. III. 1878. С. 335, 336.

189

Хрестоматия по истории СССР. XVIII в. М., 1963. С. 585.

ПСЗ. Т. XXIII. № 16804.

191

ПСЗ. Т. XVI. № 11676.

Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Т. 3. М., 1919. С. 157.

193

«Трутень», 1769. № 18.

Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1954. С. 44.

195

Лонгинов М. Драматические сочинения Екатерины II. М., 1857. С. 10.

Чебышев А. А. Источник комедии императрицы Екатерины «О время!». СПб., 1907. С. 4.

197

Екатерина II. Сочинения. Произведения литературы. СПб., б/г. С. 366.

Там же. С. 386, 390, 391, 393.

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 171.

Осмнадцатый век. Кн. 4. М., 1869. С. 310.

201

Там же. С. 229.

Там же. С. 240, 246, 331.

Там же. С. 263, 268, 285, 301, 364, 373, 405, 406, 409.

Сегюр. С. 154.

РИО. Т. 7. СПб., 1871. С. 287.

Там же. С. 292, 293.

Там же. С. 365.

Там же. С. 285.

209

Бильбасов В. А. Исторические монографии. Т. 3. СПб., 1901. С. 249–254.

Соловьев. Кн. XIV. С. 47, 48.

211

РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 189, 190.

Там же. С. 200.

Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 234–239.

РИО. Т. 10. С. 211.

215

Соловьев. Указ. соч. С. 51.

ПСЗ. Т. XVIII. № 12966.

РС. № 2. 1897. С. 229–232.

РИО. Т. 1. СПб., 1867. С. 384–420.

219

Ек. II и П. С. 174.

Грот Я. К. Екатерина II и Густав III. СПб., 1877. С. 49.

РИО. Т. 26. СПб., 1879. С. 113, 377.

222

Сегюр. С. 83.

ИВ. № 12. 1881. С. 690, 694, 702.

РА. Кн. 3. 1878. С. 142.

225

Сегюр. С. 214.

ИВ. № 1. 1886. С. 72–75.

Болотов. Т. III. М., 1873. С. 155–162.

228

Сегюр. С. 236.

229

Ек. II и П. С. 218, 220, 227.

Соловьев. Т. XV. М., 1995. С. 236–239.

231

Ек. Втор. С. 699.

PA. N9 1. 1876. C. 45.

233

Архив Воронцова. Кн. IX. М., 1876. С. 133, 134.

Там же. С. 139, 180.

РИО. Т. 20. СПб., 1877. С. 244.

Там же. С. 268, 214.

237

Ек. II и П. С. 169, 171.

Там же. С. 166, 175.

239

Там же. С. 185.

РА. № 10. 1878. С. 148.

241

Ек. II и П. С. 239; *Суворов А. В.* Документы. Т. II. М., 1951. С. 344.

Там же. С. 287.

Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. Т. I. СПб., 1880. С. 20–32.

Грот Я. К. Екатерина II и Густав III. СПб., 1877. С. 265, 286.

245

Грот Я. К. Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1879. С. 120.

Ек. II и П. С. 252.

РИО. Т. 42. СПб., 1875. С. 8.

Архив Воронцова. Кн. XI. М., 1877. С. 18, 19.

249

Сегюр. С. 298, 299, 305.

Бильбасов В. А. Исторические монографии. Т. 3. СПб., 1901. С. 389, 390, 393, 396, 401, 407, 409; Ек. II и П. С. 371, 372, 385.

Петров А. Н. Указ. соч. С. 227.

Ек. II и П. С. 305.

Петров А. Н. Указ. соч. Т. И. С. 140.

Ек. II и П. С. 430.

Там же. С. 267; Храповицкий. С. 37.

256

Ек. II и П.

257

Сегюр. С. 152.

Ек. II и П. С. 379; Москвитянин. 1845. № 1. С. 243–244.

Петров А. Н. Указ. соч. С. 72, 73.

Ек. II и П. С. 379.

Петров А. Н. Указ. соч. С. 100.

Ек. II и П. С. 381, 383.

Там же. С. 378, 393, 412.

Петров А. Н. Указ. соч. С. 239.

Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 197, 210, 464.

Грот Я. К. Екатерина в переписке с Гриммом. СПб., 1871. С. 557.

267

Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789–1791. М., 1956. С. 123, 161; РА. Кн. 3. 1878. С. 207.

ИВ. № 8. 1895. С. 414; *Штранге М. М.* Указ. соч. С. 174.

269

Летопись русской литературы и древности. Т. V. М., 1863. С. 41.

Голос минувшего. № 2–3. 1913. С. 153.

Сегюр. С. 383; *Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 169.

Храповицкий. С. 214.

Грот Я. К. Указ. соч. С. 598.

РС. № 5. 1893. С. 447.

Храповицкий. С. 219.

Там же. С. 223.

Там же. С. 230.

Грот Я. К. Указ. соч. С. 621.

Брикнер А. Указ. соч. С. 515.

Грот Я. К. Указ. соч. С. 622.

281

Болотов. С. 1077.

Храповицкий. С. 198, 199.

283

PC. T. XXXV. 1882. C. 457.

Макогоненко Г. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. С. 507.

Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 12.

РС. № 6. 1892. С. 544.

Боголюбов В. Новиков и его время. М., 1916. С. 403, 404.

Костомаров Н. И. Собр. соч. Кн. 7. СПб., 1905. С. 25.

289

Храповицкий. С. 258; Соловьев. Указ. соч. Кн. XVI. М., 1995. С. 547, 552, 563.

РА. Кн. 3. 1878. С. 90, 215.

Массон К. Секретные записки о России… С. 58.

РА. № 12. 1891. С. 539; Кн. 3. 1874. С. 8.

293

РА. Кн. 3. 1878. С. 90, 215.

Ек. II и П. С. 414; Сегюр. С. 144.

295

Летопись занятий Археографической комиссии за 1927–1928 гг. Вып. XXXV. Л., 1929. С. 56, 57.

Сегюр. С. 232.

Там же. С. 37, 84.

ПСЗ. Т. XV. № 11166.

299

ПСЗ. Т. XVII. № 12311.

ПСЗ. Т. XVI. № 11875.

301

Ек. II и П. С. 205 и др.

Эйдельман Н. Апостол Сергей. М., 1975. С. 9.

Великая реформа. Т. 1. М., 1911. С. 248, 258.

Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т. 1. СПб., 1903. С. 198–200.

305

Хрестоматия по истории СССР. XVIII век. М., 1962. С. 237.

Брикнер А. История Екатерины Второй. Т. II. М., 1991. С. 638.

РИО. Т. 20. СПб., 1877. С. 447–498.

ПСЗ. Т. XVIII. № 13018.

309

Там же. № 13374.

ПСЗ. Т. XX. № 14275.

311

Струмилин С. Г. История черной металлургии в СССР. Т. 1. М., 1954. С. 204.

Вопросы истории. № 11–12. 1946. С. 36.

Хрестоматия по истории СССР. Т. II. 1953. С. 200; *Дружинина Е. И.* Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М., 1959. С. 254, 259.

РИО. Т. 26. СПб., 1879. С. 50.

315

РИО. Т. 13. СПб., 1874. С. 149.

Михайлов А. И. Баженов. М., 1951. С. 39; *Снегирев В.* Знаменитый зодчий Василий Иванович Баженов. М., 1950. С. 124.

Державин Г. Р. Сочинения. Т. I. СПб., 1864. С. 377, 383.

Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1889. С. 318.

История русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 239.

320

Сегюр. С. 25.

Там же. С. 232, 233.

Там же. С. 28.

История русского искусства. Т. VII. М., 1961. С. 78.

ПСЗ. Т. XXIV. № 18278.

325

Сегюр. С. 155.

Пыляев М. И. Указ. соч. С. 278.

Три века. Т. IV. М., 1992. С. 488–500; *Чечулин И. Д.* Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб., 1906. С. 374–380.

328

Со шп. и фак. С. 314.

РИО. Т. 2. СПб., 1868. С. 46, 126.

РИО. Т. 37. СПб., 1883. С. 49.

331

Храповицкий. С. 318.

Ек. Втор. С. 655, 656.

РА. Кн. 3. 1878. С. 41.

РС. № 4. 1893. С. 20.

335

Трибовский А. М. Записки о Екатерине Великой. М., 1897. С. 40.

РИО. Т. 48. СПб., 1885. С. 291.

Там же. С. 580.

РИО. Т. 1. СПб., 1867. С. 262.

РИО. Т. 27. СПб., 1880. С. 36.

РИО. Т. 10. СПб., 1872. С. 271, 282, 293.

341

Письма и бумаги Петра Великого. Т. 1. СПб., 1887. С. 410, 416.

РИО. Т. 12. СПб., 1873. С. 334.

Трибовский А. М. Указ. соч. С. 15.

РИО. Т. 10. С. 355.

345

РА. Кн. 3. 1886. С. 105.

РИО. Т. 13. С. 180.

РИО. Т. 87. СПб., 1893. С. 296.

ИО. Т. 10. С. 426.

349

РА. Кн. 3. С. 21.

РИО. Т. 1. С. 1–13.

Там же. С. 40, 56, 57.

Там же. С. 75, 90.

353

РИО. Т. 2. С. 302, 327.

Державин Г. Р. Записки. Т. 6. СПб., 1876. С. 632.

355

Памятники новой русской истории. Т. 3. СПб., 1873. С. 5.

РИО. Т. 10. С. 416; РА. Кн. 3. 1878. С. 81.

357

РИО. Т. 2. С. 340.

358

Ек. II и П. С. 187.

Трибовский А. М. Указ. соч. С. 17, 18.

РА. № 1. 1876. С. 30.

Трибовский А. М. Указ. соч. С. 35; РИО. Т. 2. С. 331.

РС. Кн. 8. 1874. С. 775.

363

РИО. Т. 10. С. 259.

РА. Кн. 3. 1878. С. 104.

РИО. Т. 12. СПб., 1873. С. 348, 428; Т. 19. СПб., 1876. С. 13, 14.

РИО. Т. 2. С. 321.

Бильбасов В. А. Исторические монографии. Т. 4. СПб., 1901. С. 507–509.

РИО. Т. 2. СПб., 1868. С. 330, 333.

Массон К. Секретная записка о России… С. 38, 44.

РИО. Т. 12. С. 329.

Державин Г. Р. Указ. соч. Т. 6. С. 654, 652.

Щербатов М. М. Соч. Т. 2. С. 226.

Карамзин Н. М. Записка… С. 41–44.

Тайны истории. М., 1995. С. 104, 105.

Ек. Втор. С. 561, 562, 777, 779.

Там же. С. 697, 698.

Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 127, 128.

РС. № 5. 1902. С. 374, 375.

РИО. Т. 12. СПб., 1873. С. 78, 110.

РИО. Т. 48. СПб., 1885. С. 294.

РС. № 5. 1902. С. 374; № 7. С. 144.

Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 229.

383

PA. T. 3. 1878. C. 89.

РИО. Т. 19. СПб., 1879. С. 406; *Щербатов М. М.* Указ. соч. С. 230.

385

РА. Кн. 3. С. 9.

PA. 1867. C. 605.

На этот счет мы консультировались с заведующим кафедрой гинекологии и акушерства проф. А. М. Торчиновым; он полагает, что установить бесспорный диагноз болезни пациентки, скончавшейся два столетия назад, затруднительно, но с большой степенью вероятности можно утверждать, что императрица страдала именно нарушением гормонального баланса.

PA. T. 3. 1881. C. 403.

389

Жизнь императоров и их фаворитов. С. 250.

390

Жизнь кн. Григория Александровича Потемкина. Ч. I. М., 1808. С. 57.

391

РС. 1894. № 3. С. 197, 198.

РС. № 12. 1891. С. 538, 539.

393

РА. № 1. 1880. С. 151, 152.

PC. T. 18. 1877. C. 369, 370.

Массон К. Секретная записка о России… С. 81.

РИО. Т. 42. СПб., 1885. С. 39.

РС. Т. XVII. № 11. 1876. С. 444; № 12. С. 700–703.

РА. Т. II. № 2. 1880. С. 262, 263.

Щербатов М. М. Указ. соч. С. 233.

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 43.

Трибовский А. М. Записки… С. 41.

РС. № 1. 1876. С. 252; Храповицкий. С. 95, 111, 159, 188 и др.

403

РС. № 5. 1876. С. 31.

PC. T. 5. 1872. C. 771.

Лабзина А. Е. Воспоминания. СПб., 1903. С. 69, 77.

О должности человека и гражданина… СПб., 1789. С. 54.

Щербатов М. М. Указ. соч. С. 233.

Жизнь императоров и их фаворитов. М., 1992. С. 233.

PA. 1867. C. 1561, 1562.

Сегюр. С. 44, 45.

411

Брикнер А. Потемкин. СПб., 1891. С. 237–257; *Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 5, 6, 10.

Щербатов М. М. Соч. Т. II. С. 230.

Брикнер А. Указ. соч. С. 257–260.

Храповицкий.

415

РА. Кн. III. 1878. С. 198.

Брикнер А. Указ. соч. С. 232.

417

Ек. II и П. С. 90, 91, 95, 96, 100, 101.

Там же. С. 313, 182, 156, 181, 183, 357, 360.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1780 гг. М., 1959. С. 66.

Там же. С. 200.

421

Экономические крестьяне — категория крестьян, образованная после секуляризации из бывших монастырских и церковных крестьян.

Брикнер А. История Екатерины II. Т. II. М., 1991. С. 402.

423

Ек. II и П. С. 169, 171.

Там же. С. 180.

Дружинина Е. И. Указ. соч. С. 93.

РС. № 2. 1876. С. 263.

427

Ек. Н и П. С. 159–161.

Там же. С. 227.

429

Там же. С. 233.

Там же. С. 313.

Там же. С. 326, 328.

Там же. С. 328.

Там же. С. 330.

Брикнер А. Потемкин. С. 163, 164.

Петрушевский. Генералиссимус Суворов. Т. I. СПб., 1900. С. 362.

Болотов. Т. IV. С. 811.

Храповицкий. С. 220, 221, 225; см. также *Елисеева О. И.* Неопубликованные письма Г. А. Потемкина Екатерине II 1783 г. о присоединении Крыма к России // Исследования по источниковедению истории России. М., 1996; она же. «Любезный мой питомец». Екатерина и Г. А. Потемкин в годы Второй русско-турецкой войны (1787–1791) // Отечественная история. 1997. N 4.

Иловайский Д. И. Соч. Т. I. М., 1884. С. 420, 421.

Дашкова Е. Р. Записки, Л., 1985. С. 3, 4, 7.

Иловайский Д. И. Указ. соч. С. 234.

Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 1907. С. 271–273.

Дашкова Е. Р. Записки. Л., 1985. С. 219.

Там же. С. 19.

444

Со шп. и фак. С. 313.

Там же. С. 518, 519.

Дашкова Е. Р. С. 42.

Там же. С. 235.

Там же. С. 64.

РИО. Т. 12. СПб., 1873. С. 113.

Там же. С. 199, 200.

Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 80, 81.

Там же. С.71, 82.

Иловайский Д. И. Указ. соч. С. 338.

Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 1907. С. 302–311.

Московские ведомости. 1783. № 87.

Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1983. С. 84.

Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.; Л., 1961. Т. 7. С. 223.

Храповицкий. С. 106, 107.

459

Ек. II и П. С. 36, 326.

Храповицкий. С. 161.

Иловайский Д. И. Указ. соч. С. 365.

Там же. С. 379.

Даль В. И. Толковый словарь русского языка.

Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 228.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 279–326.

Жизнь императоров и их фаворитов. М., 1992. С. 330–334.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 25.

РИО. Т. 27. СПб., 1880. С. 365–372.

469

Там же. С. 374.

Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859. С. 374, 375.

Бильбасов В. А. Исторические монографии. Т. 4. СПб., 1901. С. 15–24.

РИО. Т. I. СПб., 1867. С. 203–221.

Горюшкин А. В. Граф Никита Панин. М., 1989. С. 99, 100.

Ек. Втор. С. 506, 507.

Там же. С. 575, 576.

РА. Кн. III. 1878. С. 90.

РС. № 5. 1902. С. 371.

Там же. С. 372.

Там же. № 7. С. 148.

РИО. Т. 72. СПб., 1891. С. 415.

481

Там же. С. 463.

РИО. Т. 19. СПб., 1876. С. 398.

РИО. Т. 26. СПб., 1879. С. 30.

Там же. С. 45, 53.

PA. 1865. C. 409, 432.

Трибовский А. М. Записки об императрице Екатерине Великой. М., 1864. С. 10.

487

РИО. Т. 26. С. 322.

РИО. Т. 29. СПб., 1881. С. 326.

489

Ек. Втор. С. 699.

РИО. Т. 26. С. 514–525.

491

Там же. С. 530–531, 466–468.

РИО. Т. 29. С. 525–528.

493

РИО. Т. 26. С. 100, 101.

Там же. С. 104.

495

Там же. С. 319.

Сегюр. С. 43, 112.

Храповицкий. С. 59.

РИО. Т. 26. С. 414.

Там же. С. 113.

500

Там же. С. 416.

501

РИО. Т. 29. С. 70.

502

Храповицкий. С. 194.

503

РИО. Т. 29. С. 83.

Там же. С. 141.

505

PA. T. I. 1876. C. 89.

Там же. С. 90, 91.

507

РИО. Т. 29. С. 238.

Храповицкий.

Державин Г. Р. Соч. Т. VI. СПб., 1871. С. 635.

РИО. Т. 29. С. 372, 373.

511

Терещенко А. В. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. Т. II. СПб., 1837. С. 190.

Храповицкий. С. 207.

Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1867. С. 49.

Дашкова Е. Р. СПб., 1907. С. 296.

Трибовский А. М. Указ. соч. С. 13.

516

РИО. Т. 29. С. 346.

РС. № 2. 1876. С. 488.

518

РИО. Т. 29. С. 346.